И1997
Б 92

БАЛЬЗАК

ОНОРЕ БАЛЬЗАК

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В 24 ТОМАХ

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА • 1960

СЦЕНЫ ПАРИЖСКОЙ ЖИЗНИ

ИСТОРИЯ ТРИНАДЦАТИ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Во времена Империи нашлось в Париже тринадцать человек, одержимых одним и тем же чувством, наделенных достаточно большой энергией, чтобы сохранять верность общему замыслу; достаточно честных, чтобы не предавать друг друга, даже если сталкивались их интересы; достаточно ловких, чтобы скрывать священные узы, соединяющие их; достаточно сильных, чтобы ставить себя превыше законов; достаточно смелых, чтобы идти на все, и достаточно удачливых, чтобы почти всегда преуспевать в своих планах; умевших молчать о своих поражениях, подвергаясь даже величайшим опасностям; недоступных страху, не знающих смущения ни перед монархом, ни перед палачом, ни перед невинностью; принявших друг друга такими, каковы они есть, не считаясь с социальными предрассудками; безусловно преступных, однако несомненно наделенных некоторыми чертами, которые создают великих деятелей, и во всяком случае принадлежащих к числу выдающихся людей. Наконец, надо упомянуть обстоятельство, довершающее мрачную и таинственную поэзию этой истории: все тринадцать остались неизвестными, хотя и добивались осуществления самых диковинных фантазий, порождаемых лишь тем

необычайным могуществом, какое вымысел приписывает Манфредам, Фаустам, Мельмотам,— и ныне все они сокрушены, по крайней мере союз их распался. Они спокойно вернулись под иго гражданских законов, подобно тому, как Морган, этот пиратский Ахилл, стал из грабителя мирным колонистом и без угрызений совести при свете домашнего очага пускал в ход свои миллионы, добытые в крови, при зареве пожаров.

После смерти Наполеона случай, о котором автор пока должен умолчать, расторг узы этого тайного сообщничества, история которого, пожалуй, не менее любопытна и мрачна, чем самые черные романы г-жи Радклиф.

Один из тринадцати безвестных героев, таинственно подчинявших себе все общество, лишь недавно — быть может, почувствовав смутное желание прославиться — разрешил автору, вопреки ожиданию, рассказать, как ему заблагорассудится, о некоторых приключениях этих людей, соблюдая, разумеется, необходимые предосторожности.

Этот человек, еще молодой с виду, белокурый и синеглазый, обладал нежным и звонким голосом, казалось, говорившим о женственно мягкой душе, был бледен лицом и загадочен в поведении, но приятен в разговоре; ему было, как он утверждал, всего сорок лет, и, судя по всему, он мог принадлежать к самым высшим кругам общества. Имя, под которым он жил, казалось вымышленным, в светском обществе его никто не знал. Кто был он? — неизвестно.

Быть может, поверяя автору необычайные происшествия, незнакомец рассчитывал, что они будут преданы огласке, и желал насладиться впечатлением, произведенным ими на толпу,— чувство, сходное с тем, что волновало Макферсона, когда сотворенного им Оссиана стали читать на всех языках. И несомненно, шотландский

адвокат испытал одно из самых острых или по меньшей мере самых редких ощущений, доступных человеку. Гений — инкогнито! Создать «Странствие из Парижа в Иерусалим» — значит получить свою долю в человеческой славе своего века; но подарить отчизне Гомера — не значит ли это похитить славу самого бога?

Автор слишком хорошо знает законы повествования, чтобы не понимать, какие обязательства накладывает на него это краткое предисловие; но он достаточно изучил «Историю тринадцати», чтобы не бояться разочаровать читателя. Автору были поверены драмы, где льется кровь, комедии, где творятся ужасные дела, романы, где скатываются головы, отсеченные тайными убийцами. Если кто-либо из читателей еще не пресытился ужасами, которые за последнее время вошло в обычай хладнокровно преподносить публике, то стоит ему лишь пожелать — и автор мог бы поведать о спокойно содеянных жестокостях, о необычайных семейных трагедиях. Но на этих страницах отдано предпочтение наиболее трогательным эпизодам, в которых с бурей страстей чередуются целомудренные сцены, а женщина сияет добродетелью и красотой. К чести тринадцати надо сказать, что подобные приключения не чужды их истории, которую, быть может, в один прекрасный день сочтут достойной внимания наравне с историей флибустьеров, этого своеобразного буйного племени, полного поразительной энергии и столь привлекательного, несмотря на все свои преступления.

Когда писатель повествует об истинных происшествиях, он не должен превращать свой рассказ в игрушку с сюрпризом и — на манер некоторых романистов — на протяжении четырех томов водить читателя из подземелья в подземелье, дабы показать ему какой-нибудь иссохший труп, а в заключение признаться, что он все время только пугал потайными дверями, скрытыми под

обоями, или мертвецами, оставленными по недосмотру под половицами. Несмотря на все свое отвращение к предисловиям, автор вынужден был предпослать эти строки публикуемому отрывку. «Феррагус» — первый эпизод, связанный незримыми нитями с историей тринадцати, могущество которых, по существу, совершенно естественное, является единственным объяснением некоторых обстоятельств, на первый взгляд сверхъестественных. Хотя рассказчикам и разрешается известное литературное кокетство, но, становясь историками, они должны пренебречь выгодами, предоставляемыми каким-нибудь причудливым заглавием, которое обеспечивает в наши дни легкий успех. Поэтому автор кратко объяснит здесь причины, побудившие его избрать заголовки, на первый взгляд странные.

Феррагус — одно из имен, принимаемых, согласно древнему обычаю, предводителями деворантов. В день своего избрания новый предводитель становится преемником имени того из вождей, кто приходится ему больше по сердцу, подобно тому как папа, вступая на престол, принимает имя одного из своих предшественников. Так, у деворантов встречаются Макай-Хлеб IX, Феррагус XXII, Тутанус XIII, Грызи-Железо IV, точно так же как у церкви — Климент XIV, Григорий IX, Юлий II, Александр VI и пр. А теперь выясним, кто же такие эти деворанты. Деворанты — название одной из общин Подмастерьев, подчиненной некогда великому мистическому содружеству, организованному христианами-ремесленниками с целью восстановления иерусалимского храма. Товарищества ремесленников и по сию пору распространены во Франции среди народа. Такие традиции, властвующие над темными умами и над людьми малообразованными, а потому не осмеливающимися нарушить клятву, могли бы служить для осуществления гигантских предприятий, если бы какой-нибудь грубый гений решил

подчинить себе эти разнообразные сообщества. В самом деле, он нашел бы в них слепые орудия. С незапамятных времен для подмастерьев подобных товариществ в каждом городе существует *обада*, своего рода пристанище, которое содержит *мать* — старуха полуцыганского склада, бобылка; она знает обо всем, что творится в округе, и не то из страха, не то по закоренелой привычке предана общине, предоставляет ей кров и стол. Словом, эти люди, непостоянные в своем составе, но подчиненные непреложным обычаям, могут повсюду иметь свой глаз и везде приводить в исполнение чью-то волю, не обсуждая ее, ибо и самые старшие из них находятся в том возрасте, когда еще чему-то веряг. Впрочем, организация в целом исповедует достаточно правильное, полное таинственности учение, которое при известном развитии способно патриотически воодушевлять всех своих последователей. Притом подмастерья содружеств привержены своим законам столь страстно, что из-за каких-либо несогласий в важных вопросах нередко дело доходит до кровавых столкновений. К счастью для современного общественного порядка, честолюбие деворанта сказывается только в том, что он строит дома, наживает состояние и тогда выходит из содружества. Много любопытного можно было бы рассказать о Содружестве долга, соперниках Содружества деворантов, и о разных других сектах ремесленников, о принятых там обычаях, о братстве, связывающем их членов, об отношениях между ними и франкмасонами, но здесь подробности эти были бы неуместны. Автор должен только прибавить, что во времена старой монархии, случалось, какой-нибудь Макай-Хлеб попадал на королевскую службу—на галеры, сроком на сто один год; но и оттуда продолжал управлять общиной, благоговейно внемлющей его советам; если же ему удавалось бежать с каторги, он твердо знал, что повсюду встретит помощь, содействие и

уважение. Ссылка предводителя на галеры означала для верной ему общины лишь несчастье, ниспосланное провидением, но она не освобождала деворантов от повиновения его власти, созданной ими самими и непререкаемой для них. Это только временное изгнание их короля, остающегося законным королем при всех обстоятельствах. Вот секрет романического обаяния, каким обладали имена Феррагуса и деворантов,— обаяния, ныне уже исчезнувшего.

В отношении тринадцати автор чувствует себя во всеоружии, опираясь на их подробнейшую историю, столь напоминающую роман, и поэтому отказывается от приятнейшего права романистов, высоко оцениваемого на литературном торгу,— навязывать читающей публике многотомное произведение по примеру «Современницы». Все тринадцать были люди того же закала, что и Трелони, друг Байрона и, как говорят, оригинал его Корсара; все они были фаталисты, смелые и поэтические, но наскучившие обыденной жизнью, жаждущие азиатских наслаждений, влекомые страстями, долго дремавшими в их душе, а потому особенно буйными. Как-то один из них, перечитав «Спасенную Венецию» и восхитившись великой дружбой Пьера и Джафьера, задумался об исключительных качествах людей, изгнанных из общества, о честности каторжников, о верности воров в отношении друг к другу, о преимуществах той непомерной власти, какую завоевывают подобные люди, сосредоточив все помыслы свои на едином желании. Он создал себе и образ человека, возвысившегося над людьми. Он решил, что все общество должно подчиниться власти тех избранников, у которых природный ум, образование и богатство сочетались с огненным фанатизмом, способным превратить в единый сплав все эти разнородные свойства. И вот тогда перед их тайной властью, безмерной в своей действенности и силе, общественный

строй оказался бы беззащитным; она опрокидывала бы все препятствия, громила бы на своем пути любое сопротивление; каждый из таких избранников силен был бы дьявольской силой всего содружества. Это особое общество в обществе, враждебное обществу, отрицающее все идеи общества, не признающее никаких законов, подчиняющееся только голосу своих нужд, только требованиям взаимной преданности, отдающее все свои силы одному из сообщников, когда тот обратится за содействием ко всем остальным; это жизнь флибустьеров в желтых перчатках, флибустьеров, разъезжающих в каретах; это тесное сообщничество выдающихся людей, холодных и насмешливых, расточающих улыбки и проклятия лживому и мелочному свету; уверенность, что все подчинится их прихоти, что месть их будет ловко осуществлена, что каждый из них живет в тринадцати сердцах; затем это постоянное блаженство — в присутствии посторонних людей владеть тайной своей ненависти; блаженство быть всегда перед ними во всеоружии, блаженство замкнуться в себе, сознавать себя богаче всех самых замечательных людей, не возвысившихся до твоей идеи,— эта религия наслаждения и эгоизма воодушевляла тринадцать человек, которые восстановили законы ордена иезуитов на потребу дьяволу. Это было ужасно и величественно. И вот договор был заключен, и он существовал именно в силу своей немыслимости. Итак, в Париже появились тринадцать братьев, которые, принадлежа друг другу душой и телом, встречались на людях как чужие, но по вечерам сходились вместе как заговорщики, не скрывая друг от друга ни единой мысли и пользуясь по мере надобности все новыми и новыми богатствами, подобными богатствам горного духа; их принимали во всех светских гостиных, они запускали руки во все денежные ящики, слонялись по всем улицам, спали во всех постелях и без зазрения совести

все подчиняли своей прихоти. У них не было вожака, никто среди них не мог захватить власть в свои руки; но тому, кто сильнее других был охвачен какой-либо страстью, кто больше других нуждался в содействии, служили все остальные. То были тринадцать неведомых миру, однако подлинных властелинов, более могущественных, чем короли,— ибо они сами были и судьями и палачами, они сотворили себе крылья и проникали во все слои общества сверху донизу, пренебрегая возможностью занять в нем какое-либо положение: и без того все было им подвластно. Если автор узнает о причинах отречения их от своей власти, он расскажет об этом.

Теперь можно приступить к изложению трех эпизодов этой истории, особенно пленивших автора чисто парижским ароматом своих деталей и резкостью контрастов.

Париж, 1831.

ФЕРРАГУС, ПРЕДВОДИТЕЛЬ ДЕВОРАНТОВ

Посвящается Гектору Берлиозу.

Есть в Париже улицы, опозоренные так, как может быть опозорен человек, совершивший подлость; встречаются и улицы благородные, и просто честные улицы, и молодые улицы, о нравственности которых у общества еще не́ сложилось мнение; злодейские улицы; улицы старые, как самые древние старухи; улицы почтенные; улицы неизменно чистые или неизменно грязные; улицы рабочие, трудовые, торгашеские. Словом, парижские улицы отличаются человеческими свойствами и одним видом своим возбуждают в нас известные представления, которые мы не в силах преодолеть. Есть непристойные улицы, где вы не согласились бы жить, и улицы, где вы охотно поселились бы. Некоторые улицы, взять хотя бы на Монмартре, подобны сирене: прекрасная голова — и рыбий хвост. Улица де ла Пэ — широкая улица, большая улица, но она не пробуждает возвышенно-благородных мыслей, какие охватывают впечатлительную душу посреди Королевской улицы, и ей недостает величия, господствующего на Вандомской площади. Если при прогулке по улицам острова Сен-Луи вас охватит какая-то печаль и тревога, знайте — виной тому лишь одиночество да угрюмый вид домов и запустелых особняков. Этот остров — останки мира откупщиков — может быть назван парижской Венецией. Площадь Биржи шумлива, деятельна, продажна; она хороша лишь при лунном свете, в два часа ночи; днем она — Париж в миниатюре,

ночью — словно мечта о Греции. А разве улица Траверсьер-Сент-Оноре — не гнусная улица? Там вы увидите жалкие домишки в два окна шириною, и в каждом этаже гнездятся порок, преступление и нищета. А улички, обращенные на север, куда солнце заглядывает лишь три-четыре раза в год,— это улицы-преступники, безнаказанно убивающие людей; нашему правосудию нет до них никакого дела; но в старые времена парламент, возможно, и обратился бы *сего ради* с порицанием к полицейскому чину или хотя бы вынес осуждение самой улице, как некогда парикам капитула Бовэ. Как бы то ни было, г-н Бенуатон де Шатонеф доказал, что смертность здесь в два раза больше, чем в других кварталах. Чтобы завершить это рассуждение примером, возьмем улицу Фроманто: разве не гнездятся в ней убийства и порок? Такие наблюдения, непонятные вдали от Парижа, бесспорно, будут оценены теми образованными, мыслящими людьми, любителями поэзии и наслаждений, которые, бродя по Парижу в пределах городских стен, ловят на лету в любое время дня и ночи быстротечные его радости,— всеми теми, для кого Париж является самым обольстительным чудовищем: сейчас он — очаровательная женщина, мгновение — и он нищий старик; здесь он сверкает, как новенькая монета, выпущенная новым королем, там он — элегантен, как светская дама. Притом у этого чудовища все — как у настоящего живого существа. Его чердаки—это мозг, блещущий знанием и талантом; вторые этажи — сытый желудок; лавки в нижних этажах — настоящие ноги, здесь толпятся гуляющие и люди деловые. А какая кипучая жизнь у этого чудовища! Едва затихает в его сердце последний стук последней кареты, увозящей кого-то с бала, как его руки уже приходят в движение на заставах, и чудовище медленно пробуждается. Двери зевают, поворачиваются на петлях, словно клешни огромного омара, незримо управляемые тридцатью тысячами мужчин и женщин, живущих на шести квадратных футах каждый, причем здесь у них кухня, мастерская, кровать, дети, сад; здесь темно, плохо видно, а между тем надо за всем углядеть. Вот начинают слегка похрустывать суставы, движение нарастает, улица обретает голос. В полдень все живет полной жизнью, трубы дымятся, чудовище насыщается; потом

оно рычит, тысячи его лап приходят в движение. Прекрасное зрелище! И все-таки, о Париж, тот, кто не восхищался твоими мрачными пейзажами, проблесками света, безмолвными глухими тупиками, тот, кто не внимал твоему рокоту между полуночью и двумя часами ночи,— тот и понятия не имеет ни о твоей подлинной поэзии, ни о твоих страшных, разительных противоречиях. Есть небольшое число любителей, людей, которые никогда не мчатся по улицам сломя голову, а смакуют свой Париж, в совершенстве знают его физиономию и замечают на ней малейшую бородавку, пятнышко, прыщик. Прочим Париж всегда кажется нелепой громадой, поразительным сочетанием движений, машин, мыслей, городом ста тысяч романов, главой мира. Для прочих Париж бывает грустным или веселым, уродливым или красивым, живым или мертвым, а для этих немногих Париж — живое создание, каждый человек в нем, каждая песчинка — клетка тела великой куртизанки, чей ум, сердце и необычайный нрав они в совершенстве изучили. Да, все они — любовники Парижа. Дойдя до угла какой-нибудь улицы, они уже поднимают голову, зная наперед, что увидят там часы; они говорят приятелю, у которого опустела табакерка: «Заверни в переулок, там есть табачная лавочка — налево, рядом с кондитером, который женат на хорошенькой». Бродить по Парижу для этих поэтов — истинное удовольствие. Как не потратить несколько минут на созерцание драм, бедствий, лиц, живописных происшествий, которые осаждают вас на улицах этой вечно оживленной царицы городов, разодетой в афиши и все же не имеющей ни одного чистого уголка, до того она приспособилась к порокам французской нации! Кому не случалось выйти из дому утром, спеша на окраину Парижа,— и до полудня не иметь сил расстаться с центром? Любители Парижа извинят подобное бродяжничество с раннего утра, которое все же приводит к наблюдениям в высшей степени полезным и новым, если только можно делать новые наблюдения в Париже, где нет ничего нового: ведь даже на статуе, поставленной только вчера, уличный мальчишка уже успел нацарапать свое имя! Да, в Париже есть улицы, закоулки, дома, большей частью неизвестные представителям высшего света, где светская женщина не могла бы показать-

ся, не возбудив самых оскорбительных для нее предположений. Если эта женщина богата и обычно разъезжает в карете, а ее встретят в одном из подобных парижских ущелий, идущей пешком или переодетой, то ее репутация порядочной женщины сильно пострадает. Если же какой-нибудь посторонний наблюдатель увидит там светскую женщину в девять часов вечера, то он придет к самым ужасным для нее выводам. Наконец, если она молода и хороша собой и вдруг войдет в дом на подобной улице, вступит под своды длинного, темного прохода, сырого и смрадного; если в глубине его забрезжит слабый свет лампы и при этом свете покажется ужасное лицо какой-то старухи со скрюченными пальцами,— то поистине, скажем прямо, в предостережение молодым и красивым женщинам: такая женщина уже погибла. Она окажется во власти любого знакомого мужчины, встретившего ее в этом парижском болоте. Но в Париже есть улица, где подобная встреча может кончиться страшной, потрясающей драмой, полной крови и любви, драмой в духе современной литературной школы. К несчастью, драматизм подобного рода, как и сама современная драма, мало кому понятен; очень прискорбно, что приходится рассказывать такую историю тем, кто не способен оценить ее местный колорит. Но кто может похвастать тем, что его когда-либо поняли? Все мы умираем непонятыми. Так утверждают женщины и писатели.

В начале февраля месяца, лет тринадцать тому назад, в те времена, когда на улице Пажвен нельзя было найти стены без какой-нибудь непотребной надписи, один молодой человек забрел туда пешком по случайному стечению обстоятельств, которое не повторяется дважды в жизни, и огибал угловой дом по правой стороне, чтобы свернуть на улицу Старых августинцев, ведущую к совершенно пустынной улице Соль, самой ухабистой и самой узкой изо всех парижских улиц даже в наиболее людной своей части. И вот — это было в девятом часу вечера — молодой человек, проживавший сам на улице Бурбон, заметил, что женщина, неподалеку от которой он совершенно беззаботно шел, чем-то напоминает красивейшую женщину Парижа, скромную и очаровательную особу, в которую он был тайно влюблен — влюблен страстно, но

безнадежно: она была замужем. У него заняло дух, нестерпимый жар вспыхнул в груди и разлился по жилам, по спине пробежали мурашки, и он почувствовал, как на голове у него подымаются волосы. Он любил; он был молод; он знал Париж и был достаточно опытен, чтобы понимать, какой позор грозил молодой и богатой женщине, красивой и изящной, опасливо, как преступница, пробирающейся по этим местам. *Она* на этой гнусной улице, и в такой час! Любовь, которую питал молодой человек к этой женщине, может показаться на редкость романической, тем более что он был офицером королевской гвардии. Будь он еще пехотинец, было бы понятно; но как старший кавалерийский офицер он принадлежал к тому роду французского воинства, которое избаловано легкими победами и тешит свое тщеславие любовными похождениями, как и блестящим мундиром. Однако страсть этого офицера была истинной, и многим юным сердцам она показалась бы великой. Он любил эту женщину за то, что она была чиста душою, он любил в ней именно ее добродетель, целомудренную грацию, величавую святость — самое дорогое сокровище для его затаенной страсти. Эта женщина действительно была достойна внушить платоническую любовь, какая встречалась в средние века, словно цветок среди окровавленных развалин; достойна стать тайным источником вдохновения для молодого человека во всех делах его; то была любовь, столь же высокая и чистая, как синева небес; любовь без надежд, которой дорожат, ибо она-то уж не обманет; любовь, дарящая безудержные восторги, особенно в том возрасте, когда сердце пылко, воображение остро и когда у мужчины такой зоркий глаз.

В Париже можно иногда видеть причудливую, странную, непостижимую игру ночных теней — только тот, кто развлекался подобными наблюдениями, знает, какой фантастической становится женщина в сумерках. Вдруг существо, за которым вы случайно или преднамеренно идете, привлечет ваше внимание своим гибким станом; мелькнувший чулок, если он очень бел, создаст представление о стройной, изящной ножке; а порою возникшая из темноты женская фигура, хотя и скрытая шалью или шубкой, поразит своими молодыми и сладострастными очертаниями; неверный свет лавки или уличного фо-

наря придаст незнакомке мимолетную, почти всегда обманчивую прелесть, воспламенит воображение, унесет душу за пределы действительности. Чувства кипят, все вокруг становится ярким и живым; женщина принимает новый облик; тело ее исполняется необычайной красоты; мгновениями кажется — это не женщина, это демон, блуждающий огонек, влекущий вас жгучим магнетизмом,— но вот вы дойдете, наконец, до какого-нибудь скромного дома, и тогда бедная мещаночка, испуганная вашим настойчивым преследованием и громким стуком ваших сапог, даже не оглянувшись, захлопнет перед вашим носом дверь...

Мерцающий свет, отбрасываемый стеклянной дверью какой-то сапожной мастерской, внезапно осветил фигуру женщины, шедшей впереди молодого человека, и обрисовал изящную линию ее бедер. Ах, конечно, только у *нее* одной так красиво выгнут стан! Ей одной лишь доступна тайна этой целомудренной походки, невинно подчеркивающей красоту самых обольстительных форм. Да, это ее шаль, ее бархатная шляпа. Ни пятнышка на серых шелковых чулках, ни следа грязных брызг на ботинках. Шаль плотно облегала грудь, смутно обрисовывая плечительные очертания тела,— а молодой человек видел на балу ее белые плечи и знал о сокровищах, сокрытых шалью. По тому, как парижанка накинет шаль, по самой поступи женщины сообразительный человек отгадает цель ее таинственной прогулки. Во всей фигуре и походке чувствуется тогда что-то трепетное, воздушное: женщина становится как бы невесомой, она идет, или, вернее, стремительно проносится, как проносится падучая звезда по небесному своду, она летит, увлекаемая замыслом, который чувствуется в каждой складке, в каждой линии ее платья. Молодой человек ускорил шаг, обогнал женщину и обернулся, чтобы взглянуть на нее. Увы! Она уже скрылась в доме, за решетчатой дверью с колокольчиком, которая хлопнула и звякнула. Молодой человек отошел и увидел, как женщина стала подниматься по лестнице в глубине коридора, ступеньки которой были ярко освещены внизу; шла она легко и поспешно, словно охваченная нетерпением.

«Чем объяснить ее нетерпение?» — подумал молодой человек, отступив на противоположную сторону улицы и

прижавшись к какой-то стене. Несчастный внимательно оглядел все этажи дома, как будто был полицейским агентом и разыскивал заговорщика.

Таких домов в Париже тысячи: отвратительное, вульгарное, вытянутое в вышину пятиэтажное здание шириной в три окна, желтовато-бурого цвета. Лавчонку и помещение рядом с ней снимал сапожник. Ставни второго этажа были закрыты. Куда прошла дама? Молодому человеку показалось, что он слышал дребезжание колокольчика в квартире третьего этажа. И действительно, в одной из комнат третьего этажа с двумя ярко освещенными окнами свет задрожал и исчез; зато вдруг осветилось соседнее окно, до тех пор темное,— из чего можно было сделать вывод, что там была другая комната. вероятно, столовая или гостиная. Тотчас смутно обозначились очертания дамской шляпы, дверь затворилась, и вот комната опять погрузилась в темноту, а в двух соседних окнах снова показался красноватый свет. Но тут молодому человеку крикнули: «Берегись!» — и ударили чем-то в плечо.

— Чего зазевались? — раздался грубый голос.

Голос принадлежал мастеровому, несшему на плече длинную доску. Мастеровой прошел дальше. Этот человек был, казалось, послан самим провидением, чтобы сказать любопытному: «А тебе что тут надо? Знай свою службу и не вмешивайся в делишки парижан».

Молодой человек скрестил на груди руки; чувствуя себя скрытым от посторонних взоров, он дал волю гневным слезам, они катились по щекам его, и он даже не утирал их. Наконец ему стало так больно при виде движущихся теней в двух освещенных окнах, что он отвел глаза и, случайно взглянув вдоль улицы Старых августинцев, заметил фиакр, стоявший у стены, где не было видно ни подъезда, ни света от лавки.

«Она это или не она?» Вопрос жизни и смерти для влюбленного. И этот влюбленный ждал. Он простоял там целую вечность, длившуюся двадцать минут. Но вот женщина вышла, и он узнал ту, которую тайно любил. И все еще он не хотел верить себе. Незнакомка направилась к фиакру и села в него.

«Дом останется на месте, я и потом успею там все высмотреть»,— решил молодой человек и бегом пустился

за экипажем, чтобы рассеять последние сомнения,— от них скоро не осталось и следа.

Фиакр остановился на улице Ришелье, у модного магазина около улицы Менар. Дама вошла в магазин, выслала деньги кучеру, а сама стала выбирать перья марабу. Перья к ее черным волосам! Вот она приложила несколько штук к голове, чтобы судить о впечатлении. Офицеру казалось, что он улавливает ее разговор с продавщицей.

— Сударыня, ничто так не красит брюнеток, как перья марабу, они смягчают их несколько резкие черты лица. Герцогиня де Ланже говорит, что они придают женщине нечто таинственное, оссиановское, безусловно хорошего тона.

— Я беру их. Пришлите мне поскорее.

Затем дама вышла из магазина и поспешно свернула на улицу Менар, где был ее особняк. Когда за ней закрылись двери, молодой влюбленный, потеряв все надежды и — горше всего! — веру в самое дорогое, что у него было, словно пьяный, побрел по Парижу и сам не заметил, как оказался дома. Он бросился в кресло, сжал руками виски и вытянул ноги на решетку камина, подсушивая и даже подпаливая при этом свои промокшие сапоги. То была страшная минута, одна из тех в жизни, когда меняется характер и дальнейшее поведение даже самого лучшего человека зависит от первого предпринятого им шага. Провидение это или судьба — называйте, как хотите.

Молодой человек принадлежал к хорошей дворянской семье, впрочем, не особенно древнего происхождения; но нынче так мало осталось поистине древних родов, что все молодые люди снисходительно причисляются к старинной знати. Прадед его купил должность советника парижского парламента, где и получил потом звание президента. Сыновья его, все до одного наделенные хорошим состоянием, заняли служебные должности и благодаря связям были приняты при дворе. Революция разметала всю семью; осталась только упрямая старая вдова, не пожелавшая эмигрировать, она побывала в тюрьме, едва избежала казни, была спасена 9 термидора и вернула себе все богатства. Около 1804 года, дождавшись благоприятного времени, она вызвала к себе внука — Огюста

де Моленкура, единственного отпрыска, оставшегося от рода Шарбонон де Моленкуров, и воспитала его, окружив тройной заботой — матери, дворянки и упрямой старухи. А в годы Реставрации молодой человек, восемнадцати лет от роду, вступил в Мезон-Руж, сопровождал королевское семейство в Гент, получил назначение офицером в лейб-гвардию, перешел в армию, снова был назначен в гвардию, где в двадцать три года командовал эскадроном кавалерийского полка — блестящее положение, которым он был обязан бабке, прекрасно умевшей устраивать дела, несмотря на свой преклонный возраст. Эта двойная биография, не считая некоторых отступлений, является как бы кратким изложением общей и частной истории всех эмигрантских семейств, у которых были долги и земли, бездетные вдовы и житейская сметка. У баронессы де Моленкур был друг — старый видам де Памье, в прошлом — командор Мальтийского ордена. Ее дружбу с видамом — один из образцов вечной дружбы,— скрепленную шестидесятилетней давностью, ничто уже не в силах было поколебать, ибо в основе такой близости всегда скрыта тайна человеческого сердца, увлекательная, когда располагаешь временем, чтобы ее исследовать, но опошляемая, если разъяснять ее в двадцати строках, ибо ее хватило бы и на четырехтомный роман, столь же занимательный, как и «Киллеринский настоятель», одно из тех произведений, о которых молодые люди рассуждают, никогда их не читая. Огюст де Моленкур был принят в Сен-Жерменском предместье благодаря своей бабке и видаму; а двухвековой древности его рода ему было достаточно, чтобы усвоить чванство и взгляды тех, кто считает себя потомками Хлодвига. Этот бледный, хрупкий, стройный молодой человек с мягкими манерами был человеком чести и неподдельной отваги; не задумываясь, по малейшему поводу дрался он на дуэли и, хотя не участвовал еще ни в каком сражении, однако носил в петлице крест Почетного легиона. Он, как видите, был живым воплощением одной из ошибок Реставрации,— впрочем, пожалуй, самой простительной. Молодежь этого времени не была молодежью, вскормленной какой-нибудь одной эпохой: она оказалась между воспоминаниями об Империи и воспоминаниями об эмиграции, между старинными традициями двора и доб-

ропорядочными буржуазными занятиями, между религией и балом-маскарадом, между двумя политическими системами, между Людовиком XVIII, который жил только настоящим, и Карлом X, который был озабочен только будущим; наконец она вынуждена была почитать волю короля, даже если король и ошибался. Эту молодежь, во всем неуверенную, слепую и ясновидящую, ни во что не ставили старики, жадно цеплявшиеся своими дряхлыми руками за бразды государственного правления, тогда как спасти монархию могла только их отставка да порыв юной Франции, над которой до сих пор потешаются старые доктринеры, эти эмигранты Реставрации. Огюст де Моленкур был жертвой идей, тяготевших тогда над молодежью,— и вот почему. Видам в шестьдесят семь лет еще был остроумным собеседником, он много повидал на своем веку, многое испытал, был прекрасным рассказчиком, человеком порядочным, светским человеком, но отвратительно относился к женщинам: он их любил — и вместе с тем презирал. Их честь, их чувства? Вздор, глупости, кривлянье! Этот былой сердцеед верил женщинам, когда находился в их обществе, никогда не противоречил им, почитал их. Но когда среди друзей заходил разговор о женщинах, видам обычно изрекал, что обманывать женщин, вести несколько интриг сразу — вот занятие, которому должны посвящать себя молодые люди, а пытаясь вмешиваться в государственные дела, они сбиваются с пути истинного. Прискорбно, что приходится воссоздавать столь устарелый образ. Кто только его не изображал! Право же, он почти так же затаскан, как образ императорского гренадера. Но видам оказал влияние на судьбу господина де Моленкура, и о видаме нельзя умолчать; он поучал его на свой манер и хотел превратить его в последователя великого века галантности. Почтенная вдова, женщина нежная и набожная, преклонявшаяся и перед видамом и перед богом, образец милосердия и кротости, но наделенная выдержкой хорошего тона, которая в конечном итоге все побеждает, захотела, чтобы внук сохранил прекрасные иллюзии юности, и воспитала его в лучших правилах; она передала ему все свои утонченные чувства и сделала из него человека застенчивого, производившего впечатление настоящего простачка. Чувства этого юноши, сохраненные

в чистоте, не пострадали от прикосновения грубой жизни, он оставался таким целомудренным и щепетильным, что его оскорбляли действия и суждения, почитаемые в свете за самые обыкновенные. Стыдясь своей чувствительности, молодой человек скрывал ее под напускной самоуверенностью и в глубине души страдал; но на людях он издевался над тем, чем втайне был восхищен. И жизнь обманула его: по довольно обычному капризу судьбы, он, тихий меланхолик, спиритуалист в любви, встретил в предмете своей первой страсти женщину, питавшую отвращение к немецкой сентиментальности. Молодой человек потерял веру в себя, стал мечтателем, весь ушел в свои печали, сокрушаясь, что остался непонятым. Но так как мы с особенной страстью жаждем именно того, чего нам всего труднее добиться, он продолжал обожать женщин, сам обнаруживая при этом присущую женщинам вкрадчивую нежность и кошачью ласковость, тайной которых, быть может, они не желают ни с кем делиться, считая себя единственными ее обладательницами. В самом деле, хотя женщины и сетуют на то, что мужчины недостаточно любят их, они, тем не менее, мало благосклонны к мужчинам с женственной душой. Все превосходство женщин состоит в том, чтобы уверить мужчину, будто ему недоступна возвышенная женская любовь, вот почему они так охотно бросают любовника, если тот столь неопытен, что лишает их усладительных страхов, изысканных страданий надуманной ревности, волнений обманутых надежд, тщетных ожиданий — словом, всей совокупности восхитительных женских горестей; они не терпят Грандисонов. Что может быть противнее их природе, чем любовь спокойная и совершенная? Они жаждут великих страстей, а счастье, лишенное бурь,— уже для них не счастье. Женские души, достаточно сильные, чтобы воплотить в любви бесконечность,— это исключительные, ангельские души, и такие натуры среди женщин подобны тому, чем являются гении среди мужчин. Великие страсти столь же редки, как и высокие творения искусства. Кроме этой великой любви, существует любовь-сделка и скоропреходящее возбуждение, презренные, как все мелкое.

В дни тайных сердечных мучений, когда Огюст искал женщину, способную его понять,— такая мечта, кстати

сказать, является великим любовным безумием нашего века,— он встретил в обществе, наиболее далеком от его круга, во второй сфере денежного мира, где первенствуют крупные банкиры,— совершенное существо, одну из женщин, излучающих как бы нечто святое, неземное и внушающих такое благоговейное чувство, что только после долгого дружеского общения решаешься заговорить с ними о своей любви. Огюст весь отдался радостям самой трогательной и самой глубокой страсти: он восхищался — и только. То были бесчисленные сдерживаемые желания, нежные и глубокие порывы, столь неуловимые и поразительные в своих оттенках, что нельзя даже подыскать им сравнения, как цветочным ароматам, перистым облакам, солнечным лучам, скользящим теням — всему, что в природе может мгновенно блеснуть и померкнуть, ожить и сейчас же умереть, оставив, однако, в сердце глубоко запавшее чувство. Когда душа еще достаточно юна, чтобы предаваться меланхолии и неясным надеждам, когда она способна видеть в женщине больше, чем женщину, тогда не величайшее ли счастье, какое может испытать мужчина,— любить так, чтобы ощущать радость лишь оттого, что дотронулся до белой перчатки, слегка коснулся волос, услышал несколько слов, бросил мимолетный взгляд? Не великая ли это радость, которую не дает самая страстная любовь при самом полном удовлетворении? Вот почему отвергнутые, безобразные, несчастные, тайно влюбленные, робкие женщины и мужчины знают, какие сокровища таит в себе голос любимого существа. Зарождаясь и беря начало в самой душе, эти вибрации голоса, насыщенного огнем, с такой силой соединяют сердца, с такой ясностью передают мысль, так неспособны лгать, что нередко в одной только интонации заключено все значение слов. Сколько очарования дарит сердцу поэта гармонический звук нежного голоса! Сколько дум он пробуждает! Как ободряет его! Любовь слышится в голосе раньше, чем угадывается во взгляде. Огюст — поэт, как всякий влюбленный (бывают поэты чувствующие и поэты пишущие, первые счастливее вторых),— Огюст наслаждался всеми этими первыми радостями, столь огромными, столь животворными. *Она* обладала самым привлекательным голосом, какой только может пожелать себе самая хит-

рая обманщица; у нее был серебристый голос, сладостный для слуха, но потрясающий сердце, которое он волнует и тревожит и, лаская, заставляет трепетать. И такая-то женщина шла вечером по улице Соли́, по улице Пажвен; и своим тайным посещением отвратительного дома она разбила прекраснейшую из страстей! Логика видама восторжествовала.

«Если она изменяет мужу, мы отомстим»,— подумал Огюст.

В этом «если» еще звучала любовь... Философское сомнение Декарта — вежливая оговорка, которой мы обязаны почтить добродетель. Пробило десять. И тут барон де Моленкур вспомнил, что эта женщина должна быть вечером на балу в доме, куда был вхож и он. Не теряя ни минуты, он оделся, вышел, явился туда и с угрюмым видом принялся искать ее по гостиным. Г-жа де Нусинген, заметив, что он чем-то озабочен, спросила его:

— Вы ищете госпожу Демаре? Но ее еще нет.

— Добрый вечер, дорогая,— раздался чей-то голос.

Огюст и г-жа Нусинген обернулись. Г-жа Демаре была в белом платье простого и благородного покроя, волосы ее украшали те самые перья марабу, которые она выбрала в модном магазине на глазах у молодого барона. Этот пленительный голос пронзил сердце Огюста. Если бы он завоевал хоть какое-нибудь право ревновать эту женщину, он заставил бы ее окаменеть, произнеся лишь два слова: «Улица Соли́!» Но ведь он, совершенно чужой ей человек, тысячу раз мог прошептать на ухо г-же Демаре эти слова, а она лишь спросила бы его с удивлением, в чем дело; Огюст молча посмотрел на г-жу Демаре.

Злым людям, тем, кто рад все осмеять, доставило бы, пожалуй, большое удовольствие владеть тайной женщины, знать, что целомудрие ее лживо, что под безмятежностью ее прячутся тайные мысли и за чистым челом скрывается какая-то отвратительная драма. Но некоторые натуры бывают глубоко удручены подобным зрелищем, и многие из тех, кто смеется на людях, придя домой, наедине со своей совестью проклинают свет и клеймят презрением таких женщин. Нечто подобное испытывал Огюст де Моленкур по отношению к г-же Демаре. Стран-

ное положение! Между ними не было никакой близости, их чисто светское знакомство ограничивалось тем, что за зимний сезон они семь-восемь раз обменялись несколькими словами,— а он судил ее; она разбила его счастье, даже не зная об этом,— а он, не сказав ей, в чем она обвиняется, уже выносил ей приговор. Многие из молодых людей попадали в подобное положение и, вернувшись домой, предавались отчаянию после такого же разрыва с женщиной, которую они любили лишь душою, которую молча осудили и предали презрению. Бывают безвестные монологи, обращенные к стенам уединенного жилища, бури, возникшие и укрощенные в глубине сердца,— восхитительные сцены духовной жизни, достойные кисти живописца.

Госпожа Демаре села, оставив мужа прохаживаться по гостиной. Казалось, у нее был несколько смущенный вид, когда она уселась и, разговаривая с соседкой, украдкою бросила взгляд на Жюля Демаре, своего мужа, работавшего маклером у барона де Нусингена.

Вот история этой четы. Г-н Демаре за пять лет до женитьбы служил в конторе биржевого маклера, и все его состояние заключалось тогда в скудном жалованье конторщика. Но он был из тех, кого испытания быстро учат житейской мудрости, кто следует по избранному пути с упорством букашки, пробирающейся к своему жилью; он был одним из тех настойчивых молодых людей, которые сохраняют невозмутимое спокойствие в борьбе с препятствиями и преодолевают любую волю своим муравьиным терпением. Так, еще совсем молодым человеком он обладал всеми республиканскими добродетелями бедняков: он был скромен, не тратил попусту свое время и был врагом развлечений. Он ждал. К тому же природа наделила его огромным преимуществом — приятной наружностью. Его спокойный и чистый лоб, черты его кроткого, но выразительного лица, его простые манеры — все свидетельствовало о трудолюбивом и безропотном существовании, о внутреннем достоинстве, которое нельзя не уважать, и о глубоком душевном благородстве, которое человек сохраняет, какое бы положение он ни занимал. Его скромность внушала всем, кто его знал, своеобразное почтение. Впрочем, совсем одинокий в Париже, он только ненадолго показывался в обществе, изредка, по

праздникам, появляясь в гостиной своего патрона. Этому молодому человеку, как и большинству людей, живущих подобно ему, были свойственны страсти поразительной глубины, страсти, слишком огромные, чтобы проявляться в повседневной жизни. Ограниченный в средствах, он вынужден был отказывать себе во всем и укрощать свои желания усиленной работой. Проведя долгие часы за вычислениями, бледный от усталости, он находил отдых в том, что упорно пополнял запас знаний, необходимых в наши дни для всякого, кто желает выдвинуться в свете, в области торговли, адвокатуры, политики или литературы. Единственным подводным камнем на пути этих прекрасных душ бывает их собственная честность. Встретятся с бедной девушкой, влюбятся в нее, женятся — и вся жизнь их пройдет затем в борьбе между нищетой и любовью. Книга домашних расходов способна угасить самые пламенные честолюбивые мечты. Жюль Демаре со всего размаха наскочил на этот подводный камень. Как-то вечером он встретил у своего патрона молодую девушку редкой красоты. Несчастливцы, лишенные привязанностей, расточающие лучшие часы своей юности в упорном труде, одни только знают, как стремительно овладевает страсть одинокими, никому не ведомыми сердцами. Они столь уверены, что это и есть настоящая любовь, столь безраздельно отдают все свои силы женщине, которой увлеклись, что испытывают наслаждение от одного ее присутствия, даже не стремясь как-либо выразить свое чувство. Нет ничего более лестного, чем такой мужской эгоизм, для женщины, которая умеет разгадать эту скованную силу страсти, эти порывы ее, возникающие в таких глубинах, что долго они остаются недоступными для взора. Подобным несчастным людям — отшельникам в недрах самого Парижа — знакомы все радости христианских отшельников, а порою — их грехопадения; но чаще они оказываются обманутыми, преданными, непонятыми, им редко удается пожинать сладостные плоды любви, которая бывает для них всегда цветком, упавшим с небес. Одной улыбки девушки, ставшей впоследствии его женой, одного звука ее голоса было достаточно для Жюля Демаре, чтобы зажечь в нем безграничную страсть. К счастью, жаркий огонь этой тайной любви наивно открылся той. кто его зажгла.

И тогда эти два существа свято полюбили друг друга. Словом, они, не стыдясь света, взялись за руки, как дети, как брат и сестра, когда тем надо пройти сквозь толпу, где каждый, в восхищении при виде их, уступает им дорогу. Положение молодой девушки было тогда ужасным, как и многих детей—жертв человеческого эгоизма. Она была незаконнорожденной — ее имя, Клеманс, и ее возраст были засвидетельствованы только нотариальным актом. Состояние же у нее было самое незначительное. Узнав об этих печальных обстоятельствах, Жюль Демаре почувствовал себя счастливейшим из людей. Происходи Клеманс из богатой семьи, он не надеялся бы добиться ее руки; но она была бедное дитя любви, плод какой-то ужасной незаконной страсти; они поженились. И тут для Жюля Демаре началась полоса удач. Все завидовали его счастью, злые люди твердили, что ему просто повезло, умалчивая при этом о его достоинствах и его мужестве. Вскоре после того, как Клеманс вышла замуж, ее мать, которая в свете слыла за ее крестную, посоветовала Жюлю Демаре купить должность маклера, обещая достать необходимые для этого деньги. В то время такая должность стоила еще недорого. Вечером, в гостиной его патрона, один богатый капиталист, по рекомендации этой дамы, предложил Жюлю Демаре наивыгоднейшую сделку, предоставив ему такой кредит, какой был нужен, чтобы пустить дело в ход, и на другой день счастливый конторщик купил контору маклера, у которого служил. За четыре года Жюль Демаре стал одним из самых богатых людей своего круга, новые солидные лица пополнили собой число клиентов, переданных ему вместе с конторой. Он внушал всем безграничное доверие, и дела его устраивались так блестяще, что невольно напрашивалась мысль или о тайном влиянии тещи, или о каком-то таинственном покровительстве, которое сам он приписывал небесному провидению. В конце третьего года замужества Клеманс потеряла свою крестную мать. К этому времени г-н Жюль,— его звали так в отличие от его старшего брата, устроенного им нотариусом в Париже,— имел уже около двухсот тысяч ливров годового дохода. Нельзя было встретить в Париже более счастливую чету. В течение пяти лет их исключительная любовь один-единственный раз была омрачена клеветой, за ко-

торую г-н Жюль жестоко отомстил. Один из его прежних приятелей приписал г-же Демаре обогащение ее мужа, уверяя, что тут не обошлось без какого-нибудь ее покровителя, и притом, разумеется, не бескорыстного. Клеветник был убит на дуэли. Глубокая взаимная страсть Жюля и его жены, выдержавшая испытания брака, возбуждала величайшие восторги в свете, хотя и раздражала некоторых женщин. Все уважали, все ласкали очаровательную чету. Все искренне любили г-на и г-жу Демаре, быть может, потому, что нет ничего сладостнее вида счастливых людей; но супруги никогда не задерживались долго в гостиных, им не терпелось вернуться домой — так заблудившиеся голубки, торопливо взмахивая крыльями, спешат к своему гнезду. Гнездышко Жюля и его жены находилось на улице Менар и представляло собою большой и прекрасный особняк, где художественный вкус умерял показную пышность, вошедшую в традицию у финансистов, и где муж и жена устраивали великолепные приемы. Хотя шумная жизнь мало их привлекала, однако Жюль терпел светское общество, зная, что рано или поздно семье не обойтись без него; но жена его и он сам всегда чувствовали себя в свете как тепличные растения посреди разыгравшейся бури. Из деликатности, вполне естественной, Жюль скрыл от жены и пущенную про нее клевету и смерть клеветника, чуть было не омрачившего их семейное счастье. Г-жа Демаре, в силу своей артистической, утонченной натуры, любила роскошь. Даже после того страшного урока, каким послужила дуэль, находились неосторожные женщины, судачившие о том, что, вероятно, супруга г-на Жюля частенько нуждается в средствах. По их расчетам, двадцати тысяч франков, отпускаемых ей мужем на туалеты и всякие прихоти, не могло ей хватить. И правда, в домашней обстановке она бывала нередко еще наряднее, чем в обществе. Она любила одеваться только для мужа, как бы желая показать, что она ставит его выше общества. Это была любовь истинная, любовь чистая и счастливая, как только может быть счастливо чувство, таящееся от людского глаза. Г-н Жюль всегда оставался любовником собственной жены, с каждым днем был влюблен в нее все больше и больше, любил в ней все, да-

же ее капризы, и, мало того, начинал беспокоиться, если их не было, словно это был признак какой-нибудь болезни.

На свою беду Огюст де Моленкур столкнулся с этой страстью и увлекся этой женщиной до потери рассудка. Однако, хотя для него не существовало ничего, кроме его возвышенной любви, он не был смешон. Он подчинялся всем требованиям нравов военных; но даже за бокалом шампанского неизменно сохранял он тот мечтательный вид, то презрительное отношение к жизни и то хмурое выражение лица, которые по тем или иным причинам наблюдаются у людей пресыщенных, неудовлетворенных житейской суетой, и у всех, кто считает себя слабогрудым или подозревает у себя сердечное заболевание. Быть безнадежно влюбленным и пресыщенным жизнью нередко в наши дни составляет основное занятие человека. А ведь попытка завладеть сердцем какой-нибудь королевы была бы менее безнадежна, чем эта безрассудная любовь к женщине, счастливой в супружестве. Итак, Моленкур имел достаточно оснований пребывать в угрюмой печали. Королеву можно покорить, играя на ее тщеславной жажде власти, ее высокое положение — ее слабость; но богобоязненная мещаночка защищена надежной оболочкой, словно еж или устрица.

В настоящую минуту молодой офицер находился подле той, которая неведомо для себя была его возлюбленной и, бесспорно, не подозревала, что повинна в двойной измене. Г-жа Демаре держалась просто, как самая бесхитростная из женщин, и была преисполнена кротости и величавого покоя. Ну не омут ли человеческая натура! Прежде чем заговорить, барон поочередно оглядел жену и мужа. Какие только мысли не приходили ему в голову! В одно мгновение он пережил «Ночи» Юнга от начала и до конца. А в залах гремела музыка, тысячи свечей изливали свой свет,— это был бал у банкира, одно из тех наглых празднеств, которыми мир полновесного золота бросал вызов старому позлащенному миру салонов, где смеялось избранное общество Сен-Жерменского предместья, не подозревавшее, что близок день, когда банк захватит Люксембургский дворец и водворится на троне. Будущие заговорщики плясали тогда, не задумываясь ни о грядущем крахе власти, ни о грядущих крахах бан-

ка. Роскошные гостиные барона де Нусингена блистали тем особенным оживлением, какое придает своим праздникам парижский свет, всегда веселый — хотя бы с виду. Здесь талантливые люди дарят глупцам блестки своего ума, а глупцы заражают их своей счастливой беспечностью. Такой взаимный обмен все оживляет. Праздник в Париже всегда слегка напоминает фейерверк: остроумие, кокетство, наслаждение — все вспыхивает и гаснет, словно ракеты. На следующий день никто уже не помнит ни острых слов, ни кокетливых взглядов, ни минувших удовольствий.

«Что же, стало быть, женщины все таковы, какими их представляет старый видам? — подумал Огюст, подводя итог своим размышлениям.— Бесспорно, госпожа Демаре кажется самой безупречной из всех танцующих здесь женщин, а госпожа Демаре бывает на улице Соли́».

Улица Соли́ стала его навязчивой идеей, от одного ее названия у него сжималось сердце.

— Сударыня, почему вы никогда не танцуете? — спросил он г-жу Демаре.

— Вот уже третий раз за зиму вы задаете мне этот вопрос! — ответила она улыбаясь.

— Но вы как будто еще ни разу мне не ответили.

— Это правда.

— Я не сомневаюсь, что вы так же неискренни, как и все женщины...

Госпожа Демаре продолжала улыбаться.

— Знаете ли, сударь, если бы я открыла вам истинную причину, она показалась бы вам смешной. Я не считаю неискренностью скрывать то, над чем потешается свет.

— Тайны, сударыня, открываются только друзьям,— звание, которого я, наверное, не заслужил. Но у вас могут быть только благородные тайны; так неужели вы считаете меня способным смеяться над чувствами, достойными уважения?

— Да,— ответила она,— вы, как и все, смеетесь над нашими самыми чистыми побуждениями, вы на них клевещете. Впрочем, мне нечего скрывать. Мое право — любить мужа открыто, перед лицом всего света, я признаюсь в этой своей любви, я горжусь ею; и если вы стане-

те издеваться надо мною, узнав, что я танцую только с ним, я составлю дурное мнение о вашем сердце.

— Так, значит, вы после замужества танцевали только с мужем и больше ни с кем?

— Да, сударь. Его рука — единственная, на которую я опиралась, и я никогда не знала прикосновения другого мужчины.

— Что же, и врач ни разу не щупал вам пульса?

— Ну вот, вы уже издеваетесь!

— Нет, сударыня, я вами восхищаюсь, я вас понимаю. Но вы разрешаете слушать ваш голос, вы разрешаете видеть вас... словом, вы дозволяете нам восхищаться вами...

— Ах, вот это меня и печалит,— перебила она.— Да, я хотела бы, чтобы замужняя женщина жила бы со своим мужем, как любовница с любовником, тогда...

— Тогда почему же два часа тому назад вы, пешком, таясь ото всех, шли по улице Соли́?

— Что это за улица Соли́? — спросила она его.

И ее чистый голос не выдал ни малейшего волнения, ни одна черта лица ее не дрогнула, она не покраснела, не смутилась.

— Как! Вы не поднимались на третий этаж дома на углу улицы Старых августинцев и Соли́? Вас не ждал фиакр в десяти шагах от дома? Вы не отправились потом на улицу Ришелье в магазин, где купили те самые перья марабу, что украшают сейчас вашу голову?

— Сегодня вечером я никуда не выходила из дому.

Произнося эти лживые слова, она смеялась и невозмутимо обмахивалась веером; но тот, кто был бы вправе обнять ее за талию, наверное, почувствовал бы, что спина ее покрылась холодным потом. В эту минуту Огюст вспомнил уроки видама.

— В таком случае та особа поразительно похожа на вас,— сказал он с доверчивым видом.

— Сударь,— ответила она,— если вы способны преследовать женщину и подглядывать за нею, то, простите за откровенность, вы поступаете дурно, очень дурно. Нет, я о вас держусь лучшего мнения и не хочу этому верить!

Барон отошел от нее, сел у камина и, казалось, задумался. Он опустил голову, но продолжал исподтишка

следить за г-жой Демаре, которая, забыв об отражении зеркал, два-три раза бросила на него взгляд, исполненный ужаса. Г-жа Демаре кивком головы подозвала мужа, оперлась на его руку и встала, чтобы пройтись по гостиным. Когда она проходила мимо г-на Моленкура, тот, как бы продолжая беседу с приятелем, громко сказал:

— Да, не знать этой женщине сегодня спокойного сна...

Госпожа Демаре остановилась, бросила на него презрительный взгляд и прошла дальше, не подумав о том, что стоило бы мужу перехватить этот взгляд, и под угрозой оказались бы ее счастье и жизнь двух мужчин. Огюст, охваченный бешенством, затаенным в глубине души, скоро ушел, поклявшись распутать эту интригу. Перед уходом он хотел еще раз взглянуть на г-жу Демаре, но ее уже не было. Что за драму испытывала его юная душа, чрезмерно пылкая, как у всех тех, кто не познал еще любви во всей желанной ими полноте! Он обожал г-жу Демаре и теперь, в этом новом ее облике, любил ее с неистовством ревности, с безумной тоской пробудившихся надежд. Ведь, изменив мужу, эта женщина становилась доступной и Огюст мог предаваться всем радостным предчувствиям счастливой любви, предвкушая бесконечные наслаждения, связанные с обладанием. Словом, он потерял ангела и обрел самого обольстительного демона. Он лег спать, строя бесчисленные воздушные замки, оправдывая поведение г-жи Демаре какой-то романической благотворительностью, чему и сам не верил. Затем он решил со следующего же утра посвятить все свое время и силы тому, чтобы доискаться, как возникла, с чем была связана, в чем заключалась тайна г-жи Демаре. Ему предстояло прочесть роман, или, вернее, познакомиться с драмой и самому принять в ней деятельное участие.

Недурное развлечение — ремесло шпиона, когда занимаешься им ради себя самого, ради удовлетворения своей страсти. Разве это не то же самое, что баловаться воровством, считая себя честным человеком? Но необходимо примириться с тем, что будешь задыхаться от гнева, изнывать от нетерпения, мерзнуть, стоя в грязи, леденеть и пылать огнем, жить обманчивыми надежда-

ми. Надо будет, ловя какое-нибудь сомнительное указание, стремиться к неизвестной цели, терпеть неудачи, проклинать все на свете, мысленно петь себе элегии или дифирамбы, глупо кричать на разглядывающего тебя безобидного прохожего, наскакивать на торговок с яблоками, опрокидывая их корзины, носиться по всему городу, стоять под окнами, строить тысячи предположений... Да ведь это настоящая охота, охота на улицах Парижа, со всеми ее особенностями — только что без собак, ружья и улюлюканья! Подобные ощущения сравнимы лишь с ощущениями игрока. Кроме того, требуется еще сердце, переполненное любовью или чувством мести, чтобы подстерегать в Париже добычу, как тигр, готовый к прыжку, и наслаждаться неожиданностями, таящимися в Париже, в каком-нибудь парижском квартале, находить в городе новые, не ведомые никому черты. Не значит ли это обладать многогранной душой, ощущать тысячу страстей, тысячу чувств одновременно?

Огюст де Моленкур со страстью предался этой кипучей жизни, ибо постиг все ее невзгоды и наслаждения. Переодевшись, слонялся он по Парижу, караулил на всех углах улиц Пажвен и Старых августинцев. Как охотник, метался он взад и вперед между улицей Менар и улицей Соли́, не зная сладости мести, не получая ни награды, ни наказания за весь свой труд, за все свои уловки и хитрости. И, однако, он не дошел еще до такого отчаяния, когда сжимается сердце и проступает пот на висках! Он бродил, не теряя надежды, думая, что г-жа Демаре пока еще не решалась появиться там, где однажды уже была застигнута. Новичок в этом деле, он не посмел обратиться с расспросами к привратнику дома, где бывала г-жа Демаре, или же к сапожнику; но он надеялся устроить себе наблюдательный пост в одной из квартир, расположенных напротив таинственного жилища. Он изучал местность, желая сочетать осторожность и нетерпение, любовь и тайну.

В первых числах марта, поглощенный думами о том, как нанести сокрушительный удар, он, покинув поле действий после упорных, но безрезультатных стараний, возвращался около четырех часов дня домой, куда его призывали служебные дела, как вдруг, едва лишь свернув на улицу Кокильер, он был застигнут ливнем, да таким,

от которого внезапно переполняются все канавы, а в лужах на мостовой вода расходится кругами под тяжелыми каплями. В таких случаях парижский «пехотинец» поневоле останавливается, ища спасения в лавке или кофейне, если у него есть деньги, чтобы уплатить за вынужденное гостеприимство, а на худой конец — под воротами, в этом убежище бедных, плохо одетых людей. И как это наши художники не удосужились до сих пор изобразить кучку парижан, столпившихся в непогоду под сырым навесом крыльца! Где встретите вы более живописную картину? Прежде всего вы увидите здесь пешехода-мечтателя или философа: с удовольствием наблюдает он за длинными полосами дождя, пронизывающими тусклый парижский воздух, образуя словно причудливый чеканный узор, наподобие стеклянных прожилок; за смерчами светлой водяной пыли, которые взвивает над крышами ветер; за своевольно брызжущими, вспененными потоками, рвущимися из водосточных труб; наконец, за тысячами других восхитительных мелочей, которыми наслаждается уличный зевака, невзирая на то, что привратник не раз заденет его своей метлой. Вот словоохотливый пешеход — он посетовал на погоду и разговорился с привратницей, а та оперлась на метлу, как гренадер на ружье; вот пешеход-оборвыш — он кажется каким-то фантастическим существом на фоне стены, к которой прислонился, ничуть не заботясь о своих намокших лохмотьях, привычных ко всем уличным случайностям; вот пешеход-грамотей, неустанно изучающий афиши, читающий их по складам, а то, случается, и бегло; вот пешеход-шутник — он потешается над прохожими, когда их постигнет какая-нибудь беда, смеется над женщинами, забрызганными грязью, а всем, кто глазеет из окон, строит рожи, не щадя ни возраста, ни пола; дальше — молчаливый пешеход, скользящий взглядом по этажам; пешеход-мастеровой с сумкой или свертком в руках, оценивающий дождь с точки зрения выгоды и убытков; любезный пешеход, врывающийся, как бомба, со словами: «Ну и погодка, господа!» — и раскланивающийся со всеми; наконец, устроившийся на стуле привратника типичный парижский буржуа с зонтиком, опытный по части дождя, предвидевший непогоду, но вышедший из дому, несмотря на уговоры жены. Все

представители этого случайного общества, каждый на свой лад, поглядывают на небо и в конце концов вприпрыжку, стараясь не испачкать ног, снова пускаются в путь — потому ли, что боятся куда-нибудь опоздать, потому ли, что видят, как другие идут, несмотря на ветер и лужи, или потому, что во дворе, под навесом, такой промозглый, нездоровый воздух,— того и гляди схватишь простуду, а, по пословице, из двух зол выбирают меньшее. У каждого свои причины. И вот остается только осторожный пешеход — он не решается покинуть свое убежище, пока не увидит клочка ясного неба среди разорванных туч.

Господин де Моленкур приютился вместе с целым табором прохожих под аркой ворот старого дома, двор которого напоминал огромную печную трубу. С оштукатуренных, облупленных и зеленоватых от сырости стен спускалось столько труб и желобов, столько лилось воды с четырех многоэтажных корпусов во дворе, что можно было подумать, будто ты находишься среди водопадов Сен-Клу. Вода струилась отовсюду, она бурлила, вздымалась, журчала, принимала черный, белый, синий, зеленый цвет; она шумно взлетала из-под метлы привратницы, беззубой старухи,— та ничуть не страдала от разбушевавшейся непогоды и, видимо, благословляла ее, выметая на улицу множество самых разнообразных отбросов, обличавших образ жизни и привычки квартирантов. Это были обрезки ситца, чаинки, лепестки искусственных цветов, выцветших или не удавшихся мастерице, очистки овощей, какие-то бумажки, осколки металла. С каждым взмахом метлы обнажалось дно канавы, разделенной на шашечные клетки,— черной расщелины, с остервенением очищаемой привратниками. Несчастный влюбленный наблюдал эту сценку, подобную тысяче других, что разыгрываются ежедневно в изменчивом Париже, но наблюдал рассеянно, как тот, кто погружен в свои думы,— и вдруг, подняв голову, он встретился взглядом с только что подошедшим человеком.

Это был, судя по обличию, нищий, но не обычный известный нам парижский нищий, существо, которого не определишь словами ни на каком языке; нет, этот человек являл собой совершенно особенный тип, не укладываю-

щийся в ходячее понятие, связанное со словом «нищий». Незнакомец совсем был лишен того чисто парижского характера, что нередко поражает нас в иных зарисовках Шарле, где удивительно удачно бывают схвачены черты этих несчастливцев, грубых, измазанных грязью людей, с хриплыми голосами, красными носами картошкой, с беззубыми, но хищными ртами, людей до того жалких и до того ужасных, что взор их, блещущий умом, производит впечатление неожиданности. У некоторых из этих потерявших стыд бродяг—пятнистые, облупившиеся лица с набухшими жилами, изрезанный морщинами лоб, жидкие, засаленные волосы, словно на парике, выброшенном на свалку. Все они веселы в своем позорном падении и позорят себя своим весельем; все они отмечены печатью разврата, своим молчанием они бросают вам упрек; их состояние возбуждает страшные мысли. Влача свою жизнь на грани между нищенством и преступлением, они не знают больше угрызений совести, они опасливо и ловко обходят эшафот, они порочны, но не преступны — правда, от преступлений их удерживает лишь расчетливость, свойственная пороку. Иногда они возбуждают улыбку, но всегда наводят на размышление. Один воплощает в себе уродство цивилизации, его пониманию доступно все: и своеобразная честь каторжника, и патриотизм, и добродетель; он совмещает в себе и хитрость пошлого преступника и ум утонченного злодея. Другой покорен судьбе, он ловкий лицедей, но глуп. Все они когда-то были не лишены стремления к порядку и труду, но общество втоптало их в грязь, ему дела нет до того, что среди бедняков, этих парижских цыган, пропадает столько поэтов, великих людей, смелых, богато одаренных личностей; этот люд причастен к великому добру и великому злу, как все, прошедшие через страдания; он привык переносить неслыханные бедствия, какая-то губительная сила постоянно сталкивает его в грязь. Каждый из них лелеет свою мечту, надежду, радость, обретая их в картах, лотерее, вине. Ни единой черты, присущей этим странным существам, не чувствовалось в человеке, который беспечно прислонился к стене напротив г-на де Моленкура и походил на фантастический образ, созданный вымыслом даровитого художника и нарисованный на оборотной стороне какого-нибудь полотна. Высо-

кий и сухощавый, с лицом свинцового цвета, обличавшим работу глубокой, холодной, как лед, мысли, этот человек убивал жалость к себе в сердцах зевак своим ироническим и мрачным взглядом, без слов требуя, чтобы с ним обращались, как с равным. Его грязно-белое лицо и морщинистый лысый череп чем-то напоминали обломок гранита. Несколько прямых прядей седых волос падало с висков на воротник засаленного, доверху застегнутого сюртука. Он походил и на Вольтера и на Дон-Кихота; он был насмешлив и меланхоличен, полон философского презрения, но в то же время почти безумен с виду. По-видимому, на нем не было белья. Лицо обросло длинной бородой. Дрянной шейный платок черного цвета, изодранный и обтрепанный, даже не прикрывал морщинистой шеи в толстых, как веревки, жилах, с большим кадыком. Под глазами темнели дряблые мешки. Ему можно было дать шестьдесят лет, не меньше. У него были белые, чистые руки, на ногах — стоптанные рваные сапоги. К синим штанам в заплатах пристал какой-то белый пух, придававший им отвратительный вид. Стала ли его одежда издавать зловоние, намокнув под дождем, или он без того был весь пропитан запахом нищеты, свойственным парижским лачугам, подобно тому, как конторам, ризницам и госпиталям присущ совсем особенный, не поддающийся описанию промозглый смрад, только все стоявшие рядом с ним отошли подальше, оставив его одного; он бросил сначала на них, потом на офицера спокойный, безразличный взгляд, пресловутый взгляд Талейрана — тусклый, лишенный всякой теплоты, служащий как бы непроницаемой завесой сильным душам, которые скрывают за ним глубокие чувства и безошибочные суждения о людях, вещах и событиях. Ни одна морщинка не дрогнула на его лице. Бесстрастными оставались лоб и рот; он только опустил свой взор на землю с какой-то благородной и почти трагической медлительностью. И в движении увядших век читалась глубокая драма.

При виде этого стоического человека г-н де Моленкур невольно отдался игре воображения, как это нередко бывает, когда первоначальное простое любопытство влечет за собою целый поток мыслей. Гроза прошла. Г-н де Моленкур успел лишь заметить, как сюртук старика

скользнул своей полою по уличной тумбе; но, выходя из-под навеса, офицер увидел у себя под ногами письмо, видимо, только что оброненное, и догадался, что его потерял незнакомец, ибо тот вынимал из кармана платок. Офицер, подняв письмо, чтобы отдать его старику, машинально прочитал адрес:

«Господину Феррагусу, улица Старых августинцев, угол улицы Соли́. Париж».

Штемпеля не было. Увидав адрес, г-н де Моленкур раздумал догонять нищего, ибо мало найдется на свете страстей, которые не толкали бы в конце концов на бесчестный поступок. У барона появилось предчувствие, что находка может ему пригодиться, он решил оставить ее пока у себя, чтобы получить право войти в таинственный дом и там передать письмо старику,— он не сомневался уже, что тот живет в этом подозрительном доме. И сразу рой мыслей, смутных, как первые проблески дня, замелькал у него в голове, устанавливая связь между этим человеком и г-жой Демаре. Ревнивые любовники способны предположить все, что угодно,— и именно таким путем, избирая самые правдоподобные из своих разнообразных догадок, судьи, шпионы, любовники, наблюдатели устанавливают интересующую их истину.

«Не к нему ли это письмо? Не от госпожи ли Демаре?»

Тысяча вопросов возникла в его беспокойном воображении, но, прочтя первые же слова письма, он улыбнулся. Вот во всей своей великолепной наивности и в ужасающей безграмотности дословный текст — здесь ничего не добавишь, не убавишь, можно лишь расставить необходимые знаки препинания. В оригинале нет ни запятых, ни точек, нет даже восклицательных знаков, этой основы, на которой держится вся пунктуация современных авторов и без которых они бессильны были бы изобразить роковую силу человеческих страстей.

«Анри!

Я шла ради вас на многие жертвы, в том самом числе — и на то, чтобы ничем ненапоминать вам о себе, но в текущее время, повинуясь какому-то неодолимому голо-

су, я не могу промолчать про все ваши преступления против меня. Наперед знаю, что в вашей душе, закоренев-шей в пороках, не найдется и капли жалости ко мне. Ва-ше сердце неспособно ни накакие чувствия. Быть может, оно глухо и к зову природы, но все равно: я должна по-казать вам все ваше злодейство, до какого ужаса вы ме-ня довели. Анри! Вы знали, как я горевала о своей пер-вой ошибке, но, однако, вы мучили меня такимиже му-чениями и предали меня отчаянности и скорби. Так знайте, Анри, я была уверенной, что вы меня любите и уважае-те, оттого я и могла терпеть свою горькую долю. Но что остается теперь? Вы отняли у меня все самое дорогое, все, что привязывало меня кжизни; я пожертвовала вам все-ми родными, честью, репутацией, и мне остается только бесчестие, стыд и, скажу не краснея, нищета. Для полно-го моего несчастья нехватало только уверенности в вашем презрении и вашей ненависти, теперь я об этом не сомне-ваюсь, и у меня найдется мужество, необходимое для осу-ществления моего плана. Решение мое принято, этого тре-бует честь моей семьи, я положу конец моим мукам. Ан-ри! Не отговаривайте меня. Мой план ужасный, я знаю, но меня вынуждает мое положение. Без помощи, без под-держки, без единого друга, который мог бы утешить ме-ня, могу ли я жить? — нет! Так решила судьба. Итак, через два дня, Анри, через два дня Ида не будет боль-ше достойна вашего уважения; но верьте моей клятве, что совесть моя спокойна, ибо я всегда оставалась до-стойной вашей дружбы. Анри, дорогой друг,— ведь вы всегда будете мне другом,— обещайте же, что вы прости-те мне путь, на который я вступаю. Любовь придавала мне мужество, она укрепит мои силы. Сердце моё полно тобой, оно спасет меня от соблазнов. Не забывайте ни-когда, что судьба моя — дело ваших рук, и судите себя. Да помилует вас небо завсе ваши пригрешения, на коле-нях вымаливаю я вам прощение, ибо знаю — ваши горе-сти только усугубят мое несчастье. Несмотря на нужду, которую я терплю, я не приму от вас никакой помощи. Если бы вы любили меня, я могла бы принять эту помощь как знак дружбы, но благодеяния из жалости не приемлет душа, ибо я стала бы подлее того, кто дает. Я прошу вас об одной только милости. Я незнаю, сколь-ко времени придется мне пробыть у г-жи Менарди, про-

явите же такое великодушие: не ходите туда при мне. Ваши последние два посещения причинили мне боль, которая не скоро успокоится, мне тяжело обсуждать подробности вашего поведения в этом доме. Вы ненавидите меня, это слово начертано в сердце моем и леденит его ужасом. Увы! В минуту, когда мне необходимо все мое мужество, силы покидают меня. Анри, друг мой, прежде чем между нами ляжет пропасть, дай мне последнее доказательство твоего уважения: черкни несколько слов, откликнись, подтверди, что еще уважаешь меня, если и разлюбил. Хотя я могу смотреть вам прямо в глаза, но я неищу свидания: я боюсь своей слабости и своей любви. Но умоляю вас, напишите мне поскорей, хоть одно единое словечко, оно даст мне мужество, поможет перенести мои горести. Прощайте, виновник всех моих бед, но единственный друг, избранник сердца, которого я никогда незабуду.

Ида».

Эти немногие слова, в которых запечатлелась жизнь молодой девушки, ее обманутая любовь, сгубившие ее радости, горе, нищета и ужасающее самоотречение, эта не ведомая никому, но чисто парижская поэма, заключенная в грязном конверте, на мгновение взволновала г-на де Моленкура, у которого под конец промелькнула мысль: а не приходится ли эта самая Ида родственницей г-же Демаре и не жалостью ли к ней было вызвано вечернее свидание, невольным свидетелем которого он стал? Неужели нищий старик обольстил Иду?.. Такое предположение показалось невероятным. Теряясь в вихре мыслей, которые сталкивались, опрокидывая друг друга, барон дошел до улицы Пажвен и заметил фиакр, стоявший в конце улицы Старых августинцев, недалеко от улицы Монмартр. Все фиакры, поджидавшие седоков, возбуждали его подозрения.

«Не она ли?» — подумал он.

Сердце его билось горячо и лихорадочно. Он толкнул небольшую дверь с колокольчиком, но, входя, низко опустил голову, испытывая что-то вроде стыда, ибо внутренний голос твердил ему: «Какое тебе дело до чужой тайны?»

Он поднялся на несколько ступенек и столкнулся лицом к лицу со старухой привратницей.

— Дома господин Феррагус?

— Не знаю такого...

— Как, разве господин Феррагус здесь не живет?

— Нет таких у нас в доме.

— Но, матушка...

— Я вам не матушка, сударь, я привратница.

— Но, сударыня, мне надо передать письмо господину Феррагусу.

— А, это другое дело! — сказала она, сразу переменив тон.— Где ваше письмо? Дайте взглянуть.

Огюст показал конверт. Старуха с сомнением покачала головой, заколебалась и как будто хотела покинуть свою каморку, чтобы сообщить таинственному г-ну Феррагусу о необычайном происшествии, но затем сказала:

— Ладно, идите. Вы должны знать, куда...

Как бы пропустив мимо ушей эти слова, которыми хитрая старуха, быть может, хотела его подловить, офицер поспешно взбежал по лестнице и стремительно дернул звонок у двери третьего этажа. Инстинкт влюбленного твердил ему: «*Она* здесь».

Незнакомец из подъезда, он же Феррагус, он же виновник всех бед Иды, сам открыл ему дверь. На нем был пестрый в цветах халат, белые суконные панталоны, на ногах красивые вышитые туфли, лицо было чисто вымыто. Г-жа Демаре выглянула из дверей соседней комнаты, побледнела и упала на стул.

— Что с вами, сударыня? — воскликнул офицер, бросаясь к ней.

Но Феррагус протянул руку и так резко, с такой силой оттолкнул офицера, что Огюсту показалось, будто его ударили железным ломом.

— Назад, милостивый государь! — произнес этот человек.— Чего вам надо от нас? Вы рыщете здесь вот уже пять или шесть дней. Вы что, шпион?

— Вы господин Феррагус? — спросил барон.

— Нет, сударь.

— Однако же,— сказал Огюст,— я должен передать вам письмо, которое вы потеряли в подъезде, где мы укрывались от дождя.

И, протягивая с этими словами письмо, барон не мог удержаться, чтобы не окинуть взглядом комнату, где его принимал Феррагус,— она оказалась убранной просто, но с большим вкусом. В камине горел огонь; тут же был накрыт стол, с роскошью, казалось бы, недоступной человеку такого положения, проживающему в столь неказистом доме. В довершение всего через открытую дверь г-н де Моленкур разглядел в соседней комнате груду золота на кушетке и услышал звуки, могущие быть только женскими рыданиями.

— Эта бумага принадлежит мне, благодарю вас,— сказал незнакомец и выжидательно обернулся к барону, всем своим видом давая понять, что тому здесь больше нечего делать.

С жадным любопытством Огюст разглядывал все вокруг, вот почему он не обратил внимания на то, как его самого тщательно осмотрели, не видел почти магического взгляда, которым незнакомец, казалось, хотел его испепелить,— а если бы офицер заметил этот взгляд василиска, он понял бы опасность своего положения. Слишком возбужденный, чтобы думать о себе, Огюст раскланялся, вышел на улицу и направился домой, пытаясь разгадать взаимоотношения трех лиц: Иды, Феррагуса и г-жи Демаре, но это было ничуть не легче, чем из причудливых деревяшек китайской головоломки сложить узор, не зная к ней ключа. Однако ясно было одно: г-жа Демаре его видела, г-жа Демаре туда ходила, г-жа Демаре ему лгала. Г-н де Моленкур решил завтра же пойти к этой женщине с визитом; она не может отказать ему в приеме, ведь он стал ее сообщником, ведь он весь, с руками и ногами, влез в эту темную интригу. Он уже считал себя повелителем г-жи Демаре и думал о том, как властно потребует он, чтобы она открыла ему все свои тайны.

В эти годы Париж был охвачен строительной лихорадкой. Если Париж — чудовище, то, бесспорно, самое безумное из чудовищ. Тысячи фантазий владеют им: то он строится, словно увлеченный зодчеством знатный вельможа; то, забыв о постройках, становится военным, облачается в мундир национального гвардейца, устраивает военные учения и попыхивает сигарой; но вот он уже пресыщается военными делами и бросает сигару; бывает и так, что Париж предается отчаянию, разоряет-

ся, продает с торгов, на площади Шатле, свое имущество и объявляет себя банкротом, а проходит несколько дней — и он поправляет свои дела, задает пиры, пускается в пляс. Ни с того ни с сего вдруг он начинает объедаться ячменным сахаром; вчера он покупал бумагу «Вейнен», сегодня у него разболелись зубы, и он расклеивает по всем стенам объявления о новом средстве против зубной боли, а завтра станет запасаться лепешками от кашля. Увлечения его длятся недели, месяцы, годы, а иногда и всего один день. Так вот, в те времена везде что-то строили, что-то разрушали, а зачем именно — пока было еще неизвестно. Редко на какой улице не встречались сооружения из длинных балок, перекрытых досками, закрепленными в гнездах на уровне каждого этажа; шаткие леса, колеблемые шагами каменщиков, наскоро связанные канатами, белые от известки и разве только иногда отгороженные от проезжающих экипажей дощатым забором, обязательным, вероятно, лишь для общественных зданий, которые остаются и по сию пору недостроенными. Чем-то корабельным веет от этих своеобразных мачт, лестниц, канатов, криков каменщиков. Одно из таких недолговечных сооружений и было воздвигнуто в двадцати шагах от особняка Моленкуров, вокруг строящегося дома из тесаного камня. На другой день, в ту самую минуту, когда барон де Моленкур проезжал в кабриолете мимо этой постройки, направляясь к г-же Демаре, каменная глыба величиною около двух квадратных футов, поднятая на самый верх лесов, сорвалась с веревок, перевернулась в воздухе и упала, раздавив лакея, стоявшего на запятках. Крик ужаса вырвался у каменщиков, сотрясая леса; один из них был на волосок от гибели и едва удержался за какую-то перекладину — как видно, камень задел и его. Быстро собралась толпа. Все каменщики сбежали вниз и с криком и бранью стали заверять, что кабриолет г-на де Моленкура зацепил их лебедку. Еще каких-нибудь два вершка, и камень размозжил бы голову офицеру. Лакей был мертв, экипаж изломан. Происшествие взбудоражило весь квартал, о нем писали в газетах. Г-н де Моленкур, уверенный, что его кабриолет ничего не задевал, подал жалобу. В дело вмешалось правосудие. Расследование установило, что у постройки стоял паренек с рейкой в руке и предупреж-

дал прохожих и проезжих, чтобы они сворачивали в сторону. На том все и кончилось. Г-н де Моленкур отделался потерей и испугом да несколько дней пролежал в постели, так как при поломке кабриолета задняя ось задела офицера, а кроме того, нервное потрясение, причиненное неожиданным происшествием, вызвало у него лихорадку. Он не поехал к г-же Демаре. Спустя десять дней после этого события он впервые выехал из дому в Булонский лес в своем починенном экипаже, но когда спускался по Бургундской улице и проезжал мимо сточной канавы, что находится напротив палаты депутатов, ось кабриолета переломилась пополам, и на всем разгоне два колеса столкнулись с такой силой, что разбили бы Огюсту голову, если бы поднятый верх экпипажа не смягчил силу удара. Но все же барон получил тяжелую рану в бок. Так, во второй раз за эти десять дней, он был доставлен полуживой к расстроенной баронессе. Второй несчастный случай возбудил в нем некоторые подозрения, пока еще смутные,— он подумал о Феррагусе, о г-же Демаре. Желая проверить свои догадки, он спрятал поломанную ось у себя в спальне и послал за каретником. Пришел каретник, осмотрел ось, исследовал место ее слома и установил два обстоятельства. Во-первых, ось была сделана не в его мастерской, так как на всех осях, которые он ставил, были крупно выгравированы его инициалы,— он не понимал, каким образом, но ось оказалась подмененной; во-вторых, перелом этой подозрительной оси был вызван тем, что в металле имелась внутренняя полость и раковины, искусно полученные при отливке.

— Ну, господин барон, и ловкая же бестия потрудилась над этой осью! — сказал он.— Можно было бы об заклад побиться, что все это — не что иное, как обыкновенный изъян!

Господин де Моленкур попросил каретника молчать об этом происшествии, а для себя сделал достаточно ясные выводы. Оба покушения на его жизнь были проведены с ловкостью, изобличавшей врагов незаурядных.

«Это война не на жизнь, а на смерть,— думал он, ворочаясь в постели,— война дикарская, сулящая нападения из засады и предательства, объявленная во имя

госпожи Демаре. Кто же ее любовник? Какой же властью обладает этот Феррагус!»

И г-на де Моленкура, человека смелого, к тому же офицера бывалого, невольно пробирала дрожь. Среди осаждавших его мыслей одна лишала его всякого мужества, и он не в силах был с ней совладать: не вздумают ли его тайные враги прибегнуть к отраве? И вот под влиянием страха, усугубленного болезненной слабостью, диетой и лихорадкой, он потребовал к себе старую служанку, с давних пор преданную его бабушке, а к нему питавшую почти материнские чувства, возвышенную привязанность, на какую бывают способны простые люди. Не открывая ей всего до конца, он поручил ей покупать для него тайно, притом каждый раз в новом месте, всю необходимую провизию, держать ее под замком, самой готовить ему пищу так, чтобы ни живой души не было в это время поблизости, и самой подавать ему. Словом, он до мелочей предусмотрел, как уберечь себя от смертельной отравы. Он лежал в постели, одинокий, больной, и мог на свободе обдумывать те меры, которые подсказывало ему чувство самосохранения — единственная человеческая потребность, в удовлетворении которой эгоизм проявляет всю свою прозорливость. Но несчастный больной сам отравлял себя страхами, и помимо его воли подозрения все сильнее омрачали его жизнь. Однако эти два покушения заставили его оценить важнейшее для политического деятеля достоинство — высокое искусство скрывать свои мысли, к которому следует прибегать, когда затронуты жизненные интересы. Нетрудно бывает молчать, скрывая то, что уже произошло, но таить свои намерения, уметь, если понадобится, отложить их осуществление на тридцать лет, подобно Али-паше, чтобы обеспечить торжество взлелеянной мести,— вот великое искусство, особенно в нашей стране, где мало кто способен скрывать что-либо и в течение тридцати дней. Г-н де Моленкур жил только мыслью о г-же Демаре. Он только и занят был обдумыванием средств, к каким можно было прибегнуть в этой непонятной борьбе, чтобы одолеть своих неизвестных противников. Все препятствия только разжигали его затаенную страсть. Г-жа Демаре по-прежнему владела его думами и чувствами; своими предполагаемыми пороками еще сильнее пле-

няла его теперь, чем бесспорными добродетелями, за которые прежде он ее боготворил.

Желая разведать силы врага, больной решил, что он ничем не рискнет, если посвятит старого видама во все подробности своей истории. Командор любил племянника баронессы, как любят собственных детей, детей от своей жены; он был хитер в интригах, обладал тонким умом дипломата. Он выслушал барона, покачал головой, и они стали держать совет. Почтенный видам не разделял надежд своего молодого друга, полагавшего, что в их время полиция и власти способны раскрыть любую тайну и если уж к ним непременно придется обратиться, то в них можно будет найти могущественных союзников.

Старый видам значительным тоном сказал ему:

— Дорогое дитя, на свете нет ничего бездарнее полиции, и власти бессильны в вопросах частной жизни. Ни полиция, ни власти не могут читать в глубине сердца. Казалось бы, разумно требовать от них, чтобы они расследовали причины какого-либо происшествия. Однако власти и полиция оказываются здесь совершенно бесполезны: им не хватает именно той личной заинтересованности, которая позволяет узнавать все, что бывает необходимо. Никакая человеческая сила не помешает убийце пустить в ход оружие или отраву и добраться до сердца владетельной особы или до желудка обывателя. Страсти изобретательнее всякой полиции.

Командор усиленно советовал барону уехать в Италию, из Италии — в Грецию, из Греции — в Сирию, из Сирии — в Азию и вернуться оттуда, лишь дав убедиться своим тайным врагам, что он совершенно отказался от своих намерений, и таким образом молчаливо заключить с ними мир; а если не уезжать, то совершенно затвориться в своем доме, даже не выходить из комнаты, где можно уберечься от посягательств Феррагуса, и уж выйти только с тем, чтобы тут же раздавить его наверняка.

— Прикасаться к врагу следует только оружием, отсекая ему голову! — убежденно сказал видам молодому человеку.

Впрочем, старик заверил своего любимца, что приведет в действие все отпущенное ему небом лукавство и,

никого не выдавая, разузнает о враге, дабы подготовить победу. У командора в услужении находился некий старый Фигаро в отставке — самая продувная бестия, когда-либо принимавшая человеческий облик; он был изворотлив в былые годы, как сам Сатана, владел своей мускулатурой, как каторжник, был проворен, как вор, лукав, как женщина,— но этот гений впал в ничтожество, ибо не находил себе никакого применения с тех пор, как новое устройство парижского общества изменило амплуа комедийного слуги. Этот заслуженный Скапен поклонялся своему господину, как высшему существу; а хитрый видам ежегодно увеличивал на кругленькую сумму жалованье бывшего своего ходока по галантным делам — знак внимания, закреплявший естественную привязанность узами расчета и обеспечивший видаму такие заботы, каких не окажет и самая нежная любовница своему больному другу. Вот этой-то жемчужине среди комедийных слуг, обломку прошлого века, этому надежному исполнителю, не поддающемуся соблазнам из-за их отсутствия, доверились командор и г-н де Моленкур.

— Господин барон только все испортит,— сказал великий человек в ливрее, призванный на совет.— Пусть господин барон спокойно ест, пьет и спит. Я все беру на себя.

И правда, через неделю после этого разговора, както днем, когда г-н де Моленкур, уже совершенно здоровый, завтракал вместе со своей бабушкой и видамом, Жюстен явился с докладом. Подождав, пока старая баронесса удалится в свои покои, он с той скромностью, какую напускают на себя талантливые люди, сообщил:

— Действительное имя врага, преследующего господина барона,— не Феррагус. Этого человека, этого дьявола зовут Грасьен-Анри-Виктор-Жан-Жозеф Буриньяр. Почтенный Грасьен Буриньяр не кто иной, как бывший подрядчик по постройке домов, в прошлом богач и к тому же один из самых красивых юношей Парижа, Ловлас, способный совратить самого Грандисона. Этим пока ограничиваются мои сведения. Он был простым рабочим, но в свое время собратья Ордена деворантов избрали его своим предводителем, под именем

Феррагуса Двадцать третьего. Полиция должна бы это знать, если бы она вообще что-либо знала. Теперь он съехал с прежней квартиры и обретается не на улице Старых августинцев, а на улице Жокле, госпожа Демаре часто его там навещает; нередко муж ее, отправляясь на биржу, провожает жену туда по улице Вивьен, или, может быть, жена, идя по улице Вивьен, провожает мужа на биржу. Господину видаму слишком хорошо знакомы подобные истории, чтобы спрашивать у меня, муж ли ведет жену или жена — мужа, но госпожа Демаре уж очень хороша собой, и я готов биться об заклад, что она ведет его. Все это вполне достоверно. Буриньяр часто играет в Пале-Руаяле, в номере сто двадцать девятом. Он, с вашего позволения, первостатейный распутник, любящий женщин, и у него повадки важного господина. Мало этого, ему везет в карты, он умеет переодеваться, словно актер, гримируется, как ему вздумается, и на всем белом свете вы не сыщете большего оригинала. Я не сомневаюсь, что у него имеется несколько квартир: ибо он большей частью избегает того, что господин командор называет *парламентскими расследованиями*. И все же, если вы, сударь, пожелаете, от него можно будет отделаться пристойным образом, сыграв на его слабых струнках. Всегда легко избавиться от человека, любящего женщин. Между прочим, этот капиталист опять собирается переезжать на новую квартиру. Теперь, господин видам и господин барон, я хотел бы знать, что от меня дальше требуется?

— Молодец, Жюстен! Я доволен тобой. Пока жди моих приказаний да следи здесь за всем, чтобы господину барону нечего было опасаться. А ты, дорогое дитя мое,— обратился видам к барону,— вернись к своим старым привычкам и забудь госпожу Демаре.

— Нет, нет! — воскликнул Огюст.— Я не хочу отступать перед Грасьеном Буриньяром, я хочу, чтобы и он и госпожа Демаре были в моей власти.

Вечером барон Огюст де Моленкур, только что получивший повышение в лейб-гвардейской части, отправился на бал к герцогине Беррийской, в Елисейский дворец Бурбонов. Там, разумеется, ему нечего было опасаться. Однако, когда барон де Моленкур вышел оттуда, над ним нависла смертельная угроза в связи с одним де-

лом чести, которое невозможно было разрешить мирным путем. Противник барона, маркиз де Ронкероль, имел все основания возмутиться поведением Огюста, у которого была давняя связь с сестрой г-на де Ронкероля, графиней де Серизи. Эта дама, отнюдь не склонная к чувствительности на немецкий лад, была тем не менее исключительно требовательна к строжайшей охране своей показной скромности. По какой-то непонятной роковой случайности Огюст позволил себе невинную шутку, которая вызвала недовольство г-жи де Серизи и была принята ее братом как оскорбление. Обо всем договорились незаметно и тихо. Как люди благовоспитанные, оба противника не подняли никакого шума. Лишь на другой день общество предместий Сен-Оноре и Сен-Жермен, а также придворные круги возбужденно заговорили об этом случае. Г-жу де Серизи горячо защищали и виновником всего считали Моленкура. В дело вмешались августейшие особы. Секунданты из самой высшей знати предложили свои услуги господам де Моленкуру и де Ронкеролю, и на месте поединка были соблюдены все меры предосторожности, чтобы никто не был убит. Представ перед своим противником, искателем наслаждений, которому, однако, нельзя было отказать в чувстве чести, Огюст, конечно, не мог в нем видеть орудие Феррагуса, предводителя деворантов, но какое-то неясное желание, смутное предчувствие побудило его испытать маркиза.

— Господа,— обратился он к свидетелям,— я, разумеется, не отказываюсь от поединка с господином де Ронкеролем, но я заранее заявляю, что был неправ, что я готов принести извинения, какие он потребует, даже публично, если он того пожелает, так как полагаю, что, когда дело касается женщины, никакие извинения не могут унизить порядочного человека. Итак, я взываю к его рассудительности и великодушию: не будет ли несколько неосмотрительно драться, когда может ведь пострадать и тот, на чьей стороне правда?..

Господин де Ронкероль мириться не захотел, и барон, укрепившись в своих подозрениях, приблизился к своему противнику.

— Тогда, господин маркиз,— заявил Огюст,— прошу вас перед этими господами дать мне слово дворяни-

на, что не тайный умысел, а лишь всем здесь известная причина вызвала этот поединок.

— Сударь, незачем возбуждать такие вопросы.

И г-н де Ронкероль стал в позицию. Заранее договорились, что каждый противник удовольствуется одним выстрелом. Несмотря на условленное расстояние между противниками, при котором, казалось, смерть г-на де Моленкура была очень сомнительна, чтобы не сказать невозможна, пуля г-на де Ронкероля попала в барона. Она прошла между ребер, на два пальца пониже сердца, но, к счастью, не причинила серьезных повреждений.

— Вы слишком метко стреляете для человека, мстящего за угасшие уже страсти,— заметил ему гвардейский офицер.

Господин де Ронкероль, считая Огюста мертвым, не удержался от злорадной улыбки, услышав эти слова.

— Сударь, сестра Юлия Цезаря должна быть вне подозрений.

— Опять это имя... Юлий... Жюль...— пробормотал Огюст.

Но тут он лишился чувств, не в силах окончить язвительный каламбур, застывший у него на губах. Хотя он и потерял много крови, но рана оказалась неопасной. Две недели старая баронесса и видам окружали его своими стариковскими заботами, секрет которых дается только длительным житейским опытом. Но как-то утром бабушка нанесла ему тяжелый удар. Она поведала ему, какая тревога омрачила те немногие дни, что ей осталось прожить. Ей прислали письмо, подписанное буквою *Ф* и рассказывающее во всех подробностях историю шпионства, до которого унизился ее внук. Письмо это приписывало г-ну де Моленкуру действия, недостойные порядочного человека. Там говорилось, что он подослал какую-то старуху на улицу Менар; эта сыщица торчит у стоянки фиакров, для отвода глаз продавая извозчикам воду, и следит за г-жой Демаре. Он-де шпионил за безобиднейшим человеком на свете, стараясь выведать все его тайны, тогда как от раскрытия этих тайн зависит жизнь или смерть трех человек. Он-де сам вызвал эту беспощадную борьбу, в которой, уже трижды раненный, он неизбежно падет, ибо его поклялись умертвить и никакие человеческие силы не предотвратят теперь его гибели.

Пусть г-н де Моленкур даже пообещает уважать тайну жизни этих трех лиц, ему уже не избегнуть своей судьбы, ибо нельзя доверять слову дворянина, способного так низко пасть — заняться ремеслом полицейского сыщика. И ради чего? Чтобы, безо всякого на то права, смущать покой невинной женщины и почтенного старца.

Но что означало для Огюста это письмо по сравнению с мягкими упреками, которыми осыпала его баронесса де Моленкур! Как мог он выказать женщине неуважение и недоверие, шпионить за ней, не имея на то никакого права! Да допустимо ли шпионить даже за любящей вас женщиной? Этот поток превосходных, ничего не доказывающих доводов впервые в жизни привел молодого барона в полное исступление, толкающее человека на любую крайность.

«Это поединок не на живот, а на смерть,— решил он.— Что ж, теперь для меня все средства хороши, только бы уничтожить врага».

Немедленно командор отправился от имени г-на де Моленкура к начальнику парижской сыскной полиции и, умолчав лишь о г-же Демаре, хотя она и была скрытой причиной этих происшествий,— поделился с ним опасениями, возбужденными у семейства де Моленкуров неизвестным лицом, дерзко поклявшимся убить гвардейского офицера, невзирая на закон и полицию. Полицейский в недоумении поднял на лоб свои зеленые очки, несколько раз высморкался и предложил табакерку видаму, который с достоинством заявил, что не нюхает табака, хотя его нос свидетельствовал об обратном. Затем заместитель начальника полиции кое-что записал и пообещал, что с помощью Видока и его сыщиков он в скором времени передаст семейству де Моленкуров исчерпывающие сведения об их враге, так как для парижской полиции не существует никаких тайн. Через несколько дней начальник полиции посетил видама в доме де Моленкуров и нашел молодого человека совершенно оправившимся от последней раны. Начальник полиции официально поблагодарил за любезно предоставленные ему данные; рассказал, что этот самый Буриньяр был осужден на двадцать лет каторжных работ, но каким-то чудом бежал во время пересылки по этапу из Бисетра в Тулон. Вот, мол, уже тринадцать лет, как поли-

ция, узнав, что он совершенно спокойно поселился в Париже, безуспешно пытается его задержать, а он ускользает от самых настойчивых розысков, хотя и оказывается постоянно замешанным во всевозможные темные дела. Одним словом, этот человек, жизнь которого столь необычайна, теперь, мол, непременно будет задержан на одной из его квартир и передан в руки правосудия. Чиновник закончил свой торжественный отчет, сообщив г-ну де Моленкуру, что если он придает такое большое значение этому делу и желал бы присутствовать при поимке Буриньяра, то может явиться завтра в восемь часов утра на улицу Сент-Фуа, в дом под таким-то номером. Г-н де Моленкур уклонился от роли очевидца, доверившись бдительности властей с тем благоговейным почтением, с каким относится парижанин к полиции. Спустя три дня, не находя в газетах ни слова об аресте, который, казалось, мог бы послужить материалом для занятной заметки, г-н де Моленкур впал в беспокойство, рассеянное, однако, после получения следующего письма.

«Господин барон!

Имею честь довести до вашего сведения, что вам не приходится более опасаться известного вам лица. Лицо это, именуемое Грасьеном Буриньяром, по прозвищу Феррагус, скончалось вчера у себя на квартире, на улице Жокле, № 7. Подозрения, возникшие относительно его личности, совершенно опровергнуты достоверными данными. К экспертизе был привлечен нами, кроме врача мэрии, еще и врач парижской префектуры, а начальник сыскного отделения подверг все данные необходимой проверке, дабы добиться полной достоверности. Притом благонадежность свидетелей, подписавших акт о смерти, равно как и показания лиц, бывших при вышепоименованном Буриньяре в последние минуты его жизни, в том числе достопочтенного викария церкви Благовещения, коему он исповедовался перед смертью в своих прегрешениях, ибо умер христианином,— не оставляют места для каких-либо сомнений.

Примите, господин барон, и пр.»

Господин де Моленкур, старая баронесса и видам вздохнули с невыразимым облегчением. Старушка обло-

бызала внука, пролила слезу и рассталась с ним только для того, чтобы молитвой возблагодарить господа. Почтенная вдова, девять дней перед тем проведшая в посте и в молитвах о спасении Огюста, решила, что господь ее услышал.

— Ну, что же! — сказал командор.— Теперь ты можешь ехать на тот бал, о котором мне говорил, теперь я не возражаю.

Господин де Моленкур тем сильнее стремился на бал, что туда должна была приехать г-жа Демаре. Праздник этот устраивал префект округа Сены, и у него, как бы на нейтральной почве, встречались оба круга парижского общества. Огюст заглянул во все гостиные, но не встретил там женщины, оказавшей на его жизнь столь значительное влияние. Он вошел в пустой будуар, где в ожидании игроков были поставлены карточные столы, и присел там на диван, предаваясь самым противоречивым мыслям о г-же Демаре. Вдруг кто-то взял молодого офицера под руку, и барон застыл в изумлении, увидав перед собой бедняка с улицы Кокильер — Феррагуса, которому писала Ида,— жителя улицы Соли́ — Буриньяра, открытого Жюстеном,— каторжника, опознанного полицией,— вчерашнего покойника!

— Сударь, молчите, ни единого крика, ни единого слова,— сказал ему Буриньяр, голос которого, измененный почти до неузнаваемости, он все же узнал.

Буриньяр был элегантно одет, фрак его украшали орден Золотого руна и звезда.

— Сударь,— продолжал он резким, словно вой гиены, шепотом,— вы развязываете мне руки, призвав себе на помощь полицию. Вы, сударь, обречены на гибель. Так надо. Любите ли вы госпожу Демаре? Любила ли она вас? По какому праву позволяете вы себе нарушать ее покой, чернить добродетельную женщину?

Кто-то вошел в комнату, Феррагус встал, чтобы выйти.

— Знаете ли вы этого человека? — обратился г-н де Моленкур к вошедшему, взяв Феррагуса за ворот.

Но Феррагус легко высвободился, схватил Огюста за волосы и, потешаясь над ним, несколько раз встряхнул ему голову, насмешливо приговаривая:

— Неужели не обойтись без свинца, чтобы ее образумить?

— Нет, сударь, я с ним не знаком,— ответил Огюсту г-н де Марсе, свидетель этой сцены,— я только знаю, что перед вами господин де Функал, весьма богатый португалец.

Господин де Функал скрылся. Барон бросился за ним, но так и не догнал и только с подъезда увидел Феррагуса, который с насмешкой поглядел на него из своей великолепной коляски и унесся по улице.

— Сударь, прошу вас,— сказал Огюст, вернувшись в гостиную и обращаясь к де Марсе, с которым был знаком,— скажите мне, где живет этот господин де Функал?

— Не знаю, право, но здесь вам, наверное, укажут.

Барон, расспросив префекта, узнал, что граф де Функал проживает в португальском посольстве. В эту минуту, еще ощущая у себя в волосах ледяные пальцы Феррагуса, он увидел г-жу Демаре во всем блеске ее красоты, свежую, грациозную, простодушную, сияющую той чистой прелестью, что очаровала его когда-то. Это создание, которое Огюст считал теперь исчадием ада, не воздало уже в нем ничего, кроме ненависти,— и грозная, жаждущая крови ненависть изливалась в его взгляде. Он улучил минуту, чтобы поговорить с молодой женщиной наедине, без свидетелей.

— Сударыня,— заявил он,— вот уже в третий раз подосланные вами убийцы покушаются на мою жизнь...

— О чем вы говорите, сударь? — ответила она краснея.— Я знаю, вы стали жертвой нескольких несчастных случаев, я очень сочувствовала вам, но при чем тут я?

— Вы же знаете, что ко мне подсылает убийц некий человек с улицы Соли́?

— Сударь!

— Сударыня, теперь не один я буду требовать у вас ответа, и не только за мое счастье, но и за мою кровь.

В эту минуту к ним подошел Жюль Демаре.

— В чем дело? Что вы сказали моей жене, сударь?

— Если это вас так интересует, сударь, придется вам заехать ко мне домой.

И Моленкур вышел, оставив г-жу Демаре смертельно бледной и близкой к обмороку.

Мало найдется женщин, которым хотя бы раз в жизни не случалось из-за какого-нибудь неоспоримого факта подвергаться со стороны мужа беспощадному, решительному, исчерпывающему допросу, такому, что при одной мысли о нем охватывает душу холодом, а первые слова его входят в сердце острой сталью кинжала. Отсюда и аксиома: «Каждая женщина лжет!» Ложь льстивая, невинная ложь, святая ложь, страшная ложь, но ложь ей необходима. А раз она необходима, то нужно овладеть искусством лжи. Женщины во Франции восхитительно лгут. Наши нравы превосходно приучают их к обману. Притом женщины так наивно дерзки, очаровательны, изящны, откровенны во лжи, так хорошо понимают ее пользу в общении с людьми — при защите от потрясений, гибельных для счастья,— что ложь становится нужна им, как вата, в которую они кладут свои драгоценности. Так ложь становится для них основой речи, а правда — только исключением из правила; они говорят правду так же, как проявляют добродетель,— из прихоти или по особому расчету. Затем, когда женщины лгут, то, смотря по характеру, некоторые из них смеются, иные плачут, одни становятся серьезными, а другие — злыми. Сперва приучившись притворяться равнодушными к поклонению, которое им особенно льстит, они нередко кончают тем, что привыкают лгать самим себе. Кто не восхищался их обманчивым величием в ту самую минуту, когда они дрожат за тайные сокровища своей любви? Кто не наблюдал их непринужденность, развязность, присутствие духа в житейских испытаниях? Все в них естественно; ложь исходит от них, как снег падает с неба. А с каким искусством добираются они до правды в другом человеке! С какой проницательностью прибегают они к самой последовательной логике в ответ на пылкие вопросы мужчины, чтобы самой выпытать какую-нибудь сердечную тайну у того, кто наивно вздумал дознаться о чем-нибудь у женщины! Расспрашивать женщину — не значит ли это выдавать ей себя с головой? Разве не догадается она обо всем том, что захотят от нее скрыть, и не проявит удивительного умения — говоря, умолчать о самом главном. И есть же еще мужчины, пытающиеся бороться с парижанкой, с женщиной, которой стоит изловчиться — и она ускольз-

нет от удара кинжала, сказав. «*Вы, право, слишком любопытны! Вам что за дело? К чему вам это? Ах! Вы ревнуете? Ну, а если я не пожелаю вам отвечать?*» — словом, с женщиной, которая владеет искусством сказать «нет» на сто тридцать семь тысяч ладов и обладает неисчислимыми интонациями для произнесения «да». Исследование, посвященное этим «нет» и «да», не станет ли замечательнейшим из дипломатических, философических, логографических и этических трудов, которые нам еще предстоит создать? Но для того, чтобы написать столь дьявольское произведение, не надо ли быть двуполым гением? Вот почему никто никогда и не возьмется за это. Кроме того, из всех неопубликованных теорий эта теория, пожалуй, самая популярная, наиболее часто применяемая на практике женщинами. Наблюдали ли вы при этом их повадки, позы, непринужденность? Присмотритесь.

Госпожа Демаре сидела в правом углу кареты, а ее муж в левом. Овладев собой при выходе с бала, жена Жюля сохраняла внешнее спокойствие. Муж не задал ей ни единого вопроса на балу, продолжал молчать и теперь. Он смотрел в окно кареты на черные стены молчаливых домов, мимо которых они проезжали; но внезапно, словно побужденный какой-то мыслью, при повороте на углу улицы он взглянул на жену, которая, казалось, озябла, несмотря на подбитую мехом шубку; ему почудилось, что она вся ушла в свои думы,— вероятно, так оно и было. Самые заразительные настроения, легче всего передаваемые другим,— это задумчивость и серьезность.

— Чем так встревожил тебя господин де Моленкур? Что он такое сказал? — спросил Жюль.— Что намерен он сообщить мнѣ у себя дома?

— Да ничего он тебе не скажет, кроме того, что я сама могу сейчас сказать,— ответила она.

И с чисто женской хитростью, которою даже добродетель всегда бывает слегка запятнана, г-жа Демаре замолчала, ожидая нового вопроса. Муж отвернулся и снова принялся разглядывать подъезды домов. Еще один только вопрос — и не будет ли это уже равносильно подозрению? Не верить женщине — преступление против любви. Жюль уже раз убил человека, но не позволил

себе усомниться в жене. Клеманс не подозревала, сколько истинной страсти, сколько глубоких размышлений таило молчание мужа, а Жюль не догадывался, какая необычайная драма раздирала сердце Клеманс. А карета все катила и катила по безмолвному Парижу, унося двух супругов, двух любовников, которые боготворили друг друга, но, сидя рядом на шелковых подушках экипажа и слегка касаясь один другого, все же были разделены целой пропастью.

Сколько удивительных сцен разыгрывается после бала, между полуночью и двумя часами ночи, в нарядных колясках — даже если фонари их зажжены, освещая улицу и сам экипаж, а стекла не задернуты занавесками,— словом, в тех колясках, где находит себе пристанище узаконенная любовь, где муж и жена ссорятся, не боясь глаза прохожих, ибо законный брак дает право мужчине сердиться на женщину, бить ее и целовать в карете и вне ее, повсюду! И вот, сколько тайн раскрывается перед ночной «пехотой» — молодыми людьми, приезжающими на бал в карете, но по каким-то причинам уходящими с бала пешком. Впервые Жюль и Клеманс забились каждый в свой угол. Обычно муж и жена сидели, прижавшись друг к другу.

— Как холодно! — пожаловалась г-жа Демаре.

Но муж ничего не слыхал, все внимание его поглотили чернеющие вывески лавок.

— Клеманс,— сказал он наконец,— прости меня, я должен спросить тебя кое о чем...

Он придвинулся к ней, обнял ее за талию и привлек к себе. «Господи, вот оно!» — подумала несчастная женщина.

— Хорошо! — перебила она мужа, чтобы предупредить его вопрос.— Тебя интересует, что мне говорил господин де Моленкур. Я ничего не скрою от тебя, Жюль, но мне страшно. Боже мой, разве у нас могут быть тайны друг от друга! С некоторого времени я чувствую, что в тебе происходит борьба между верой в нашу любовь и какими-то смутными опасениями; но разве вера в нашу любовь не чиста, а твои подозрения не слишком мрачны? Отчего ты не хочешь сберечь эту чистую веру, в которой для тебя столько радости? Когда я все расскажу, ты захочешь знать больше; а между тем мне самой

непонятен смысл странных слов этого человека. Я боюсь, не станут ли они поводом к роковому столкновению между вами. Я хотела бы, чтобы мы оба вычеркнули этот тягостный случай из нашей жизни. Но так или иначе, поклянись мне, что будешь ждать, пока это странное происшествие не объяснится само собой. Господин де Моленкур заявил мне, будто происшедшие с ним три несчастных случая, о которых ты знаешь: падение камня, попавшего в лакея, поломка кабриолета и дуэль из-за госпожи де Серизи — все это осуществление какого-то заговора против него, заговора, вдохновляемого мною. Он грозил мне еще, что откроет тебе причину, почему я добиваюсь его гибели. Ты хоть что-нибудь во всем этом понял? Меня испугало его лицо, носившее печать безумия, его блуждающий взгляд, его срывающийся от волнения голос. Я подумала, что он сошел с ума. Вот и все. Признаюсь, еще я заметила — да и какая женщина не заметила бы на моем месте! — что вот уже год, как я стала, что называется, предметом страсти господина де Моленкура. Он встречал меня лишь на балах, и разговоры его ничем не отличались от обычных, пустых бальных разговоров. Может быть, он хочет разлучить нас, чтобы затем воспользоваться моим одиночеством и беззащитностью. Вот видишь, ты уже хмуришься! Ах, я всем сердцем ненавижу свет. Какое счастье жить вдали от света! И зачем добиваться нам его милостей? Жюль, умоляю тебя, обещай, что все это выкинешь из головы. Завтра, наверное, станет известно, что господин де Моленкур сошел с ума.

«Что за странность!» — подумал Жюль, выходя из кареты у подъезда своего дома.

Он подал руку жене, и они вместе поднялись к себе.

Для продолжения этой истории во всей правдивости ее деталей, для исследования ее течения во всех излучинах необходимо затронуть некоторые любовные тайны; необходимо, прячась за портьерами, проникнуть в одну спальню и скрыться за занавесями — не дерзостно, а на манер Трильби, чтоб не потревожить ни Дугаля, ни Дженни, да вообще никого не потревожить. Необходимо сохранить в своем рассказе и целомудренность, к какой стремится благородный французский язык, и смелость, какая присуща Жерару в его картине «Дафнис и Хлоя».

Спальня г-жи Демаре была святилищем. Входить туда могли только она сама, муж и горничная. Богатство обладает прекрасными преимуществами, и самые завидные из них те, что позволяют развиваться чувству во всей его глубине, оплодотворяют его тысячей осуществленных причуд, наделяют блеском, который его усиливает, изысканностью, которая очищает, утонченностью, которая придает ему еще бо́льшую привлекательность. Если вам ненавистны обеды на траве лужайки и плохо сервированный стол; если вы испытываете удовольствие при виде камчатной скатерти ослепительной белизны, золоченых приборов, нежнейшего фарфора, стола, блещущего золотом и богатой чеканкой, освещенного прозрачными свечами; если вы испытываете удовольствие при виде чудес самой тонкой кухни, которые таятся под серебряными крышками, украшенными гербом,— вы должны, чтобы не впадать в противоречие, забыть мансарды, забыть гризеток, предоставив мансарды, гризеток, зонтики, деревянные калоши людям, которые оплачивают свои обеды талонами; затем, вы должны понять, что любовь раскрывается во всей своей прелести только на савоннрииских коврах, под опаловым светом мраморной лампы, среди обитых шелком стен, ревниво охраняющих вашу тайну, в золотых отблесках камина, в комнате, защищенной от шума соседей и улицы, от всего постороннего своими жалюзи, ставнями, волнующимися занавесями. Вам нужны зеркала, игра их отражений, до бесконечности воспроизводящих женщину, которую вы желали бы видеть во всем ее роскошном разнообразии, нередко придаваемом любовью; вам нужны, кроме того, низкие диваны; скрытая, но манящая, словно тайна, кровать; меха для обнаженных ног; под кисейным пологом кровати — свеча с абажуром, чтобы можно было читать в любой час ночи; цветы с нежным, не раздражающим ароматом и тончайшее полотно, способное удовлетворить даже Анну Австрийскую. Подобные восхитительные требования осуществила г-жа Демаре. Но это еще не все. Они могли быть осуществлены любою женщиной со вкусом, хотя, впрочем, уже расположение всего убранства придавало комнате какой-то особенный отпечаток, неповторимый личный характер. В наши дни, как никогда, распространено фанатическое прекло-

нение перед индивидуальностью. Чем больше наши законы стремятся к недостижимому равенству, тем больше удаляются от него наши нравы. Так, богатые люди во Франции проявляют больше исключительности во вкусах и в обстановке, чем когда-либо за последние тридцать лет. Г-жа Демаре понимала, к чему обязывает ее это, и привела у себя все в полную гармонию с требованиями роскоши, украшающей любовь. «Полторы тысячи франков и моя Софи» или «С милым рай и в шалаше» — это изречения голодных, тех, кто с радостью принимают сначала и кроху простого хлеба, но, войдя во вкус, становятся лакомками и, если действительно любят, начинают тосковать по гастрономическим усладам. Любовь не терпит труда и нужды. Она предпочитает погибнуть, лишь бы не прозябать.

Большинство женщин, возвратившись с бала и торопясь поскорее улечься в постель, раскидывают повсюду платье, увядшие цветы, букеты, утерявшие свой аромат. Они забывают свои башмаки под креслом, расхаживают в домашних туфлях, которые падают у них с ног, вынимают из прически гребни, небрежно распускают косы. Их мало смущает, что мужья видят застежки, двойные булавки, крючки — то, что искусно поддерживало изящные сооружения прически или наряда. Не остается никаких тайн, все рушится на глазах мужа, все прикрасы исчезают. Корсет — большей частью со всякими ухищрениями — так и валяется тут же, если сонная горничная забудет его унести. Наконец, фижмы из китового уса, подшитые к проймам подмышники, всякие фальшивые приспособления наряда, волосы, купленные у парикмахера,— все здесь на виду; вся искусственная женщина, разъятая на части,— Disjcta membra poetae — поддельная поэзия, столь восхищавшая тех, для кого она создавалась и отделывалась, женская краса — валяется по всем углам. Позевывающему мужу предоставляется тогда любить женщину без прикрас, которая тоже позевывает; у нее неряшливый и неизящный вид; на голове у нее смятый чепчик, тот самый, который был на ней вчера и будет на ней завтра.

— Если же вам, сударь, угодно каждый вечер мять мне новый хорошенький чепчик, то раскошеливайтесь! — говорит она мужу.

Вот она, жизнь, в ее настоящем обличье! Перед своим мужем жена всегда предстает старой и некрасивой; зато она неизменно нарядна, изящна, украшена драгоценностями для другого, для соперника всех мужей — для света, который клевещет на женщин и всячески злословит на их счет.

Вдохновляемая истинной любовью — ибо любовь, как и все живое, обладает инстинктом самосохранения,— г-жа Демаре вела себя совсем по-иному и обретала в постоянных радостях своей семейной жизни необходимые силы для выполнения тех мелких обязанностей, которыми никогда нельзя пренебрегать, ибо они сохраняют любовь. Не проистекают ли эти заботы, эти старания из чувства собственного достоинства, которым следует восхищаться? Разве они не льстят самолюбию мужа? Не означают ли они, что жена уважает в себе самой любимое существо? Так, г-жа Демаре запретила мужу заглядывать в комнату при спальне, когда она снимала бальный туалет, чтобы выйти оттуда в восхитительном одеянии, предназначенном для волшебных празднеств ее сердца. Входя в спальню, всегда со вкусом убранную, Жюль видел женщину, кокетливо закутанную в нарядный пеньюар, с просто уложенными вокруг головы толстыми косами, ибо она смело показывала свои волосы в их естественном виде, чтобы можно было наслаждаться, любуясь ими и прикасаясь к ним; он видел ее еще более простой, и потому еще более привлекательной, чем в свете; он видел женщину, освежившую себя водой, женщину, у которой весь секрет ее привлекательности сводился к тому, чтобы быть белее своих кисейных одежд, свежее самых свежих благовоний, обольстительнее самой искусной куртизанки — словом, быть всегда приятной, а следовательно, всегда любимой. Это восхитительное понимание женского искусства нравиться было тайной силой Жозефины, пленившей Наполеона, как некогда Цезония пленила Гая Калигулу, а Диана де Пуатье — Генриха II. Но если это искусство приносило столь благие плоды женщинам, насчитывающим семь или восемь пятилетий своей жизни, то каким же оружием становится оно в руках молодости! В таких условиях муж только наслаждается под игом супружеского счастья.

Итак, г-жа Демаре, вернувшись домой после разговора, который заставил ее леденеть от ужаса, и вся еще во власти сильнейшей тревоги, особенно тщательно занялась своим ночным туалетом. Она хотела быть, и в самом деле была, восхитительной. Она закуталась в батистовый пеньюар, приоткрыв его на груди, распустила черные волосы по округлым плечам; после душистой ванны от нее исходил пьянящий аромат, ножки ее были в бархатных туфлях без чулок. Сильная своим очарованием, она потихоньку вошла в спальню и подкралась к Жюлю, который стоял в халате, задумчиво облокотившись на камин и опершись ногою на его решетку; она закрыла ему рукой глаза. Приблизив свои губы к его уху, пытаясь шутливо укусить его и согревая своим дыханием, она сказала:

— О чем это вы задумались, сударь?

Затем, мягко прильнув к нему, она обвила его руками, стараясь отвлечь от грустных мыслей. Любящая женщина понимает свою силу, и чем добродетельнее она, тем действеннее ее кокетство.

— Я думал о тебе,— ответил он.

— Только обо мне?

— Да.

— Ах, это очень ненадежный ответ!

Они легли. Засыпая, г-жа Демаре подумала: «Этот Моленкур, наверное, принесет нам какую-нибудь беду. Жюль озабочен, рассеян, скрывает от меня свои мысли».

Около трех часов ночи г-жа Демаре проснулась, разбуженная каким-то предчувствием, охватившим ее душу во сне. Сердцем и телом ощутила она, что нет около нее мужа. Она не чувствовала больше у себя под головой руки Жюля, той руки, на которой она обычно отдыхала счастливая и спокойная, никогда ее не утомляя, вот уже пять лет. Вдруг какой-то голос подсказал ей: «Жюль страдает, Жюль плачет...» Она подняла голову, села на кровати, увидела, что рядом с ней нет мужа, ощутила холод постели на его стороне и заметила Жюля у камина — он сидел, поставив ноги на решетку и откинув голову на спинку кресла. По лицу Жюля текли слезы. Несчастная женщина соскочила с постели и в один миг очутилась у него на коленях.

— Жюль, что с тобою? Ты страдаешь? Говори же, перестань молчать! Все, все мне скажи! Не скрывай ничего, если любишь меня!

В минуту она закидала его сотней слов, выражавших самую глубокую нежность.

Жюль упал к ногам своей жены, покрыл поцелуями ее колени и руки и сказал, проливая все новые слезы:

— Дорогая моя Клеманс, я так несчастен! Разве это любовь, когда сомневаешься в своей возлюбленной? А ты для меня — возлюбленная. Я поклоняюсь тебе и вместе с тем подозреваю... Слова, которые произнес сегодня этот человек, поразили меня в самое сердце, они запечатлелись в нем вопреки моей воле и терзают меня. Тут кроется какая-то тайна. Прости, я краснею, признаваясь тебе в этом, но твои объяснения меня не успокоили. Разум подсказывает мне догадки, которые отвергает моя любовь. Что за мучительная борьба! Мог ли я оставаться возле тебя, положив руку тебе под голову и подозревая, что в этой голове таятся неведомые мне мысли? Ах! Я тебе верю, верю! — вскрикнул он с живостью, заметив, что она грустно улыбнулась и хотела что-то возразить ему.— Не говори ничего, не упрекай меня. Одно твое слово может меня убить. И разве скажешь ты мне что-нибудь, чего я не твержу себе сам в течение уже трех часов? Да, целых три часа я просидел здесь, глядя, как ты спишь. Ты так прекрасна, я восхищаюсь твоим лицом, таким чистым, таким безмятежным. Да, да! Ты никогда ничего от меня не скрывала, не так ли? Я один в твоей душе? Созерцая тебя, погружая свои глаза в твои, я все вижу в них. Жизнь твоя всегда так же чиста, как твой взор. Нет, никакой тайны не скрывает этот чистый взгляд.

Он вскочил с колен, чтобы поцеловать ее в глаза.

— Позволь открыться тебе, моя радость. Вот уже пять лет, как мое счастье росло день за днем от сознания, что ты не знаешь ни одной из тех естественных привязанностей, которые всегда что-нибудь отнимают у любви. У тебя не было ни сестры, ни отца, ни матери, ни подруги, я никого не вытеснял из твоего сердца, никому не уступал его: я царил в нем один. Клеманс, одари меня теми ласковыми словами, которые я так часто от тебя слышал, не брани меня, дорогая, успокой меня, я несча-

стен. Да, конечно, я виновен в низких подозрениях, тогда как твое сердце совершенно спокойно. Бесконечно любимая, скажи, разве я мог оставаться возле тебя? Да разве могли наши головы лежать, как бывало, на одной подушке, когда одну мучают сомнения, а другая безмятежна... О чем ты думаешь? — порывисто воскликнул он, заметив, что Клеманс пришла в смятение и, терзаясь какой-то мыслью, залилась слезами.

— Я думаю о матери,— с печалью ответила она.— Тебе не понять, Жюль, как мучительно для твоей Клеманс вспоминать последнее прощание с матерью, слушая твой голос, эту сладчайшую музыку, вспоминать предсмертное пожатие ее холодеющих рук, чувствуя, как твои руки расточают мне ласки упоительной любви.

Она подняла своего мужа, обняла его и с нервической силой, превышающей силу мужчины, прижала к своей груди, целуя его волосы и обливаясь слезами.

— Ах, пусть четвертуют меня, был бы только ты счастлив! Скажи мне, что ты счастлив со мною, что я для тебя прекраснейшая из женщин, что все женщины заключены для тебя во мне. Да ведь ничья любовь не сравнится с моей любовью. Что для меня слова *долг* и *добродетель*? Я люблю тебя, Жюль, ради тебя самого, я счастлива, что люблю,— и буду любить тебя все сильней и сильней до последнего моего вздоха. Я горжусь моей любовью, я верю — мне суждено испытать в жизни только одно чувство. Ужасно, быть может, то, что я тебе скажу: я рада, что у меня нет детей, и я их не хочу. Я больше жена, чем мать. Тебя мучают страхи? Послушай, возлюбленный мой, обещай мне все забыть — нет, не этот час нежности и сомнений, но слова того безумца. Обещай мне не видеться с ним, не ходить к нему. Я убеждена, что сделай ты еще только шаг в этом лабиринте — и мы низвергнемся в пропасть, и я там погибну, с твоим именем на устах, с твоим сердцем в моем сердце. Почему ты так возносишь меня в своей душе и так низко ставишь в жизни? Ты так доверчиво открываешь кредит стольким людям, а ради меня не можешь, хотя бы из милости, пожертвовать какими-то случайными подозрениями; и когда ты, первый раз в жизни, мог бы доказать свою безграничную веру в меня, ты низвергаешь меня с престола

твоего сердца? Ты веришь не мне, а какому-то безумцу. Ах, Жюль, Жюль! — Она остановилась, отбросила волосы, ниспадавшие ей на лоб и грудь, и раздирающим душу голосом прибавила: — Незачем было мне так много говорить, достаточно и одного слова. Помни, Жюль, если хоть легкое облачко будет омрачать твою душу, твое лицо, я умру!

Она не в силах была преодолеть дрожь и побледнела.

«Да, я убью этого человека»,— мысленно решил Жюль, поднял на руки жену и отнес ее на кровать.

— Спи спокойно, мой ангел,— сказал он ей,— я все забыл, клянусь тебе!

Клеманс заснула, успокоенная этими нежными словами, которые муж повторил ей еще ласковей. И Жюль подумал, любуясь спящей женой: «Она права! Когда любовь так чиста, подозрение ее губит. Да, если хоть слегка ранить эту непорочную душу, этот лилейный цветок — то все кончено, Клеманс умрет».

Стоит хотя бы на краткий миг между двумя любящими существами, живущими одной общей жизнью, возникнуть малейшему облачку — и в них останется от него неизгладимый след. Либо их любовь становится еще более страстной, как природа становится прекраснее после дождя, либо в сердце у них все не смолкает тревога, подобно отдаленному грому, продолжающему звучать и тогда, когда небо над головой прояснилось; вернуться к прежней жизни невозможно, любовь должна или возрасти, или зачахнуть. За завтраком г-н и г-жа Демаре проявляли друг к другу обычную заботливость, но она была как бы несколько принужденной. Они обменивались взглядами, полными почти вымученной веселости, взглядами людей, старающихся обмануть самих себя. Жюля мучили невольные сомнения, жену его — страхи перед несомненной опасностью. А ведь ночью они уснули спокойно, доверяя друг другу. Происходила ли их стесненность от недостатка взаимного доверия или от воспоминания о ночной сцене? Они и сами того не знали. Но они любили друг друга прежде, любили и теперь столь чистой любовью, что жестокое и в то же время благотворное впечатление этой ночи не могло пройти для них бесследно; оба ревностно стремились загладить его, и каждый хотел сделать первый шаг навстречу другому.

Однако они не в силах были не думать о первой причине их первой размолвки. Для любящих душ это еще не горе, страдания еще далеки; но это уже своеобразный траур души, не поддающийся описанию. Если существует соотношение между красками и душевными движениями, если, как поясняет слепец у Локка, алый цвет должен действовать на зрение, как фанфары — на слух, то эту отраженную меланхолию позволительно сравнить с гаммой серых красок. Но любовь огорченная, однако не утерявшая истинного ощущения счастья, лишь мимолетно потревоженного, дарит неизведанные наслаждения, полные муки и радости. Жюль вслушивался в голос жены, ловил ее взгляд с тем же молодым чувством, которое одушевляло его в первые дни их любви. И вот воспоминания о пяти годах безоблачного счастья, красота Клеманс, чистота ее любви быстро стерли последние следы нестерпимой муки. Наступивший день был воскресеньем, когда закрыта биржа и нет деловых встреч; муж и жена провели его вместе, еще более душевно сблизившись, словно двое испуганных детей, которые тесно прижимаются друг к другу и инстинктивно ищут друг у друга защиты. При жизни вдвоем иногда выпадают дни полного счастья, дарованные случаем, не связанные ни с прошлым, ни с будущим, цветы-однодневки!.. Жюль и Клеманс упоительно насладились этим днем, словно предчувствуя, что то последний день их любви. Как назвать неведомую силу, которая понуждает путников ускорить шаг перед грозой, хотя никаких явных признаков грозы еще нет; озаряет последние дни умирающего сиянием жизни и красоты и побуждает его строить самые радостные планы; заставляет ученого усилить свет своей лампы, хотя она еще достаточно ярко ему светит; внушает матери страх перед слишком пристальным взглядом, брошенным на ее ребенка проницательным человеком? Все мы испытывали такое чувство перед большими потрясениями в нашей жизни, но мы не нашли еще ему имени и не изучили его; это — больше чем предчувствие, хотя еще и не ясновидение.

Все шло прекрасно до следующего дня. В понедельник Жюль Демаре, обязанный явиться в обычный час на биржу, по привычке, прежде чем выехать из дому, спросил жену, не нужен ли ей экипаж.

— Нет,— ответила она,— нынче слишком скверная погода.

Действительно, шел проливной дождь. В третьем часу г-н Демаре отправился в суд и казначейство. В четыре часа, при выходе с биржи, он столкнулся лицом к лицу с г-ном де Моленкуром, поджидавшим его с тем лихорадочным упорством, которое свойственно ненависти и жажде мести.

— Сударь, я должен сообщить вам важные сведения,— сказал офицер, беря под руку биржевого маклера.— Я слишком, знаете ли, прямодушен, чтобы прибегать к анонимным письмам, которые нарушили бы ваш покой, я предпочитаю поговорить с вами. И поверьте мне, если бы жизнь моя не была под угрозой, я ни за что не стал бы вмешиваться в ваши семейные дела, даже имей я на это все права.

— Если вы собираетесь говорить со мной о госпоже Демаре,— ответил Жюль,— то попрошу вас, сударь, замолчать.

— Если я замолчу, сударь, то вы очень скоро увидите госпожу Демаре на скамье подсудимых, рядом с каторжником. Потребуете ли вы и теперь, чтобы я молчал?

Жюль побледнел, но сразу же овладел собою, придав своему красивому лицу напускное спокойствие; он увлек офицера под один из навесов здания временной биржи, где они встретились, и сказал голосом, в котором чувствовалось тайное волнение:

— Сударь, я вас выслушаю, но предупреждаю: я вызову вас на дуэль, и мы сразимся не на жизнь, а на смерть, если...

— О, я согласен на это! — воскликнул г-н де Моленкур.— Я питаю к вам глубочайшее уважение. Вы упомянули о смерти, сударь? Вы, разумеется, и не подозреваете, что, быть может по приказанию вашей жены, я был отравлен в субботу вечером. Да, сударь, вот уже третий день, как со мною творится что-то странное: от корней волос сквозь череп в меня проникает какая-то лихорадка, какое-то смертельное изнеможение, а я прекрасно знаю, что за человек третьего дня, на балу, коснулся моих волос!

Господин Моленкур рассказал, не опуская ничего, и о своей платонической любви к г-же Демаре, и о подроб-

ностях происшествия, с которого начинается эта история. Каждый выслушал бы его не с меньшим вниманием, чем биржевой маклер, но муж г-жи Демаре, естественно, должен был удивляться сильнее всякого другого. Тут проявился его характер, он был скорее изумлен, чем подавлен. Став судьей — и судьей обожаемой женщины,— он нашел в своей душе прямоту, приличествующую судье, и проникся его непреклонностью. Оставаясь еще влюбленным, он меньше думал о своей разбитой жизни, чем о жизни этой женщины, он прислушивался не к собственному горю, а к далекому голосу, взывающему к нему: «Клеманс не могла бы лгать! Зачем станет она изменять тебе?»

— Сударь,— добавил гвардейский офицер, кончая свой рассказ,— в субботу вечером в господине де Функале я обнаружил Феррагуса, того самого Феррагуса, которого полиция считает умершим, и тотчас же я послал одного смышленого человека проследить за ним. Вернувшись домой, я по какой-то счастливой случайности вспомнил фамилию госпожи Менарди, упомянутую Идой в письме к моему преследователю, который, несомненно, является любовником Иды. Руководствуясь столь скудными данными, мой лазутчик скоро представит отчет об этой странной истории, так как он искуснее в подобных розысках, чем любая полиция.

— Сударь,— ответил маклер,— не знаю, как вас благодарить за откровенность. Вы обещаете мне доказательства, свидетелей. Я буду их ждать. Я буду мужественно добиваться истины в этом необычайном деле, но вы разрешите мне сомневаться до тех пор, пока истинность обвинений не будет доказана. Так или иначе, вы получите удовлетворение, ведь вы понимаете, что оно необходимо.

Жюль возвратился домой.

— Что с тобой, Жюль? — спросила жена.— Ты так бледен, на тебе лица нет!

— На дворе холодно,— сказал он, медленно прохаживаясь по комнате, где все говорило о счастье и любви, по тихой комнате, в которой нарастала смертельная буря.— Ты не выходила сегодня из дому? — спросил он как будто невзначай.

Вероятно, задать этот вопрос его побудила послед-

няя из тысячи тайных мыслей, возникших в его сознании, удивительно ясном, хотя и разгоряченном ревностью.

— Нет,— ответила она с наигранным простодушием.

В эту минуту Жюль увидел в гардеробной бархатную шляпку жены для утренних прогулок — на шляпке было несколько капель дождя. Г-н Жюль был человек вспыльчивый, но душевно мягкий — уличать жену во лжи было ему тяжело. При таких обстоятельствах между некоторыми людьми все бывает покончено навсегда. Тем не менее при виде этих капель словно луч света мучительно пронзил его мозг. Он вышел из спальни, спустился в каморку привратника и, предварительно убедившись в том, что они одни, сказал ему:

— Фукеро, если скажешь правду, я обеспечу тебе сто экю годового дохода, если солжешь, выгоню, а если хоть и скажешь правду, но не будешь держать язык за зубами, не дам ни гроша.— Он замолчал, стараясь получше вглядеться в лицо привратника, которого подвел к окну, а затем продолжал: — Госпожа выходила из дому?

— Да, госпожа вышла из дому без четверти четыре и с полчаса уже как вернулась.

— Это правда? Ты даешь честное слово?

— Да, сударь.

— Я обеспечу тебя, как обещал; но если ты проронишь хоть один звук, то помни мое предостережение: ты все потеряешь!

Жюль вернулся к жене.

— Клеманс,— сказал он ей,— мне надо привести в порядок домашние счета, прости, что надоедаю тебе, но скажи, ведь я передал тебе с начала года сорок тысяч франков, не так ли?

— Нет, больше,— ответила она.— Сорок семь.

— Ты все их истратила?

— Ну, конечно,— ответила она.— Прежде всего я оплатила несколько прошлогодних счетов...

«Я так ничего не узнаю,— подумал Жюль,— не с того конца начал».

В эту минуту вошел лакей Жюля и подал ему письмо, которое тот равнодушно распечатал, но, бросив взгляд на подпись, стал с жадностью читать:

«Милостивый государь!

В интересах Вашего и нашего спокойствия я решилась обратиться к Вам, хотя и не имею удовольствия быть с Вами знакомой; но мое положение, возраст и страх перед непоправимым несчастьем заставляют меня просить Вас отнестись снисходительно к нашему удрученному горем семейству. Г-н Огюст де Моленкур вот уже несколько дней проявляет признаки умственного расстройства, и мы боимся, как бы он не нарушил Вашего счастья из-за своих химерических идей, которыми он делился с командором де Памье и со мною при первом приступе лихорадки. Вот почему мы считаем нужным предупредить Вас о его болезни, без сомнения еще излечимой. Она имеет столь серьезное и важное значение для всей нашей семьи и для будущности моего внука, что я рассчитываю на Вашу полную скромность. Если бы г-н командор или я могли увидеться с Вами, милостивый государь, нам не пришлось бы обращаться к Вам с письмом; но я не сомневаюсь, что Вы не откажете матери в просьбе и сожжете это письмо.

Примите уверения в полнейшем уважении.

Баронесса де Моленкур, урожденная де Риэ».

— Какая пытка! — воскликнул Жюль.

— Что с тобой? — спросила жена, не в силах скрыть свое беспокойство.

— Я дошел до того, что начинаю думать — не ты ли послала мне это письмо с целью рассеять мои подозрения,— сказал он, бросая ей письмо.— Так суди же сама о моих муках!

— Несчастный барон! — сказала г-жа Демаре, роняя бумагу.— Мне жаль его, хотя он и причиняет мне столько зла.

— Ты знаешь, он говорил со мной.

— А, так ты пошел к нему, несмотря на данное мне слово! — сказала она, холодея от ужаса.

— Клеманс, наша любовь на краю гибели, и мы стоим вне обычных законов жизни, забудем же все мелкие счеты среди этих страшных бедствий. Послушай, скажи мне, зачем ты выходила сегодня днем? Женщины считают себя вправе иной раз обманывать нас, мужчин, по пустякам. Ведь им нравится порой приготовить для нас

какой-нибудь сюрприз! А может быть, просто ты обмолвилась — сказала «нет» вместо «да».

Он вышел в гардеробную и вернулся со шляпой в руках.

— Ну, смотри! Я не собираюсь подвизаться в роли Бартоло, но шляпа тебя выдала. Ведь это следы дождевых капель! Значит, ты куда-то ездила в фиакре, и дождь забрызгал тебе шляпу, когда ты нанимала экипаж или когда входила в дом, где ты была сегодня, или когда выходила оттуда. Но ведь жена может выйти из дому и без дурного намерения, даже пообещав мужу никуда не выходить. Мало ли может быть причин, чтобы поступить так! У вас, женщин, могут быть причуды, кто осудит вас за них? Вы бываете непоследовательны в своих поступках. Ты, возможно, забыла что-нибудь сделать, оказать кому-либо услугу, нанести визит, совершить доброе дело. Ничто не должно помешать жене правдиво рассказать мужу, что она делала. Разве краснеют, открывая душу другу? Так вот, моя дорогая Клеманс, с тобой говорит не ревнивый муж, а любовник, друг, брат.— В страстном порыве он бросился к ее ногам.— Не оправдывайся, нет, а успокой мои страшные муки. Я знаю, ты выходила из дому. Так что же ты делала? Где была?

— Да, я выходила, Жюль,— ответила она взволнованным голосом, хотя лицо ее оставалось спокойным.— Но не расспрашивай меня ни о чем. Жди и верь мне, иначе тебя замучают угрызения совести. Жюль, дорогой мой Жюль, доверие — это добродетель любви. Признаюсь тебе, в эту минуту я слишком потрясена, чтобы тебе отвечать, но я не притворщица, и я тебя люблю, ты это знаешь.

— Ну, что же! Вопреки всему, что может пошатнуть веру мужчины в женщину, возбудить его ревность — ибо я, значит, не первый в твоем сердце, не единое с тобой существо,— я все же хочу верить тебе, верить твоему голосу, Клеманс, твоим глазам! Но если ты лжешь, ты заслуживаешь...

— О, тысячи смертей! — досказала она.

— Я ничего не скрываю от тебя, а ты, ты...

— Замолчи,— прервала она его,— наше счастье зависит от нашего с тобой молчания.

— Ах, я все должен знать! — воскликнул он з неистовом порыве бешенства.

В эту минуту из передней до них долетел визгливый, пронзительный голос какой-то женщины.

— И войду, меня не удержите! — кричала она.— Да, войду, мне надо ее видеть, и я ее увижу!

Жюль и Клеманс бросились в гостиную, и тотчас кто-то с такой силой рванул двери, что они широко распахнулись. В комнату стремительно ворвалась молодая женщина, и два лакея, тщетно пытавшиеся загородить ей дорогу, стали объяснять Жюлю:

— Сударь, невозможно было удержать эту женщину. Мы уже говорили ей, что госпожи дома нет. Она же отвечает, что и без нас знает, сама, мол, видела — госпожа выходила и вернулась. Грозилась, что не уйдет никуда, будет стоять под дверью до тех пор, пока не поговорит с госпожой.

— Ступайте,— сказал г-н Демаре слугам.— Что вам угодно, мадемуазель? — прибавил он, оборачиваясь к незнакомке.

Мадемуазель принадлежала к тому типу женщин, который встречается только в Париже. Она — порождение Парижа, как грязь, как мостовые Парижа, как вода Сены, что пропускается через парижские огромные фильтры, тщательно процеживается раз десять, прежде чем попадет наконец в граненые графины, где она искрится, ясная и чистая, очищенная от мути. И в самом деле, такая женщина — это поистине оригинальное существо. Двадцать раз запечатленная живописцами, рисовальщиками, карикатуристами, она ускользает от всякого анализа, ибо она неуловима во всех своих проявлениях, как сама природа, как фантастический Париж. И правда, она связана с пороком только одним радиусом и удалена от него в тысяче других точек социальной сферы. Притом она позволяет догадываться только об одной черте своего характера, той, из-за которой ее осуждают; ее прекрасные качества скрыты, она щеголяет своим наивным бесстыдством. Односторонне изображенная в драмах и книгах, где она окружена поэтическим ореолом, она верна себе только на чердаке, ибо в других условиях ее всегда либо превозносят, либо поносят. В богатстве она развращается, а в бедности она остается никем

не понятой. Иначе и быть не может! В ней слишком много пороков и слишком много достоинств; она равно способна и наложить на себя руки, проявляя величие своей души, и предаться позорному веселью; она слишком хороша и слишком омерзительна, она превосходно олицетворяет собой Париж; из таких, как она, вербуются беззубые привратницы, прачки, метельщицы, нищенки, частенько — наглые графини, восхитительные актрисы, знаменитые певицы; ее можно узнать и в двух некоронованных королевах, некогда подаренных монархии. Кто уловит истинный лик подобного Протея? Она — само воплощение женщины, она и ниже и выше женщины. В этом сложном образе живописцу нравов удается схватить только несколько черточек, целое — бесконечно. Да, это была парижская гризетка, но гризетка во всем своем великолепии; гризетка, имеющая возможность ездить на извозчике, счастливая, молодая, хорошенькая, свежая, но все же гризетка — и гризетка с коготками, вооруженная ножницами; смелая, как испанка; сварливая, как ханжа-англичанка, отстаивающая свои супружеские права; кокетливая, как великосветская дама, лишь более прямодушная и готовая на все; своего рода «львица», только из маленькой квартирки, вместе с которой она получила все, о чем прежде так долго мечтала,— красные миткалевые занавески, мебель, крытую трипом, чайный столик, фарфоровый сервиз, украшенный цветными рисунками, диванчик, плюшевый ковер, алебастровые часы, подсвечники под стеклянным колпаком, спальню, пуховую перину — словом, все утехи гризеток; даже экономку, тоже бывшую гризетку, но гризетку с усами и в наколке; возможность поездок в театр, засахаренные каштаны, и притом вволю, шелковые платья и дешевенькие шляпки — словом, все те наслаждения, о каких грезят модистки, сидя за своим прилавком,— разве что только не было экипажа, который, впрочем, появляется в воображении модисток лишь далекой мечтой, как маршальский жезл в сновидениях солдата. Да, наша гризетка была наделена всеми этими благами за истинную привязанность — или же вопреки искренности чувств, что тоже нередко бывает, когда получают все это как вознаграждение за бездумно выполняемую своеобразную повинность, за часок в день, проводимый в лапах стари-

ка. У молодой женщины, представшей перед г-ном и г-жой Демаре, были на ногах настолько открытые туфли, что на фоне ковра они лишь едва окаймляли ее белые чулки узенькими черными полосками. Эта обувь, своеобразие которой так хорошо подмечено парижской карикатурой, составляет неотъемлемое украшение парижской гризетки; а то старание, с каким она подчеркивает покроем платья все свои формы, еще больше выдает ее опытному глазу наблюдателя. Итак, незнакомка была, по образному выражению французских солдат, *засупонена в рюмочку,* затянута в зеленое платье с косынкой, вполне позволяющей догадываться о красоте ее груди, тем более что кашемировая шаль совсем соскользнула у нее с плеч и упала бы на пол, если бы ее концы гризетка не зажала в кулаках. У незнакомки было тонкое лицо, розовые щеки, белая кожа, серые глаза с искорками, очень выпуклый лоб, тщательно причесанные волосы, спускающиеся из-под шляпы на шею крутыми завитками.

— Меня зовут Идой, сударь. И вот, если я имею честь говорить с госпожой Демаре, то я все выложу, что накипело у меня на сердце *супротив* нее. Очень это дурно, когда сама ухитрилась обзавестись собственной обстановкой, вот как у вас здесь, а пытается отбить у бедной девушки — это у меня, сударь! — мужчину, который связан со мной нравственными узами и обещал искупить свой грех — заключить со мной брак в *муниципалитете.* Что, ей мало, сударь, красивых молодчиков? Пусть тешится с ними и оставит в покое пожилого человека, в котором все мое счастье. Чего там, нет у меня шикарных *хоромов,* зато есть у меня любовь. Плевать мне на красавчиков с тугим кошельком, я живу сердцем, и...

Госпожа Демаре повернулась к мужу.

— Вы позволите мне, сударь, не слушать дальше,— сказала она и пошла к себе в спальню.

— Если эта дама с вами живет, так я, видно, *влопалась;* ну и пусть! — продолжала Ида.— Зачем она повадилась каждый день бегать к господину Феррагусу!

— Вы ошибаетесь, мадемуазель, моя жена не способна...

— Ага, стало быть, вы *ейный* муж! — протянула слегка удивленная гризетка.— Ну, тем хуже, сударь!

Право, куда это годится, чтобы женщина имела счастье состоять в законном браке и путалась бы с таким, как Анри!

— Да кто этот Анри? — спросил г-н Жюль, схватив Иду за руку и увлекая ее в другую комнату, чтобы жена его больше ничего не слыхала.

— Как кто? Господин Феррагус...

— Но он же умер,— возразил Жюль.

— Вот бредни! Да я вчера вечером была с ним у Франкони, и домой он меня проводил честь честью. Ну, да ваша супруга сама может вам кое-что о нем порассказать. Что, разве не бегала она к нему сегодня в три часа дня? Меня-то не проведешь; я поджидала ее на улице, потому что милый такой человечек, господин Жюстен,— может, знаете, старичок с брелоками и в корсете,— сказал, что моя соперница — госпожа Демаре. Имя привычное, его часто выбирают себе наши женщины. Ах, извините, ведь это и ваше имя! Но будь госпожа Демаре сама придворная герцогиня, Анри так богат, что и тогда мог бы удовлетворить все ее прихоти. Мое дело — отстоять свое добро, и я права, потому что я-то люблю Анри! Это мое первое *сердешное* увлечение, тут дело идет о моей любви и о моей будущности. Меня не запугаете; я честная девушка и никогда не лгала, ничьего добра не крала. Будь моя соперница сама императрица, я пошла бы прямо к ней, посмей она посягнуть на моего будущего мужа; да будь она трижды императрица, я, поверьте, не задумываясь, могла бы убить ее, потому что все красивые женщины равны...

— Замолчите, довольно,— сказал Жюль.— Где вы живете?

— Улица Кордри-дю-Тампль, дом номер четырнадцать, сударь. Ида Грюже, корсетница, всегда к вашим услугам, ведь мы немало корсетов делаем и для мужчин.

— А где живет этот, как его вы зовете, Феррагус?

— Не *этот Феррагус*, а *господин Феррагус*,— сказала она, поджимая губы,— это вам, сударь, не первый встречный. Пожалуй, он почище вас еще будет. И что вам спрашивать у меня адрес, когда его знает ваша жена? Он не велел никому его давать. Да что я, обязана вам отвечать?.. Я, слава богу, не на исповеди и не в полиции и могу не давать никому отчета.

— А если я вам дам двадцать, тридцать, сорок тысяч франков, вы скажете мне, где живет господин Феррагус?

— Нет, на это я — молчок: на-ка, выкуси, дружок! — сказала она, подкрепляя свой удивительный отказ красноречивым народным жестом.— Никаких денег не хватит, чтобы заставить меня это сказать. Имею честь кланяться. Где здесь выход-то?

Ошеломленный Жюль дал Иде уйти, не подумав ее задержать. Ему казалось, что мир вокруг рушится и небесный свод разбивается вдребезги над его головой.

— Кушать подано, сударь,— доложил камердинер.

Камердинер и лакей с четверть часа поджидали господ в столовой.

— Госпожа не будет обедать,— сообщила горничная.

— Что случилось, Жозефина? — спросил камердинер.

— Не знаю,— ответила она.— Госпожа плачет и собирается лечь в постель. У хозяина, видно, была подружка на стороне, и это совсем некстати открылось, слышали? Не поручусь, переживет ли это госпожа. Все мужчины такие негодники! Устраивают сцены безо всякой осторожности.

— Ничего подобного,— тихонько возразил лакей,— наоборот, это все госпожа... ну, да вы понимаете. Когда же это у хозяина было время развлекаться в городе? Вот уже пять лет, как он ни разу нигде и не ночевал, кроме как в спальне жены, работает у себя в кабинете с десяти часов и выходит оттуда только к полудню, к самому завтраку. Что и говорить, жизнь его нам известна, правильная жизнь, а вот госпожа, так она чуть не каждый день, как три часа, так уж неизвестно куда исчезает.

— Ну и хозяин тоже,— сказала горничная, защищая хозяйку.

— Да ведь хозяин-то на биржу ездит...— возразил камердинер и немного погодя заметил:— Однако я уже три раза докладывал ему, что обед подан. Ну, словно истукану говоришь.

Вошел Жюль.

— Где госпожа? — спросил он.

— Госпожа в постель ложатся, у них мигрень,— многозначительно сообщила горничная.

Тогда Жюль с величайшим хладнокровием сказал слугам:

— Можете убирать со стола, я посижу с госпожой.

Он вошел в спальню жены. Клеманс плакала, но старалась заглушить рыдания платком.

— Почему вы плачете? — спросил ее Жюль.— Вы можете не бояться ни неистовых выходок, ни упреков с моей стороны. Зачем стал бы я вам мстить? Если вы не были верны моей любви, значит, вы были ее недостойны...

— Я недостойна?! — сквозь рыдания проговорила она таким голосом, который тронул бы любого мужчину, только не Жюля.

— Я не убью вас, для этого, видно, надо любить больше, чем я люблю,— продолжал он,— ну, а у меня не хватит духу, скорее я убью самого себя, дам вам наслаждаться вашим... счастьем с тем, кто...

Он не мог договорить.

— Убить себя! — закричала Клеманс, бросаясь к его ногам и обнимая их.

Он хотел высвободиться из ее объятий и отойти от нее, но она так крепко за него уцепилась, что он проволок ее по полу до самой кровати.

— Оставьте меня,— сказал он.

— Нет, нет, Жюль! — кричала она.— Если ты больше меня не любишь, я умру. Ты хочешь все знать?

— Да!

Он схватил ее, неистово сжал, затем присел на край постели и поставил перед собой жену, сдавив ее коленями, словно тисками; он устремил холодный взгляд на это прекрасное лицо, залитое слезами и пылавшее огнем, и сказал:

— Говорите же!

Клеманс снова зарыдала:

— Нет, это тайна, от которой зависит жизнь и смерть. Раскрыть ее тебе... Нет, не могу. Жюль, пощади!

— Ты все обманываешь меня...

— Ах, ты не говоришь мне больше *вы!* — воскликнула она.— Да, Жюль, ты можешь думать, что я тебя обманываю, но скоро, скоро ты все узнаешь.

— Но кто он тебе, этот Феррагус, этот каторжник, у которого ты бываешь, этот человек, разбогатевший на

преступлениях? Если ты не принадлежишь ему, если он не твой...

— Ах, Жюль!

— Так, значит, это он — твой неведомый благодетель? Это он — человек, которому, как говорили, мы обязаны своим состоянием?

— Кто говорил?

— Тот, кого я убил на дуэли.

— О господи, уже одна смерть!

— Пускай он не твой покровитель и не задаривает тебя золотом, пускай, наоборот, ты ему помогаешь,— так что же, он брат тебе, что ли?

— Ну, а если это так? — спросила она.

Господин Демаре скрестил руки.

— Почему же ты скрыла все от меня? — продолжал он.— Ты, стало быть, обманывала меня вместе с матерью? Да кто же ходит к брату чуть ли не каждый день?

Жена его упала без чувств к его ногам.

«Умерла,— подумал он.— А что, если я не прав?»

Он бросился к звонку, позвал Жозефину и уложил Клеманс на постель.

— Я умру, я не вынесу этого,— сказала г-жа Демаре, придя в себя.

— Жозефина,— крикнул г-н Демаре,— пойдите за господином Депленом! Затем зайдете к моему брату и передадите ему, что я прошу его прийти как можно скорее.

— Зачем зовете вы брата? — спросила Клеманс.

Но Жюль уже вышел из комнаты.

Впервые за пять лет г-жа Демаре лежала в постели одна, без мужа, впервые вынуждена была допустить врача в свою спальню, в свое святилище. Это были тяжкие для нее огорчения. Деплен нашел состояние г-жи Демаре очень опасным; никогда еще душевные потрясения не оказывали столь странного действия. Врач не хотел ничего предрекать и, обещав высказать свое мнение на другой день, ограничился несколькими предписаниями, которые остались невыполненными, ибо сердечные заботы оттеснили заботы о здоровье. Уже светало, а Клеманс все не могла заснуть. Она прислушивалась к глухому шепоту братьев, разговаривавших между собой несколько

часов подряд, но толстые стены не позволяли ей уловить ни единого слова, по которому она могла бы догадаться о содержании этой беседы. Вскоре брат Жюля, нотариус Демаре, ушел. Тишина ночи и необычайное обострение слуха, вызванное нервным возбуждением, помогли Клеманс услышать скрип пера и шорохи, невольно производимые пишущим человеком. Кто привык бодрствовать по ночам и кому приходилось наблюдать различные акустические явления среди глубокой тишины, тот знает, что зачастую нетрудно заметить внезапный, даже легкий, шорох там, где обычно однообразный и непрерывный шум не доходит до слуха. В четыре часа утра шум прекратился. Взволнованная и дрожащая встала с постели Клеманс. Босиком, без пеньюара, не заботясь о том, что была в испарине, не думая о своем болезненном состоянии, бедная женщина открыла дверь в кабинет — и так удачно, что дверь даже не скрипнула. Она увидела мужа, заснувшего в кресле с пером в руке. Свечи догорели до самых розеток. Она тихонько подошла к столу и прочла на запечатанном уже конверте: «Мое завещание».

Она преклонила перед мужем колено, как перед гробницей, и поцеловала его руку, отчего он сразу проснулся.

— Жюль, друг мой, преступникам, приговоренным к смертной казни, и то дают несколько дней отсрочки,— сказала она, поднимая на него глаза, которым лихорадочное состояние и любовь придали необычный блеск.— Твоя жена, ни в чем не повинная, просит у тебя всего два дня сроку. Дай лишь два дня в мое распоряжение и... жди! Тогда я умру счастливой, ты хоть пожалеешь обо мне.

— Клеманс, я согласен.

И когда она в трогательном сердечном порыве стала целовать ему руки, Жюль, покоренный этим излиянием невинной души, привлек жену к себе и поцеловал в лоб, сгорая от стыда, что все еще находится под властью ее благородной красоты.

На другой день, отдохнув несколько часов у себя в кабинете, Жюль вошел в спальню к жене, невольно подчиняясь привычке не выходить из дому, не повидавшись с ней. Клеманс спала. Луч света, пробиваясь сверху сквозь щели ставней, падал на лицо измученной женщины.

Печать страданий уже легла на ее лоб, губы утратили свою свежесть. Взгляд любящего человека не мог ошибиться при виде землистых пятен на ее лице и болезненной бледности вместо ровного румянца и матовой белизны — того чистого фона, на котором так непосредственно отражались все чувства этой прекрасной души

«Она страдает,— подумал Жюль.— Бедная Клеманс, да помилует нас бог!»

Он осторожно поцеловал ее в лоб. Она проснулась, увидела мужа и поняла все; но, не в силах говорить, она только взяла его за руку, и глаза ее наполнились слезами.

— Я не виновата ни в чем,— сказала она, пробуждаясь от сна.

— Ты никуда не выйдешь из дому? — спросил ее Жюль.

— Нет, я слишком слаба, чтобы встать с постели.

— Если передумаешь, подожди меня,— попросил Жюль.

И он направился к выходу.

— Фукеро, внимательно следите за парадным подъездом, мне надо знать, кто войдет в дом и кто из него выйдет.

Затем г-н Жюль нанял фиакр и приказал ехать к особняку Моленкуров; там он спросил барона.

— Барон нездоров,— сказали ему.

Жюль настойчиво требовал, чтобы его приняли; он назвал свое имя и попросил, если уж нельзя видеть барона, доложить о нем видаму или старой баронессе. Он ждал в гостиной; через несколько минут баронесса вышла к нему и сказала, что ее внук слишком плохо себя чувствует и не может его принять.

— Я знаю о болезни вашего внука, сударыня, из письма, которое вы оказали мне честь написать,— ответил Жюль,— и прошу вас поверить...

— Из какого письма, сударь? Из моего письма к вам?! — перебила его вдова.— Но я не писала вам ничего. Что же вам написали от моего имени?

— Сударыня,— продолжал Жюль,— решив сегодня же посетить господина де Моленкура и вернуть вам лично это письмо, я позволил себе сохранить его, вопреки приказанию, которым оно заканчивается. Вот оно.

Вдова позвонила, попросила принести ей очки и, взглянув на бумагу, выразила сильнейшее удивление.

— Сударь, кто-то так превосходно подделал мой почерк,— сказала она,— что, если бы дело шло не о столь недавних событиях, я сама обманулась бы. Внук мой болен, это правда, сударь, но разум его ничуть не поврежден. Мы во власти каких-то преступных людей, и все же я не могу понять, для чего они пошли на эту наглую ложь... Вы повидаетесь с моим внуком, сударь, и убедитесь, что ум его не пострадал.

Она позвонила снова, чтобы узнать у барона, не примет ли он г-на Демаре. Лакей вернулся, приглашая его к барону. Жюль поднялся к Огюсту де Моленкуру, который сидел в кресле около камина и, не имея силы встать, лишь меланхолично кивнул головою Жюлю; видам находился тут же.

— Господин барон,— сказал Жюль,— мне надо сообщить вам кое-что сугубо личного характера, и я желал бы остаться с вами наедине.

— Сударь,— ответил Огюст,— господин командор в курсе всех дел, и вы можете безбоязненно говорить в его присутствии.

— Господин барон,— продолжал Жюль значительным тоном,— вы смутили мой покой, почти разрушили мое счастье, не имея на то никакого права. До тех пор пока не станет ясно, кто у кого может требовать удовлетворения, вы обязаны помогать мне на том опасном пути, куда вы меня сами толкнули. Так вот, я пришел узнать у вас нынешний адрес таинственного существа, которое оказывает столь роковое влияние на нашу судьбу и словно пользуется какой-то сверхъестественной властью. Вчера, вернувшись после встречи с вами домой, я получил вот это письмо.

И Жюль протянул ему подложное письмо.

— Этот Феррагус, этот Буриньяр, или господин де Функал,— сам сатана! — воскликнул Моленкур, прочитав письмо.— В какой страшный лабиринт я попал! Куда я иду? Я был неправ, сударь,— сказал он, взглянув на Жюля,— но смерть, бесспорно, самое великое искупление, а моя смерть уже не за горами, вы можете от меня требовать все, что пожелаете, располагайте мной.

— Сударь, вы должны знать, где живет незнакомец.

Я должен во что бы то ни стало проникнуть в эту тайну, хотя бы ценой всего моего состояния; а при столкновении со столь беспощадным, изобретательным врагом дорога каждая минута.

— Жюстен вам все расскажет,— ответил барон.

При этих словах командор заерзал на стуле.

Огюст позвонил.

— Жюстена нет дома! — заявил видам со странной поспешностью.

— Ну так что же? — живо возразил Огюст.— Люди знают, где он, кто-нибудь верхом съездит за ним. Ведь он в Париже, не так ли? Его разыщут.

Командор, казалось, был сильно взволнован.

— Жюстен не придет, мой друг,— сказал наконец старик.— Он умер. Я хотел скрыть от тебя этот несчастный случай, но...

— Умер? — воскликнул г-н де Моленкур.— Умер? Когда же? Как?

— Вчера ночью. Он отправился со старыми друзьями поужинать, наверное, напился пьян, а приятели его, пьяные, как и он сам, оставили его валяться на улице, и его переехала телега...

— Его настигла рука каторжника! Он убил его сразу, с первого удара,— сказал Огюст.— Со мной ему не так посчастливилось, он четыре раза покушался на меня.

Жюль мрачно задумался.

— Значит, я ничего не выясню! — воскликнул после долгого молчания биржевой маклер.— Ваш слуга, быть может, наказан по заслугам. Не злоупотребил ли он вашими полномочиями, не он ли очернил госпожу Демаре в глазах какой-то Иды, возбудив ее ревность и натравив ее на нас с женой?

— Ах, сударь, в своем гневе я рассказал ему все о госпоже Демаре.

— Милостивый государь! — возмущенно вскричал муж.

— О, теперь я готов ко всему,— ответил офицер, движением руки призывая его к спокойствию.— Вы не накажете меня больше, чем я уже наказан, и вы не осудите меня строже, чем осудила меня моя совесть. Сегодня я жду посещения самого знаменитого профессора, знатока

ядов, чтобы узнать свой приговор. Если меня ждут слишком сильные муки, то я уже твердо решил — пущу себе пулю в лоб.

— Вы рассуждаете, как дитя,— воскликнул командор, испуганный хладнокровием, с каким барон произнес эти слова.— Ваша бабушка умрет с горя.

— Итак, сударь,— сказал Жюль,— нет никакой возможности узнать, где в Париже проживает этот необычайный человек?

— Помнится,— отвечал старик,— я слышал от бедняги Жюстена, будто господин де Функал живет не то в португальском, не то в бразильском посольстве. Господин де Функал — дворянин, связан и с той и с другой стороной. Ну, а каторжник, тот умер и похоронен. Ваш преследователь, кто бы он ни был, представляется мне столь могущественным человеком, что вам не остается ничего иного, как примириться с его новым обличьем до поры до времени, пока вы не обретете возможность его уличить и раздавить; но действуйте крайне осторожно, милостивый государь. Если бы господин де Моленкур слушался моих советов, ничего бы с ним не случилось.

Жюль холодно, но вежливо простился, не зная, что предпринять, как добраться до Феррагуса. Когда он вернулся домой, привратник сказал ему, что г-жа Демаре выходила из дому опустить письмо в почтовый ящик, находившийся против улицы Менар. Жюлю унизительно было видеть, с какой необычайной сметливостью взялся за дело привратник, с какой ловкостью выполнял он его поручения. Жюлю было известно, какая исключительная сноровка проявляется слугами, когда надо скомпрометировать своих хозяев, если те сами себя компрометируют; он понимал опасность подобных сообщников в любом деле, но ему было не до того, он вспомнил о личном достоинстве только тогда, когда подвергся столь внезапному унижению. Какое торжество для раба, не могущего подняться до своего господина,— заставить господина стать на одну доску с ним. Жюль был резок, суров. Еще одна ошибка. Но он так страдал! Жизненный путь его, до этих пор такой прямой, такой чистый, становился извилистым, приходилось теперь лгать, лукавить. Клеманс тоже лгала и лукавила. Его охватило отвращение. Весь

во власти горьких дум, Жюль стоял и стоял у дверей своего особняка. То, предаваясь безнадежным мыслям, он хотел бежать, покинуть Францию, унося с собой хоть какие-то последние иллюзии любви. То, уверенный, что письмо жены было адресовано Феррагусу, он измышлял способы перехватить ответ этого таинственного существа. То он задумывался над необычайными случайностями своей жизни после женитьбы и спрашивал себя, не была ли правдой клевета, за которую он отомстил. И, снова возвращаясь к мысли об ответе Феррагуса, он рассуждал:

«Да ответит ли Феррагус? Ведь он так поразительно хитер, так осмотрителен во всех своих действиях, ведь он видит, предчувствует, учитывает и отгадывает все, даже наши мысли. Не прибегнет ли он к каким-нибудь таинственным путям общения, доступным его власти? Не передаст ли он письмо с каким-нибудь ловким мерзавцем, а то, быть может, ответ принесет в футляре от ювелира какой-нибудь честный малый, сам ничего не подозревая, или вручит жене невиннейшим образом, вместе с ботинками, какая-нибудь мастерица? А что, если Феррагус и Клеманс обо всем договорились?»

Он ничему больше не верил, он сомневался во всем, теряясь среди необозримых просторов, среди безбрежного моря предположений; потом, отказавшись от тысячи противоречивых планов, он решил, что вернее всего выжидать дома, притаившись, как муравьиный лев в своей песчаной норке.

— Фукеро,— сказал он привратнику,— кто бы ни пришел ко мне, меня нет дома. Если пожелают увидеть госпожу или передать ей что-нибудь, ты позвонишь два раза. Кроме того, показывай мне все письма, кому бы ни были они адресованы!

«Так я перехитрю почтенного Феррагуса,— подумал он, поднимаясь к себе в кабинет по внутренней лестнице.— Если его посланец схитрит и спросит сначала меня, чтобы проверить, одна ли дома жена, я по крайней мере не останусь в дураках!»

Он прильнул к окну своего кабинета, выходившему на улицу, и под влиянием ревности пустился на последнюю хитрость: вместо того чтобы самому поехать на биржу, послал в своей карете письмоводителя с письмом к

одному знакомому маклеру, чтобы тот заменил его в этот день и заключил за него сделки по купле и продаже, согласно разъяснениям в письме. Наиболее ответственные операции он отложил до следующего дня, пренебрегая повышением и понижением ценностей и всеми европейскими долгами. Великое право любви! Любовь все подавляет, перед ней все блекнет: алтари, троны и бумаги государственного казначейства. В половине четвертого дня, в час наивысшего разгара всех биржевых сделок — репортов, пролонгаций, выплаты премий, покупки процентных бумаг и т. п.— к Жюлю в кабинет вошел сияющий Фукеро.

— Сударь, только что приходила старуха, гладкая такая. Продувная бестия, доложу я вам. Спрашивала вас и словно бы огорчилась, что вас дома нет, а госпоже велела вот это письмо передать.

С лихорадочной поспешностью Жюль распечатал письмо, но тотчас в полном изнеможении упал в кресло. Письмо представляло собой бессмысленный набор фраз, и прочесть его можно было лишь с помощью ключа. Оно было написано шифром.

— Ступай, Фукеро.

Привратник вышел.

«Проникнуть в эту тайну труднее, чем в морские глубины, недоступные лоту. Ах! Он любит ее! Только тот, кто любит, так предусмотрителен и изобретателен, как автор этого письма. Боже мой! Я убью Клеманс».

В эту минуту счастливая мысль так ярко осенила его мозг, что ему показалось, будто и все вокруг стало светлее. В дни его трудолюбивой нищеты, еще до женитьбы, у Жюля был истинный, испытанный друг. Исключительная деликатность, с какой Жюль относился к бедному и скромному другу, щадя его самолюбие; уважение, которое Жюль неизменно ему выказывал; изобретательность и ловкость, к каким Жюль благородно прибегал, чтобы принудить его делить с ним, не краснея, его достаток,— все это укрепило их дружбу. Жаке остался верным другом Демаре, несмотря на его богатство.

Жаке, человек подлинно честный, работящий, строгих правил, медленно прокладывал себе путь в том ведомстве, которому нужны самые прожженные и в то же время самые надежные люди. Он служил в министерстве

иностранных дел, и в его ведении находились важнейшие секретные бумаги. Жаке в министерстве был как бы светлячком, в известные часы изливающим свет на тайную переписку; он расшифровывал и сортировал депеши. По своему положению поставленный выше обывателя, он занимал в министерстве иностранных дел самую крупную должность из всех доступных низшему чиновничеству; он жил в неизвестности, радуясь тому, что огражден от всяких превратностей жизни, и с чувством удовлетворения внося свою скромную лепту на благо отчизне. Помощник мэра своего округа, он, как выражаются в газетах, пользовался заслуженным уважением. При содействии Жюля он получил возможность улучшить свое положение, заключив выгодный брак. Безвестный патриот, на деле преданно служа министерству, он довольствовался тем, что осуждал действия правительства, лишь сидя у домашнего очага. Впрочем, дома Жаке был благодушным монархом, человеком скромных привычек, отдавал все деньги жене и ни в чем ей не прекословил. Наконец, чтобы завершить портрет этого *философа неведомо для себя*, прибавим, что он так и не догадывался, да и не мог никогда догадаться о выгодах, какие другой на его месте извлек бы из своего положения — неизменно узнавая по утрам все государственные тайны и при этом имея близким другом биржевого маклера. Этот высокой души человек — подобный безвестному солдату, погибшему, спасая жизнь Наполеона своим криком «кто идет?»,— жил при министерстве.

Через десять минут Жюль уже был в канцелярии архивариуса. Жаке пододвинул ему стул, снял с себя и аккуратно положил на стол зеленый шелковый козырек для глаз, потер руки, взял табакерку, встал с места, хрустнул пальцами, расправил плечи и сказал:

— Каким ветром занесло тебя в наши края, почтеннейший Демаре? Чем могу тебе служить?

— Жаке, ты мне очень нужен, ты один можешь разгадать страшную тайну, дело идет о жизни и смерти.

— Политика тут ни при чем?

— Поверь, не к тебе обратился бы я тогда с расспросами,— сказал Жюль.— Нет, это семейное дело, и прошу тебя сохранить его в глубокой тайне.

— Клод-Жозеф Жаке нем по профессии. Неужели ты

не знаешь меня? — сказал он смеясь.— Такова уж моя участь — всегда молчать.

Жюль передал ему письмо со словами:

— Прочти мне эту записку, она адресована моей жене.

— Черт побери! Черт побери! Плохо дело! — сказал Жаке, рассматривая письмо, как ростовщик, оценивающий принесенный ему заклад.— Ага! Да это письмо с решеткой! Погоди!

Он вышел из кабинета и очень скоро вернулся.

— Пустяки, дружище! Это написано с помощью устарелой решетки, которой пользовался еще португальский посол во времена господина Шуазеля, когда изгоняли иезуитов. Вот смотри.

Жаке наложил на письмо лист с прорезным рисунком, похожий на бумажные кружева, какими кондитеры украшают свои изделия, и Жюль без труда прочел слова, оставшиеся открытыми.

«Не тревожься, дорогая Клеманс, никто не нарушит больше нашего счастья, и твой муж откажется от своих подозрений. Я не могу тебя повидать. Как бы ты ни была больна, тебе надо собрать все свое мужество и прийти. Постарайся, найди в себе силы, почерпни их в своей любви. Из любви к тебе я претерпел жесточайшую операцию и не могу теперь встать с постели. Мне делали вчера вечером прижигания пониже затылка, на шее, от одного плеча до другого,— и прижигания длительные. Ты понимаешь меня? Но, думая о тебе, я мог вытерпеть боль. Чтобы сбить со следа Моленкура, который уже не долго будет нас преследовать, я покинул спасительную кровлю посольства и укрылся от всех розысков в надежном убежище, на улице Анфан-Руж, в доме № 12, у старушки по имени госпожа Грюже — она мать той самой Иды, которой дорого придется заплатить за свою дурацкую выходку. Приходи ко мне завтра в девять часов утра. Я лежу в комнате, куда можно попасть только по внутренней лестнице. Спроси г-на Камюзе. До завтра. Целую тебя в лоб, моя дорогая».

Жаке взглянул на Жюля с каким-то простодушным ужасом, в котором было искреннее сострадание, и два-

жды, с различными интонациями голоса, повторил свое излюбленное словечко:

— Черт побери, черт побери!

— Тебе все ясно, не правда ли? — сказал Жюль.— Так вот, слушай! В глубине моей души какой-то голос защищает жену, и звучит он убедительнее, чем все муки ревности. Я перетерплю до завтрашнего утра страшнейшую пытку; но наконец завтра, между девятью и десятью часами, я узнаю все и стану навсегда несчастным или счастливым. Не забывай обо мне, Жаке!

— Я зайду к тебе завтра в одиннадцать часов. Мы пойдем туда вместе; если хочешь, я буду ждать тебя на улице. Ты можешь подвергнуться нападению; надо, чтобы около тебя был преданный человек, который поймет тебя с полуслова и придет тебе на помощь. Рассчитывай на меня.

— Даже если понадобится помочь мне в убийстве?

— Черт побери, черт побери! — с живостью произнес Жаке, как бы повторяя одну и ту же музыкальную ноту.— У меня двое детей и жена...

Жюль пожал руку Клода Жаке и вышел. Но он тотчас же вернулся.

— Я забыл письмо,— сказал он.— И притом это еще не все, его надо снова запечатать.

— Черт побери, черт побери! Ты вскрыл его, не сняв с печати оттиска; но, к счастью, печать довольно удачно сломалась. Иди домой, а письмо оставь у меня, я принесу его secundum scripturam [1].

— В котором часу?

— В половине шестого...

— Если я не вернусь домой к этому времени, то просто отдай его привратнику и скажи ему, чтобы он передал его жене.

— Так прийти мне завтра к тебе?

— Нет, не надо. Прощай.

Жюль быстро доехал до площади Ротонд-дю-Тампль, оставил там свой кабриолет и пошел пешком на улицу Анфан-Руж, где стал осматривать дом г-жи Грюже. Там должна была разъясниться тайна, от которой зависела участь стольких людей; там находился Ферраrус, а

---

[1] По указанному адресу *(лат.)*.

ведь к Феррагусу вели нити всей этой интриги. Не связаны ли были судьбы г-жи Демаре, ее мужа и этого человека в гордиев узел драмы, уже кровавой, которая сулит неизбежное вмешательство меча, рассекающего самые крепкие узы?

Дом принадлежал к разряду так называемых *каморочниц*. Такое весьма знаменательное название парижане дали домам, составленным из построек, первоначально ничем не связанных между собою. Это почти всегда самостоятельные жилые помещения, но соединенные вместе по прихоти различных домовладельцев, которые их достраивали, каждое на свой лад; или же здания, которые кто-то начинал строить и бросал, затем опять кто-то строил и с грехом пополам заканчивал,— несчастные дома, видавшие на своем веку, подобно некоторым народам, немало династий своенравных владык. Ни этажи, ни окна не создают здесь единства линий, если заимствовать у художников одно из наиболее образных их выражений; там все дисгармонирует между собой, даже наружные украшения. *Каморочницы* среди парижской архитектуры — то же, что *свалка* в закоулке какой-нибудь квартиры, настоящий хаос, где нагромождены в беспорядке самый разнообразный хлам.

— Как пройти к госпоже Грюже? — спросил Жюль у привратницы.

Привратница занимала клетушку у ворот, смахивающую на курятник,— тесную деревянную постройку на катках, напоминающую будки, какие наставила полиция на всех извозчичьих биржах.

— А? — протянула привратница, отрываясь от чулка, который вязала.

В Париже различные фигуры, придающие характерный облик отдельным частям этого чудовищного города, прекрасно гармонируют со всем ансамблем. Так, привратник, дворник, швейцар — называйте, как хотите, этот существенный мускул парижского чудовища! — всегда находится в полном соответствии со своим кварталом и часто может служить его олицетворением.

Расшитый галунами праздный привратник Сен-Жерменского предместья играет на бирже; на Шоссе д'Антен привратник живет в достатке, в квартале Биржи почитывает газету, а в Монмартрском предместье пред-

ставляет собой значительное лицо. Привратница в квартале проституции — бывшая проститутка; в Марэ — угрюмая, несговорчивая особа строгих нравов.

Увидев г-на Жюля, привратница взяла нож и принялась ворошить потухающие угли в жаровне, затем переспросила:

— Стало быть, вы спрашиваете госпожу Грюже?

— Да,— ответил Жюль Демаре, начиная раздражаться.

— Золотошвейку?

— Да.

— Так вот, сударь,— сказала она, выйдя из своей клетушки и ведя г-на Жюля за руку через длинный и сводчатый, как погреб, коридор.— Подымитесь по второй лестнице, что в глубине двора. Видите окна — с цветущими *клевкоями?* Там и живет госпожа Грюже.

— Благодарю вас, сударыня. Вы полагаете, она одна?

— А то как же иначе? Она ведь вдовая.

Жюль быстро взбежал по темной лестнице, ступеньки которой были покрыты комьями затверделой грязи, нанесенной сюда многочисленными ногами. На третьем этаже он увидел три двери, но не обнаружил никаких *клевкоев.* К счастью, на одной из дверей, самой засаленной и самой грязной, он разобрал написанные мелом слова: «Ида придет сегодня вечером в девять часов».

«Здесь!» — решил Жюль.

Дернув за старый почерневший шнур звонка с ручкой в виде козьей ножки, он услышал глухой, надтреснутый звон колокольчика и хриплое тявканье собачонки. По тому, как зазвенел в квартире колокольчик, он догадался, что комнаты загромождены вещами, заглушающими все отзвуки,— характерная черта квартир, занимаемых мастеровыми и бедняками, которым не хватает ни места, ни воздуха. Машинально Жюль продолжал искать *клевкои* и, наконец, заметил их на наружном выступе окна между двумя зловонными желобами. Тут росли цветы, тут был разбит сад длиною в два фута, шириною в шесть дюймов, тут произрастали колосья пшеницы; то был краткий итог жизни на земле, но также итог всех ее бед. Луч света, словно из милости заглянувший сюда, делал еще заметнее, рядом с этими чахлыми цве-

тами и превосходными стеблями пшеницы, пыль, сальные пятна и неопределенную, свойственную парижским лачугам окраску, бесконечную грязь, покрывавшую старые и отсырелые стены, гнилые перила лестницы, рассохшиеся оконные рамы, двери, некогда выкрашенные в красный цвет. Вскоре старушечий кашель и тяжелые шаги женщины, с трудом таскавшей ноги в войлочных туфлях, возвестили о появлении матери Иды Грюже. Старуха открыла дверь, вышла на площадку, подняла голову и сказала:

— А, господин Бокийон! Нет, обозналась. Ну до чего вы похожи на господина Бокийона! Вы, видно, брат его? Чем могу вам служить? Входите же, сударь!

Жюль прошел за старухой в первую комнату, где в беспорядке представились его взорам клетки для птиц, кухонная утварь, печи, мебель, глиняные блюдца для собак и кошек, наполненные водой или каким-то месивом, деревянные стенные часы, одеяла, гравюры Эйзена, старое, сваленное в кучу железо, нагромождение всякой всячины, представлявшей поистине диковинную картину, настоящая парижская свалка, в которой можно было обнаружить несколько случайных номеров «Конституционеля».

Жюль, весь поглощенный мыслью, как осторожнее приступить к делу, пропустил мимо ушей приглашение вдовы Грюже:

— Пройдите же сюда, сударь, погрейтесь.

Боясь быть услышанным Феррагусом, Жюль раздумывал, не лучше ли здесь же, сразу предложить старухе сделку, ради которой он сюда явился. Кудахтанье курицы, вылезшей из чулана, вывело его из задумчивости. Жюль решил действовать. Он прошел за матерью Иды в комнату, где горел огонь, куда за ними поплелась, в качестве немого свидетеля этой сцены без слов, маленькая, страдающая одышкой моська; она забралась на старую табуретку. Предложив гостю погреться, г-жа Грюже обнаружила все свое полунищенское тщеславие. Ее суповой горшок совершенно скрывал под собою две сиротливые головешки. Шумовка валялась на полу, ручкой в золе. Камин, который украшало восковое изображение Христа под стеклянным кубическим колпаком, оклеенным по ребрам полосками голубоватой бумаги,

был завален шерстью, катушками, принадлежностями золотошвейного ремесла. Жюль оглядел всю обстановку квартиры с крайним любопытством и не мог скрыть своего удовлетворения.

— Ну, скажите, сударь, вы, верно, пришли столковаться насчет моей *небели?* — спросила вдова, усаживаясь в желтое камышовое кресло, бывшее, по всей вероятности, ее постоянной резиденцией.

Там, в щели между сиденьем и спинкой, нашли себе пристанище носовой платок, табакерка, вязанье, наполовину очищенные овощи, очки, календарь, начатые ливрейные галуны, засаленная колода карт, два томика каких-то романов. Это кресло, в котором старуха плыла вниз по *течению жизни,* походило на мешок, который обычно берут с собой в дорогу женщины, уместив туда все свое хозяйство в миниатюре, начиная с портрета мужа и кончая мелиссовой водой на случай обморока, английским пластырем на случай порезов и конфетками для детей.

Жюль все приметил. Он внимательно рассмотрел пожелтевшее лицо г-жи Грюже, ее серые глаза без ресниц и бровей, беззубый рот, забитые копотью морщины, порыжелый тюлевый чепец, с еще более порыжелым рюшем, дырявую ситцевую юбку, стоптанные туфли; прогоревшую грелку; стол, заваленный тарелками, шелковыми лоскутками, раскроенными ситцевыми и шерстяными платьями, среди которых возвышалась бутылка вина. И он решил про себя: «Эта женщина предается страсти, привержена тайному пороку, она у меня в руках!»

— Сударыня,— громко произнес он, многозначительно мигнув ей,— я пришел заказать вам галуны...— И прибавил шепотом: — Я знаю, что у вас нашел приют незнакомец, называющий себя Камюзе.

Старуха кинула на него быстрый взгляд, не выказав ни малейшего удивления.

— Скажите,— продолжал Жюль,— может ли он нас слышать? Подумайте о том, что дело идет о вашем благосостоянии.

— Сударь,— ответила она,— не бойтесь ничего, здесь никого нет. Если и был бы кто наверху, так все равно вас не услышал бы.

«А старуха с хитрецой, себе на уме! — подумал Жюль.— С ней можно столковаться».

— Не трудитесь меня обманывать, сударыня,— отвечал он ей.— И прежде всего запомните, что я не желаю зла ни вам, ни вашему больному жильцу, страдающему от прижиганий, ни вашей дочери Иде, корсетнице, подруге Феррагуса. Вы видите, я в курсе всех ваших дел. Успокойтесь, в полиции я не работаю и не потребую от вас ничего, что было бы противно вашей совести. Завтра между девятью и десятью часами утра сюда придет молодая дама, чтобы поговорить с другом вашей дочери. Мне надо все видеть, все слышать, но так, чтобы меня не видели и не слышали. Предоставьте мне эту возможность, а я отблагодарю вас за услугу двумя тысячами франков единовременно и пожизненной пенсией в шестьсот франков. Сегодня вечером мой нотариус в вашем присутствии составит соответствующий акт; я передам ему для вас деньги, а завтра, после того разговора, при котором я желаю присутствовать, он вручит их вам, если я увижу, что вы добросовестно выполнили свои обязательства.

— Но вдруг это повредит моей дочке, дорогой барин? — сказала она, бросая на него недоверчивый, кошачий взгляд.

— Нисколько, сударыня. К тому же ваша дочь как будто и не очень заботится о вас. Ведь ее любит такой богатый, такой могущественный человек, как Феррагус, она, мне кажется, могла бы устроить получше вашу жизнь.

— Ах, дорогой барин, хоть бы раз дала мне какой-нибудь завалящий билетик в театр Амбигю или в Гетэ, куда сама ходит, когда только ей вздумается. Нехорошо это, право, нехорошо. Ради дочери я продала все свое серебро, так что теперь ем — это в мои-то годы! — на немецком металле и все для того, чтобы уплатить за ее учение и дать ей в руки такое ремесло, что захоти она только, и она станет загребать золотые горы. Вот по этой части она вся в меня, уж такая искусница, просто волшебница, по совести вам говорю. Ну, хоть бы отдавала мне старые шелковые платья, ведь знает, что привыкла я ходить в шелках. Но куда там, сударь! Повадилась обедать в «Голубом циферблате», где платят пятьдесят франков с персоны, разъезжает в каретах, как принцесса! На мать ей теперь просто наплевать, ни во

что меня не ставит. Господи боже! Что за непутевое поколение мы вырастили, нечем и похвалиться. А была я, сударь, прекрасной матерью, редкой матерью, я прикрывала все ее грешки, всегда держала ее около своей юбки, последний кусок хлеба у себя урывала, чем только я ее не ублажала. И что же! Придет, приласкается, скажет: «Здравствуйте, матушка». Вот и готово, вот и выполнены все ихние обязанности к родительнице. Живи, как можешь! Ну, будут когда-нибудь и у нее дети, сама поймет, что́ это за дрянной товар— а все равно ведь любишь их!

— Неужели она ничего для вас не делает?

— Ах, сударь, не то чтобы ничего,—я этого не скажу, но, право, немного. Она платит за квартиру, за дрова и дает мне тридцать шесть франков в месяц... Но куда это годится, сударь,— в мои-то лета, в пятьдесят два года, когда глаза уже слезятся по вечерам, все еще работать? Да и пошто она меня знать не желает? Гнушается она мною, что ли? Пусть уж так прямо и говорит. Ей-ей, из-за этих собачьих отродий хоть в гроб ложись, только выскочат за двери, глядь, уже и забыли вас.

Она вытащила носовой платок, обронив при этом из кармана на пол лотерейный билет, который быстро подхватила.

— А! Никак моя налоговая квитанция,— сказала она.

Жюль сразу догадался о причине мудрой дочерней скаредности, на которую жаловалась мать, и не сомневался уже, что вдова Грюже пойдет на сделку с ним.

— Ну, сударыня,— сказал он,— согласитесь в таком случае на мое предложение.

— Значит, говорите вы, две тысячи франков наличными и шестьсот франков ренты?

— Сударыня, я передумал, я дам вам только триста франков ренты. Такая сделка больше согласуется с моими интересами. Зато вы получите от меня пять тысяч наличными. Может быть, так удобнее и для вас?

— Еще бы, сударь!

— Вы будете лучше обеспечены и станете ездить в Амбигю-комик и к Франкони, куда пожелаете, и притом в карете.

— Ах! Не люблю Франкони, по причине того, что там нечего послушать. Ну, сударь, соглашаюсь я только

потому, что так оно выгоднее моей доченьке. Вот и перестану сидеть у нее на шее. Бедная детка, могу ли я сердиться на нее, если ей хочется поразвлечься! Сударь, ну как не повеселиться молодежи? Так, стало быть, коли вы ручаетесь, что я никому вреда не принесу...

— Никому,— подтвердил Жюль.— Но как же вы возьметесь за дело?

— Да что тут, сударь! Дам я сегодня вечером господину Феррагусу испить настоечки из маковых головок, и он, сердечный, крепко уснет! А ему это только на пользу, ведь как он мучается, прямо жалость берет. Вот тоже, скажите на милость, выдумает же здоровый человек жечь себе спину, чтобы только избавиться от тика, мучающего его не чаще, чем раз в два года. Ну вот, скажу я вам опять о нашем деле, есть у меня ключ от соседской квартиры, что вверху надо мной, а там есть общая стена с той комнатой, где лежит господин Феррагус. Соседка уехала в деревню на десять дней. Так можно проделать ночью дыру в стене, что промежду комнат, и вы тогда вдоволь и наглядитесь на них и наслушаетесь. Есть у меня приятель слесарь, обходительный такой человек, а рассказывает, точно ангел. Он-то для меня сделает все шито-крыто.

— Вот вам для него сто франков, будьте сегодня вечером у господина Демаре-нотариуса по этому адресу. В девять часов вечера акт будет готов, но... ни гу-гу...

— Ладно, сударь, так и будет, ни гу-гу! До свиданьица!

Жюль вернулся домой почти успокоенный уверенностью в том, что завтра все выяснится. Вернувшись, он нашел у привратника письмо, опять безупречно запечатанное.

— Как ты себя чувствуешь? — спросил он жену, хотя их и разделяла некоторая отчужденность.

Так трудно расставаться с привычками сердца!

— Неплохо, Жюль,— ответила она кокетливым тоном,— не хочешь ли пообедать здесь, подле меня?

— Хорошо,— ответил он и тут же отдал ей письмо.— Вот возьми, это Фукеро передал для тебя.

Клеманс, прежде совершенно бледная, вся покраснела при виде письма, чем причинила Жюлю сильнейшую боль.

— Что это, от радости? — спросил он со смехом.— Долгожданные вести?

— Ах! Тут много всего! — ответила она, разглядывая печать.

— Я пойду к себе, сударыня.

Он прошел в кабинет, где написал брату о своем намерении обеспечить пожизненной рентой г-жу Грюже. Когда он вернулся, то на маленьком столике около кровати Клеманс был уже приготовлен для него обед, и Жозефина ожидала тут же, чтобы ему прислуживать.

— Если бы я была на ногах, с какой радостью я прислуживала бы тебе сама,— сказала г-жа Демаре, когда Жозефина оставила их одних.— Ах, даже на коленях! — продолжала она, гладя своими бледными руками волосы Жюля.— Благородная душа, ты был сейчас, дорогой мой, очень добр. Ты облегчил мои страдания своим доверием больше, чем все доктора мира сделали бы своими предписаниями. Твоя женская деликатность — ведь ты умеешь любить, как женщина! — пролила в мое сердце такой бальзам, что почти исцелила меня. Это передышка, Жюль, наклонись ко мне, я хочу поцеловать тебя в голову.

Жюль не в силах был отказать себе в удовольствии поцеловать Клеманс. Но он сделал это не без угрызений совести, он чувствовал себя ничтожным перед этой женщиной, в невинность которой ему хотелось верить, несмотря ни на что! Она испытывала какую-то грустную радость. Чистая надежда светилась на ее лице сквозь печаль. Оба они, по-видимому, одинаково страдали оттого, что вынуждены были обманывать друг друга; еще одно ласковое слово, и, обессилев от страданий, они признались бы друг другу во всем.

— До завтра, до вечера, Клеманс!

— Нет, сударь, до полудня, вы узнаете тогда все, и вы преклоните колена перед вашей женой. Ах, нет, тебе не придется унижаться, нет, я все простила тебе; нет, ты ни в чем не повинен. Послушай, вчера ты жестоко со мной поступил; но, быть может, моя жизнь не была бы такой полной без этой скорби.

— Ты околдовала меня,— воскликнул Жюль,— ты заставляешь меня раскаиваться!

— Бедный друг, судьба сильнее нас, и я не властна в своей судьбе. Завтра мне нужно будет выйти из дому.

— В котором часу? — спросил Жюль.

— В половине десятого.

— Клеманс,— ответил г-н Демаре,— побереги себя, посоветуйся с доктором Депленом и со стариком Одри.

— Лучшие советчики — сердце и мужество.

— Я предоставляю тебе свободу и навещу тебя завтра в полдень.

— Ты не посидел бы со мной немного сегодня вечером? Я чувствую себя совсем здоровой.

Окончив дела, Жюль вернулся к жене, движимый непреодолимым влечением. Любовь его была сильнее всех мук.

На другой день, около девяти часов утра, Жюль вырвался из дому, помчался на улицу Анфан-Руж, взбежал по лестнице и позвонил ко вдове Грюже.

— Ага! Вы держите слово! Точны, как заря небесная! — сказала, узнав его, старая позументщица.— Входите же, сударь. Я вам приготовила чашку кофе со сливками, на случай, если...— и, закрывая дверь, прибавила: — Ах! С самыми настоящими сливками, надоили эту крыночку у меня на глазах в молочном заведении, что у нас на рынке Анфан-Руж.

— Спасибо, сударыня, мне ничего не нужно. Проводите меня...

— Ладно, ладно, дорогой барин. Пройдите сюда.

Вдова проводила Жюля в комнату, расположенную над ее квартирой, и с торжеством показала отверстие величиною с монету в сорок су, просверленное ночью с таким расчетом, чтобы оно выходило в комнату Феррагуса в самом высоком и темном месте, между узорами обоев. В обеих комнатах отверстие приходилось над шкапами. Незначительные повреждения, сделанные слесарем, не оставили поэтому заметных следов ни с той, ни с другой стороны стены, и в темноте было очень трудно обнаружить эту своеобразную бойницу. Чтобы, дотянувшись до нее, хорошо все рассмотреть, Жюлю пришлось сохранять все время напряженную позу, стоя на скамейке, которую позаботилась принести г-жа Грюже.

— У него там какой-то господин,— сказала, уходя, старуха.

Жюль действительно рассмотрел человека, занятого перевязыванием ран, вызванных ожогами, на плечах Феррагуса, лицо которого он узнал по описанию барона де Моленкура.

— Как ты думаешь, скоро я поправлюсь? — спросил Феррагус.

— Не знаю,— ответил незнакомец,— но если верить врачам, придется сделать по меньшей мере перевязок семь-восемь.

— Ну, что же, до вечера,— сказал Феррагус, протягивая руку человеку, когда тот наложил последнюю повязку.

— До вечера,— ответил незнакомец, сердечно пожимая руку Феррагусу.— Мне хотелось бы, чтобы поскорей окончились твои страдания.

— Завтра, наконец, нам передадут бумаги господина де Функала, и Анри Буриньяр будет похоронен навсегда. Два роковых письма, которые дорого нам обошлись, больше не существуют. Итак, я снова стану существом, приемлемым в обществе, человеком среди людей, и, право, я ничем не хуже того моряка, доставшегося на съедение рыбам. Видит бог, не для себя превращаюсь я в графа!

— Бедный Грасьен! Ты самый светлый ум среди нас, наш возлюбленный брат, любимец нашей банды; ты сам это знаешь.

— Прощай! Послеживайте хорошенько за моим Моленкуром.

— На этот счет будь спокоен.

— Послушай, маркиз! — окликнул уходящего незнакомца старый каторжник.

— Что такое?

— Ида способна на все после вчерашней сцены. Если она бросится в воду, я, разумеется, не стану ее оттуда вылавливать, там она гораздо лучше сохранит тайну моего имени, единственную известную ей тайну; но ты все-таки присмотри за ней: право же, она славная девка.

— Ладно.

Незнакомец удалился. Не прошло и десяти минут, как Жюль, охваченный лихорадочной дрожью, услышал характерный шорох шелкового платья и, казалось ему, узнал шаги жены.

— Ну, вот и я, отец,— сказала Клеманс.— Бедный отец, как вы себя чувствуете? Какое мужество!

— Подойди ко мне, дитя мое,— ответил Феррагус, протягивая ей руку.

Клеманс склонилась к нему, и он поцеловал ее в лоб.

— Но что с тобой, девчурка? Что за новые горести?..

— Горести? Нет, отец, это гибель вашей дочери, которую вы так любите. Я ведь уже писала вам вчера, как необходимо, чтобы вы своим изобретательным умом изыскали способ повидаться с моим бедным Жюлем сегодня же. Если бы вы знали, как он ласков со мной, несмотря на подозрения, казалось бы такие обоснованные! Отец, для меня любовь — вся жизнь моя. Неужели вы хотите моей смерти? Ах! Я исстрадалась! Я чувствую, что моя жизнь в опасности.

— Потерять тебя, моя дочь,— сказал Феррагус,— потерять тебя из-за любопытства какого-то ничтожного парижанина! Я сожгу Париж. Ах! Ты знаешь, что такое возлюбленный, но не знаешь, что такое отец.

— Отец, мне страшно, когда вы глядите на меня так. Не кладите на одни весы столь различные чувства. Я любила мужа еще до того, как узнала, что отец мой жив...

— Пусть муж был первым, кто поцеловал твой лоб,— ответил Феррагус,— но я первый оросил твой лоб слезами... Успокойся, Клеманс, открой мне свою душу. Я люблю тебя настолько, что буду счастлив одним лишь сознанием твоего счастья, хотя в сердце твоем почти нет места для отца, а мое сердце ты заполняешь все целиком.

— Боже мой, ваши слова, отец, приносят мне слишком много радости. Вы заставляете меня любить вас еще больше, и мне кажется, я как-то обкрадываю Жюля. Но, дорогой отец, подумайте только, ведь он в отчаянии. Что я скажу ему через два часа?

— Дитя! Разве я и без твоего письма не спас бы тебя от несчастья, которое тебе угрожает? А какая участь постигает тех, кто решается омрачить твое счастье или стать между нами? Неужели ты никогда не чувствовала некое второе провидение, которое оберегает тебя? Разве ты не знаешь, что двенадцать человек, исполненных силы и разума, стоят на страже твоей любви и твоей жизни, готовы на все, чтобы вас охранять. Разве не твой

отец, рискуя жизнью, приходил любоваться тобой на прогулках или в восхищении смотреть на тебя по ночам у твоей матери, когда ты спала в своей кроватке? Разве не твоему отцу одно только воспоминание о твоих ласках давало силы жить в те дни, когда человек чести должен убить себя во избежание позора? Ведь я твой отец, я дышу только твоими устами, смотрю только твоими очами, чувствую только твоим сердцем, так неужели же я не защищу львиными когтями, всей силой отцовской души единственное мое благо на земле, мою жизнь, мою дочь?.. Да, после смерти моего ангела, твоей матери, я мечтал только об одном — о счастье признать тебя дочерью, сжать тебя в объятиях перед лицом неба и земли, похоронить навеки *каторжника*...— Он на минуту замолк, а затем продолжал: — Я мечтал вернуть тебе отца, быть вправе без стыда пожать руку твоему мужу, чтобы спокойно жить в ваших сердцах и говорить всему свету, указывая на тебя: «Вот мое дитя!» Я мечтал насладиться, наконец, своим отцовством.

— Ах отец, отец!

— После великих трудов, обыскав весь земной шар,— продолжал Феррагус,— мои друзья нашли мне человечью шкуру, которую я могу на себя напялить. Через несколько дней я предстану перед всеми как господин де Функал, португальский граф. Право, доченька моя, не у многих людей в мои годы хватило бы терпения изучить португальский и английский языки, которые этот чертов моряк знал в совершенстве.

— Дорогой отец!

— Все предусмотрено, пройдет еще несколько дней, и его величество Иоанн Шестой, король португальский, станет моим сообщником. Тебе надо только немного терпения, у твоего отца его оказалось очень, очень много. Но для меня это было совсем просто. На что не пошел бы я, чтобы вознаградить твою преданность в течение последних трех лет! Ты приходила ко мне, ты считала своим святым долгом утешать старого отца, рисковала ради него своим счастьем.

— Отец!

Клеманс схватила руки Феррагуса и покрыла их поцелуями.

— Ну, еще немного мужества, Клеманс! Сохраним

до конца страшную тайну. Жюль — незаурядный человек, но все же нельзя поручиться, что именно его благородный характер и огромная любовь к тебе не станут причиной некоторого презрения к дочери...

— Ах! Этого-то я и боюсь! Вы читаете в моем сердце,— сказала Клеманс душераздирающим голосом.— Мысль о Жюле леденит меня. Но, отец, подумайте, ведь я обещала ему через два часа открыть всю правду.

— Что же, дитя мое, скажи ему, пусть отправится в португальское посольство поговорить с твоим отцом, графом де Функалом, я буду там.

— Да ведь господин де Моленкур рассказывал ему о Феррагусе! Ах, отец, этот обман, обман без конца — что за пытка!

— Кому ты это говоришь? Но еще несколько дней, и во всем свете не сыщется ни одного человека, который мог бы меня разоблачить. К тому же господин де Моленкур и теперь уже, наверное, не в состоянии что-либо вспомнить... Ну, глупышка, утри слезы и сама рассуди...

В эту минуту страшный крик раздался в комнате, где притаился Жюль Демаре.

— Моя дочь! Моя несчастная дочь!

Этот вопль проник через отверстие, просверленное над шкафом, и поразил ужасом Феррагуса и г-жу Демаре.

— Поди узнай, что случилось, Клеманс.

Клеманс поспешно сошла по лестнице, увидела открытую настежь дверь г-жи Грюже, но, услыхав крики, доносившиеся сверху, поднялась на третий этаж, привлеченная звуком рыданий в роковой комнате, и уже с порога услышала, как г-жа Грюже говорила:

— Это все вы, сударь, вы сгубили ее своими причудами.

— Да замолчите же! — сказал Жюль, пытаясь заткнуть ей рот платком, но вдова кричала:

— Спасите! Спасите! Убивают!

В эту минуту в комнату вошла Клеманс, увидела мужа, вскрикнула и убежала.

— Кто вернет мне дочь? — воскликнула вдова после длительного молчания.— Вы убили ее!

— Но что случилось? — рассеянно спросил г-н Жюль, подавленный тем, что жена узнала его.

— Читайте, сударь,— крикнула старуха, заливаясь слезами.— Найдется ли на свете такая рента, чтобы утешить в подобном горе!

«Прощай, матушка! Завещаю тебе все, что имею. Прости меня завсе прегрешения и запоследнее горе, что причиняю тебе, накладывая насебя руки. Анри, которого я люблю больше себя самой, сказал, что я виновата в его несчастье, он оттолкнул меня, и я потеряла всякую надежду на примирение, ивот поэтому я утоплюсь. Я брошусь в Сену выше Нельи, чтобы меня недоставили в морг. Если после того, как я покараю себя смертью, Анри смилуется надо мной, попроси его похоронить бедную девушку, чье сердце билось для него одного, и пусть простит он меня — я была неправа, вмешиваясь в чужие дела. Осторожно перевязывай его ожоги. Бедный котик, как он страдает! Но и мне, чтоб покончить ссобой, надо не меньше мужества, чем ему для его прижиганий. Отдашь готовые корсеты моим заказчикам. И помолитесь богу завашу дочь.

Ида».

— Передайте это письмо господину де Функалу, тому господину, что в соседней комнате. Только он может спасти вашу дочь, если еще не поздно,— сказал Жюль и поспешил скрыться, словно был виновен в преступлении.

Ноги его дрожали. Никогда еще кровь таким горячим, обильным потоком не приливала к его сердцу, никогда еще она с такой необычайной стремительностью не разливалась по всему его телу. Самые противоречивые мысли сталкивались в его мозгу, но над всеми преобладала одна: он подло поступил с той, кого любил больше всего на свете. Он был не в силах заглушить укоры своей совести, которая, после всего совершенного им, с такой ясностью твердила ему то же самое, что еще раньше, даже в часы самых мучительных сомнений, нашептывала ему любовь. Он проблуждал по Парижу большую часть дня, не смея вернуться домой. Этот честный человек дрожал при мысли о том, как посмотрит он в безупречно чистые глаза не понятой им женщины. Нет единой мерки, которой люди измеряют свою вину, и то, что одному может

показаться незначительным житейским проступком, другому, человеку с чистою душой, представляется подлинным преступлением. Само слово «чистота» не полно ли небесной музыки? И малейшее пятнышко на белом одеянии девственницы не так ли оскорбляет взоры, как и грязные лохмотья нищего? Различие здесь столь же неопределенно, как и различие между несчастьем и ошибкой. Бог устанавливает меру для раскаяния, не разделяя его по степеням — он требует полного покаяния, и потому искупить одно прегрешение все равно, что искупить целую грешную жизнь. Размышления эти подавляли Жюля всей своей тяжестью, ибо страсть так же сурова в своих обвинениях, как и человеческие законы, но судит правильнее: разве не опирается она на свою особую совесть, непогрешимую, как инстинкт? Жюль возвратился домой в отчаянии, бледный, угнетенный сознанием своей вины; но радость, которую он ощущал при мысли о невинности жены, вырывалась наружу против его воли. Дрожа от волнения, вошел он в спальню. Клеманс лежала в постели, ее лихорадило; он сел около нее, взял ее руку и поцеловал, обливая слезами.

— Ангел мой милый,— сказал он ей, когда они остались вдвоем,— ты видишь, как я раскаиваюсь!

— В чем? — отозвалась она.

Проговорив эти слова, она склонила голову на подушку, закрыла глаза и замерла в неподвижности, с материнской, ангельской чуткостью скрывая свои страдания, чтобы не напугать мужа. В этом сказалась она вся. Молчание длилось и длилось. Жюль, думая, что Клеманс заснула, пошел расспросить Жозефину о здоровье ее хозяйки.

— На госпоже лица не было, когда она вернулась, сударь. Мы ходили за доктором Одри.

— Был он? Что сказал?

— Ничего, сударь. Он словно был озабочен, не позволил никого пускать к госпоже, кроме сиделки, и обещал, что зайдет еще вечером.

Жюль тихонько вернулся к жене, сел в кресло у постели и сидел не шевелясь, жадно ловя взор Клеманс; стоило ей приоткрыть глаза, как тотчас же они встречались с глазами Жюля, и сквозь ее отяжелевшие веки навстречу его взгляду устремлялся нежный взгляд, пол-

ный страсти, без тени упрека или горечи, взгляд, который, словно огненная стрела, поражал сердце мужа, великодушно прощенного и неизменно любимого этим существом, которое он убивал. Смерть стояла между ними — оба с одинаковой ясностью предчувствовали ее. Из глаз их струилась от одного к другому одна, общая тоска, как прежде сердца их нераздельно, неразличимо сливались в общей любви. Никаких расспросов, все было ясно и неотвратимо. Беззаветное великодушие — у жены, ужасные угрызения — у мужа; и у каждого в душе один и тот же призрак близкой развязки, одно и то же чувство обреченности.

Была минута, когда, думая, что жена заснула, Жюль нежно поцеловал ее в лоб, долго-долго смотрел на нее и произнес:

— Господи, сохрани мне этого ангела, дай искупить мне мой грех перед ней долгим поклонением... Как дочь, она полна святого величия, как жена... но разве определишь это словом?

Клеманс открыла глаза, они были полны слез.

— Не мучай меня,— сказала она ему слабым голосом.

Наступил вечер, пришел доктор Одри и попросил мужа удалиться на время осмотра. Когда доктор вышел к Жюлю, тот не задал ему ни единого вопроса, он понял все с первого взгляда.

— Созовите консилиум из врачей, которым вы доверяете, я могу ошибаться.

— Но, доктор, скажите все. Я — мужчина и найду в себе силы выслушать правду, к тому же мне чрезвычайно важно ее знать, так как придется кое с кем свести счеты...

— Госпожа Демаре перенесла смертельное потрясение,— ответил врач.— Усилившиеся душевные страдания осложняют ее тяжелую болезнь; вдобавок состояние больной ухудшилось из-за ее неосторожности: ночью она вставала с постели и ходила по комнате босиком; я запретил ей выходить из дому, она же отправилась вчера куда-то пешком, а сегодня в экипаже. Она сама себя погубила. Впрочем, мое суждение нельзя считать непреложным — молодость, поразительный нервный подъем... Возможно, следует рискнуть всем, раз ничего

другого не остается,— прибегнуть к некоторым сильнодействующим средствам; но я не решусь их прописать, я даже не посоветую обратиться к ним, а на консилиуме буду возражать против них.

Жюль вернулся к жене. Одиннадцать дней и одиннадцать ночей не отходил он от постели жены, только днем разрешал он себе немного подремать, прислонясь головою к кровати. Никогда никто еще не проявлял такой ревнивой заботливости и такой властной преданности, как Жюль. Он не допускал, чтобы кто-либо оказывал даже самые незначительные услуги его жене; он, не отпуская, держал ее за руку и, казалось, таким путем хотел влить в нее жизнь. Он пережил часы тревоги, мимолетные радости, счастливые дни, улучшения, кризисы,— словом, все ужасные отсрочки, даваемые смертью, которая медлит, колеблется, но в конце концов поражает. Г-жа Демаре все время находила в себе силы улыбаться мужу; она скорбела о нем, чувствуя, что скоро он осиротеет. То была двойная агония, агония жизни и любви; но жизнь, уходя, слабела, а любовь все возрастала. Наступила страшная ночь, когда Клеманс металась в бреду, как это бывает перед смертью у всех молодых существ. Она говорила о своей счастливой любви, об отце, она рассказывала о признаниях своей матери на смертном одре и об обязанностях, которые та на нее возложила. Она боролась не во имя жизни, а во имя страсти, с которой не хотела расставаться.

— Боже,— молила она,— не допусти, чтобы он узнал, как я жажду умереть с ним вместе.

Жюль в это время, не в силах выдержать тяжелое зрелище, вышел в соседнюю гостиную и не слышал о ее желании, а то бы он его исполнил.

Когда кризис прошел, к г-же Демаре вернулись силы. На другой день она снова стала прекрасной, спокойной; она разговаривала, в ней пробудились надежды, она принарядилась, как принаряжаются больные. Затем она пожелала, чтобы ее оставили одну на целый день, и с такой настойчивостью просила мужа уйти, что он не мог ей отказать, как нельзя отказать ребенку. Впрочем, Жюлю самому необходимо было иметь этот день в своем распоряжении. Он направился к г-ну де Моленкуру, чтобы потребовать у него условленного между ними смертельно-

го поединка. С великими трудностями добрался он до виновника своих несчастий,— все же видам, узнав, что дело касается вопроса чести, и подчиняясь предрассудкам, которыми всегда руководился в жизни, провел Жюля к барону. Войдя, г-н Демаре стал искать глазами г-на де Моленкура.

— Да это он и есть, смотрите! — сказал командор, указывая на какого-то человека, сидевшего в кресле у камина.

— Господин Демаре... А кто это такой? — спросил умирающий разбитым голосом.

Огюст совершенно потерял способность, без которой нельзя жить,— память. При виде его Жюль отступил в ужасе. Он не мог узнать изящного молодого человека в существе, которому, по выражению Боссюэ, ни на одном языке не нашлось бы имени. Это был воистину какой-то труп — кожа да кости,— с седыми волосами, с морщинистым, увядшим, иссохшим лицом, с неподвижными белесыми глазами, с безобразно отвисшей челюстью, как у помешанных или как у распутников, умирающих от излишеств. Ни следов разума во взгляде, в очертаниях лба, ни кровинки в лице. Словом, это было какое-то съежившееся, истаявшее существо, доведенное до того состояния, в каком находятся музейные уродцы, хранимые в сосудах со спиртом. Жюлю почудилось, что над этой головой реет грозный лик Феррагуса, и перед таким полным мщением отступила сама ненависть. Супруг нашел в своем сердце жалость к этим сомнительным останкам человека, еще недавно совсем молодого.

— Как видите, дуэль уже состоялась,— проговорил командор.

— Но сколько людей погубил сам господин Моленкур! — с горечью воскликнул Жюль.

— И каких дорогих сердцу людей! — прибавил старик.— Его бабушка умирает с горя. Вероятно, и я скоро последую за ней в могилу.

На другой день после этого посещения г-жа Демаре чувствовала себя все хуже и хуже с каждым часом. Она воспользовалась мгновением, когда ей стало немного легче, вынула из-под подушки письмо, поспешно передала его Жюлю и сделала знак, который нетрудно было

понять. Клеманс хотела передать ему в поцелуе последнее дыхание жизни, он принял его, и она умерла. Жюль упал как подкошенный, и его отвезли к брату. А когда там, рыдая и безумствуя, он начал исступленно корить себя, что накануне уходил на целый день, брат заверил его, что Клеманс сама желала его ухода, чтобы он не присутствовал при религиозной церемонии, которая сопровождает последнее приобщение.

— Ты не выдержал бы,— сказал ему брат.— Я сам был не в силах смотреть, и все слуги заливались слезами. Клеманс была словно святая. Она собралась с силами, чтобы проститься с нами, и этот голос, который мы слышали в последний раз, раздирал нам сердце. Когда она стала просить прощения за невольные обиды, которые, может быть, нанесла тем, кто ей служил, все зарыдали, так зарыдали...

— Довольно,— сказал Жюль,— довольно!

Он хотел остаться один, чтобы узнать из письма о последних мыслях этой прелестной женщины, увядшей, как увядает цветок.

«Возлюбленный мой, это мое завещание. Отчего не завещать сокровищ сердца, как и всякое иное достояние наше? Разве моя любовь — не все мое достояние? Я не хочу говорить здесь ни о чем, кроме своей любви: она — все богатство твоей Клеманс и все, что она может завещать тебе умирая. Жюль, я еще любима, я умираю счастливой. Врачи по-своему объясняют мою смерть, я одна знаю ее настоящую причину. Ты должен узнать ее, какие бы муки ни доставило это тебе. Я не хочу унести в сердце, целиком тебе принадлежащем, какую-либо скрытую от тебя тайну, умирая жертвой вынужденной скрытности.

Жюль, я была вскормлена и воспитана в полнейшем уединении, вдали от пороков и лжи света, той прекрасной женщиной, которую ты знал. Общество отдавало должное ее светским достоинствам, которые оно ценит в людях, но я тайно наслаждалась ее небесной душой, я не могла не дорожить матерью, которая наполнила мое детство безоблачной радостью, и я хорошо понимала, за что так люблю ее. Не значило ли это любить вдвойне? Да, я любила ее, боялась ее, уважала ее, и ничто не тяготило моего сердца, ни уважение, ни боязнь. Я была

всем для нее, и она была для меня всем. Девятнадцать совершенно счастливых, беззаботных лет моя душа, одинокая среди бушевавшего вокруг меня мира, отражала лишь чистейший образ матери, и сердце мое жило только ею и только ради нее. Я была на редкость благочестива и старалась быть чистой перед богом. Моя мать развивала во мне все благородные и гордые чувства. Ах! С радостью признаюсь тебе, Жюль, теперь я понимаю, что была тогда сущим ребенком, что отдала тебе девственное сердце. Когда я покинула это полное уединение, когда я впервые убрала волосы для бала, украсив их венком из цветущего миндаля, и прибавила несколько шелковых бантов к платью, мечтая о свете, который мне предстояло узнать и было так любопытно узнать,— пойми, Жюль, тогда это невинное и скромное кокетство предназначалось именно для тебя, ибо, вступив в свет, тебя первого я увидала. Твое лицо сразу меня привлекло, оно выделялось среди всех остальных, весь твой облик понравился мне; твой голос, твои манеры пробудили в груди у меня сладостные предчувствия; минута, когда ты подошел и заговорил со мной — и сам при этом покраснел, а голос твой задрожал,— запечатлелась в моей памяти, я трепещу еще и сейчас, когда пишу тебе об этом в своем последнем письме. Сначала наша любовь казалась нам лишь живейшей симпатией, но скоро мы оба догадались о ней и тотчас ее разделили, как делили с тех пор все ее неисчислимые радости. И тогда мать отступила в моем сердце на второй план. Я признавалась ей в этом, и она улыбалась, чудесная женщина! Затем я стала твоей, всецело твоей. Вот моя жизнь, вся моя жизнь, дорогой мой супруг. А теперь мне надо еще рассказать тебе кое-что. Однажды вечером, за несколько дней до своей смерти, мать, обливаясь горючими слезами, открыла мне тайну своей жизни. Я еще сильнее полюбила тебя, когда прежде священника, призванного отпустить грехи матери, узнала историю ее страсти, такой страсти, которая осуждается светом и церковью. Бесспорно, бог не должен судить слишком строго прегрешения столь нежной души, какая была у моей матери, но этот ангел так и не согласился покаяться. Она горячо любила, Жюль, она была сама любовь. И я молилась за нее всю свою жизнь, не осуждая ее. И в тот вечер я по-

няла причину ее живой материнской нежности; я узнала, что в Париже есть человек, для которого я воплощала в себе и жизнь и любовь; что богатство твое было делом его рук и что он тебя любит; что он изгнан из общества, что имя его опозорено и он страдает от этого, но страдает не за себя, а за меня, за нас. Мать моя была его единственным утешением, но мать умирала, и я обещала ее заменить. Привыкшая быть всегда чистосердечной, я со всем пылом чувства сочла за счастье смягчить горечь, отравлявшую последние минуты моей матери, и обязалась продолжать ее тайное благодеяние, благодеяние сердца. Впервые я увидела отца у постели только что скончавшейся матери,— когда он поднял полные слез глаза, во мне он вновь обрел все свои погибшие надежды. Я поклялась — не лгать, нет, но хранить молчание, да и какая женщина нарушила бы это молчание? Вот мой грех, Жюль, грех, искупаемый смертью. Я усомнилась в тебе. Но страх так понятен у женщины, и особенно у женщины, знающей, как много она может потерять. Я дрожала за свою любовь. В тайне моего отца я видела смертельную угрозу для моего счастья, и чем сильнее я любила, тем сильнее боялась. Я не решалась признаться в этом чувстве своему отцу; это могло бы оскорбить его, задеть его больное место. Но он и сам, не признаваясь мне в этом, разделял мои опасения. Его сердце, полное отцовских чувств, трепетало за мое счастье так же, как мое сердце, но и он тоже не решался об этом говорить, душевная чуткость побуждала его молчать так же, как молчала я. Да, Жюль, меня мучила мысль, что наступит день, когда ты не сможешь любить дочь Грасьена так, как ты любил твою Клеманс. Если бы не этот страх, разве я скрывала бы что-нибудь от тебя, от тебя, кем полно было мое сердце даже и в этом тайном своем ужасе? В день, когда проклятый, несчастный офицер заговорил с тобой, я вынуждена была солгать. В тот день я второй раз в жизни познала скорбь, и скорбь моя все усиливалась вплоть до настоящей минуты, когда я беседую с тобой в последний раз. Какое имеет значение теперь положение моего отца? Тебе все известно. Быть может, в своей любви я обрела бы силы, чтобы преодолеть болезнь, перенести все муки, но я не могла бы заглушить голоса сомнений. А вдруг из-за моего проис-

хождения омрачится твоя чистая любовь, вдруг она уменьшится, станет слабеть? Этот страх я не в силах была побороть. Вот причина моей смерти, Жюль. Я не могла бы жить, боясь одного слова, одного взгляда — слова, которого, вероятно, ты никогда не сказал бы, взгляда, которого ты никогда не бросил бы на меня. Но что же делать? Я их боюсь. Я умираю любимая, вот мое утешение. Я узнала, что отец с друзьями за последние четыре года почти перевернули весь свет, чтобы этот свет обмануть. Желая дать мне положение, они купили мертвую душу, незапятнанное имя, имущество — все это для того, чтобы живого человека вернуть к жизни, все это для тебя, для нас. Мы не должны были ничего этого знать. Ну, а теперь моя смерть, конечно, избавит отца от необходимости этой лжи, он сам умрет, узнав что я умерла. Прощай же, мой Жюль, здесь все мое сердце, все целиком. Изливая тебе свою любовь, безупречную и все же терзаемую страхом, разве не отдаю я тебе всю душу? У меня не стало бы сил с тобой говорить, но я нашла силы написать тебе. Я только что исповедовалась перед богом в своих прегрешениях, я должна теперь помышлять только о царе небесном; но я не могла отказать себе в последней радости — исповедаться и перед тем, кто был все для меня здесь, на земле. Увы! Кто не простит мне этот последний вздох между жизнью уходящей и жизнью грядущей? Прощай же, мой любимый Жюль, я иду к богу, туда, где любовь всегда безоблачна, где когда-нибудь будешь пребывать и ты. Там, пред его престолом, мы будем любить друг друга во веки веков. Эта надежда — единственное мое утешение. Если я удостоилась вознестись туда раньше тебя, я буду оттуда сопутствовать тебе в жизни, душа моя будет парить над тобой, осенять тебя своим покровом, пока ты будешь оставаться на земле. Веди же праведную жизнь, чтобы непременно соединиться там со мной. Ты можешь сделать столько добра на земле! Сеять вокруг себя радость, дарить то, чего лишен сам,— разве это не святое призвание для всех страждущих? Я оставляю тебя беднякам. Только их улыбки, только их слезы не возбудят во мне ревности, не омрачат моего спокойствия. Нам еще суждено испытать великие радости в этих тихих благодеяниях. Не будем ли мы снова жить единой жизнью, если

ты станешь творить эти добрые дела во имя твоей Клеманс? После той любви, какая связывала нас, душе доступна лишь любовь к богу. Бог не лжет, бог не обманывает. Поклоняйся только ему, исполни мою волю. Почитай его, помогая несчастным, облегчая участь страждущих детей его. Дорогой Жюль, жизнь моя, прощай. Я знаю тебя: в душе твоей — я одна, ты не можешь любить дважды. Да, я умираю, счастливая мыслью, которая сделала бы счастливой каждую женщину. Я знаю, могилой мне будет твое сердце. Разве после детских лет, о которых я рассказала тебе, я не жила всю жизнь в твоем сердце? Ты и после смерти моей никогда не изгонишь меня оттуда. Я горда этой единой жизнью! Ты знал меня только в цвете юности, я оставляю тебе сожаление, но не разочарование. Это очень счастливая смерть, дорогой Жюль. Ты ведь так хорошо меня понимал — исполни же одно мое желание, быть может, и суетное, женскую прихоть, завет ревности, которой мы все подвержены. Я прошу тебя, сожги все, что нам принадлежало, разрушь нашу спальню, уничтожь все, что может напоминать о нашей любви.

Еще раз — прости! Последнее прости, полное любви, как будет полна ею последняя моя мысль, последнее мое дыхание».

Когда Жюль прочел письмо, его охватило такое исступление чувств, страшные порывы которого невозможно и передать. Страдания каждый проявляет по-своему, внешнее выражение их не подчиняется никаким правилам: некоторые затыкают себе уши, чтобы ничего не слышать; некоторые женщины закрывают глаза, чтобы ничего не видеть; наконец, встречаются благородные, великие души, которые погружаются в горе, как в бездну. И все это — подлинные знаки отчаяния. Жюль вырвался от брата к себе домой, желая провести ночь подле жены и до последней минуты смотреть на это небесное создание. Он шел по улицам, не глядя по сторонам, забыв о всякой осторожности, как это бывает с людьми, дошедшими до крайнего предела страданий, и ему было понятно, почему в Азии закон не допускает, чтобы муж и жена переживали друг друга. Он жаждал смерти. Он был не подавлен горем, а лихорадочно возбужден им. Без помех дошел он до своего дома, поднялся по лестни-

це в священную для него спальню; там увидел он свою Клеманс на ложе смерти, прекрасную, как святая, с венцом из кос вокруг головы, со сложенными на груди руками, уже окутанную саваном. Зажженные свечи бросали отблеск на священника за молитвой, на коленопреклоненную, плачущую в углу Жозефину и на двух мужчин, стоявших у самой кровати. Один из них был Феррагус. Он стоял неподвижно и — без слез — не отрываясь глядел на свою дочь; голова его, казалось, отлита была из бронзы; он не видел Жюля. Другой был Жаке, к которому г-жа Демаре всегда была неизменно добра. Жаке питал к ней благоговейную привязанность, одаряющую сердце безмятежною радостью, кроткую страсть, любовь без ее желаний и бурь; и он пришел отдать свой последний, священный долг, навеки сказать прости жене друга, впервые поцеловать ледяное чело существа, которое он в душе считал своей сестрою. Все здесь было безмолвно. Это была не грозная смерть, какой представляется она в церкви, не торжественная смерть, облаченная пышностью похоронных процессий, а смерть, проскользнувшая под домашний кров, смерть трогательная; это был похоронный обряд, совершаемый в глубине сердца, слезы, скрытые ото всех. Жюль сел рядом с Жаке, пожал ему руку, и, не промолвив ни единого слова, все участники этой сцены пробыли так до утра. Когда свечи стали бледнеть с наступлением нового дня, Жаке, предвидя мучительные подробности при выносе тела, увел Жюля в соседнюю комнату. В эту минуту муж взглянул на отца, а Феррагус взглянул на Жюля. Обе скорбящие души вопрошали, изучали друг друга — и поняли друг друга с одного взгляда. Вспышка гнева на миг осветила глаза Феррагуса.

«Ты, ты убил ее!» — говорили его глаза.

«Почему вы не доверились мне?» — казалось, отвечал муж.

Это было подобно встрече двух тигров, которые, приготовившись к прыжку, изучают друг друга и, поняв бесплодность борьбы, расходятся, даже не издав рычания.

— Жаке, ты обо всем позаботился? — спросил Жюль.

— Обо всем,— ответил правитель канцелярии,— но

меня повсюду опережал какой-то человек, который всем распоряжался и за все платил.

— Он отнимает у меня свою дочь! — воскликнул муж в неистовом приступе отчаяния.

Он бросился в спальню жены, но отца уже не было. Клеманс лежала в свинцовом гробу, и рабочие готовились его запаять. Охваченный ужасом при виде этой сцены, он вернулся к себе в кабинет, но и туда донесся стук молотка. Жюль невольно залился слезами.

— Жаке,— сказал он,— после этой ужасной ночи мною завладела одна мысль, одна-единственная, но я должен осуществить эту мысль во что бы то ни стало. Я не хочу, чтобы Клеманс покоилась на парижском кладбище. Я хочу ее сжечь, собрать пепел и сохранить его. Не разговаривай со мною об этом, но сделай так, чтобы все устроилось. Я запрусь в ее спальне и буду там до отъезда. Только тебя одного я велю впускать ко мне, чтобы ты рассказывал обо всем, что будет тобою предпринято... Иди, не жалей никаких средств.

В это утро гроб г-жи Демаре, освещенный множеством свечей, был выставлен в дверях дома, а затем отвезен в церковь св. Роха. Вся церковь была затянута траурными тканями. Роскошь, какой была обставлена заупокойная служба, привлекла множество народа, ибо в Париже все превращается в зрелище, даже самая искренняя скорбь. Немало находится людей, которые высовываются из окон, чтобы посмотреть, как плачет сын, идя за гробом своей матери; немало находится и таких, которые стараются устроиться поудобнее, чтобы увидеть, как на плаху падет голова. Ни у одного народа в мире нет более ненасытных глаз. Особенно все глазели на шесть боковых приделов св. Роха, также затянутых черными тканями. В каждом приделе заупокойную обедню слушало только два человека, в траурном одеянии. На хорах не видно было никого, кроме г-на Демаре-нотариуса и Жаке; да за оградой стояли слуги. Подобная пышность при столь малочисленной родне казалась непонятной для церковных зевак. Жюль не хотел допустить на эту церемонию ни одного постороннего лица. Соборная обедня была совершена со всем мрачным великолепием погребальной службы. Помимо обычных служителей церкви св. Роха, присутствовало еще трина-

дцать священников из других приходов. И, может быть, на незваных молельщиков, собравшихся случайно, из любопытства, но жадных до ощущений, никогда еще *Dies irae* не производил столь потрясающего впечатления, леденящего душу, какое произвел этот гимн тогда, когда голоса восьми певчих, соединившись с голосами священников и мальчиков, поочередно запели его. Из шести боковых приделов в общий хор влилось двенадцать детских голосов, зазвучав горькой скорбью и жалобой. По всей церкви клубился ужас; повсюду воплям отчаяния вторили вопли страха. Эта потрясающая музыка, оплакивая усопшую, рассказывала о неведомых миру горестях, о чьей-то затаенной любви. Никогда, ни в какой религии ужас души, насильственно отделенной от тела и содрогающейся перед грозным величием бога, не передавался с такой мощью. Перед подобным воплем воплей меркнут самые страстные творения художников. Нет, ничто не может соперничать с этой песнью, которая заключает в себе все человеческие страсти и как бы гальванизирует их по ту сторону гроба, так что они трепещут жизнью, представ пред лицом бога живого и карающего. Эти песнопения смерти, в которых сочетаются детский плач и жалобы взрослых, воспроизводят всю жизнь человека, возраст за возрастом, напоминают о страданиях в колыбели, переполняются всеми муками более поздних лет, звучащими в глубоких стенаниях мужчин, в надтреснутых голосах старцев и священников; вся эта душераздирающая гармония, насыщенная громами и молниями, поражает самое неустрашимое воображение, самое холодное сердце самого трезвого философа! Кажется вам, что вы слышите гром божий. Ни в каком храме своды не остаются спокойны; они содрогаются, они говорят, они извергают страх всеми своими мощными отголосками. Вам чудится, что бесчисленные мертвецы встают отовсюду, воздевая руки. Нет уже ни отца, ни жены, ни дитяти, покоящихся под черным покровом, есть человечество, восстающее из праха. Невозможно судить о римско-католической апостольской религии, пока не испытаешь величайшую из скорбей, не оплачешь любимое существо, покоящееся в гробу, пока не ощутишь всех чувств, волнующих тогда душу и воплощенных этим гимном отчаяния, этими криками, надры-

вающими сердце, этими страхами, в которых все нарастает и нарастает благоговейный ужас, чтобы, взвиваясь к небу, поразить, повергнуть ниц, а затем возвысить душу и потрясти ее ощущением вечности в то мгновение, когда замирает последний стих. Вы только что прикоснулись к великой идее бесконечного — и все замолкает в церкви. Никто не проронит ни слова, даже неверующие, и те *не понимают, что происходит с ними*. Лишь испанский гений мог найти столь потрясающе великолепное выражение для самой потрясающей из скорбей.

Когда отпевание закончилось, из шести приделов вышли двенадцать человек, облаченных в траур, и, окружив гроб, прослушали песнь надежды, которую церковь поет душе усопшего, перед тем как предать земле его смертный прах. Затем каждый из двенадцати сел в траурную карету; Жаке и г-н Демаре сели в тринадцатую; слуги пошли пешком. Через час двенадцать незнакомцев уже прошли в верхнюю часть кладбища, называемого в просторечии Пер-Лашез, и окружили могилу, к которой со всех концов этого публичного сада стекались толпы любопытных. После краткой молитвы священник бросил горсть земли на останки женщины; и могильщики, попросив на выпивку, поспешили засыпать могилу, чтобы заняться следующей.

Здесь, казалось бы, и заканчивается эта история; но, пожалуй, она окажется неполной, если, дав беглый очерк парижской жизни, проследив причудливые ее изгибы, ничего не сказать о том, что последовало за похоронами. Смерть в Париже не похожа на смерть ни в какой другой столице, и не много найдется людей, знающих, какую мучительную борьбу с цивилизацией и парижскими властями приходится еще выдерживать тем, кто предается истинной скорби. Да к тому же, быть может, г-н Жюль и Феррагус XXIII сами по себе достойны внимания, так что к развязке их жизни нельзя отнестись с безразличием. Наконец, немало людей желают до всего допытаться и, как выразился один наш остроумнейший критик, хотят знать, в результате какого химического процесса горит масло в лампе Аладина. Жаке, как лицо административное, само собой разумеется, обратился к властям за разрешением отрыть тело г-жи Жюль и предать его сожжению. Он явился с этой просьбой к префекту поли-

ции, под охраной коего покоятся мертвецы. Этот чиновник потребовал подачи письменного прошения. Пришлось купить лист гербовой бумаги, придать горю узаконенную форму, пришлось прибегнуть к бюрократическому жаргону, чтобы выразить желание удрученного человека, которому слов не хватает, пришлось в бездушной надписи на полях прошения коротко передать его суть:

Проситель ходатайствует
о сожжении тела
своей жены.

Приняв бумагу, чиновник, который должен был доложить дело префекту полиции, государственному советнику, прочитал на полях надпись, где по его же требованию был ясно указан *предмет* прошения, и заявил:

— Но это дело серьезное! Я могу подготовить доклад о нем не раньше чем через неделю.

Жюль, которому Жаке вынужден был сообщить об этой отсрочке, понял тогда Феррагуса, у которого как-то вырвалась угроза: «Сожгу Париж!» Ничто не показалось Жюлю естественнее желания уничтожить это вместилище самых чудовищных несообразностей.

— Тогда обратись к министру внутренних дел,— сказал он Жаке,— а своего министра попроси замолвить слово.

Жаке отправился к министру внутренних дел с просьбой принять его, что и было обещано ему сделать через две недели. Жаке был человек настойчивый. Он обивал пороги всех канцелярий, пока не добрался до личного секретаря министра, свидание с которым устроил ему личный секретарь министра иностранных дел. С помощью этих высоких покровителей Жаке добился на другой день мимолетной личной беседы, запасшись записочкой от самодержца ведомства иностранных дел к паше ведомства внутренних дел и надеясь взять крепость приступом. Он приготовил различные доводы, убедительные возражения, ответы на всякий случай, но все сорвалось.

— Я тут ни при чем,— сказал министр.— Все зависит от префекта полиции. Да и вообще говоря, нет такого закона, который отдавал бы в собственность мужьям тела их жен или в собственность отцам — тела их де-

тей. Это дело серьезное! Кроме того, возникают соображения общественной пользы, которые требуют внимательнейшего изучения вопроса. Могут пострадать интересы города Парижа. Словом, если бы даже все зависело непосредственно от меня, я не мог бы решить вопрос незамедлительно, сначала необходимо выслушать доклад.

Доклад в современном чиновничьем мире — нечто вроде преддверия рая в христианской религии. Жаке знал об этой *докладомании* и всегда возмущался нелепым бюрократизмом. Он знал, что со времени затопления докладами всех областей административной деятельности — то есть со времени переворота в канцеляриях, совершенного в 1804 году,— не было министра, который осмелился бы высказать собственное суждение, разрешить самый незначительный вопрос, без того чтобы это суждение, это решение не было рассмотрено со всех сторон, обнюхано, разобрано по косточкам бумагомараками, писаками — титанами канцелярской мысли. Жаке (один из немногих, достойных иметь своим биографом Плутарха) понял, что ошибся, дав такой ход этому делу, понял, что обрек его на провал тем, что направил его по законным путям. Надо было просто перевезти тело г-жи Демаре в какое-нибудь поместье Жюля и там, под любезным покровительством деревенского мэра, осуществить желание своего бедного друга. Конституционная и административная законность не создает ничего, это чудище бесплодно для народов, для королей и частных лиц; но народы научились с трудом разбирать лишь записанные кровью принципы, а все тяготы законности носят мирный характер; закон подавляет нацию — вот и все.

Жаке, свободомыслящий человек, возвращаясь от министра, мечтал о благодетельности произвола, ибо человек судит о законах лишь в свете собственных страстей. Когда Жаке пришел к Жюлю, у него не хватило духу его обмануть, и несчастный пролежал после этого два дня в постели, терзаемый жестокой горячкой. Министр в тот же вечер на официальном обеде рассказывал о фантастическом желании какого-то парижанина сжечь тело своей жены по примеру римлян. И вот парижское общество ненадолго увлеклось обсуждением античного погребения. Античность была тогда в моде, и некоторые ее поклон-

ники находили, что было бы прекрасно восстановить погребальные костры для великих мира сего. Это мнение нашло своих защитников и своих противников. Одни говорили, что великих людей стало чрезмерно много и что из-за этого обычая сильно вздорожают дрова, что французы — народ столь изменчивый в своих симпатиях, что было бы смешно на каждом перекрестке наталкиваться на вереницы предков, кочующих в своих урнах; говорили еще, что если бы эти урны обладали некоторой материальной ценностью, то не была бы исключена возможность продажи с торгов какого-нибудь почтенного праха в составе имущества, описанного за долги кредиторами, которые, мол, привыкли ничего не уважать. Другие замечали, что наши предки, пристроенные подобным образом, будут в большей безопасности, чем на кладбище Пер-Лашез, ибо в недалеком будущем Париж будет вынужден устроить варфоломеевскую ночь своим мертвецам, которые захватили все окрестности и угрожают уже в один прекрасный день перекинуться на земли Бри. Словом, завязался один из пустых, шутливых парижских споров, которые слишком часто наносят очень глубокие раны. К счастью, Жюль ничего не подозревал обо всех тех разговорах, метких словечках и остротах, на какие вдохновляло парижан его горе. Префект полиции был возмущен, что г-н Жаке обратился к министру, уклонившись от неторопливого, но мудрого вмешательства полицейского надзора. Ведь останки г-жи Демаре подлежали полицейскому надзору. По сему случаю полицейская канцелярия из кожи вон лезла, чтобы похлеще ответить на прошение, ибо достаточно было одного ходатайства, чтобы административный аппарат завертелся и в своем круговороте до крайности запутал бы дело. Полицейское управление может довести любой вопрос до государственного совета — такой же малоподвижной машины. На следующий день Жаке дал понять другу, что надо отказаться от своего плана, что в городе, где оценивается по таксе каждый вершок траурного крепа, где законы устанавливают семь разрядов погребения, где земля продается для покойников на вес золота, где горе эксплуатируется по двойной цене, где за церковные молитвы платят бешеные деньги, где церковный причт требует оплаты каждого дополнительного голоса

в *Dies irae*,— в таком городе всякое горе, выходящее из колеи бюрократически дозволенного, является недопустимым.

— Я мог быть счастлив в моей горькой доле,— говорил Жюль,— я лелеял мечту умереть вдали от Парижа и, лежа в гробу, держать Клеманс в своих объятиях! Я не подозревал, что бюрократия запускает свои когти даже в наши могилы.

Затем ему захотелось пойти посмотреть, не найдется ли для него немного места рядом с женой. Оба друга направились на кладбище Пер-Лашез. У входа на кладбище, как у подъезда театра или музея, как у конторы дилижансов, их обступили гиды, предлагавшие показать им все закоулки Пер-Лашеза. Ни тот, ни другой не мог найти место, где покоится Клеманс. Что за ужасная тоска! Они обратились с расспросами к кладбищенскому сторожу. У мертвецов имеется свой привратник, у них есть свои приемные часы. Пришлось бы пойти против всех правил высшей и низшей полиции тому, кто захотел бы поплакать ночью, в тиши и одиночестве, на могиле любимого существа. Есть зимние и летние правила. Безусловно, самый счастливый привратник в Париже — это привратник Пер-Лашеза. Прежде всего, ему не приходится открывать двери своим мертвецам; затем, вместо каморки к его услугам дом, целое учреждение — правда, министерством его не назовешь, но все же под началом кладбищенского привратника находится огромное количество подопечных и несколько конторщиков; этот правитель мертвых получает жалованье и располагает огромной властью, тем более что на него никто и не может пожаловаться; его воля — закон. Домишко его не является и торговым предприятием, хотя здесь есть и контора и бухгалтерия, подсчитывающая доходы, расходы, прибыль. Человек этот — ни швейцар, ни обычный привратник, ни дворник,— для покойников ворота всегда открыты настежь; хотя ему приходится следить за сохранностью памятников, но его нельзя назвать и смотрителем — словом, это неопределенное, из ряда вон выходящее явление, власть, на все распространяющаяся и неуловимая, власть, выходящая из ряда вон, как сама смерть, благодаря которой она существует. Однако этот исключительный человек зависит от города Парижа,

такого же химерического создания, как и корабль, служащий ему эмблемой, создания разумного, обладающего тысячью лап, весьма редко согласных в своем движении, в силу чего работающие на него чиновники почти несменяемы. Итак, кладбищенский сторож — это привратник, вознесенный до положения чиновника, неизменно, при всех переменах, остающегося на своем месте. Его должность не синекура; он не допустит, чтобы кого-либо предали земле без письменного на то разрешения; он отвечает за своих мертвецов; среди огромного пространства он укажет вам клочок земли в шесть квадратных футов, где вы схороните когда-нибудь все, что вы любите, все, что ненавидите,— любовницу или родственника. Да, твердо запомните, что все чувства в Париже находят свое завершение здесь, у этого домишки, и подчинены административным распоряжениям. У этого человека имеются списки его мертвецов, мертвецы размещены не только по могилам, но и по папкам. Под его началом находятся сторожа, садовники, могильщики и помощники. Он — лицо значительное. Люди, в слезах приходящие сюда, далеко не сразу могут его лицезреть. Он появляется на сцене только в исключительных случаях, когда перепутают покойников, или хоронят убитого, или отроют труп, или же воскреснет какой-нибудь мертвец. В его помещении стоит бюст ныне здравствующего короля и, вероятно, бюсты прежних царственных и полуцарственных особ хранятся там в каком-нибудь шкапу — так сказать, миниатюрном Пер-Лашезе, обслуживающем революции. Словом, это общественный деятель, превосходный человек, примерный отец и примерный супруг — как можно утверждать не в порядке надгробного слова. Но ему пришлось наблюдать столько различных чувств у тех, кто идет за похоронными дрогами, столько истинных и лживых слез; ему пришлось видеть горе в разных обличьях и на разных лицах, видеть шесть миллионов вечных скорбей! И для него горе стало всего лишь камнем в одиннадцать линий толщиной и площадью в четыре фута на двадцать два дюйма. Ну, а сочувствие — это самая нудная его обязанность, никогда он не может ни позавтракать, ни пообедать, не попав под ливень безутешной скорби. Он добр и нежен во всех других случаях: он будет оплакивать героя какой-нибудь драмы, например

г-на Жермейля из «Адретской гостиницы», человека в штанах цвета свежесбитого масла, которого убивает Макэр; но настоящие смерти не трогают его окостенелого сердца, мертвецы для него — только цифры, его обязанность—упорядочить смерть. Наконец, раз в три столетия создается такое положение, когда на его долю выпадает великая миссия, и тогда он велик во все часы дня и ночи — во время чумы.

Когда Жаке подошел к этому самодержавному монарху, тот пребывал в довольно гневном состоянии.

— Сколько раз говорить вам,— кричал он,— чтобы цветы были политы начиная от улицы Массена и до площади Реньо-де-Сен-Жан-д'Анжели! А вы, олухи царя небесного, и ухом не повели! Тысяча чер...нильниц! А что, если сегодня по случаю хорошей погоды вздумают прийти родственники? Они живьем меня съедят; начнут орать как ошпаренные, наговорят разных ужасов, оклевещут всех нас...

— Сударь,— обратился к нему Жаке,— мы хотели бы знать, где погребена супруга господина Жюля.

— Супруга господина Жюля? Какая именно? — спросил он.— За последнюю неделю у нас было три супруги господ Жюлей... Ах! — перебил он себя, взглянув на ворота.— Вон похоронная процессия полковника де Моленкура, подйте-ка кто-нибудь, возьмите у них разрешение... Процессия богатая, что и говорить! — продолжал он.— Скоренько последовал он за своей бабушкой. Бывают же семьи, где все, словно на пари, кубарем скатываются. Уж больно дурная кровь у этих парижан.

— Сударь,— сказал Жаке, трогая его за плечо,— особа, о которой я вас спрашиваю,— супруга господина Жюля Демаре, биржевого маклера.

— А, помню, помню,— ответил он, взглянув на Жаке,— ведь это на ее похоронах было тринадцать траурных карет и в двенадцати из них сидело по родственнику? И надо же было выдумать такие диковинные похороны, даже мы — и то удивлялись...

— Поосторожнее, сударь! Господин Жюль пришел вместе со мною, он может вас услышать, ваши речи неуместны.

— Виноват, сударь, вы правы. Извините, я принял вас за наследников... Сударь,— прибавил он, рассматри-

вая план кладбища,— супруга господина Жюля покоится на улице маршала Лефевра, аллея номер четыре, между мадемуазель Рокур, из Французской комедии, и господином Моро-Мальвеном, крупным мясоторговцем; для него заказана гробница из белого мрамора — право же, она будет лучшим украшением нашего кладбища.

— Сударь,— перебил привратника Жаке,— ближе к делу...

— Ваша правда,— согласился тот, оглядываясь по сторонам.— Жан,— крикнул он кому-то из своих подручных, первому, кто попался ему на глаза,— проводите этих господ на могилу супруги господина Жюля, биржевого маклера! Знаете, там, подле мадемуазель Рокур, где еще бюст стоит!

И оба друга пошли следом за сторожем; но пока они достигли крутой дороги, ведущей к верхней аллее кладбища, свыше двадцати предложений, сделанных медоточивым голосом, пришлось им выслушать от подрядчиков по мраморным, слесарным и скульптурным работам.

— Если сударь пожелает *что-нибудь* соорудить, так мы легко столкуемся о цене...

Жаке постарался охранить своего друга от их речей, ужасных для тех, у кого сердце истекает кровью, и они дошли до могильного приюта г-жи Демаре. Взглянув на свежевскопанную землю, в которую каменщики воткнули вехи, чтобы наметить место для каменных столбов решетки, Жюль оперся на плечо Жаке и, порою подымая в тоске голову, бросал долгие взгляды на тот уголок земли, где пришлось схоронить бренные останки существа, которым он еще жил.

— Но как же ей здесь плохо! — воскликнул он.

— Да ведь ее здесь нет, она в твоей памяти. Послушай, уйдем поскорее с этого отвратительного кладбища, где мертвецы разукрашены, словно женщина для бала.

— А если бы нам ее откопать?

— Да разве это возможно?

— Все возможно! — воскликнул Жюль.— Так, значит, я буду с ней здесь...— сказал он, помолчав.— Места хватит и для меня.

Жаке удалось увести его из этого обиталища мертвых, разделенного бронзовыми решетками и напоминав-

шего шашечную доску, где по изящным клеткам были размещены могилы, богато уснащенные пальмовыми ветвями, надписями и слезами, столь же холодными, как камни, какие водрузили огорченные люди, чтобы запечатлеть на них свое горе и свои гербы. Здесь встречаются и меткие изречения, выведенные черной краской, эпиграммы на любопытных, блестящие афоризмы, выразительные напутствия, обещания последовать за любимым существом, которые долго не исполняются, претенциозные биографии, мишура, лохмотья, блестки. Тут — тирсы, там — копья, дальше — египетские урны, кое-где пушки; повсюду эмблемы тысячи профессий; смешение всех стилей — мавританского, греческого, готического; фризы, орнаменты, живопись; урны, плачущие гении, храмы; поблекшие иммортели и увядшие розы. Что за гнусная комедия! Это все тот же Париж, со своими улицами, вывесками, мастерскими, домами, но Париж, который рассматривается через бинокль, повернутый обратной стороной, Париж микроскопический, Париж, где есть место только теням, лаврам, мертвецам; это весь род людской, но лишенный величия, великий только в своем тщеславии. А затем Жюль увидел расстилавшийся у его ног в длинной долине Сены, между холмами Вожирара, Медона, Бельвиля и Монмартра, настоящий Париж, окутанный голубоватой пеленой дыма, прозрачного в лучах солнца. Он окинул быстрым взглядом сорок тысяч парижских домов и сказал, указывая на улицы, расположенные между Вандомской колонной и золотым куполом Дома Инвалидов:

— Вот где отняло ее у меня губительное любопытство света, который волнуется и суетится только для того, чтобы суетиться и волноваться.

В четырех милях от кладбища, на берегах Сены, в скромной деревушке, расположенной на склоне одного из холмов, образующих гористую ограду, внутри которой Париж шевелится, словно младенец в своей колыбели, также разыгралась сцена смерти и похорон, но лишенная всякой парижской пышности, без факелов и свеч, без карет, задрапированных черными тканями, без католических молитв,— смерть во всей ее суровой простоте. Вот как это было. Поутру к берегу Сены прибило тече-

нием тело молодой девушки. Землекопы, садясь в свою утлую лодку, чтобы отправиться на работу, увидели его среди тины, в зарослях камыша.

— Смотри-ка, заработали пятьдесят франков! — крикнул один из них.

— Твоя правда,— согласился другой.

И они причалили поближе к утопленнице.

— Хороша была красотка!

— Пойдем заявим кому следует.

И оба землекопа, прикрыв тело своими куртками, пошли к деревенскому мэру, который был очень смущен необходимостью составить протокол по случаю подобной находки.

Слух о происшествии распространился с быстротой телеграфа, характерной для стран, где общественные сношения не знают никаких преград и где злословие, сплетни, клевета и пересуды досужих людей, питающие мир, перелетают с одного перекрестка на другой. Люди, сбежавшиеся в мэрию, тотчас вывели мэра из затруднения. Вместо протокола об обнаружении мертвого тела был попросту составлен акт о смерти. Благодаря их усердию в утопленнице была опознана Ида Грюже, корсетница, проживающая на улице Кордри-дю-Тампль, № 14. Вмешались следственные власти, пришла мать покойной, вдова Грюже, с последним письмом своей дочери. Под стон плачущей матери какой-то врач установил, что смерть последовала от удушения, от прилива венозной крови к легким, и этим все было сказано. Следствие было закончено, разъяснения даны, и в шесть часов вечера полиция разрешила предать земле тело гризетки. Местный священник не позволил внести покойницу в церковь и отказался молиться за нее. И тогда Ида Грюже была завернута какой-то старой крестьянкой в саван, а затем четыре человека снесли ее в грубо сколоченном сосновом гробу на кладбище, куда сопровождало ее несколько любопытных крестьянок, не перестававших обсуждать эту смерть с удивлением и жалостью. Вдову Грюже заботливо удержала у себя какая-то старая дама, помешав ей принять участие в похоронах дочери. Человек, выполнявший тройные обязанности — звонаря, церковного служителя и приходского могильщика,—вырыл могилу на деревенском кладбище, занимающем полдесятины поза-

ди церкви, хорошо всем знакомой постройки с четырехугольной башней под шиферной крышей, поддерживаемой снаружи грановитыми контрфорсами. Позади, за полукруглой стеной церковного клироса, находился погост, обнесенный развалившейся оградой,— поле, покрытое холмиками; там не высились мраморные гробницы, не звучали торжественные соболезнования, но зато уж каждая бороздка орошена была слезами искренней скорби — только, впрочем, не могила Иды Грюже. Тело ее зарыли в далеком углу кладбища, поросшем репейником и высокой травой. Когда гроб был опущен в землю этого погоста, столь поэтического в своей простоте, вскоре среди сумрака наступающей ночи у ямы остался лишь могильщик. Засыпая землей могилу, он время от времени останавливался и глядел на дорогу, за оградой; на минуту, опершись на свой заступ, он засмотрелся на Сену, принесшую ему это тело.

— Бедная девушка! — внезапно воскликнул кто-то, появившийся у могилы.

— Вы меня напугали, сударь! — сказал могильщик.

— Отпевали покойницу в церкви?

— Нет, сударь. Приходский священник отказался. Она у меня — первая не из нашего прихода. Тут все между собой знакомы. А что, сударь... Эге! Да его и след простыл.

Прошло еще несколько дней, и к г-ну Демаре явился кто-то, одетый во все черное, и, не сказав ни слова, поставил в спальне его жены большую порфировую урну,— Жюль прочел на ней следующую надпись:

INVITE LEGE,
CONJUGI MOERENTI
EILIOLAE CINERES
RESTITUIT,
AMICIS XII JUVANTIBUS
MORIBUNDUS PATER [1].

— Что за человек!— воскликнул Жюль сквозь слезы.

Биржевому маклеру хватило одной недели, чтобы выполнить все поручения жены и привести в порядок дела; он продал свою должность брату Мартена Фалейкса

---

[1] Наперекор законам, скорбящему супруту прах своей дочери, при содействии двенадцати друзей, возвращает умирающий отец *(лат.)*.

и уехал из Парижа, а полиция все еще обсуждала, дозволительно ли гражданину распоряжаться останками своей жены.

Кому не случалось на бульварах Парижа, на перекрестке улиц или под аркадами Пале-Руаяля — словом, в любом месте, куда забрасывает случай,— встречать существа, мужчин или женщин, один вид которых возбуждает в уме тысячу смутных мыслей! При виде такого создания нас сразу поражает странная внешность, свидетельствующая о бурной жизни, или необычность его жестов, выражения лица, походки и одежды, или какой-то особенно глубокий взгляд, или еще что-то другое, не поддающееся определению, неясное для нас самих, но способное внезапно взволновать нас и потрясти. Проходит день, и другие мысли, другие парижские образы вытесняют мимолетное впечатление. Но если мы продолжаем встречать этого же самого человека либо потому, что он проходит в один и тот же час по одним и тем же улицам, как чиновник мэрии, отсиживающий восемь часов за брачными записями; либо потому, что он бродит среди толпы гуляющих, подобно тем людям, которые как бы являются неотъемлемой частью парижских улиц и украшают своим присутствием все общественные места, первые представления и рестораны,— в таком случае это существо водворяется в нашей памяти, как роман, из которого мы прочли только первый том. Нас охватывает искушение расспросить этого незнакомца, сказать ему: «Кто вы? Почему вы слоняетесь здесь? По какому праву носите вы плиссированный воротник, трость с набалдашником из слоновой кости, старомодный жилет? К чему эти синие очки с двойными стеклами? И почему галстук у вас — как у щеголей XVIII века?» Одни из этих блуждающих существ принадлежат к категории богов—Термов, они ничего не говорят сердцу, они здесь пребывают—вот и все; зачем?—никто не знает; они похожи на те фигуры, которые служат скульпторам для изображения Четырех времен года, Торговли и Изобилия. Другие из них — отставные стряпчие, старые торговцы, дряхлые генералы; ходят, шагают, а кажется, что они неподвижны. Подобные деревьям с наполовину обнаженными корнями, стоящим на берегу реки, они как будто находятся вне потока парижской жиз-

ни, вне его буйной и юной толпы. Никак невозможно решить: то ли забыли их похоронить, то ли они восстали из могил; они пришли почти в состояние ископаемых. Один из таких парижских Мельмотов с некоторых пор стал появляться среди чинной и серьезной толпы, заполняющей в погожий денек пространство между южной оградой Люксембургского дворца и северной оградой Обсерватории, местность, ничем не примечательную, как бы нейтральную зону Парижа. В самом деле, это уже не Париж, и в то же время это еще Париж. Местность имеет что-то общее с площадью или улицей, с бульваром, с городским укреплением, с садом, с проспектом, с проезжей дорогой, с провинцией и со столицей,— действительно, со всем этим здесь есть какое-то сходство, и все-таки здесь нет ни того, ни другого, ни третьего: это пустыня. Вокруг такой неопределенной местности возвышаются Воспитательный дом, Бурб, больница Кошена, Южный госпиталь, странноприимный дом Ларошфуко, институт глухонемых, больница Валь-де-Грас — словом, все пороки и все горести Парижа находят там пристанище, а для полноты этого собрания богоугодных заведений наука основала здесь Общество по изучению приливов и отливов, а также Астрономическое общество; г-н де Шатобриан учредил дом призрения Марии-Терезии, а кармелитки воздвигли монастырь. Великие события жизни возвещаются в этой пустыне колокольным звоном, который непрестанно раздается и ради родильницы, и ради новорожденных, и ради изнуренного развратника, и ради умирающего рабочего, и ради набожной девственницы, и ради зябнущего старца, и ради заблуждающегося гения. Немного подальше, в каких-нибудь двух шагах — кладбище Монпарнас, куда ежечасно направляются жалкие похоронные дроги из предместья Сен-Марсо. Именно эта площадь, господствующая над Парижем, и была завоевана для игры в шары несколькими седыми стариками, преисполненными добродушия, славными людьми, сохранившими в себе черты наших предков, обладателями совершенно особенных физиономий, ни с чем не сравнимых — разве что с лицами окружающей их толпы зрителей, своего рода передвижного театрального зала, следующего за ними повсюду. Какой-то человек, с недавних пор поселившийся в этом пустынном

квартале, неизменно присутствовавший здесь при каждой игре в шары, мог, бесспорно, быть сочтен самой замечательной фигурой среди этих собравшихся в кучки людей, которые, если позволительно приравнивать парижан к различным классам зоологии, принадлежали к разряду моллюсков. Новый пришелец неотступно следовал, словно привязанный невидимой нитью, за маленьким шариком, *свинкой*, служащим точкой прицела для игроков и сосредоточивающим на себе весь интерес игры; когда *свинка* останавливалась, незнакомец прислонялся к дереву и наблюдал с тем вниманием, с каким собака следит за жестами своего хозяина; он смотрел, как шары летят по воздуху или катятся по земле. Вы могли бы принять его за какого-то фантастического гения *свинки*. Никогда не произносил он ни единого слова, и игроки в шары, самые фанатичные из сектантов всех религий, никогда не допытывались о причине его упорного молчания; только несколько умников зачислило его в глухонемые. В случаях, когда требовалось определить разницу расстояний между шарами и *свинкой*, безошибочным мерилом становилась трость незнакомца — игроки брали ее из ледяных рук старца, не говоря ему ни слова, не приветствуя его хотя бы дружелюбным кивком головы. Предоставление своей трости было словно его обязанностью, которую он молчаливо признавал. Когда вдруг начинался ливень, он оставался около *свинки*, как невольник, приставленный к шарам, несущий стражу у незаконченной партии. На дождь он обращал внимания так же мало, как и на хорошую погоду,— подобно игрокам, и он представлял собою некое промежуточное звено между тупым парижанином и смышленым животным. Бледный и расслабленный, он притом был небрежно одет и, по рассеянности, нередко приходил с непокрытой головой,— тогда можно было видеть его поседевшие волосы и широкий череп, лысый и желтый, похожий на колено, вылезающее из прорванных штанов бедняка Это было какое-то отупевшее существо, без мысли во взгляде, без твердости в походке; он никогда не улыбался, никогда не поднимал глаз к небу, всегда глядел вниз и, казалось, постоянно что-то искал на земле. В четыре часа за ним приходила старая женщина и отводила его куда-то, таща за руку, как девушка тащит

в стойло козу, которая упрямо продолжает щипать травку. На старика было жалко смотреть.

Однажды, в полуденное время, Жюль, сидя один в дорожной карете, быстро проехал по Восточной улице и завернул на площадь Обсерватории в ту минуту, когда этот старик, прислонившись к дереву, отдавал свою трость игрокам, горланившим вокруг него в безобидном споре. Лицо старика показалось Жюлю знакомым, и он хотел было остановить карету, но карета и сама вдруг остановилась. Дело в том, что экипаж, теснимый тележками, не мог свернуть ни вправо, ни влево, а кучер не решился просить возбужденных игроков пропустить его, ибо слишком для этого уважал народные развлечения.

«Это он!» — подумал Жюль, узнав, наконец, в этой человеческой развалине Феррагуса XXIII, предводителя деворантов.

— Как он любил! — задумчиво прошептал Жюль, а затем крикнул кучеру: — Ну, пошел!

Париж, февраль 1833 г.

ГЕРЦОГИНЯ ДЕ ЛАНЖЕ

Посвящается Францу Листу.

В маленьком испанском городке, на одном из островов Средиземного моря, стоит монастырь Босоногих кармелиток, где суровый устав ордена, основанного святой Терезой, и весь распорядок, введенный этой замечательной женщиной, сохранились в своей первоначальной строгости. Сколь это ни странно, но это действительно так. В то время как почти все религиозные обители на Пиренейском полуострове и на материке были потрясены до основания или разрушены бурями Французской революции и наполеоновских войн, на этом острове, находящемся под защитой английского флота, монастырь со своими мирными обитателями уберегся от волнений смутного времени и от конфискаций. Всевозможные бури, бушевавшие в первые пятнадцать лет девятнадцатого века, неизменно разбивались об эту неприступную скалу, расположенную неподалеку от берегов Андалузии. Если имя императора, гремевшее повсюду, и донеслось до островка, то вряд ли благочестивые девы, преклонявшие колена в стенах монастыря, способны были понять фантастическое великолепие его триумфов и ослепительное величие его судьбы, подобной метеору. Нерушимая суровость монастырской жизни прославила эту обитель во всем католическом мире. Привлеченные строгой чистотой устава, туда стекались из отдаленных мест Европы скорбящие женщины, которые, порвав земные узы, возжаждали медленного самоубийства в

лоне божьем. И в самом деле, не было монастыря, более способствующего тому полному отрешению от мирских соблазнов, какого требует монашеское житие. А ведь на континенте существует немало обителей, великолепно расположенных в соответствии с их назначением. Одни скрыты в глубине уединенных долин, другие гнездятся на скалистых вершинах или над краем пропасти. Повсюду человек стремился к поэзии бесконечности, к торжественному ужасу безмолвия, повсюду он хотел быть ближе к богу; он искал его на горных высотах, на дне пропастей, на крутых обрывах — и находил его повсюду. Но нигде, кроме этого полуевропейского-полуафриканского утеса, не могло так согласно сочетаться столько разнородных условий, помогающих возвыситься душою, успокоить мучительные волнения, смягчить порывы страстей, предать глубокому забвению все житейские заботы. Монастырь был построен на краю острова, на самой вершине скалы, часть которой, под действием какого-то геологического переворота, однажды откололась и обрушилась со стороны моря, обнажив острые края каменных напластований, чуть подточенных морем на уровне воды, но совершенно неприступных. Самые подступы к скале защищены длинной грядой подводных камней, меж которых играют сверкающие волны Средиземного моря. Только с моря можно увидеть четыре корпуса квадратного сооружения, форма которого, высота, расположение дверей и окон в точности предписаны монастырскими правилами. Со стороны города церковь совершенно закрывает собой массивные строения монастыря, с крышей из каменных плиток, прекрасно защищающей от порывов ветра, проливных дождей и солнечного зноя. Церковь, воздвигнутая щедротами одного испанского рода, высится над домами. Смелое изящество ее фасада придает красоту и значительность этому приморскому городку. Не являет ли собою зрелище всего земного величия этот город, тесно сомкнувший кровли домов, расположенных вокруг живописной гавани почти правильным амфитеатром, над которым высится великолепный портал с готическим триглифом, с легкими башенками и звонницами, с вырезными шпилями? Ведь это образ религии, господствующей над жизнью, неустанно указующей людям и цель их земного бытия и сред-

ства к ее достижению,— притом поистине испанский образ! Представьте себе эту картину над простором Средиземного моря, под палящим солнцем; прибавьте несколько пальм и буйные заросли низкорослых деревьев, сплетающихся своей трепещущей зеленой листвою с недвижными каменными листьями архитектурного орнамента; вообразите бахрому белой пены на рифах, оттеняющей сапфировую синеву воды; полюбуйтесь на галереи, на усаженные цветами высокие домовые террасы, куда жители выходят подышать вечерней прохладой между вершинами деревьев, разросшихся у домов, в палисадниках; взгляните на гавань, где стоит на причале несколько парусников; прислушайтесь, наконец, в тишине наступающих сумерек, к музыке органа, к церковному пению, к чудесному перезвону колоколов, разносящемуся над морским простором. Повсюду звуки и тишина, а чаще всего — ни звука, полная тишина.

Внутри церковь разделялась на три нефа, таинственных и темных. Опасаясь ярости ветров, архитектор, вероятно, не решился возвести у наружных стен боковые полуарки — почти повсеместное украшение соборов,— под которыми обычно помещают капеллы; поэтому стены боковых приделов, служащие опорой кораблю здания, не пропускали дневного света. Толстые глухие стены, казавшиеся снаружи глыбами серого камня, поддерживались на равном расстоянии массивными контрфорсами. Главный неф и маленькие боковые галереи освещались единственным круглым окном с цветными стеклами, изумительно искусно вправленным в каменную резьбу портала, выгодное расположение которого подчеркивало роскошь кружевного орнамента и скульптурных украшений, свойственных архитектурному стилю, неправильно называемому готическим. Большая часть помещения во всех трех нефах была отведена для горожан, приходивших сюда слушать церковную службу. За решеткой, отделявшей клирос, висел темный сборчатый занавес, едва раздвинутый посредине — так, чтобы можно было видеть только алтарь и священника. Решетка через равные промежутки была разделена колоннами, на которых был утвержден настил для органа. В соответствии с убранством храма с внешней сто-

роны это пространство окаймлялось деревянными резными столбиками галереи, покоившейся на колоннах главного нефа. Даже если бы какой-нибудь любопытный и дерзнул забраться на эту узенькую галерею, ему не удалось бы рассмотреть на клиросе ничего, кроме однообразного ряда цветных стрельчатых окон в форме вытянутого восьмиугольника, расположенных полукругом над главным алтарем.

Во время похода французов в Испанию, предпринятого для восстановления на престоле короля Фердинанда VII, уже после того, как был взят Кадикс, один французский генерал, прибывший на остров, чтобы привести его жителей к признанию королевской власти, задержался там на несколько дней с целью осмотреть монастырь и нашел способ туда проникнуть. Разумеется, это было весьма трудное предприятие. Но человека больших страстей, чья жизнь являлась, можно сказать, чередой воплощенных поэм, человека, который всегда сам переживал романы, вместо того чтобы их писать,— словом, человека действия,— должна была прельстить эта, казалось бы, невыполнимая задача. Добиться, чтобы перед ним растворились ворота женского монастыря? Едва ли архиепископ или даже сам папа разрешил бы это. Употребить хитрость или силу? Это значило бы в случае разоблачения лишиться звания и навсегда испортить свою военную карьеру, притом не достигнув цели. Герцог Ангулемский находился еще в Испании, и если другие проступки главнокомандующий мог бы простить своему любимцу, то уж за этот он покарал бы беспощадно. Генерал сам добивался поездки на остров, стремясь удовлетворить свое любопытство в одном тайном вопросе, хотя такое предприятие было как нельзя более безнадежным. На эту последнюю попытку он решился для очистки совести: обитель кармелиток была единственным монастырем Испании, где еще до сих пор он не произвел розысков. Во время переправы на остров, длившейся не более часа, в его душе возникло радостное предчувствие. А позднее, хотя он видел только стены монастыря, хотя не мог уловить взглядом даже платья какой-нибудь монахини, мелькнувшего вдалеке, и слышал только пение литургии, все же у этих стен, в этих песнопениях ему мерещились едва уловимые приметы, которые подкреп-

ляли его слабую надежду. Как ни смутны были эти странные, необъяснимые предчувствия, но никогда еще страсть не овладевала человеком с такою силой, с какой нетерпение овладело генералом. Впрочем, для сердца не существует ничтожных происшествий — оно возвеличивает все; для него на чашки одних и тех же весов падает и четырнадцатилетняя империя и женская перчатка, и почти всегда перчатка перевешивает империю. Таковы были голые факты. Чувства, скрытые за ними, получат объяснение позднее.

Через час после того, как генерал высадился на острове, королевская власть была там восстановлена. Несколько испанцев, приверженцев конституции, бежавших сюда в ночь после взятия Кадикса, отплыли на корабле, который генерал разрешил им зафрахтовать, чтобы эмигрировать в Лондон. Дело обошлось без какого-либо сопротивления и ропота. Эта маленькая островная реставрация не могла не закончиться торжественным богослужением, на котором должны были присутствовать оба отряда, высадившиеся на острове. Незнакомый еще с суровым уставом затворничества Босоногих кармелиток, генерал надеялся в самой церкви разузнать что-нибудь об удалившихся от света монахинях, одна из которых была ему милее жизни и дороже чести. Однако вначале его постигло жестокое разочарование. Мессу действительно отслужили с большой пышностью. В честь торжества была раздернута завеса, обычно скрывающая клирос, и взору предстали во всем великолепии богатая роспись и несколько рак, сверкающих драгоценными каменьями, блеск которых затмевал золотые и серебряные ex-voto [1], принесенные в дар моряками порта и во множестве повешенные на колоннах главного придела. Но монахини скрывались на галерее, где стоял орган. Однако, несмотря на первую неудачу, во время благодарственного молебствия генерал испытал самое сильное внутреннее потрясение, которое когда-либо заставляло биться человеческое сердце. Одна из монахинь своей игрой на органе вызвала во всех живое воодушевление, и никто из военных не пожалел, что присутствует на мессе. Даже солдаты слушали с удовольствием, а офицеры при-

[1] Приношения по обету *(лат.)*.

ходили в восторг. Только генерал оставался холоден и спокоен с виду. Чувства, вызванные в нем мелодиями пьесы в исполнении монахини, принадлежали к тем немногим сокровенным переживаниям, перед которыми слово бессильно и язык немеет и которых, подобно идеям смерти, бога, вечности, можно лишь слегка коснуться человеческим разумением. По странной случайности исполнялись органные произведения школы Россини, композитора, который искуснее всех умел передать в музыке людские страсти и своими творениями заслужит когда-нибудь мировую славу,— так они многочисленны и многообразны. Из партитур, созданных этим несравненным гением, монахине, казалось, лучше всего был знаком «Моисей в Египте», вероятно, потому, что дух церковной музыки нашел там наивысшее выражение. Можно было подумать, что прославленный на всю Европу композитор и безвестная органистка слились в едином творческом вдохновении. Такое мнение высказали два офицера, истые dilettanti [1], которым в Испании, вероятно, сильно недоставало театра Фавар. Наконец в «Te deum» [2] музыка вдруг приняла иной характер,— в мелодиях безошибочно угадывалась французская душа. Победа христианнейшего короля вызывала, по-видимому, глубокую, живую радость в сердце монахини. Несомненно, она была француженкой. И вот любовь к родине прорвалась и засверкала, как сноп лучей, в темах органной фуги, куда исполнительница включила мелодии, дышащие чисто парижским изяществом, переплетая их с мотивами самых прекрасных наших национальных песен. Никогда руки испанки не вложили бы столько огня в это чудесное приветствие победоносному французскому оружию,— музыкантша окончательно выдала свое происхождение.

— Повсюду Франция! — воскликнул один из солдат.

Во время исполнения «Te deum» генерал вышел из церкви, он был не в силах оставаться там. Слушая органистку, он угадал в ней страстно любимую женщину, которая заживо похоронила себя в лоне церкви и так старательно укрылась от света, что до той поры, не-

---

[1] Любители *(итал.)*.

[2] «Тебе, бога, хвалим» *(лат.)*.

смотря на долгие и упорные розыски людей, обладавших большим могуществом и выдающимся умом, ее никак не удавалось найти.

Зародившееся у генерала подозрение превратилось почти в уверенность, когда он услышал смутный отголосок прелестной печальной мелодии французского романса «Река Тахо», прелюдию которого когда-то в парижском будуаре играла ему его возлюбленная,— а теперь этой мелодией монахиня вплела в торжество победы свою тоску по родине. Какое ужасное потрясение! Надеяться на возвращение утраченной возлюбленной и вдруг, найдя ее, убедиться, что она утрачена навеки; втайне угадать ее присутствие и молчать — каково это после пяти лет неразделенной, а потому еще более неистовой страсти, лишь возраставшей от бесплодных попыток утолить ее!

Кому не случалось хоть раз в жизни, разыскивая какую-нибудь любимую вещицу, перевернуть все вверх дном, разбросать бумаги, обшарить весь дом, с нетерпением рыться в памяти и, наконец, после одного-двух дней тщетных поисков, найти ее с невыразимой радостью; то надеяться, то отчаиваться, мучиться и тратить душевные силы ради ничтожной безделицы, необходимой вам и любимой до страсти! Так вот, растяните это неистовое безумие на пять лет, поставьте женщину, любовь, сердце на место безделушки, перенесите эту страсть в самые возвышенные области чувства и затем вообразите человека горячего, смелого, с львиным сердцем и львиной гривой, одного из тех, кто с первого взгляда внушает почтительный страх. Тогда, может быть, вам станет понятно, почему генерал внезапно ушел с молебствия, едва лишь прелюдия песенки, которую он с наслаждением слушал в былое время в позолоченных покоях, прозвучала под сводами приморского храма. Он спустился по крутой улице, ведущей от церкви, и остановился только там, где торжественные звуки органа не долетали до его слуха.

Французский генерал не способен был думать ни о чем, кроме любви, сжигавшей его сердце вулканическим пламенем, и лишь когда прихожане-испанцы стали толпами спускаться по улице, он понял, что месса кончилась. Почувствовав, что его поведение и взволнованный

вид могли показаться странными, он вернулся на свое место во главе процессии и объяснил алькальду и губернатору города, что внезапное недомогание заставило его выйти на свежий воздух. Потом ему пришло в голову, что он может воспользоваться этим случайным предлогом, чтобы остаться на острове. Притворно сетуя на все возраставшее нездоровье, он уклонился от присутствия на парадном обеде, который устроили городские власти в честь французских офицеров; он улегся в постель и продиктовал рапорт на имя начальника штаба о том, что ввиду болезни принужден временно передать полковнику командование отрядами. При помощи этой простой, но удобной уловки он получил возможность целиком посвятить себя осуществлению своих планов. Прикидываясь заядлым католиком и монархистом, он справился о часах церковной службы и выказал необычайное рвение к религиозной обрядности, зная, что в Испании благочестием никого не удивишь.

На другой же день, пока его солдаты готовились к отплытию на материк, генерал направился в монастырь к вечерне и не застал там никого. Несмотря на свою набожность, все горожане устремились в порт поглазеть на погрузку войск. Радуясь, что он один, француз прохаживался по пустой церкви, оглашая звоном шпор гулкие своды. Он нарочно кашлял, стучал сапогами, громко говорил сам с собой, чтобы подать весть монахиням, и в особенности музыкантше, что не все французы эвакуировались — один из них остался. Был ли услышан и понят его своеобразный призыв? Генералу показалось, что это так.

При исполнении «Magnificat» [1] орган как бы посылал ему ответ в вибрациях воздуха. Душа монахини летела к нему на крыльях песни, колыхаясь на звенящих волнах. Музыка загремела мощными аккордами, горячим дыханием согревая храм. Ликующие песнопения торжественной литургии римской церкви, призванные выражать восторг души перед величием вечного бога, превратились в излияния сердца, почти испуганного своим счастьем, взволнованного величием бренной, земной любви, которая все еще была жива и пришла тревожить покой мо-

---

[1] «Величит душа моя господа» *(лат.)*.

гилы, где хоронят себя женщины, чтобы возродиться христовыми невестами.

Орган, без сомнения, является самым великим, самым дерзновенно могучим, самым великолепным инструментом, когда-либо созданным человеческим гением. Это целый оркестр, который под искусными руками может все осуществить, все, выразить. Это своего рода пьедестал, с которого душа взлетает в мировое пространство, если в своем парении стремится изобразить жизнь, набросать множество картин, преодолеть бесконечность, отделяющую небо от земли. Чем больше вслушивается поэт в величавые гармонии органа, тем яснее он понимает, что только этот стоголосый земной хор может заполнить расстояние между коленопреклоненной паствой и богом, скрытым за ослепительным сиянием святилища, что это единственный толмач, который в силах передать небесам людские молитвы в их неиссякаемом многообразии, все бесчисленные виды земной печали, все оттенки созерцания и экстаза, бурные порывы раскаянья и все прихотливые фантазии верований. Поистине мелодии, созданные гением церковной музыки, приобретают под этими высокими сводами небывалое величие, облекаются мощью и красотой. Полумрак, глубокая тишина, песнопения, чередующиеся с громами органа, как бы заволакивают все дымкой, сквозь которую просвечивает лучезарный лик божества. И вот здесь, перед вечным престолом ревнивого и карающего бога, эти священные сокровища были, казалось, брошены, словно крупица ладана, на хрупкий алтарь любви. Действительно, ликованию, звучавшему в игре монахини, недоставало величия и строгости, подобающих торжественному стилю «Magnificat»; богатство и изящество вариаций, разнообразие ритмов, введенных органисткой, выдавали чисто земную радость. Ее музыкальные темы напоминали рулады певицы в любовной арии; напевы порхали и щебетали, словно птички весной. Порою она вдруг уносилась мыслью в прошлое, и звуки то резвились, то плакали. Порою в беспорядочных переменчивых ритмах выражалось волнение женщины, радующейся возвращению возлюбленного. Затем, после фуг, переливающихся упоительным счастьем, и чудесных приветствий, вызванных этой фантастической встречей, музыкантша, раскрывая в зву-

ках всю душу, обратилась к самой себе. Переходя из мажора в минор, она поведала слушателю о нынешней своей жизни. Она рассказала ему о своей неизбывной печали, описала тяжелую болезнь, которая медленно ее подтачивала. День за днем отрекаясь от земных чувств, ночь за ночью отгоняя мирские помыслы, она постепенно иссушила свое сердце. После нескольких нежных модуляций музыка, меняя оттенки, приобрела окраску глубокой грусти. Затем гулкое эхо сводов низверглось потоками скорби, и, наконец, высокие ноты перешли в созвучия ангельских голосов, как бы возвещая возлюбленному, потерянному навек, но не забытому, что соединение двух душ совершится только в небесах: трогательная надежда! Зазвучал «Amen»[1]. Здесь уже не слышалось ни радости, ни слез, ни скорби, ни сожалений. «Amen» возвращал к богу; последние аккорды были суровы, торжественны, грозны. Музыкантша словно закрылась траурным крепом, и когда отзвучал рокот гудящих басов, приводивший слушателей в содрогание, она как будто снова опустилась в могилу, которую покидала на краткий миг. Вот постепенно замерли последние трепетные звуки, и церковь, недавно еще сиявшая огнями, словно погрузилась в глубокую тьму.

Захваченный могучим гением музыки, офицер уносился душою вслед за ним, куда бы тот ни устремлялся в своем полете. Он постигал во всей широте образы, которыми изобиловала эта пламенная симфония, он прозревал в аккордах глубокий смысл. Для него, как и для сестры-монахини, в этой поэме заключалось будущее, настоящее и прошедшее. Для чутких и поэтичных душ, для скорбных, израненных сердец музыка, даже светская, является чудесным текстом, который каждый толкует по-своему. Если необходимо быть по натуре поэтом, чтобы стать музыкантом, то не нужны ли поэзия и любовь, чтобы слушать и понимать великие музыкальные произведения? Не являются ли религия, любовь и музыка тройственным выражением одного и того же чувства — стремления выйти за пределы своей личности, обуревающего всякую благородную душу? Каждый из этих трех видов поэзии ведет к богу, в кото-

---

[1] «Аминь» *(лат.)*.

ром находят разрешение все земные чувства. Вот почему эта святая троица человечества причастна бесконечному величию творца, которого мы неизменно окружаем в своем представлении пламенем любви, музыкой золотых систр, светом и гармонией. Не в нем ли начало и конец наших творений?

Француз угадал, что монахиня прибегла к музыке, чтобы излить избыток чувств и страстей, раздиравших ее в этой пустыне, на скале, окруженной морем. Что это было — любовь, принесенная в жертву богу, или любовь, восторжествовавшая над богом? Трудно разрешить этот вопрос. Только в одном генерал не мог сомневаться — женщина, умершая для света, горела такой же страстью, какая сжигала его самого. Когда кончилась вечерня, он возвратился в дом алькальда, где его поместили. Весь во власти бурной радости, он думал только о том, что после долгих ожиданий, после мучительных поисков его надежды оправдались: она любила его по-прежнему. В сердце ее любовь возрастала от одиночества, подобно тому, как в его сердце любовь возрастала от беспрестанного преодоления преград, которые воздвигла эта женщина между ним и собой. Долгое время он пребывал в восторженном состоянии. Затем его охватило непреодолимое желание увидеть любимую женщину, вступить за нее в спор с богом и похитить ее у бога — дерзновенный замысел, прельстивший этого отважного человека. Пообедав, он удалился в спальню, чтобы избежать расспросов, чтобы остаться одному и обдумать все без помехи; до самого рассвета предавался он глубоким размышлениям, а утром отправился к обедне. Он вошел в храм и занял место у решетки, касаясь лбом складок занавеса; ему хотелось разодрать завесу, но он был не один: алькальд из любезности сопровождал его, и малейшая неосторожность могла все погубить, могла разрушить его возрожденные надежды. Загудел орган, но клавишей касались чьи-то чужие руки; вчерашней музыкантши больше не было слышно. Генералу все вокруг показалось тусклым, померкшим. Может быть, его возлюбленная изнемогла от тех же волнений, которые едва не сломили даже его, сильного мужчину? Может быть, она так глубоко поняла и разделила чувства верной и желанной любви, что лежит полумерт-

вая в своей монашеской келье? Множество предположений подобного рода теснилось в голове француза, как вдруг совсем рядом услышал он серебристый голос обожаемой женщины — он узнал его чистый тембр! Этот голос, слегка дрожащий и неуверенный, трогательный и целомудренно-робкий, как у юной девушки, выделялся из многоголосого хора, точно сопрано примадонны в оперном финале. Он производил такое же впечатление, как золотая или серебряная нить, вплетенная в темную ткань. Значит, это действительно была она! Как истая парижанка, она осталась кокеткой, хоть и сменила светские наряды на грубое покрывало и жесткую одежду кармелитки. Накануне, вознося хвалы создателю, она возвестила свою любовь; сегодня она как бы говорила возлюбленному: «Да, это я, я здесь, я люблю по-прежнему, но между мной и твоей любовью — нерушимая преграда. Ты услышишь мой голос, ты почувствуешь прикосновение моей души, но я навеки укрылась под прочным саваном этого клироса, и никакая сила не вырвет меня оттуда. Ты не увидишь меня никогда».

— Да, это она! — прошептал генерал, поднимая голову, которую сжимал обеими руками, так как не мог совладать с бурным волнением, поднявшимся в его сердце, когда под арками зазвенел знакомый голос, сопровождаемый рокотом волн. Снаружи бушевала буря, в святилище храма царил покой. Пленительный голос расточал ласкающие звуки, проливая целительный бальзам на его опаленное страстью сердце, наполняя воздух благоуханием, и он вдыхал его всей грудью, впивая вместе с ним излияния души, исходившей любовью в словах молитвы.

Подойдя к своему гостю, когда монахиня пела при возношении даров, алькальд застал его в слезах и увел к себе. Пораженный такой набожностью во французском офицере, алькальд пригласил к ужину монастырского духовника и сообщил об этом генералу, которому ничем не мог доставить большей радости. Во время ужина генерал оказывал исповеднику всяческое внимание, и эта отнюдь не бескорыстная почтительность еще укрепила то высокое мнение, какое составили испанцы о его благочестии. Он с серьезным видом подробно расспрашивал о числе монахинь, о доходах и владениях

монастыря, как бы из уважения к собеседнику касаясь в разговоре тех предметов, которые должны были наиболее занимать старого священника. Потом он осведомился об образе жизни благочестивых дев: разрешено ли им выходить? Можно ли их видеть?

— Наши правила суровы, сеньор,— отвечал почтенный духовник.— Если женщина не имеет права войти в обитель святого Бруно без особого на то соизволения его святейшества папы, то не меньшие строгости существуют и здесь. Ни один мужчина не смеет проникнуть в обитель Босоногих кармелиток, если только он не духовное лицо, причисленное самим архиепископом к этому монастырю в качестве священнослужителя. Монахиням запрещено выходить. Однако великая святая мать Тереза часто покидала свою келью. Только визитатор или матери-настоятельницы могут, с согласия архиепископа, дозволить монахине увидеться с посторонним, например в случае болезни. Мы являемся главой духовного ордена, и, следовательно, у нас в монастыре есть мать-настоятельница. Среди наших инокинь имеются чужестранки, в том числе одна француженка, сестра Тереза, регентша нашей капеллы.

— Вот как! — сказал генерал с притворным удивлением.— Должно быть, ее обрадовала победа оружия Бурбонского дома.

— Я сообщил им, по какому поводу было молебствие, ведь монахини все же не совсем излечились от любопытства.

— Вероятно, у сестры Терезы остался кто-нибудь во Франции, может быть, она хотела бы передать поручение, спросить о новостях...

— Не думаю, она бы обратилась ко мне.

— В качестве соотечественника я бы очень желал ее видеть,— сказал генерал.— Если это возможно, если настоятельница согласится, если...

— Даже через решетку, даже в присутствии достопочтенной матери свидания не разрешаются никому. Но в честь восстановителя христианского трона и освободителя святой церкви мы можем сделать исключение и обойти устав, несмотря на непреклонную строгость святой матери,— ответил исповедник с улыбкой.— Я поговорю об этом.

— Какого возраста сестра Тереза? — допытывался влюбленный, не смея спросить у священника, красива ли монахиня.

— У нее нет больше возраста,— отвечал старик с простотой, заставившей генерала содрогнуться.

На следующее утро, перед сьестой, духовник явился сообщить французу, что мать-настоятельница и сестра Тереза согласились принять его перед вечерней за решеткой приемной залы. После сьесты, в течение которой генерал под палящим солнцем бродил по гавани, не зная, как убить время, священник зашел за ним и проводил его в монастырь; он повел его по галерее вдоль кладбища, где фонтаны, зеленые деревья и множество арок создавали прохладу, гармонирующую с тишиной этого пустынного места. Дойдя до конца галереи, священник ввел своего спутника в приемную залу, разделенную пополам решеткой с темным занавесом. В отведенной для посетителей части помещения, где духовник оставил генерала, тянулась вдоль стены деревянная скамья; возле решетки стояло несколько стульев, тоже деревянных. Потолок был из каменного дуба, с выступающими балками, без всяких украшений. Дневной свет проникал в залу через два окна, расположенные на половине монахинь, и его тусклые лучи, слабо отраженные темным деревом потолка, едва освещали большое черное распятие, изображение святой Терезы и образ богоматери, которыми были украшены серые стены приемной. Бурные чувства генерала смягчились и приняли оттенок печали. Спокойствие этой скромной комнаты передалось и ему. От прохладных стен на него повеяло величавым бесстрастием могилы. Не напоминали ли о могиле это вечное безмолвие, глубокая тишина, *думы* о бесконечности? Безмятежный покой и созерцательный дух монастыря витали в воздухе, сквозили в сочетании света и тени, царили во всем, и торжественные слова *мир во господе*, нигде не начертанные, но возникающие в воображении, проникали поневоле в самую неверующую душу. Назначение мужских монастырей понять трудно. Мужчина создан для деятельности, для трудовой жизни, от которой он уклоняется, затворяясь в келье. Но сколько мужественной силы и трогательной слабости сокрыто в женских обителях! Множество причин может побудить мужчину по-

стричься в монастырь, он бросается туда, как в омут. Но женщину влечет в заточение одно-единственное чувство: она не изменяет своей природе, она обручается с небесным супругом. Вы вправе спросить у монаха: «Почему ты не боролся?» Но женщина, решаясь стать затворницей, не вступает ли в мужественную борьбу? Генерал чувствовал, что и эта безмолвная приемная и затерянный в море монастырь полны только им и дышат им одним. Любовь редко достигает величия; но разве не величественна была эта любовь, хранящая верность и в лоне божием, такое чувство не удивительно ли в девятнадцатом веке, при современных нравах? Понимание такой беспредельно великой любви было доступно душе генерала — именно такой человек, как он, был способен забыть политику, почести, Испанию, Париж, все на свете и возвыситься до этой грандиозной развязки. Поистине, что может быть трагичнее? Что сравнится с чувствами двух влюбленных, которые встретились на гранитной скале, окруженной морем, но разъединены неодолимой преградой идеи! Представьте себе мужчину, который вопрошает себя: «Восторжествую ли я над богом в ее сердце?»

Легкий шорох заставил генерала вздрогнуть; темный занавес раздвинулся; при тусклом свете он увидел женщину, стоявшую за решеткой, лицо ее было закрыто ниспадающими складками длинного покрывала; согласно монастырским правилам, она была в одеянии того блекло-коричневого цвета, который в народе так и называется кармелитским. Босые ноги ее тоже были закрыты, и генерал не мог видеть их ужасающей худобы; однако, глядя на монахиню, окутаннук уродливыми складками грубой рясы, он угадал, что слезы, молитвы, страдания и одиночество уже иссушили ее.

Какая-то женщина, вероятно, настоятельница, придерживала занавес ледяною рукой; обернувшись к неизбежной свидетельнице их беседы, генерал встретился взглядом с проницательными черными глазами монахини, почти столетней старухи,— глазами до странности зоркими и молодыми на бледном лице, изборожденном множеством морщин.

— Герцогиня,— прерывающимся от волнения голосом спросил он у монахини, которая стояла по-

тупившись,— ваша спутница понимает по-французски?

— Здесь нет герцогини,— отвечала она.— Перед вами сестра Тереза. Женщина, которую вы назвали моей спутницей,— здешняя настоятельница, моя мать во господе.

Ее полные смирения слова, слетевшие с уст, когда-то столь легкомысленных и насмешливых, произнесенные голосом, который он слышал в былое время среди блеска и роскоши, окружавших в Париже эту женщину, царицу моды, поразили генерала, как удар грома.

— Святая мать говорит только по-латыни и по-испански,— добавила она.

— Я не знаю ни того, ни другого языка. Передайте ей мои извинения, дорогая Антуанетта.

Услыхав свое имя, с такой нежностью произнесенное человеком, некогда столь суровым к ней, монахиня пришла в сильное волнение, о чем можно было догадаться по легкому трепету покрывала, на которое падал яркий свет.

— Брат мой,— проговорила она, просовывая руку под покрывало, вероятно, чтобы утереть слезы,— меня зовут сестрой Терезой...

Затем она обратилась к настоятельнице по-испански; генерал, который знал испанский язык достаточно, чтобы понимать, а может быть, и говорить на нем, отлично разобрал ее слова:

— Матушка, кабальеро свидетельствует вам почтение и просит извинить, что не может лично приветствовать вас: он не говорит ни по-латыни, ни по-испански.

Старуха медленно наклонила голову; ее лицо приняло выражение ангельской кротости и вместе с тем гордости от сознания своей власти и достоинства.

— Ты знаешь этого кабальеро? — спросила настоятельница, бросив на нее пытливый взгляд.

— Да, матушка.

— Дочь моя, возвратись в келью! — сказала настоятельница повелительным тоном.

Генерал быстро отступил в тень занавеса, чтобы скрыть бурное волнение, отразившееся на его лице, но и в полумраке ему мерещился пронизывающий взгляд игуменьи. Ему внушала ужас эта женщина, от которой за-

висело мимолетное хрупкое счастье, достигнутое с таким трудом,— и суровый воин, ни разу в жизни не дрогнувший перед тройным рядом пушек, трепетал от страха. Герцогиня направилась к двери, но вдруг обернулась.

— Матушка,— промолвила она неестественно спокойным голосом,— этот француз — один из моих братьев.

— Тогда останься, дочь моя,— сказала старуха после некоторого раздумья.

В восхитительной иезуитской уловке сестры Терезы было столько любви, столько сожаления о прошлом, что при всей своей выдержке генерал едва нашел силы перенести такую острую радость после угрожавшей ему опасности. Как же высоко надо было ценить каждое слово, движение, взгляд при этом кратком свидании, где любовь должна была утаиться от рысьих глаз, от когтей тигра! Сестра Тереза опять подошла к решетке.

— Видите, брат мой, на что я решилась ради краткой беседы о спасении вашей души, о молитвах, которые денно и нощно я возношу за вас создателю. Я совершила смертный грех. Я солгала, много дней буду я нести покаяние, чтобы замолить эту ложь! Но ведь я буду страдать ради вас. Если бы вы знали, брат мой, какое блаженство в любви неземной, какое счастье иметь право признаться себе в своем чувстве, когда религия освятила и возвысила его, когда мы научились любить только в духе и господе. Если бы учение и мудрость нашей святой покровительницы, основавшей эту обитель, не помогли мне отрешиться от земных уз и не вознесли меня высоко над миром — хотя мне далеко еще до горних селений, где обретается она сама,— я не решилась бы свидеться с вами. Но отныне я могу смотреть на вас, слышать ваш голос и оставаться безмятежной...

— Ах, боже мой, Антуанетта,— воскликнул генерал, прерывая ее с нетерпением,— дайте же мне увидеть вас, ведь теперь я люблю вас страстно, без памяти — люблю так, как вы хотели быть любимой!

— Не называйте меня Антуанеттой, умоляю вас. Мне больно вспоминать о прошлом. Перед вами только сестра Тереза, бедная грешница, уповающая на милосердие божие. И потом, будьте более сдержанны, брат

мой,— добавила она, помолчав.— Мать-настоятельница безжалостно разлучит нас, если заметит на вашем лице отражение мирских чувств, если увидит слезы на ваших глазах.

Генерал склонил голову, чтобы справиться с собой. Когда он поднял глаза, он увидел за прутьями решетки бледное, исхудалое, но все еще прекрасное лицо монахини. Это нежное, когда-то блиставшее юной свежестью лицо, матовая белизна которого пленительно сочеталась с цветом бенгальской розы, приобрело теплый оттенок фарфоровой чаши, освещенной изнутри слабым огнем. Роскошные волосы, которыми молодая женщина некогда так гордилась, были острижены. Повязка обвивала ее лоб и обрамляла лицо. Глаза, обведенные темными кругами от лишений и самоистязаний, по временам излучали лихорадочный блеск, нарушавший их напускное спокойствие. Словом, от этой женщины осталась одна душа.

— О, вы должны покинуть этот склеп, для меня нет жизни без вас. Вы принадлежали мне, вы не имели права отдаться никому другому, даже богу. Разве не клялись вы пожертвовать всем по первому моему зову? Если бы вы знали, сколько я выстрадал из-за вас, вы, может быть, сочли бы меня достойным такой клятвы. Я искал вас по всему свету. Эти пять лет вы были моей единственной мыслью, единственной заботой моей жизни. С помощью моих друзей,— вы знаете, как они могущественны,— я обыскал все монастыри Франции, Италии, Испании, Сицилии, Америки. После каждой новой неудачи моя любовь только разгоралась. Как часто совершал я долгие путешествия по ложному следу! Как часто расточал я силы напрасно, как бурно билось мое сердце у темных монастырских стен! Незачем и говорить о безусловной верности, это ничто в сравнении с вечными обетами моей любви. Если когда-то ваше раскаяние было искренним, вы последуете за мной немедленно, не колеблясь ни минуты.

— Вы забываете, что я несвободна.

— Герцог скончался,— возразил он живо.

Сестра Тереза покраснела.

— Царство ему небесное,— произнесла она с горячим чувством,— он был великодушен ко мне. Но не о

таких узах я говорю, я готова была все их порвать ради вас, в этом мой тяжкий грех.

— Вы говорите о монашеских обетах? — воскликнул генерал, нахмурив брови.— Не думал я, что для вашего сердца есть что-то важнее любви. Но не тревожьтесь, Антуанетта, я добуду папскую грамоту, разрешающую вас от обетов. Я дойду до Рима, буду взывать ко всем властителям мира, и если бы сам господь бог спустился на землю...

— Не богохульствуйте.

— Оставьте же мысли о боге! Ах, скажите мне лучше, что ради меня вы согласны вырваться из этих монастырских стен, что нынче же вечером вы сядете в лодку у подножия скалы. Мы уплывем куда-нибудь далеко, на край света, мы будем счастливы. И возле меня, под сенью любви к вам возвратятся и жизнь и здоровье!

— Не говорите так,— перебила сестра Тереза,— вы не знаете, чем вы для меня стали. Я люблю вас гораздо сильнее, чем прежде. Каждый день я молю за вас господа, я уже не взираю на вас плотскими очами. Если б вы знали, Арман, какое блаженство не стыдясь предаваться чистой привязанности, угодной богу. Если б вы только поняли, как я счастлива, призывая на вас небесное благословение! Никогда я не молюсь о себе — да свершится надо мной воля божья! Я готова пожертвовать спасением своей души, только бы получить уверенность, что вы, Арман, обретете счастье здесь, на земле, и вечное блаженство на том свете. Моя бессмертная душа — вот все, что осталось мне в несчастье, вот все, что я могу принести вам в дар. Я уже состарилась от слез, я больше не молода и не красива; да вы и сами презирали бы монахиню, которая вернулась к мирской жизни,— ведь никакой привязанностью, даже материнской любовью, не искупить этого греха... Что скажете вы мне такого, что сравнилось бы с моими бесконечными, неотступными думами, которые за пять лет измучили, надорвали, иссушили мою душу? Такая скорбь неугодна создателю!

— Что я скажу, моя дорогая? Скажу, что люблю тебя; скажу, что прежде я сомневался в тебе, подвергал тебя суровым испытаниям: ведь истинная привязанность, истинная любовь, счастье безраздельно владеть своей возлюбленной так редкостны, так трудно достижимы. Но

теперь я люблю тебя всеми силами души. Если ты последуешь за мной, я буду видеть только одну тебя, буду слышать только твой голос...

— Молчите, Арман! Вы сокращаете последние минуты, когда нам разрешено видеться здесь на земле.

— Антуанетта, согласна ты последовать за мной?

— Но я не расстаюсь с вами, я живу в вашем сердце, только не для мирских утех, не для суетных себялюбивых наслаждений. Бледная и увядшая, я живу в этой обители ради вас одного, и, если господь справедлив, вы будете счастливы...

— Все это пустые слова! А если ты мне нужна такая, как есть, бледная и увядшая? А если я могу быть счастлив только с тобой? Неужели, даже встретясь с возлюбленным, ты не можешь забыть о каких-то других обязанностях? Неужели я никогда не займу первого места в твоем сердце? Прежде ты предпочитала мне общество, самое себя и много всего другого; теперь ты толкуешь о боге, о спасении моей души. В сестре Терезе я узнаю все ту же герцогиню, не ведающую радостей любви, бездушную под маской чувствительности. Ты не любишь меня, ты никогда никого не любила...

— Брат мой...

— Ты отказываешься уйти из этой могилы, ты хочешь спасти мою душу? Так знай же, ты погубишь эту душу навеки, я покончу с собой...

— Матушка,— воскликнула сестра Тереза по-испански,— я солгала вам, это мой любовник!

Занавес быстро задернулся. Ошеломленный генерал услышал, как где-то в глубине с шумом захлопнулись двери.

«О, она еще любит меня! — подумал он, поняв, какое глубокое чувство таилось в возгласе монахини.— Надо похитить ее отсюда...»

Генерал покинул остров, вернулся в главный штаб, взял отпуск, ссылаясь на расстроенное здоровье, и спешно выехал во Францию.

Обратимся теперь к предшествующим событиям, которые объяснят взаимоотношения действующих лиц этой сцены.

То, что во Франции носит название Сен-Жерменского предместья, не является ни кварталом, ни сектой, ни уста-

новлением, да и вообще не поддается точному определению. На Королевской площади, в предместье Сент-Оноре, на Шоссе д'Антен тоже имеются особняки, где царит дух Сен-Жерменского предместья. Таким образом, оно уже не умещается в самом предместье. Некоторые лица, родившиеся весьма далеко от сферы его влияния, могут его воспринять и получить доступ в это общество, тогда как другие, которые там и родились, могут быть изгнаны оттуда навсегда. Сен-Жерменское предместье со своим говором, манерами — одним словом, особыми традициями, вот уже около сорока лет занимает в Париже то же положение, какое в старину занимал Двор, в четырнадцатом веке — резиденция Сен-Поль, в пятнадцатом — Лувр, в шестнадцатом веке — Дворец, отель Рамбуйе, Королевская площадь, а в семнадцатом и восемнадцатом — Версаль. Во все исторические периоды у высших классов и аристократии Парижа был свой центр, так же как у простых людей Парижа всегда будет свой. Тому, кто хотел бы изучить или описать различные социальные слои, эта особенность, свойственная всем историческим периодам, дает обильный материал для размышлений, и исследование ее причин не только поможет объяснить характер описываемых событий, но, вероятно, послужит и общим интересам, еще более существенным для будущего, чем для настоящего, если только политики, подобно юношеству, не считают исторический опыт бессмыслицей.

Во все времена вельможи и богачи, которые вечно корчат из себя вельмож, строили свои дома подальше от густонаселенных мест. Когда герцог д'Юзес в царствование Людовика XIV воздвиг на улице Монмартр великолепный особняк с водометом у входа (последнее было подлинным благодеянием и снискало герцогу, больше чем все прочие его заслуги, столь широкую популярность, что все жители квартала шли за его гробом),— эта часть Парижа была еще пустынной. Но как только были срыты укрепления, а пустыри за бульварами начали застраиваться домами, герцогская семья бросила свой прекрасный особняк, и в наши дни его занимает какой-то банкир. Еще позже знать, недовольная соседством лавочников, покинула Королевскую площадь и прилегающие к центру улицы и переселилась за реку, чтобы при-

вольнее дышать в Сен-Жерменском предместье, где уже имелись великолепные здания вокруг дворца, построенного Людовиком XIV для герцога Мэнского, самого любимого из своих узаконенных детей. В самом деле, что может быть нестерпимее для людей, привыкших к блеску и роскоши, чем шум, гам, грязь, зловоние и теснота густонаселенных улиц? Уклад жизни торговых или ремесленных кварталов резко отличается от уклада жизни высшего сословия! Когда Торговля и Труд ложатся спать, аристократия только еще собирается обедать; когда те шумят и двигаются, эти отдыхают; их расчеты никогда не могут совпасть: одни зарабатывают, другие расточают. А потому нравы и обычаи их прямо противоположны. В этих наблюдениях нет ничего обидного. Аристократия — это, так сказать, мозг общества, тогда как буржуазия и пролетарии — его организм и деятельность. Естественно, что столь различные общественные силы не могут ужиться рядом. Из их антагонизма проистекает взаимная антипатия, порожденная различием рода деятельности, ведущей, однако же, к одной общей цели. Подобные общественные противоречия настолько логически вытекают из любой конституционной хартии, что даже ярый либерал, склонный жаловаться на нарушение высоких идей справедливости, которыми честолюбцы низших классов прикрывают свои личные интересы,— даже он нашел бы диким и смешным, если бы князь Монморанси поселился на углу улицы Сен-Мартен и улицы, носящей его имя, или герцог Фиц-Джемс, потомок шотландской королевской фамилии, проживал на углу улицы Марии Стюарт и улицы Монторгейль. «Sint ut sunt, aut non sint!»[1] — это прекрасное архипастырское изречение могут избрать девизом вельможи всех стран. Такая истина, очевидная во все времена и всегда признаваемая народом, имеет общегосударственный смысл; она является одновременно и причиной и следствием, и принципом и законом. Массы обладают врожденным здравым смыслом и теряют его лишь тогда, когда злонамеренные люди разжигают их страсти. Здравый смысл зиждется на общеобязательных истинах, одинаково справедливых как для Москвы, так и для Лондона, как для Женевы, так

[1] «Пусть будут как есть—или пусть их совсем не будет» *(лат.)*.

и для Калькутты. Если собрать на любом данном пространстве людей разного достатка, они повсюду расслоятся, образуя высшую знать, патрициев, первый, второй и третий круги общества. Всеобщее равенство, может быть, и станет когда-нибудь *правом*, но никакие силы человеческие не могут осуществить его *на деле*. Было бы весьма полезно для процветания Франции как можно шире распространить эту идею. Неоспоримые блага политической гармонии способен оценить самый неразвитой народ. Гармония — это дух порядка, а порядок крайне необходим народу. Разве не в согласованности вещей между собою — одним словом, в единстве,— заключено высшее выражение порядка? Архитектура, музыка, поэзия, решительно все зиждется во Франции, больше чем в какой-либо другой стране, на этом принципе, который к тому же лежит в основе нашего ясного и точного языка, а ведь язык всегда будет непогрешимым выразителем нации. Обратите внимание, с каким чутьем народ подхватывает самые мелодические, самые поэтичные песни, самые острые словечки, принимает самые простые идеи, избирает самые четкие выражения, содержащие больше всего мыслей. Франция — единственная страна, где коротенькая фраза может вызвать великую революцию. Народные массы во Франции только для того и подымали восстания, чтобы привести в согласие людей, жизненные обстоятельства и принципы. Никакая другая нация не чувствует так глубоко идею единства, которой должна руководиться аристократия, потому, быть может, что никакая другая нация не научилась так понимать требования политической необходимости; она никогда не окажется в хвосте истории. Франция часто бывала обманута, но обманута, как женщина,— она увлекалась возвышенными идеями и пылкими чувствами, не взвесив сгоряча, к чему они могут привести.

Итак, первой характерной чертой Сен-Жерменского предместья являются роскошные особняки, обширные сады, простор и тишина, когда-то прежде находившиеся в соответствии с богатством и великолепием земельных владений. Не является ли значительное пространство, отделяющее эту касту от всей столицы, материальным подтверждением того морального расстояния, которое

должно их разделять? У всякого живого существа голова занимает первое место. Если народ вздумает отсечь себе главу и повергнуть к своим стопам, он обнаружит, рано или поздно, что совершил самоубийство. Но нации не хотят умирать и стараются создать себе новую главу. Если нация уже не в силах это сделать, она гибнет, как погибли Рим, Венеция и многие другие государства. Обособленность высшей сферы от прочих общественных кругов, вызванная различием нравов и обычаев, настоятельно требует, чтобы аристократическая верхушка обладала реальными, существенными ценностями. Как только патриции, в любом государстве, при любой форме правления, нарушают условия полного превосходства, они перестают быть силой, и народ немедленно ниспровергает их. Народ хочет, чтобы в их руках, в сердце и в голове были богатство, могущество и воля, слово, разум и слава. Без этой тройной власти дворянство сразу лишается своих преимуществ. Народы, как и женщины, в своих властителях ценят силу, их любовь неразрывна с уважением; они не повинуются тем, кто не умеет повелевать. Аристократия, недостойная уважения, подобна королю без власти или мужчине в юбке: она ничтожна и в конце концов обратится в ничто. Итак, обособленность высших классов, своеобразие их нравов, короче говоря, духовный облик патрицианской касты является одновременно и символом их могущества и причиной их гибели, если они утрачивают это могущество. Сен-Жерменское предместье, которое могло бы долго еще существовать, погибло оттого, что не желало признавать обязательств, налагаемых его высоким положением. Французское дворянство не имело мужества вовремя увидеть, как увидела то аристократия английская, что во всяком установлении наступает критический период, когда слова теряют прежнее значение, идеи принимают новое обличье, а политические условия, не изменяясь по существу, коренным образом меняются по форме. Эти мысли нуждаются в развитии, так как имеют прямое отношение к данной истории, выясняя ее причины и истолковывая ход ее событий.

Великолепие аристократических дворцов и зáмков, пышность архитектуры, роскошь всей окружающей обстановки, простор, в котором свободно и непринужденно

движется счастливый владелец, богатый со дня рождения; далее, привычка никогда не снисходить до мелочных повседневных расчетов и жизненных нужд, полный досуг, разностороннее образование, доступное с ранней юности,— словом, патрицианские традиции, то есть такая социальная сила, равную которой его противники с трудом могут приобрести упорными занятиями, постоянным напряжением воли, верностью своему призванию,— все это, казалось бы, должно возвысить душу человека, с юных лет наделенного такими преимуществами, внушить ему высокое уважение к себе и прежде всего благородство сердца, которое соответствовало бы благородству древнего имени. В некоторых дворянских семьях это так и есть. Кое-где в Сен-Жерменском предместье встречаются благородные характеры, редкие исключения на фоне общего эгоизма, приведшего к гибели этот обособленный мирок. Французскому дворянству, как и всякому аристократическому слою, возникающему на поверхности нации, присущи все эти преимущества, пока они опираются на наследственные владения, как земельные, так и денежные, единственную прочную основу общественного строя; но преимущества эти сохраняются за аристократией лишь до тех пор, пока она соблюдает условия, на которых народ ей их предоставляет. Это нечто вроде лена, получаемого вассалом за свою службу от верховного властелина, а верховным властелином в наши дни, без сомнения, является народ. Времена меняются, меняется и род оружия. От феодала, которому в старину надлежало только хорошо владеть копьем и быть готовым, когда понадобится, надеть кольчугу и панцирь и поднять свое знамя, ныне требуется еще и ум; где нужна была стойкость души, теперь необходима смелость мысли. Искусство, наука и деньги образуют социальный треугольник, в который вписан герб власти,— вот откуда должна вести свое происхождение современная аристократия. Блестящее открытие новой теоремы сто́ит древнего рода. Ротшильды, эти нынешние Фуггеры,— фактические государи. Великий художник—истинный олигарх, он представитель целого века и почти всегда его законодатель. Итак, на красноречие оратора, на литературу — эту машину под высоким давлением,— на гений поэта, ловкость коммерсанта, во-

лю государственного деятеля, соединяющего в себе множество блистательных качеств, на меч генерала,— на все эти источники побед, одерживаемых личностью над обществом, чтобы добиться славы, класс патрициев должен был бы захватить монополию, как в старину он владел монополией материальной силы. Чтобы оставаться во главе государства, надо быть достойным руководить им, чтобы заставить работать руки, надо стать душой и мозгом. Как управлять народом, не располагая силами, на которых зиждется власть? Какое значение имеет маршальский жезл, если его не держит в руках подлинный военачальник? В Сен-Жерменском предместье размахивали жезлами, наивно думая, что в этом и состоит могущество. Дворянство отвергло логические основы своего существования. Вместо того чтобы отказаться от внешних привилегий, которые возмущали народ, и втайне сохранить силы, оно позволило буржуазии захватить власть, а само стало цепляться за внешние отличия, забывая о своем численном ничтожестве. Составляя в количественном отношении едва лишь одну тысячную часть населения, аристократия обязана в критические периоды — ныне, как и встарь,— упрочить свое влияние, чтобы уравновесить мощь народных масс. В наше время имеют значение реальные силы, а не исторические воспоминания. На свою беду, французское дворянство, продолжая чваниться давно утраченным былым могуществом, восстановило против себя народ своим нелепым самомнением. Возможно, что это чисто национальная черта. Француз менее, чем кто-либо, думает о тех, кто ниже его; с той ступени, на которой он находится, он стремится подняться на высшую ступень. Редко сокрушаясь о несчастных, оставшихся позади, он вечно сетует, что так много счастливцев его обогнало. Хотя сердце у него доброе, он предпочитает по большей части руководиться рассудком. Ненасытное тщеславие, этот национальный инстинкт француза, который неустанно толкает его вперед, разоряет его и управляет им так же властно, как голландцем управляет принцип экономии,— вот что в течение трех веков руководило дворянами, и в этом отношении они истые французы. Из своего материального превосходства люди, принадлежавшие к Сен-Жерменскому предместью, всегда выводили заклю-

чение о своем превосходстве умственном. Вся Франция поддерживала в них это убеждение, ибо с самого основания Сен-Жерменского предместья, то есть с той поры, когда королевский двор покинул Версаль, вызвав и перемещение аристократии, Сен-Жерменское предместье, за редкими исключениями, неизменно опиралось на власть, а королевская власть во Франции всегда в той или иной степени будет олицетворять Сен-Жерменское предместье. Это и привело дворянство к поражению в 1830 году. В ту эпоху оно напоминало армию, не имеющую базы. Оно не умело воспользоваться миром, чтобы привлечь к себе сердце народа. Оно грешило недостатком образования и полным непониманием общности своих интересов. Оно жертвовало верным будущим ради сомнительного настоящего. Вот в чем причина его недальновидной политики. Попытки высокомерной знати соблюдать между собой и прочим населением моральное и физическое расстояние роковым образом привели к тому, что за последние сорок лет в высших классах развилось чувство обособленности и исчез кастовый патриотизм. Встарь, когда французская знать была еще богатой, великой и могущественной, дворяне умели в минуту опасности избирать себе вождей и подчиняться им. Измельчав, они разучились повиноваться, и, как в Византии, каждый из них хотел стать императором; видя всех одинаково слабыми, любой считал себя сильнее других. Каждая семья, разоренная революцией, разоренная разделом земель, вместо того чтобы заботиться обо всей огромной семье аристократов, заботилась только о себе и надеялась, что, обогащаясь сама, тем самым усиливает свою партию. Роковая ошибка! Деньги тоже не более как признак могущества. Члены родовитых семейств, в соответствии с их образом жизни, сохраняли высокие традиции изысканной вежливости, изящного вкуса, красивого слога, аристократической сдержанности и гордости — достоинства ничтожные, если они обращаются в основную цель жизни, вместо того чтобы быть ее придатком. Таким образом, ценные внутренние качества знатных фамилий превращались в чисто внешние достоинства. Никто из дворян не имел мужества спросить себя: «Достаточно ли мы сильны, чтобы взять власть в свои руки?» Они накинулись на власть, как адвокаты в 1830 году. Вместо

того чтобы выказать благородство вельможи, сен-жерменская аристократия обнаружила жадность выскочки. С того дня, как умнейший народ мира удостоверился, что восстановленное дворянство распоряжается властью и бюджетом для своих личных выгод,— дворянство постигла смертельная болезнь. Оно надеялось быть аристократией, тогда как могло стать только олигархией — две системы, совершенно различные; это поймет всякий, кто внимательно прочтет родовые имена членов палаты лордов. Бесспорно, у королевского правительства были самые лучшие намерения, но оно постоянно забывало, что народ должен сам всего захотеть, даже собственного блага, и что Франция, как своенравная женщина, сама хочет избирать свою судьбу, сулит ли это ей счастье, или беду — все равно. Если бы нашлось побольше таких, как герцог де Лаваль, скромных, достойных своего славного имени, то престол старшей ветви стал бы прочен, как престол Ганноверского дома. В 1814-м и в особенности в 1820 году французское дворянство могло бы стать во главе самой образованной эпохи, самой аристократичной буржуазии, самой женственной страны на свете. Сен-Жерменскому предместью ничего не стоило привлечь и покорить третье сословие, помешанное на светском тщеславии, влюбленное в науку и искусства. Однако жалкие правители этой великой эпохи, столь высоко поднявшей свою духовную культуру, ненавидели всякое искусство и науку. Они даже не умели облечь поэзией столь необходимую им религию и заставить полюбить ее. Напрасно Ламартин, Ламеннэ, Монталамбер и другие одаренные писатели старались позлатить поэзией, обновить и возвеличить религиозные идеи,— злополучное правительство сумело показать только горечь религии. Никогда еще нация не бывала так снисходительна; она напоминала женщину, которая от усталости становится уступчивой, и никогда еще правительство не действовало так неуклюже: Франция, как и женщина, скорее уж извинила бы какой-нибудь проступок. Чтобы спасти положение и создать сильное олигархическое правительство, дворяне Сен-Жерменского предместья должны были добросовестно порыться в сундуках и отыскать золотую монету Наполеона в своих собственных запасах; должны были хоть вывернуться наизнанку, а найти в своих

недрах конституционного Ришелье. Если же подобного гения не нашлось бы среди дворянства, необходимо было разыскать его где угодно, хотя бы умирающим на холодном чердаке, и принять в свою среду, по примеру английских лордов, которые постоянно включают в состав палаты нужных людей, возведенных ради пользы дела в аристократы; затем надо было приказать этому человеку беспощадно отсекать гнилые ветви, чтобы возродить аристократическое древо. Но, во-первых, система английского торизма была слишком грандиозна для тощих мозгов; во-вторых, ее усвоение требовало бы слишком длительного времени, а для французов медленный успех равносилен неудаче. К тому же эти великие людишки, неспособные исправлять свои политические ошибки и набирать силы, где бог пошлет, ненавидели всякую силу, если она исходила не от них. В конце концов, вместо того чтобы обновиться, Сен-Жерменское предместье только одряхлело. Этикет, как явление второстепенное, стоило бы сохранить разве только для особо торжественных случаев; но придворный этикет обратился в главную цель и, хотя имел отношение лишь к красоте и великолепию, возведен был в основу власти. Если трону недоставало вначале советов крупной личности—подстать крупным событиям того времени, то аристократии недоставало понимания общности своих интересов, что было существеннее всего. Брак Талейрана отпугнул дворянство от этого выдающегося человека, железный ум которого заново переплавлял политические системы, способствующие славному возрождению нации. Сен-Жерменское предместье издевалось над министрами недворянами, однако не могло выдвинуть ни одного дворянина, достойного стать министром. Имея возможность оказывать стране важные услуги, облагораживать состав мировых судов, повышать урожайность земель, сооружать дороги и каналы, становиться деятельной силой по всей стране, дворянство вместо того продавало свои поместья, чтобы играть на бирже. Знать имела возможность лишить буржуазию ее даровитых деятелей, подрывавших из честолюбия власть правительства,— для этого надо было открыть им доступ в свои ряды; однако она предпочитала сражаться с ними, и притом не имея оружия, ибо то, чем прежде она владела в действитель-

ности, теперь существовало только в преданиях. На свою беду, дворянство все же оставалось еще настолько состоятельным, чтобы питать и поддерживать свою спесь. Упиваясь воспоминаниями о славном прошлом, ни одно из этих семейств не подумало заставить своих старших сыновей выбрать оружие из того богатого запаса, что брошен был на общественную арену девятнадцатым веком. Устранившись от дел, молодежь танцевала в Бурбонском дворце, между тем как усилиями серьезных талантливых юношей, не замешанных в дела Империи и Республики, могло бы завершиться в Париже то, чему в департаментах положили бы начало их отцы, главы семейств, завоевывая признание своих титулов добросовестной защитой местных интересов, приспособляясь к духу времени и переплавляя свою касту сообразно с требованиями века. Аристократию, теснившуюся на клочке земли в Сен-Жерменском предместье, где еще сохранился и дух старой феодальной оппозиции и старые придворные навыки, тем легче было победить, что она была слабо объединена с Тюильрийским дворцом и в особенности плохо организована в палате пэров. Будь дворянство крепко связано со своей страной, оно осталось бы несокрушимым; но, забившееся в свой квартал, припертое к стене замка, раздувшее свой бюджет, оно томилось в агонии, и достаточно было одного удара топора, чтобы пресечь нить его угасающей жизни; невзрачная фигурка адвокатика выступила вперед и нанесла этот удар. Несмотря на блестящую речь г-на Руайе-Колара, наследственное право пэров и право майората пали от пасквилей человека, который, похваляясь тем, что ловко отвоевал у палача несколько жизней, так неловко и глупо погубил важные установления. Эти примеры поучительны для будущего. Если бы французской олигархии не предстояло возродиться в грядущем, было бы поистине жестоко терзать ее труп, вместо того чтобы готовить ей пышную гробницу. Но пускай скальпель хирурга и причиняет боль, зато он часто возвращает жизнь умирающему. Сен-Жерменское предместье может оказаться могущественнее в дни своего гонения, чем в дни торжества, если только оно захочет избрать себе главу и принять твердую систему.

Теперь нам легко подвести итоги этому полуполити-

ческому обозрению. Отсутствие широкого кругозора и великое множество мелких ошибок; старания каждого вернуть утерянное богатство; при существенной необходимости религии для поддержания политики — жажда наслаждений, которая вредила религии и порождала лицемерие; одинокое противодействие некоторых светлых голов, справедливо возмущенных низкими интригами двора; положение провинциального дворянства, нередко более родовитого, чем придворная знать, но озлобленного обидами и несправедливостью,— все эти причины привели к раздорам и к упадку нравов Сен-Жерменского предместья. Дворянство не было ни твердым в принципах, ни последовательным в действиях, ни истинно нравственным, ни откровенно порочным, ни развращенным, ни развращающим; оно не отступилось окончательно от замыслов, которые ему вредили, и не усвоило идей, которые могли бы его спасти. Наконец, хотя представители дворянства были жалки и слабы, тем не менее, партия в целом была вооружена высокими принципами, руководящими жизнью нации. Впрочем, много ли нужно, чтобы погибнуть в расцвете сил? Дворянство было весьма разборчиво в выборе приверженцев, оно обладало хорошим вкусом, изящным высокомерием; но в его крушении, право, не было ни блеска, ни рыцарского благородства. Эмиграцию 1789 года еще можно объяснить возвышенными чувствами, но «эмиграция» 1830 года, эта, так сказать, внутренняя эмиграция, объяснялась, по существу, только личными интересами. Несколько даровитых писателей, несколько блистательных ораторских выступлений, г-н де Талейран на конгрессах, покорение Алжира, многие имена, вновь покрывшие себя славой на полях сражений,—вот примеры, указующие французским аристократам единственный способ вернуть свое национальное значение и, если соизволят того пожелать, добиться признания своих громких титулов.

В живом организме все находится в гармонии. Если человек ленив, то каждым своим движением выдает леность. Совершенно так же в облике целого класса людей отражается общая идея, дух, оживляющий тело. Во времена Реставрации женщина Сен-Жерменского предместья, далеко уступая дамам старого королевского двора, не умела проявить ни гордой смелости в любовных

похождениях, ни скромного величия поздней добродетели, которой те дамы искупали свои прегрешения и создавали себе столь громкую славу. Женщина времен Реставрации была не очень легкомысленна и не слишком строга. Страсти ее, за редкими исключениями, были лицемерны, она, если можно так выразиться, вступала в сделку со своими наслаждениями. Некоторые из дам вели скромную семейную жизнь, подобно герцогине Орлеанской, чье брачное ложе так глупо выставлено было напоказ в Пале-Руаяле; другие, не больше двух или трех, возродили нравы Регентства, вызвав отвращение среди прочих, более осторожных и скрытных, чем они. У такой знатной дамы нового типа не было никакого влияния в обществе; между тем она могла бы многого достичь, могла бы, например, за неимением лучшего, взять за достойный образец английскую аристократку; но она растерялась, глупо запуталась среди старых традиций, стала набожной по принуждению и затаила в себе все, даже лучшие свои качества. Ни одной из этих француженок не удалось создать салон, куда бы стекались выдающиеся общественные деятели, чтобы учиться изяществу и тонкому вкусу. В литературе, этом живом олицетворении общества, голос женщины, некогда столь внушительный, потерял всякое значение. А ведь когда в литературе нет объединяющего принципа, она бессильна и отмирает вместе с веком. Если когда-нибудь в недрах нации образуется подобный обособленный мирок, историк почти всегда находит в нем наиболее характерную фигуру, воплощающую в себе все достоинства и недостатки той группы, к которой она принадлежит. Таков был Колиньи у гугенотов, коадъютор во время Фронды, маршал Ришелье при Людовике XV, Дантон во время Террора. Это сходство между вожаком и его приверженцами заложено в природе вещей. Чтобы вести за собой партию, не надо ли полностью разделять ее идеи? Чтобы прославиться в какую-нибудь эпоху, не должно ли ее олицетворять? Мудрый и дальновидный предводитель постоянно зависит от толпы, которую он ведет за собой, и часто принужден подчиняться ее предрассудкам и диким причудам. Это ставят ему в вину позднейшие историки, когда они, вдалеке от грозных народных восстаний,

холодно обсуждают его поступки, не понимая, какие бурные страсти необходимы, чтобы руководить великой вековой борьбой. То, что верно для исторической комедии многих столетий, одинаково справедливо и для более узкой сферы — отдельных сцен народной драмы, именуемой Нравами.

В первые годы недолговечной беззаботной жизни дворянства при Реставрации, жизни, которой, если наши рассуждения правильны, оно не умело придать значительность, в Сен-Жерменском предместье жила молодая женщина, представлявшая собою в то время самый яркий образец своей касты, ее силы и слабости, ее величия и ничтожества. Она казалась блестяще образованной, но, по существу, была невежественна; была полна возвышенных чувств, но не способна их осмыслить; она расточала богатейшие сокровища души, лишь бы соблюсти светские приличия; готова была бросить вызов обществу, но колебалась, трусила и лицемерила; в ней было больше упрямства, чем силы характера, больше восторженности, чем воодушевления, больше рассудочности, чем сердца; притом она была в высшей степени женщина и в высшей степени кокетка,— словом, парижанка до мозга костей; любила роскошь и празднества; не рассуждала или рассуждала слишком поздно; была почти поэтична в своем безрассудстве; дерзка на удивление, но в глубине души скромна; казалась стойкой и прямой, как тростник, но, как тростник, способна была согнуться под сильной рукою; много говорила о религии, но не любила ее и, однако, готова была искать в ней спасения. Как объяснить противоречия этой сложной натуры, способной на подвиг великодушия, но забывающей о великодушии ради язвительной шутки; юной и нежной, но с черствым сердцем — черствым не по природе, а зачерствелым под влиянием идей, внушенных окружающими; зараженной эгоистической философией своей среды, не применяя ее на деле; наделенной низкими пороками придворных и высоким благородством молоденькой девушки; недоверчивой и подозрительной, но готовой иногда всему поверить? Возможно ли завершить этот женский портрет, где самые пленительные краски резко контрастируют, тона смешаны в живописном беспорядке и только цветущая юность, словно божественный луч, объединяет эти смут-

ные черты общим колоритом? Ее грация создавала гармонию целого. В ней не было ничего искусственного. Все ее страсти, пристрастия, великие притязания и мелочные расчеты, холодные чувства и пламенные порывы были естественны и обусловлены как ее собственным положением, так и положением аристократии, к которой она принадлежала. Она считала себя единственной и надменно взирала на всех с высоты своего величия, гордясь своим громким именем. В герцогине было высокомерие Медеи, как и во всей аристократии, которая, умирая, не соглашалась ни подняться с постели, ни обратиться за помощью к какому-нибудь целителю политических недугов, не желала шевелиться, не позволяла к себе притронуться, так как чувствовала, что слишком слаба и уже обращается в прах. Герцогиня де Ланже— так звали эту женщину — была уже четыре года замужем, когда завершилась Реставрация, то есть когда в 1816 году Людовик XVIII, наученный горьким опытом Ста дней, понял наконец свое положение и условия времени, несмотря на противодействие приближенных. Впоследствии, когда болезнь сломила короля, они восторжествовали над этим «Людовиком XI, только без секиры». Герцогиня де Ланже, урожденная де Наваррен, происходила из рода герцогов де Наварренов, которые еще со времен Людовика XIV держались правила не поступаться своим титулом при заключении брачных союзов. Дочерям этой семьи предстояло в свое время, по примеру матерей, получить «табурет» при дворе. Антуанетта де Наваррен жила в глубоком уединении до восемнадцати лет, когда ее выдали замуж за старшего сына герцога де Ланже. В то время оба семейства удалились от света, но вторжение войск коалиции во Францию пробудило в роялистах надежду на возвращение Бурбонов как на единственную возможную развязку кровопролитной войны. Герцоги де Наваррены и де Ланже, сохраняя верность Бурбонам, благородно отвергали все соблазны императорского двора; одинаковое положение и общность интересов обоих семейств к моменту заключения брака естественно заставили их последовать древней фамильной традиции. Итак, мадемуазель Антуанетта де Наваррен, бедная и прекрасная, обвенчалась с маркизом де Ланже, отец которого умер несколько меся-

цев спустя после свадьбы. После реставрации Бурбонов обе семьи вернули себе прежнее положение, права и должности при дворе и снова приняли участие в общественной жизни, от которой доселе держались в стороне. Они стали наиболее выдающимися фигурами в этом новом политическом мирке. Общественное мнение, на общем фоне измен и предательств, не могло не оценить в этих двух фамилиях их безупречной верности и полного соответствия между политическим лицом и частной жизнью — достоинств, которые у всех партий вызывают невольное уважение. Но по несчастной случайности, довольно обычной в эти годы соглашений и сделок, наиболее достойные люди, с возвышенными идеями, с мудрыми принципами, способные оправдать надежду на дальновидность и смелость нового курса политики во Франции, были отстранены от дел и принуждены уступить дорогу карьеристам, которые доводили принципы до крайности и шли на все, лишь бы доказать свою преданность. Семьи де Ланже и де Наварренов несли обязанности в высших придворных кругах, подчиняясь тирании этикета и подвергаясь упрекам и насмешкам либералов, вызывая обвинения, будто утопают в богатстве и почестях, тогда как на самом деле их наследственные владения нисколько не увеличились, а суммы цивильного листа целиком поглощались издержками на представительство, необходимое всякому европейскому двору, даже республиканскому. В 1818 году герцог де Ланже командовал где-то дивизией, а герцогиня состояла при одной из принцесс крови, и, так как обязанности удерживали ее в Париже, она жила отдельно от мужа, не возбуждая толков. Впрочем, у герцога, помимо военной службы, была еще должность при дворе, и он приезжал время от времени, передавая командование бригадному генералу. Герцог и герцогиня фактически разошлись, хотя в свете это не было известно. Их супружество, заключенное по соглашению между семьями, постигла участь, довольно обычная при подобных фамильных договорах. Два самых противоположных характера, какие только можно себе представить, столкнулись и, втайне оскорбленные, разошлись навсегда. Затем каждый из них, соблюдая внешние приличия, стал жить по-своему, сообразно своему вкусу. Герцог, столь же методичный по натуре, как в свое вре-

мя шевалье де Фолар, методически следовал своим прихотям и развлекался, предоставив жене полную свободу, так как знал ее необычайную гордость, холодное сердце, слепое подчинение светским обычаям, юную прямоту и уверен был в безупречности ее поведения при чопорном и благочестивом дворе, под наблюдением престарелой родни. По примеру знатных вельмож прошлого века он с пренебрежением покинул на произвол судьбы двадцатидвухлетнюю супругу, которая, отличаясь ужасным свойством никогда не прощать обиды, была втайне глубоко задета и уязвлена в своем женском тщеславии, самолюбии и, может быть, в своем достоинстве. Если оскорбление нанесено публично, женщина охотно забывает его, ей любо подавить вас великодушием, выказать женскую кротость и милосердие; но скрытой обиды женщина не простит никогда, ибо не выносит тайны ни в подлости, ни в добродетели, ни в любви.

Таково было положение, в котором неведомо для света находилась герцогиня де Ланже, нимало этим не тревожась, когда начались пышные празднества в честь бракосочетания герцога Беррийского. К этому времени аристократы двора и Сен-Жерменского предместья вышли из состояния апатии и забыли об осторожности. С той поры и наступил период неслыханной и безрассудной роскоши, столь повредившей правительству Реставрации. В эти дни герцогиня де Ланже, то ли из тщеславия, то ли из расчета, никогда не появлялась в свете иначе как в сопровождении трех или четырех подруг, известных своим знатным именем и богатством. Эти дамы, состоя в свите царицы мод, перенимали и всюду вводили в обращение ее манеры и остроты. Своих приятельниц герцогиня искусно выбирала среди тех, кто не был еще близок ко двору и не был принят в тесный круг Сен-Жерменского предместья, претендуя, однако, туда попасть; то были как бы низшие ангельские чины, которые стремились вознестись ближе к престолу и приобщиться к сонму серафимов высшей сферы, именуемой «малый двор». В их обществе г-жа де Ланже чувствовала себя сильнее, она господствовала, она была в безопасности. Ее придворные дамы защищали ее от клеветы и помогали играть отвратительную роль царицы мод. Она могла сколько угодно насмехаться над людь-

ми, над страстями, обольщать, принимать поклонение, столь любезное женской натуре, и при этом никогда не терять самообладания. В Париже, в высшем свете, женщина всегда остается женщиной; она упивается лестью, почестями, фимиамом. Идеальная красота, самая восхитительная наружность ничего не стоят, если ими никто не восхищается; только наличие поклонников, только лесть и восхваления доказывают ее могущество. Какую цену имеет власть, если о ней не знают? Никакой. Вообразите прелестную женщину, одиноко сидящую в уголке гостиной,— она печальна. Избалованная роскошью и высоким положением, красавица предпочитает царить над всеми сердцами часто потому, что не может быть счастливой владычицей одного-единственного. В те дни женские наряды, обаяние, кокетство предназначены были для самых жалких ничтожеств на свете, для пустоголовых фатов с красивой фигурой, женщины бесцельно компрометировали себя ради этих тупых позолоченных истуканов, которые, за редким исключением, не обладали ни заслугами щеголей времен Фронды, ни внушительным достоинством героев Империи, ни остроумием и хорошими манерами своих дедов, но пытались сравняться с теми и другими; возможно, что они оказались бы храбрыми, как вся французская молодежь, ловкими, если бы испытать их на деле, но они ничего не могли достигнуть, находясь под властью отживающих свой век стариков, которые водили их на помочах. То была холодная, жалкая, лишенная поэзии эпоха. Поистине, требуется много времени, чтобы из реставрации возникла монархия.

Уже года полтора герцогиня вела пустую светскую жизнь, заполненную исключительно балами, визитами перед балом, бесцельными успехами, мимолетными страстями, которые зарождались и умирали в тот же вечер. Стоило ей появиться в гостиной, как все взгляды обращались на нее; она выслушивала комплименты, страстные признания, поощряя их взглядом или жестом, но не принимая их близко к сердцу. Ее тон, манеры, все в ней почиталось за высший образец. Она жила в лихорадке тщеславия, в дурмане непрерывных развлечений. В разговоре она на многое отваживалась, выслушивала все и подчинялась развращающему влиянию света — прав-

да, лишь на словах. Часто, вернувшись домой, она вспоминала с краской стыда, как смеялась над подробностями какой-нибудь нескромной истории, развивая теории любви — совершенно ей неведомой — или обсуждая тонкие различия современных страстей, которые предупредительно разъясняли ей лицемерные собеседницы: ведь женщину гораздо чаще развращают интимные разговоры с подругами, чем мужчины. Наконец она поняла, что ни красотой, ни умом женщина не добьется всеобщего признания, если у нее нет обожателей. О чем свидетельствует наличие мужа? Только о том, что жена его в девицах имела богатое приданое или хорошее воспитание, ловкую маменьку или завидное положение, тогда как любовник служит надежным доказательством ее личных достоинств. С юных лет г-жа де Ланже удостоверилась, что женщина может открыто принимать любовь, не разделяя ее, не делая признаний, отвечая на нее лишь скудными подачками,— великосветские лицемерки наперебой обучали ее искусству играть эту опасную комедию. За герцогиней ухаживало множество поклонников и обожателей, самое число их служило гарантией ее добродетели. До самого конца бала, праздника или званого вечера она была кокетлива, любезна, обворожительна; потом занавес падал, и она возвращалась домой, одинокая, холодная, спокойная, чтобы на следующий день предаваться вновь таким же поверхностным ощущениям. Двое или трое молодых людей любили ее истинной любовью, и она измучила их вконец, издеваясь над ними с бездушной жестокостью. Она говорила себе: «Я любима, он меня любит!» Ей достаточно было этой уверенности. Подобно скупцу, удовлетворяясь сознанием, что она может осуществить все свои желания, она даже перестала чего-либо желать.

Однажды герцогиня приехала на званый вечер к виконтессе де Фонтэн, одной из своих близких приятельниц и тайных завистниц, которая всем сердцем ее ненавидела, но всюду сопровождала; это был род военного союза, где каждый настороже, где даже тайны поверяют друг другу либо с опаской, либо с каким-нибудь коварным умыслом. Расточая направо и налево поклоны, то покровительственные, то дружеские, то надменные, как женщина, знающая цену своим улыбкам, г-жа де Ланже

заметила совершенно ей незнакомого человека, серьезное и открытое лицо которого ее поразило. Взглянув на него, она почувствовала какой-то безотчетный страх.

— Скажите, дорогая,— спросила она у г-жи де Мофриньез,— кто этот незнакомец?

— Вы, вероятно, уже слышали о нем, это маркиз де Монриво.

— Ах, так это он!

Наведя лорнет, она принялась бесцеремонно рассматривать его, словно это был не живой человек, а какой-нибудь портрет.

— Представьте его мне, он, должно быть, занятен.

— Скучен и угрюм донельзя, душенька, но он в большой моде.

Арман де Монриво, сам того не ведая, возбуждал в то время всеобщее любопытство, заслуживая его, впрочем, в гораздо большей степени, чем те недолговечные кумиры, которыми Париж увлекается на несколько дней, чтобы удовлетворить свою неутолимую страсть к вечно сменяющимся притворным восторгам и вспышкам энтузиазма. Арман де Монриво был единственным сыном генерала де Монриво, одного из «бывших», который честно служил Республике и погиб при Нови рядом с Жубером. Заботами Наполеона сироту поместили в Шалонскую школу и, подобно другим детям генералов, павших на поле боя, поручили покровительству Республики. Окончив школу и не имея никаких средств, он пошел в артиллерию и ко времени катастрофы в Фонтенебло дослужился до батальонного командира. Род оружия, к которому принадлежал Арман де Монриво, давал ему мало возможностей выдвинуться. Прежде всего число офицеров там было более ограничено, чем в других войсках; затем, либеральные, почти республиканские настроения среди артиллеристов, опасения, которые внушало императору объединение людей образованных и привыкших размышлять,— все это мешало большинству из них сделать военную карьеру. Поэтому, вопреки обычным порядкам, офицеры часто получали генеральский чин вовсе не потому, что были самыми выдающимися в армии, а потому, что их ограниченность делала их безопасными. Артиллерия занимала в армии обособленное положение и

подчинялась непосредственно Наполеону только на поле битвы. К этим общим причинам, объясняющим запоздалую карьеру Армана де Монриво, присоединялись еще другие, связанные с его личностью и характером. Одинокий на свете, с двадцати лет захваченный людским водоворотом, который бушевал вокруг Наполеона, он не имел никаких привязанностей и каждую минуту готов был рисковать жизнью, черпая силы в чувстве собственного достоинства и в сознании исполненного долга. Обычно он был молчалив, как все застенчивые люди, но застенчивость его проистекала не от недостатка мужества, а скорее от скромности, не допускавшей тщеславия и похвальбы. В его бесстрашии на поле сражения не было ничего показного; он все видел, хладнокровно давал советы товарищам и шел под выстрелы, вовремя нагибаясь, чтобы избежать ядра. Он был добр, но держался так замкнуто, что слыл суровым и высокомерным. Требуя математической четкости во всем, он не допускал лицемерного послабления ни в обязанностях службы, ни в истолковании какого-либо события. Он не участвовал ни в одном сомнительном деле и никогда ничего не просил для себя; словом, это был один из тех безвестных героев, которые философически презирают славу и не дорожат жизнью, так как им негде развернуть во всей полноте свои силы, чувства и способности. Его побаивались, уважали — и недолюбливали. Люди охотно позволяют возвышаться над ними, но никогда не прощают тем, кто не опускается порою до их уровня. Поэтому к чувству восхищения, которое вызывают в них сильные натуры, всегда примешана доля ненависти и страха. В безупречном благородстве люди всегда видят молчаливое порицание себе и никогда не простят этого ни живым, ни мертвым.

После прощания Наполеона с армией в Фонтенебло Монриво, несмотря на его знатность и титул, перевели на половинное жалованье. Его неподкупная честность, достойная античных времен, напугала военное министерство, где были осведомлены о его преданности императорскому знамени. Во время Ста дней он был произведен в полковники и участвовал в сражении при Ватерлоо. Задержавшись в Бельгии из-за ранений, он не был

зачислен в Луарскую армию; но королевское правительство отказалось признать повышения в чинах, произведенные в период Ста дней, и Арман де Монриво покинул Францию. Предприимчивый дух и богатые дарования, до сих пор находившие себе применение в случайностях войны, а также врожденная страсть к широким замыслам, к полезной деятельности побудили генерала Монриво отправиться в путешествие с целью исследовать Верхний Египет и малоизвестные области Африки, в особенности Центральной, которые возбуждают в наши дни такой интерес среди ученых. Его научная экспедиция была долгой и несчастливой. Он собрал множество ценных сведений, касающихся географических и промышленных проблем, над которыми так бьются ученые, и проник, преодолев немало препятствий, в самое сердце Африки, как вдруг стал жертвой предательства и был захвачен одним из диких племен. Его ограбили, обратили в рабство и целых два года гоняли за собой по пустыням, угрожая смертью в любую минуту и мучая его безжалостней, чем жестокие дети мучают животных. Только могучая натура и твердость духа помогли ему перенести все ужасы рабства; но, устроив побег, невероятный по дерзости, он истощил последние свои силы. Он добрался до французской колонии в Сенегалии полумертвый, весь в лохмотьях, лишь смутно помня о своих скитаниях. Неимоверные лишения и страдания путешественника пропали даром, все его открытия и изыскания, записи африканских диалектов — все погибло. Один-единственный пример может дать представление о его муках. Дети шейха того племени, куда он попал в рабство, несколько дней подряд забавлялись тем, что, играя в бабки, ставили лошадиные кости у него на голове и сшибали их издалека.

К середине 1818 года Монриво возвратился в Париж совершенно разоренный, не имея покровителей и не желая ни к кому обращаться за помощью. Он скорее умер бы, чем стал хлопотать о чем-нибудь, даже о признании своих бесспорных прав. Закаленный испытаниями и бедствиями, он стойко переносил мелкие невзгоды, а привычка неуклонно соблюдать достоинство и честь перед лицом своей совести заставляла его строго оценивать самые незначительные с виду поступки. Однако благодаря некоторым видным ученым Парижа и нескольким образован-

ным военным, с которыми он общался, его заслуги и приключения получили известность. Подробности его путешествия, пленения и побега свидетельствовали о таком необыкновенном уме, хладнокровии и мужестве, что доставили ему, без его ведома, ту кратковременную славу, которую в салонах Парижа так легко обрести, но удержать можно лишь ценою неимоверных усилий. К концу года его положение внезапно изменилось. Из бедного он стал богатым или, во всяком случае, мог пользоваться всеми внешними преимуществами богатства. В ту пору королевское правительство, заинтересованное в усилении армии, старалось привлечь достойных людей и шло навстречу тем из прежних офицеров, безупречная репутация которых являлась залогом их верности в будущем. Г-н де Монриво был восстановлен в чинах и званиях, получил жалованье за все просроченное время и зачислен в королевскую гвардию. Все эти милости сыпались одна за другой на маркиза де Монриво и не стоили ему ни малейших усилий. Друзья избавили его от необходимости хлопотать самому, на что он никогда бы и не согласился. Затем, постепенно изменив своим привычкам, он начал выезжать в свет, где его приняли благосклонно, повсюду выказывая ему глубокое уважение. Казалось, в его жизни наступила благополучная развязка, но все его чувства были глубоко затаены и никак не проявлялись. В обществе он держался серьезно и замкнуто, был холоден и молчалив. Он пользовался большим успехом — именно потому, что был таким необычным, особенным, резко выделяясь из общей массы благопристойных физиономий, наводнявших парижские гостиные. Речь его отличалась краткостью и сжатостью, свойственной одиноким людям или дикарям. Его застенчивость была принята за гордое достоинство и всем нравилась. В нем было что-то значительное и необычайное, и женщины почти поголовно влюблялись в этого странного человека, тем более что он не поддавался ни их искусной лести, ни тем ухищрениям, какими они умеют опутывать самые сильные характеры и соблазнять самые непреклонные умы. Г-н де Монриво ничего не понимал в этих светских ужимках, и душа его умела отзываться только на звучную вибрацию возвышенных чувств. Все дамы скоро бы отвернулись от него, не будь

в его жизни драматических происшествий, не будь приятелей, которые воспевали ему хвалу без его ведома, раздувая у всех честолюбивые надежды завладеть такой знаменитостью.

Понятно, что герцогиню де Ланже при взгляде на Монриво охватило искреннее и жгучее любопытство. По странной случайности она заинтересовалась маркизом еще накануне, так как ей рассказали об одном из тех приключений г-на Монриво, какие особенно сильно действовали на впечатлительные женские сердца. Во время экспедиции к истокам Нила Монриво пришлось вступить со своим проводником в самую необыкновенную борьбу, когда-либо отмеченную в летописи путешествий. Он должен был пересечь пустыню и мог только пешком добраться до места, где намеревался произвести изыскания. Только один проводник брался довести его туда. До той поры никому из путешественников не удавалось проникнуть в этот край, но бесстрашный офицер надеялся найти там разгадку некоторых научных проблем. Несмотря на предостережения проводника и стариков туземцев, он решился на этот опасный переход. Молва о необычайных трудностях, которые придется преодолевать, еще более подстрекнула его, и, собрав все свое мужество, он рано утром пустился в путь. Они шли целый день. не останавливаясь, а вечером он прилег на землю, ощущая невыносимую усталость от ходьбы по зыбучему песку, который при каждом шаге словно ускользал из-под ног. Он знал, что с восходом солнца ему придется тронуться дальше, но проводник заверил его, что к полудню они достигнут цели своего путешествия. Это обещание придало ему бодрости, помогло собраться с силами, и, несмотря на тяжкие страдания, он продолжал идти вперед, проклиная в душе все науки мира; однако, стыдясь проводника, он не проронил ни единой жалобы. Прошло уже около трети дня, и, чувствуя, что силы его оставляют и ноги стерты до крови, он спросил, скоро ли они придут.

— Через час,— отвечал проводник.

Арман собрал все силы духа, чтобы выдержать еще час. Прошел час, но даже на самом горизонте, необозримом горизонте этого песчаного моря, не было видно ни пальм, ни горных вершин, возвещающих о конце их пути. Он остановился, отказываясь идти дальше, упрекая про-

водника в обмане, гневно проклиная его как своего убийцу; от ярости и бессилия слезы катились по его воспаленному лицу. Он весь согнулся от нестерпимой боли, возрастающей с каждым шагом, горло его ссохлось от жажды, неутолимой жажды безводной пустыни. Проводник неподвижно стоял, презрительно пропуская мимо ушей эти жалобы, и с невозмутимым бесстрастием восточных народов разглядывал вдали едва заметные холмы и неровности песков, темнеющих, словно червонное золото.

— Я ошибся,— сказал он холодно.— Уже много лет я не ходил этим путем и забыл его приметы; мы идем правильно, но нам осталось еще два часа.

«Этот человек прав»,— подумал Монриво.

И он двинулся дальше, с трудом поспевая за неумолимым африканцем, с которым, казалось, он был связан незримой нитью, точно осужденный с палачом. Однако и два часа истекают, француз теряет последние силы, а горизонт все еще пуст, и нигде нет ни гор, ни пальмовых деревьев. Тогда, без жалобы, без крика, он ложится на песок, чтобы умереть. Но его взоры устрашили бы самого отважного человека; они ясно говорили, что если он умрет, то умрет не один. Проводник, словно могущественный демон пустыни, спокойно смотрел на свою отчаявшуюся жертву, предоставив ей лежать на земле, но старался, однако, на всякий случай держаться на безопасном расстоянии. Когда Монриво, собрав последние силы, стал изрыгать проклятия, проводник приблизился, велел ему замолчать, взглянул на него испытующе и сказал:

— Не сам ли ты, пренебрегая нашими советами, пожелал идти туда, куда я тебя веду? Ты обвиняешь меня в обмане, но если бы я не обманул тебя, ты не дошел бы и до этого места. Хочешь знать правду? Так слушай. Нам предстоит еще пять часов пути, а назад мы уже вернуться не можем. Испытай свое сердце: если у тебя не хватит мужества, вот мой кинжал.

Потрясенный таким глубоким пониманием страданий и сил душевных, Монриво не захотел оказаться слабее варвара; почерпнув в своей гордости европейца новую крупицу энергии, он поднялся на ноги и последовал за проводником. Пять часов истекло, а перед ним все еще

расстилались пески; Монриво обратил к проводнику угасающий взгляд. Тогда нубиец взвалил его на плечи, поднял повыше, и он увидел в ста шагах от себя озеро, окруженное зеленью и чудесной рощей, сверкающее в лучах заходящего солнца. Они подошли почти вплотную к длинной гранитной гряде, за которой скрывался этот чарующий пейзаж. Арман почувствовал, что возвращается к жизни, и его проводник, могучий и мудрый гигант, довершая свой подвиг самоотвержения, понес его на плечах горячей гладкой тропинкой, еле заметно вьющейся по граниту. С одной стороны перед ними расстилалось адское пекло песков, с другой — земной рай самого прекрасного в пустыне оазиса.

Герцогиню сразу поразила поэтическая внешность незнакомца, но она еще более заинтересовалась, узнав, что перед ней тот самый маркиз де Монриво, о котором она грезила прошлой ночью. Он был спутником ее сновидений, они бродили вдвоем по знойным пескам пустыни,— для женщины ее склада такая встреча, казалось, обещала приятное развлечение. Внешность Армана была на редкость характерной и недаром привлекала к себе любопытные взоры. Его крупная, широкая голова особенно поражала густой и черной гривой волос, падавших ему на лицо, совершенно как у генерала Клебера, которого он напоминал также своим могучим лбом, смелым, спокойным взглядом и пылким выражением резко очерченного лица. Он был невысокого роста, широкоплечий, мускулистый, как лев; когда он ходил, в его поступи, осанке, в каждом жесте угадывалась властная, покоряющая сила и деспотический нрав. Казалось, он твердо знал, что ничто не сломит его воли,— может быть, потому, что она была устремлена только на справедливые дела. Притом, как и все выдающиеся люди, он был прост в обращении, приятен в разговоре и добродушен. Однако все эти прекрасные качества, вероятно, исчезали в серьезных обстоятельствах, когда такой человек становится непреклонен в чувствах, тверд в решениях и жесток в поступках. Внимательный наблюдатель отметил бы в уголках его губ привычную складку, обличавшую склонность к иронии.

Пока г-жа де Мофриньез ходила за г-ном де Монриво, чтобы представить его, герцогиня де Ланже, зная, как высоко ценилась в те дни победа над этим знаменитым человеком, твердо решила обратить его в одного из своих поклонников, дать ему преимущество над остальными, привязать к своей особе и пустить в ход все могущество своего кокетства. То была случайная причуда, каприз знатной дамы, изображенной не то Лопе де Вега, не то Кальдероном в пьесе «Собака на сене». Она хотела, чтобы он не принадлежал ни одной женщине, кроме нее, но сама и в мыслях не имела ему отдаться. Природа даровала герцогине де Ланже все необходимые качества для роли кокетки, а ее воспитание довело их до совершенства. Недаром женщины завидовали ей, а мужчины влюблялись в нее. Она была щедро наделена всем, что может внушить любовь, упрочить и сохранить ее навсегда. В ее красоте, манерах, говоре, походке, во всем было какое-то особое врожденное кокетство, иначе говоря — сознание своей власти, присущее женщинам. Она была прекрасно сложена и немного слишком подчеркивала негу и томность своих движений — единственное жеманство, в котором можно было ее упрекнуть. Во всем была удивительная гармония, от едва заметного жеста до особых, свойственных ей оборотов речи, до манеры метнуть украдкой лукавый взгляд. Главной отличительной чертой ее облика было изысканное благородство, отнюдь не нарушаемое ее чисто французской живостью. В ее непрерывно меняющихся позах было что-то неотразимо привлекательное для мужчин. Казалось, что, освободившись от корсета и пышного бального наряда, она должна была стать самой очаровательной из любовниц. И действительно, в ее смелых, выразительных взорах, в ласкающем голосе, в обаятельной беседе таились, как в зародыше, все любовные наслаждения. В герцогине угадывалась обольстительная куртизанка, даже ее набожность не могла нарушить этого впечатления. Тот, кто проводил с ней вечер, видел ее попеременно то веселой, то печальной, причем и печаль ее и веселость казались искренними. Она умела стать приветливой или высокомерной, дерзкой или доверчивой, как ей заблагорассудится. Она казалась доброй — и не только казалась: в ее положении у нее не было причин унизиться до

злости. Порою она представлялась вам простодушной, порою коварной, то была трогательно нежна, то могла довести до отчаяния холодностью и жестокостью. Впрочем, чтобы изобразить ее как следует, пришлось бы слить воедино все противоречия женской натуры; короче говоря, она была тем, чем хотела быть или казаться. В ее несколько удлиненном лице было что-то тонкое, изящное, хрупкое, напоминающее средневековых мадонн. Цвет лица был бледный с розовым оттенком. Ее красота, если можно так выразиться, грешила чрезмерной утонченностью.

Господин де Монриво охотно согласился быть представленным герцогине де Ланже, которая, как особа с изысканным вкусом, избегая банальностей, не докучая ни вопросами, ни комплиментами, выказала ему приязнь и уважение; это должно было польстить выдающемуся человеку, и она повела на него атаку с тем тактом, который помогает женщинам угадывать все, что относится к чувствам. Если она и обнаруживала любопытство, то только взглядами; если и показывала, что восхищается им, то только ласковым обращением; она пустила в ход и кошачью вкрадчивость речи и тонкие уловки кокетства, которыми умела пользоваться бесподобно. Однако вся их беседа являлась, так сказать, только страницей письма, за которой следовал постскриптум,— в нем и заключался весь смысл. Когда после получаса бессодержательной болтовни, где только тон голоса и улыбка придавали значение словам, Монриво собирался скромно удалиться, герцогиня удержала его выразительным жестом.

— Сударь,— сказала она,— не знаю, доставили ли вам хоть какое-нибудь удовольствие те немногие минуты, что я имела счастье с вами беседовать, и могу ли я пригласить вас к себе; боюсь, не слишком ли эгоистично мое желание видеть вас своим гостем. Если, к моей величайшей радости, вам не покажется у меня скучно, вы всегда можете застать меня дома по вечерам до десяти часов.

Эти любезные фразы были произнесены таким чарующим голосом, что Монриво не мог отказаться от приглашения. Когда он присоединился к группе мужчин, державшихся на некотором расстоянии от дам, многие из

его приятелей полусерьезно-полушутя поздравили его с необычайным приемом, который оказала ему герцогиня де Ланже. Эта трудная, эта блестящая победа одержана была впервые, и вся слава досталась артиллерии королевской гвардии. Легко себе представить, сколько острот, и безобидных и ядовитых, посыпалось в ответ на эту шутку, пущенную в ход в парижском салоне, где так любят позубоскалить, где забавы так быстро сменяются, что каждый спешит сорвать с них весь цвет.

Против его воли весь этот вздор льстил тщеславию генерала. Множество неясных мыслей влекло его к герцогине, и, стоя в отдалении, он следил за ней взглядом; он не мог не признаться самому себе, что из всех женщин, пленявших его своей красотой, ни одна не являла той гармонии достоинств и недостатков, того обаяния, каким только может наделить любовницу самое пылкое воображение француза. Кто из мужчин любого общественного положения не испытал бы безграничной радости, встретив в женщине, которую он, хотя бы в мечтах, называл своею, тройное совершенство—физическое, нравственное и социальное,— увидев в ней осуществление самых заветных своих надежд? Если такое блестящее сочетание и не вызывает любви, то во всяком случае сильнейшим образом воздействует на чувства. Не будь тщеславия, как сказал замечательный мыслитель прошлого века, от любви легко было бы излечиться. И для мужчины и для женщины в превосходстве любимого существа над окружающими бесспорно таятся неоцененные сокровища. Какую радость приносит уверенность, что из-за любимой женщины никогда не будет страдать ваше самолюбие, ибо она настолько знатна, что никто не посмеет оскорбить ее презрительным взглядом, настолько богата, что может окружить себя роскошью, не уступающей блеску новоиспеченных финансовых королей, настолько умна, что всегда сумеет отразить остроумную шутку, настолько красива, что может соперничать со всем прекрасным полом! Мужчина постигает это в мгновение ока. Но если женщина вдобавок пленяет его воображение разнообразием обольстительных поз, свежестью девственной души, искусной драпировкой кокетства, опасностями безрассудной любви, обещая внезапной страсти сладостное будущее,— устоит ли перед ней

самое холодное сердце? Вот до какого состояния довела эта женщина г-на де Монриво, и только его прошлое может до известной степени объяснить это странное наваждение. С юных лет он был брошен в ураган наполеоновских войн, проводил жизнь в походах и знал о женщинах не больше, чем знает о чужой стране какой-нибудь путник, находящий недолгий приют на постоялых дворах. Он мог бы сказать о своей жизни то же, что старик Вольтер сказал о своей, только ему пришлось бы раскаиваться не в восьмидесяти глупостях, а всего в тридцати семи. В свои лета он был таким же новичком в любви, как юноша, втихомолку прочитавший «Фоблаза». О женщинах он знал все, но о любви не знал ничего; девственность чувства рождала в нем новые, неведомые желания. Многие мужчины, поглощенные непрерывной работой, на которую обрекает их бедность или честолюбие, искусство или наука, подобно тому, как г-н де Монриво был отвлечен непрерывными войнами и путевыми приключениями, находятся в таком же странном положении, но редко в этом признаются. В Париже мужчина должен быть опытным в любви. Ни одной женщине не понравится тот, кто еще не нравился никому. Из боязни прослыть наивным проистекают ложь и хвастовство, распространенные во Франции, где быть простаком значит не быть французом. Г-на де Монриво обуревали страстные желания, распаленные зноем пустыни, и бурные сердечные волнения, еще не изведанные им. Твердая воля этого человека была под стать его страстной натуре, и он сумел обуздать свои чувства; но, разговаривая о безразличных вещах, он думал о своем и поклялся во что бы то ни стало обладать этой женщиной, ибо только так он понимал любовь. Это пламенное желание он скрепил клятвой по примеру арабов, для которых клятва — договор с судьбой, так что всю свою жизнь они подчиняют цели, освященной клятвой, и даже самую смерть считают лишь одним из средств для достижения успеха. Какой-нибудь юноша сказал бы: «Как бы я хотел быть любовником герцогини де Ланже!» Другой бы воскликнул: «Счастлив тот повеса, кому достанется герцогиня де Ланже!» Но генерал сказал себе: «Госпожа де Ланже будет моей любовницей». Когда у человека с неискушенным сердцем, верящего в любовь, как святыню, зародится подобная

мысль, он и не подозревает, в какой ад он вступил.

Господин де Монриво внезапно вышел из гостиной и возвратился домой, терзаемый первыми приступами своей первой любовной горячки. Если мужчина до зрелого возраста не утратил еще детской веры, непосредственности, иллюзий, пылкости, его первым побуждением будет протянуть руку и завладеть желанным сокровищем; затем, обнаружив, что не в силах преодолеть расстояние и дотянуться до желаемого, он удивлен и огорчен, как ребенок; игрушка приобретает в его глазах еще бо́льшую ценность, он плачет и дрожит от нетерпения. И вот наутро, после бурных волнений, потрясших всю его душу, Арман познал иго чувств, разбушевавшихся под натиском истинной любви. Женщина, с которой мысленно он так вольно обращался накануне, теперь стала для него самой заветной святыней, самой грозной повелительницей. Отныне в ней заключался весь мир и вся его жизнь. Память о самых легких впечатлениях, связанных с нею, заставляла тускнеть величайшие радости, жесточайшие горести, когда-либо им испытанные. Бури революций затрагивают лишь мысли и интересы человека, тогда как страсть потрясает все его чувства. Поэтому для тех, кто живет скорее чувством, чем расчетом, в ком больше крови и сердца, чем лимфы и рассудка, настоящая любовь опрокидывает все устои жизни. Одним росчерком, одной-единственной мыслью Арман де Монриво зачеркнул все свое прошлое. Двадцать раз он спрашивал себя, как ребенок: «Пойти или не пойти?», потом оделся, отправился к восьми часам вечера в особняк де Ланже и был проведен к женщине, вернее, не к женщине, а к кумиру, который явился ему накануне в образе чистой и юной девушки, озаренной сиянием огней, окутанной дымкой газа, кружев и легких тканей. Он вошел стремительно, порываясь сразу открыться ей в любви, точно дело шло о первом пушечном выстреле на поле сражения. Бедный школьник! Он нашел свою воздушную сильфиду в полутьме будуара, томно возлежащую на диване в коричневом кашемировом пеньюаре, искусно окутывающем ее стан. Г-жа де Ланже даже не поднялась с места и только кивнула головкой с распустившимися кудрями, повязанной вуалью. Затем подняла руку, которая в неверном, дрожащем пламени единственной свечи, горев-

шей в дальнем углу, показалась Монриво белой, как рука мраморной статуи, и знаком пригласила его сесть, проговорив голосом, таким же слабым, как свет свечи:

— Будь это не вы, маркиз, а кто-нибудь из давнишних друзей, с кем можно не церемониться, или же кто-нибудь мне безразличный и мало интересный, я бы велела не принимать вас. Мне очень нездоровится.

Арман решил: «Уйду!»

— Однако,—продолжала она, метнув в него пламенный взгляд, который простодушный офицер приписал лихорадке,— не знаю, быть может, на меня повлияло счастливое предчувствие вашего милого посещения, которого вы, к моему удовольствию, не стали откладывать,— но в последнюю минуту моя головная боль начала проходить.

— Значит, мне можно остаться? — спросил Монриво.

— О, я была бы в отчаянье, если бы вы ушли. Нынче утром я уже говорила себе, что, вероятно, не произвела на вас ни малейшего впечатления, что вы, несомненно, сочли мое приглашение одной из пустых, банальных фраз, расточаемых парижанками, и я заранее извиняла вас за ваше невнимание. Человек, который прибыл из далеких пустынь, не обязан знать, до какой степени мы, в нашем предместье, взыскательны к друзьям.

Она ворковала эти любезности вполголоса, растягивая слова, как бы замирая от радости, вызванной его приходом. Герцогиня хотела воспользоваться всеми преимуществами мигрени, и ее уловка имела блестящий успех. Притворные ее страдания заставляли искренне страдать бедного солдата. Подобно Крильону, внимавшему рассказам о страстях господних, он готов был обнажить свой меч против ее головной боли. Ах, можно ли тревожить бедную больную своей любовью! Арман уже понимал, как нелепо объявить напрямик о своей страсти такой возвышенной женщине. В едином порыве он постиг все тонкости чувства, всю требовательность души. Не состоит ли истинная любовь в умении убеждать, молить, терпеливо ждать? Познав любовь, не следует ли ее доказать? Строгий этикет Сен-Жерменского предместья, величие мигрени, робость искренней любви смирили его и сковали ему язык. Но никакая земная сила не могла притушить пламень его глаз, отражающих зной и беско-

нечность пустыни, пристальных и почти немигающих, как у пантеры. Герцогине очень нравился этот упорный взгляд, согревающий ее своим жарким огнем.

— Герцогиня,— сказал он,— мне не хватает слов выразить, как я вам благодарен за вашу доброту. Сейчас я жажду только одного — хоть немного облегчить ваши страдания.

— Разрешите мне избавиться от этой подушки, мне стало слишком жарко,— проговорила она, грациозным движением скидывая подушку со своих ног и открывая их во всей красе.

— Сударыня, ваши ножки ценились бы в Азии не меньше десяти тысяч цехинов.

— Вот комплимент, достойный путешественника! — воскликнула она смеясь.

Этой остроумной особе нравилось вовлечь сурового Монриво в легкую болтовню, полную пустяков, банальностей и бессмыслиц, где он, скажем по-военному, неуклюже маневрировал, точно эрцгерцог Карл в стычках с Наполеоном. Ей доставляло коварное удовольствие проверять глубину этой внезапно вспыхнувшей страсти по числу глупостей, которые совершал бедный новичок, шаг за шагом заманивать его в безвыходный лабиринт, чтобы покинуть его там беспомощным и пристыженным. Для начала она принялась дразнить своего гостя, заставив его, тем не менее, позабыть о времени. Продолжительность первого визита часто объясняется желанием польстить хозяйке дома, но Арман был неповинен в этом. Знаменитый путешественник уже больше часа провел в будуаре, разговаривая о том о сем, но так и не сказав ничего, чувствуя себя игрушкой в руках этой женщины, когда она вдруг потянулась, села, откинула шарф с головы на плечи, облокотилась на подушку, поблагодарила его за полное исцеление и позвонила, чтобы зажгли свечи в будуаре. Неподвижная поза сменилась самыми пленительными движениями. Повернувшись к г-ну Монриво, она сказала в ответ на признание, которое у него вырвалось и как будто произвело на нее сильное впечатление:

— Вы просто смеетесь надо мной, стараясь уверить, будто никогда еще не любили. Вот величайшее заблуждение мужчин по отношению к нам. Что ж, мы верим им! Но только из вежливости. Не знаем ли мы по собствен-

ному опыту, что следует об этом думать? Где найдется мужчина, которому ни разу в жизни не приходилось влюбиться? Но вам нравится обманывать нас, а мы, бедные дурочки, уступаем вам, потому что, обманывая нас, вы признаете тем самым превосходство наших чувств, чистых и непорочных.

Надменный и гордый тон, которым были произнесены последние слова, обратил простодушного влюбленного в камень, низвергнутый на дно пропасти, а герцогиню в ангела, воспарившего в родные небеса.

«Черт побери! — воскликнул мысленно Арман де Монриво.— Когда же наконец я скажу этому неукротимому созданию о моей любви?»

Он уже сказал об этом двадцать раз, или, вернее, герцогиня двадцать раз прочитала это в его глазах, забавляясь страстью могучего человека, радуясь, что нашла какой-то интерес в своей бессодержательной жизни. Она уже заранее обдумала, как искусно оградит себя целым рядом укреплений, как заставит его взять их приступом, прежде чем допустит его в крепость своего сердца. По ее капризу Монриво, преодолевая препятствия одно за другим, должен был оставаться на тех же позициях, подобно тому как букашка, пойманная ребенком, переползает с пальца на палец, стремясь вперед, между тем как коварный мучитель держит ее на месте. Тем не менее герцогиня с невыразимым удовольствием убедилась, что этот прямой человек говорил правду: Арман действительно никогда еще не любил. Он собрался уходить, досадуя на себя и еще более на нее; но она только радовалась его дурному настроению, зная, что одним своим взглядом, словом, движением может утешить его.

— Хотите прийти завтра вечером? — спросила она.— Я собираюсь на бал и буду ждать вас до десяти.

Почти весь следующий день Монриво провел дома, сидя в кабинете у окна и выкуривая одну за другой бесчисленное множество сигар. Он едва мог дождаться вечера, чтобы одеться и отправиться в особняк де Ланже. Тем, кто знал возвышенную душу этого замечательного человека, было бы обидно видеть его таким жалким, трепещущим, больно сознавать, что могучий ум, способный охватить вселенную, скован тесными стенами будуара светской жеманницы. Он сам чувствовал себя так глу-

боко погрязшим в любви и счастье, что ни за что, даже ради спасения жизни, не открылся бы самому близкому другу. Не заключается ли в скрытности влюбленного мужчины известная доля стыда, и не составляет ли особенную гордость женщины именно его унижение? Разве не причинами подобного рода, хотя и неосознанными, объясняется то, что женщины почти всегда первые выдают тайну своей любви, тайну, которая, быть может, слишком их тяготит?

— Сударь,— сказал ему лакей,— герцогиня не может вас принять, она изволит одеваться и просила обождать ее в гостиной.

Арман расхаживал по гостиной, внимательно разглядывая все мелочи, в которых отражался вкус хозяйки. Любуясь вещами, связанными с ней и выдававшими ее привычки, он восхищался г-жой де Ланже, не зная еще ни ее характера, ни мыслей. Прошло около часу, когда герцогиня вошла в комнату неслышными шагами. Обернувшись, Монриво увидел, что она идет к нему, легкая, как тень; он затрепетал. Она приблизилась, не спросив по-мещански: «Как вам нравится мое платье?» Она была уверена в своей красоте, и ее пристальный взгляд говорил: «Я нарядилась так для вас, чтобы вам понравиться». Только старая фея, крестная неведомой сказочной принцессы, могла так искусно окутать шею кокетки облаком газа, яркие цвета которого еще более оттеняли блеск ее атласной кожи. Герцогиня была ослепительна. В цветах прически повторялись узоры светло-синего платья, и его богатые краски как будто придавали телесность ее хрупкой воздушной фигуре; когда она устремилась к Арману, концы ее шарфа взлетали и развевались по бокам, и храбрый воин невольно сравнил ее с прелестными синими стрекозами, которые скользят над водой, среди цветов, как бы сливаясь с ними.

— Я вас долго заставила ждать,— сказала она тем чарующим голосом, каким умеют говорить женщины, когда желают понравиться.

— Я охотно ждал бы целую вечность, если бы надеялся, что божество так же прекрасно, как вы; но комплименты вашей красоте слишком ничтожны и уже не могут тронуть вас; вас можно только боготворить. Позвольте же мне поцеловать край вашего шарфа.

— Фи! — воскликнула она с горделивым жестом.— Я вас слишком уважаю для этого; разрешаю вам поцеловать мою руку.

И она протянула ему свою еще влажную руку.

От руки женщины, которая только что вышла из ароматной ванны, исходит какая-то необычайно нежная свежесть, бархатистая мягкость, щекочущая губы и проникающая прямо в сердце, а потому в мужчине, охваченном любовью и одержимом страстью, этот невинный поцелуй может всколыхнуть целую бурю чувств.

— Вы всегда будете протягивать мне руку для поцелуя? — смиренно спросил генерал, почтительно прикоснувшись губами к этой опасной ручке.

— Всегда; но на этом мы и остановимся,— отвечала она улыбаясь.

Она села и принялась натягивать перчатки, с наигранной неловкостью расправляя тесную кожу вдоль пальцев и украдкой наблюдая при этом за Монриво, который любовался то герцогиней, то грациозными, размеренными движениями ее рук.

— Ах, как хорошо,— промолвила она,— вы пришли вовремя, я обожаю точность. Как говорит его величество, точность — это вежливость королей. Ну, а по-моему, это самая почтительная и лестная дань со стороны мужчин. Не правда ли? Что вы скажете?

Снова кинув ему притворно-ласковый взгляд, она увидела, что он млеет от счастья и бесконечно радуется этим пустякам. О! Герцогиня знала в совершенстве свое женское ремесло, она неподражаемо ловко умела подбадривать мужчину, когда он чувствовал себя уничтоженным, и вознаграждать пустой лестью каждый его шаг, когда он опускался до глупой чувствительности.

— Приходите всегда к девяти часам, не забывайте.

— Хорошо, но неужели каждый вечер вы будете уезжать на бал?

— Как знать,— отвечала она, пожав плечами с ребяческим недоумением, как бы признаваясь, что она изменчива и своенравна и что влюбленный должен принять ее такой, как она есть.— А впрочем,— добавила она,— не все ли вам равно? Вы будете сопровождать меня.

— Нынче вечером это было бы невозможно,— возразил он,— я не так одет.

— Мне кажется,— отвечала она, смерив его горделивым взглядом,— что если кому и придется страдать из-за вашего костюма, так это мне. Однако знайте, господин путешественник: тот, кого я удостоила взять под руку, всегда выше требований моды, никто не посмеет его критиковать. Вы, я вижу, совсем не знаете света, этим вы мне еще милее.

Посвящая его в тщеславные тайны модной женщины, она уже старалась втянуть его в мелочную светскую суету.

«Если она хочет совершить такую неосторожность ради меня,— подумал Арман,— было бы глупо ей мешать. Вероятно, она меня любит, а я, конечно, презираю свет не меньше, чем она; ну что же, бал так бал!»

Герцогиня надеялась, должно быть, что, увидев генерала, явившегося с ней на бал в высоких сапогах и черном галстуке, всякий решит, не колеблясь, что он влюблен в нее без памяти. Счастливый тем, что царица модного света готова скомпрометировать себя ради него, генерал загорелся надеждой и стал красноречивым. В уверенности, что нравится, он свободно раскрывал перед ней свои мысли и чувства, не испытывая уже того смущения, какое накануне стесняло ему грудь. Увлекла ли г-жу де Ланже его содержательная, вдохновенная речь, полная первых признаний, которые столь же приятно высказывать, как и слушать, или она заранее задумала эту очаровательную уловку, только, когда пробило полночь, она лукаво посмотрела на часы.

— Ах, боже мой, по вашей милости я пропустила бал! — воскликнула она, разыгрывая удивление и досаду на свою рассеянность. Затем, как бы оправдываясь в своем непостоянстве, она вознаградила Армана улыбкой, от которой сердце его забилось.

— Я ведь обещала быть у госпожи де Босеан,— добавила она,— там все ждут меня.

— Что же делать, поезжайте.

— Нет, продолжайте,— передумала она.— Я останусь дома. Ваши приключения на Востоке приводят меня в восхищение. Расскажите мне побольше о вашей жизни. Право же, я всегда так сочувствую страданиям мужественных людей, как будто сама их испытываю.

Она играла своим шарфом, теребя и разрывая его

нетерпеливыми движениями, казалось, обличавшими скрытое недовольство и глубокую задумчивость.— Ну, на что мы годны, мы, женщины!— вздохнула она.— Ах, мы недостойные, пустые, ветреные создания. Ища забав и развлечений, мы только и умеем скучать. Ни одна из нас не понимает, в чем ее назначение. В давние времена женщины во Франции были светлой и благотворной силой, они посвящали свою жизнь тому, чтобы облегчать горести, вдохновлять на высокие подвиги, вознаграждать художников, воодушевлять их благородными идеями. Если свет так измельчал, это наша вина. Вы заставили меня возненавидеть светскую суету и все эти балы. О нет, я не многим жертвую ради вас.

Герцогиня совсем изорвала свой шарф, словно ребенок, который, играя с цветком, обрывает все лепестки, и, скомкав, отбросила его прочь, открыв свою лебединую шею. Она позвонила.— Я не поеду,— сказала она лакею и боязливо подняла на Армана миндалевидные голубые глаза, как бы внушая ему этим робким взглядом, что он вправе счесть ее отказ от бала за признание в любви, за первую и великую милость.

— Вы перенесли много страданий,— помолчав немного, произнесла она задумчиво, с тем трогательным участием, которое женщины умеют выразить голосом, не ощущая его сердцем.

— О нет,— отвечал Арман,— до нынешнего дня я ведь не знал, что такое счастье.

— А теперь знаете? — спросила она, глядя на него снизу вверх с наивным лукавством.

— Разве отныне мое счастье не в том, чтобы видеть вас, слышать ваш голос?.. До сих пор я испытывал только огорчения, теперь же понял, что могу стать несчастным...

— Довольно, довольно, уходите,— прервала она его,— уже полночь, надо соблюдать приличия. Я не поехала на бал, вы были у меня. Незачем возбуждать толки. Прощайте. Не знаю еще, что я им скажу, но мигрень — верная сообщница и никогда не подведет меня.

— Будет завтра бал? — спросил он.

— Я вижу, вы входите во вкус. Ну да, завтра мы опять поедем на бал.

Арман ушел, чувствуя себя самым счастливым че-

ловеком на свете, и с этих пор каждый вечер являлся к г-же де Ланже в те часы, которые были установлены как бы по молчаливому соглашению.

Было бы скучным и утомительным многословием, особенно по отношению к юношам, хранящим подобные же светлые воспоминания, вести наш рассказ шаг за шагом, так же, как развивалась поэма этих тайных бесед, течение которой то несется вперед, то замедляется, по капризу женщины, либо придирками к словам, когда чувства слишком стремительны, либо жалобой на чувства, когда слова не соответствуют ее расположению духа. Пожалуй, чтобы отметить, к чему привели эти уловки Пенелопы, следовало бы придерживаться лишь внешних проявлений чувства. Итак, через несколько дней после первой встречи герцогини с Арманом де Монриво настойчивый воин окончательно завоевал право с ненасытной жадностью целовать ручки своей возлюбленной. Всюду, где бывала г-жа де Ланже, неизбежно появлялся и г-н де Монриво, которого в шутку прозвали *вестовым герцогини*. У Армана уже появились завистники, ревнивые соперники, враги. Г-жа де Ланже добилась своей цели. Маркиз смешивался с толпой ее поклонников, и, явно оказывая ему предпочтение, она пользовалась им, чтобы унизить тех, кто хвастался ее благосклонностью.

— Положительно,— заявила г-жа де Серизи,— герцогиня особенно отличает господина де Монриво.

Всякому известно, что значит в Париже быть тем, кого особенно отличает женщина. Итак, все устроилось как нельзя лучше. Благодаря репутации, созданной генералу светской молвой, он казался таким грозным соперником, что наиболее ловкие из обожателей герцогини молчаливо отреклись от своих притязаний и продолжали состоять в ее свите лишь для того, чтобы не терять своего положения, пользоваться ее именем и влиянием и легче добиваться успеха у дам менее высокого ранга, которым лестно было отбить поклонника у г-жи де Ланже. Герцогиня была слишком проницательна, чтобы не заметить этого дезертирства и тайных соглашений, и слишком горда, чтобы дать себя обмануть. В таких случаях, как говаривал князь Талейран, очень любивший герцогиню, она умела отомстить обоим, заклеймив эти морганатические союзы обоюдоострой шуткой. Ее высокомер-

ные насмешки немало способствовали тому, что ее стали побаиваться и превозносить как необычайно остроумную особу. Таким образом, издеваясь над чужими тайнами и не давая проникнуть в свои, она утвердила за собой репутацию безупречной добродетели. Однако в глубине души она чувствовала смутную тревогу, обнаружив после двух месяцев настойчивых ухаживаний г-на де Монриво, что он совершенно не разбирается в тонкостях изощренного сен-жерменского кокетства и принимает ее парижское жеманство за чистую монету.

— Будьте осторожны, дорогая герцогиня,— сказал ей как-то старый видам де Памье,— это человек орлиной породы, вам не удастся приручить его; он унесет вас в свое гнездо, берегитесь.

Выслушав совет лукавого старика, напугавший ее, как пророчество, г-жа де Ланже на следующий вечер приложила все старания, чтобы Арман возненавидел ее; она была жестокой, требовательной, строптивой, несносной, но он обезоружил ее ангельской кротостью. Эта женщина настолько неспособна была понять доброту великодушной натуры, что была поражена ласковыми шутками, которыми он ответил на ее капризы и жалобы. Она искала ссоры, а нашла лишь преданную любовь. Однако она продолжала упорствовать.

— Чем мог огорчить вас человек, который боготворит вас? — спросил Арман.

— Вы меня не огорчили,— возразила она, сразу становясь кроткой и покорной,— но зачем вы меня компрометируете? Вы должны остаться для меня только *другом*. Разве вы этого не знаете? Мне хотелось бы видеть в вас чуткость и сдержанность истинной дружбы, чтобы не лишиться ни вашего уважения, ни удовольствия, какое доставляет мне ваше общество.

— Быть только вашим *другом*? — вскричал г-н де Монриво, которого это страшное слово потрясло, точно электрическая искра.— После сладостных часов, которыми вы меня дарили, я и засыпал и просыпался полный веры, что для меня есть место в вашем сердце. А сегодня вдруг, без всякой причины, вы пожелали убить тайные надежды, которыми я только и живу. Неужели, выслушав столько клятв в верности, выказав столько презрения к женскому непостоянству, вы хотите показать те-

перь, что ничем не отличаетесь от прочих парижанок, что вы способны только на увлечения, а не на любовь? Зачем же вы потребовали мою жизнь, зачем же приняли ее в дар?

— Я виновата, друг мой. О да, женщина не права, поддаваясь порывам страсти, когда не может и не должна ее разделять.

— Понимаю, вы просто ветреная кокетка, и...

— Кокетка?.. Я ненавижу кокетство. Быть кокеткой, Арман,— это значит обещать себя многим мужчинам и не отдаваться никому. Отдаваться всем — это разврат. Вот что я извлекла из наших нравственных законов. Но быть печальной с разочарованными, веселой с беспечными, расчетливой с честолюбцами, выслушивать болтунов, беседовать о войне с военными, гореть идеями общественного блага с филантропами, расточая каждому чуточку лести,— все это кажется мне столь же необходимым, как цветы в волосах, как брильянты, перчатки и красивые платья. Разговор — это духовная сторона нашего туалета. Он начинается на балу и кончается, когда мы снимаем с головы бальный убор. Вы называете это кокетством? Но к вам я всегда относилась совершенно иначе, чем к другим. С вами я искренна, милый друг. Не всегда я разделяла ваши мысли, но когда в споре вам удавалось убедить меня, не соглашалась ли я с радостью? Словом, я люблю вас, но лишь той любовью, какая дозволена женщине чистой и благочестивой. Я много думала, Арман. Я замужем. Пусть мои отношения с господином де Ланже позволяют мне свободно располагать своим сердцем, но законы и приличия не дают мне права располагать своей особой. В любых кругах обесчещенную женщину изгоняют из общества, и я не встречала еще мужчины, который сознавал бы, к чему его обязывает подобная жертва. Более того, неизбежный будущий разрыв между госпожой де Босеан и господином д'Ажуда — он ведь, говорят, женится на девице де Рошфид — доказывает, что почти всегда именно за эти жертвы вы и покидаете нас. Если бы вы искренне любили меня, вы согласились бы расстаться со мной ненадолго. Ведь ради вас я готова поступиться всем своим тщеславием,— разве этого мало? Подумайте, чего только не говорят о женщине, которая никого не умела к себе привязать? И бессердечна-то она,

и неумна, и бездушна, а главное — лишена всякого очарования. О, поверьте, светские кокетки не дадут мне пощады, они лишат меня всех достоинств, которые возбуждали в них такую жгучую зависть. Впрочем, я сохраню доброе имя,— это для меня главное, а там пускай соперницы оспаривают мою привлекательность! Все равно, сами они от этого привлекательнее не станут. Полноте, милый друг, неужели вы не можете сделать маленькую уступку той, которая стольким жертвует ради вас! Приходите пореже, это не помешает мне любить вас попрежнему.

— Ах! Если верить всяким сочинителям, любовь питается иллюзиями! — с горькой иронией воскликнул Арман, глубоко уязвленный в своем чувстве.— Я вижу, они правы, мне остается только вообразить себя любимым. Но знайте, бывают обиды, наносящие неизлечимую рану: вы — это последнее, во что я еще верил, теперь я вижу, что все на земле обман.

Она улыбнулась.

— Да,— продолжал Монриво прерывающимся голосом,— ваша католическая религия, в которую вы жаждете меня обратить,— ложь, опутавшая людей; надежда— ложь, обращенная в будущее; гордость — ложь перед самим собой; жалость, благоразумие, страх — расчетливая ложь. Мое счастье тоже основано на лжи, я должен обманывать самого себя, соглашаясь всегда отдавать червонец в обмен на мелкую монетку. Если вам так легко со мной расстаться, если вы не хотите признать меня ни другом, ни любовником, значит, вы не любите меня! А я, дурак, вижу, понимаю это и все-таки люблю.

— Ах, боже мой, бедный Арман, вы преувеличиваете!

— Преувеличиваю?

— Ну да, вам кажется, будто все погибло, когда я прошу вас только об осторожности.

В глубине души она наслаждалась гневом, сверкавшим в глазах ее возлюбленного. Продолжая мучить его, она в то же время все замечала и следила за малейшими изменениями его лица. Если бы генерал имел несчастье великодушно уступить без борьбы, как случается с иными наивными влюбленными, он был бы изгнан навеки, заподозрен и уличен в том, что не умеет любить. Боль-

шинство женщин жаждет подвергнуться моральному насилию. Им лестно сознавать, что они уступают только силе. Но Арман был слишком неопытен, чтобы заметить, в какую западню заманила его герцогиня. Сильный человек, когда он любит, становится доверчив, как ребенок.

— Если вам важно только сохранить внешние приличия, я готов...

— Внешние приличия? — воскликнула она, прерывая его.— Да как вы осмеливаетесь так думать, за кого вы меня принимаете? Разве я давала вам хоть малейший повод надеяться, что я могу вам принадлежать?

— Вот как! О чем же идет речь? — спросил Монриво.

— Но вы приводите меня в ужас, сударь! Впрочем, извините,— продолжала она ледяным тоном,— благодарю вас, Арман, вы вовремя указали мне на мою неосторожность, совершенно невольную, милый друг, поверьте. Вы говорите, что умеете страдать. Я тоже научусь страдать. Мы перестанем встречаться; а позже, когда оба немного успокоимся, мы что-нибудь придумаем и будем довольствоваться дружбой, дозволенной обществом. Я еще молода, Арман, в двадцать четыре года женщина может натворить немало глупостей и безумств, попади она в руки человека бесчестного. Но вы, вы останетесь мне другом, обещайте мне.

— В двадцать четыре года женщина отлично умеет рассчитывать,— возразил Арман. Он сел на кушетку, охватив голову руками.— Любите ли вы меня? — спросил он, подняв голову и обратив к ней полное решимости лицо.— Отвечайте прямо: да или нет?

Этот вопрос больше испугал герцогиню, чем испугала бы угроза смерти,— пошлая уловка, отнюдь не страшная для женщины девятнадцатого века, когда мужчины уже не носят шпаги на боку. Но разве во взмахе ресниц, в нахмуренных бровях, в суженных зрачках, в дрожании губ нет живой магнетической силы, разве не может она вызвать трепет?

— Ах! — сказала она.— Будь я свободна, будь я...

— Так это ваш муж нам мешает? — радостно воскликнул генерал, расхаживая большими шагами по будуару.— Знайте, дорогая Антуанетта, я обладаю более неограниченной властью, чем самодержец всероссийский.

Я в договоре с судьбой в отношении всяких людских дел, я могу по своей воле поторопить ее или задержать ее ход, точно ход часов. Чтобы управлять судьбой в нашей политической машине, надо просто уметь разбираться в ее тайных пружинах. Очень скоро вы будете свободны, вспомните тогда о вашем обещании.

— Арман! — вскричала она.— О чем вы говорите? Великий боже! Неужели вы думаете, что я соглашусь быть наградой за преступление? Вы хотите свести меня в могилу? Для вас нет ничего святого, но во мне есть страх божий. Хотя господин де Ланже и дал мне право ненавидеть его, я не желаю ему зла.

Господин де Монриво, машинально барабаня пальцами по мраморной доске камина, пристально смотрел на герцогиню.

— Друг мой,— продолжала она,— не посягайте на него. Он не любит меня, он дурно ко мне относится, но я обязана выполнять свой долг. Чего бы я не сделала, чтобы избавить его от несчастий, которыми вы ему грозите! Послушайте,— добавила она после некоторого раздумья,— я больше не стану говорить о разлуке, вы будете по-прежнему приходить сюда, по-прежнему целовать меня в лоб; если я порой и отказывала вам в этом, то, право же, из чистого кокетства. Но только условимся,— сказала она, видя, что он подходит ближе,— позвольте мне увеличить число моих поклонников, принимать их по утрам еще чаще, чем прежде; я стану вдвое легкомысленнее, стану холодно обращаться с вами на людях, разыгрывая полный разрыв, вы будете навещать меня пореже, ну а потом...

При этих словах она позволила ему обнять ее за талию и прильнула к нему, притворно выражая то упоение, которое большинство женщин испытывает от подобного объятия, как бы сулящего все услады любви; затем, вероятно, желая выманить у него какое-то признание, она встала на цыпочки и подставила лоб пылающим губам Армана.

— А потом,— подхватил Монриво,— вы не будете больше говорить мне о муже, забудьте и думать о нем!

Госпожа де Ланже не ответила.

— По крайней мере,— проговорила она после выразительного молчания,— обещайте повиноваться мне во

всем, не ворча и не досадуя,— хорошо, милый друг? Вы просто хотели меня напугать, не правда ли? Ну-ка, признайтесь!.. Вы слишком добры, чтобы таить преступные замыслы. Да разве есть у вас тайны, которых бы я не знала? Полноте, как можете вы управлять человеческой судьбой?

— В эту минуту, когда вы подтвердили дар вашего сердца, я слишком счастлив и, право, не знаю, что вам ответить. Я верю вам, Антуанетта, я обещаю не мучить вас ни подозрениями, ни пустой ревностью. Но если случай сделает вас свободной, мы соединимся навеки...

— Только случай, Арман,— перебила она, покачав головкой с тем милым и глубокомысленным выражением, каким подобные женщины умеют играть так же легко, как певица управлять своим голосом.— Только чистая случайность,— продолжала она.— Запомните хорошенько: если с господином де Ланже по вашей вине произойдет несчастье, я никогда не буду вашей.

Они расстались, вполне довольные друг другом. Герцогиня заключила договор, который позволял ей словами и поведением доказать всему свету, что г-н де Монриво не был ее любовником. Ну, а его,— дала себе слово хитрая кокетка,— нужно будет вывести из терпения, не дозволяя ничего, кроме тех ничтожных ласк, какие удавалось ему урвать иногда во время короткой атаки, прекращаемой по желанию герцогини. Она так искусно умела отказывать в милостях, дарованных накануне, так твердо решила остаться целомудренной, что нисколько не страшилась этих настойчивых ухаживаний, опасных только для страстно влюбленной женщины. В сущности, находясь в разлуке с мужем, герцогиня почти ничего не теряла, принося в жертву любви этот брак, расторгнутый давным-давно.

Монриво, со своей стороны, торжествовал победу: утешаясь этими туманными обещаниями, он надеялся, что навсегда покончил с доводами, которые женщина, сопротивляясь любовнику, черпает в супружеском долге, радовался, что отвоевал еще часть территории. Некоторое время он наслаждался новыми правами, которые были ему дарованы с таким трудом. Более ребячливый, чем был в детстве, этот взрослый мужчина предавался детским радостям, которые обращают первую любовь в цвет

жизни. Он, как мальчишка, изливал всю душу, бесплодно расточая силы на страсть к этой женщине, к ее рукам, к пушистым белокурым локонам, которые он целовал, к ее челу, блистающему чистотой. Согретая его любовью, покоренная магнетическими токами этого пламенного чувства, герцогиня все еще медлила затеять ссору, которая должна была разлучить их навсегда. Пытаясь примирить правила религии с порывами тщеславия и с пустыми развлечениями, которыми тешатся безрассудные парижанки, она, это хрупкое создание, была больше женщиной, чем сама предполагала. Каждое воскресенье она слушала мессу, не пропускала ни одной церковной службы, а по вечерам погружалась в упоительное сладострастие непрестанно сдерживаемых желаний. Арман и г-жа де Ланже уподоблялись индийским факирам, обретающим в самих соблазнах награду за свое воздержание. Возможно также, что герцогиня находила выход своему чувству в этих чистых ласках, которые со стороны показались бы невинными, но в ее дерзком воображении становились порочными. Как объяснить иначе непостижимую тайну ее постоянных колебаний? Каждое утро она решала отказать от дома маркизу де Монриво — и каждый вечер в назначенный час поддавалась его обаянию.

После слабого сопротивления ее суровость смягчалась, речь становилась нежной, умиротворенной,— только любовники могли так задушевно беседовать вдвоем. Герцогиня щедро расточала свое сверкающее остроумие, свое обольстительное кокетство; затем, приведя в волнение душу и чувства влюбленного, позволяла маркизу ласкать ее и крепко сжимать в объятиях, но никогда не разрешала перейти известный предел: и если он в исступлении страсти готов был нарушить ее запрет и переступить границы, она всегда отталкивала его с гневом. Ни одна женщина не противится любви без причины: что́ может быть естественнее, чем уступить чувству? Поэтому г-жа де Ланже оградила себя вскоре второй линией укреплений, еще более неприступной, чем первая. На этот раз она призвала на помощь страх божий. Ни один из отцов церкви не проповедовал с таким красноречием; никто не доказывал справедливость кары господней с такой пылкостью, как герцогиня. Она не прибегала ни к молитвенным возгласам, ни к риторическому многословию. У нее

был свой собственный пафос. На самые горячие мольбы Армана она отвечала взором, блестящим от слез, каким-нибудь движением, обличавшим глубокое, мучительное страдание; она заставляла его умолкнуть, взывая о пощаде: еще одно слово, и она не станет его слушать, она не выдержит, лучше смерть, чем преступное счастье.

— Ослушаться господа — разве это не ужасно? — говорила прелестная комедиантка голосом, казалось, ослабевшим от внутренней борьбы, от которой она едва могла ненадолго оправиться,— я с радостью принесу вам в жертву общество, целый свет; но как эгоистично с вашей стороны ради мимолетного наслаждения губить мою душу. Ну, скажите правду, разве вы несчастливы? — прибавляла она, протягивая руку и обольщая его своим кокетством — утехи, которые дорого обходились ее любовнику.

Если порой — то ли по слабости, то ли желая удержать человека, чья неистовая страсть вызывала в ней неизведанные ощущения,— она позволяла ему похитить поцелуй, то тут же прогоняла Армана с кушетки, как только соседство с ним становилось опасным.

— Ваши радости — это мои грехи, Арман; они стóят мне стольких покаяний, стольких угрызений совести! — восклицала она с упреком.

Очутившись на расстоянии нескольких стульев от этой аристократической юбки, Монриво начинал богохульствовать и проклинать бога. Герцогиня приходила в негодование.

— Ах, мой друг,— говорила она сухо,— не понимаю, почему вы отказываетесь верить в бога, ведь людям верить невозможно. Перестаньте, не смейте так говорить; вы слишком умны, чтобы разделять глупости либералов, которые дерзают отрицать бога.

Она пользовалась теологическими и политическими спорами, как холодным душем, чтобы успокоить Монриво и смирить его страсть; она сердила его, заманивая за тысячи верст от своего будуара, в дебри теорий абсолютизма, идею которого защищала с величайшим искусством. Мало кто из женщин осмеливается быть демократками, это слишком противоречит их деспотизму в области чувства. Случалось, однако, что генерал, послав к черту политику, потрясал своей гривой, рычал, как

разгневанный лев, ломал преграды и, бешеный от страсти к любовнице, бросался на свою жертву, не в силах дольше сдерживать себя. Если эта женщина чувствовала себя задетой за живое и уже готовой сделать непоправимый шаг, она умела вовремя увести Монриво из будуара; покинув насыщенный негой и желаниями воздух, которым они дышали, она переходила в гостиную, садилась за фортепьяно и пела прелестные современные арии, находя выход чувственной страсти, которая порою и ей не давала пощады, но которую она умела подавлять. В такие минуты она казалась Арману дивной и восхитительной; она была искренна, не притворялась, и бедный безумец верил, что он любим. Ее эгоистическое сопротивление он принимал за целомудрие святого, добродетельного создания, он смирялся и говорил о платонической любви — это он-то, артиллерийский генерал! Вдоволь наигравшись религией сама, г-жа де Ланже придумала новую игру, якобы в интересах Армана; она задалась целью вновь обратить его к христианским добродетелям, она излагала ему *«Дух христианства»*, приспособив его к пониманию военных. Монриво выходил из терпения, тяготился своим невыносимым ярмом. О, тогда из чувства противоречия она прожужжала ему уши господом богом, надеясь, что всевышний избавит ее от человека, который шел к цели напролом и начинал приводить ее в ужас. К тому же она нарочно раздувала всякую ссору, чтобы затянуть подольше нравственную борьбу и избежать борьбы физической, гораздо более опасной.

Если сопротивление во имя святости брака представляло собой гражданскую войну в этой распре чувств, то теперь наступила война религиозная, и в ней, как в первой, обозначился перелом, после которого сила сопротивления начала убывать. Однажды вечером, случайно явившись к герцогине раньше времени, Арман застал у нее аббата Гондрана, исповедника г-жи де Ланже, который, удобно расположившись в креслах у камина, благодушно переваривал тонкий обед и очаровательные грехи своей духовной дочери. Увидев этого человека, его свежее, спокойное лицо, невозмутимое чело и тонкие губы, его пытливый инквизиторский взгляд; увидев его степенную пастырскую величавость и облачение, в котором преобладали фиолетовые тона, предвестники епископско-

го сана,— Монриво стал мрачнее тучи, никому не поклонился и не проронил ни слова. Проницательный во всем, что не касалось его любви, генерал угадал, обменявшись взглядом с будущим епископом, что перед ним виновник тех преград, какие ставила его любви герцогиня. Какой-то честолюбивый аббат смел строить козни и мешать счастью такого закаленного воина, как Монриво! — от этой мысли кровь бросалась ему в лицо, пальцы судорожно сжимались, он вскакивал с места, ходил взад и вперед, переступал с ноги на ногу; но когда он приближался с намерением излить свой гнев, герцогиня усмиряла Монриво одним взглядом. Нимало не обеспокоенная угрюмым молчанием своего обожателя, которое смутило бы любую женщину, г-жа де Ланже продолжала вести с г-ном Гондраном глубокомысленную беседу о необходимости восстановить религию во всем ее блеске. Красноречивее самого аббата рассуждала она о том, почему церковь должна представлять собой как светскую, так и духовную власть, и сокрушалась, что в палате пэров до сих пор нет епископской скамьи, как в палате лордов. Наконец аббат, сообразив, вероятно, что во время поста он свое возьмет, уступил место генералу и распрощался. Герцогиня едва поднялась с кресел, отвечая на смиренный поклон своего духовника, настолько она была удивлена странным поведением Монриво.

— Друг мой, что с вами?

— Я сыт по горло вашим аббатом.

— А вы бы почитали книжку,— сказала она, не заботясь о том, слышит ли ее аббат.

С минуту Монриво не мог ничего сказать, пораженный ее тоном и жестом, которым она еще подчеркнула дерзость своих слов.

— Дорогая Антуанетта, благодарю вас, что вы отдаете любви предпочтение перед церковью; но разрешите, умоляю вас, задать вам один вопрос.

— Ах, вы меня допрашиваете? Что ж, я очень рада,— отвечала она.— Разве вы не друг мне? Разумеется, я могу раскрыть вам всю душу, и вы увидите там только один образ.

— Вы говорили этому человеку о нашей любви?

— Он мой духовник.

— Знает он, что я вас люблю?

— Господин Монриво, вы не дерзнете, я надеюсь, проникать в тайны исповеди?

— Значит, какому-то чужому мужчине все известно о наших спорах и о моей любви к вам?

— Чужому мужчине, сударь? Скажите лучше — богу.

— Бог, вечно этот бог! Я один должен царить в вашем сердце. Оставьте вы бога в покое на небесах, ради меня и ради него самого. Сударыня, вы не пойдете больше на исповедь, или я...

— Или вы?..— спросила она с усмешкой.

— Или я больше сюда не вернусь.

— Ступайте, Арман. Прощайте, прощайте навеки.

Она встала и ушла в будуар, не кинув ни одного взгляда на Монриво, который так и остался стоять, опершись рукой на спинку стула. Сколько времени он пробыл так, он и сам не знал. Душа обладает неведомой властью растягивать и сокращать бег времени. Он приоткрыл дверь будуара, там было темно. Слабым голосом, как бы через силу, женщина недовольно произнесла: «Я не звонила. И вообще не входите без приказания. Оставьте меня, Сюзетта».

— Ты плохо себя чувствуешь? — вскричал Монриво.

— Встаньте, сударь, и выйдите отсюда хоть на минуту,— сказала она, позвонив.

— Герцогиня просит подать огня,— объяснил он лакею, и тот пошел в будуар зажечь свечи.

Когда любовники остались наедине, г-жа де Ланже продолжала лежать на диване, безмолвная, неподвижная, не обращая на Монриво ни малейшего внимания.

— Дорогая моя, я не прав,— проговорил он голосом, полным скорби и бесконечной доброты,— поверь мне, я не хотел бы лишить тебя религии...

— Хорошо еще, что вам не чужды угрызения совести,— отвечала она сурово и не глядя на него.— Благодарю вас за бога.

Тут генерал, сраженный бессердечием этой женщины, которая умела по своей прихоти становиться то близкой ему, как сестра, то совершенно чужой, в отчаянии направился к дверям, решив покинуть ее навсегда без единого слова. Он жестоко страдал, а герцогиня смеялась в душе над этими страданиями, вызванными нравственной пыткой, гораздо более мучительной, чем все пытки

прежних времен. Но уйти было не во власти этого человека. В критический момент женщинам необходимо бывает разрешиться от бремени многословной речью, и пока женщина всего не выговорит, она испытывает чувство неудовлетворенности, словно не завершив дела.

Госпожа де Ланже, которая еще не высказалась до конца, заговорила снова:

— Мы с вами держимся разных убеждений, генерал, и мне это очень прискорбно. Было бы ужасно для женщины не исповедовать религии, обещающей любовь за гробом. Я оставлю в стороне христианские чувства, вы все равно их не поймете. Позвольте мне сказать только о приличиях. Неужели вы запретите придворной даме приобщаться святых даров на пасху, как то установлено обычаем? Ведь мы же обязаны что-то делать для своей партии. Либералам не удастся искоренить религиозное чувство, как бы они ни старались. Религия всегда останется политической необходимостью. Разве взялись бы вы управлять целым народом вольнодумцев? Даже Наполеон на это не осмеливался, он преследовал «идеологов». Чтобы помешать народам рассуждать, необходимо внушить им благонамеренные чувства. Итак, примем же католическую религию со всеми ее выводами. Если мы требуем, чтобы вся Франция ходила к обедне, не обязаны ли мы посещать ее сами? Религия, Арман, является, как видите, связующим звеном консервативных принципов, которые позволяют богатым жить спокойно. Религия самым тесным образом связана с собственностью. Согласитесь сами, гораздо достойнее править народами при помощи нравственных идей, чем при помощи эшафотов эпохи Террора, единственного средства, которое изобрела ваша ненавистная революция, чтобы добиться повиновения. Священник и король — да это вы, это я, это моя соседка княгиня, словом, это олицетворение интересов всех порядочных людей. Опомнитесь, мой друг, примкните же к вашей исконной партии, ведь вы могли бы стать нашим Суллой, имей вы хоть каплю честолюбия. Я ничего не смыслю в политике, я руковожусь только чувством; тем не менее я достаточно ясно вижу, что общественный строй рухнет, если постоянно подвергать сомнению самые его основы...

— Если ваш двор, если ваше правительство действительно так думают, мне вас жаль,— возразил Монриво.— Реставрация, сударыня, должна сказать, по примеру Екатерины Медичи, когда она сочла проигранной битву при Дрэ: «Ну, что же, пойдем слушать проповедь!» Знайте, что 1815 год и есть ваша битва при Дрэ. Вы тоже, как королевская династия тех времен, захватили власть, но потеряли право на нее. Политическое протестантство одержало победу в умах. Если вы не хотите издать Нантский эдикт или же, издав, вздумаете отменить его; если однажды вас заподозрят и уличат в том, что вы отрекаетесь от Хартии, которая является залогом соблюдения революционных интересов,— революция вспыхнет вновь, грозная и неумолимая, и покончит с вами одним ударом. Вам, а не ей придется уйти из Франции, она вросла в родную землю. Можно убить людей, но идеи продолжают жить... Э, боже мой, какое нам дело до Франции, до династии, до легитимной монархии, до всего света! Все это пустые бредни в сравнении с моим счастьем. Пусть царствуют, пусть их свергают с престола, мне все равно. На чем, бишь, я остановился?

— Друг мой, вы остановились на ковре в будуаре герцогини де Ланже.

— Нет, нет, долой герцогиню, долой де Ланже, я у моей любимой Антуанетты.

— Сделайте одолжение, оставайтесь на месте,— сказала она, смеясь и отталкивая его, но без гнева.

— Значит, вы никогда не любили меня? — вскричал он, и в его глазах сверкнуло бешенство.

— Нет, мой друг.

В этом «нет» слышалось «да».

— Ах, я дурак,— прошептал он, прижимая к губам руку этой грозной королевы, вновь обратившейся в женщину.

— Антуанетта,— продолжал он, приникнув лицом к ее ногам,— ты так нежна и чиста, ты ведь не расскажешь о нашем счастье никому на свете?

— Боже мой, вы просто безумец! — воскликнула она, стремительно и грациозно вскакивая с дивана. И, не прибавив ни слова, упорхнула в гостиную.

«Что это с ней?» — удивился генерал, не догадываясь, какой трепет электрическим током потряс с ног

до головы его возлюбленную от прикосновения его пылающего лица.

В ту минуту, когда он, полный неистовства страсти, входил в гостиную, он вдруг услышал небесные аккорды. Герцогиня сидела за фортепьяно. Ученые или художники, способные и понимать и наслаждаться одновременно, те, у кого размышления не мешают восприятию, ясно чувствуют, что для души композитора ноты и музыкальные фразы являются тоже своего рода инструментом, как дерево и медь для исполнителя. Им слышится особая таинственная музыка, звучащая за этой двойной передачей чувственного языка души, «Andiamo, mio ben» [1] может исторгнуть слезы радости или вызвать презрительный смех, смотря по тому, как поет певица. В свете нам случается порою услышать, как девушка, томящаяся тайной печалью, или мужчина, душа которого трепещет в муках страсти, изливают чувства в музыке, унесясь в небеса или говоря сами с собой дивными мелодиями, подобными отголоскам какой-то утраченной поэмы. Генерал слышал теперь одну из таких неведомых поэм, одинокую жалобу птицы, умирающей без подруги в девственном лесу.

— Боже мой, что это вы играете? — спросил он растроганным голосом.

— Прелюдию романса, который называется, кажется, «Река Тахо».

— Я не знал, что фортепьяно может выразить так много,— произнес он.

— Ах, друг мой,— вздохнула она, впервые подарив его влюбленным взглядом,— вы не знаете и того, что я вас люблю, что из-за вас я невыносимо страдаю, что мне надо излить свои жалобы, но на языке, понятном мне одной, иначе я была бы в вашей власти. Вы ничего не видите!

— И вы все-таки не хотите подарить мне счастье?

— Арман, я умерла бы с горя на другой же день.

Генерал круто повернулся и ушел, но, выйдя на улицу, смахнул две слезы, уже не имея сил сдерживаться.

Религиозный период длился три месяца. По истечении этого срока, наскучив повторять те же доводы, гер-

---

[1] «Пойдем, мой милый друг» *(итал.)*.

цогиня выдала господа бога с руками и ногами своему любовнику. Не опасалась ли она, что, твердя каждую минуту о вечности, увековечит любовь генерала и в этой жизни и в будущей? Единственное оправдание этой женщины в том, что она была девственна телом и душой, иначе она была бы слишком ужасна. Ей еще далеко было до того возраста, когда мужчины и женщины слишком часто задумываются о будущем, чтобы терять время, препираться и откладывать свое счастье; она познавала, вероятно, если не первую любовь, то первые любовные наслаждения. Неспособная отличить добро от зла, не изведавшая страданий, которые научили бы ее ценить брошенные к ее ногам сокровища, она только забавлялась ими. Не испытав солнечного тепла, она предпочитала оставаться во мраке. Арман, который начинал постигать это необычайное положение, надеялся, что в ней заговорит голос природы. Каждый вечер, расставшись с г-жой де Ланже, он уверял себя, что не станет женщина семь месяцев подряд принимать ухаживания мужчины и самые нежные, самые трогательные доказательства его любви, не станет покоряться первым страстным ласкам его, чтобы потом обмануть его без причины,— и Арман, терпеливо ожидая, когда же для герцогини наступит весна, не сомневался, что сорвет первые цветы. Он прекрасно понимал колебания замужней женщины, боязнь нарушить запреты религии. Он даже радовался этой борьбе. Непростительное кокетство герцогини казалось ему стыдливостью, и он не хотел бы видеть ее иной. Ему по сердцу было, что она непрерывно изобретает препятствия; разве не преодолевал он их одно за другим? И не завоевывал ли с каждой новой победой новые любовные права, дарованные ему, наконец, после упорных отказов, как очевидный залог любви? Он так долго довольствовался незначительными постепенными победами, которыми упиваются робкие влюбленные, что в конце концов привык к ним. Теперь ему оставалось преодолеть только одно препятствие — свою собственную нерешительность, ибо он уже не видел иной помехи своему счастью, кроме капризного нрава той, которая разрешала называть себя *Антуанеттой*. И вот он решил добиться большего, добиться всего. Смущенный, словно неопытный юнец, не смея поверить, что его кумир снизойдет к нему с небес,

он долго колебался, он изведал мучительное стеснение в груди, напряжение воли, слабеющее от одного слова, твердую решимость, угасающую на пороге двери. Он сам презирал себя за то, что не находит силы произнести решительное слово, и не произносил его. Но вот однажды вечером он пришел мрачный и угрюмый, готовясь яростно потребовать осуществления своих законных, хотя и не узаконенных прав. Герцогине не надо было дожидаться речей своего раба, чтобы угадать его желание. Разве желания мужчин остаются когда-нибудь тайной? Разве женщины не одарены врожденным уменьем читать их по выражению лица?

— Что такое? Вам мало моей дружбы?— воскликнула она, прерывая его на первом слове, вся зардевшись румянцем, дивной игрой юной крови под прозрачной кожей.— Как, в благодарность за мое великодушие вы желаете меня опозорить? Подумайте хоть немного. Я ведь так много думала, я всегда помню о *нас с вами*. У женщины есть своя, особая порядочность, которой мы не должны изменять, так же как вы не должны нарушать законов чести. Я не способна на обман. Если я отдамся вам, я уже не могу оставаться женою господина де Ланже. Так что же, вы требуете, чтобы я принесла в жертву свое положение, высокое звание, всю мою жизнь ради сомнительной любви, которой не хватило терпения и на семь месяцев? Ах, вы уже хотите лишить меня права свободно располагать собой? Нет, нет, и не говорите мне об этом. Не говорите ни слова. Я не хочу, не имею права вас слушать.— Тут г-жа де Ланже, изображая необычайное волнение, схватилась за голову обеими руками и откинула свои пышные волосы с пылающего лба.— Вы являетесь к слабому, беззащитному созданию с заранее составленным планом, вы думаете: «Некоторое время она будет твердить мне о муже, потом о боге, затем о неизбежных последствиях любви; но я воспользуюсь тем влиянием, какого успел добиться, я не упущу своего, я стану ей необходим, привяжу ее к себе узами привычки, подготовлю общественное мнение, и, когда в конце концов свет примирится с нашей связью, эта женщина будет в моей власти». Будьте откровенны,— ведь вы думали именно так! Ага, вы клянетесь в любви, а сами строите расчеты — фи, какой стыд! Вы влюбле-

ны? Так я и поверю этому! Просто в вас говорят желания, вы хотите сделать меня своей любовницей, вот и все. Ну нет, не будет по-вашему — герцогиня де Ланже не унизится до этого. Заманивайте в ваши сети глупеньких мещанок, меня вам не поймать никогда. Ничто не служит мне порукой вашей любви. Вы восхваляете мою красоту, но я за полгода могу подурнеть, как эта милейшая княгиня, моя соседка. Вы восхищаетесь моим остроумием, изяществом; боже мой, они вам наскучат, как наскучат и наслаждения. Привыкли же вы за несколько месяцев к тем знакам благосклонности, которые я имела слабость вам дарить! Когда я стану погибшей женщиной, в один прекрасный день вы охладеете ко мне и без всяких околичностей заявите: «Я разлюбил вас». Положение, богатство, честь — все, чем обладает герцогиня де Ланже, погибнет вместе с обманутой надеждой. У меня родятся дети, живые доказательства моего позора, и тогда... Впрочем,— перебила она себя с нетерпеливым жестом,— я слишком добра, к чему объяснять вам то, что вы знаете лучше меня. Довольно, покончим на этом. Счастье мое, что я еще в силах порвать узы, которые вы считаете нерасторжимыми. Подумаешь, какой геройский подвиг заходить по вечерам в особняк де Ланже и проводить время с женщиной, которая развлекает вас своей болтовней, забавляет вас, как игрушка! Да ведь немало молодых шалопаев навещают меня от трех до пяти так же аккуратно, как вы по вечерам. Вот они действительно бескорыстны! Я потешаюсь над ними, а они безропотно переносят все мои причуды, все мои дерзости и усердно развлекают меня; но вам я доверяю самые драгоценные сокровища моей души — и вы хотите погубить меня, причинить мне множество огорчений. Ни слова! Молчите! Довольно! — сказала она, видя, что он собирается возражать.— У вас нет ни сердца, ни души, ни чуткости. Я заранее знаю, что вы мне скажете. Ну, и что же? Я предпочитаю казаться вам женщиной холодной, бесчувственной, неблагодарной, даже бессердечной, чем прослыть в глазах света женщиной заурядной, чем быть осужденной на вечные муки за то, что предалась греховным наслаждениям, которыми вы скоро пресытитесь. Право же, ваша эгоистическая любовь не стоит таких жертв.

Эти слова — лишь слабое подобие тех певучих фраз,

которые щебетала герцогиня, не умолкая ни на минуту, словно заводной органчик. Она могла говорить сколько угодно, бедный Арман отвечал на этот поток мелодичных нот только молчанием, полным мучительного раздумья. Впервые он начал постигать ее жестокое кокетство, угадывая чутьем, что женщина, любящая истинно и самозабвенно, женщина, разделяющая его любовь, не могла бы так рассуждать, так трезво рассчитывать. Кроме того, он испытывал нечто вроде стыда, припоминая и свои невольные расчеты, недостойные мысли, в которых его упрекали; проверяя себя с кротким чистосердечием, он действительно видел один эгоизм в своих речах, мыслях, в своих ответных словах, еще не сказанных, но готовых сорваться с языка. Он во всем обвинял себя самого и в отчаянии готов был чуть ли не выброситься из окна. Его терзало слово *я*. Действительно, что сказать женщине, не верящей в любовь? «Позвольте мне доказать вам, что я люблю вас». Опять это *я!* Монриво не знал, как знают это будуарные завсегдатаи, что в подобных обстоятельствах надо следовать примеру непобедимого в своей логике мудреца, который стал молча шагать перед последователями Пиррона, отрицавшими движение. Этому смелому человеку как раз не хватало смелости опытных любовников, отлично изучивших формулы женской алгебры. Женщины, даже самые добродетельные, так часто становятся жертвой искушенных в любви соблазнителей, которых толпа заклеймила язвительной кличкой. Не потому ли, что те являются великими мастерами наглядного доказательства и что любовь требует, помимо нежных поэтических чувств, несколько больше геометрии, чем обычно думают? Надо сказать, что герцогиня и Монриво были под стать друг другу в одном: оба они были одинаково неопытны в любви. Она плохо разбиралась в теории, совсем не знала практики, ничего не чувствовала и обо всем рассуждала. Монриво плохо знал практику, совершенно не знал теории и слишком глубоко чувствовал, чтобы рассуждать. Обоих тяготило это странное положение. В эту решительную минуту мириады мыслей, теснившихся в его мозгу, свелись к одной: «Отдайтесь мне!» Требование, невыносимо эгоистичное по отношению к женщине, у которой слова эти не будили никаких воспоминаний и не вызывали никаких обра-

зов. Однако он должен был отвечать. Хотя вся кровь его кипела от ее колких фраз, отточенных, холодных, язвительных, вонзающихся словно стрелы одна за другой, Монриво старался сдержать свое бешенство, чтобы какой-нибудь сумасбродной выходкой не погубить всего.

— Поверьте, герцогиня, я в отчаянии, что господь бог не изобрел для женщин иного способа подтвердить дар своего сердца, как отдаваясь безраздельно. Вы цените свою особу столь высоко, что и я, естественно, должен ценить ее не меньше. Если вы принесли мне в дар свою душу и все ваши помыслы, как вы уверяете, то что вам стоит подарить и остальное? Впрочем, если подарить мне счастье — такая тяжелая жертва для вас, не будем об этом говорить. Однако вы должны простить человеку с гордой душой, что он чувствует себя оскорбленным, когда с ним обращаются, как с собачонкой.

Тон этих последних слов испугал бы, вероятно, всякую другую женщину, но когда юбка возомнит себя выше всего на свете, предоставляя обожествлять себя, ни один земной властитель не сравнится с ней высокомерием.

— Поверьте, маркиз, я в отчаянии, что господь бог не изобрел для мужчины иного более достойного способа подтвердить дар своего сердца, как изъявляя самые низменные вожделения. Если женщина, отдаваясь самозабвенно, становится рабыней, то мужчина, овладев ею, не связывает себя ничем. Кто мне поручится, что я всегда буду любима? Нежные ежеминутные проявления любви, вместо того чтобы привязать, может быть, напротив, оттолкнут вас и заставят покинуть меня. Я не желаю стать вторым изданием госпожи де Босеан. Кто знает, что́ именно привязывает к нам мужчин. В иных из вас можно поддерживать постоянство лишь постоянной холодностью; другим нужна вечная преданность, непрестанное обожание; тех привлекает кротость, этих — деспотизм. Ни одна женщина еще не научилась читать в ваших сердцах.— Помолчав немного, она заговорила другим тоном: — Поймите, друг мой, нельзя же запретить женщине с трепетом задавать себе вопрос: «Будет ли он любить меня всегда?» Как ни жестоки мои слова, они вызваны страхом потерять вас. Великий боже! Ведь это не я говорю, дорогой мой, это во мне говорит рассудок;

и откуда только он взялся у такого безрассудного создания? Право, я и сама не понимаю!

Услыхать такой ответ, начатый в едком, насмешливом тоне и законченный самым нежным, мелодичным голосом, какой когда-либо женщина пускала в ход, чтобы выразить любовь со всей непосредственностью,— не значило ли это перенестись в одно мгновение из ада в небеса? Монриво побледнел и впервые за всю свою жизнь упал на колени перед женщиной. Он целовал край ее платья, ее ноги, ее колени; впрочем, соблюдая честь Сен-Жерменского предместья, остережемся разглашать тайны будуаров, где любви разрешалось все, кроме того единственного, чем можно доказать любовь.

— Антуанетта, дорогая,— вскричал Монриво, счастливый и восхищенный полной покорностью герцогини, которая гордилась своим великодушием, позволяя себя обожать,— да, ты права, я не могу допустить, чтобы ты сомневалась во мне. Я тоже трепещу при мысли, что мой ангел-хранитель покинет меня, я хотел бы связать нас с тобой неразрывными узами.

— А, вот видишь,—прошептала она,— значит, я была права.

— Позволь мне договорить,— продолжал Арман,— и я рассею все твои опасения единым словом. Послушай, я заслуживал бы самой страшной казни, если бы покинул тебя. Предайся мне всецело, я дам тебе право убить меня, если я изменю. Я собственноручно напишу письмо, где объясню, какие причины побудили меня покончить с собой; наконец я сделаю свои последние распоряжения. В твоих руках будет завещание, объясняющее мою смерть, и ты сможешь отомстить, не опасаясь ни божьего, ни людского суда.

— Зачем мне такое письмо? Если я потеряю твою любовь, для чего мне жизнь? Если бы я захотела тебя убить, разве не последовала бы я за тобой? О нет, благодарю тебя за эту мысль, но письма мне не нужно. Возможно, я стала бы подозревать, что ты верен мне только из страха, возможно также, что измена, связанная с опасностью, показалась бы заманчивой тому, кто привык рисковать жизнью. Нет, Арман, то единственное, чего я прошу, труднее всего исполнить.

— Чего же ты хочешь в конце концов?

— Твоего повиновения и полной моей свободы.

— Боже,— воскликнул он,— ты играешь со мной, как с ребенком!

— Да, ты упрямый и балованный ребенок,— сказала она, лаская густые кудри на его голове, приникшей к ее коленям,— о да, балованный и любимый гораздо более, чем он думает, и, однако, ужасно непослушный. Неужели вам мало того, что есть? Неужели нельзя пожертвовать ради меня желаниями, которые меня оскорбляют? Неужели нельзя довольствоваться тем, что я предлагаю, если это все, что я могу даровать, не теряя чести? Разве вы не счастливы теперь?

— О да,— отвечал он,— я счастлив, когда меня не мучают сомнения. Ах, Антуанетта, усомниться в любви все равно, что умереть.

Он стал вдруг красноречивым, обаятельным, каким был на самом деле, какими становятся все мужчины, воспламененные желанием. Вкусив дозволенных наслаждений, установленных, вероятно, каким-нибудь тайным иезуитским указом, герцогиня упивалась теперь любовными речами Армана, которые стали ей так же необходимы, как светское общество, опера и балы. Быть возлюбленной человека выдающегося, сильного, грозного для всех, обратить его в ребенка, играть с ним, как Поппея с Нероном,— много женщин, подобно супругам Генриха VIII, поплатились за это счастье кровью и жизнью. Какое странное предчувствие! Давая ему ласкать свои прелестные белокурые локоны, которые он любил перебирать пальцами; ощущая прикосновение маленькой руки этого большого человека; играя непокорными прядями его черных волос, здесь, в тиши будуара, в своем царстве, герцогиня не могла избавиться от мысли: «Этот человек способен убить меня, если догадается, что я над ним потешаюсь».

Господин де Монриво до двух часов ночи оставался у своей возлюбленной, которая в эти минуты не была для него ни герцогиней, ни урожденной Наваррен; Антуанетта притворялась так ловко, что казалась просто женщиной. В этот сладостный вечер, во время самого нежного предисловия, какое когда-либо парижанка предпосылает своему так называемому «падению», она, хотя и не без жеманства и притворной стыдливости, разрешила

генералу любоваться своей девственной красотой. Он искренне принимал ее сопротивление и все ее причуды за стыдливые покровы небесной души, которые надо было совлечь один за другим, подобно одеяниям, скрывающим ее обворожительную красоту. Герцогиня казалась ему самой наивной, самой несравненной из любовниц, он выбрал бы ее из всех женщин. Он ушел от нее вне себя от счастья, уверенный, что, подарив ему столько доказательств любви, она уже не может не признать его отныне своим тайным супругом, своим избранником перед богом. Погруженный в эти наивные мысли, свойственные тем, кто, наслаждаясь любовью, сам чувствует всем сердцем налагаемые ею обязательства, Арман медленно возвращался домой. Он шел вдоль набережных, чтобы видеть как можно больше открытого пространства, ему хотелось расширить небосвод и всю природу, до того полна была его душа. Его легкие, казалось, вдыхали больше воздуха, чем накануне. По пути он вопрошал свое сердце и давал клятву любить эту женщину с таким благоговением, чтобы она постоянно, ежедневно в самом счастье обретала искупление своего греха перед обществом. Сладостные восторги жизни, бьющей через край! Люди, способные отдаться всей душой одному-единственному чувству, испытывают неизъяснимое блаженство, созерцая во внезапном озарении вечный, неугасимый пламень жизни, подобно иным отшельникам, созерцавшим в экстазе сияние божества. Не будь этой веры в вечность, любовь ничего бы не стоила; только постоянство делает ее великой. Именно так понимал страсть Монриво, возвращаясь домой в упоении счастья. «Теперь мы принадлежим друг другу навеки!» Эта мысль служила ему талисманом для осуществления его заветных мечтаний. Он и не спрашивал себя, изменится ли герцогиня, долго ли продлится их любовь; нет, он обладал твердой верой — добродетелью, на которой зиждется для христианина загробное блаженство и которая, быть может, еще более необходима для общества. До сих пор он отдавал себя деятельности, требующей непомерного напряжения человеческих сил и беззаветной солдатской храбрости,— теперь он впервые постигал жизнь чувством.

На другой день поутру г-н де Монриво заехал в Сен-Жерменское предместье. У него было деловое свидание

по соседству с особняком де Ланже, и, покончив с делами, он отправился туда, как к себе домой. Генерал шел в сопровождении человека, которого в свете считали его врагом. Это был маркиз де Ронкероль, прославленный герой парижских будуаров, кумир парижской молодежи, человек умный, одаренный и прежде всего смелый, любимец женщин, который внушал зависть как своими успехами, так и обширным опытом и обладал к тому же богатством и высоким происхождением, придающим в Париже особый блеск всем достоинствам баловней моды.

— Куда ты идешь? — спросил г-н де Ронкероль у Монриво.

— К госпоже де Ланже.

— Да, правда, я и забыл, что ты попался к ней в сети. Ты только даром растрачиваешь на нее свою любовь, ты мог бы сделать гораздо лучший выбор. Я подыскал бы тебе в банковских кругах десяток женщин в тысячу раз лучше этой титулованной куртизанки, которая в мыслях так же бесстыдна, как другие, более непосредственные, в своих...

— Что ты говоришь, друг мой! — воскликнул Арман, перебивая Ронкероля.— Герцогиня — ангел чистоты.

Ронкероль рассмеялся.

— Ну, уж если ты дошел до этого, голубчик,— сказал он,— я должен тебя просветить. Только один вопрос — это останется между нами: герцогиня отдалась тебе? В таком случае мне нечего возразить. Ну-ка, признайся по секрету. Ведь речь идет о том, чтобы ты не загубил свою благородную душу, не терял бы время зря, возделывая неблагодарную почву, где бесплодно зачахнут все твои надежды.

Когда Арман чистосердечно обрисовал ему свое положение, не забыв упомянуть о всех милостях, достигнутых ценою мучительной борьбы, Ронкероль так зло расхохотался, что всякому другому это могло бы стоить жизни. Но видя, как они смотрели друг на друга и тихо беседовали с глазу на глаз под стеной на перекрестке, столь же далекие от толпы, как посреди пустыни, всякий бы понял, что их связывала неразрывная дружба и никакие жизненные обстоятельства не могли их поссорить.

— Милый Арман, отчего ты мне сразу не сказал, что у тебя не ладится дело с герцогиней! Я дал бы тебе не-

сколько полезных советов и помог бы довести эту интригу до благополучного конца. Узнай прежде всего, что женщины нашего Сен-Жерменского предместья, как и все прочие, охотно тешатся любовью, только они хотят обладать, не отдаваясь сами. Они вошли в сделку с природой. Казуистика исповедальни разрешает им почти все, кроме плотского греха. Мелкие поблажки, которыми угощает тебя очаровательная герцогиня,— это грешки простительные, она смывает их святой водой покаяния. Но если бы ты осмелился решительно потребовать, чтобы она совершила великий смертный грех, который, естественно, важнее всего для тебя, ты бы увидел, с каким негодованием и презрением она тут же захлопнула бы перед тобой двери будуара и своего дома. Нежная Антуанетта немедленно позабудет все, она вычеркнет тебя из своей жизни. Милый друг, она равнодушно смоет твои поцелуи вместе с помадой. Герцогиня сотрет воспоминание о твоей любви, точно румяна со щек. Женщины такого сорта нам отлично знакомы, это истые парижанки. Случалось ли тебе видеть гризетку, которая бежит по улице мелкими шажками? Головка ее просится на полотно: миленькая шляпка, свежие щечки, прелестная прическа, лукавая улыбка, а сама одета неряшливо, кое-как. Разве не похож мой портрет? Вот она, парижанка. Она знает, что в толпе видна одна голова, и отдает своей головке все тщеславные заботы, все украшения. Так вот, у твоей герцогини тоже ничего нет, кроме головы, она чувствует головой, сердце у нее — в голове, голос — головной, все пристрастия головные. Мы прозвали это жалкое существо современной Лаисой. Она дурачит тебя, как ребенка. Если ты сомневаешься, можешь убедиться в этом сегодня вечером, нынче утром, сию минуту. Ступай к ней и потребуй, решительно потребуй того, в чем тебе отказывают. Даже если ты примешься за дело, как покойный маршал Ришелье, ты не добьешься ни черта.

Арман был ошеломлен...

— Ты что, влюблен в нее без памяти?

— Я хочу ее добиться во что бы то ни стало! — воскликнул Монриво в отчаянии.

— Ну, так слушай. Будь столь же непреклонен, как она, постарайся унизить ее, уязвить ее тщеславие, воспламенить не сердце, не ум, а нервы и лимфу этой женщины,

и нервной и лимфатичной одновременно. Если тебе удастся пробудить в ней желание, ты спасен. Только брось свою детскую наивность. Если, стиснув ее в своих орлиных когтях, ты дрогнешь, отступишь, если хоть бровью поведешь, если она догадается, что еще может одержать верх, она увернется, ускользнет из твоих когтей, как угорь, и больше тебе ее не поймать. Будь неумолим, как закон. Будь безжалостен, как палач. Укроти ее ударами. Ударив раз, ударь еще. Бей ее без передышки, как бьют кнутом. Герцогини тверды, как камень, дорогой Арман, женщины этой породы смягчаются только от ударов; страдания пробуждают в них сердце, их надо бить из милосердия. Бей же ее беспощадно. Когда от боли размягчатся ее мускулы, ослабнут ее нервы— такие нежные и чувствительные, как тебе казалось,— заставь биться ее черствое сердце. Оно станет эластичнее в этой игре; а когда рассудок будет укрощен, тогда, быть может, твоя страсть оживит металлические пружины этой сложной машины, которая умеет лить слезы, кривляться, падать в обморок, произносить сладкие слова,— и ты увидишь великолепнейший пожар, если только сумеешь разжечь пламя. Эта стальная конструкция в женском обличье раскалится докрасна, словно железо в горне; пыл ее долго не остынет, и жар накала может обратиться в любовь. Однако я все-таки сомневаюсь. Да и стоит ли герцогиня стольких трудов? По правде сказать, ей бы не мешало предварительно попасть в обучение к такому повесе, как я; я бы сделал из нее очаровательную женщину, в ней чувствуется порода; боюсь, что вдвоем вы с ней не одолеете и любовной азбуки. Впрочем, ты влюблен и пока еще не можешь разделить моих мыслей на этот счет... Что же, желаю вам всяческих радостей, дети мои,— смеясь, добавил Ронкероль после некоторого раздумья.— Что касается меня, я предпочитаю женщин доступных; те по крайней мере ласковы, любовь их естественна, без светских прянностей и приправ. Ах, бедняга, на что нужна женщина-недотрога, которая жаждет только любовного поклонения? Одну такую, пожалуй, стоит завести, как породистую скаковую лошадь, и в этой борьбе исповедальни с кушеткой, белого с черным, королевы с шутом, упреков совести с наслаждениями видеть лишь весьма увлекательную партию в шахматы. Мало-мальски искусный игрок,

вная игру, при желании делает мат в три хода. Если бы я завел себе женщину такого сорта, я задался бы целью...

Он что-то шепнул на ухо Арману и тотчас покинул его, чтобы не слышать ответа.

Монриво, не теряя ни минуты, устремился во двор особняка де Ланже, поднялся к герцогине и без доклада вошел к ней, прямо в ее спальню.

— Что вы делаете! — вскричала герцогиня, поспешно запахнув пеньюар.— Арман, вы ужасный человек. Оставьте меня, прошу вас. Ну, уходите же, уходите. Подождите меня в гостиной. Ступайте.

— Ангел мой,— возразил он,— разве у супруга нет никаких прав?

— Ах, боже мой, но супруг или любовник — как его ни называть,— не смеет врываться к жене таким образом. Это дурной тон, это отвратительно, сударь.

Он подошел, обнял ее и крепко сжал в объятиях.

— Прости меня, дорогая Антуанетта, но меня терзают тяжкие подозрения.

— Подозрения? Фи, какой стыд!

— Однако подозрения почти оправдались. Если бы ты любила меня, неужели ты сердилась бы на меня сейчас, неужели не обрадовалась бы моему приходу, не затрепетала бы от счастья? Даже у меня, хоть я и мужчина, замирает сердце при одном звуке твоего голоса. Часто на балу мне так и хочется кинуться тебе на шею.

— Ну, знаете, если я навлекла ваши подозрения тем, что не бросаюсь вам на шею при всех, то боюсь, вы будете подозревать меня всю жизнь. В сравнении с вами Отелло просто младенец.

— Ах! Вы не любите меня! — воскликнул он в отчаянии.

— По крайней мере в данную минуту вы мало привлекательны, согласитесь сами.

— Как, я еще должен стараться вам понравиться?

— Еще бы, конечно. А теперь,— проговорила она повелительным голоском,—ступайте, оставьте меня. Я не похожа на вас, я всегда хочу вам нравиться.

Ни одна женщина не умела лучше г-жи де Ланже говорить дерзости с изысканной любезностью. Не становились ли они от этого вдвое обиднее? Не могло ли это привести в ярость самого сдержанного человека? Ее глаза,

звук ее голоса, поза свидетельствовали о полном самообладании, совершенно несвойственном женщине любящей, которая вся трепещет в присутствии любимого человека. Благодаря урокам маркиза де Ронкероля, а также благодаря внутреннему чутью, свойственному в минуту страсти и наименее проницательным людям, Арман угадал, какая страшная правда крылась в непринужденном спокойствии герцогини, и в сердце его поднялась буря, словно в озере, готовом выйти из берегов.

— Если вчера ты говорила правду, отдайся мне, Антуанетта,— вскричал он, устремляясь к ней,— я хочу...

— Прежде всего не компрометируйте меня,— перебила она холодно, отталкивая его с силой.— Вас может услышать горничная. Извольте держать себя учтиво. Вечером в будуаре ваша фамильярность уместна, но здесь она недопустима. Затем, что значит ваше «я хочу»? Скажите пожалуйста,— я хочу! Никто еще так со мной не говорил. Это смешно, это просто глупо.

— Значит, вы не уступите мне в этом вопросе? — спросил он.

— Как, вы называете вопросом свободу располагать собой? Не спорю, это вопрос весьма существенный, и позвольте решить его мне самой.

— А если я потребую, чтобы вы исполнили свои обещания?

— Что же, вы только докажете, что было величайшей ошибкой давать вам самые пустячные обещания; я не так глупа, чтобы их исполнять. Оставьте меня в покое, прошу вас.

Монриво побледнел и бросился к ней; герцогиня позвонила и, когда вошла горничная, сказала ему с любезной и насмешливой улыбкой:

— Будьте добры, подождите, пока я оденусь.

И тут Арман де Монриво понял всю жестокость этой женщины, холодной и неумолимой, как стальное острие, всю беспощадность ее презрения. В один миг она порвала все узы, столь прочные в глазах ее любовника. По лицу Армана Антуанетта угадала тайные намерения, с какими он пришел, и сочла момент подходящим, чтобы доказать этому наполеоновскому солдату, что герцогини принимают любовь, но не отдаются и что завоевать их труднее, чем покорить всю Европу.

— Мне некогда ждать, сударыня,— сказал Арман.— Вы сами сказали, что я балованный ребенок. Когда я серьезно пожелаю того, о чем мы говорили, я добьюсь своего.

— Добьетесь своего? — переспросила она высокомерно, но все же несколько смущенно.

— Добьюсь.

— Ах, доставьте мне удовольствие, пожелайте. Вот забавно! Интересно посмотреть, как вы приметесь за дело.

— Я в восторге, что мне удалось хоть чем-то заинтересовать вас,— ответил Монриво со странным смехом, испугавшим герцогиню.— Разрешите мне заехать вечером и проводить вас на бал.

— Очень благодарна и польщена. Но господин де Марсе опередил вас, я уже ему обещала.

Монриво сухо поклонился и вышел.

«Итак, Ронкероль прав,— подумал он.— Ну что же, сыграем партию в шахматы».

С этой минуты он затаил свои чувства под маской невозмутимого спокойствия. Ни один человек не в силах вынести подобный резкий переход от высшего счастья к жестоким страданиям. Неужели он изведал блаженство лишь для того, чтобы еще сильнее ощутить всю прежнюю пустоту своей жизни! В душе его клокотала буря; но он умел страдать и стойко выдерживал натиск мучительных мыслей, как гранитный утес — валы разъяренного океана.

«Я ничего не нашелся ей сказать; при ней я теряюсь. Она сама не понимает, какое она низкое и презренное существо. Никому еще не удалось показать этому созданию его истинную сущность. Вероятно, она мучила многих мужчин, я отомщу ей за всех».

Впервые, может быть, любовь и чувство мести слились в человеческом сердце так неразрывно,— и Монриво сам не мог бы решить, что больше его терзает: любовь или жажда мщения. В тот же вечер он поехал на бал, где должна была присутствовать герцогиня де Ланже, и почти отчаялся одержать победу над этой женщиной, в которой ему чудилось что-то демоническое. При всех она обращалась с ним любезно, дарила ему ласковые улыбки, вероятно, не желая вызывать подозрений, будто она скомпрометировала себя с г-ном де Монриво. Если бы хмурились

они оба, все заключили бы, что дело нечисто. Видя же, что в обхождении герцогини ничто не изменилось, тогда как маркиз печален и угрюм, легко было предположить, что Арман ничего не добился. Свет безошибочно угадывает огорчения отвергнутого вздыхателя, не путая их с теми ссорами, которые иные женщины притворно разыгрывают с любовниками, чтобы скрыть взаимную любовь. И все смеялись над Монриво, который лишен был советов своего руководителя, а потому казался рассеянным и удрученным,— г-н де Ронкероль, вероятно, велел бы ему скомпрометировать герцогиню, отвечая страстными взглядами на ее лживую любезность. Арман де Монриво уехал с бала, проклиная природу человеческую, все еще не в силах поверить в такую чудовищную извращенность.

«Неужели не сыщется палача для подобных преступлений? — говорил он себе, глядя на окна ярко освещенных залов, где танцевали, болтали и смеялись самые обворожительные женщины Парижа.— Погоди, сиятельная герцогиня, я сам схвачу тебя за шиворот и полосну по шейке железом поострее, чем нож на Гревской площади. Сталь против стали, посмотрим, чье сердце разит больнее».

Почти целую неделю г-жа де Ланже дожидалась маркиза де Монриво, но Арман ограничивался тем, что каждое утро посылал в особняк де Ланже свою визитную карточку. При виде этой карточки герцогиня всякий раз невольно содрогалась, пораженная какой-то зловещей мыслью, смутной, как предчувствие беды. То ей чудилось, что ее хватает за волосы могучая рука этого неумолимого человека, то это имя будило в ее живом воображении картины мести, одна другой ужаснее. Она слишком хорошо изучила Монриво, чтобы не страшиться его. Не задумал ли он убить ее? Может быть, этот силач с бычьей шеей вспорет ей живот и швырнет ее наземь через голову? Может быть, растопчет ее ногами? Когда, где, как настигнет он ее? Долго ли он станет ее мучить, какими пытками задумал он ее пытать? Она горько раскаивалась. В иные минуты, если бы он пришел, она кинулась бы в его объятия в страстном порыве. Каждый вечер, засыпая, она видела лицо Монриво, то его горькую усмешку, то грозно нахмуренные, как у Юпитера, брови, то львиный взгляд, то горделиво расправленные плечи, и ей станови-

лось страшно. Наутро ей мерещилось, что его карточка залита кровью. Она жила в постоянной тревоге, это имя волновало ее больше, чем сам ее неистовый, упрямый, требовательный любовник. Молчание еще усугубляло ее боязливые предчувствия, она готовилась к жестокой борьбе совсем одна, без чьей-либо помощи, не смея ни к кому обратиться. Ее гордое и жестокое сердце оказалось более чувствительным к щекочущим уколам ненависти, чем некогда к любовным ласкам. Ах, если бы генерал мог увидеть, как его возлюбленная, наморщив лоб, в горестном раздумье сидит в тиши будуара, где он изведал столько радостей, в нем разгорелись бы великие надежды. Не является ли гордость одним из тех чувств, которые побуждают на благородные поступки?

Хотя г-жа де Ланже никому не поверяла своих мыслей, мы вправе предполагать, что Монриво был ей теперь далеко не безразличен. Занять воображение женщины — это уже величайшая победа для мужчины. В ее чувствах должен произойти перелом в ту или другую сторону. Бросьте женщину под копыта бешеной лошади или натравите на нее дикого зверя,— конечно, она падет на колени и будет ждать смерти; но если зверь пощадит и не тронет ее, она влюбится в коня, во льва, в быка и признается в этом без стеснения. Герцогиня чувствовала себя в когтях льва; она испытывала ужас, но отнюдь не ненависть. Два противника, находящиеся в столь странных отношениях друг с другом, три раза за последнюю неделю встречались в свете. И всякий раз на кокетливые вопросы герцогини Арман отвечал почтительным поклоном и такой жестокой иронической улыбкой, что ее утренние зловещие страхи, вызванные визитной карточкой, лишь возрастали. Жизнь наша зависит только от чувств, а чувства разделили их бездонною пропастью.

В начале следующей недели сестра маркиза де Ронкероля графиня де Серизи давала большой бал, на котором должна была присутствовать г-жа де Ланже. Первый, кого увидела герцогиня при входе в зал, был Арман; на этот раз Арман ждал ее, так ей почему-то показалось. Они обменялись взглядами, и вдруг она вся покрылась холодным потом. Ей почудилось, что Монриво придумал какую-то страшную, неслыханную месть, соответствующую его характеру; месть была изобретена, подготов-

лена, она бурлила, она кипела. Глаза отвергнутого любовника метали молнии, лицо его горело ненавистью и злорадством. Как ни стремилась герцогиня сразить его холодным и дерзким взглядом, глаза ее померкли. Она подошла к графине де Серизи, и та невольно воскликнула:

— Антуанетта, дорогая, что с вами? На вас страшно смотреть.

— Ничего, все пройдет во время танцев,— ответила она, подавая руку склонившемуся перед ней молодому человеку.

Госпожа де Ланже закружилась в вальсе в каком-то бешеном исступлении, трепеща под тяжелым взглядом Монриво. Тот стоял впереди зрителей, наблюдавших за танцорами. Всякий раз, как его любовница, кружась, проносилась мимо него, он впивался в нее глазами, как тигр в свою добычу. Когда вальс кончился и Антуанетта села возле графини, маркиз, не спуская с нее глаз, завязал беседу с каким-то незнакомцем:

— Знаете, сударь, особенно поразили меня во время этого путешествия...

Герцогиня вся обратилась в слух.

— ...слова сторожа в Вестминстере, когда он показывал топор, которым палач в маске отрубил голову Карлу Первому,— эти слова, по преданию, произнес сам король, предостерегая какого-то любопытного.

— Что же он сказал? — спросила г-жа де Серизи.

— *Не прикасайтесь к секире*,— ответил Монриво, и в голосе его звучала угроза.

— Право, маркиз,— сказала герцогиня де Ланже,— повторяя эту старую историю, известную всем, кто бывал в Лондоне, вы бросаете такие злодейские взгляды на мою шею, будто и впрямь у вас в руках топор.

Герцогиня говорила это смеясь, хотя у нее выступил холодный пот.

— Однако эта старая история неожиданно обрела новизну,— возразил он.

— Как так? Объясните, бога ради, почему?

— Потому, сударыня, что вы прикоснулись к секире,— тихо прошептал Монриво.

— Вот так пророчество, нечего сказать! — воскликнула она с деланным смехом.— Когда же моя голова должна скатиться с плеч?

— Я не хотел бы, чтобы пала ваша прелестная головка, герцогиня. Я предвижу только, что вам грозит большое несчастье. Если бы вас остригли, например, разве не жаль было бы вам ваших чудесных белокурых кудрей, которыми вы так искусно умеете обольщать?..

— Но женщины любят приносить жертвы своим избранникам, даже тем, кто не умеет простить им случайной вспышки гнева.

— Хорошо. Ну, а если какой-нибудь чародей химическим способом лишил бы вас красоты, обратив в столетнюю старуху, хотя сейчас вам нельзя дать больше восемнадцати лет?

— Ах, сударь,— перебила она,— оспа для нас, женщин, та же битва при Ватерлоо. Только тут мы узнаем, кто нас истинно любит.

— И вы не сожалели бы о своем обворожительном личике?

— Еще бы, конечно! И не столько из-за себя, сколько из-за того человека, кому оно могло бы доставить радость. Однако, если бы меня полюбили искренне, безгранично, навеки, к чему мне тогда красота? Что вы скажете, Леонтина?

— Это опасная игра,— отвечала г-жа де Серизи.

— Дозволено ли спросить у его величества короля чародеев,— продолжала г-жа де Ланже,—когда же я провинилась, коснувшись секиры,— ведь я еще не бывала в Лондоне...

— Non so [1],— отвечал он с язвительным смехом.

— А когда свершится казнь?

Тут Монриво хладнокровно вынул часы, взглянул на циферблат и произнес с уверенностью, наводящей ужас:

— День еще не кончится, как вас постигнет страшное несчастье.

— Я не ребенок, меня не так легко напугать,— заявила герцогиня,— или, напротив, я ребенок, который не понимает опасности и бесстрашно резвится на краю пропасти.

— Сударыня, я восхищен вашей смелостью,—ответил Монриво, видя, что она собирается танцевать кадриль.

---

[1] Не знаю *(итал.)*.

Несмотря на презрительный вид, с каким герцогиня выслушивала зловещие пророчества Армана, ее охватил настоящий ужас. От гнетущего чувства, вызванного словами ее любовника, ей удалось несколько оправиться лишь тогда, когда Монриво исчез с бала. Герцогиня вздохнула с облегчением, но вскоре, как ни странно, поймала себя на том, что ей недостает его грозного взгляда, до такой степени женская натура падка до сильных ощущений. Сожаление это не было еще любовью, но уже в какой-то мере подготовляло ее. Затем, как бы снова поддавшись тревоге, внушенной Монриво, она припомнила, с каким уверенным видом он смотрел на часы, испугалась и решила уехать. Было около полуночи. Ожидавший ее лакей накинул ей на плечи шубу и пошел вперед, чтобы вызвать ее карету. Сидя в экипаже, она впала в глубокую задумчивость, вполне понятную после предсказаний Монриво. Въехав во двор особняка, она вошла в подъезд, как будто такой же, как в ее доме, и вдруг не узнала своей лестницы. Едва она успела обернуться, чтобы позвать на помощь, как на нее набросились какие-то люди, заткнули ей рот платком, связали ее и куда-то понесли. Она громко закричала.

— Сударыня, нам велено убить вас, если вы будете кричать,— прошептал ей кто-то на ухо.

Герцогиню обуял такой ужас, что она совершенно не отдавала себе отчета, куда и какой дорогой ее несли. Очнувшись, она увидела, что лежит на диване в чужой комнате, в мужской спальне, связанная по рукам и ногам шелковыми шнурами. Она невольно вскрикнула, встретившись глазами с Арманом де Монриво, который, сидя в кресле в домашнем халате, невозмутимо курил сигару.

— Не кричите, герцогиня,—сказал он холодно, вынимая сигару изо рта,— у меня мигрень. Не бойтесь, я развяжу вас. Но выслушайте внимательно то, что я буду иметь честь вам сказать.— И он осторожно распутал веревки, стягивающие ей ноги.— Какой смысл кричать? Все равно никто вас не услышит. Вы слишком хорошо воспитаны, чтобы поднимать шум понапрасну. Если вы не будете благоразумны, если попытаетесь бороться со мной, я опять свяжу вам руки и ноги. Надеюсь, что, все хорошенько обдумав, из уважения к самой себе, вы будете лежать смирно, как будто вы у себя дома, на собственной

кушетке, такая же холодная, как там... Много слез, таясь ото всех, пролил я из-за вас в этой комнате.

Пока Монриво говорил, герцогиня украдкой осмотрелась кругом пытливым женским взглядом — взглядом, который кажется рассеянным, но замечает все. Ей очень понравилась эта комната, отчасти напоминающая монашескую келью. Она носила отпечаток мыслей и чувств ее владельца. Никакие украшения не нарушали одноцветной серой окраски голых стен. На полу расстилался зеленый ковер. Черная кушетка, стол с бумагами, два больших кресла, комод с часами, низкая кровать, покрытая красным сукном с черным греческим орнаментом,— все вместе указывало на простой и строгий уклад жизни. Трехсвечник, стоявший на камине, напоминал своей египетской формой о бескрайных пустынях, где так долго скитался этот человек. Возле кровати, покоившейся на огромных лапах сфинкса, которые выступали из-под складок покрывала, между изножьем и боковой стеной находилась какая-то дверь, скрытая зеленой занавеской с красными и черными кистями, подвешенной на массивных кольцах к перекладине. Дверь, через которую ее внесли незнакомцы, была завешана такой же портьерой, слегка подхваченной шнуром. Окинув взглядом обе занавески, чтобы сравнить их, герцогиня заметила, что дверь возле кровати была отворена и снизу сквозь бахрому пробивался из соседней комнаты красноватый свет. Этот тускло мерцающий огонь естественно возбудил ее любопытство, и она различила в неверном полумраке какие-то неясные странные тени; в ту минуту ей еще не приходило в голову, что опасность могла угрожать ей оттуда, ее живо интересовало совсем другое.

— Сударь, не будет ли нескромностью спросить вас, что вы намерены со мной сделать? — проговорила она дерзким и язвительным тоном.

Герцогиня ожидала, что услышит от Монриво страстные слова любви. Ведь чтобы похитить женщину, надо ее обожать.

— Решительно ничего, сударыня,— отвечал он, с небрежным изяществом пуская вверх кольца дыма,— я задержу вас здесь недолго. Прежде всего я хочу сказать вам, кто вы такая и кто такой я. Когда вы лежите у себя в будуаре, изящно изогнувшись на кушетке, я теряюсь,

я не умею выразить своих мыслей. Притом же у себя дома при малейшем неугодном вам слове вы дергаете шнурок звонка, громко зовете слуг и выгоняете любовника за дверь, как последнего негодяя. Здесь я чувствую себя свободно. Отсюда никто не смеет меня выгнать. Здесь вы на несколько минут в моей власти и соблаговолите меня выслушать. Не опасайтесь ничего. Я похитил вас не затем, чтобы оскорблять вас или чтобы силой добиться того, чего не умел заслужить любовью, чего вы не захотели подарить мне добровольно. Это было бы подло. Вы, может быть, признаете насилие, я же его не допускаю...

Резким движением он швырнул сигару в огонь.

— Сударыня, вас, вероятно, беспокоит дым?

Он встал, вынул из камина раскаленную курильницу и насыпал в нее благовония, чтобы очистить воздух. Изумление герцогини могло сравниться только с ее унижением. Она была во власти этого человека, и он не пожелал воспользоваться своею властью. Глаза его, некогда пылавшие любовью, были спокойны и бесстрастны, как звезды. Дрожь охватила ее. Ужас, который внушал ей Арман, еще усиливался из-за странного оцепенения всего ее тела, напоминавшего состояние во время кошмара, когда хочешь двинуться и не можешь. Страх приковал ее к месту — ей показалось, что огонь, скрытый за занавеской, разгорелся, словно его раздували мехами. Внезапно яркий отблеск пламени осветил трех человек в масках. Страшная картина исчезла так быстро, что герцогиня приняла ее за обман зрения.

— Сударыня,— продолжал Арман, глядя на нее с холодным презрением,— мне достаточно минуты, одной минуты, чтобы отметить своею карой каждый момент вашей жизни,— это единственная вечность, какой я могу располагать. Я ведь не бог. Слушайте меня внимательно,— сказал он, помолчав, и этим как бы подчеркнув значение дальнейших слов.— Любовь всегда явится по первому вашему зову, власть ваша над мужчинами безгранична. Но вспомните, что однажды вы призвали к себе любовь, и она явилась, чистая и доверчивая, какая только может быть на земле; столь же почтительная, сколь пламенная; ласковая, как любовь самой преданной женщины, как нежная привязанность матери к ребенку; настолько вели-

кая, что обратилась в безумие. Вы насмеялись над этой любовью, и вы совершили преступление. Каждая женщина вправе отвергнуть любовь, если чувствует, что не может ее разделить. Мужчина, который любит и не сумел внушить любовь, не ищет сострадания и не имеет права жаловаться. Но, притворяясь влюбленной, привлечь к себе несчастного, одинокого на свете, дать ему познать счастье во всей полноте и потом отнять, украсть у него всякую возможность испытать счастье в будущем, погубить его не только в настоящем, но на всю его долгую жизнь, отравив каждый его час и каждую мысль,— вот что я называю чудовищным злодеянием, герцогиня.

— Сударь...

— Я еще не дал вам разрешения отвечать. Слушайте дальше. Я имею на вас все права, но я буду пользоваться лишь властью судьи над преступником, чтобы пробудить вашу совесть. Если бы в вас не осталось совести, я не стал бы судить вас. Но вы так молоды, мне хочется верить, что сердце ваше еще не совсем очерствело. Если вы достаточно порочны, чтобы совершить преступление, не караемое законами, то еще не настолько низко пали, чтобы не понять моих слов во всем их значении. Я продолжаю.

В эту минуту герцогиня услышала глухой шум каминных мехов, которыми незнакомцы, замеченные ею в соседней комнате, должно быть, раздували огонь, внезапно озаривший портьеру ярким отблеском. Но сверкающий взгляд Монриво приковал ее к месту — она вся трепетала и не могла отвести от него глаз. Как ни велико было ее любопытство, пламенная речь Армана волновала ее сильнее, чем гуденье загадочного пламени.

— Сударыня,— снова заговорил он,— когда парижскому палачу предстоит казнить какого-нибудь жалкого убийцу и положить его на эшафот, где, по велению закона, он должен быть обезглавлен, об этом, как вы знаете, газеты оповещают и богатых и бедных, чтобы одни спали спокойно, а другие не смыкали глаз. Вы— женщина благочестивая, даже немного святоша, так закажите мессу за упокой души этого несчастного: вы из одной с ним семьи, только принадлежите к старшей ветви. Вам подобные могут царствовать спокойно, жить счастливо и беззаботно. Каторжник, понуждаемый нищетой или гне-

всм, только убил человека, а вы, вы убили счастье и жизнь человека, лучшие его надежды, самые дорогие его верования. Тот просто поджидал, кого бы ограбить, он убил помимо своей воли, быть может, из боязни попасть на эшафот; а вы... вы применили все уловки слабости против доверчивой силы; вы приручили сердце своей жертвы, чтобы легче ее растерзать; вы завлекали несчастного ласками, вы не упустили ни одной, чтобы вызвать в нем надежды, желания, мечты о наслаждениях любви. Вы требовали от него несчетных жертв и все их отвергли. Вы показали ему солнечный свет, прежде чем выколоть ему глаза. Изощренная жестокость. В этих подлых поступках есть высшая утонченность, недоступная бедным мещаночкам, над которыми вы так издеваетесь. Они-то умеют отдаваться и прощать, любить и страдать, они подавляют нас, мужчин, величием своей преданной любви. Если подняться в высшие слои общества, там окажется столько же грязи, как и в самом низу; только грязь там затвердела и покрыта позолотой. О да, чтобы в гнусности дойти до совершенства, нужно блестящее воспитание, знатное имя, нужно быть красивой женщиной, герцогиней. Нужно возвыситься надо всем, чтобы пасть так низко. Я плохо выражаю свои мысли, я еще слишком страдаю от ран, нанесенных вами; но не думайте, что я жалуюсь. Нет. В словах моих нет отзвука какой-либо личной обиды, они не содержат никакой горечи. Знайте же, сударыня, я вам прощаю, не жалейте, что вас привезли сюда против воли, вы получили полное прощение... Однако вы будете играть другими сердцами, столь же детски беззащитными, и мой долг оградить их от страданий. Вы внушили мне мысль о правосудии. Искупите вашу вину здесь, на земле, бог простит вам, быть может,— желаю этого от души. Но нет, бог неумолим и покарает вас.

При этих словах у измученной, разбитой женщины выступили на глазах слезы.

— Отчего вы плачете? Останьтесь верной самой себе. Вы смотрели без волнения на муки моего истерзанного сердца. Довольно, сударыня, успокойтесь. Я уже не в силах страдать. Другим вы даровали жизнь, мне же вы даровали небытие. Может быть, вы догадываетесь, что я не принадлежу себе; я должен жить для своих друзей,

мы вместе будем переносить холод смерти и горести жизни. Способны ли вы на это? Не похожи ли вы на хищников пустыни, которые наносят раны, а потом их зализывают?

Герцогиня разрыдалась.

— Уймите слезы, сударыня. Если бы я и поверил им, то для того лишь, чтобы их остерегаться. Просто это одна из ваших обычных уловок. После стольких лукавых ухищрений как могу я поверить, что в вашем сердце есть хоть какое-нибудь искреннее чувство? Отныне вы уже ничем не можете меня взволновать. Я все сказал.

В порыве, исполненном благородства и вместе с тем смирения, герцогиня поднялась с места.

— Вы вправе быть жестоким со мной,— промолвила она, протягивая Арману руку, которую тот не принял,— ваши слова еще недостаточно суровы, я заслуживаю наказания.

— Наказания, герцогиня? Но наказывать—не значит ли любить? Не ждите от меня ничего, что имеет отношение к чувству. Я мог бы стать обвинителем и судьей, тюремщиком и палачом, чтобы воздать вам за то, что вы сделали со мною. Но нет! Сейчас я исполню только свой долг, я не унижусь до мщения. По-моему, самая жестокая месть — пренебречь местью. Кто знает? Не стану ли я устроителем ваших сердечных дел? С нынешнего дня, кокетливо нося позорное клеймо, которым общество метит преступников, вы, может быть, поневоле сравняетесь в честности с ними. И тогда вы полюбите!

Герцогиня слушала со смирением, уже не притворным и не кокетливым, как прежде. Она долго молчала перед тем, как заговорить.

— Арман,— сказала она,— мне кажется, что, противясь любви, я уступала естественной женской стыдливости,— именно от вас я не ждала подобных упреков. Вы пользуетесь моими слабостями и обращаете их в преступления. А вы не подумали, что когда я забывала свой долг, завлеченная любовным любопытством, то наутро терзалась гневом и отчаяньем, что зашла так далеко? Увы, я грешила по неведению! Клянусь вам, я была столь же чистосердечна в своих ошибках, как и в раскаянье. В моей суровости сказывалась любовь еще сильнее, чем в моих ласках. Да и на что, в сущности, вы жалуетесь? Я по-

дарила вам сердце, вы же, не довольствуясь этим, захотели грубо овладеть мною...

— Грубо? — воскликнул г-н де Монриво, но тут же подумал: «Если я начну с ней спорить, я пропал».

— Разумеется, грубо! Вы ворвались ко мне, точно к падшей женщине, забыв об уважении, о почтительности влюбленного. Неужели я не имела права даже размыслить? Ну что же, я все обдумала. Неприличие вашего поведения можно извинить, оно объясняется любовью; позвольте мне думать так и оправдать вас в собственных глазах. Знайте же, Арман, нынче вечером, в тот самый миг, когда вы предрекали мне несчастье, я, наконец, поверила в наше счастье. Да, я оценила ваш прямой и гордый характер: вы дали столько доказательств его благородства... Я была твоей,— прошептала она, склонясь к Монриво.— Да, меня охватило неодолимое желание сделать счастливым человека, перенесшего столько испытаний. Пусть мой повелитель будет достоин меня, пусть он будет велик. Чем выше я себя ставила, тем выше ставила и своего возлюбленного. Доверившись тебе, я видела впереди любовь на всю жизнь, когда ты предвещал мне смерть... Сила всегда соединяется с добротой. Друг мой, ты слишком могуч, чтобы поступить жестоко с бедной женщиной, которая любит тебя. Если даже я виновата, разве мне нет прощения, разве не могу я искупить свою вину? Раскаянье придает любви особую прелесть, я не стыжусь своего раскаянья. Как могла я, одна из всех, не испытать той робости, тех колебаний и опасений, какие испытывают все женщины, готовясь соединиться узами на всю жизнь? Ведь вы, мужчины, разрываете их так легко! Мещаночки, которых вы ставите мне в пример, отдаются, но сопротивляются. Что же, я долго сопротивлялась, но теперь я твоя... Боже, он не слушает меня! — вскричала она, прерывая себя и ломая руки.— Я же люблю тебя, я твоя! — взывала она, падая к ногам Армана.— Твоя, твоя, мой единственный, мой повелитель!

— Сударыня,— сказал Арман, стараясь поднять ее,— Антуанетта уже не может спасти герцогиню де Ланже. Я не верю более ни той, ни другой. Сегодня вы готовы отдаться, а завтра, быть может, отвергнете меня. Никакие силы земные и небесные не могут служить мне по-

рукой вашей верности. Залоги любви остались в прошлом. У нас с вами нет больше прошлого.

В этот миг свет вспыхнул так ярко, что герцогиня невольно повернула голову к портьере и снова явственно увидела трех людей в масках.

— Арман,— сказала она,— я не хотела бы разувериться в вашем благородстве. Почему там посторонние люди? Что вы готовите против меня?

— О том, что здесь произойдет, эти люди будут хранить молчание, так же как и я,— отвечал он.— Смотрите на них, как на мои руки и сердце. Один из них хирург...

— Хирург? — переспросила она.— Арман, друг мой, самая жестокая пытка — это неизвестность. Говорите же, отвечайте: вам нужна моя жизнь? Я отдам ее вам с радостью.

— Вы меня не поняли,— отвечал Монриво,— ведь я говорил о правосудии. Чтобы рассеять ваши опасения,— добавил он холодно, взяв со стола какой-то металлический предмет,— я объясню, какой я вам вынес приговор.

Он показал ей лотарингский крест на стальной рукоятке.

— Двое моих друзей сейчас раскаляют на огне вот такой же крест. Мы выжжем вам метку на лбу, здесь, между бровями, чтобы вы не могли прикрыть его каким-нибудь бриллиантовым украшением и уберечься от любопытных взглядов. Итак, вы будете носить на лбу позорное клеймо, какое ваши братья каторжники носят на плече. Боль не имеет значения, но я опасаюсь нервного припадка или сопротивления...

— Сопротивления? — воскликнула она, радостно всплеснув руками.— О нет, я хочу, чтобы весь свет смотрел на меня. Скорее, мой Арман, заклейми Антуанетту, как твою собственность, как ничтожную твою вещь. Ты требовал от меня залогов любви — все они в одной этой отметине. Ах, я вижу лишь милосердие и прощение, лишь вечное счастье в твоем приговоре... Когда ты наложишь на женщину свое клеймо, когда обратишь ее в свою покорную рабыню, меченную кровавым тавром, о, ты не посмеешь ее покинуть, ты будешь моим навсегда. Обрекая меня на одиночество, ты будешь заботиться о моем счастье; бросить меня мог бы только подлец, а я знаю — ты благороден и великодушен. Но женщина любящая

всегда метит себя сама. Входите, господа, входите, наложите клеймо на герцогиню де Ланже. Она навеки принадлежит господину де Монриво. Входите скорее, входите все, мой лоб пылает жарче, чем каленое железо.

Арман быстро отвернулся: он не мог видеть Антуанетту на коленях, трепещущую от волнения. Он что-то шепнул своим друзьям, и все трое исчезли Женщины, привыкшие проводить жизнь в гостиных, умеют пользоваться игрой зеркал. И герцогиня, желая разгадать чувства Армана, не сводила глаз с его отражения. Арман, не остерегаясь предательского зеркала, дал ей заметить слезы, которые он поспешно смахнул. От этих слез зависело все будущее герцогини. Когда он вернулся, чтобы поднять г-жу де Ланже, она уже встала; она верила, что любима. И потому ее охватили трепет и смятение, когда Монриво обратился к ней тем суровым тоном, каким некогда, играя его любовью, говорила с ним она сама.

— Я решил помиловать вас, сударыня. Поверьте мне, вы можете считать, что этой сцены не было вовсе. Но теперь мы простимся навсегда. Хочу надеяться, что вы были искренни, когда обольщали меня у себя дома на кушетке, искренни и здесь в своих сердечных излияниях. Прощайте. Я ничему больше не верю. Вы продолжали бы мучить меня, вы навсегда остались бы герцогиней. И затем... нет, прощайте, нам никогда не понять друг друга. А теперь,— спросил он вдруг тоном церемониймейстера,— куда прикажете вас отвезти? Угодно ли вам поехать домой или возвратиться на бал к госпоже де Серизи? Я сделал все, что было в моих силах, чтобы репутация ваша не пострадала. Ни ваши слуги, ни гости не подозревают, что произошло между нами за эти четверть часа. Слуги думают, что вы на балу, карета ваша стоит у подъезда госпожи де Серизи и может так же легко оказаться во дворе вашего особняка. Куда вас доставить?

— Куда пожелаете, Арман.

— Армана больше нет, герцогиня. Мы чужие друг другу...

— Везите же меня на бал,— сказала она, желая испытать могущество Монриво,— ввергните вновь в светский ад бедную душу, которая мучилась там и будет

мучиться, если ей не суждено быть счастливой. О друг мой, я, право же, люблю вас, как простая мещаночка. Так люблю, что при всех готова кинуться вам на шею, если вы велите. Постылый свет не развратил меня. Я молода, я стала еще моложе сегодня. Смотри, я дитя, твое дитя, ты создал меня сам. О, не изгоняй меня из рая!

Арман сделал нетерпеливый жест.

— Ах, если я должна уйти, позволь мне взять что-нибудь на память, какой-нибудь пустяк, чтобы спрятать у себя на груди,— лепетала она, завладевая ермолкой Армана и завертывая ее в платок.— О, поверь мне,— продолжала герцогиня,— поверь, я не похожа на светских развратниц; ты их не знаешь и потому не ценишь меня. Знай же — одни отдаются за деньги, других соблазняют подарками, все это гнусно и отвратительно. Ах, я согласна стать простой мещанкой, работницей, если ты предпочитаешь женщин ниже себя и не ценишь тех, в ком преданность сочетается с высоким положением. Ах, Арман, и в нашем кругу встречаются женщины благородные, великодушные, чистые, целомудренные, и тогда они обворожительны. Я хотела бы быть знатнее всех и все принести тебе в жертву; какое несчастье, что я только герцогиня, отчего не рождена я на троне? Я от всего отреклась бы ради тебя. Для тебя я была бы гризеткой, для всех других — королевой.

Он слушал, покусывая сигару.

— Когда вы пожелаете уйти,— сказал он,— предупредите меня.

— Но я хотела бы остаться.

— Это не входит в мои планы!

— Постой, сигара неровно обрезана,— воскликнула она, выхватывая сигару из губ Армана и жадно затягиваясь ею.

— Ты будешь курить? — спросил он.

— Ах, я буду делать все, что тебе угодно.

— Тогда уходите отсюда, сударыня!..

— Я повинуюсь,— прошептала она со слезами.

— Вам придется завязать себе глаза, чтобы не видеть, какой дорогой вас повезут.

— Я готова, Арман,— сказала она, завязывая себе глаза платком.

— Вы что-нибудь видите?

— Нет.

Он тихонько опустился перед ней на колени.

— Ах, я все поняла,— сказала она, невольно наклоняясь к нему пленительным движением, уверенная, что суровое испытание кончилось. Арман хотел поцеловать ее в губы. Она потянулась навстречу.

— Сударыня, вы все видите.

— Но я немножко любопытна.

— Значит, вы и теперь меня обманываете?

— Ну что ж,— вскричала она в бешенстве, с видом оскорбленного величия,— снимите повязку, милостивый государь, и проводите меня, я не открою глаз.

Поверив искренности этого гневного восклицания, Арман повел герцогиню, а она, верная своему слову, честно зажмурила глаза; отечески взяв ее под руку и поддерживая при подъемах и спусках, Монриво ощущал трепетное биение ее сердца, внезапно охваченного любовью. Г-жа де Ланже, счастливая возможностью говорить с ним без слов, не скрывала своих чувств, но Арман остался безучастным, и на нежное пожатие ее пальцев рука его ничего не отвечала. Долгое время они шли рядом, затем он велел ей идти вперед, и, повинуясь ему, она заметила, как бережно он придерживал ее платье, не давая ему зацепиться, когда они проходили через какую-то узкую дверь. Г-жу де Ланже растрогала его заботливость,— она все еще изобличала любовь. Но это было как бы последнее прощание Монриво, ибо он покинул ее, не сказав ни слова. Ощутив теплую атмосферу комнаты, герцогиня раскрыла глаза. Она оказалась в будуаре графини де Серизи, перед камином, совершенно одна. Ее первым побуждением было привести себя в порядок; она быстро оправила платье и восстановила изящество прически.

— Вот вы где, дорогая Антуанетта, а мы-то вас ищем повсюду,— воскликнула графиня, заглянув в дверь будуара.

— Я зашла сюда подышать свежим воздухом,— объяснила герцогиня,— в гостиных нестерпимо жарко.

— Прошел слух, что вы уехали, но мой брат Ронкероль уверяет, что видел ваших слуг в прихожей.

— Душенька, я совсем разбита, позвольте мне отдохнуть здесь.

И герцогиня опустилась на диван.

— Что с вами? Вы вся дрожите.

Вошел маркиз де Ронкероль.

— Боюсь, герцогиня, как бы с вами что-нибудь не приключилось по дороге. Я только что видел вашего кучера, он пьян как стелька.

Не отвечая, герцогиня смотрела на камин, на зеркала, пытаясь угадать, каким путем она сюда попала; странно и дико было оказаться на веселом балу после той ужасной сцены, перевернувшей всю ее жизнь. Ее охватила нервная дрожь.

— У меня расстроены нервы от предсказаний господина де Монриво,— сказала она.— Хоть это и шутка, я все же хотела бы знать, будет ли меня тревожить и во сне секира лондонского палача. До свидания, дорогая. До свидания, маркиз.

Она прошла по залам, выслушивая мимоходом любезности поклонников, показавшиеся ей жалкими. Она поняла, как ничтожно светское общество, если она, такая слабая, такая ничтожная, была в нем королевой. Что значили эти людишки в сравнении с тем, кого она любила всем сердцем, кто вырос в ее глазах до грандиозных размеров, прежде приниженный ею, а теперь, может быть, чрезмерно возвеличенный? Взглянув с невольным любопытством на ожидавшего ее лакея, она увидела, что он совсем сонный.

— Вы не уходили отсюда? — спросила она.

— Нет, сударыня.

Садясь в карету, она обнаружила, что кучер действительно пьян; это испугало бы ее во всякое другое время; но сильные жизненные потрясения исцеляют от мелких страхов. Впрочем, она доехала без всяких происшествий. Дома она почувствовала себя совершенно перерожденной, во власти новых, неизведанных волнений. Отныне для нее существовал только один человек на свете,— вернее, только для него ей хотелось жить. Если физиологи могут легко определить любовь, основываясь на законах природы, то моралистам гораздо труднее это сделать, когда они хотят проследить все формы ее развития в человеческом обществе. Тем не менее, несмотря на ереси бесчисленных сект, нарушающих единство любовной религии, можно провести через все их доктрины ясную и

четкую линию, неуклонную при всех спорах, и, применив ее, объяснить кризис, который испытала г-жа де Ланже, подобно почти всем женщинам. Она еще не любила, ею владела страсть.

Любовь и страсть — различные душевные состояния, хотя их постоянно путают поэты и светские люди, философы и глупцы. Любовь предполагает ответное чувство, уверенность в неизменном счастье и настолько постоянные взаимные наслаждения, настолько полное слияние душ, что возможность ревности исключена. Обладание становится средством, а не целью; неверность заставляет страдать, но не отчуждает; волнение и пылкость чувств не возрастают и не убывают, душа непрестанно ощущает счастье; раздуваемое божественным дыханием, желание длится до беспредельности, окрашивая время одним цветом; жизнь становится лазурной, как безоблачное небо. Страсть — это лишь предчувствие любви, лишь тоска страждущей души по бесконечности. Страсть — надежда, которой, быть может, не суждено оправдаться. Страсть — это и страдание и нравственный перелом; страсть потухает, когда угасает надежда. Нет бесчестья в том, что мужчины и женщины испытывают много страстей и увлечений: так естественно стремиться к счастью! Но любовь бывает в жизни только одна. Итак, все споры о чувствах, письменные или устные, сводятся к одному вопросу: страсть ли это или любовь? Не познав наслаждений, которые укрепляют любовь, любить нельзя, и потому герцогиня попала под иго страсти; она предавалась испепеляющим волнениям, невольным расчетам, неутоленным желаниям — всему, что выражается словом *страсть:* она *страдала*. В ее смятенной душе вздымались бури тщеславия, самолюбия, гордости, высокомерия, все разновидности эгоизма, соединенные вместе. Она сказала мужчине: «Я люблю тебя, я твоя!» Возможно ли, чтобы герцогиня де Ланже произнесла такие слова напрасно? Она должна или быть любимой, или отречься от своей общественной роли. На своем сладострастном ложе, еще не согретом сладострастием, она томилась и металась, повторяя: «Я хочу быть любимой!» Еще не утраченная вера в себя давала ей надежду на успех. Герцогиня была уязвлена, надменная парижанка унижена, женщина грезила о радостях любви, и природа, мстя за потерян-

ное время, распаляла ее воображение неугасимым жаром любовных наслаждений. Она почти достигала чувства любви, ибо среди мучительных любовных сомнений находила счастье уже в том, что могла сказать себе: «Я люблю его». И бога и весь мир она готова была повергнуть к его ногам. Монриво стал теперь ее божеством. Следующий день она провела в каком-то душевном оцепенении, перемежающемся с невыразимыми волнениями плоти. Она написала множество писем и все их изорвала, она строила тысячи невероятных предположений. В тот час, когда, бывало, Монриво посещал ее, у нее явилась надежда, что он придет, и она замерла в сладостном ожидании. Все ее чувства обратились в слух. По временам она закрывала глаза и напряженно прислушивалась к самым отдаленным звукам. Порою она мечтала иметь власть опустошить все пространство между собою и возлюбленным, чтобы в полной тишине различать звуки на огромном расстоянии. В этой сосредоточенности тиканье маятника раздражало ее, точно зловещее бормотанье, и она остановила часы. В гостиной пробило полночь.

— Боже мой! — прошептала она.— Какое счастье было бы увидеть его здесь! А ведь он приходил сюда когда-то, пылая страстью. Голос его звучал в этом будуаре. А теперь здесь так пусто!

Вспоминая, как она разыгрывала тут сцены обольщения, которые и привели их к разрыву, она долго плакала, терзаясь отчаянием.

— Осмелюсь доложить, герцогиня, что уже два часа ночи,— сказала ей горничная,— я думала, что барыне нездоровится.

— Да, пора спать,— отвечала г-жа де Ланже, вытирая слезы,— только запомните, Сюзетта, никогда не входите ко мне без зова, говорю вам это раз навсегда.

Целую неделю г-жа де Ланже посещала все дома, где надеялась встретить г-на де Монриво. Против обыкновения, она приезжала рано и подолгу засиживалась; она больше не танцевала, она играла в карты. Тщетные старания! Ей нигде не удавалось увидеть Армана, а имени его она не осмеливалась произнести. Но как-то вечером, в минуту отчаяния, она спросила у г-жи де Серизи, стараясь придать своему голосу полную беззаботность:

— Уж не рассорились ли вы с господином де Монриво? Я давно не вижу его у вас.

— Так, значит, и у вас он больше не бывает! — сказала графиня со смехом.— Впрочем, его вообще нигде не видно, вероятно, увлекся какой-нибудь женщиной.

— Мне казалось,— продолжала герцогиня кротко,— что маркиз де Ронкероль ему приятель...

— Никогда в жизни не слыхала от брата, что он с ним близок.

Госпожа де Ланже замолчала. Графиня де Серизи, решив, что может безнаказанно подтрунить над тайной привязанностью, которая так долго ей досаждала, возобновила разговор.

— Неужели вы сожалеете об этом угрюмом чудаке? О нем идет ужасная молва: оскорбите его, и он никогда не вернется, никогда не простит; полюбите его, и он прикует вас цепью. Один из тех, кто превозносит его до небес, на все мои замечания отвечал одной и той же фразой: «Он умеет любить». Мне все время твердят: «Монриво на все пойдет ради друга, это великая душа!» Благодарю покорно, общество не нуждается в столь великих душах. Они очень хороши у себя дома, пусть там и остаются, а нас предоставят нашим милым пустякам. Не правда ли, Антуанетта?

При всей своей светской выдержке герцогиня казалась взволнованной, однако ответила самым естественным тоном, обманувшим ее приятельницу:

— Мне жаль, что я больше его не вижу, я интересовалась им и относилась к нему с искренней приязнью. Вы можете смеяться надо мной, дорогая, но я люблю людей высокой души. Отдаться глупцу — не значит ли откровенно признать, что в вас говорит одна чувственность?

Госпожа де Серизи всегда *отличала* самых пошлых молодых людей и в последнее время состояла в связи с красавцем маркизом д'Эглемоном.

Будьте уверены, что графиня не затянула своего визита. Г-жа де Ланже, обнадеженная вестью об уединенной жизни Армана, тотчас же написала ему смиренное и нежное письмо, которое должно было привести его к ней, если он любил ее по-прежнему. Наутро она отправила письмо с лакеем и, когда тот вернулся, спросила, передал

ли он письмо маркизу в собственные руки; получив утвердительный ответ, она помимо воли радостно встрепенулась. Арман был в Париже, проводил время в одиночестве у себя дома, перестал выезжать в свет. Стало быть, она все еще любима. Весь день она ждала ответа, но ответа не было. Изнывая от нетерпения, Антуанетта старалась оправдать эту задержку: Арман, вероятно, занят, ответ придет по почте. Но вечером она уже не могла обманывать себя. Какой ужасный день, полный сладостных мучений, лихорадочного трепета, губительных сердечных порывов! Утром она послала к Арману за ответом.

— Господин маркиз изволил передать, что пожалует лично,— доложил Жюльен.

Она поспешно ушла к себе и бросилась на кушетку, чтобы совладать со своим волнением.

«Он придет!»

Сердце ее готово было разорваться. Горе тем, в ком ожидание не вызывает мучительных бурь, не зарождает восхитительных наслаждений; они лишены божественного огня, который выявляет образы вещей и раскрывает двоякой смысл природы, привязывая нас и к ее чистой сущности и к ее реальности. Любить и ждать — не означает ли непрерывно истощать себя надеждой, подвергать себя бичеванию страсти, жестокой, но и отрадной — ибо она не знает разочарований, приносимых действительностью. Душа, томящаяся ожиданием, исходящая силой и желаниями, не подобна ли цветам, источающим благовонные испарения? Мы скоро охладеваем к яркой и бесплодной красоте хореопсисов и тюльпанов, но впиваем вновь и вновь сладостный аромат флердоранжа и волькамерии, цветов, которые на родине невольно сравнивают с юными влюбленными невестами, прекрасными своим прошлым, прекрасными своим будущим.

Герцогиня изведала радости новой жизни, упоенно предаваясь этому любовному самобичеванию; все ее чувства преобразились, по-новому раскрывая ей смысл и назначение житейских мелочей. Поспешно занявшись своим туалетом, она поняла, что значит изысканность наряда и кропотливые заботы о красоте, когда они вдохновлены любовью, а не тщеславием; уже самые эти приготовления помогли ей перенести долгие часы ожидания. Окон-

чив туалет, она снова почувствовала необычайную тревогу и нервную лихорадку жестокой страсти, приводящей в брожение все мысли, мучительной и болезненно манящей. Герцогиня была готова к двум часам дня, но наступил уже двенадцатый час ночи, а Монриво все не приходил. Описать сердечные муки этой гордой женщины, этого балованного ребенка так же трудно, как взвесить, сколько поэзии может сосредоточиться в одной-единственной мысли, сколько сил источает душа при звуке колокольчика, сколько жизни уносит отчаяние, вызванное стуком кареты, которая проехала мимо.

— Уж не посмеялся ли он надо мной? — промолвила она, услышав, как пробило полночь.

Она побледнела, зубы ее стучали; ломая руки, металась она по будуару, куда так часто входил он без зова. Потом она смирилась. Разве сама она не заставляла его бледнеть и метаться под градом язвительных насмешек? Г-жа де Ланже поняла, как плачевна судьба любящей женщины, которая ведь не имеет возможности действовать подобно мужчинам и принуждена покорно ждать. Пойти первой навстречу возлюбленному — ошибка, которую редко прощают мужчины. Большинство из них думает, что женщина унижает себя, принося этот небесный дар; но Арман был человеком большой души, одним из тех немногих, кто в состоянии понять, что такая несдержанность вызвана вечной любовью.

«Что же, я пойду сама,— решила г-жа де Ланже, ворочаясь без сна в своей постели,— я пойду к нему, протяну ему руку, буду протягивать ее неустанно. Человек возвышенный увидит в каждом шаге, который женщина делает ему навстречу, обеты любви и постоянства. Да, ангелы нисходят к людям с небес, я хочу быть ангелом для него».

На следующий день она написала записку, блистающую остроумием всех десяти тысяч Севинье, которых насчитывает современный Париж. Да, чтобы искусно изливать жалобы, не унижаясь, парить на крыльях, а не влачиться по земле, упрекать не оскорбляя, мило возмущаться, прощать, не роняя себя, сказать все, не признавшись ни в чем,— словом, чтобы написать это очаровательное письмецо, поистине надо было быть герцогиней де Ланже, достойной воспитанницей княгини де Бламон-

Шоври. Жюльен отнес его. Жюльен, подобно всем лакеям, был жертвой маршей и контрмаршей любви.

— Что вам ответил господин де Монриво? — спросила она так равнодушно, как только могла, когда Жюльен давал ей отчет в исполненном поручении.

— Господин маркиз просил передать вашему сиятельству, что, мол, хорошо.

Как трудно подавить движения души! Услышать при любопытных свидетелях волнующее сердце известие и ничем не выдать себя, не проронить ни слова! Одно из тысячи мучений богатых людей.

Целых три недели г-жа де Ланже писала письма г-ну де Монриво, не получая ответа. Наконец она сказалась больной, чтобы избавиться от обязанностей по отношению к принцессе и к светскому обществу. Она принимала только отца — герцога де Наваррена, двоюродную бабку — княгиню де Бламон-Шоври, старого видама де Памье — двоюродного деда с материнской стороны, и дядю своего мужа — герцога де Гранлье. Все они легко поверили в ее болезнь, видя, как она бледнела, худела и таяла день ото дня. Смутные порывы подлинной любви, уколы оскорбленного самолюбия, постоянное презрение со стороны того единственного человека, которого она ценила, вечно пламенеющие и вечно обманутые надежды — вся эта бесполезная трата сил подтачивала ее душу и тело. Она жестоко расплачивалась за свое загубленное прошлое. Наконец она выехала, чтобы присутствовать на параде, где должен был участвовать генерал де Монриво. Сидя с королевской фамилией на балконе Тюильрийского дворца, герцогиня пережила одну из тех восхитительных минут, какие долго не забываются. Она появилась томная и прекрасная, и все глаза обратились к ней с восторгом. Ей удалось обменяться несколькими взглядами с Монриво, и от волнения она стала еще красивее. Генерал проехал почти под самым балконом во всем великолепии военной формы, действующей на женское воображение неотразимо, в чем признаются даже ханжи. Для влюбленной женщины, уже два месяца не видавшей своего избранника, этот краткий миг мелькнул, как некое сновидение, когда глазам мгновенно открывается беспредельный горизонт. Только женщины или юноши могут представить себе, с какой безумной, неистовой жадностью

смотрела на Монриво герцогиня. Что касается мужчин, если им и случалось испытать в юности, в опьянении первой страсти, подобные нервные потрясения, то впоследствии они забывают о них начисто и даже отрицают эти экстазы сладострастия — единственное название, подходящее для таких неизъяснимых откровений. Религиозный экстаз есть безумие мысли, отрешенной от земных уз, тогда как в любовном экстазе смешиваются, сплетаются и сливаются все силы нашей духовной и телесной природы. Если женщина подпадает под ярмо неистовой тиранической страсти, властно захватившей герцогиню де Ланже, то решения сменяют друг друга так стремительно, что невозможно отдать в них отчет. Думы набегают одна на другую и мчатся, словно облака, уносимые ветром в сероватой дымке, заволакивающей солнце.

С этого момента события говорят сами за себя. Вот как развертывались эти события. На следующий день после парада г-жа де Ланже послала свою карету и выездных лакеев к дому маркиза де Монриво, велев дожидаться у дверей с восьми утра до трех часов пополудни. Арман жил на улице Сены, в двух шагах от палаты пэров, где в тот день было назначено заседание. Но еще задолго до того, как пэры начали собираться во дворец, несколько человек заметили выезд и ливрейных лакеев герцогини. Барон де Моленкур, молодой офицер, отвергнутый г-жой де Ланже и пригретый графиней де Серизи, первый узнал ее лакеев. Он тут же поспешил к своей любовнице и рассказал ей под секретом об этой странной выходке. С быстротою молнии новость облетела все кружки Сен-Жерменского предместья, разнеслась при дворе, достигла Елисейского дворца, стала злобой дня и темой всех разговоров с полудня до самого вечера. Почти все женщины на словах отрицали этот факт, но всем своим видом опровергали свои слова; мужчины же верили и выражали г-же де Ланже горячее сочувствие.

— У этого дикаря Монриво железный характер, наверное, он сам потребовал такой скандальной огласки,— говорили одни, обвиняя во всем Армана.

— Честное слово! — говорили другие.— Опрометчивость госпожи де Ланже — верх благородства! На виду у всего Парижа пожертвовать ради любовника своей репутацией, уважением общества, своим положением, со-

стоянием — да это целый переворот в жизни женщины, смелый, точно удар ножом того парикмахера, что так растрогал Каннинга на суде присяжных. Ни одна из наших дам, злословящих о герцогине, не способна на подобную прямоту, достойную древних времен. Так откровенно выдать самое себя — да госпожа де Ланже просто героиня! С этого дня она может любить только одного Монриво. Разве нет величия в словах женщины: «У меня будет одна только страсть»!

— Во что же обратится общество, господа, если вы будете превозносить порок, не почитая добродетели? — возразила жена генерального прокурора, графиня де Гранвиль.

Пока во дворце, в Сен-Жерменском предместье и на Шоссе д'Антен перешептывались, обсуждая крушение этой аристократической добродетели, пока молодые бездельники мчались верхом на улицу Сены, чтобы взглянуть на карету и удостовериться, что герцогиня действительно у г-на де Монриво,— сама она лежала без сил, объятая трепетом, в своем будуаре. Арман, не ночевавший дома, прогуливался с г-ном де Марсе по Тюильрийскому саду. Престарелые родственники г-жи де Ланже посетили друг друга и решили съехаться все вместе у нее в доме, чтобы пожурить ее хорошенько и попытаться замять скандал, вызванный ее поведением. В три часа пополудни герцог де Наваррен, видам де Памье, старая княгиня де Бламон-Шоври и герцог де Гранлье встретились в гостиной г-жи де Ланже, чтобы дождаться ее возвращения. Им, как и всем прочим, слуги объявили, что их госпожи нет дома. Герцогиня не велела делать исключения ни для кого. Эти четыре личности, знаменитые в аристократической сфере, все наследственные притязания и семейные перевороты коей подробно освещаются ежегодно в Готском альманахе, заслуживают краткого наброска, иначе наша картина общественных нравов будет неполной.

Княгиня де Бламон-Шоври была среди женщин наиболее поэтическим обломком царствования Людовика XV, который, если верить молве, своим прозвищем «Возлюбленный» обязан был до некоторой степени и ей в те времена, когда она была молода и прекрасна. От былой красоты у нее остался только орлиный нос — тонкий и выгнутый, как турецкая сабля,— главное украшение

ее лица, напоминающего старую белую перчатку, жидкие волосы, завитые и напудренные, туфли на каблучках, кружевной чепец с бантами, черные митенки и чрезвычайное самодовольство. Чтобы отдать ей полную справедливость, следует добавить, что она была столь высокого мнения о своих увядших прелестях, что выезжала на вечера сильно декольтированная, носила длинные перчатки и по-прежнему подкрашивала щеки знаменитыми в свое время мартеновскими румянами. Зловещая приветливость ее морщинистого лица, необычайный огонь зорких глаз, чопорное достоинство осанки, острый язык с тройным жалом и непогрешимо точная память придавали этой старухе большой вес в обществе. В архиве ее мозга хранились все пергаменты государственных хартий, и она знала наизусть все родственные связи королевских, герцогских и графских домов Европы, вплоть до самых отдаленных потомков Карла Великого. Таким образом, от ее внимания не мог ускользнуть ни один незаконно присвоенный титул. Юноши, заботящиеся о своей карьере, честолюбцы, молодые женщины постоянно являлись к ней на поклон. Ее салон считался одним из самых влиятельных в Сен-Жерменском предместье, где изречения этого Талейрана в юбке имели силу закона. Многие ездили к ней советоваться о правилах этикета, о принятых обычаях, а также учиться хорошему тону. И впрямь, ни одна старуха не умела с таким изяществом прятать в карман табакерку; а ее движения, когда она садилась, скрестив ноги и оправляя юбку, были так уверенны и грациозны, что возбуждали зависть в самых элегантных женщинах. Первую треть своей жизни она говорила звонким голосом, но не могла помешать ему спуститься ниже и теперь произносила слова в нос, с необычайной внушительностью. От ее громадного состояния у нее осталось сто пятьдесят тысяч ливров в лесных угодьях, великодушно возвращенных ей Наполеоном Следовательно, как состояние, так и сама ее особа были весьма значительны. Эта единственная в своем роде древность расположилась у камина в покойном кресле, беседуя с видамом де Памье, другим обломком старины. Знатный старец, бывший командор Мальтийского ордена, высокий, длинный и тощий, неизменно носил слишком тесный воротник, который подпирал его обвисшие щеки и заставлял высоко

держать голову,— манера, обычно указывающая на самодовольство, но у него оправданная вольтерьянским складом ума. Его слегка выпученные глаза, казалось, все видели — и действительно замечали все. Он закладывал себе уши ватой. Его особа являла собою совершенный образец аристократических линий, тонких и хрупких, гибких и изящных, напоминая змею, которая может то извиваться, то выпрямляться, становиться то мягкой, то упругой.

Герцог де Наваррен прогуливался взад и вперед по гостиной в сопровождении герцога де Гранлье. Оба они были еще бодрые старики, лет по пятидесяти пяти, толстые и плотные, упитанные, с несколько багровым цветом лица, с утомленными глазами и уже отвисшей нижней губой. Если бы не их изысканная речь, учтивая любезность, непринужденность, способная порою внезапно обернуться наглостью, поверхностный наблюдатель мог бы принять их за банкиров. Но всякое сомнение рассеивалось, когда вы слышали их разговор, вкрадчивый с теми, кого они опасались, сухой и бессодержательный с равными, полный коварства с низшими, которых придворные и государственные деятели так ловко умеют приручить многоречивой лестью и оскорбить неожиданной дерзостью. Таковы были представители высшей аристократии, желающей или умереть, или остаться такой, как она есть; аристократия достойна в той же мере похвалы, как и порицания и всегда судима несправедливо, пока не найдется поэт, который воспел бы, как умирала она под топором Ришелье, радуясь, что повинуется королю, как умирала в 89 году, презирая гильотину, в которой видела осуществление подлой мести.

Все четверо говорили высоким тонким голосом, необычайно подходящим к их мыслям и обхождению. Все четверо были совершенно равны между собою. Старая придворная привычка таить свои чувства не дозволяла им, вероятно, выражать недовольство по поводу выходки своей юной родственницы.

Чтобы оградить себя от обвинений со стороны критиков в ребячливой нелепости следующей сцены, пожалуй, необходимо указать, что Локк, находясь в обществе английских вельмож, славившихся своим остроумием, изысканными манерами и политическим весом, зло под-

шутил над ними, записав стенографически, особым способом, их разговор, и вызвал взрывы хохота, когда прочитал его им и спросил, какие же выводы можно из него сделать. В самом деле, высшие классы любой страны пользуются особым жаргоном, и если их мишурную болтовню промыть в литературной и философской золе, то на дне останется лишь ничтожная крупица золота. На всех ступенях светского общества, за исключением нескольких парижских салонов, наблюдатель услышит одни и те же нелепости, различающиеся меж собой лишь большим или меньшим слоем лака. В сущности, содержательные беседы являются редким исключением, обычно в светских кругах преобладают глупость и невежество. Если в высших сферах и принято много говорить, зато думают там мало. Думать утомительно, а богачи любят проводить жизнь без труда и усилий. Поэтому, только сравнивая шутки и остроты разных слоев общества, от парижского уличного мальчишки до пэра Франции, наблюдатель может оценить слова г-на де Талейрана: *манеры — это все*, изящный перевод юридической аксиомы: *дело не в содержании, а в форме*. Поэт, несомненно, отдаст предпочтение низшим классам, мысли которых всегда носят яркий и грубоватый поэтический отпечаток. Это отступление отчасти поможет понять также и бесплодие светских салонов, их пустоту, бессодержательность и то отвращение, какое в людях недюжинных вызывает тяжкая необходимость высказывать там свои мысли.

Герцог вдруг остановился, словно его осенила блестящая идея, и обратился к своему соседу:

— Говорят, вы продали Торнтона?

— Нет, он заболел. Я очень боюсь его потерять, это превосходная лошадь для охоты... Не знаете ли вы, как себя чувствует герцогиня де Мариньи?

— Не знаю, я не был у нее сегодня. Я как раз собирался ее навестить, когда вы приехали посоветоваться насчет Антуанетты. Но вчера она была совсем плоха, почти безнадежна, ее даже причащали.

— С ее смертью положение вашего кузена сильно изменится.

— Нимало. Она уже заранее произвела раздел имущества и оставила себе пенсию, которую ей выплачивает

племянница, госпожа де Суланж, получившая большое поместье в пожизненное владение.

— Это будет большой потерей для общества. Прекрасная была женщина. Ее родным будет сильно недоставать ее советов, ее богатого опыта. Между нами говоря, она-то и была главой семьи. Сын ее, Мариньи,— премилый человек, обходителен, хороший собеседник. Он приятен, весьма приятен, этого нельзя отрицать, но... совершенно не умеет себя вести. А между тем ведь он не глуп! На днях он обедал в клубе с этой компанией богачей с Шоссе д'Антен. Его видит ваш дядя, который постоянно ходит туда играть в карты. Удивленный этой встречей, он спрашивает, состоит ли он членом клуба. «О, да,— отвечает тот,— я больше не бываю в свете, я живу с банкирами». И знаете, почему? — спросил маркиз с тонкой усмешкой.

— Нет.

— Он увивается за новобрачной, за малюткой Келлер, дочкой Гондревиля,— говорят, она имеет большой успех в их кругу.

— Однако Антуанетта не скучает, надо полагать,— заметил старый видам.

— Из любви к нашей милой крошке я довольно странно провожу нынче время,— вздохнула княгиня, пряча в карман табакерку.

— Дорогая тетушка, я в отчаянии! — воскликнул герцог, остановившись перед ней,— только солдат Бонапарта способен потребовать от порядочной женщины такого нарушения всех приличий. Сказать по правде, Антуанетта могла бы сделать лучший выбор.

— Но, дорогой друг,— заметила княгиня,— Монриво — фамилия древняя и весьма знатная, они кровно связаны со всей высшей бургундской аристократией. Если бы в Галисии угас род Риводу д'Аршу Дюльменской ветви, к Монриво перешли бы поместья и титулы д'Аршу; он наследует им через прапрадеда.

— Вы уверены?

— Мне известно это лучше, чем покойному отцу Монриво, с которым я часто встречалась; я сама ему это и сообщила. Он смеялся над всем этим, хотя и был кавалером многих орденов; он был приверженцем энциклопедистов. Но брату его это сильно помогло в эмиграции.

Я слыхала, что его северная родня приняла его прекрасно...

— Да, действительно. Граф де Монриво скончался в Петербурге, я знавал его там,— подтвердил видам де Памье.— Это был тучный человек, отличавшийся необычайным пристрастием к устрицам.

— Сколько же он их съедал? — полюбопытствовал герцог де Гранлье.

— По десяти дюжин в день.

— И это не причиняло ему вреда?

— Ни малейшего.

— Скажите, как удивительно! И неужели это не вызывало ни подагры, ни камней в печени, никакого недомогания?

— Нет, он был совершенно здоров и умер от несчастного случая.

— Ах, от несчастного случая! Вероятно, его организм требовал устриц, они были ему необходимы; ведь человеческие потребности являются в некотором роде основой нашего существования.

— И даже его причиной, я с вами согласна,— сказала княгиня, лукаво улыбаясь.

— Ах, сударыня, вы все толкуете в превратном смысле! — засмеялся маркиз.

— Я хочу только указать, что ваши слова могут быть дурно истолкованы какой-нибудь молодой женщиной,— возразила она. И тут же перебила себя, воскликнув: — Но внучка-то, внучка!

— Тетушка,— сказал г-н де Наваррен,— я до сих пор не могу поверить, что она в доме у Монриво.

— Чего не бывает на свете! — вздохнула княгиня.

— А вы как думаете, видам? — осведомился маркиз.

— Я бы поверил, если бы герцогиня была наивна...

— Но, бедный мой видам, женщина влюбленная всегда становится наивной. Вы стареете, как я вижу.

— Однако что же нам делать в конце концов? — спросил герцог.

— Если Антуанетта будет умницей,— отвечала княгиня,— она поедет вечером во дворец; по счастью, нынче понедельник, приемный день при дворе. Ваша задача — сопутствовать ей и опровергнуть эти нелепые слухи. Есть множество способов объяснить что угодно, и если

маркиз де Монриво — человек благовоспитанный, он окажет вам поддержку. Мы заставим образумиться этих глупых детей...

— Однако, дорогая тетушка, с Монриво не легко справиться, ведь это ученик Бонапарта и человек с положением. Ну, как же! Теперь он у власти, он занимает видный пост, в гвардии его очень ценят. Притом он совсем не честолюбив. Если что-нибудь его заденет, он способен сказать королю: «Вот прошение об отставке, оставьте меня в покое».

— Каков его образ мыслей?

— Он неблагонадежен.

— Король,— заявила княгиня,— и впрямь, как был, так и остался якобинцем в геральдических лилиях.

— О, довольно-таки умеренным якобинцем,— возразил видам.

— Неправда, я знаю его давным-давно. Этот человек, когда его жена присутствовала на первом церемониальном обеде, сказал ей, указывая на придворных: «Вот наша челядь»; так мог выразиться только низкий негодяй. Да, узнаю в нем королевского братца былых времен. Нечего удивляться, что дурной брат, который так недостойно голосовал в бюро Учредительного собрания, заигрывает теперь с либералами, позволяя им спорить и разглагольствовать. Помяните мое слово, этот ученый ханжа так же навредит своему младшему брату, как в былое время навредил старшему; я просто не представляю себе, как его преемнику удастся выпутаться из затруднений, которые точно назло ему создает эта жирная громадина с крохотным умишком; ведь он терпеть не может брата и будет злорадствовать, умирая: «Недолго ему придется поцарствовать!»

— Тетушка, это же наш король, я имею честь служить ему...

— Ах, голубчик, разве ваша должность лишает вас права говорить откровенно? Вы такого же знатного рода, как и Бурбоны. Если бы Гизы в свое время действовали порешительнее, его величество был бы теперь ничтожеством. Я вовремя ухожу из этого мира, дворянство умерло. Да, дети мои, для вас все кончено,— вздохнула она, бросив взгляд на видама,— разве в наше время поведение моей внучки вызвало бы так много толков? Она

виновата, не отрицаю, ненужная огласка — большая ошибка; я все еще сомневаюсь в ее неприличной выходке, ведь я сама воспитала ее и знаю...

В эту минуту из будуара вышла герцогиня. Она узнала голос своей бабки и слышала, как произнесли имя Монриво. Она появилась в утреннем туалете, и в этот самый момент г-н де Гранльe, рассеянно глядевший в окно, увидел, что карета племянницы въезжает во двор пустая.

— Милое дитя,— воскликнул герцог, беря ее за голову и целуя в лоб,— разве ты не знаешь, что произошло?

— Случилось что-нибудь необычайное, дорогой батюшка?

— Весь Париж считает, что ты находишься у Монриво.

— Антуанетта, дорогая, ты не выходила из дому, не правда ли? — спросила старая княгиня, протягивая ей руку, которую герцогиня почтительно поцеловала.

— Нет, милая бабушка, я никуда не выходила. Однако,— сказала она, обернувшись, чтобы поклониться виконтессе и маркизу,— я сама хотела, чтобы весь Париж думал, будто я у господина Монриво.

Герцог в отчаянии всплеснул руками, простер их к небу и затем скрестил на груди.

— Да понимаешь ли ты, что повлечет за собой эта выходка? — вымолвил он наконец.

Старая княгиня, вдруг поднявшись с кресла, впилась глазами в герцогиню, которая густо покраснела и потупилась; г-жа де Шоври тихонько привлекла ее к себе, шепнув:

— Дайте я вас поцелую, ангел мой!

Нежно целуя ее в лоб и пожимая ей руки, она продолжала с улыбкой:

— Милая дочка, мы живем не во времена Валуа. Вы порочите честь вашего мужа, губите свое положение в свете; ну, да мы как-нибудь постараемся все исправить.

— Ах, бабушка, но я не желаю ничего исправлять. Мне хочется, чтобы весь Париж знал и говорил, что нынче утром я была у господина де Монриво. Вы мне крайне повредите, если разрушите это убеждение, как бы ложно оно ни было.

— Что же, дочь моя, вы хотите погубить себя и огорчить всех родных?

— Батюшка! Мои родные, принеся меня в жертву интересам семьи, обрекли меня, сами того не желая, на непоправимые несчастья. Вы можете порицать меня за то, что я ищу утешения, но, право же, должны меня пожалеть.

— Вот подите, старайтесь после этого прилично пристроить дочерей! — проворчал г-н де Наваррен на ухо видаму.

— Дитя мое,— сказала княгиня, стряхивая с платья крошки табака,— будьте счастливы, если можете; речь идет не о том, чтобы мешать вашему счастью, но о том, чтобы не нарушать принятых обычаев. Все мы знаем, что брак — установление несовершенное и любовь смягчает его недостатки. Но неужели, заведя любовника, нужно непременно делить с ним ложе посреди площади Карусели? Полноте, будьте рассудительны, выслушайте нас.

— Я слушаю.

— Герцогиня,— начал г-н де Гранлье,— если бы дядюшкам поручили охранять племянниц, их положение в свете стало бы завидным; общество дарило бы им почести, награды, привилегии, точно придворным чинам. Я пришел не ради своего племянника, но исключительно ради ваших интересов. Давайте рассуждать здраво. Если вы идете на разрыв, то выслушайте: я знаю вашего мужа и терпеть его не могу. Ланже скуповат и дьявольски себялюбив; разойдясь с вами, он присвоит ваше состояние, оставит вас без средств, а значит, и без всякого положения. Сто тысяч ливров дохода, унаследованные вами недавно от бабушки с материнской стороны, уйдут на прихоти его любовниц, а вы по закону будете бессильны, связаны по рукам и ногам, принуждены соглашаться на все. Что, если господин де Монриво покинет вас? Господи боже, не гневайтесь, милая племянница, ни один мужчина не бросит вас, пока вы молоды и красивы; однако нам приходилось видеть столько покинутых красавиц, даже среди принцесс крови, что вы разрешите мне допустить такое, хочется думать, невероятное предположение; тогда что с вами станется без супруга? Так берегите же вашего мужа, подобно тому,

как вы бережете свою красоту: красота — это защита женщины в той же мере, как и муж. Но не будем принимать в расчет несчастной развязки, допустим, что вы всегда будете счастливы и любимы. В таком случае, на радость или на горе, у вас родятся дети. Что с ними будет? Они примут имя Монриво? Так нет же, они не унаследуют состояния их отца. Разумеется, вы пожелаете завещать им все, так же как и он,— боже мой, это вполне естественно! Но знайте, закон будет против вас. Сколько на нашей памяти было процессов, затеянных законными наследниками против побочных детей! До сих пор мне слышатся речи прокуроров в трибуналах всего света. Положим, вы прибегнете к фидеикомиссу,— если лицо, которому вы доверитесь, вас обманет, правосудие ничего не сможет поделать, и дети ваши будут разорены. Обдумайте все хорошенько. Поймите, в каком вы затруднительном положении. Что бы ни случилось, ваши дети неизбежно падут жертвой вашей сердечной прихоти и лишатся положения в обществе. Боже мой, они очаровательны, пока малы; но настанет день, когда они упрекнут вас, что вы думали больше о себе, нежели о них. Намто, старым греховодникам, это отлично известно. Дети становятся взрослыми, а взрослые неблагодарны. Ведь сам я слышал в Германии, как юный Горн говорил после ужина: «Если бы моя мать была порядочной женщиной, я мог бы вступить на трон». Вот это *если бы* всю нашу жизнь мы слышали от простолюдинов, это словцо и вызвало революцию. Когда людям не в чем обвинить отца и мать, они сваливают вину на бога за свою злую судьбу. Словом, дитя мое, мы собрались здесь, чтобы вас предостеречь. Так вот, в заключение разрешите дать вам совет, над которым вам следует подумать: жена никогда не должна давать мужу повода обвинить ее.

— Дядюшка, я могла рассуждать, пока я не любила. Прежде, подобно вам, я руководилась рассудком, теперь для меня существует только чувство,— отвечала герцогиня.

— Дорогая крошка, да ведь жизнь и состоит в сплетении чувства и рассудка,— возразил видам.— И чтобы быть счастливой, особенно в вашем положении, надо постараться примирить то и другое. Когда гризетка бро-

сает все ради любовного каприза,— это понятно; но вы носите славное имя, обладаете состоянием, титулом, положением при дворе,— вы не должны пренебрегать всем этим. В конце концов, чтобы все уладить, чего мы от вас требуем? Ловко обойти законы приличий, вместо того чтобы их оскорблять. Господи, да я прожил почти восемьдесят лет и ни разу, ни при одном режиме не встречал любви, достойной той цены, какой вы готовы оплатить любовь этого молодого счастливца.

Одним взглядом герцогиня заставила видама умолкнуть; и если бы Монриво видел ее взгляд, он бы все простил...

— Все это произвело бы большой эффект в театре,— заметил герцог де Гранлье,— но не имеет смысла, когда дело идет о вашем положении и личном имуществе, о вашей независимости. Вы неблагодарны, племянница. Мало найдется семейств, где родные с такой готовностью делились бы опытом с юной ветреницей, увещевая ее внять голосу рассудка. Отрекитесь от вечного блаженства хоть сию минуту, если вам угодно погубить свою душу,— пожалуйста! Но отречься от доходов — здесь нужно хорошенько поразмыслить. Ни один духовник не отпустит вам греха нищеты. Я считаю себя вправе говорить так; кто, кроме меня, предложит вам приют, если вы себя погубите? Де Ланже приходится мне племянником или чем-то вроде этого,— я один имею право обвинять его.

— Дочь моя,— произнес герцог де Наваррен, пробуждаясь от мрачного раздумья,— уж если вы заговорили о чувствах, разрешите вам заметить, что знатной даме, носящей такое имя, как ваше, должны быть присущи иные чувства, чем простолюдинке. Что же, вы хотите дать козырь в руки либералам, этим робеспьеровым иезуитам, которые из кожи лезут вон, чтобы очернить дворянство? Есть поступки, которые урожденная де Наваррен не может себе позволить, не набросив тень на всю фамилию. Не вы одна будете опозорены.

— Полно, уж и опозорены! — прервала его княгиня.— Дети мои, не подымайте столько шума из-за того, что по городу прокатилась пустая коляска, и оставьте нас вдвоем с Антуанеттой. Приезжайте ко мне обедать все трое. Я отлично все улажу сама. Вы, мужчины, ничего не

смыслите, вы уже начинаете говорить резкости, а я не желаю, чтобы вы ссорились с моей милой дочкой. Сделайте одолжение, уходите отсюда.

Угадав намерения княгини, три старика откланялись, а г-н де Наваррен, поцеловав свою дочь в лоб, сказал наставительно:

— Ну, дитя мое, будь благоразумна. Если ты захочешь, еще не поздно все исправить.

— А не найдется ли в нашей семье молодца, который бы вызвал этого Монриво на дуэль? — сказал видам, спускаясь по лестнице.

— Сокровище мое,— начала княгиня, усаживая свою воспитанницу рядом с собой на низенькой скамеечке, когда они остались одни,— ни на что в этом бренном мире столько не клеветали, как на господа бога и на восемнадцатый век. Перебирая в памяти впечатления моей юности, я не припомню ни одного случая, чтобы какая-нибудь герцогиня так попрала приличия, как нынче это сделали вы. Романисты и бездарные писаки обесславили царствование Людовика Пятнадцатого, не верьте им. Дюбарри, душенька моя, стоила вдовы Скаррон и была гораздо обворожительнее. В мое время женщины умели во всех любовных похождениях соблюдать свое достоинство. Нас погубили сплетни и болтовня. Отсюда вся беда. Пустомели-философы, эти негодники, которых мы из милости пускали в гостиную, были так неучтивы и неблагодарны, что в отплату за нашу доброту вздумали вести перечень наших сердечных дел, поносить нас всех вместе и порознь и клеветать на восемнадцатый век. А народ, который по своему положению не способен ни в чем разобраться, видел суть вещей и не видел их формы. Однако в наше время, душа моя, мужчины и женщины были не менее замечательны, нежели в прежние царствования. Ни один из ваших Вертеров, из ваших так называемых выдающихся людей, этих умников в желтых перчатках и широких панталонах, скрывающих их тощие икры, не прошел бы всю Европу, переодетый торговцем, для того, чтобы, рискуя жизнью, не страшась кинжала герцога Моденского, проникнуть в будуар дочери регента. Кто из ваших слабогрудых юнцов в черепаховых очках просидел бы, подобно Лозену, полтора месяца в шкафу, чтобы придать мужества своей любовнице во время

родов? Даже в одном мизинце господина де Жокур и то заключалось больше страсти, чем во всем нынешнем поколении спорщиков, готовых бросить женщину ради поправки к законопроекту. Сыщите мне хоть одного пажа, который готов быть изрубленным на куски и замурованным в подполье, чтобы только облобызать затянутые в перчатку пальчики красавицы Кенигсмарк. Право, можно подумать, что роли переменились, что нынче женщины должны жертвовать собой ради мужчин. Эти господа стоят меньше, а ценят себя дороже. Поверьте, милочка, все эти похождения, получившие огласку, которыми нынче пользуются, чтобы втоптать в грязь нашего доброго Людовика Пятнадцатого, сначала хранились в тайне. Если бы не орава стихоплетов, рифмачей, моралистов, которые выспрашивали наших горничных и записывали их грязные сплетни, наш век прослыл бы в литературе высоконравственным. Я защищаю все столетие, а не последние его годы. Может быть, и нашлась бы какая-нибудь сотня светских распутниц, а эти бездельники насчитали их тысячи, точно газетчики, когда они подсчитывают потери разбитой армии. Впрочем, я не понимаю даже, как смели нас упрекать Революция и Империя; вот уж поистине то были времена самые беспутные, грубые, бессмысленные. Фи! Как все это меня возмущает! Это мрачная полоса нашей истории!.. Все мое предисловие, милое дитя,— продолжала княгиня,— клонится к тому, что если Монриво тебе нравится, люби его на здоровье, покуда любится. Я знаю по опыту, что ты поступишь так, как тебе вздумается (разве что запереть тебя, да теперь это не принято!); в твои годы и я поступила бы точно так же. Но только, моя прелесть, я никогда не отреклась бы от права производить на свет герцогов де Ланже. А потому веди себя благопристойно. Видам прав, ни один мужчина не стоит тех жертв, какими мы имеем глупость платить за их любовь. Поставь себя так,— на случай если, по несчастью, тебе придется раскаяться,— чтобы ты могла сохранить положение супруги господина де Ланже. Когда ты состаришься, тебе будет гораздо приятнее слушать мессу во дворце, чем где-нибудь в захолустном монастыре,— в этом все дело. Один неосторожный шаг — и тебе грозит бродячая жизнь, скудная пенсия, полная зависимость от любов-

ника; тебе грозят обиды и дерзости от женщин, не стоящих твоего мизинца, именно потому, что они ловко скрывали свои грешки. Было бы во сто раз лучше тебе самой отправиться к Монриво в сумерки, переодетой, в наемном экипаже, чем посылать к нему свою пустую карету среди бела дня. Ты просто дурочка, милое мое дитя. Твоя карета польстила только его тщеславию, а ты сама покорила бы его сердце. Все, что я сказала, верно и справедливо, но я не сержусь на тебя, не думай. Ты отстала на два столетия с твоим мнимым благородством. Полно, предоставь нам уладить дело; мы скажем, что Монриво подпоил твоих слуг, чтобы удовлетворить свое тщеславие и скомпрометировать тебя...

— Бабушка, ради бога, не клевещите на него! — воскликнула герцогиня, вскакивая с места.

— Дорогое дитя,— сказала княгиня с загоревшимся взглядом,— желаю тебе, чтобы твои мечты не оказались обманчивыми,— ведь всяким мечтаниям приходит конец. Будь я помоложе, ты растрогала бы меня. Ну, не доставляй огорчений никому — ни ему, ни нам. Я берусь устроить так, что все останутся довольны; обещай мне только, что с этого дня ничего не предпримешь без моего совета. Рассказывай мне все, и, быть может, я сумею тебе помочь.

— Бабушка, обещаю вам...

— ...Говорить все?

— Да, да, все, что можно сказать.

— Ах, душенька, я хочу знать именно то, чего нельзя сказать. Пойми меня хорошенько. Дай-ка я прикоснусь моими сухими губами к твоему прелестному лбу. Нет, нет, не смей целовать мои старые кости. У стариков своя особая вежливость... А теперь проводи меня до кареты,— заключила она, поцеловав внучку.

— Милая бабушка, так мне можно пойти к нему переодетой?

— Ну, конечно! Ведь это всегда легко отрицать,— отвечала старуха.

Только последний совет ясно поняла герцогиня из всей длинной проповеди г-жи де Шоври. Усадив княгиню в карету, г-жа де Ланже ласково с ней простилась и поднялась к себе, сияя от радости.

— А я сама покорила бы его сердце... Бабушка пра-

ва, мужчина не отвергнет хорошенькой женщины, если она сумеет увлечь его.

Вечером, у герцогини Беррийской, герцог де Наваррен, видам де Памье, господа де Марсе, де Гранлье и герцог де Мофриньез дружно опровергали слухи, позорящие имя герцогини де Ланже. Многие, в том числе военные, подтвердили, что утром видели Монриво в Тюильрийском саду, а потому эта нелепая история была приписана простой случайности — на случайность можно свалить что угодно. Таким образом, на другой же день, несмотря на историю с каретой, репутация герцогини вновь стала чистой и светлой, точно шлем Мамбрина, начищенный Санчо. В два часа пополудни, съехавшись с Монриво в пустынной аллее Булонского леса, г-н де Ронкероль сказал ему с усмешкой:

— С твоей герцогиней все обстоит отлично! Продолжай в том же духе,— добавил он, многозначительно стегнув хлыстом свою кобылу, и умчался, как стрела.

Дня через два после этого ненужного скандала г-жа де Ланже отправила Монриво письмо, оставшееся без ответа, как и все прежние. На этот раз она решилась и подкупила Огюста, лакея Монриво. В восемь часов вечера ее провели в комнату Армана, совсем не похожую на ту, где происходила таинственная сцена. Герцогиня узнала, что генерал не вернется ночевать. Разве у него два жилища? Лакей уклонился от ответа. Г-же де Ланже удалось купить только ключ от комнаты, но не откровенность слуги. Оставшись одна и осмотревшись, она заметила на старинном круглом столике свои четырнадцать писем, не смятых и не распечатанных: он не читал их. Увидев это, герцогиня упала в кресло и на миг потеряла сознание. Когда она очнулась, перед ней стоял Огюст с нюхательной солью в руках.

— Карету, скорее! — приказала она.

Когда экипаж подали, она спустилась вниз с лихорадочной поспешностью, возвратилась домой, легла в постель и приказала никого не принимать. Она не вставала целые сутки, не допуская к себе никого, кроме горничной, которая приносила ей настойку на апельсиновых листьях. Сюзетта подслушала жалобные стоны госпожи и заметила слезы в ее блестящих, обведенных темными кругами глазах. Через день, после мучительного

раздумья и горьких слез, г-жа де Ланже приняла решение; она совещалась со своим поверенным и, вероятно, дала ему какие-то подготовительные распоряжения. После этого она послала за старым видамом де Памье. В ожидании командора она написала письмо г-ну Монриво. Видам явился в назначенный срок. Он нашел свою молоденькую родственницу бледной, удрученной, но спокойной. Было около двух часов пополудни. Никогда еще красота этого дивного создания не была так поэтична, как в часы ее смертного томления.

— Дорогой видам,— обратилась к нему герцогиня,— причиной этого свидания ваш возраст, ваши восемьдесят лет. О, не улыбайтесь, умоляю вас, не смейтесь над бедной женщиной, доведенной до отчаяния! Вы благородный человек, и я надеюсь, приключения вашей юности внушили вам некоторое снисхождение к женщинам.

— Ни малейшего,— отвечал старик.

— Неужели?

— Они всегда ухитряются быть счастливыми,— возразил он.

— Тогда выслушайте меня: вы опора нашей семьи, быть может, последний из друзей, которому я пожму руку на прощание, а потому я имею право просить вас о большом одолжении. Дорогой видам, окажите мне услугу; я не могла бы обратиться с такой просьбой ни к отцу, ни к дяде Гранлье, ни к одной женщине. Вы должны меня понять. Умоляю вас исполнить мое желание и потом забыть обо всем, каков бы ни был исход вашей попытки. Речь идет о том, чтобы отправиться с этим письмом к господину де Монриво, повидаться с ним, показать ему письмо, спросить его прямо, как водится между мужчинами,— ибо друг с другом вы соблюдаете честность и забываете о ней только в отношениях с женщинами,— спросить его, согласится ли он прочесть письмо, хотя бы и не в вашем присутствии,— ведь мужчины не любят обнаруживать своих чувств. Чтобы убедить его, я разрешаю вам сказать, если понадобится, что дело идет о жизни и смерти моей. Если он соблаговолит...

— «Соблаговолит»? — воскликнул видам.

— ...соблаговолит прочесть письмо,— с достоинством повторила герцогиня,— сообщите ему последнее условие. Вы пойдете к нему к пяти часам, сегодня он обедает до-

ма в это время, я узнавала; так вот, вместо ответа он должен прийти ко мне. Если через три часа, к восьми часам вечера, он не придет, все будет кончено. Герцогиня де Ланже исчезнет из этого мира. Я не умру, дорогой друг, о нет, но никакие силы человеческие не разыщут меня на земле. Придите пообедать со мной, пусть хоть один друг поддержит меня в час смертной тоски. Да, милый видам, нынче вечером решится моя судьба, и, что бы ни случилось, она будет возвышенна и жестока. Ступайте, не говорите ни слова, я не хочу слышать ни возражений, ни советов... Мы будем болтать и смеяться,— продолжала она, протянув ему руку для поцелуя,— уподобимся древним философам, будем наслаждаться жизнью, пока не наступит смерть. Я наряжусь, я буду кокетлива для вас. Может быть, вы последний мужчина, который увидит герцогиню де Ланже.

Видам ничего не сказал; он поклонился, взял письмо и исполнил поручение. Возвратясь к пяти часам, он нашел свою родственницу изысканно одетой и необыкновенно очаровательной. Гостиная была украшена цветами по-праздничному, обед — восхитителен. Герцогиня расточала перед стариком весь блеск своего остроумия и была обольстительна как никогда. Сначала командор готов был приписать все это своенравной шутке молодой женщины, но время от времени искусственное оживление и волшебство ее чар рассеивались. Иногда он замечал, что она содрогается, как бы внезапно охваченная ужасом; порою она словно прислушивалась к чему-то. И если он спрашивал: «Что с вами?» — она шептала: «Тише».

В семь часов герцогиня удалилась в свои покои и вскоре вернулась, переодетая для дороги, в скромном платье горничной. Взяв под руку своего гостя и попросив сопровождать ее, она вскочила в наемный экипаж. Без четверти восемь она была у подъезда г-на де Монриво.

Арман между тем сидел в глубоком раздумье над следующим письмом:

«Друг мой, я заходила к вам на несколько минут, без вашего ведома, и взяла свои письма. О Арман, я не могу поверить, что вы равнодушны ко мне,— а ненависть проявляется по-иному. Если вы меня любите, прекратите эту жестокую игру. Вы убьете меня. Когда-нибудь

«ГЕРЦОГИНЯ ДЕ ЛАНЖЕ» («ИСТОРИЯ ТРИНАДЦАТИ»)

«ГЕРЦОГИНЯ ДЕ ЛАНЖЕ» («ИСТОРИЯ ТРИНАДЦАТИ»)

позже вы будете безутешны, узнав, как глубоко я вас любила. Но если, к моему несчастью, я ошибаюсь, если вы питаете ко мне отвращение, если презираете и ненавидите меня, тогда надежды нет: от этих чувств человек не может излечиться. Как ни ужасна эта мысль, она утешает меня в моем безысходном горе: вы никогда не испытаете раскаяния. Раскаяние! Ах, Арман, если вы хоть раз пожалеете обо мне, я не должна этого знать!.. Нет, я даже сказать вам не могу, в какое отчаяние это бы меня привело. Для чего мне жить, если я не буду вашей женой? Мысленно отдавшись вам всей душой, кому я могу отдаться?.. Только богу! Глаза мои, которые вы когда-то так любили, не увидят более ни одного мужчины, и да смежатся они во славу божью. Я не услышу более человеческого голоса, после того как слышала ваш, такой нежный прежде, такой грозный вчера,— мне все кажется, что возмездие было вчера,— и да покарает меня слово господне! Гнев божий и ваш гнев, друг мой, испепелили меня, мне остаются только слезы и молитвы. Вы можете спросить, для чего я вам пишу. Увы! Не осуждайте меня, это последний луч надежды, последний вздох сожаления о счастливой жизни, прежде чем проститься с ней навеки. Положение мое поистине ужасно. Спокойствие, вызванное великим решением, борется в моей душе с последними раскатами грома. Во время того страшного путешествия, рассказ о котором так потряс меня, вы шли из пустыни в оазис с верным проводником; а я влачусь из оазиса в пустыню, и вы — мой безжалостный проводник! И, однако, только вы один, друг мой, можете понять, с какой тоской я бросаю последний взгляд на минувшее счастье, вам одному я могу излить свои жалобы, не краснея. Если вы услышите меня, я буду счастлива; если вы неумолимы, я искуплю свой грех. Разве не естественно для женщины желание остаться благородной и чистой в памяти любимого человека? О мой единственный, бесценный друг! Дозвольте же рабыне вашей сойти в могилу с верою, что вы оцените величие ее души! Суровость ваша заставила меня о многом подумать, и с тех пор, как я полюбила вас, я считаю себя менее виновной, чем кажусь вам. Выслушайте мои оправдания, я должна высказаться, а вы, мой единственный на свете, должны оказать мне справедливость.

На собственном горьком опыте я познала, как много страданий доставила я вам своим кокетством; но тогда я была в полном неведении любви. Вы сами испытали эти тайные муки и сами же обрекаете меня на них. В первые восемь месяцев, что вы посвятили мне, вы не добились моей любви. Почему, друг мой? Не знаю, так же как не могу объяснить, почему люблю вас теперь. О, конечно, мне льстили ваши страстные речи, ваши пламенные взоры; но я оставалась холодной и бесстрастной. Нет, я не была еще женщиной, я не понимала, в чем самоотвержение, в чем счастье нашего пола. Виновата ли я? Вы сами презирали бы меня, если бы я отдалась вам без увлечения. Быть может, высшая добродетель нашего пола в том, чтобы отдаваться, не испытывая упоения: велика ли заслуга предаваться наслаждениям, уже испытанным и страстно желаемым? Увы, друг мой, могу сознаться, такие мысли приходили мне в голову, когда я обольщала вас своим кокетством; но и тогда я ставила вас так высоко, что считала недостойным уступить вам из сострадания... Какое слово я написала! Ах, я взяла у вас все мои письма, я бросаю их в огонь. Они горят. Тебе никогда не узнать, сколько в них было любви, страсти, безумия... Довольно, Арман, я умолкаю, я не хочу говорить о своих чувствах. Если моим признаниям не суждено дойти от сердца к сердцу, я тоже не могу, хоть я и женщина, принять любовь из сострадания. Я хочу быть любимой без памяти или покинутой без сожаления. Если вы откажетесь прочесть мое письмо, я сожгу его. Если же, прочтя его, вы не назовете себя навеки моим единственным супругом, я не буду стыдиться, что оно у вас в руках. Гордость отчаяния охранит мою память от клеветы, и конец мой будет достоин моей любви. Вы сами, потеряв меня, похороненную заживо на этом свете, будете горько сожалеть о женщине, которая через три часа посвятит каждый свой вздох нежным и пламенным молениям о вас, о женщине, загубленной безнадежной любовью и хранящей верность неразделенным наслаждениям и отвергнутому чувству. Герцогиня де Лавальер оплакивала свое потерянное счастье, свое утраченное могущество; герцогиня де Ланже найдет счастье в слезах и сохранит власть над вами. О да, вы будете жалеть обо мне! Я чувствую, что

была не от мира сего, и благодарю, что вы помогли мне это понять. Прощайте, вы не коснетесь секиры; ваша секира была орудием палача, моя — орудием бога, ваша убивает, моя — несет спасение. Ваша любовь была смертной, она не могла снести ни пренебрежения, ни насмешки; моя любовь может все претерпеть, она бессмертна и вечно жива. О, мне доставляет горькое утешение — вас, такого гордого, подавить великодушием, унизить покровительством, утешить спокойной улыбкой кротких ангелов, которые, припадая к стопам господа, получают силу во имя его охранять души людские. Вас обуревали лишь мимолетные желания, а бедная монахиня будет непрестанно возносить за вас пламенные мольбы и вечно осенять вас крылами небесной любви. Я предвижу ваш ответ, Арман, и обещаю вам свидание... на небесах. Друг мой, туда равно допускают и сильного и слабого: оба они одинаково страдали. Мысль эта смиряет муки последнего моего испытания... Я так спокойна сейчас, что боялась бы, уж не разлюбила ли я тебя, если бы не ради тебя покидала этот мир.

Антуанетта».

— Дорогой видам,— сказала герцогиня, когда они подъехали к дверям Монриво,— окажите мне любезность, спросите, дома ли он.

С галантностью кавалеров восемнадцатого века командор вышел из кареты и принес своей даме утвердительный ответ, заставивший ее содрогнуться. Она обняла командора, крепко пожала ему руку, позволила расцеловать себя в обе щеки и попросила уехать, не оглядываясь, предоставив ее самой себе.

— А прохожие? — спросил он.

— Никто не посмеет оскорбить меня,— отвечала она.

То были последние слова светской женщины, гордой герцогини. Командор удалился. Закутавшись в плащ, г-жа де Ланже осталась у порога дома и ждала, пока не пробило восемь часов. Назначенный час прошел. Несчастная женщина дала себе отсрочку в десять минут, в четверть часа; наконец в этом опоздании она увидела новое унижение, и надежда оставила ее. Она не могла удержаться от горестного восклицания: «О боже мой!»—

и покинула роковой порог. То был первый возглас монахини-кармелитки.

У Монриво шло совещание с друзьями; он торопил их, но часы отставали, и, когда он вышел из дому и направился к особняку де Ланже, герцогиня, холодея от отчаяния, брела пешком по парижским улицам. Достигнув бульвара Анфер, она разрыдалась. В последний раз она взглянула на Париж, шумный, окутанный дымкой, в красном зареве сияющих огней, потом села в дилижанс и покинула родной город, чтобы никогда туда не возвращаться. Явившись в особняк де Ланже, маркиз де Монриво узнал, что хозяйки нет дома, и решил, что над ним подшутили. Тогда он бросился к видаму; добрый старик переодевался в домашнее платье, радуясь счастью своей прелестной родственницы. Монриво устремил на него свой яростный взгляд, огненный блеск которого одинаково ужасал мужчин и женщин.

— Сударь, неужели вы стали сообщником жестокой шутки? — вскричал он.— Я только что был у госпожи де Ланже, слуги говорят, что она ушла.

— По вашей вине, вероятно, произошло великое несчастье,— ответил видам.— Я оставил герцогиню у ваших дверей...

— В котором часу?

— В восемь без четверти.

— Прощайте,— сказал Монриво и, поспешив домой, спросил у привратника, не видал ли он дамы у подъезда.

— Как же, сударь, была здесь красивая женщина, как видно, в большом горе. Она заливалась слезами, как Магдалина, и стояла прямо, не шелохнувшись. А потом как вздохнет: «О боже мой!» — и ушла. У нас с хозяйкой, уж простите, прямо сердце разрывалось, на нее глядя, а она-то нас и не заметила.

Короткий рассказ привратника заставил побледнеть этого твердого человека. Он тут же послал к Ронкеролю, черкнув ему несколько строк, и поднялся к себе.

Около полуночи маркиз де Ронкероль явился.

— Что с тобой, дружище? — воскликнул он, увидев генерала.

Арман протянул ему письмо герцогини.

— Что же дальше? — спросил Ронкероль.

— Она стояла у моих дверей в восемь часов, а в чет-

верть девятого исчезла неизвестно куда. Я люблю ее — и потерял навсегда. Ах, если бы я мог распоряжаться своей жизнью, я пустил бы себе пулю в лоб.

— Ну, ну, успокойся,— сказал Ронкероль,— герцогини не могут порхать, как пташки. Она не проедет и трех миль в час, а мы будем делать по шести миль и догоним ее завтра. Однако, черт возьми,— продолжал он,— госпожа де Ланже женщина необыкновенная! Завтра мы все поднимем на ноги. К вечеру мы выясним через полицию, куда она отправилась. Ей не обойтись без кареты, у этих ангелов нет крыльев. Уехала ли она или укрылась в Париже, мы отыщем ее. Разве нет у нас телеграфа, чтобы задержать ее в дороге? Ты будешь счастлив. Но помни, братец, ты совершил ошибку, свойственную многим людям с сильным характером: они судят о других по себе и не знают, что струны души могут оборваться, если натянуть их слишком туго... Отчего ты не открылся мне вовремя? Я бы сказал тебе: «Не опаздывай, будь точен!» Итак, до завтра,— заключил он, пожимая руку Монриво, который оставался безмолвным,— усни, если можешь.

Однако самые упорные старания, самые могущественные средства, которыми когда-либо располагали государственные деятели, монархи, министры, банкиры,— словом, все облеченные властью,— были пущены в ход напрасно. Ни Монриво, ни его друзьям не удалось напасть на след герцогини. Очевидно, она постриглась в монахини. Монриво решил обыскать с помощью друзей все монастыри на свете. Найти герцогиню ему было нужно во что бы то ни стало, хотя бы ценою жизни целого города. Чтобы отдать справедливость этому необыкновенному человеку, надо помнить, что в течение пяти лет каждый день его жизни был отмечен неугасимой, бешеной страстью. Лишь в 1829 году герцогу де Наваррену случайно удалось узнать, что дочь его уехала в Испанию в качестве горничной леди Джулии Хопвуд и рассталась с этой дамой в Кадиксе, причем леди Джулия и не подозревала, что ее служанка Каролина была той самой знаменитой герцогиней, исчезновение которой вызвало столько толков в парижском высшем свете.

Теперь станут понятны во всей своей глубине чувства двух любовников, когда они свиделись у решетки мона-

стырской приемной в присутствии матери-настоятельницы, а сила страсти, обуревавшей их обоих, объяснит развязку этой истории.

Итак, в 1823 году герцог де Ланже скончался, и жена его стала свободной. Антуанетта де Наваррен чахла от любви на островке Средиземного моря, но папа имел власть разрешить от обетов сестру Терезу. Наконец-то влюбленные могли обрести счастье, купленное ценою стольких страданий. Окрыленный этой мыслью, Монриво помчался из Кадикса в Марсель, из Марселя в Париж. Несколько месяцев спустя после возвращения Монриво во Францию из Марсельского порта вышел в плавание торговый бриг, оснащенный по-военному, и направился к берегам Испании. Судно было зафрахтовано несколькими знатными особами,— по большей части французами,— охваченными благородной страстью к Востоку и желанием путешествовать. Монриво, как большой знаток восточных нравов и обычаев, являлся для них неоценимым спутником; его пригласили присоединиться к ним, и он согласился. Военный министр дал ему чин генерал-лейтенанта и, чтобы способствовать этой поездке, причислил его к морской артиллерии.

Через сутки после отплытия бриг стал на якоре близ берегов Испании, на северо-запад от небольшого острова. Судно было выбрано с очень малой осадкой и с легкой оснасткой, чтобы можно было бросить якорь примерно в полумиле от подводных рифов, делавших с этой стороны остров совершенно недоступным. Если такое судно, стоящее на якоре среди скал, и заметил бы кто-нибудь с лодки или с берега, оно не могло бы внушить поначалу никаких подозрений. В дальнейшем же было бы легко объяснить его стоянку в этих водах. Как только судно показалось в виду острова, Монриво распорядился поднять на нем флаг Соединенных Штатов. Все матросы на судне были американцами и говорили только по-английски. Один из друзей г-на де Монриво посадил их всех в шлюпку, отвез в городской трактир и напоил так, что они еле ворочали языком. Потом он распустил слух, что на бриге прибыли прославленные в Соединенных Штатах фанатические искатели сокровищ, приключения которых описаны известным писателем — их соотечественником. Таким образом, пребывание судна

среди прибрежных рифов было в достаточной степени объяснимо. По словам мнимого боцмана, владельцы и пассажиры судна разыскивали обломки галиона, который вез сокровища из Мексики, потерпел крушение в 1778 году. Трактирщик и местные власти были вполне удовлетворены.

Арман и преданные друзья, помогавшие ему в дерзком предприятии, сразу поняли, что ни хитростью, ни силой нельзя было освободить или похитить сестру Терезу со стороны городка. Тогда, с общего согласия, эти отчаянные храбрецы решили взять быка за рога. Они задумали проложить себе путь к монастырю там, где доступ к нему казался совершенно немыслим, и одолеть созданную самой природой преграду, как это сделал генерал Ламарк при штурме острова Капри. Здесь отвесные гранитные склоны, замыкавшие оконечность островка, были еще более неприступны, чем скалы Капри, которые пришлось в свое время брать приступом Арману Монриво, принимавшему участие в этой легендарной экспедиции, а монахинь он страшился не меньше, чем сэра Гудсона Лоу. Шум, вызванный похищением герцогини, покрыл бы этих людей позором. Они скорее решились бы осадить городок и монастырь и не оставить в живых ни одного свидетеля своей победы, как это делают пираты. Таким образом, им представлялись две возможности: устроить пожар или вооруженное нападение, которое наделало бы такого шума в Европе, что никто и не заподозрил бы истинной причины переполоха, или же осуществить похищение каким-нибудь сверхъестественным, фантастическим способом, чтобы монахини приписали его нечистой силе. На совещании в Париже, перед отъездом в Испанию, был принят именно этот второй план. В дальнейшем были предусмотрены все мельчайшие подробности, от которых мог зависеть успех предприятия, представлявшегося редкостным развлечением всем этим людям, пресыщенным парижской жизнью.

В Марселе была построена по малайскому образцу необыкновенно легкая пирога, которая могла плавать среди рифов вплоть до самых недоступных мест. Чтобы перебираться с одной скалы на другую, был сооружен воздушный мост, наподобие китайских, состоявший из двух проволочных канатов, натянутых на расстоянии не-

скольких футов, рядом, но с разным уклоном; по этим канатам должны были передвигаться проволочные корзины. Таким образом, рифы были соединены между собой системой канатов с корзинами, похожей на тонкие нити паутины, по которым передвигаются пауки, оплетая ими дерево; впервые в истории это поразительное изобретение инстинкта было скопировано китайцами — народом, обладающим исключительным даром подражания. Ни волны, ни морские бури не могли разрушить это хрупкое сооружение. Канаты были укреплены достаточно свободно, что позволяло им, прогибаясь, сопротивляться бешенству волн, образуя некую кривую, вычисленную покойным инженером Кашеном, бессмертным создателем Шербурского порта, научно установленную кривую, благодаря которой не страшна была власть разъяренной стихии; закон этой кривой был похищен у природы человеческим гением, в сущности и сводящимся главным образом к умению наблюдать.

В лодке находились только друзья Монриво. Они были недоступны для посторонних глаз. Ни в какую подзорную трубу не могли бы моряки с палубы проходящего мимо судна обнаружить канаты между рифами и людей, укрывшихся среди скал. Эти тринадцать дьяволов в человеческом образе после одиннадцати дней подготовительных работ достигли подножия мыса, возвышавшегося саженей на тридцать над уровнем моря и представлявшего собой сплошной гладкий массив, на который человеку так же трудно взобраться, как мыши вползти по гладкой поверхности фарфоровой вазы. К счастью, в этой гранитной глыбе была трещина. Вдоль узкой расщелины, расположенной по вертикальной прямой, удалось укрепить, на расстоянии фута друг от друга, толстые деревянные клинья, а в них изобретательные смельчаки забили железные шипы. К этим заготовленным заранее шипам, с крюками на концах, прикрепили ступеньки из легчайших сосновых досок, в точности подогнанных к зарубкам на мачте, установленной на берегу у подошвы мыса и равной с ним высоты. Один из тринадцати, достойный сообщник этих деятельных людей, был прекрасным математиком; он рассчитал угол, на который должны были расходиться ступеньки в верхней и нижней половине мачты, так, чтобы посредине ма-

чты приходилась точка, от которой верхние ступеньки, образуя раскрытый веер, достигали бы вершины скалы; нижние ступеньки представляли собой точно такую же фигуру, но опрокинутую вниз. Сказочная по своей легкости и безупречной прочности лестница стоила двадцати двух дней труда. Чтобы начисто уничтожить все следы этой конструкции, достаточно было одной ночи, трута с огнивом да морского прибоя. Таким образом, осквернителям монастыря была обеспечена полная тайна, а всякое преследование их оказалось бы безуспешным.

На вершине скалы находилась небольшая площадка, окруженная с трех сторон пропастью. Обследовав местность с высоты мачты в подзорную трубу, тринадцать незнакомцев пришли к убеждению, что оттуда, несмотря на острые уступы, нетрудно перебраться в монастырский сад, где густые деревья могли служить надежным убежищем. Там, на месте, они окончательно должны были решить, каким способом похитить монахиню. После стольких усилий они не хотели рисковать успехом предприятия, подвергаясь опасности быть замеченными, и потому дожидались конца последней четверти луны.

Целых две ночи, закутавшись в плащ, Монриво провел на вершине утеса. Вечерние песнопения и утренние псалмы доставляли ему невыразимое наслаждение. Он добрался до самой стены, чтобы лучше слышать музыку органа, и пытался в хоре голосов различить знакомый ему голос. Но расстояние было слишком велико, и, несмотря на тишину вокруг, до его ушей доносились лишь смутные звуки. То была пленительная гармония, где скрадывались недостатки исполнения, где уносилась ввысь чистая мысль искусства, невольно проникая в душу, не требуя ни внимания, ни усилий, ни размышлений. Арман весь отдался мучительным воспоминаниям, его любовь разрасталась под легким дуновением музыки, ему слышались в воздухе обещания счастья. На исходе второй ночи он спустился вниз, после того как провел долгие часы, не сводя глаз с окна одной из келий. Оно было без решетки — над такой крутизной в решетках нет надобности. Всю ночь в этом окошке горел свет. И внутреннее чутье — которое, впрочем, столь же часто обманывает нас, как и говорит правду,— твердило ему: «Она здесь!»

«Несомненно, она здесь, и завтра она будет моей»,— думал он, и его радостным мечтам вторил медленный звон колокола. Как странны и причудливы законы сердца! Монахиню, зачахшую от безнадежной любви, изнуренную слезами, молитвами, постом и бдением, женщину двадцати девяти лет, увядшую в тяжелых испытаниях, он любил более страстно, чем любил когда-то легкомысленную красавицу, двадцатичетырехлетнюю, юную сильфиду. Не склонны ли люди сильные духом испытывать влечение к тем благородным и печальным женским лицам, которые хранят неизгладимый след возвышенной скорби и пылких дум? Красота женщины несчастной и страдающей не милее ли всего для мужчины, который хранит в сердце неисчерпаемый запас утешений, ласки, нежности, готовых излиться на существо трогательно слабое, но сильное чувством? В свежих, румяных, цветущих, словом, «хорошеньких» личиках есть пошлая привлекательность, соблазняющая лишь людей заурядных. Монриво нравились лица со страдальческими складками, тронутые тенями печали и внезапно преображаемые любовью. Разве силою своих желаний любовник не призывает к жизни совсем новое существо, юное, трепетное, которое ради него одного разбивает свою оболочку, поблекшую для людей, но прекрасную в его глазах? Разве не обладает он двумя женщинами разом — той, что кажется другим бледной, отцветшей, печальной, и той, что открылась его сердцу, не видимой никому,— ангелом, который постигает жизнь чувством и является во славе своей лишь на торжество любви? Перед тем как покинуть свой пост, генерал расслышал тихие аккорды, доносившиеся из кельи, пение нежных и сладостных голосов. Он спустился к подножию скалы, где его ожидали друзья, и в нескольких словах, исполненных глубокой сдержанной страсти, всегда вызывающей сочувствие и уважение, признался им, что никогда в жизни ему не доводилось еще испытывать такое неизъяснимое счастье.

На следующий вечер одиннадцать верных сообщников взобрались в полутьме на вершину скалы, захватив с собой кинжалы, запас шоколада и полный набор инструментов, применяемых в воровском ремесле. Достигнув ограды, они при помощи заготовленных ими лестниц перелезли через нее и очутились на монастырском клад-

бище. Монриво узнал длинную сводчатую галерею, по которой недавно проходил в приемный зал, и решетчатые окна этого зала. План действий был тут же им выработан и одобрен друзьями. Проникнуть через окна в отведенную для кармелиток часть зала, прокрасться в коридоры, прочесть написанные на дверях имена, найти келью сестры Терезы, захватить монахиню во время сна, заткнуть ей рот, связать и унести ее — все это было делом нетрудным для храбрецов, в которых дерзость и ловкость каторжников сочеталась с образованностью светских людей и которым ничего не стоило нанести удар кинжалом, чтобы обеспечить молчание.

За два часа прутья оконной решетки были распилены. Трое стали на страже в саду, двое остались в приемном зале, остальные, сняв обувь, расположились цепью внутри здания, на известном расстоянии один от другого. Монриво отправился на поиски, укрываясь позади юного Анри де Марсе, самого ловкого из них, который из осторожности нарядился в монашескую рясу, совершенно схожую с одеждой кармелиток. Пробило три часа, когда мнимая монахиня и Монриво проникли в коридор. Они быстро определили расположение келий. Затем в полной тишине при помощи потайного фонаря принялись читать имена, по счастью обозначенные на каждой двери, и сопровождавшие их благочестивые изречения, своего рода девизы, соответствующие характеру избранного покровителя — святого или святой,— эпиграфы, которые избирает каждая монахиня, вступая на новую жизненную стезю и запечатлевая в них свою последнюю мысль. Дойдя до кельи сестры Терезы, Монриво прочел следующую надпись: «Sub invocatione sanctae matris Theresae!» [1] — и девиз: «Adoremus in aeternum» [2]. Вдруг его спутник, тронув его за плечо, указал на яркий свет, падавший сквозь дверную щель на плиты коридора. В ту же минуту их нагнал Ронкероль.

— Все монахини собрались в церкви. Начинается заупокойная служба,— сообщил он.

— Я остаюсь здесь,— отвечал Монриво,— вернитесь в приемный зал и заприте дверь в коридор.

---

[1] «Молитвами святой матери Терезы!» *(лат.)*.
[2] «Возлюбим вовеки» *(лат.)*.

Он быстро вошел вслед за мнимой монахиней с опущенным покрывалом. И тут, в преддверии кельи, они увидели герцогиню, мертвую; она лежала в саване на голых досках постели, освещенная двумя свечами. Ни Монриво, ни де Марсе не крикнули, не проронили ни слова, только взглянули друг на друга. Затем генерал сделал движение, как бы говоря: «Унесем ее с собой».

— Спасайтесь! — крикнул Ронкероль.— Процессия монахинь тронулась, вас могут застать.

С той невероятной быстротой, какую придает движениям пламенный порыв, они вынесли покойницу в приемную и через окно опустили к подножию стены как раз в ту минуту, когда настоятельница в сопровождении монахинь явилась за телом сестры Терезы. Монахиня, которой поручили охранять усопшую, неосторожно отлучилась в спальню, чтобы порыться в вещах покойницы и узнать ее тайны; она так увлеклась розысками, что ничего не слыхала и остолбенела, не найдя тела на месте. Прежде чем пораженным ужасом монахиням пришло в голову начать поиски, труп герцогини уже был опущен по канату со скалы, и спутники Монриво успели уничтожить следы своей работы. К девяти часам утра ничего не осталось ни от лестницы, ни от канатных мостов; тело сестры Терезы было доставлено на борт. Бриг причалил к гавани, забрал матросов и вышел в открытое море среди бела дня. Монриво остался один в каюте с Антуанеттой де Наваррен; и долгие часы сияло перед ним ее дивное лицо, одухотворенное той особой красотой и покоем, какие сообщает смерть нашим бренным останкам.

— Ну вот,— сказал Ронкероль, когда Монриво снова появился на палубе,— она была настоящей женщиной, теперь это прах. Привяжем ей к ногам по ядру, бросим в море — и не думай о ней больше! Пусть она останется в твоей памяти книгой, прочитанной в детстве.

— Да,— сказал Монриво,— ибо теперь это только поэма.

— Ты рассуждаешь здраво. Отныне пусть у тебя будут только увлечения... Ну, а что до любви, надо уметь сделать выбор; только последняя любовь женщины может удовлетворить первую любовь мужчины.

Женева, Пре-Левэк, 26 января 1834 г.

ЗЛАТООКАЯ ДЕВУШКА

Посвящается Эжену Делакруа, художнику.

Парижское население — страшный с виду народ, бледный, желтый, изнуренный,— несомненно, представляет собой одно из самых тягостных зрелищ на свете. Не подобен ли Париж огромному полю, где непрестанно бушует буря корысти, клонящая долу людскую жатву, которая здесь особенно часто падает под косою смерти, но вновь вырастает, столь же обильная; искаженные, перекошенные лица людей всеми порами источают мысль, желания, яды, отягощающие мозг; нет, то не лица, то — личины, личины слабости, личины силы, личины нищеты, личины радости, личины ханжества; все истощенные, все отмеченные несмываемой печатью распаленной алчности! Чего хотят они? Золота или наслаждения?

Кое-какие наблюдения над душой Парижа помогут понять нам, что придало мертвенный вид его лику, у которого только два возраста: либо юность, либо дряхлая старость — бесцветная, тусклая юность и нарумяненная, молодящаяся старость. Столкнувшись с этими живыми мертвецами, чужеземцы, мало склонные размышлять, сразу проникаются отвращением к этой столице, этой обширной мастерской наслаждений, но скоро сами не находят в себе силы оттуда вырваться и охотно остаются там, добровольно себя уродуя. Не много надо слов, чтобы физиологически объяснить чуть ли не адские отсветы на лицах парижан, ибо адом прозван Париж не только ради шутки. Это ад в буквальном смысле слова. Там

все дымится, все горит, все блестит, все кипит, все пылает, испаряется, гаснет, вновь загорается, искрится, сверкает и испепеляется. Никогда ни одна страна не знала более пламенной и более жгучей жизни. Всегда пребывая в состоянии плавления, социальная природа Парижа, подобно живой природе, как бы говорит после каждой завершенной работы: «А теперь за другую!» Как живая, так и социальная природа занята разными букашками-поденками, цветами-однодневками, пустячками; а вместе с тем она так же извергает жар и пламя из своего неистощимого кратера.

Быть может, прежде чем вскрыть причины, объясняющие своеобразие каждого племени этого умного и подвижного народа, необходимо отметить ту общую причину, по которой так или иначе у всех сынов его блекнут живые краски, сменяясь бледностью, синевой, землистой желтизной.

Увлекаясь положительно всем, парижанин в конце концов теряет способность чем-либо увлекаться. Ни одно яркое чувство не осветит его истасканное лицо, и оно становится серым, как пропыленная и продымленная штукатурка домов. И правда, равнодушный еще накануне к тому, что его завтра взволнует, парижанин живет как дитя, сколько бы ни было ему лет. Он на все ворчит, всем утешается, надо всем издевается, все забывает, всего желает, все пробует, увлекается всем со страстью, беззаботно всем пренебрегает, будь то король, завоевания, слава, кумиры бронзовые или глиняные, и проделывает это с такой же легкостью, как выбрасывает чулки, шляпы, состояние. В Париже ни одно чувство не противостоит течению вещей, здесь все уносится вместе с бурным потоком жизни, и страсти слабеют, любовь становится вожделением, ненависть — поползновением, самую близкую родню заменяет тысячефранковый билет, друга — ломбард. Это общее безразличие приносит свои плоды; никто не бывает лишним ни в гостиной, ни на улице, никто не бывает ни безусловно полезным, ни безусловно вредным — как глупец и плут, так и люди, известные своим умом или честностью. Со всем примиряются — с правительством и с гильотиной, с религией и с холерой. В этом мире вы всегда свой человек, но там превосходно обойдутся и без вас. Кто же властвует в стране, где

нет ни морали, ни веры, ни чувств, но где зарождается, куда устремляется всякое чувство, всякая вера, всякая мораль? Злато и наслаждение. Воспользуйтесь как светильниками этими двумя словами и обозрите огромную оштукатуренную темницу, человеческий улей с грязными канавами, проследите там извивы мысли, которые беспокоят, будоражат, терзают этот мир. Смотрите. Изучите сначала мир неимущих!

Рабочий, пролетарий, человек, добывающий хлеб свой с помощью рук, ног, спины, языка, работающий только рукой, пятью пальцами, чтобы жить,— вот кто первый должен беречь свои жизненные силы, а он изнуряет себя, он впрягает жену в машину, истощает своего ребенка, пригвождая его к рычагу какого-нибудь механизма. Фабрикант,— этот, сказал бы я, последний приводной ремень,— пускает в ход машину, подгоняет народ, и народ своими загрубелыми руками выделывает и золотит фарфор, шьет фраки и дамские платья, производит изделия из железа и дерева, филигранит сталь, придает прочность пеньке и хлопку, полирует бронзу, гранит, хрусталь, делает искусственные цветы, вышивает шерстью, объезжает лошадей, плетет сбрую и позументы, гравирует на меди, красит кареты, подстригает старые вязы, прядет хлопок, выдувает стекло, обрабатывает алмазы, полирует металлы, превращает мрамор в тончайшие лепестки, облагораживает булыжник, придает изящную форму мыслям, все расцвечивает, отбеливает или чернит. И вот является начальник, чтобы поработить этот мир пота и воли, знания и великого терпения, суля ему то огромный заработок от прихотей города, то мзду от чудовища, называемого Спекуляцией. И тогда жалкие бедняги начинают бодрствовать по ночам, страдать, надрываться в работе, проклинать жизнь, голодать, изнурять себя вечным движением; все они выбиваются из сил, чтобы заработать околдовавшее их золото. А потом, не задумываясь о будущем, жадные до наслаждений, полагаясь только на свои руки, как художник на свою палитру, они, эти калифы на час, просаживают свой недельный заработок в кабаках, опоясывающих город грязным кольцом,— поясом бесстыднейшей из Венер, беспрестанно распускающимся и стягивающимся вновь,— в кабаках, где неизменно, как у игроков, гибнут скоплен-

ные гроши этого народа, столь же неукротимого в наслаждении, сколь спокойного в труде. Итак, эта самая деятельная часть Парижа не знает покоя в течение пяти рабочих дней! Она предается вечному движению, заставляющему ее искажаться, грубеть, худеть, бледнеть, исторгать тысячи источников созидающей воли. Ее отдых, ее наслаждения — это не что иное, как утомительный разгул, грязь, синяки от побоев, бледность от пьянства или желтизна от несварения желудка, разгул, который длится не более двух дней, но пожирает весь хлеб насущный, недельную похлебку, платья жены, пеленки ребенка, все домашнее тряпье. Люди эти, рожденные, чтобы быть прекрасными, ибо всему живому присуща своя особая красота, с детства были загнаны в ряды подневольной армии, отданы в рабство молоту, резцу, прядильной машине и быстро были подвергнуты вулканизации. Действительно, не Вулкан ли, во всем своем уродстве и силе, служит воплощением этого уродливого и сильного народа, достигшего такой высоты в ремесленном мастерстве, терпеливого в часы труда, грозного раз в столетие, воспламеняющегося как порох водкой, готового к революционному пожару, наконец, достаточно умного, чтобы предать огню вражду
дебный ему мир при первом коварном призыве, всегда сулящем ему золото и наслаждения! Все те, кто протягивает руку за подаянием, за законной оплатой труда или за пятью франками — вознаграждением парижской проституции разных видов,— словом, все те, кто протягивает руку за грошами, добытыми правдой или неправдой, составляют триста тысяч парижского населения. Не будь кабаков, разве не свергалось бы правительство каждый вторник? К счастью, по вторникам этот народ пребывает в состоянии отупения, его ломает с похмелья, он остается без гроша и возвращается к труду, к черствой корке хлеба, побуждаемый потребностью материального творчества, вошедшего у него в привычку. Однако у этого народа немало доблестных сынов, совершенных людей, неведомых миру Наполеонов, воплощающих народные силы в самом высшем их проявлении и осуществляющих его социальные стремления в деятельности, где мысль и движение сливаются воедино, но не для того, чтобы порадовать людей счастьем, а лишь для того, чтобы ввести в известную колею их страдания.

Иногда случай сделает какого-нибудь рабочего бережливым, случай подскажет ему счастливую мысль, рабочий позаботится о будущем, женится, станет отцом — и после нескольких лет тяжелых лишений снимет лавку, откроет галантерейную торговлю. Если ни болезнь, ни порок не принудят его свернуть с этого пути, если ему сопутствует удача, то вот вам очерк его обычной жизни.

Но прежде всего приветствуйте его — царя парижского движения, кто подчинил себе время и пространство. Да, приветствуйте это существо, которое питается селитрой и газом, в свои тяжелые ночи дарует Франции детей, а днем разрывается на части в работе ради удобств, славы и наслаждений своих сограждан. Этот человек разрешает вопрос, как одновременно оказать внимание и своей милой жене, и семье, и «Конституционелю», и конторе, и национальной гвардии, и театру, и господу богу, но при условии, чтобы «Конституционель», контора, театр, национальная гвардия, жена, господь бог принесли бы ему звонкую монету. Итак, приветствуйте эту образцовую, вездесущую особь. Вставая каждый день в пять часов утра, он с быстротою птицы пролетает пространство, отделяющее его жилище от улицы Монмартр. Дует ли ветер, гремит ли гром, льет ли дождь, падает ли снег, он уже у дверей «Конституционеля» ожидает очередной пачки газет, на разноску которых он подрядился. С жадностью бросается он на эту ежедневную порцию политического хлеба, хватает ее и уносит. В девять часов утра он возвращается уже в лоно семьи, отпускает шуточки жене, срывает с ее уст звонкий поцелуй, смакует кофе, журит детей. Без четверти десять он уж в мэрии. Там, сидя в кресле, как попугай на жердочке, понукаемый городом Парижем, он бесстрастно, без вздохов и улыбок, составляет до четырех часов дня записи актов о смерти и о рождении. Радости и горести всего квартала соскальзывают с кончика его пера, после того как дух «Конституционеля» витал у него за спиной. Ничто его не тяготит! Он всегда идет проторенными путями, газета поставляет ему патриотические идеи в готовом виде, он никому не противоречит, возмущается или рукоплещет вместе со всеми и живет как птица небесная. Если в церкви его прихода, в двух шагах от мэрии,

случается особо торжественная служба, он посадит какого-нибудь сверхштатного чиновника на свое место, а сам отправится петь *реквием* на клиросе, где по воскресным и праздничным дням он является самым лучшим украшением хора, выделяется своим мощным голосом, когда, с особенным усердием скривив большой рот, громогласно и радостно возвещает аминь. Он певчий. Освободившись к четырем часам дня от служебных обязанностей, он заглядывает в свою лавку, самую известную в Ситэ, распространяя там вокруг себя радость и веселье. Жена его счастлива, ему некогда ее ревновать, он человек дела, а не чувства. Но стоит ему переступить порог, как он уже пристает к продавщицам, живые глазки которых привлекают толпу покупателей; весело посмеиваясь, перебирает он украшения, косынки, муслиновые изделия искусных мастериц; а то, еще чаще, перед обедом сам займется с покупателями, выпишет себе что-нибудь из газеты или отнесет судебному приставу просроченный вексель. В шесть часов вечера, три раза в неделю, он неизменно появляется на своем посту. Незаменимый первый бас хора, он спешит в Оперу, готовый превратиться в солдата, араба, узника, дикаря, поселянина, призрак, вербложью ногу, во льва, черта, доброго духа, раба, белого или черного евнуха, понаторев в искусстве выказывать радость, скорбь, жалость, удивление, испускать всегда одни и те же крики или безмолвно пребывать на подмостках, охотиться, драться, изображать вместе с себе подобными толпу римлян или египтян и при этом неизменно оставаться in petto[1] торгашом. В полночь он снова добрый муж, мужчина, нежный отец; он нисходит на супружеское ложе еще распаленный обманчивыми прелестями оперных нимф и обращает на пользу узаконенной любви соблазны жизни и сладострастный изгиб ножки какой-нибудь из парижских Тальони. Наконец он засыпает, а засыпает он быстро, так же торопясь выспаться, как неизменно торопится жить. Такой человек — воплощенное движение, олицетворенное пространство, Протей цивилизации. Такой человек — итог своего времени: истории, литературы, политики, правительства, религии, военного искусства. Не правда ли, он — живая энциклопе-

[1] В душе *(итал.)*.

дия, причудливый Атлас, пребывающий в беспрестанном движении и, подобно Парижу, никогда не знающий покоя? Его кормят ноги. Не удивительно, что он обезличен заботами и делами. Быть может, рабочий, умирающий тридцатилетним стариком, выдубив свой желудок все большими и большими порциями водки, покажется некоторым хорошо обеспеченным философам счастливее этого торгаша. Один погибает сразу, другой изо дня в день. Из своих разнообразных промыслов, из своей спины, рук, глотки, жены и торговли он (подобно тому, как другие — из фермы) извлекает свой доход — детей, несколько тысяч франков и самое хлопотливое счастье, когда-либо радовавшее сердце человеческое. Его состояние и его дети — или одни только дети, заключающие в себе весь смысл его жизни,— становятся добычей более высокого общественного круга, которому отдает он свои деньги и свою дочь или же сына, воспитанного в коллеже, более образованного, чем отец, и устремляющего дальше свои честолюбивые помыслы. И зачастую младший отпрыск какого-нибудь розничного торговца уже претендует на государственный пост.

Вопрос о честолюбии переносит нашу мысль во второй круг парижской жизни. Загляните в квартиры над первым этажом или спуститесь с чердака на пятый этаж — одним словом, ознакомьтесь с теми, у кого уже есть кое-что за душой,— впечатление будет то же. Это оптовые торговцы и их подручные, чиновники, обладатели небольших сбережений, люди сомнительной честности, мошенники, отпетые мерзавцы, старшие и самые младшие приказчики, судейские чины, конторщики судебных приставов, стряпчих и нотариусов — словом, деятельные, мыслящие, спекулирующие представители той мелкой буржуазии, которая извлекает из интересов Парижа свою собственную выгоду, скупает продовольствие, набивает свои склады трудами рук пролетариев, наполняет бочонки южными фруктами, океанской рыбой, винами всех побережий, обласканных солнцем; простирает свои жадные руки на Восток, забирает там шали, которыми пренебрегли турки и русские; пожинает жатву даже в далекой Индии; сидит сложа руки в ожидании спроса на товары, заранее смакует барыши, учитывает векселя, скупает и пускает в оборот всевозможные ценности, распро-

дает по мелочам весь Париж, перевозит его с места на место; извлекает выгоду из детских прихотей, наживается на причудах и пороках зрелых лет, выжимает барыш из болезни своего ближнего. И что же? Не отравляя себя водкой, как рабочие, не валяясь подобно им в грязи на окраинах города, они все-таки истощают свои силы, сверх меры напрягают и ум и тело одновременно; сохнут, пожираемые желаниями, гибнут в бешеной погоне за наживой. Они изнемогают физически, подхлестываемые кнутом корысти, бичом честолюбия, терзающего высшие круги этого чудовищного города,— тогда как пролетарий изнемогает под жестоким бременем непосильного труда, направленного на беспрестанное ублаготворение деспотического самодурства аристократии. Стало быть, и здесь, повинуясь всевластному владыке — наслаждению или золоту, надо спешить и спешить, убыстрять время, ухитряться так, чтобы в сутках было больше двадцати четырех часов, взвинчивать и изнурять себя, покупая два года нездорового отдыха ценою тридцати лет спокойной старости. Только и разница, что рабочий умирает в больнице, когда истощение его достигает крайнего предела, а мелкий буржуа упорно цепляется за жизнь и живет, но превращается в жалкое, слабоумное существо; вот он перед вами — потрепанное, испитое, старческое лицо, тусклый взгляд, вихляющая походка; с отупевшим видом ковыляет он по бульварам — этому поясу Венеры — его любимой столицы. Так что же нужно буржуа? Тесак национальной гвардии, к обеду — неизменное мясо с овощами, законным образом сколоченный капиталец, чтобы обеспечить себя на старости лет, и приличное место на кладбище Пер-Лашез. Развлекается он по воскресеньям; отдых его — загородная прогулка в наемном экипаже, когда его жена и дети радостно насыщаются пылью и жарятся на солнце; предел его желаний — ресторация, стяжавшая себе славу обедами, губительными, однако, для здоровья, или семейные балы, где задыхаешься, отплясывая до полуночи. Некоторые глупцы поражаются, наблюдая пляску святого Витта, которой предаются бактерии, обнаруживаемые микроскопом в капле воды, но что сказал бы Гаргантюа — это непонятое в своей дивной дерзости создание Рабле, что сказал бы такой гигант, упавший с небес на землю, если бы он вздумал ради за-

бавы понаблюдать движения во втором круге парижской жизни, обзор которой здесь дан? Случалось ли вам бывать в базарных лавчонках, расположенных под медной кровлей хлебного рынка, холодных даже в летнее время, а зимой согреваемых лишь жалкой жаровней? Так вот, жена буржуа уже с самого утра там, она перекупщица на рынке и, как говорят, наживает на этом деле двенадцать тысяч франков в год. Когда подымается с постели жена, муж отправляется в неприглядную контору, где выдает торговцам своего квартала краткосрочные ссуды под ростовщические проценты. В девять часов он уже в паспортном столе, где исполняет обязанности одного из помощников столоначальника. Вечером он в кассе Итальянского или какого-либо другого театра. Дети отданы кормилице в деревню, о них вспомнят, лишь когда придет время отправить их в коллеж или пансион. Муж и жена живут на четвертом этаже, держат одну служанку, устраивают балы в гостиной длиной в двенадцать, шириной в восемь футов, освещенной масляными лампами, но дают за дочерью полтораста тысяч приданого, а сами в пятьдесят лет, наконец, предаются отдыху, начинают появляться в ложах второго яруса Оперы, в фиакре на аллеях Лоншана или, в поблекших туалетах, пребывают в солнечные дни на бульварах, этих своеобразных шпалерах, способствующих произрастанию подобных фруктов. Они пользуются уважением всего квартала, благосклонностью правительственных чиновников, связями с крупной буржуазией; муж к шестидесяти пяти годам получает крест Почетного легиона, и отец его зятя, мэр округа, приглашает его к себе на вечера. Труды всей жизни идут, таким образом, на пользу детям, которых мелкая буржуазия неизменно стремится поднять до круга крупной буржуазии. Так каждый круг общества мечет свою икру в следующий высший круг. Сын богатого бакалейщика становится нотариусом, сын лесоторговца — судейским чиновником. Ни один зубец не минует своей зарубки, и все способствует восходящему движению капитала.

Вот мы и добрались до третьего круга этого ада, который когда-нибудь, вероятно, обретет своего Данте. Этот третий круг общества — своеобразное чрево Парижа, здесь перевариваются интересы города и превраща-

ются в так называемые «дела», здесь движется и бурлит под воздействием кислот и желчи, подвергаясь кишечному процессу, множество стряпчих, врачей, нотариусов, адвокатов, дельцов, банкиров, крупных торговцев, биржевиков, судейских. Здесь больше, чем где-либо, причин для физического и нравственного разложения. Почти все эти люди проводят жизнь в зловонных конторах, смрадных судебных помещениях, в душных тесных клетушках за решетчатой перегородкой; день-деньской просиживают они, согнувшись под бременем дел, встают чуть свет, чтобы успеть все сделать, чтобы не дать ограбить себя другому, чтобы все захватить самому или хотя бы ничего не потерять, чтобы сцапать человека или его деньги, чтобы наладить или расстроить какое-нибудь дело, чтобы не упустить благоприятный момент, чтобы приговорить подсудимого к повешению или оправдать его. Все это сказывается на их лошадях: их загоняют, надрывают их силы, их тоже раньше времени превращают в развалины. Время — тиран этой буржуазии, его не хватает ей, оно ей не подчиняется, она не в силах замедлить или ускорить его ход. Какая же душа останется великодушной, чистой, нравственной, благородной, какое же лицо не утратит свою красоту от занятий подобным ремеслом, заставляющим иметь дело с бедствиями целого общества, исследовать их, взвешивать, оценивать, подводить под известные нормы? Эти люди запрятали где-то свое сердце, но где?... я не знаю. Даже если оно и есть у них, они отрекаются от него каждое утро, проникая в пучину страданий, терзающих целые семьи. Для них нет тайн, они познают изнанку общества, они — его исповедники, вот почему они презирают его. Но что бы они ни делали, борясь с пороком, они испытывают перед ним ужас и предаются печали; или же, устав от борьбы, идут на тайную сделку с ним; законы, люди, учреждения превращают их в воронье, которое слетается на еще не остывшие трупы,— и они перестают верить в чувства. В обществе ежечасно капиталист устанавливает цену живым людям, нотариус — цену мертвым, судья — цену совести. Вынужденные беспрестанно говорить, все они заменяют мысль словом, чувство — фразой, и душа их уходит в глотку. Они изнашиваются, развращаются. Ни крупный негоциант, ни судья, ни адвокат не сохраняют про-

стых человеческих чувств, они все подгоняют под готовую мерку, искажая подлинную природу людей. Увлекаемые бурным потоком своей деятельности, они перестают быть отцами, мужьями, любовниками, они скользят по жизни, словно катятся на салазках с ледяной горы, и каждый час их бытия подчинен делам великого города. Не успеют они вернуться домой, как надо уже спешить на бал, на празднество, в Оперу, чтобы приобретать себе клиентов, связи, покровителей. Все они чрезмерно много едят, играют в карты, не спят по ночам, и лица их округляются, расплываются, багровеют; чтобы отдохнуть от этой страшной растраты умственных сил и постоянного насилия над собственной совестью, они предаются не наслаждению, нет,— оно слишком бледно для них и не поражает их взоры резкими красками,— но разврату, разврату тайному, чудовищному, ибо все подвластно этим блюстителям общественных нравов. Они глупы, но глупость скрывается под покровом специальных знаний. Они знают свое ремесло, а в остальном они полные невежды. И вот, чтобы не страдало их самолюбие, они все подвергают сомнению, критикуют все вкривь и вкось, строят из себя скептиков, на деле же оказываются легковерными невеждами и окончательно сбиваются с толку в нескончаемых спорах. Почти все они охотно усваивают общественные, литературные и политические предрассудки, что избавляет их от труда составить собственное мнение, точно так же как свод законов или постановления коммерческого суда избавляют их от забот совести. Задавшись в ранней юности целью стать выдающимися людьми, они скоро становятся посредственностями и ползком пробираются к вершинам общества. Лица их отличаются мертвенной бледностью, у них — тусклые, обведенные синевою глаза, болтливые и чувственные рты; по всем этим признакам наблюдательный человек узнает о вырождении мысли, которая замкнута в тесном кругу узкой специальности, убивающей творческую силу мозга, способность охватывать своим взором широкие горизонты, обобщать, делать выводы. Почти все такие люди высыхают в горниле дел. Вот почему никогда не достигнуть величия тому, кто допустит, чтобы его затянула система колес одной из этих чудовищных машин. Если он врач, он ничего не даст медицине или, в

исключительном случае, как Биша, умрет совсем молодым. Если он крупный негоциант и не утеряет свое лицо, он уподобится Жаку Керу. Разве Робеспьер вел дела в суде? Ну, а Дантон? Предавался безделию и ждал. Но кто же, скажите мне, кто же из них завидовал когда-либо таким ярким личностям, как Робеспьер и Дантон? Нет, эти дельцы — дельцы до мозга костей — только тянутся к капиталу и загребают его обеими руками, чтобы получить возможность породниться с аристократией. Если честолюбие рабочего в том, чтобы стать мелким буржуа, здесь мы встречаем подобную же страсть. В Париже тщеславие — основа всех страстей. Типичный образец этого класса — или честолюбивый буржуа, после томительного ожидания и беспрерывных ухищрений проникающий, наконец, в государственный совет, как муравей проползает в щель; или же редактор газеты, ловкий интриган, назло дворянству пожалованный королем в пэры Франции; или же нотариус, ставший мэром своего округа; так или иначе, всех этих людей уже потрепала деловая жизнь, и если они достигают своей цели, то достигают ее совершенно *опустошенными*. Во Франции укоренился обычай возвеличивать прикрытые париками облыселые головы. Только два крупных государя, Наполеон и Людовик XIV, выбирали молодых людей для осуществления своих замыслов.

Выше этого круга находятся люди искусства. Но и здесь все то же: лица, отмеченные печатью оригинальности, поражают своим усталым, замученным, изможденным, хотя и благородным видом. Изнуренные необходимостью непрестанного творчества, истощенные своими дорогостоящими причудами, снедаемые всепожирающей силой гения, алчущие наслаждений, все парижские художники стремятся чрезмерным трудом наверстать то, что упустили по лености, и тщетно пытаются примирить светскую суету со славой, деньги с искусством. В начале поприща художник задыхается под игом кредиторов; его потребности ввергают его в долги, которые обрекают его на бессонные ночи, отданные труду. А на смену труду приходят наслаждения. Актер играет до полуночи, утром разучивает роль, в полдень репетирует; скульптор сгибается под тяжестью работы над мрамором; журналист — это мысль в постоянном движении, он — словно

солдат во время боя; модный живописец завален работой, живописец, лишенный заказов, но озаренный искрой гения, снедаем тоской. Конкуренция, соперничество, клевета убивают таланты. Одни с отчаяния кидаются в бездну порока; другие умирают молодыми и непризнанными, слишком рано начав жить за счет будущих успехов. Редко эти люди, столь одухотворенные в юности, сохраняют былое свое обаяние. Да и непонятой остается пламенная красота их лица. Облик художника нарушает все каноны; общепринятое у глупцов понятие идеальной красоты неприменимо к ним. Какая же сила их разрушает? Страсть. А всякую страсть в Париже характеризуют два слова: золото и наслаждение.

Пойдем дальше, не легче ли дышится вам сейчас? Не чувствуете ли вы, как чище становится воздух, как ширятся перед вами просторы? Здесь не знают ни трудов, ни забот. Буйный золотой вихрь достигает вершин. Из отдушин подвалов, откуда золото струится по узким желобкам, из темных лавок, где его пытаются задержать ненадежными плотинами, из недр банков и контор, где его превращают в тяжелые слитки, оно в виде приданого или наследства по мановению девичьей ручки или костлявой руки старика взметается струей в аристократический мир и там всем напоказ сверкает, разливается, разбегается ручейками. Но прежде чем закончить изучение четырех основ, на которых зиждется класс крупных парижских собственников, не должны ли мы, указав причины нравственного порядка, изложить еще причины физические, обратить внимание на подымающуюся из земли, на которой стоит Париж, заразу, неизменно воздействующую на лица привратников, лавочников, рабочих; указать на распространенность этого разложения, с которым может сравниться лишь нравственное разложение парижских властей, благодушно примиряющихся с нею. Если воздух домов, где живет большинство горожан, заражен, если улица изрыгает страшные миазмы, проникающие через лавки в жилые помещения при них, где и без того нечем дышать,— знайте, что, помимо всего этого, сорок тысяч домов великого города постоянно омываются страшными нечистотами у самого своего основания, ибо власти до сих пор не додумались заключить эти нечистоты в трубы, помешать зловонной грязи про-

сачиваться сквозь почву, отравлять колодцы, так что под землей город до сих пор подтверждает справедливость знаменитого своего имени — Лютеции. Половина Парижа живет среди гнилых испарений дворов, улиц, помойных ям.

Но обратимся к просторным, благоухающим, золоченым гостиным, к особнякам, окруженным садами, к миру богатому, праздному, счастливому, обеспеченному. И там вы встретите изможденные лица, истерзанные тщеславием. Там все нереально. Гоняться за наслаждениями — разве это не значит обретать только скуку? Светские люди рано растрачивают свое здоровье. Занятые лишь поисками удовольствий, они быстро начинают злоупотреблять своими чувствами, как рабочий злоупотребляет водкой. Наслаждение подобно некоторым лечебным снадобьям; чтобы они оказывали постоянное воздействие, надо увеличивать дозу, пока наконец не наступает смерть или полное отупение. Все низшие классы примостились к богачам и присматриваются к их вкусам, чтобы превратить их в пороки, извлечь из них выгоду. Как устоять перед хитрыми соблазнами, которые измышляются в этой стране? Да, в Париже тоже отравляют себя наркотиками, но только вместо опиума здесь обращаются к игре, чревоугодию, куртизанке. Вот почему с юных лет можно наблюдать у этих людей лишь пристрастия, но не страсти, лишь вымышленные увлечения и вялые чувства. Там царит бессилие; оттуда изгнана живая мысль, она вместе с энергией вся растратилась на кривляния паркетных шаркунов и женское притворство. Там вы встретите сорокалетних молокососов и шестнадцатилетних умудренных старцев. В Париже богачи находят готовое остроумие, специально разжеванные для них знания, установленные убеждения; собственное остроумие, знания, убеждения им не нужны. В этом мире безрассудство достигло такой же степени, как слабость и разнузданность. Каждая минута на учете, потому что все время уходит на безделье. Не ищите же там ни привязанностей, ни мыслей. За объятиями скрывается глубокое безразличие, а за вежливостью — упорное презрение. Там не знают любви к ближнему своему. Острословие без глубины, бесконечные сплетни и пересуды, а чаще всего затасканные общие фразы — такова сущность светских раз-

говоров; но эти несчастные *баловни судьбы* не намерены, как они сами заявляют, собираться вместе для того, чтобы блистать изречениями в духе Ларошфуко, как будто восемнадцатый век уже не нашел золотой середины между чрезмерным глубокомыслием и полнейшей пустотой. Когда же кто-либо из умных людей отпускает тонкую и легкую шутку, она остается непонятой; и вскоре, утомленные тем, что им приходится только давать, ничего не получая взамен, такие люди перестают бывать в обществе и уступают свое место глупцам, которые и царят там безраздельно. Пустое существование, постоянные бесплодные поиски удовольствий, вечная скука, нищета души, сердца, мозга, усталость от блестящих парижских празднеств накладывают свой отпечаток на людей этого круга, превращают их лица в безжизненные маски, изрезанные преждевременными морщинами, в обычную физиономию богача, искаженную гримасой бессилия, освещенную отблеском золота, утратившую признаки мысли.

Весь духовный облик Парижа доказывает, что Париж материальный не мог быть иным, чем он является в действительности. Столица, украшенная венцом,— это королева всегда беременная, всегда снедаемая безудержными, яростными причудами. Париж — голова земного шара, мозг, терзаемый гениальной мыслью и увлекающий вперед человеческую цивилизацию, властитель, неустанный творец-художник, дальновидный политик; он безусловно должен обладать извилинами, присущими мозгу властелина, его пороками, воображением художника и пресыщенностью бесстрастного политика. Лик его отражает произрастание добра и зла; борьбу и победу, идейную битву 1789 года, трубы которой еще гремят во всех уголках мира, а также поражение 1814 года. Город этот не может быть ни нравственнее, ни сердечнее, ни чище, чем паровой котел одного из тех великолепных пароходов, что вызывают восхищение, мощно разрезая океанские волны.

Разве Париж не чудесный корабль, нагруженный великой мудростью? Да, герб его — одно из тех пророчеств, на какие способна порой сама судьба. Город Париж гордится своей высокой бронзовой мачтой, украшенной изображениями побед и фигурой дозорного —

Наполеона. Правда, сему кораблю ведома килевая и боковая качка, но он бороздит воды всего мира, стреляет из сотни жерл со своих трибун, прокладывет путь через моря науки, несется по ним на всех парусах, взывает с высоты своих марселей голосами ученых и художников: «Вперед, на приступ! За мной!» На нем многолюдная команда, которая любит украшать судно новыми вымпелами. Юнги-мальчишки хохочут среди снастей; балластом служит увесистая буржуазия; рабочие и матросы насквозь просмолены, в каютах бездельничают счастливчики-пассажиры; склонившись над бортом судна, элегантные мичманы покуривают сигары, а дальше, на верхней палубе,— солдаты, искатели новых путей и честолюбцы, готовые пристать к любому берегу и возжечь там животворящие светочи истины, добиться славы, дарящей им наслаждение, или любви, требующей золота.

Итак, непосильным трудом пролетариев, необузданной погоней за наживой, снедающей крупную и мелкую буржуазию, жестокими муками творческой мысли и излишествами в наслаждениях, которых постоянно ищут великие мира сего,— вот чем объясняются искаженные черты лица, обычно свойственные парижанину. Лишь на Востоке род людской еще радует взоры великолепным своим обликом; но то действие постоянного покоя, излюбленного состояния этих глубокомысленных философов с длинными трубками, обладателей маленьких ног и крепкого тела, ненавистников презренной суеты; тогда как в Париже мелкие, средние и большие люди только и делают, что мчатся со всех ног, сбивают друг друга, преодолевают препятствия, подхлестываемые неумолимой богиней Необходимостью, необходимостью денег, славы или развлечений... Вот почему свежее, спокойное, милое, подлинно юное лицо вам покажется самым необычайным исключением, до того редко можно здесь его встретить. Если увидите такое лицо, знайте: перед вами бесспорно молодой и ревностный священник; или же это добродушный сорокалетний аббат с тройным подбородком; юная благонравная девица, из тех, что воспитываются в иных буржуазных семьях; молодая двадцатилетняя мать, еще полная иллюзий, кормящая грудью своего первенца; юноша, только что приехавший из провинции, доверенный попечению старой ханжи, обобравшей его до по-

следней нитки; или, может быть, скромный приказчик, который ложится спать в полночь, усталый от постоянного скатывания и раскатывания штуки коленкора, и встает в семь часов утра, чтобы успеть выставить товары в окне лавки; или, нередко, служитель науки, а то и поэзии, целомудренный возлюбленный какой-нибудь прекрасной идеи, который живет как монах и столь же умерен, терпелив и добродетелен; или глупец, самодовольный, вскормленный собственной глупостью, пышущий здоровьем, с неизменной улыбкой на губах; или представитель счастливой, беззаботной породы фланеров, действительно счастливых обитателей Парижа, ежеминутно смакующих поэзию его вечного движения. Все же в Париже есть кучка избранных существ, которым идет на пользу это напряженное производство товаров, погоня за наживой, сделки, искусство и золото. Это — женщины. Хотя в Париже по тысяче причин их облик искажен сильнее, чем где бы то ни было, однако в их женском мирке выделяется небольшое счастливое племя, которое живет на восточный лад и может сохранить свою красоту; но эти женщины редко проходят по улицам, пребывая затворницами, и подобно редкостным цветам, раскрывающим свои лепестки лишь в известные часы, являются настоящими экзотическими созданиями. Впрочем, Париж по самой своей сущности — город контрастов. Пусть здесь редки искренние чувства, но и здесь, как везде, встречается благородная дружба, безграничная преданность. На поле битвы наживы и страстей, как и в жизни *армии*, этого странствующего сообщничества, где торжествует эгоизм, где каждый должен сам себя защищать, чувства, если уж они проявляются, особенно склонны раскрываться во всей своей глубине и особенно прекрасны в силу противопоставления. То же бывает в Париже и с красотою лица. Нередко среди высшей аристократии то здесь, то там можно встретить прелестные лица юношей, свидетельствующие об исключительном воспитании и чистоте нравов. Со свежим очарованием английской красоты лица эти сочетают выразительность, французскую одухотворенность, чистоту форм. Горячий огонь очей, прелестные алые губы, шелковистый блеск черных кудрей, белая кожа, нежный овал лица превращают этих юношей

в прекрасные цветы человеческие, производят блистательное впечатление среди массы тусклых, старообразных, носатых, кривляющихся физиономий.

Женщины сразу устремляют на таких юношей свои взоры и с жадным упоением любуются ими, подобно тому как мужчины восхищаются красивой, скромной, грациозной молоденькой девушкой, окруженной ореолом той очаровательной невинности, о какой мы грезим. Если этот беглый очерк, посвященный жителям Парижа, дал представление о редкости красоты рафаэлевского типа и о том восторге, какой она должна возбуждать с первого взгляда, то основная цель нашей повести достигнута. Quod erat demonstrandum,— что и требовалось доказать,— если только позволительно пользоваться схоластическими формулами, изучая историю нравов.

Как-то, в прекрасное весеннее утро, в ту пору, когда деревья еще не зазеленели, но уже покрылись набухшими почками, а на крышах уже горят солнечные блики, когда голубеет небо; когда парижское население покидает свои ульи, жужжит на бульварах, тысячецветной змеей ползет по улице Мира в направлении к Тюильри, приветствуя свадебный пир возрождающейся природы,— в такой ликующий день молодой человек, сам прекрасный, как этот день, одетый со вкусом, непринужденный в манерах,— откроем его тайну,— дитя любви, побочный сын лорда Дэдли и всем известной маркизы де Вордак, прогуливался по широкой аллее в Тюильри. Сей Адонис, носивший имя Анри де Марсе, родился во Франции, куда лорд Дэдли приехал с целью выдать замуж молодую особу, мать нашего Анри, за старого дворянина по фамилии де Марсе. Этот облинявший и полумертвый мотылек признал ребенка своим, получив в качестве вознаграждения в пожизненное пользование сто тысяч франков ренты, переходящие затем к его мнимому сыну; лорд Дэдли недорого заплатил за свое сумасбродство: французские бумаги шли тогда по семнадцати с половиной франков. Старый дворянин умер, так и не сблизившись с женой. Г-жа де Марсе впоследствии вышла замуж за маркиза де Вордака; но и до этого она мало думала о своем ребенке и о лорде Дэдли. Сначала война между Францией и Англией разъединила любовников, а верность *во что бы то ни стало* никогда не была да и не

будет модной в Париже. Затем успех элегантной, красивой женщины, пользовавшейся всеобщим обожанием, заглушил в парижанке материнское чувство. Лорд Дэдли проявил не больше чадолюбия, чем мать. Быть может, быстрая измена пылко любимой им девушки вызвала у него нечто вроде неприязни ко всему, что было с ней связано. Возможно также, что отцы привязываются только к тем детям, которых они близко узнают; это общепризнанное мнение имеет важный смысл для семейного спокойствия, и его должны поддерживать все холостяки, доказывая, что отцовство — чувство, подобное тепличному растению, взращенное женой, добрыми нравами и законами.

Бедный Анри де Марсе обрел отца именно в том человеке, которому не был обязан своим появлением на свет. Отцовским чувствам г-на де Марсе, естественно, было далеко до совершенства. По обыкновению, отец мало бывает с детьми, и наш дворянин подражал в этом родным отцам. Старикашка не продал бы своего имени, если бы не предавался порокам. Итак, без всяких угрызений совести он принялся проедать и пропивать в различных притонах и прочих злачных местах те небольшие доходы, которые французское казначейство выплачивало держателям государственной ренты. Затем он отдал ребенка на попечение своей престарелой сестры, девицы де Марсе, которая нежно заботилась о своем воспитаннике и на скудные средства, получаемые от брата, пригласила к нему наставником аббата, не имеющего ломаного гроша за душой; аббат принял на себя заботы о юном питомце, положившись на вознаграждение себе в будущем за счет его стотысячной ренты, и искренне привязался к мальчику. Наставник этот по воле случая оказался истинным священником, прелатом, как бы созданным для того, чтобы стать кардиналом во Франции либо Борджа в папской тиаре. За три года он обучил мальчика всему, чему обучили бы его в школе за десять лет. Наконец этот незаурядный человек, по имени аббат де Маронис, завершил образование своего ученика, приобщив его к цивилизации во всех ее проявлениях; он делился с ним всем своим опытом, он вовсе не думал таскать его по церквам,— да в те годы они были еще закрыты,— но иногда водил его за кулисы, а еще чаще к кур-

тизанкам; аббат последовательно развенчал перед юношей одно за другим все человеческие чувства, преподал ему правила политики, которую в ту пору стряпали в гостиных; ознакомил его со всем правительственным механизмом и, питая дружеские чувства к этой брошенной на произвол судьбы, но многообещающей, прекрасной натуре, мужественно попытался заменить ему мать; разве церковь и не должна быть матерью всех сирот? Юноша оправдал надежды своего учителя. Достойный человек умер епископом в 1812 году, удовлетворенный сознанием, что оставляет после себя под небесами чадо, чувства и ум которого в шестнадцать лет столь блистательно воспитаны, что оно легко может взять верх над любым сорокалетним мужчиной. Кто ожидал бы найти железное сердце, отравленный ум под самой обольстительной внешностью, подобной той, какою старые мастера, эти великие в своей наивности художники, наделяли змия-искусителя? И это еще не все. Чертовски предусмотрительный служитель церкви обеспечил своему детищу покровительство нужных людей в высшем свете, откуда молодой человек мог извлечь дополнительную ренту в сто тысяч ливров. Словом, сей пастырь, порочный, но умный, не верующий, но ученый, коварный, но приятный, тщедушный с виду, но сильный телом и духом, был столь полезен своему питомцу, столь снисходителен к его порокам, столь опытен в оценке борющихся сил, столь искусен в разоблачении сущности человеческой природы, столь молод за столом у Фраскати и еще кое-где, что признательного ему Анри де Марсе в 1814 году уже ничто не могло растрогать — разве лишь лицезрение портрета, на котором изображен был дорогой ему епископ,— единственное движимое имущество, оставленное ему прелатом, представителем несравненной породы людей, гений коих принесет римско-католической апостольской церкви, опороченной ныне из-за слабости своих новых членов и дряхлости первосвященников, спасение от гибели, но, конечно, если сама церковь того пожелает! Война на континенте помешала молодому де Марсе увидеть своего настоящего отца, вряд ли известного ему даже по имени. Покинутый родителями еще в детстве, он не лучше знал и г-жу де Марсе. Вполне понятно, что он нимало не горевал о смерти своего мнимого отца. Когда же умер-

«ГЕРЦОГИНЯ ДЕ ЛАНЖЕ» («ИСТОРИЯ ТРИНАДЦАТИ»)

«ПЬЕР ГРАССУ».

ла девица де Марсе, бывшая ему истинной матерью, то он поставил ей прелестный небольшой памятник на кладбище Пер-Лашез. Монсеньор де Маронис сулил этой божьей старушке лучшее из мест в царствии небесном, вот почему она умирала счастливой. Анри же оплакивал ее эгоистическими слезами, сожалея не о ней, а о себе самом. Видя горе своего питомца, аббат осушил его слезы, напомнив ему, что почтенная девица уж очень противно нюхала табак, быстро глохла и становилась день ото дня все безобразнее и надоедливей, так что следует только благословлять унесшую ее смерть. В 1811 году епископ добился снятия опеки со своего воспитанника. Когда же мать г-на де Марсе вторично вышла замуж, прелат на семейном совете выбрал из своих прихожан честного, недалекого человека, предварительно проверенного им в исповедальне, и поручил ему заботы об имуществе юного де Марсе с тем, чтобы доходы можно было обратить на нужды совместной жизни учителя и ученика, не касаясь, однако, основного капитала.

Итак, к концу 1814 года Анри де Марсе не был связан никакими узами на нашей грешной земле и чувствовал себя вольной птицей. Хотя ему исполнилось уже двадцать два года, на вид ему нельзя было дать больше семнадцати. Обычно даже самые придирчивые его соперники признавали, что он самый красивый юноша в Париже. От отца, лорда Дэдли, он унаследовал завлекающий, обольстительный взгляд синих глаз, от матери — густые черные волосы; от обоих — чистоту крови, нежную девичью кожу, мягкие, скромные манеры, изящную аристократическую фигуру и поразительно красивые руки. Для женщины увидеть его — значило потерять голову или загореться одним их тех желаний, которые испепеляют сердце, но, впрочем, забываются из-за невозможности их удовлетворить, ибо постоянство вообще не свойственно парижанке. Немногие среди них, подобно мужчине, повторят девиз Оранского дома: «Не отступлюсь!» Этот молодой человек с юношески свежим лицом и с детскими глазами обладал храбростью льва и ловкостью обезьяны. На расстоянии десяти шагов, стреляя в лезвие ножа, он разрезал пулю пополам; верхом на лошади воплощал легендарного кентавра; с изяществом правил экипажем, запряженным цугом; был проворен, как Ке-

рубино; был тих, как ягненок, но свалил бы любого парня из рабочего предместья в жестокой борьбе «сават» или на дубинках; играл на фортепьяно так, что в случае нужды мог бы выступать как музыкант, и обладал голосом, который у Барбаха приносил бы ему пятьдесят тысяч франков в сезон. Увы! Все его превосходные качества, очаровательные недостатки бледнели перед снедающим его ужасным пороком — он не верил ни мужчине, ни женщине, не верил ни в бога, ни в черта. Таким его создала своенравная природа, а священник довершил ее дело.

Дабы все было ясно в этой истории, мы должны сразу сказать, что лорд Дэдли, разумеется, встречал немало женщин, склонных одарить его другими экземплярами прелестного портрета. Вторым его шедевром в том же духе была молодая девушка по имени Эвфемия, рожденная от испанки, воспитанная в Гаване, а затем перевезенная в Мадрид вместе с молоденькой креолкой, уроженкой Антильских островов, и со всеми разорительными привычками колоний, однако счастливо выданная замуж за старого и сказочно богатого испанского сеньора дон Ихоса, маркиза де Сан-Реаль, который после оккупации Испании французскими войсками переехал в Париж и поселился на улице Сен-Лазар. Щадя невинность юного возраста, а может быть, и просто по беспечности, лорд Дэдли ничего не говорил своим детям об их родне, рассеянной им по белу свету. Это одно из маленьких неудобств цивилизации, но оно искупается такими преимуществами, что приходится прощать приносимые ею беды за все расточаемые ею блага. Чтобы больше не возвращаться к лорду Дэдли, прибавим, что в 1816 году он обрел себе пристанище в Париже, спасаясь от преследования английского правосудия, поощряющего Восток лишь в торговых делах. Увидав как-то Анри, странствующий лорд заинтересовался, кто этот обольстительный юноша. И узнав его имя, обронил:

— Ах! Жалко, что это мой сын!

Такова была история молодого человека, который в середине апреля 1815 года, блистая величавым спокойствием, свойственным животному, сознающему свою силу, беспечно прогуливался по главной аллее Тюильрийского сада; мещанки наивно оглядывались на него; другие женщины не оборачивались, выжидали, когда он пройдет

еще раз, старались запечатлеть в памяти его образ и затем при случае вспомнить пленительное лицо, которое было бы под стать и самому красивому женскому телу.

«Что делаешь ты здесь? — ведь нынче воскресенье!» — спросил его, проходя мимо, маркиз де Ронкероль.

«Рыбка клюнула!» — отвечал молодой человек.

Этим вопросом и ответом они обменялись без слов, лишь при помощи двух многозначительных взглядов, и ни де Ронкероль, ни де Марсе виду не подали, что знакомы друг с другом. Молодой человек наблюдал за гуляющими, как истый парижанин, который, казалось бы, ничего не видит и не слышит, тогда как его тонкий слух и быстрый взгляд все улавливает, все примечает.

Через минуту к нему подошел другой молодой человек и, непринужденно взяв его под руку, сказал:

— Как дела, дружище де Марсе?

— Да превосходно! — ответил де Марсе с той показной сердечностью, которая среди молодых парижан ровно ничего не обещает ни в настоящем, ни в будущем.

И правда, парижская молодежь не похожа на молодежь других городов. Она делится на два класса: одни — молодые люди имущие, другие — неимущие, или иначе: одни — расточают деньги, другие — накапливают мысли. Но знайте, речь идет лишь о прирожденных парижанах, которые наслаждаются всеми усладами изысканной столичной жизни. Существуют там бесспорно и другие молодые люди; однако это невинные младенцы, они слишком поздно познают радости парижского существования и остаются в дураках. Они, как принято говорить, не гоняются за наживой, они поглощают знания, или, как выражаются некоторые, корпят над своими книгами. Наконец, среди богатых и среди бедных молодых людей встречаются и такие, что никогда не сворачивают с пути, выбранного ими раз навсегда, в них есть что-то от Эмиля из романа Руссо, они жалкие рабы гражданского долга, и вы никогда не увидите их в свете. Дипломаты, не стесняясь, называют их глупцами. Глупцы они или нет, но в значительной степени они увеличивают число посредственностей, под бременем которых сгибается Франция. Они никогда не переводятся, всегда все калечат, подгоняя общественные и частные дела под общую

мерку, похваляются своим бессилием, величая его добропорядочностью и честностью. Эти люди, своего рода *первые ученики* в общественной жизни, заражают своим присутствием чиновничество, армию, суд, двор, палаты. Они способствуют измельчанию и опошлению страны и в общественном организме выполняют роль лимфатической жидкости, которая отяжеляет и расслабляет тело. Эти высоконравственные личности называют талантливых людей распутниками и шутами. Но если плуты заставляют оплачивать свои услуги, то все же эти услуги они оказывают, тогда как подобные людишки только вредят и злоупотребляют почитанием толпы; к счастью для Франции, ее блестящая молодежь то и дело клеймит их именем тупиц.

Итак, с первого взгляда можно отчетливо различить две разновидности среди молодых людей, вкушающих изысканную жизнь среди этой очаровательной корпорации, к которой принадлежал и Анри де Марсе. Однако проницательные наблюдатели, смотрящие в корень вещей, скоро убеждаются, что это различие чисто нравственного порядка и ничто так не обманчиво, как эта блестящая мишура. Что бы там ни было, все они одинаково уверены в своем превосходстве над миром, толкуют вкривь и вкось события, людей, литературу, искусство; всегда носятся с новыми Питтами и Кобургами; обрывают серьезную беседу каламбуром, потешаются над наукой и учеными; презирают все, чего не знают или чего боятся; ставят себя превыше всего, провозглашая себя первыми судьями во всех вопросах. Все они дурачат своих отцов, выманивая у них деньги, и готовы проливать крокодиловы слезы на груди у своих матерей; обычно они ни во что не верят, злословят о женщинах или прикидываются скромниками, а на деле пляшут под дудку какой-нибудь низкой куртизанки или содержащей их старухи. Все они испорчены до мозга костей расчетливостью, развратом, грубым стремлением к житейским успехам, и при внимательном исследовании можно обнаружить, что все они страдают *каменной* болезнью... сердца. В обычных условиях они красивы, обаятельны, всегда склонны к проявлению дружеских чувств. Зубоскальство — неизменная основа их изменчивого жаргона; они бьют на оригинальность в своей одежде, с упоением повторяют

очередную пошлость какого-нибудь модного актера и при встрече с любым новым для них человеком стараются обезоружить его своим презрением и дерзостью, чтобы сразу взять над ним верх; и горе тому, кто не стерпит обиды, не отложит на будущее расплату за нее по правилу — два ока за око. Кажется, все они одинаково равнодушны к несчастиям и бедствиям своей отчизны. Словом, они подобны красивой белой пене, вскипающей на волнах бурного моря. Они наряжаются, объедаются, танцуют, веселятся и в день битвы при Ватерлоо, и в холерный год, и во время революции. Притом у всех примерно одни и те же расходы,— но здесь и намечается между ними некоторое различие. Одни обладают уже капиталом, позволяющим им так восхитительно расточать дары капризной фортуны, другие только рассчитывают его обрести; все они шьют у одних и тех же портных, но счета у некоторых еще не оплачены. Кроме того, если одни, у которых головы, как решето, нахватавшись чужих мыслей, не могут удержать ни одной, то другие разбираются в них и усваивают все лучшее. Если одни воображают, что знают многое, на самом же деле ничего твердо не знают, но обо всем судят, если они навязывают свое достояние тем, кто ни в чем не нуждается, и ничего не дают тем, кто испытывает нужду,— другие тайно изучают мысли своего ближнего и ловко извлекают из своих денег, так же как из своих увлечений, огромную выгоду. Одни уже утеряли способность к верным впечатлениям, ибо душа их, подобно потускневшему, старому зеркалу, ничего уже не воспринимает,— другие берегут свои чувства и жизнь, хотя и кажется, что растрачивают их не меньше, чем первые. Одни, не по убеждению, а лишь в погоне за успехом, примыкают к какой-нибудь политической системе, увлекаемые попутным ветром против течения, но, лишь только ветер подует в другую сторону, бросают свою ладью и пересаживаются в новую; другие же заглядывают в будущее и видят в политической верности то, что англичане — в торговой честности: залог успеха. Благополучный молодой человек лишь щеголяет каламбуром или острым словцом по случаю нового политического курса, взятого троном, а тот, у кого ничего нет за душой, не скрывая от общества своих гнусных расчетов или идя на тайную подлость, добивается всего,

спокойно пожимая руки своим друзьям. Одни никогда не верят в чужие способности, все свои мысли считают открытием, как если бы мир был сотворен лишь накануне, питают безграничную веру в самих себя — и сами себе вредят больше, чем жесточайший враг. Но другие облеклись в броню неизменной осторожности в отношении к людям, знают им настоящую цену и достаточно предусмотрительны, чтобы иметь про запас одним замыслом больше, чем эксплуатируемые ими друзья; и вот вечером, положив голову на подушку, они определяют вес разных людей, как скупец взвешивает слитки золота. Одних бесит и самая пустяковая дерзость, а между тем они становятся посмешищем дипломатов, которые играют ими, как картонными паяцами, дергая за веревочку, именуемую самолюбием, тогда как другие заставляют себя уважать и умеют найти себе и жертву и покровителя. И вот наступает день — и те, кто ничего не имел, приобретают многое, те же, кто обладал многим, теряют все. Эти последние расценивают товарищей своих, добившихся положения, как изолгавшихся подлецов, но вместе с тем как сильных людей. «Он очень силен!» — это величайшая похвала, получаемая теми, кто quibuscumque viis [1] добился политического успеха, связи с женщиной или богатства. Среди них встречаются молодые люди, которые начинают с того, что обзаводятся долгами, и, естественно, они опаснее тех, кто вступает в игру, лишь не имея ни гроша за душой. Молодой человек, называвший себя другом Анри де Марсе, был шалопай из провинциалов, и тогдашняя модная молодежь обучала его искусству проматывать наследство; однако в провинции у него еще оставались кое-какие крохи, некоторый спасительный запас. Попросту говоря, это был юноша, который сразу, после жалкого существования на сто франков в месяц, оказался наследником всего отцовского имущества. Но если он не был настолько умен, чтобы понять, как над ним издеваются, то обладал все же известной расчетливостью, чтобы сохранить две трети своего состояния. Промотав в Париже несколько тысячефранковых билетов, он зато постиг все значение хорошей упряжи, небрежного обращения с перчатками, усвоил

[1] Какими бы то ни было путями *(лат.)*.

мудрые суждения о жаловании, которое следует выплачивать прислуге, и о наиболее выгодных условиях ее найма; он обучился искусству говорить в надлежащих выражениях о своих лошадях, о своей пиренейской собаке; распознавать женщин по их манерам, походке, ботинкам; научился игре в экарте, запомнил несколько модных словечек и приобрел, вращаясь в парижском свете, необходимый авторитет для того, чтобы впоследствии привить провинции вкус к чаю, к столовому серебру английского образца и обрести право презирать до конца дней своих все, что его окружает. Де Марсе удостоил его своей дружбы, чтобы воспользоваться его услугами в свете, подобно тому как смелый биржевой делец пользуется услугами доверенного приказчика. Дружба де Марсе, притворна она была или истинна, давала положение в обществе Полю де Манервилю, который сам считал, что умеет кое-чего добиваться, и по-своему тоже эксплуатировал своего приятеля. Он сверкал отражениями де Марсе, вертелся около него, во всем ему подражая, купаясь в его лучах. Разговаривая с Анри или даже идя с ним рядом, он как будто заявлял всем: «Не троньте нас, мы — сущие тигры!» Нередко позволял он себе чванливо заявлять: «Стоит мне попросить Анри о чем-нибудь, и он все сделает для меня, во имя нашей дружбы». Однако он старался не докучать ему никакими просьбами. Он боялся его, и эта боязнь, хотя и тщательно скрываемая, передавалась другим и шла на пользу де Марсе.

«Редкий человек этот де Марсе,— говаривал Поль.— О! Вот сами увидите, он своего добьется. Я не удивлюсь, если в один прекрасный день он станет министром иностранных дел. Для него нет преград». И он прибегал к имени де Марсе, как капрал Трим к своей шапке, в качестве последней ставки:

«Спросите у де Марсе, и сами увидите».

Или же:

«На днях охотились мы с де Марсе, и он верить мне не хотел, что я перескочу через куст, не шевельнувшись в седле, но я это ему доказал».

Или:

«Были мы недавно с де Марсе у женщин, и, клянусь честью, я...» и т. п.

Итак, Поля де Манервиля можно было отнести к ве-

ликому, славному и могущественному семейству преуспевающих ничтожеств. Он должен был со временем стать депутатом. А пока это было нечто неопределенное.

Де Марсе характеризовал своего друга так: «Вы спрашиваете у меня, что представляет собой Поль? Поль?— Поль де Манервиль! — этим все сказано».

— Я поражен, мой милый, встретив вас здесь в воскресный день,— сказал Поль.

— Я только что хотел сказать тебе то же самое.

— Что, интрижка?

— Да.

— Вот оно что!

— Тебе, конечно, я могу об этом рассказать, не компрометируя предмета моей страсти. Да притом женщина, посещающая Тюильри по воскресеньям, не имеет никакого значения для нас, аристократов.

— Ха-ха!

— Замолчи, или я ничего тебе больше не скажу. Ты слишком громко смеешься, могут подумать, что мы выпили лишнее. В прошлый четверг я прогуливался здесь по террасе Фельянов, ни о чем не думая. Но, дойдя до выхода на улицу Кастильоне и собираясь уже уходить из сада, я столкнулся лицом к лицу с женщиной, вернее, с молоденькой девушкой, которая бросилась бы мне в объятия, не удержи ее, как мне кажется, не столько чувство приличия, сколько глубокое изумление, которое расслабляет руки и ноги, пронизывает все ваше существо и доходит до самых пят, как бы для того, чтобы пригвоздить вас к месту. Я нередко произвожу подобное впечатление, в этом своеобразно проявляется животный магнетизм, который чрезвычайно усиливается, лишь только осложняются взаимоотношения между людьми. Но, мой милый, на этот раз было не простое изумление, и сама девушка не была обыкновенной, каких много. На языке страстей ее лицо, казалось, говорило: «Как! это ты, мой идеал, властитель всех дум моих, тот, о ком я грежу все ночи напролет? Что привело тебя сюда? почему именно сегодня утром? почему не вчера? Бери меня, я твоя», и т. п. «Чудесно,— подумал я,— вот еще одна». Я стал ее разглядывать. Ах, мой милый, моя незнакомка как женщина — самая очаровательная из всех, каких я когда-либо встречал. Она принадлежит к той породе женщин, ка-

кую римляне называли fulva flava, огненная женщина. И особенно поразили меня — да так, что я не в силах забыть — ее желтые, как у тигра, глаза; их желтое, горящее золото — золото живое, золото мыслящее, золото любящее и желающее во что бы то ни стало попасть вам в руки.

— Кто же ее не знает, мой милый! — воскликнул Поль.— Она иной раз прогуливается здесь, это *Златоокая девушка*. Мы так прозвали ее. Это молодая особа лет двадцати двух, я видел ее здесь еще при Бурбонах, но не одну, а с женщиной, которая во сто тысяч раз лучше ее.

— Замолчи, Поль! Это немыслимо, ни одна женщина не может быть лучше этой девушки, похожей на кошку, которая, ласкаясь, трется у ваших ног, девушка с белоснежной кожей и пепельными волосами, такой тонкой, изящной, но непременно с золотистыми волосками у третьего сгиба пальцев и светлым пушком на щеках, который золотится в солнечный день.

— Ах! Но другая, мой милый Марсе!.. У нее черные, горящие, никогда не знававшие слез глаза; черные сросшиеся брови, придающие ей суровый вид, что не вяжется с мягкой линией ее рта, на котором и следа не оставляют поцелуи; жгучие и свежие губы; знойный цвет лица, словно солнце, согревающий человека... но, клянусь честью, до чего ты похож на нее!

— Ты ей льстишь!

— У нее красиво выгнутая спина, округлая линия бедер, эта женщина похожа на легкую яхту, так и созданную для набегов, яхту, которая с французской стремительностью кидается на торговые корабли, разит их и в два счета пускает ко дну.

— Но, мой милый, что мне за дело до той, которой я не видел? С тех пор как я изучаю женщин, только одна моя незнакомка своей девственной грудью, своими пышными, сладострастными формами воплотила образ той единственной женщины, о которой я грезил! Она оригинал картины-фантасмагории «Женщина, ласкающая свою химеру», являющейся плодом самого пылкого, самого адского вдохновения античного гения, святой поэзией, проституированной копировальщиками на фресках и мозаике, на потребу кучки мещан (для которых камея — лишь

брелок к ключику от их часов), тогда как здесь воплощена вся женщина, неисчерпаемая бездна наслаждения, поглощающая вас, но так и не познанная вами до конца, тогда как это идеальная женщина, какие еще встречаются иногда в Испании, Италии, но почти никогда не встречаются во Франции. Так вот, я опять видел эту Златоокую девушку, эту *женщину, ласкающую химеру,* я видел ее здесь в прошлую пятницу. Я предчувствовал, что она придет сюда на другой день, в тот же самый час, и не ошибся. Мне доставляло удовольствие идти за ней, скрываясь от ее взоров, изучать ее беспечную походку праздной женщины, ее движения, в которых угадываешь дремлющее сладострастие. Она обернулась, она увидала меня, опять одарила меня взглядом, полным обожания, опять задрожала, затрепетала. И тогда я заметил охранявшую ее настоящую испанскую дуэнью, гиену в женском платье, старую чертовку, нанятую за хорошую плату каким-нибудь ревнивцем, чтобы стеречь это пленительное существо... Ах! дуэнья пробудила во мне любопытство, а оно еще разожгло мою любовь. В субботу никто не пришел. И вот сегодня я снова поджидаю деву, химерой которой стал я сам, и ничего мне больше не надо, как, уподобясь чудовищу с фрески, лежать у ее ног.

— Да вот и она! — сказал Поль.— Видишь, все оглядываются на нее...

Незнакомка зарделась румянцем, глаза ее сверкнули при виде Анри, она закрыла их и прошла мимо.

— Так ты говоришь, она дарит тебя своим вниманием? — шутливо заметил Поль де Манервиль.

Дуэнья пристально и внимательно посмотрела на обоих молодых людей. Когда же незнакомка и Анри снова повстречались, молодая девушка как будто невзначай задела его и сжала своей рукой его руку. Затем она повернула к нему голову и страстно ему улыбнулась, но дуэнья поспешно увлекла ее за собой к выходу на улицу Кастильоне. Два друга пошли за молодой девушкой, восхищаясь великолепным изгибом ее груди, линиями затылка и шеи, на которую опускалось несколько завитков непокорных волос. У Златоокой девушки были изящные, точеные ножки с высоким подъемом, что так пленяет сладострастное воображение. Не удивительно, что владелица этих ножек носила особенно элегантную обувь

и короткое платье. Она порой оглядывалась на Анри и с видимой неохотой шла за своей старой спутницей, для которой, казалось, была одновременно и госпожой и рабой: могла бы приказать, чтобы ее избили, но не смела прогнать ее. Все это бросалось в глаза. Оба друга подошли к выходу. Два ливрейных лакея откинули подножку элегантной кареты, украшенной гербами. Златоокая девушка села первая, занимая место с той стороны, откуда можно было бы увидеть ее при повороте кареты; держась за дверцу, она тайком от дуэньи махнула Анри платком, пренебрегая тем, *что скажут* любопытные зеваки, и откровенно давая ему знак: «Следуйте за мной!»

— Можно ли яснее объясняться с помощью платка? — спросил Анри, обращаясь к Полю де Манервилю.

Заметив, что неподалеку только что освободился фиакр, он знаком остановил кучера, собиравшегося ехать дальше.

— Следуйте за каретой, заметьте улицу и дом, где она остановится,— я дам вам десять франков. Прощай, Поль!

Фиакр двинулся за каретой. Карета въехала на улицу Сен-Лазар и остановилась перед одним из лучших особняков этого квартала.

Де Марсе не отличался безрассудством. Всякий другой молодой человек на его месте уступил бы желанию разузнать что-нибудь о девушке, воплотившей в себе самые лучезарные образы женщин, созданных восточной поэзией; но Анри был слишком хитер для того, чтобы из-за такой поспешности потерпеть неудачу в своем любовном приключении, он поехал, не останавливаясь, дальше по улице Сен-Лазар, а затем домой. На другой день его камердинер по имени Лоран, хитрый малый, под стать Фронтену из старой комедии, неподалеку от дома, где жила незнакомка, поджидал часа, когда почтальон разносит почту. Чтобы сподручнее было шпионить и рыскать около особняка, Лоран, как это делают в подобных случаях полицейские, изменил свой вид, переодевшись в поношенное платье оверица, нарочито им купленное, придав тем себе соответствующий облик. Когда появился почтальон, обслуживавший в это утро улицу Сен-Лазар, Лоран прикинулся рассыльным, позабывшим имя того лица, которому должен был вручить пакет, и обра-

тился с вопросом к почтальону. Обманутый в первую минуту обликом Лорана, сей персонаж, столь своеобразный на фоне парижской цивилизации, сказал ему, что особняк, где живет Златоокая девушка, принадлежит дону Ихосу, маркизу де Сан-Реаль, испанскому гранду. Само собой разумеется, «овернец» был послан не к маркизу.

— Я должен передать пакет маркизе.

— Она уехала,— ответил почтальон. —Ее письма пересылают в Лондон.

— Стало быть, маркиза не та молодая девушка, что...

— Ага! — перебил камердинера почтальон, внимательно в него вглядываясь.— Да ты такой же рассыльный, как я танцор.

Лоран показал несколько золотых монет болтливому почтальону, и тот сразу повеселел.

— Ну-с, вот вам имя вашей пташки,— сказал он, вынимая из кожаной сумки письмо с лондонским штемпелем и показывая адрес, написанный острым и тонким почерком, обличающим женскую руку: «Мадемуазель Паките Вальдес, улица Сен-Лазар, дом Сан-Реаль. Париж».

— Надеюсь, вы не откажетесь от бутылочки шабли, от дюжинки-другой устриц и от жаркого с шампиньонами,— предложил Лоран, стараясь завоевать драгоценную дружбу почтальона.

— В половине десятого, когда разнесу письма... А где?

— На углу Шоссе д'Антен и улицы Нев-де-Матюрен, под вывеской «Кладезь трезвости».

— Послушайте, приятель,— сказал почтальон, встретившись через час с камердинером,— если ваш хозяин влюбился в эту девушку — нелегкое дело ему выпало. Сомнительно, чтобы вам удалось к ней проникнуть. Вот уже десять лет работаю я почтальоном в Париже, каких только дверей и замков я не перевидал! Но могу заверить вас — спросите хоть кого из почтальонов, все это подтвердят! — таких таинственных дверей, как в особняке маркизы де Сан-Реаль, нет нигде. Никто не может войти в этот дом без какого-то условного словца; и, заметьте, недаром эти люди выбрали особняк, окруженный двором и садом,— из других домов его и не видать! Швейцар там старый испанец, слова по-французски не скажет, но

прощупает тебя взглядом, что твой Видок, словно ты воровать пришел. И даже если, к примеру, любовнику, вору или, скажем, вам удастся обмануть привратника, так в первом зале, за стеклянной дверью, натолкнешься на мажордома с кучей лакеев,— а этот старый чудила еще нелюдимей и угрюмей, чем швейцар. Войдете в ворота, так все равно мажордом вылезет вам навстречу и дальше крыльца не пустит, да еще учинит вам допрос, совсем как преступнику.

Это приключилось со мной, простым почтальоном. Он, верно, принял меня за какого-нибудь корреспондента, хоть, правда, я и разношу корреспонденцию,— сказал почтальон и сам рассмеялся, довольный своей нескладной остротой.— Ну, а от прислуги и не надейтесь что-нибудь вытянуть: немые они, что ли, только никто в квартале от них живого слова не слыхивал; уж не знаю, какое жалованье им платят, чтобы они держали язык за зубами да в рот спиртного не брали, верно только, что к ним не подступиться: не то боятся, что их пристрелят, не то уж очень большие деньги им придется потерять, если проболтаются. Если хозяин ваш настолько любит мадемуазель Пакиту Вальдес, что преодолеет все препятствия, ему все равно не справиться с доньей Кончей Мариальвой; эта дуэнья неотступно сопровождает девушку и готова, кажется, упрятать ее под свою мантилью, лишь бы не отпустить ее от себя. Они словно пришиты друг к другу.

— Вы только подтвердили, уважаемый господин почтальон, то, что мне уже приходилось слышать,— сказал Лоран, смакуя вино.— Честное слово, а я-то думал, что надо мной потешались. Хозяйка овощной лавки, там, напротив, рассказывала мне, что на ночь в сад спускают собак, подвешивая им мясо к столбам повыше, чтобы они не могли достать до него. А если кто пытается войти в сад, эти проклятые псы бросаются на него, как на врага, отнимающего у них добычу, и готовы растерзать его на части. Вы мне скажете, что им можно швырнуть другой кусок мяса, но, кажется, их приучили есть не иначе, как из рук швейцара.

— Да, то же самое мне рассказывал привратник барона де Нусингена, сад которого примыкает к особняку Сан-Реаль.

«Вот и отлично, мой хозяин его знает!» — подумал Лоран.

— Знаете что? — сказал он почтальону, искоса поглядывая на него.— Хозяин мой охулки на руку не положит, и задумай он поцеловать пятку самой королевы, то уж не миновать ей этого! Если бы вы ему понадобились — чего я вам от души желаю, так как человек он щедрый,— скажите, можно ли рассчитывать на вас?

— Да ради бога, господин Лоран! Зовут меня Муано, на букву «мэ», как барашек блеет.

— Ладно, запомню, что на «мэ»,— усмехаясь, согласился Лоран.

— Живу я на улице Трех Братьев, в номере одиннадцатом, на шестом этаже,— продолжал Муано,— у меня жена и четверо детей. Если то, что от меня потребуется, не будет противно моей совести и служебным обязанностям,— вы понимаете? — я весь к вашим услугам!

— Вы славный малый,— сказал ему Лоран, пожимая руку.

Когда камердинер доложил Анри о результатах своих трудов, тот заметил:

— Пакита Вальдес, как видно, любовница маркиза де Сан-Реаль, друга короля Фердинанда. Только испанские мозги этого восьмидесятилетнего трупа способны выдумать подобные меры предосторожности.

— Сударь,— обратился к нему Лоран, —не попасть вам туда, разве что спуститься на воздушном шаре.

— Ну и дурак! Да к чему нам забираться в дом, чтобы добыть Пакиту, когда Пакита сама может оттуда выйти?

— Но, сударь, как же быть с дуэньей?

— Запрем мы дуэнью на несколько дней, вот и все.

— Стало быть, Пакита — наша! — воскликнул Лоран, потирая руки.

— Ах ты, негодник! — прикрикнул на него Анри.— Берегись, я отдам тебя на усладу дуэнье, если будешь так нагло говорить о женщине, которой я еще не обладал... Подай мне одеться, я ухожу из дому.

Минуту Анри предавался радостным мыслям. Не в укор женщинам будь это сказано — стоило ему только по-

желать, и он добивался любой из них. И действительно, что стоит женщина, если, не имея любовника, она устояла бы перед молодым человеком, который наделен красотой, одухотворяющей тело, наделен умом, украшающим душу, наделен волей и богатством — этими источниками подлинного могущества? Но столь быстрые победы не могли не надоесть победителю, вот почему уже около двух лет де Марсе отчаянно скучал. Погружаясь в пучину сладострастия, он выносил оттуда больше гравия, чем жемчуга. Итак, в конце концов он уподобился монархам и, как они, стал молить судьбу послать ему какое-нибудь трудное препятствие, мечтал о каком-нибудь приключении, которое требовало бы от него затраты духовных и физических сил, пребывающих в полном бездействии. Хотя Пакита Вальдес являла собой дивное сочетание всех совершенств, которыми доселе он в других женщинах наслаждался лишь порознь, однако он почти не испытывал к ней чего-либо, похожего на страсть. Легкость, с какой он удовлетворял свои желания, ослабила в его сердце чувство любви. Подобно старцам и пресыщенным людям, он увлекался только сумасбродными выходками, разрушительными страстями. Увлекался прихотями, удовлетворение которых не оставляло в сердце его никакого теплого воспоминания. Для юноши любовь самое прекрасное чувство, она — цветение его души; под ее солнечно-яркими лучами пышно распускаются самые вдохновенные и высокие мысли; в первых плодах всегда есть особая прелесть. У зрелого мужчины любовь становится страстью, сила приводит к излишествам. У старика любовь превращается в порок, бессилие приводит к разврату. Анри был в одно и то же время старик, зрелый мужчина и юноша. Чтобы испытать волнение настоящей любви, ему, как и Ловласу, необходима была Кларисса Гарлоу. Без чудотворного сияния такой редкостной жемчужины его страсть могло подхлестнуть лишь тщеславие парижанина, либо надуманное решение довести ту или иную женщину до той или иной степени разврата, либо, наконец, острое любопытство. И вот доклад камердинера Лорана сразу придал Златоокой девушке огромную цену. Предстояло дать бой некоему тайному врагу, по-видимому, столь же опасному, сколь и ловкому; чтобы одержать победу, необходимо было пустить в ход

все силы, подвластные Анри. Он собирался разыграть старую и вечно новую комедию, где обязательными персонажами являются старик, молодая девушка и любовник — дон Ихос, Пакита, де Марсе. Если Лоран и мог сойти за Фигаро, то дуэнья казалась совершенно неподкупной. Так действительный случай завязал узел пьесы покрепче самого искусного драматурга! Но разве случай — не своеобразный гений?

«Надо быть начеку»,— решил про себя Анри.

— Ну, как твои дела? — обратился к нему Поль де Манервиль, входя в комнату.— Я пришел позавтракать вместе с тобой.

— Вот и хорошо! Ты не рассердишься, если я буду одеваться при тебе?

— Что за странный вопрос!

— Да ведь мы нынче все перенимаем у англичан, так что сами понемногу превращаемся в ханжей и лицемеров,— сказал Анри.

Лоран принес своему хозяину столько различных туалетных принадлежностей и приборов и столько разных прелестных вещиц, что Поль не удержался, чтобы не сказать:

— Да ты провозишься добрых два часа!

— Нет,— поправил его Анри,— два с половиной.

— Вот что, сейчас мы с тобой одни и можем говорить начистоту,— объясни же мне, почему такой недюжинный человек, как ты,— ибо ты в самом деле недюжинный человек,— почему ты так подчеркиваешь свое щегольство, которое так не идет к тебе. Зачем наводить на себя лоск битых два с половиной часа, когда достаточно принять пятнадцатиминутную ванну, быстро причесаться и одеться? Ну, объясни мне свою систему.

— Знаешь ты, толстый дуралей, я в самом деле люблю тебя, если готов поделиться с тобой своими высокими идеями,— ответил юноша, которому в это время при помощи мягкой щетки натирали ноги английским мылом.

— Но ведь и я выказал тебе самую искреннюю привязанность,— заметил Поль де Манервиль,— и я люблю тебя, признаю твое превосходство над собой...

— Ты должен был заметить — если только вообще ты способен наблюдать душевные явления,— что женщины любят фатов,— продолжал де Марсе, ответив од-

ним только взглядом на излияния Поля.— Понимаешь ли ты, почему женщины любят фатов? Пойми, дружище, ведь одни только фаты среди мужчин заботятся о собственной особе. Разве у окружающих не возникает мысль, что это чрезмерное внимание к себе — забота о достоянии своей возлюбленной. А женщины падки именно до тех мужчин, которые принадлежат другой. Любовь в сокровенной сущности своей — воровка. Я уже не говорю о том, что женщины помешаны на чистоплотности. Укажи мне хоть одну женщину, которая воспылала бы страстью к мужчине-замарашке, будь он самым исключительным человеком! Если подобные случаи и наблюдаются, то их надо рассматривать наравне с прихотями беременных женщин, как сумасбродство, которому все мы отдаем дань. И сколько видел я исключительно интересных людей, отвергнутых женщинами за нерадивое отношение к своей собственной особе. Фат исключительно занят собой, то есть занят всякими глупостями, пустячками. А что представляет собой женщина? Изящный пустячок, скопление глупости! Разве двумя оброненными словами нельзя задать ей работу на добрых четыре часа? Она не сомневается, что фат обратит на нее свои взоры, ибо ему до чего-нибудь значительного нет никакого дела. Он никогда не пренебрежет ею ради славы, честолюбия, политики, искусства — этих великих куртизанок, в которых она видит своих соперниц. Фат, наконец, ради женщины не побоится стать мишенью для насмешек, и сердце ее преисполнено благодарности к человеку, страдающему из-за любви к ней. А потом ни один фат не проявит себя фатом без достаточных оснований. Женщины сами возводят нас в этот чин. Фат — полковник в любви, удачливый волокита, командир женского полка! Милый мой, в Париже ничего не утаишь, и ни один мужчина не станет фатом ни с того ни с сего — gratis [1]. Возьмем, например, тебя: у тебя одна любовница, и, возможно, ты прав, имея всего одну, но только попробуй стать фатом — ты не будешь даже смешным, ты просто убьешь себя. Ты станешь ходячим образцом власти предрассудков, твоя репутация будет установлена раз навсегда. Ты будешь воплощать *глупость*, как Лафайет воплощает

---

[1] Даром *(лат.)*.

Америку, Талейран — *дипломатию,* Дезожье — *песню,* Сегюр — *романс.* Если они изменят своему жанру, никто не поверит в целесообразность их существования. Ничего не поделаешь, таковы уж французы — не жди от них справедливости. А между тем господин де Талейран, возможно, великий финансист, Лафайет — тиран, Дезожье — администратор. Попробуй, заведи в будущем году сорок любовниц,— общество не признает за тобой и одной. Итак, фатовство, дружище,— признак непререкаемой власти, завоеванной над женской породой. На мужчину, любимого многими женщинами, смотрят как на человека великих достоинств, и все наперебой стараются завладеть бедняжкой! Но, поверь, мне не дешево это стоит — иметь право, входя в гостиную, посмотреть на всех с высоты своего галстука или через монокль и смерить презрительным взглядом самого достойного человека, если только на нем жилет, вышедший из моды! — Лоран, ты делаешь мне больно! — Позавтракаем, Поль, а потом отправимся в Тюильри взглянуть на дивную Златоокую девушку.

Прогуливаясь после великолепного завтрака, оба друга исходили из конца в конец всю террасу Фельянов и главную аллею Тюильри, но так и не встретили восхитительной Пакиты Вальдес, ради которой съехалось сюда с полсотни элегантных молодых парижан, благоухающих мускусом, щеголяющих высокими галстуками, звенящих шпорами, помахивающих хлыстами, гуляющих, болтающих, хохочущих и, чтобы превзойти друг друга, готовых лезть из кожи вон.

— Прогулялись впустую,—сказал Анри.—Однако мне пришла в голову блестящая идея. Наша красавица получает письма из Лондона, надо подкупить или подпоить почтальона, раздобыть у него письмо, вскрыть, прочесть его, вложить в конверт любовную записочку и снова запечатать. Старый тиран, *cruel tirano,*— вероятно, знает, кто пишет Паките из Лондона, и ничего не заподозрит.

На другой день де Марсе опять прогуливался на освещенной солнцем террасе Фельянов и увидел там Пакиту Вальдес; его уже разгоряченному страстью взору она казалась еще прекраснее. В самом деле, его сводили с ума ее глаза, огонь которых, казалось, был сродни солнечным лучам и был насыщен жаром всего ее дивного тела, полного сладострастной прелести. Де Марсе горел

желанием коснуться платья этой обольстительной девушки, когда, прогуливаясь, они встречались друг с другом; но все попытки его были тщетны. И вот, когда ему, наконец, удалось опередить дуэнью и Пакиту, чтобы при повороте пройти со стороны Златоокой девушки,— Пакита, сама сгоравшая от нетерпения, быстро шагнула вперед, и де Марсе почувствовал, как она сжала ему руку, хотя лишь на один миг, но столь страстно и значительно, что он ощутил как бы разряд электричества, потрясший его с головы до ног. И сразу все юношеские чувства забили ключом в его сердце. Когда взоры влюбленных встретились, Пакита как будто смутилась; она потупила глаза, но ее взгляд скользнул по стану и ногам того, кто стал ее *победителем*, как выражались женщины до революции. «Чего бы это ни стоило, но эта девушка будет моей любовницей»,— решил Анри.

Идя за ней до конца террасы, со стороны площади Людовика XV, он увидел старого маркиза де Сан-Реаль, который прогуливался, опираясь на руку своего камердинера и ступая осторожно, как разбитый подагрой, дряхлый старик. Донья Конча, в которой Анри вызвал подозрение, устроила так, чтобы Пакита шла между нею и стариком.

«Ах, так! — подумал де Марсе, окидывая презрительным взглядом дуэнью.— Ну что же, если ты не хочешь сдаться, небольшая доза опиума тебя усыпит. Мы знакомы с мифологией и со сказанием об Аргусе».

Прежде чем сесть в экипаж, Златоокая девушка бросила своему возлюбленному несколько взглядов, столь значительных, что Анри был восхищен; но, перехватив один из них, дуэнья резко сказала что-то Паките, после чего та в отчаянии бросилась в карету. В течение нескольких дней Пакита не появлялась в Тюильри. Лоран, по приказу своего господина, наблюдал за особняком и узнал от соседей, что ни обе женщины, ни старый маркиз ни разу не выходили из дому с того самого дня, когда дуэнья перехватила взгляд, которым обменялась с Анри девушка, порученная ее попечениям. Итак, даже та слабая нить, что соединяла двух влюбленных, была оборвана.

Прошло еще несколько дней, и каким-то неведомым путем де Марсе добился своей цели; у него оказались в руках печать, воск и бумага, совершенно такие же,

какими пользовался корреспондент мадемуазель Вальдес, присылавший из Лондона письма, а кроме того, все почтовые принадлежности и штампы, необходимые для погашения английских и французских марок. Анри послал девушке письмо, придав ему такой вид, словно оно отправлено из Лондона:

«Дорогая Пакита, не стану и пытаться изобразить словами страсть, какую вы зажгли в моем сердце. Если, к моему великому счастью, вы ее разделяете, то знайте: я нашел способ переписываться с вами. Зовут меня Адольф де Гуж, и живу я на Университетской улице, в № 54. Если вы не ответите мне, это будет для меня означать, что за вами слишком строго следят, что у вас нет возможности достать перо и бумагу. Итак, если завтра от восьми часов утра до десяти часов вечера вы перебросите письмо через ограду вашего сада во двор барона де Нусингена, где будут ждать целый день, то на следующее утро в десять часов надежный человек переправит на веревке через ограду вашего сада два пузырька. Постарайтесь выйти на прогулку около этого времени. В одном из пузырьков будет опиум, чтобы усыпить вашего Аргуса, для чего достаточно шести капель, в другом будут чернила. Пузырек с чернилами — граненый, другой — гладкий. Оба настолько плоски, что вы можете их спрятать у себя за корсетом. Не сомневайтесь во мне. Клянусь, я готов отдать жизнь за один час свидания с вами».

«И они этому верят, дурочки! — подумал де Марсе.— А все же они правы. Что стали бы мы думать о женщине, которая не поддалась бы соблазну любовного письма, подкрепленного столь убедительными доказательствами?»

На другой день в восемь часов утра почтенный г-н Муано, почтальон, вручил это самое письмо привратнику особняка Сан-Реаль.

Чтобы находиться поближе к месту действия, де Марсе отправился завтракать к Полю, который проживал на улице Пепиньер. В два часа дня, когда друзья, смеясь, обсуждали крах некоего молодого человека, пытавшегося жить на широкую ногу, не имея на то достаточных

средств, и придумывали для него достойный конец, вдруг появился кучер Анри, разыскивавший своего господина, в сопровождении какого-то страшного человека, желавшего во что бы то ни стало говорить с самим де Марсе. Это был мулат, и, право, он мог бы вдохновить Тальма при исполнении роли Отелло. Ни один африканец не мог бы больше походить на величаво-мстительного, склонного к неудержимой подозрительности, стремительного в своих поступках, могучего и детски непосредственного шекспировского мавра. Черные глаза его отличались пристальным взглядом хищной птицы и, словно у коршуна, были полуприкрыты как бы синеватой пленкой — веками, совершенно лишенными ресниц. В его маленьком, низком лбе чувствовалось что-то опасное. Очевидно, человек этот жил под властью какой-то одной мысли. Его нервные, беспокойные руки не были подвластны его воле. За ним вошел еще один человек, которого может представить себе любой обитатель земли, начиная с продрогших от холода гренландцев и кончая изнывающими от жары жителями Новой Англии: достаточно для этого определить его одним словом — несчастливец. Это слово позволит каждому понять самую суть вошедшего человека и вообразить его себе в соответствии с представлениями своего родного края. Но чья фантазия может воспроизвести его бледное морщинистое лицо с красными пятнами на щеках, с длинной бородой? Кто может нарисовать перед собой его пожелтевший, скрученный жгутом галстук, засаленный ворот его рубашки, изношенную шляпу, позеленевший сюртук, жалкие панталоны, измятый жилет, булавку фальшивого золота, перепачканные башмаки с заскорузлыми грязными шнурками? Кто поймет всю беспредельность его нищеты, настоящей и прошлой? Кто? — Одни только парижане. Парижский несчастливец — несчастливец в полном смысле этого слова, ибо он имеет печальное удовольствие понимать, сколь он несчастен. Мулат напоминал палача Людовика XI, сопровождающего человека на виселицу.

— И где только выудил ты этих шутов? — воскликнул Анри.

— Черт возьми! Один из них меня вгоняет в дрожь,— признался Поль.

— Послушай-ка, ты более похож на христианина,

чем твой товарищ,— кто ты такой? — спросил Анри, обращаясь к несчастливцу.

Мулат замер на месте, вперив глаза в молодых людей, как человек, который ничего не слышит, но все же пытается что-то понять по жестам и движению губ.

— Я писец и переводчик. Живу я при Дворце правосудия и зовут меня Пуансе.

— Ладно... Ну, а это кто? — спросил Анри, указывая Пуансе на мулата.

— Я не знаю его, он говорит только на испанском наречии и привел меня сюда, чтобы объясниться с вами.

Мулат вытянул из кармана и отдал де Марсе письмо его к Паките, которое Анри тут же бросил в огонь.

«Ага! Кое-что начинает проясняться»,— подумал Анри.

— Поль, оставь нас одних на минуту.

— Я перевел ему письмо,— продолжал толмач, когда они остались одни.— После этого он исчез неизвестно куда. Затем вернулся за мной и повел меня к вам, пообещав мне уплатить два луидора.

— Что тебе нужно, чудище? — спросил Анри.

— Я перевел ему ваши слова, но без обращения «чудище»,— заметил толмач, в ожидании, пока мулат ответит.— Сударь,— продолжал затем переводчик, выслушав незнакомца,— он говорит, что вы должны быть завтра в половине одиннадцатого на бульваре Монмартр, около кофейни. Там вы увидите карету, в которую и сядете, сказав тому, кто откроет вам дверцы, слово *cortejo*... что по-испански значит возлюбленный,— прибавил Пуансе, взглядом поздравляя Анри.

— Хорошо!

Мулат уже хотел дать толмачу обещанные два луидора, но де Марсе отстранил его и заплатил сам; когда он расплачивался, мулат произнес несколько слов.

— Что он говорит?

— Он предупредил меня,— ответил несчастливец,— что стоит мне проговориться, и он задушит меня. Он язычник, и у него такое лицо, что этому охотно поверишь.

— Не сомневаюсь,— заметил Анри,— он сделает так, как обещает.

— Он сказал еще,— продолжал толмач,— что особа, приславшая его, умоляет вас соблюдать величайшую

осторожность ради нее и ради вас самих, ибо иначе кинжалы, занесенные над вами, поразят ваши сердца и никакие силы земные вас не спасут.

— Он так сказал? Что же, тем лучше, это будет еще занятнее. Ты можешь войти, Поль,— крикнул он своему другу.

Мулат, не отводивший магнетического взгляда от возлюбленного Пакиты Вальдес, ушел, сопровождаемый переводчиком.

«Наконец-то настоящее романтическое приключение!— подумал Анри, когда в комнату вошел Поль.— Недаром, значит, я увлекался интригами,— мне в конце концов повезло, удалось даже в Париже натолкнуться на приключение, связанное с немалыми трудностями и серьезными опасностями. Ах, черт! Сколько смелости придает женщине опасность! Женщина, которую стесняют и держат в неволе, не сочтет ли себя вправе и не найдет ли в себе смелость одним махом преодолеть все препятствия, какие при других обстоятельствах она не осилила бы и за несколько лет? Гоп-ля, моя милочка! Смерть? Ах ты, глупышка! Кинжалы? Игра женского воображения! Женщины всегда склонны придавать огромную важность своим милым забавам. Впрочем, мы еще подумаем об этом. Да, Пакита, дорогая девочка, мы еще подумаем! Черт меня побери, теперь, когда я уверен, что это чудо природы, эта красавица будет моей, приключение теряет для меня свою остроту».

Как ни настраивался Анри на небрежный лад, он не мог заглушить в себе пробуждение юных чувств. Чтобы сократить для себя нетерпеливое ожидание завтрашнего дня, он предался неумеренным удовольствиям, он играл в карты, он пообедал, поужинал с друзьями, он напился, как извозчик, наелся, как немец-колбасник, и выиграл десять — двенадцать тысяч франков. В два часа ночи он вышел из «Роше-де-Канкаль», спал, как младенец, проснулся наутро свежий, румяный, встал, оделся для прогулки в Тюильри, с тем чтобы повидаться с Пакитой, а после проехаться верхом, нагулять аппетит, со вкусом пообедать и таким образом убить время.

Вечером в назначенный час Анри был на бульваре, нашел там карету и сказал пароль какому-то человеку — как ему показалось, давешнему мулату. Слуга тотчас же

открыл дверцу и откинул подножку. Лошади мчались с такой быстротой и Марсе так был углублен в свои мысли, что он не заметил улиц, по которым проезжал, и не узнал места, где остановилась карета. Следуя за мулатом, он вошел в дверь рядом с воротами. Лестница была темной, так же как и площадка, на которой Анри вынужден был подождать, пока мулат не ввел его в сырую, отвратительную, темную квартиру, которую еле освещала свеча, взятая его проводником в прихожей; комнаты показались ему почти пустыми и плохо меблированными, как если бы их хозяева отправились путешествовать. Он испытал то же самое чувство, что и при чтении одного из романов Анны Радклиф, где герой проходит по холодным, мрачным, нежилым залам какого-то унылого и пустынного жилища. Наконец мулат распахнул перед ним дверь гостиной. Ветхая мебель и вылинявшие драпировки придавали комнате вид какого-то притона. Тут чувствовалась та же претензия на богатство и то же сочетание дурного вкуса, грязи и пыли.

У едва дымившегося камина, где под пеплом тлели угли, на диване, обитом красным трипом, сидела плохо одетая старуха с накрученным на голове тюрбаном, вроде тех, которые измышляются пожилыми англичанками и могли бы иметь огромный успех в Китае, где чудовищность почитается идеалом прекрасного в искусстве. Гостиная, старуха, потухший камин — все способно было заморозить любовь, если бы не Пакита, лежавшая на кушетке в соблазнительном пеньюаре, без стеснения бросая взгляды своих золотых, пламенных очей, без стеснения показывая свою красиво выгнутую ножку, пленяя своим обольстительным телом. Это первое свидание было похоже на все первые встречи людей, охваченных страстью, которые, быстро преодолев разделяющее их расстояние, жаждут отдаться друг другу, но друг друга еще не знают. При таком положении сначала неизбежно чувствуется какая-то принужденность, неловкость до тех пор, пока души не обретут общий язык. Если желание придает смелость мужчине и побуждает его преодолеть все препятствия, то, как ни влюблена женщина, все же она, в силу своей женской природы, страшится перейти границу и отдаться мужчине, ибо для большинства

женщин это — то же, что броситься в бездну, таящую в себе нечто неведомое. В таких случаях невольная холодность женщины, противореча выказанной ею страсти, неизбежно воздействует и на самого безумного любовника. Все эти настроения, нередко затуманивающие душу, вызывают в ней своеобразное мимолетное заболевание. В блаженном странствии, совершаемом двумя существами по восхитительной стране любви, эта минута представляется как бы бесплодной степью, лежащей на их пути, степью без единого зеленого листочка, то пронизанной сыростью, то пылающей жаром, покрытой раскаленными песками, пересеченной болотами и ведущей к смеющимся розовым кущам, под которыми на ярко-зеленых коврах находит себе приют любовь и ее спутники — наслаждения. Нередко в подобных случаях остроумный человек теряет всякое остроумие и на все отвечает дурацким смехом, ибо холодная стесненность, охватывающая сердце, передается и уму. Бывает так, что существа, одинаково прекрасные, умные и страстные, твердят сначала самые банальные фразы, пока случайно брошенное слово, трепетный взгляд, внезапно пробежавшая между ними искра не толкнет их на цветущую тропу, по которой уже не идут, а скользят, хотя еще и не свергаются в бездну. Такое душевное состояние всегда зависит от силы чувств. Тому, кто не знает сильной любви, никогда не испытать ничего подобного. Это состояние душевного кризиса можно сравнить лишь с видом пламенеющего чистого неба. С первого взгляда чудится, что вся природа покрыта какой-то прозрачной дымкой, небесная лазурь кажется черной, а ослепительный свет воспринимается как мрак. Неистовство страсти в равной мере захватило Анри и испанку, и физический закон, гласящий, что две равные силы при столкновении взаимно уничтожаются, оказался верным и в мире духовном. К тому же напряженность минуты странным образом обострялась присутствием старой мумии. Всего пугается и всему радуется любовь, для нее все полно тайного смысла, все становится предзнаменованием, счастливым или страшным. Дряхлая старуха являла здесь собой как бы возможную развязку, подобно отвратительному рыбьему хвосту, каким греческая символика наделила химер и сирен, манящих своим обольстительным станом, как манит и

страсть при своем зарождении. Хотя Анри и был не то что вольнодумец — это звучит обычно насмешкой,— но человек могучей воли, человек, сильный духом, насколько это возможно для неверующего,— однако все, что предстало перед его взорами, глубоко его поразило. К тому же, чем сильнее люди, тем, естественно, они впечатлительней, а следовательно, и суеверней, если только можно назвать суеверием первое невольное предубеждение, которое бесспорно основывается на каких-то доводах, лишь скрытых от обыкновенных глаз.

Испанка воспользовалась этой минутой оцепенения, чтобы предаться восторгу беспредельного обожания, которое овладевает сердцем женщины, если она истинно любит и находится в присутствии кумира своих трепетных грез. Глаза ее были сама радость, само счастье, они сверкали. Она была зачарована и безбоязненно упивалась своей мечтой, претворенной наконец в жизнь. Сама она показалась Анри столь дивно-прекрасной, что вся эта фантасмагория отрепьев, ветоши, изодранных красных драпировок, зеленых соломенных ковриков перед креслами, этот плохо натертый красный плиточный пол, вся эта убогая и жалкая роскошь исчезли в мгновение ока. И яркий свет озарил для юноши гостиную, и как в тумане видел он страшную гарпию, безмолвно застывшую на своей красной кушетке; желтые глаза старухи выдавали рабские чувства — следствие несчастий или порождение порока, который порабощает человека, как тиран порабощает своим жестоким бичом. Глаза у старухи светились холодным блеском, как у тигра в клетке, который ощущает свое бессилие и не может утолить свою жажду крови.

— Кто эта женщина? — спросил Анри Пакиту.

Но Пакита ничего не ответила. Она знаком показала Анри, что не понимает по-французски, и спросила, не говорит ли он по-английски. Де Марсе повторил вопрос по-английски.

— Это — единственная женщина, которой я могу довериться, хотя она меня уже продала однажды,— сказала спокойно Пакита.— Дорогой мой Адольф, она — моя мать, рабыня, купленная в Грузии за свою редкую красоту, от которой, впрочем, ничего не осталось. Она говорит только на своем родном языке.

Поза старухи и внимание, с каким она приглядывалась к Анри и к своей дочери, стараясь догадаться, что между ними происходит, сразу стали понятны молодому человеку и больше не угнетали его.

— Пакита, что же, мы так и не будем предоставлены самим себе? — спросил он.

— Никогда! — сказала она грустно.— И, что еще хуже, в нашем распоряжении совсем мало времени.

Она опустила глаза, посмотрела на свою руку и правой рукой стала считать по пальцам левой, показывая Анри самые красивые руки, какие он когда-либо видел.

— Один, два, три...

Она сосчитала до двенадцати.

— Да,— подтвердила она,— в нашем распоряжении двенадцать дней.

— Ну, а потом?

— Потом...— прошептала Пакита, словно завороженная одной мыслью, подобно слабой женщине под занесенным над ней топором палача, подавленная чувством страха перед будущим, лишенная той чудесной силы, которой ее наградила природа, казалось бы, для того, чтобы она всегда возбуждала желания и претворяла в бесконечную поэму самые грубые наслаждения.

— Потом...— повторила она.

Глаза ее уставились в одну точку — казалось, она созерцает что-то далекое и грозное.

— Не знаю,— сказала она.

«Это безумная»,— решил Анри, сам предаваясь странным мыслям.

Пакита показалась ему поглощенной чем-то, что не относилось к нему, как будто в ней боролись угрызения совести и страсть. Быть может, в сердце ее была не изжита другая любовь, которая то вдруг вспыхивала, то вновь угасала. На мгновение тысячи противоречивых мыслей захватили Анри. Девушка стала для него загадкой; но, изучая ее опытным взглядом пресыщенного человека, жадного до неизведанных наслаждений, как тот восточный владыка, который требовал, чтобы ему изобрели какое-нибудь наслаждение,— ужасная жажда, изнуряющая сильные души! — Анри видел в Паките самую богатую натуру, когда-либо сотворенную для любви. Возможности, заключенные в этом теле, не го-

воря о душе, смутили бы всякого другого, но только не де Марсе; он был очарован предстоящей обильной жатвой заманчивых радостей, неисчерпаемого разнообразия в блаженстве — этой мечтой каждого мужчины, а также пределом стремлений каждой любящей женщины. Его сводила с ума эта бесконечность, ставшая ощутимой, проявляющаяся в наслаждениях смертных существ.

Все это увидел он теперь в Златоокой девушке яснее, чем когда-либо,— так охотно позволяла она ему любоваться собой, счастливая тем, что ею восхищаются. Восторг де Марсе вылился в какое-то тайное исступление, и он обнаружил его, бросив на испанку взгляд, который та поняла, словно привыкла к подобным взглядам.

— Если ты не будешь моей,— только моей, я убью тебя! — крикнул де Марсе.

Услышав эти слова, Пакита закрыла лицо руками и простодушно воскликнула:

— Святая дева, что я наделала!

Она поднялась, бросилась на красную кушетку, зарылась головой в лохмотья, прикрывавшие грудь ее матери, и зарыдала. Старуха приняла дочь в объятия, не нарушая своей неподвижности, не выразив ни малейшего сочувствия. Матери в высшей степени было присуще то величавое спокойствие диких народов, та способность казаться бесстрастным, как изваяние, перед которой бессилен и самый наблюдательный человек. Любила она или не любила свою дочь — кто знает? Под этой маской таились все человеческие чувства, хорошие и дурные, и всего можно было ждать от этого существа. Она медленно переводила взгляд с великолепных волос, словно плащом закрывавших ее дочь, на Анри, которого старуха рассматривала с невыразимым любопытством. Словно удивленная его появлением здесь, она, казалось, спрашивала себя, не колдовство ли это, не могла понять, какой прихотью природы был создан такой обольстительный юноша.

«Обе женщины издеваются надо мной»,— подумал Анри.

В эту минуту Пакита подняла голову, бросив на него такой взгляд, который проникает до глубины души и опаляет ее. Она показалась ему столь прекрасной, что он поклялся себе овладеть этим сокровищем красоты.

— Будь моей, Пакита!

— Ты меня убьешь! — вымолвила она, охваченная страхом, трепещущая, но влекомая к нему непонятной силой.

— Убить тебя? Что ты! — сказал он улыбаясь.

Пакита вскрикнула в ужасе, сказала что-то матери, которая, властно взяв руку Анри, затем дочери, долго разглядывала эти руки и, наконец, отпустила их, зловеще покачав головой.

— Будь моей сейчас, сию минуту, следуй за мной, не покидай меня, я хочу этого, Пакита! Любишь ли ты меня? Приди ко мне!

В одно мгновение он наговорил ей тысячу безумных слов со стремительностью потока, что, свергаясь со скал, на тысячи ладов повторяет один и тот же звук.

— Тот же голос! — печально, совсем тихо прошептала Пакита, так что де Марсе не мог ее услышать.— И... тот же пыл,— прибавила она.— Пусть будет так,— уже громко произнесла Пакита с такой страстной беззаветностью, которую невозможно передать.— Я буду твоей, но только не сегодня вечером. Сегодня я слишком мало дала опиума Конче, она может проснуться, и тогда я погибла. В эту минуту все в доме думают, что я сплю у себя в спальне. Через два дня приходи на то же самое место, скажи то же самое слово тому же самому человеку. Человек этот — муж моей кормилицы; Кристемио меня обожает, он в муках умрет за меня, но не выдаст меня ни единым словом. Прощай,— сказала она Анри, обвиваясь змеей вокруг его тела.

Она сжала его в своих объятиях, положила голову к нему на плечо, подставила ему губы и сорвала с его уст поцелуй, от которого у обоих закружилась голова,— де Марсе показалось, что земля разверзается у него под ногами, а Пакита крикнула: «Уходи!» — голосом, который ясно показывал, как мало она владела собой. Но она не разжимала своих объятий и, продолжая повторять «Уходи!», медленно вела его к лестнице.

Там мулат, белые глаза которого загорелись при виде Пакиты, взял светильник из рук своего кумира и вывел Анри на улицу. Он оставил светильник под навесом,

открыл дверцу кареты, усадил Анри и со сказочной быстротой доставил его на Итальянский бульвар. Лошади мчались так, словно в них вселился дьявол.

Все происшествие промелькнуло для де Марсе как дивный сон,— но такой сон, даже рассеявшись, оставляет в душе чувство сверхъестественного упоения, за которым потом человек гоняется всю остальную свою жизнь. И все это повлек за собой один лишь поцелуй. Не бывало еще свидания благопристойнее, непорочнее, даже, быть может, холоднее, в более неприглядной обстановке, перед лицом более страшного божества,— ибо мать Пакиты запечатлелась в воображении Анри как исчадие ада, как некое скрюченное существо, похожее на безжизненный труп, порочное и дико-жестокое, своей фантастичностью превосходящее все, что когда-либо создавали художники и поэты. А между тем ни одно свидание не обостряло так его чувств, не пробуждало таких дерзких желаний, не исторгало из его сердца такой любви, которая словно насыщала собой самый воздух вокруг него. Это было какое-то мрачное, таинственное, сладостное, нежное, скованное и вместе с тем восторженное чувство, какое-то странное сочетание безобразного и небесно-прекрасного, рая и ада — и все это пьянило де Марсе. Он перестал быть самим собой, и все же у него хватило сил, чтобы бороться с опьянением страсти. Чтобы понять его поведение при развязке этой истории, необходимо объяснить, как душа его воспарила в ту пору, когда обычно молодые люди мельчают в общении с женщинами и в бесконечных мечтах о них. Он окреп духом благодаря тайным обстоятельствам, наделившим его безмерной и не ведомой никому властью. В руке у этого юноши был скипетр, более могущественный, чем скипетр современных королей, которые обычно ограничены законом в малейших проявлениях своей воли. Де Марсе пользовался самодержавной властью восточного деспота. Но эта власть, столь глупо проявляемая тупыми азиатскими царьками, была вдвое усилена благодаря европейскому развитию и французскому уму, самому гибкому и самому острому оружию в умственном арсенале человечества. У Анри были неограниченные возможности удовлетворять свою жажду наслаждений и почестей. Сила такого незримого воздействия на общество облекла

его подлинным, хотя и таиным, величием, не нуждающимся в показной пышности и сосредоточенным в нем самом. Он смотрел на себя не так, как мог на себя смотреть Людовик XIV, но как смотрели на себя самые гордые из калифов, фараонов, Ксерксов, которые верили в свое божественное происхождение и, подобно божеству, скрывали лик свой от подданных, дабы не поразить их насмерть своим взором. И вот, выступая судьей и обвинителем в своих столкновениях с людьми, де Марсе спокойно выносил смертный приговор мужчине или женщине, если они его оскорбили. Хотя нередко приговор этот произносился в легкомысленно-игривой форме, однако всегда он оказывался непреложным. Проступок становился несчастьем, подобным тому, какое причиняет молния, поразив насмерть молодую, счастливую парижанку, спешившую на свидание в карете, а не старика кучера на козлах. Понятно, что глубокая и горькая ирония, свойственная речам этого молодого человека, почти на всех наводила ужас и каждый боялся его задеть. Женщины необычайно любят таких мужчин, этих владык собственной милостью, как бы шествующих в окружении львов и палачей, вселяя повсеместно трепет. Сознание своей силы придает им спокойную уверенность во всех своих действиях и львиную гордость — все, что воплощает для женщин тот тип сильного мужчины, о котором они мечтают. Таков был де Марсе.

В этот день он, счастливый сознанием своего близкого блаженства, вновь превратился в непосредственного и податливого юношу и, ложась спать, думал только о любви. Ночью он видел сны, какие видят страстные молодые люди; ему снилась Златоокая девушка. То были какие-то фантастические видения, неуловимые странные образы, пронизанные ярким светом, в которых угадываются целые незримые миры, но только смутно: перед ними как бы колеблется некая завеса. Следующие два дня Анри скрывался, и никто не мог его найти. Он пользовался своей властью только на известных условиях, и, к счастью для него, в эти дни он был простым солдатом на службе тому демону, от которого зависела таинственная сторона его жизни.

Но в назначенный час, вечером, он высматривал на бульваре карету, которая не заставила себя ждать. Му-

лат подошел к Анри и обратился к нему с французской фразой, как видно, заученной им наизусть:

— Она сказала, если вы хотите ее повидать, дайте завязать себе глаза.

И Кристемио показал белый шелковый платок.

— Нет! — произнес Анри, властная душа которого вдруг возмутилась.

И он занес уже ногу на ступеньку кареты. Но мулат подал знак, и карета отъехала.

— Хорошо! — закричал де Марсе, приходя в неистовство при мысли, что потеряет обещанное ему наслаждение.

К тому же он понимал невозможность каких-либо переговоров с рабом, который слепо, как палач, исполнял приказания. И разве на это пассивное орудие должен обрушиться его гнев?

Мулат свистнул, карета повернула обратно. Анри стремительно бросился в нее. И пора было: несколько зевак уже толпились на бульваре. Анри был силен и хотел перехитрить мулата. Когда лошади побежали крупной рысью, он схватил мулата за руки, чтобы, одолев и укротив своего надсмотрщика, развязать себе глаза и проследить, куда его везут. Напрасная попытка! Глаза мулата загорелись во мраке. Испуская крики сдавленным от ярости голосом, он вырвался и железной рукой отбросил де Марсе, словно пригвоздив его к углу кареты; затем другой, свободной рукой он вытащил трехгранный кинжал и свистнул. Услышав свист, кучер остановился. Анри был безоружен, он вынужден был покориться и сам подставил голову, чтобы ему завязали глаза. Это выражение покорности успокоило Кристемио, и он завязал ему глаза почтительно и заботливо, что говорило о некоторого рода преклонении перед избранником своего божества. Но прежде чем прибегнуть к этой мере предосторожности, он недоверчиво спрятал свой кинжал во внутренний боковой карман и застегнулся до самого подбородка.

«Да, этот чудила убил бы меня не задумываясь»,— подумал де Марсе.

Лошади снова помчались во весь опор. Для молодого человека, так хорошо знавшего Париж, как знал его Анри, оставался еще один выход. Чтобы узнать, куда они

едут, ему достаточно было сосредоточиться и подсчитывать, исходя из количества попадавшихся им на пути водостоков, все улицы, которые приходилось им пересекать, пока они следовали прямо по бульварам. Таким образом, он мог бы установить, на какую боковую улицу свернет карета, в сторону Сены или высот Монмартра, и отгадать название и положение улицы, где остановится его проводник. Но сильнейшее возбуждение, вызванное борьбой, ярость при мысли об унизительных условиях, которым он подчинялся, навязчивые мысли о мести, догадки по поводу мелочной заботливости таинственной девушки обо всех обстоятельствах его приезда к ней — все мешало ему сосредоточить, подобно слепым, особое внимание, необходимое для напряженной, четкой работы умственных способностей и памяти. Ехали около получаса. Карета остановилась не на мостовой. Мулат и кучер взяли Анри поперек тела, вытащили его из кареты, положили на какие-то носилки и понесли через сад, о чем он догадался по благоуханию цветов и характерному запаху деревьев и зелени. Все было так тихо вокруг, что он различал шум капель, падавших с влажной листвы. Оба человека внесли его по лестнице, поставили на ноги, провели через длинный ряд комнат, держа за руки, и оставили его, наконец, в наполненных ароматом покоях, где нога тонула в пушистом ковре. Женская рука усадила его на диван и сняла с его глаз повязку. Анри увидел перед собой Пакиту, но Пакиту, окруженную блестящей роскошью, которую так любят сладострастные женщины.

Половина будуара, где находился Анри, была мягко закруглена а противоположная часть образовывала правильный квадрат, где посредине стены блестел беломраморный золоченый камин. Анри был введен через боковую дверь, скрытую под богатой ковровой портьерой и расположенную прямо против окна. Вдоль всей подковообразной стены комнаты тянулся настоящий турецкий диван, иначе говоря, матрац, положенный прямо на пол, но матрац широкий, как кровать,— диван в пятьдесят футов длиною, крытый белым кашемиром, украшенный черными и пунцовыми сборчатыми полосами, перекрещенными под косыми углами. Спинка этого гигантского ложа возвышалась на несколько дюймов над грудой

подушек, придававших ему еще больше роскоши прелестью своих узоров.

Будуар был обтянут красной тканью, а по ней трубчатыми складками, наподобие каннелюр коринфской колонны, ниспадал индийский муслин, отделанный поверху и понизу пунцовой каймой в черных арабесках. Под складками муслина пунцовый цвет казался розовым, и этот цвет любви повторялся на оконных занавесях, тоже из индийского муслина, подбитых розовой тафтой и отделанных пунцово-черной бахромой. Шесть двухсвечных канделябров из золоченого серебра, укрепленных на стене, на равном друг от друга расстоянии, освещали диван. Потолок, с которого свешивалась люстра матового золоченого серебра, сверкал белизной, подчеркнутой золоченым карнизом. Ковер напоминал восточную шаль, он являл взорам тот же рисунок, что и диван, и приводил на память поэзию Персии, где он был выткан руками рабов. Мебель была обита белым кашемиром с черной и пунцовой отделкой. Часы, канделябры — все было из белого мрамора, сверкало позолотой. Единственный стол, стоявший в этой комнате, покрыт был кашемировой скатертью. В изящных жардиньерках были розы всевозможных сортов и другие цветы — только белые и красные. Словом, все до мелочей, казалось, было предметом нежнейших забот. Никогда еще богатству не удавалось столь кокетливо себя завуалировать красивой оболочкой, выказывать столько грации, возбуждать столько сладострастной неги. Здесь должно было воспламениться и самое холодное существо. Переливающаяся ткань обивки, цвет которой менялся в зависимости от направления взгляда, переходя от совершенно белых к совершенно розовым тонам, прекрасно сочеталась с игрой света, пронизывающего прозрачные складки муслина, создавая впечатление чего-то облачного, воздушного. К белизне душа испытывает какое-то особенное влечение, к красному цвету льнет любовь, а золото потворствует страстям, обладая властью удовлетворять их прихоти. Так все смутные и таинственные свойства человеческой души, ее необъяснимые, бесконечные изгибы находили здесь поощрение. Эта совершенная гармония создавала какое-то совсем особое созвучие красок, вызывала в душе сладострастные, неопределенные, неуловимые отклики.

И в мягкой атмосфере, насыщенной тонким благоуханием, Пакита, с обнаженными ногами, в белоснежном воздушном пеньюаре, с померанцевыми цветами в черных волосах, предстала перед Анри коленопреклоненная, склонившаяся перед ним, как перед божеством, нисшедшим в сей дивный храм. Хотя де Марсе и привык к изысканной парижской роскоши, он был изумлен видом этой чудесной раковины, подобной той, из которой вышла Венера.

Было ли то следствием резкого перехода от темноты, в которой до этого он долго пребывал, к свету, заливавшему теперь его до глубины души, или же поразительного контраста между окружающей его обстановкой и обстановкой первого их свидания,— но он испытал одно из тех тончайших ощущений, какие порождает только подлинная поэзия. Когда в дивном уголке, как бы по волшебству возникшем перед ним, он увидел этот венец творения, эту деву — теплые тона ее лица, ее нежную кожу, слегка позлащенную красноватыми бликами, окутанную дымкой какого-то неведомого любовного томления, как бы сияющую отблесками всех светильников и отсветами всех красок,— его гнев, жажда мести, уязвленное самолюбие — все исчезло. Как орел, что камнем кидается на свою добычу, он схватил ее в объятия, усадил к себе на колени и в неизъяснимом сладострастном упоении ощутил тяжесть роскошного тела, нежно прильнувшего к нему.

— Приди ко мне, Пакита! — еле слышно прошептал он.

— Говори, говори, не бойся! — сказала ему Пакита.— Этот приют создан для любви. Ни один звук не вырвется отсюда наружу, все подчинено здесь одному — сохранить звуки и музыку любимого голоса. Как ни кричи здесь — никто ничего не услышит по ту сторону этих стен. Здесь можно убить кого хочешь, твоя жертва будет тщетно звать на помощь, как в бескрайней пустыне.

— Да кто же это постиг в таком совершенстве ревность и ее требования?

— Никогда не спрашивай меня об этом,— ответила она, неописуемо милым движением развязывая галстук молодого человека и, вероятно, желая полюбоваться его шеей.

— Да, вот она, эта шея, которая так мне нравится...— сказала она.— Хочешь порадовать меня?

Вопрос этот, прозвучавший в ее устах почти цинично, вывел де Марсе из задумчивости, в которую поверг его властный запрет Пакиты допытываться, кем было то неведомое существо, что, как тень, витало над ними.

— А если бы я захотел узнать, кто властвует здесь?

Пакита взглянула на него, вся дрожа.

— Стало быть, это не я! — сказал он, подымаясь и отталкивая от себя девушку, которая упала, запрокинув голову.— Где бы я ни был, я не терплю рядом с собой другого.

— Мне страшно, страшно!..— вырвалось у несчастной рабыни, охваченной ужасом.

— Да за кого же ты меня принимаешь? Ответишь ты мне или нет?

Вся в слезах, Пакита тихо поднялась, подошла к одному из двух шкафов черного дерева, стоявших в комнате, достала оттуда кинжал и протянула его Анри с покорностью, способной разжалобить даже тигра.

— Дай мне все счастье, какое только может дать мужчина, когда он любит,— сказала она,— и когда я засну, убей меня, потому что ответить тебе я не могу. Пойми! Я здесь — как бедный зверек на цепи, я и то удивлена, как осмелилась я перекинуть мост через пропасть, что разделяет нас. Опьяни меня ласками, а потом убей! О нет, нет! — воскликнула она, складывая руки, как на молитве.—Не убивай меня! Я люблю жизнь! Жизнь для меня так прекрасна! Пусть я рабыня, но ведь я и царица! Я могла бы обмануть тебя страстными речами — заверить, что люблю лишь тебя одного, доказать тебе мою любовь, воспользоваться своей минутной властью, чтобы сказать тебе: «Возьми меня и на мгновение упейся мною, как мимоходом упиваются ароматом цветка в королевском саду». А потом, вскружив тебе голову женскими уловками, воспарив с тобой на крыльях ввысь, утолив свою жажду наслаждений, я могла бы приказать, чтобы тебя бросили в колодец, где никто тебя никогда не найдет,— он вырыт с той целью, чтоб можно было мстить, не страшась кары правосудия, и наполнен гашеной известью, которая испепелила бы твое тело. Лишь в моем сердце остался бы ты навеки.

Анри спокойно взглянул на девушку, и бесстрашный взгляд его наполнил ее радостью.

— Нет, никогда я не сделаю этого! Не западня ждала тебя здесь, а женское сердце, которое тебя боготворит. Не тебя, а меня бросят в колодец.

— Право, все это необычайно забавно,— сказал де Марсе, внимательно вглядываясь в нее.— Ты, вероятно, славная, но чудная девушка. Честное слово, ты какая-то живая загадка, которую не так просто разгадать.

Пакита ничего не поняла из того, что сказал ей юноша; она тихо глядела на него широко открытыми глазами, которые никогда не могли быть глупыми, столько сладострастия они выражали.

— Послушай, любовь моя,— сказала она, возвращаясь к своей первоначальной мысли,— хочешь доставить мне удовольствие?

— Я сделаю все, что ты захочешь, и даже то, чего ты не захочешь,— смеясь, ответил де Марсе, который снова обрел свою фатовскую непринужденность и решил ловить любовную удачу, не заглядывая ни вперед, ни назад. А кроме того, быть может, полагался он на свои силы и на свою опытность в любви, рассчитывая через несколько часов всецело покорить себе девушку и выведать у нее все ее тайны.

— Так разреши мне нарядить тебя по моему вкусу,— сказала она.

— Наряжай, как тебе вздумается,— отвечал Анри.

Пакита с радостной поспешностью достала из шкапа красное бархатное платье, нарядила в него де Марсе, потом надела ему на голову женский чепчик и закутала его в шаль. Невинно, как ребенок, увлекаясь этими шалостями, она судорожно смеялась и напоминала птицу, бьющуюся крыльями о стены. Но сейчас для нее, казалось, ничто не существовало. Если нельзя изобразить все те неслыханные восторги, которым предавались эти два прекрасных существа, созданные небом в счастливый час, то, быть может, необходимо хотя бы в отвлеченной форме охарактеризовать странные, почти фантастические впечатления молодого человека. Мужчины, принадлежащие к тому же общественному кругу и ведущие такой же образ жизни, как де Марсе, прекрасно умеют распознавать невинность девушки. Но — странное

дело! — если Златоокая девушка была девственна, она отнюдь не была невинна. Столь прихотливое сочетание чудесного и реального, мрака и света, ужаса и красоты, наслаждения и опасности, рая и ада, каким запечатлелось начало этого приключения, раскрылось с особенной силой в своенравном и дивном существе, лежавшем в объятиях Анри. Все ухищрения самого утонченного сладострастия, все, что раньше было знакомо Анри из той поэзии чувственности, какую именуют любовью, померкло перед сокровищами, которыми одарила его эта девушка,— искристые очи не обманули его ни в одном из своих обещаний. То была некая восточная поэма, напоенная тем же солнцем, что согревает трепетные строфы Саади и Гафиза. Только ни ритму Саади, ни ритму Пиндара не передать смятенного, изумленного восторга чудесной девушки, когда было развеяно заблуждение, в котором ее держала чья-то железная воля.

— Погибла,—воскликнула она,—я погибла! Адольф, увези меня на край света, на какой-нибудь остров, чтобы там никто, никто нас не знал. Скроемся бесследно, а то погоня настигнет нас хотя бы в самом аду... Боже мой, рассвело... Беги. Увижу ли я тебя когда-нибудь? Да, я увижу тебя завтра, если даже ради этого счастья мне нужно будет убить всех моих надсмотрщиков... До завтра!

Она прильнула к нему — и в ее объятии чувствовался смертельный ужас. Потом, нажав какую-то пружину, вероятно, сообщавшуюся со звонком, она стала упрашивать де Марсе, чтобы тот дал завязать ему глаза.

— Но если я не хочу... если я хочу остаться здесь?

— Ты только ускоришь мою смерть,— сказала она,— ибо теперь я твердо знаю, что умру за тебя.

Анри уступил. Бывает, что мужчина, упившись наслаждением, проявляет какую-то небрежность, неблагодарность, стремится побыть на свободе, рассеяться, испытывает как бы некоторое презрение и даже, может быть, отвращение к своему кумиру,— словом, подчиняется необъяснимым чувствам, которые делают его подлым и низким. О существовании этого смутного, но совершенно реального ощущения у душ, не просветленных небесным светом, не помазанных святыми благовониями, питающими постоянство чувств, знал, по всей вероятности, Рус-

со, недаром в «Новой Элоизе», в конце этого собрания писем, изобразил он приключения лорда Эдуарда. Несомненно, Руссо вдохновлялся произведениями Ричардсона, но он отошел от них в толковании тысячи разнообразных подробностей, что и придало столь восхитительное своеобразие этому памятнику его творчества; здесь он оставил потомству в наследство великие идеи, в которых нелегко разобраться, когда читаешь его роман в юности и ищешь в нем только пламенных описаний физического чувства, тем более что серьезные писатели и философы привлекали подобные картины исключительно в качестве наглядного примера или для подтверждения какой-нибудь значительной мысли; а между тем страницы, посвященные приключениям лорда Эдуарда, содержат в себе одну из тех мыслей этого романа, которые отмечены удивительной, поистине европейской, утонченностью.

Итак, Анри обычно пребывал во власти тех смутных чувств, которых не знает истинная любовь. Вернуть его к какой-нибудь женщине могло только явное превосходство ее над другими или неотразимая привлекательность воспоминаний.

Сила истинной любви — главным образом в памяти. Может ли быть любима женщина, образ которой не запечатлен в душе ни чрезмерностью наслаждений, ни силой страсти? Но, помимо воли Анри, Пакита такими двумя способами завладела его сердцем. Однако в эту минуту, весь охваченный блаженным изнеможением, чарами телесной меланхолии, он не в силах был разобраться в собственном сердце, еще сохраняя на устах ощущение самых сладострастных радостей, какие когда-либо испытывал. Ранним утром он опять оказался на Монмартрском бульваре, бессмысленным взором проводил удалявшуюся карету, вытащил из кармана две сигары и прикурил одну из них от фонаря торговки, продававшей водку и кофе мастеровым, огородникам, мальчишкам, всему парижскому рабочему люду, который встает до зари; засунув руки в карманы, держа сигару в зубах, Анри зашагал с беспечностью, поистине не делающей ему чести.

«Славная штука — сигара! Вот что никогда не надоест человеку»,— мысленно изрек он.

Он почти забыл и думать о Златоокой девушке, которая в те годы сводила с ума блестящую молодежь

Парижа. Мысль о смерти, поверенная ему среди наслаждений и не раз омрачавшая чело этого прекрасного создания, которое было сродни гуриям Азии по крови, Европе — по воспитанию, тропикам — по месту рождения, представлялась ему одной из тех уловок, к каким прибегают женщины, стараясь сильнее заинтересовать мужчину.

— Она из Гаваны, из самой испанской страны в Новом Свете; потому-то она и предпочла разыграть ужас, а не докучать мне страданиями, трудностями, кокетством, чувством долга, как сделала бы парижанка. Клянусь златыми ее очами, я здорово хочу спать!

Увидев наемный кабриолет, стоявший на углу у Фраскати в ожидании каких-нибудь игроков, он разбудил кучера и велел отвезти себя домой. Там заснул он сном шалопаев, который по странной случайности, не замеченной еще ни одним песенником, столь же крепок, как сон невинности. Возможно, это лишь проявление той аксиомы, что крайности сходятся.

Около полудня де Марсе проснулся и, потягиваясь в постели, почувствовал приступ волчьего голода, одолевающего каждого наутро после победы, как это могут подтвердить все бывалые солдаты. Не без удовольствия он увидел перед собой Поля де Манервиля, ибо при таких обстоятельствах нет ничего приятнее завтрака в компании.

— Ну,— сказал ему друг,— мы все воображали, как ты провел эти дни взаперти с Златоокой девушкой.

— Златоокая девушка! Да я и думать о ней перестал. Право же, и без нее найдется чем забить себе голову.

— Ага! Ты скрытничаешь.

— Ну, а если и так? — смеясь, заявил де Марсе.— Мой милый, скрытность — самая тонкая уловка. Послушай... Но нет, я не скажу тебе ни слова. Ты сам никогда ничему меня не научишь, так и я не желаю зря расточать сокровища моего политического искусства. Жизнь — река, способствующая взаимной торговле. Клянусь высшей святыней на земле, клянусь сигарой, я не профессор политической экономии, приспособленной к пониманию глупцов. Давай-ка лучше позавтракаем! Дешевле будет угостить тебя тунцом в омлете, чем предоставить тебе свой собственный мозг.

— А, ты ведешь счеты с друзьями?

— Дорогой мой,— сказал Анри, редко упускавший случай поиронизировать,— ввиду того, что тебе, как и всякому другому, может когда-нибудь понадобиться скрытность, а я тебя очень люблю... Да, я люблю тебя! Честное слово, если ты задумаешь пустить себе пулю в лоб и тебя можно будет спасти тысячефранковым билетом, ты найдешь его у меня,— ведь как будто, Поль, земли твои еще не заложены?.. Если тебе надо будет драться завтра, я сам отмерю шаги между тобой и противником и заряжу пистолеты, чтобы ты был у меня убит по всем правилам. Наконец, если кто-нибудь, кроме меня самого, осмелился бы плохо отозваться о тебе в твое отсутствие, ему пришлось бы иметь дело с опасным джентльменом, какой сидит в моей шкуре,— вот что я называю истинной дружбой. Итак, мой мальчик, ввиду того, что тебе может понадобиться скрытность, знай, что существуют два вида скрытности: скрытность косвенная и скрытность прямая. Скрытность прямая — скрытность дураков, которая сводится к молчанию, отрицанию, нахмуренному виду, запертым дверям, а по существу— к полной беспомощности. Косвенная скрытность не боится и прямого подтверждения факта. Предположим, нынче вечером я заявил бы в клубе: «Честное слово, Златоокая девушка не оправдала моих затрат»,— все бы стали кричать после моего ухода: «Слышали вы похвальбу этого фата де Марсе, будто он обладал Златоокой девушкой? Это он хочет таким способом избавиться от соперников! Что и говорить, хитрая бестия». Но эта уловка вульгарна и рискованна. Как бы ни было несообразно какое-либо наше признание, всегда найдется несколько глупцов, готовых поверить ему. Самый лучший вид скрытности — тот, каким пользуются ловкие женщины, чтобы отвести глаза своим мужьям. Способ этот состоит в том, чтобы любовник опорочил женщину, которой он не дорожит, или которую не любит, или даже никогда не обладал,— и тем сохранил честь той, которую он достаточно любит для того, чтобы уважать. Это я называю прибегнуть к *женщине-ширме*. Ага, вот и Лоран! Что ты нам несешь?

— Остендские устрицы, граф.

— Ты когда-нибудь поймешь, Поль, до чего забавно

дурачить свет, скрывая от него наши тайные привязанности. Я испытываю огромное удовольствие быть недосягаемым для суждений светской толпы, которая никогда не знает, чего она хочет, чего должна хотеть, средство принимает за цель, цель за средство и попеременно то боготворит, то проклинает, то возносит, то ниспровергает кумиры. Что за счастье возбуждать ее волнения и не испытывать их самому, покорять ее себе и никогда самому не подчиняться. Если можно чем-либо гордиться, так только властью, завоеванной нами самими, такой властью, когда в твоих руках находятся одновременно и причина ее, и следствие, и основы, и результаты. Так вот, ни один человек не знает, кого я люблю, чего я хочу. Быть может, когда-нибудь и узнают, кого я любил, чего добивался, как узнают завершенные драмы, но позволить заглядывать кому-либо в мои карты?.. что за слабость, что за наивность! Я не знаю ничего презреннее силы, которую можно обойти хитростью. Я играючи обучусь ремеслу посланника, если дипломатия так же сложна, как жизнь! Думаю, впрочем, что жизнь сложнее. Честолюбив ли ты? Желаешь ли ты чего-нибудь добиться?

— Но ты издеваешься надо мною, Анри, как будто я не представляю собой самую посредственную натуру, а следовательно — могу всего добиться.

— Превосходно, Поль! Если ты будешь продолжать издеваться над самим собой, ты скоро научишься издеваться над целым светом.

За завтраком, когда закурили сигары, события прошлой ночи стали представляться де Марсе в совершенно особенном свете. Как у многих великих умов, его проницательность проявлялась не сразу, он медленно постигал сущность вещей. Как всем натурам, обладающим способностью жить главным образом настоящим, так сказать, вбирать и поглощать все его соки, его ясновидение нуждалось в своеобразной дремоте для познания связи причин и следствий. Таков был кардинал Ришелье, что не лишало его дара предвидения, необходимого для великих замыслов. Де Марсе прошел через этот этап, но сначала он прибегал к своему оружию лишь в погоне за удовольствиями, и одним из искуснейших политиков своего времени он стал тогда, когда насытился всеми наслаждениями, о каких прежде всего помышляет юноша, обла-

дающий золотом и властью. Мужчина закаляется, подчиняя женщину своей воле, но сам не подчиняясь воле женщины. И вот сейчас, одним взглядом охватив всю минувшую ночь, когда наслаждения сначала лишь тихо струились, постепенно разрастаясь в бурные потоки, де Марсе решил, что Златоокая девушка им только играла. Он обрел теперь способность прочесть эту действительно блестящую страницу любви, разгадать ее тайный смысл. Чисто физическая непорочность Пакиты, ее радостное изумление, некоторые восклицания в минуты восторга, сначала ему непонятные, но теперь совершенно ясные,— все доказывало ему, что он замещал кого-то другого. Ему были знакомы все виды разврата, и он спокойно взирал на любые извращения, оправдывая их, раз они могут быть удовлетворены,— поэтому его не возмутил бы порок, ибо он знал его, как знают друга, но он был оскорблен тем, что послужил ему лишь пищей. Он почувствовал бы себя оскорбленным до глубины души, если бы убедился в верности своих предположений. Одно только подозрение уже привело его в ярость,— он зарычал, как тигр, над которым посмеялась газель, как тигр, в котором звериная сила сочеталась с дьявольской проницательностью.

— Что с тобой? — спросил его Поль.

— Ничего!

— Ну, не хотелось бы мне услышать от тебя подобное «ничего» в ответ на вопрос: «Что ты имеешь против меня?» — нам тогда, безусловно, пришлось бы драться на другой же день.

— Я больше не дерусь,— ответил де Марсе.

— Это совсем уже трагично. Что же ты, убиваешь?

— Ты извращаешь понятия. Я казню.

— Милый друг,— сказал Поль,— ты слишком мрачно сегодня шутишь.

— Ничего не поделаешь! От вожделения до ярости один шаг. Почему? Я не знаю, и я не настолько любопытен, чтобы искать объяснения... А сигары эти превосходны. Налей своему приятелю чаю! Знаешь ли ты, Поль, что я живу как скотина? Пора наконец подумать о будущем, употребить свои силы на что-нибудь такое, ради чего стоило бы жить. Жизнь — престранная комедия. Меня страшит и смешит непоследовательность на-

ших общественных порядков. Правительство рубит голову бедняге, убившему одного человека, и узаконивает существование тварей, которые в самом прямом, медицинском смысле ежегодно отправляют на тот свет десятки молодых людей. Мораль бессильна против доброй дюжины пороков, разъедающих общество и остающихся ненаказанными. Не хочешь ли еще чашечку чая? Честное слово, человек — шут, который пляшет на краю пропасти. Нам твердят о безнравственности «Опасных связей» и еще какой-то книги, написанной от имени горничной; но существует книга, омерзительная, грязная, страшная, развращающая — книга, которая всегда открыта и никогда не закроется, великая книга света, не говоря уже о другой, в тысячу раз более опасной, состоящей из того, что говорится на ухо между мужчинами или, под прикрытием веера, между женщинами на балу.

— Анри, право же, с тобой творится что-то неладное, это яснее ясного, несмотря на всю твою *косвенную скрытность*.

— Послушай, мне надо убить время до вечера. Пойдем играть... Вдруг мне повезет, и я проиграюсь!

Де Марсе поднялся, взял горсть банковых билетов, засунул их в портсигар, оделся и, воспользовавшись экипажем Поля, отправился в «Салон иностранцев», где убил до обеда время, увлекшись превратностями азартной игры, сменой выигрышей и проигрышей — последним прибежищем сильных натур, обреченных на бездеятельность. Вечером он явился на условленное место и покорно позволил завязать себе глаза. Затем огромным усилием воли, доступным лишь подлинно сильным людям, он сосредоточил все свое внимание и сообразительность на том, как опознать улицы, по которым проезжала карета. Он был почти уверен, что его везли по улице Сен-Лазар и остановились у садовой калитки особняка Сан-Реаль. Когда он, как и в первый раз, прошел через калитку и был положен на носилки, которые, по всей вероятности, понесли мулат и кучер, он понял, зачем соблюдались все эти тщательные предосторожности, услыхав, как у них под ногами скрипел песок. Если бы ему предоставили свободу, допустили пройти по саду, он мог бы сорвать ветку с куста, рассмотреть песок, приставший к его сапогам,— между тем, доставленный в недоступ-

ный ему особняк, так сказать, по воздуху, он должен был воспринимать свою любовную удачу только как мечту, что и было пока на деле. Но, на свое горе, человек не достигает совершенства ни в добрых, ни в злых делах. Все созданное его руками и умом подвержено разрушению. Прошел дождик, и земля не успела просохнуть. Ночью многие цветочные запахи значительно сильнее, чем днем,— и Анри почувствовал аромат резеды, когда его несли по аллее. Эта примета должна была облегчить задуманные им поиски особняка, где находился будуар Пакиты. Он даже старался запомнить все повороты своих носильщиков внутри дома и надеялся, что это ему удастся. Как и накануне, он очутился на оттоманке, перед Пакитой, которая сняла с него повязку,— девушка была бледна, лицо ее осунулось, глаза были заплаканы. Коленопреклоненная, словно молящийся ангел — но ангел печальный и полный глубокой меланхолии,— бедняжка уже не походила на то любопытное, нетерпеливое, подвижное создание, которое на своих крыльях увлекло де Марсе ввысь, на седьмое небо любовных радостей. В этом отчаянии, лишь слегка смягченном жаждой наслаждения, чувствовалось нечто до такой степени правдивое, что грозный де Марсе ощутил в глубине души лишь восхищение перед этим новым обликом совершенного творения природы и мгновенно забыл главную цель этого свидания.

— Что случилось, моя Пакита?

— Друг мой,— сказала она,— увези меня отсюда сегодня же ночью. Спрячь меня подальше, где никто при виде меня не мог бы сказать: «Вот Пакита», где на расспросы никто не мог бы ответить: «Я видел девушку с золотистыми глазами и длинными волосами». Там я подарю тебе столько наслаждений, сколько ты сам пожелаешь. А когда ты разлюбишь меня и бросишь, ты не услышишь от меня ни единой жалобы, я не скажу ни слова; и пусть тогда моя судьба не смущает твоего покоя, ибо день, один только день, проведенный около тебя, в созерцании твоего лица, будет дороже мне всей моей жизни. Но если я здесь останусь, я погибла.

— Я не могу покинуть Париж, малютка,— ответил Анри.— Я не принадлежу самому себе, я связан клятвой с судьбой нескольких человек, которым я подчи-

нен, как они подчинены мне. Но я могу создать тебе в Париже убежище, куда не проникнет ни одна живая душа.

— Нет,— возразила она,— ты забываешь власть женщины.

Никогда еще человеческая речь с большей силой не выражала беспредельного ужаса.

— Кто же смеет коснуться тебя, если я ограждy тебя от всего мира?

— Яд! — ответила Пакита.— Донья Конча уже подозревает тебя. И потом,— продолжала она, роняя слезы, которые сверкали на ее щеках,— не трудно заметить, что теперь я уже не та. Ну что же, если ты обрекаешь меня ярости чудовища, которое растерзает меня, да свершится твоя святая воля! Но приди в мои объятия, дай вкусить все упоение жизнью в нашей любви. А настанет страшный час, я буду умолять, рыдать, кричать, защищаться и, быть может, еще спасу себя.

— Кого же ты будешь молить? — спросил он.

— Молчи! — приказала Пакита.— Если меня простят, то только ради моей скрытности.

— Дай мне мое платье,— коварно попросил Анри.

— Нет, нет,— с живостью возразила она,— оставайся тем, что ты есть, одним из тех ангелов, которых меня учили ненавидеть, в которых я видела только чудовищ, тогда как прекраснее вас нет ничего под небом,— говорила она, лаская волосы Анри.— Ты и не представляешь себе, до чего я была глупа. Меня ничему не учили. С двенадцати лет я живу взаперти и никого не видала. Я не умею ни читать, ни писать, я говорю только по-английски и по-испански.

— Как же ты получаешь письма из Лондона?

— Ах, письма!.. Вот, посмотри! — сказала она, вынимая какие-то бумаги из высокой японской вазы.

Она протянула молодому человеку письма, и он был поражен, увидев причудливые фигурки, начерченные кровью и означавшие, наподобие ребуса, целые фразы, преисполненные страсти.

— Однако,— воскликнул он, с восхищением рассматривая эти иероглифы, созданные изобретательной ревностью,— ты во власти какого-то гения ада?

— Да, ада! — повторила она.

— Как же ты выходила на улицу?

— Ах! — вздохнула она.— Это меня и погубило. Я заставила донью Кончу сделать выбор между немедленной смертью и наказанием, которое грозит ей лишь в будущем. Мной овладело дьявольское любопытство, я захотела разбить железную преграду, отделявшую меня от всего живого, узнать, что представляют собой молодые люди, ибо из мужчин я знала только маркиза и Кристемио. Наш кучер и лакей, который сопровождает нас,— старики...

— Но не всегда же ты была взаперти? Здоровье требует...

— Ах, мы гуляли,— объяснила она,— но только ночью, за городом, на берегу Сены, вдали от всех.

— И ты не гордишься такой любовью?

— Нет,— ответила она,— теперь нет! Как ни богата была эта окутанная тайной жизнь, она лишь мрак по сравнению с солнечным светом.

— Что называешь ты солнечным светом?

— Тебя, мой прекрасный Адольф! Тебя, за которого я готова отдать жизнь. Все страстные чувства, о каких мне говорили, какие я возбуждала, теперь ты возбуждаешь во мне. Порой я ничего не могла понять; но теперь я постигла любовь, а ведь до сих пор любили только меня, сама же я не знала любви. Я все брошу ради тебя, увези меня отсюда. Хочешь, я буду твоей игрушкой, но только держи меня при себе, пока не сломаешь.

— А ты не пожалеешь потом?

— Никогда! — сказала она, давая ему читать в глазах своих, золотой огонь которых оставался чистым и ясным.

«Значит, меня предпочли? — подумал Анри, подозревавший истину, но склонный в эту минуту простить оскорбление во имя столь наивной любви.— Посмотрим»,— решил он.

Пусть Пакита не обязана была давать ему отчета в своем прошлом, малейшее воспоминание о нем становилось преступлением в его глазах. Он обладал печальной способностью затаить свою мысль, судить, изучать свою любовницу во время самых упоительных наслаждений, какие только могла бы изобрести пери, сошедшая с небес к своему возлюбленному. Пакита, казалось, с особенной заботливостью была создана природой для любви.

После первой ночи ее женское существо обнаружилось во всем своем блеске. Как ни велики были самообладание юноши и небрежность к радостям любви, однако, несмотря на пресыщение ласками минувшей ночи, он нашел в Златоокой девушке тот сераль, какой способна создать любящая женщина и от какого никогда не откажется ни один мужчина. Пакита утоляла страсть, снедающую всех истинно великих людей, таинственную страсть к бесконечному, столь драматично выраженную в «Фаусте», столь поэтично переданную в «Манфреде» и побуждавшую Дон-Жуана заглядывать в женские сердца в надежде увидеть беспредельность, на поиски которой устремляется столько охотников за призраками и которую ученые ищут в науке, а мистики могут узреть в боге. Надежда обрести, наконец, идеальное существо, чтобы вступить с ним в единоборство без пресыщения и утомления, восхитила де Марсе, и он, впервые за долгий срок, открыл свое сердце. Всегда напряженные нервы его ослабели, холодность растаяла в атмосфере этой пламенной души, и счастье окрасило его жизнь в белые и розовые цвета — цвета будуара Пакиты.

Волнуемый величайшим возбуждением, он был увлечен за пределы, которых до сих пор не переходила его страсть. Он не желал дать превзойти себя этой девушке, заранее взлелеянной для потребностей его сердца некой искусственной любовью, и самолюбие мужчины, побуждающее его все себе покорять, дало Анри силы, чтобы подчинить себе Златоокую; но, переступив черту, за которой душа уже не властна над собой, он заблудился в том пленительном преддверии рая, которое обычно так нелепо называют *воображаемыми пространствами*. Он показал себя нежным, добрым, общительным. Он довел Пакиту почти до безумия.

— Почему бы нам не отправиться в Сорренто, в Ниццу, в Кьявари и не прожить там всю жизнь? Хочешь? — спросил он Пакиту голосом, проникающим в самую душу.

— Да разве надо тебе спрашивать, хочу ли я? — воскликнула она.— Разве есть у меня воля? Без тебя я ничто, я существую лишь для того, чтобы услаждать тебя. Если хочешь избрать приют, достойный нас, поедем в Азию, единственный край, где любовь может расправить крылья...

— Ты права,— поддержал ее Анри.— Поедем в Индию, туда, в край вечной весны и цветущей земли, туда, где человек живет в царственной роскоши, не вызывая никаких нареканий,— не то что в нелепых странах, где люди пытаются осуществить идею равенства. Поедем в край, где властвуют над целым народом рабов, где вечное солнце озаряет вечно белые дворцы, где в воздухе реют дивные ароматы, где птицы поют любовь и где умирают, когда не могут больше любить...

— И где умирают вместе! — прибавила Пакита.— Но только поедем не завтра, а сейчас, сию же минуту... возьмем с собой и Кристемио.

— Поистине наслаждение — прекраснейшая развязка жизни. Поедем в Азию; но для этого надо много золота, дитя мое, а чтобы иметь его, надо устроить свои дела.

Она ничего не понимала в подобных вещах.

— Золото? Но здесь его целые груды,— сказала она, простирая руку.

— Но оно не мое.

— Ну так что же? — возразила она.— Оно нам нужно, вот и возьмем его.

— Оно тебе не принадлежит.

— Не принадлежит! — повторила она.— Но ведь меня ты же взял! Возьми золото, и оно будет также твоим.

Он рассмеялся.

— Невинная моя бедняжка! Ты ничего не смыслишь в житейских делах.

— Нет... А вот в этом я смыслю! — воскликнула она, прижимая к себе Анри.

И вдруг, в ту самую минуту, когда де Марсе забыл все на свете, лелеял одну лишь мечту — навеки овладеть этим существом, в минуту наивысшего восторга удар кинжала впервые поразил его в самое сердце, тяжело ранив юношу. Пакита, с силой приподняв его, словно желая полюбоваться им, воскликнула:

— О Марикита!

— Марикита! — яростно крикнул де Марсе.— Значит, все так, как я и думал.

Он бросился к шкафу, где хранился длинный кинжал. К счастью для него и для Пакиты, шкаф был заперт. Натолкнувшись на препятствие, ярость Анри лишь воз-

росла; но он овладел собой, отыскал свой галстук и направился к девушке с таким красноречиво-грозным видом, что, даже не подозревая, в каком преступлении он ее обвиняет, Пакита почувствовала смертельную опасность для себя. Тогда она одним прыжком отскочила в противоположный угол комнаты, спасаясь от петли, которую де Марсе пытался накинуть ей на шею. Завязалась борьба. Они не уступали друг другу в гибкости, стремительности и силе. Пакита, чтобы оградить себя от нападения любовника, бросила ему под ноги подушку, он споткнулся и упал, а девушка, воспользовавшись этой передышкой, нажала пружинку звонка, призывая на помощь. И немедленно появился мулат. В мгновение ока Кристемио ринулся на де Марсе, повалил его и наступил ногою на грудь, нажимая каблуком на горло. Де Марсе понял, что сопротивляться нельзя, так как в ту же минуту он будет раздавлен по одному лишь знаку Пакиты.

— Зачем ты хотел меня убить, любовь моя?

Де Марсе молчал.

— Чем прогневила я тебя? Скажи, объясни мне.

Анри сохранял хладнокровие сильного человека, чувствующего себя побежденным,— бесстрастную, молчаливую, чисто английскую сдержанность, сознание собственного достоинства, не униженного минутной покорностью судьбе. К тому же, несмотря на приступ охватившей его ярости, он уже понял, насколько неосмотрительно было с его стороны навлекать на себя преследование правосудия, убив эту девушку сразу, а не подготовив убийство заранее, чтобы обеспечить себе безнаказанность.

— Мой любимый,— умоляла Пакита,— скажи хоть что-нибудь, не покидай меня без прощального слова любви! Я не хочу, чтобы в сердце моем сохранилась память о том ужасе, которым ты отравил меня... Да скажешь ли ты хоть слово? — крикнула она, в гневе топнув ногой.

В ответ де Марсе только бросил ей взгляд, столь явно говоривший: «Ты умрешь!» — что Пакита бросилась к нему.

— Ну, стало быть, ты хочешь убить меня? Что ж, если смерть моя порадует тебя,— убей!

Она подала знак Кристемио, тот снял ногу с груди

юноши и ушел, не выразив на лице ни одобрения, ни порицания Паките.

— Вот это человек! — мрачно сказал де Марсе, показав на мулата.— Кто подлинно предан, тот повинуется не рассуждая. Он твой истинный друг.

— Я отдам тебе его, если ты только пожелаешь,— ответила она,— и он будет служить тебе с такой же преданностью, как и мне, если я ему прикажу.

Она ждала от него ответа и, не дождавшись, сказала голосом, полным задушевной нежности:

— Адольф, пророни хоть одно доброе слово!.. Скоро и ночи конец.

Анри ничего не отвечал. Этот молодой человек обладал печальным даром, почитаемым за достоинство,—ведь люди склонны преклоняться даже перед сумасбродством, когда оно кажется им проявлением силы. Анри не умел прощать. Отходчивость — несомненно, одно из проявлений душевного изящества — казалась ему нелепостью. Жестокий нрав северян, в достаточной мере свойственный англичанам, был унаследован им от отца. Он был непоколебим как в добрых, так и в дурных чувствах. Возглас Пакиты был тем ужаснее для него, что развенчал его в минуты самого сладостного торжества его мужского самолюбия. Надежда, любовь, все чувства были возбуждены в нем до предела, его сердце и ум пламенели, и это пламя, возженное для того, чтобы озарять его жизненный путь, угасло теперь под порывом ледяного ветра.

У Пакиты, изнемогавшей от скорби, хватило только сил, чтобы подать знак к разлуке.

— Это уже не нужно,— сказала она, отбрасывая повязку.— Ведь он не любит меня больше, он меня ненавидит, все кончено.

Она ждала его прощального взгляда и, не дождавшись, упала замертво. Мулат окинул Анри столь ужасающе выразительным взглядом, что тот в первый раз в жизни затрепетал, а между тем никто не мог отказать ему в редком бесстрашии. «Если ты разлюбишь ее, доставишь ей малейшее огорчение, я убью тебя!» — таков был смысл этого мимолетного взгляда.

Почти с раболепной предупредительностью мулат проводил де Марсе через длинный коридор, освещен-

ный глухими оконцами, с потайной дверью в конце его, и вывел на скрытую от посторонних взоров лестницу, выходившую в сад особняка Сан-Реаль. Кристемио осторожно провел Анри по липовой аллее до самой калитки, выходившей на какую-то пустынную в ту пору улицу. Де Марсе все отлично заметил; карета ждала его; на этот раз мулат не сел с ним в экипаж, и, когда Анри выглянул из окошка кареты, чтобы в последний раз посмотреть на сад и дом, он увидел белые глаза Кристемио и обменялся с ним взглядом .И с той и с другой стороны это был вызов, жажда расплаты, объявление войны на дикарский лад, поединка, не подчиняющегося никаким правилам, допускающего такое оружие, как измена и предательство. Кристемио знал, что Анри поклялся погубить Пакиту. Анри же знал, что Кристемио решил убить его прежде, чем юноша сам успеет убить Пакиту. Оба прекрасно друг друга понимали.

«Приключение усложняется, становится занимательным»,— подумал Анри.

— Куда прикажете везти? — осведомился кучер.

Де Марсе велел ехать к Полю де Манервилю.

Целую неделю Анри не показывался домой, и никто не знал, чем он был занят, где пропадал все это время. Отсутствие де Марсе спасло его от ярости мулата, но стало причиной гибели бедной девушки, возложившей все упования на того, кого она любила, как еще никто не любил на земле.

В последний день этой недели, около одиннадцати часов вечера, Анри подъехал в карете к калитке сада при особняке Сан-Реаль. Его сопровождали три человека. Кучером был тоже, вероятно, кто-то из друзей, ибо он встал во весь рост на козлах, прислушиваясь к малейшему шуму, как бдительный страж. Один из трех остальных занял пост у калитки со стороны улицы, второй вошел в сад, укрывшись в тени стены, и последний со связкой ключей в руках последовал за де Марсе.

— Анри,— сказал ему его спутник,— нас предали.

— Но кто же, дорогой Феррагус?

— Они не все усыплены,— ответил предводитель деворантов,— несомненно, кто-то сегодня не прикасался ни к еде, ни к питью... Гляди, видишь свет?

— С нами план дома,—посмотрим, откуда идет свет.

— Я и без плана скажу,— ответил Феррагус,— свет идет из комнаты маркизы.

— А! Она, видно, вернулась сегодня из Лондона! — воскликнул де Марсе.— Эта женщина отняла у меня даже радость мщения! Но если она меня опередила, дорогой мой Грасьен, мы предадим ее в руки правосудия.

— Да ты послушай!.. Все уже кончено,— сказал Феррагус.

Оба друга замерли на минуту и услышали слабеющие крики, которые могли бы разжалобить даже тигра.

— Твоя маркиза не подумала о том, что звуки могут проникнуть на улицу через дымоход камина,— заметил предводитель деворантов, посмеиваясь, как критик, с удовлетворением отмечающий ошибку в чужом произведении искусства.

— Только мы одни умеем все предвидеть,— сказал Анри.— Подожди меня, я хочу посмотреть, что там творится у них наверху, как они там разрешают свои семейные ссоры. Клянусь богом, она, кажется, поджаривает ее на медленном огне.

Де Марсе быстро взбежал по знакомой ему лестнице и сразу нашел дорогу в будуар. Открыв дверь, он не мог подавить охватившую его дрожь, что случается и с самыми смелыми людьми при виде пролитой крови. Не одно только убийство Пакиты так сильно поразило де Марсе. Маркиза была настоящая женщина, она рассчитала свою месть с тончайшим коварством слабого животного. Она скрыла сначала свой гнев, желая вполне убедиться в преступлении, чтобы потом покарать его.

— Слишком поздно, любимый! — прошептала умирающая Пакита, обратив свои угасшие взоры к де Марсе.

Златоокая девушка умирала, утопая в крови. Зажженные светильники, тонкий аромат, разлитый в воздухе, характерный беспорядок, в котором опытный глаз искателя любовных приключений угадал бы следы безумств, свойственных страстям,— все указывало на то, что маркиза со знанием дела допросила виновную. Эти сверкающие белизной покои, где так особенно бросалась в глаза кровь, обличали долгую, упорную борьбу. Окро-

вавленные руки Пакиты оставили отпечатки на подушках. Везде она цеплялась за жизнь, везде она защищалась, и везде ее настигали удары кинжала. Целые полосы узорчатой обивки были вырваны ее окровавленными руками, которые, видно, долго боролись. Пакита, должно быть, пыталась взобраться повыше: обнаженные ноги ее оставили кровавые следы на спинке дивана, по которой она, вероятно, карабкалась. Тело Пакиты, искромсанное кинжалом ее палача, свидетельствовало о том, с каким остервенением отстаивала она свою жизнь, которую Анри сделал для нее столь дорогой. Уже умирая, распростертая на полу, она искусала щиколотки маркизы де Сан-Реаль, не выпускавшей из рук залитого кровью кинжала. У маркизы были вырваны целые пряди волос, она вся была искусана, многие ранки сочились кровью, а разодранное платье открывало обнаженное тело, исцарапанную грудь. И все-таки она была восхитительна. Ее алчное и разъяренное лицо упивалось запахом крови. Полураскрытые губы ее трепетали, ноздри бурно раздувались, она задыхалась. Бывает, что некоторые дикие животные, рассвирепев, бросаются на врага, поражают его и, сразу успокоенные своим торжеством, все забывают. Но другие долго кружатся около своей добычи, стерегут ее, боясь, как бы не отняли ее у них, и уподобляются Гомерову Ахиллу, девятикратно объехавшему вокруг Трои в колеснице, влача врага, привязанного к ней за ноги. Такова была и маркиза. Она не видела Анри. Она была совершенно уверена в том, что она одна, и не опасалась свидетелей; а кроме того, она была слишком опьянена свежей кровью, слишком разгорячена борьбой, слишком возбуждена, чтобы заметить кого-нибудь, хотя бы и весь Париж раскинулся вокруг бескрайним амфитеатром цирка. Прогреми сейчас гром, она не заметила бы этого. Не заметила она и последнего возгласа и вздоха Пакиты и воображала, что та еще слышит ее.

— Умри без покаяния! — кричала она ей.— Отправляйся в ад, чудовище неблагодарности! Пусть владеет отныне тобой один только дьявол. За кровь, которую ты отдала ему, ты заплатишь мне всей своей кровью! Умри же, умри, перетерпи тысячу смертей! О, я была слишком добра к тебе, мгновение — и ты убита, но я хотела бы заставить тебя испытать все муки, на какие

ты обрекаешь меня. А я буду жить! Я, несчастная, осуждена теперь на то, чтобы любить только бога!

Маркиза склонилась к Паките.

— Мертва! — воскликнула она, придя в себя.— Мертва! Я сама умру с горя!

Маркиза, изнемогая от отчаяния, так что у нее перехватило горло, повернулась к дивану, желая на него опуститься, и в эту минуту увидела Анри де Марсе.

— Кто ты такой? — крикнула она, бросаясь на него с поднятым кинжалом.

Анри схватил ее за руку, и они замерли, глядя друг другу прямо в лицо. От изумления и ужаса кровь застыла в их жилах, и у них задрожали ноги, как у испуганных коней. И правда, Плавтовы двойники, и те не походили бы так друг на друга. В один голос произнесли они один и тот же вопрос:

— Ваш отец лорд Дэдли?

И оба утвердительно кивнули головой.

— Она была верна крови,— проговорил Анри, указывая на Пакиту.

— Ее нельзя обвинять, она совсем ни в чем не виновата,— ответила ему Маргарита-Эвфемия Порраверил, бросаясь на тело Пакиты с воплем отчаяния.— Бедняжка моя! О! Как хотела бы я тебя воскресить! Я была неправа, прости меня, Пакита!.. Ты умерла, а я... я живу. Во сколько раз я несчастнее тебя!

В эту минуту перед ними предстала страшная фигура матери Пакиты.

— Знаю, ты скажешь, что продала ее мне не для того, чтобы я ее убила! — крикнула маркиза старухе.— Знаю. зачем ты вылезла из своей берлоги. Ты получишь за нее деньги сполна еще раз. Молчи!

Она достала из шкафа черного дерева мешочек золота и с презрением швырнула его к ногам старухи. Звон золота вызвал улыбку на окаменевшем лице старухи.

— Я вовремя пришел сюда, чтобы спасти тебя, сестра,— сказал Анри.— Правосудие потребует тебя к ответу...

— Никогда,— возразила ему маркиза.— Лишь один человек на свете мог потребовать у меня отчета в судьбе девушки — Кристемио. Он умер.

— А мать? — спросил Анри, указывая на старуху.—

Не станет ли она теперь для тебя источником постоянного страха?

— Нет, она происходит из страны, где женщины — не люди, а вещи, с ними делают все, что хотят, продают, покупают, убивают, распоряжаются ими, как распоряжаетесь вы своим имуществом для удовлетворения своих прихотей. Притом ее снедает страсть, которая убила в ней все остальные чувства и поглотила бы и материнскую любовь, если бы только она питала ее к дочери, страсть...

— Какая? — с живостью спросил Анри, перебивая сестру.

— Страсть к игре, от чего да сохранит тебя бог! — ответила маркиза.

— Но кто же поможет тебе замести все следы? Правосудие не простит тебе этой причуды! — предостерег ее Анри, указывая на Златоокую девушку.

— К моим услугам ее мать,— проговорила маркиза, указывая на старуху и знаком приказывая ей остаться.

— Мы с тобою еще увидимся,— сказал Анри, подумав о том, что его друзья, должно быть, уже беспокоятся и что пора уходить.

— Нет, брат мой, никогда,— сказала маркиза.— Я вернусь в Испанию и уйду в монастырь.

— Ты еще так молода, так прекрасна! — воскликнул Анри, обняв и поцеловав ее.

— Прощай,— промолвила она,— ничто не может утешить нас в утрате того, что казалось нам бесконечным.

Неделю спустя Поль де Манервиль встретил де Марсе на террасе Фельянов в Тюильри.

— Ну, злодей, что сталось с твоей красавицей, со Златоокой девушкой?

— Она умерла.

— От чего?

— От чахотки.

Париж, март 1834 г.— апрель 1835 г.

ТАЙНЫ КНЯГИНИ ДЕ КАДИНЬЯН

Теофилю Готье.

После бедствий Июльской революции, которая разорила ряд аристократических семей, преданных двору, княгиня де Кадиньян, выказав большую находчивость, отнесла за счет политических событий полное разорение, вызванное ее расточительностью. Князь покинул Францию с королевской семьей, оставив княгиню в Париже огражденной благодаря его отсутствию от каких-либо посягательств, ибо тяжесть долгов, которые не могла покрыть продажа недвижимого имущества, падала только на него. На доходы майората был наложен арест. Словом, дела этой знатной семьи были в таком же плачевном состоянии, как и дела старшей ветви дома Бурбонов.

Женщина эта, столь известная под своим первым именем герцогини де Мофриньез, приняла тогда мудрое решение жить в полном одиночестве и желала заставить забыть о себе. Париж был в то время захвачен таким головокружительным потоком событий, что вскоре герцогиня де Мофриньез, погребенная в княгине де Кадиньян,— перемена имени, неизвестная большинству лиц, которые очутились на общественной арене после Июльской революции,— сделалась в нем как бы иностранкой.

Во Франции герцогский титул выше всех остальных, даже княжеского, хотя по геральдическим понятиям, очищенным от всяких софизмов, титулы решительно ничего не значат и между дворянами существует полнейшее ра-

венство. Когда-то королевский дом Франции тщательно оберегал это замечательное равенство, да и в наши дни оно, хотя бы внешне, еще заботливо поддерживается королями, которые дают своим детям простые графские титулы. Именно в силу этой системы Франциск I заменил все великолепие титулов, какие давал себе чванный Карл V, подписью: *Франциск, сеньор де Ванв*. Еще лучше сделал Людовик XI, выдав свою дочь замуж за дворянина без всякого титула, Пьера де Боже. Впрочем, Людовику XIV удалось настолько разрушить систему феодальных установлений, что в его монархии титул герцога сделался высшей честью для аристократа и стал возбуждать наиболее сильную зависть. Во Франции, однако, существует два или три княжеских рода, в которых этот титул, некогда связанный с богатством владений, ставится выше герцогского. Дом де Кадиньян, в котором старшим сыновьям дается титул герцога де Мофриньез, тогда как младшие называются просто кавалерами де Кадиньян, принадлежит к числу этих избранных семейств. Князья де Кадиньян, так же как некогда два принца из дома Роганов, имели право восседать на троне в своих владениях: они могли держать у себя на службе пажей и дворян. Эти разъяснения необходимы как для того, чтобы избежать глупой критики со стороны лиц, совершенно невежественных, так и для характеристики общества, которое якобы сходит со сцены, откуда его выталкивает столько людей, совершенно его не постигших. У Кадиньянов в гербе *червленый щит с пятью черными ромбами, присоединенными боком и разделенными полосой с девизом «Memini»*, с закрытой короной, без щитодержателя и шлемового покрова. Ныне, благодаря громадному наплыву иностранцев в Париж и почти полному невежеству в геральдической науке, титул князя входит в моду. Подлинными князьями являются, однако, только владетельные князья, которым присвоен титул высочества. Пренебрежение французского дворянства к княжескому титулу, равно как и причины, побудившие Людовика XIV отдать преимущество титулу герцога, помешали Франции потребовать титула высочества для немногих своих князей, если не считать наполеоновских. Вот причина, по которой князья де Кадиньян поставлены как бы ниже других князей в Европе.

Лица, принадлежавшие к так называемому обществу Сен-Жерменского предместья, своим почтительным молчанием покровительствовали княгине из уважения к ее имени, одному из тех, которые всегда будут в почете, к ее несчастьям, уже более не вызывавшим толков, и к ее красоте, тому единственному, что сохранилось у нее от всего исчезнувшего великолепия. Свет, украшением которого она прежде являлась, был ей признателен за то, что, затворившись в своем уединении, она как бы добровольно приняла монашество. Это благородное решение было для нее громадной жертвой — большей, чем для любой другой женщины. Во Франции незаурядные поступки воспринимаются всегда настолько остро, что княгиня, удалившись от света, вновь вернула себе все то, что утратила в общественном мнении в пору своей славы. Она продолжала встречаться лишь с одной из своих старых приятельниц, маркизой д'Эспар, и не посещала более ни многолюдных собраний, ни празднеств. Княгиня и маркиза видались лишь в первую половину дня и как бы втайне. Если княгиня приезжала обедать к своей приятельнице, маркиза никого более не принимала. Г-жа д'Эспар вела себя безукоризненно в отношении княгини: она переменила ложу в Итальянской опере, покинув первый ярус для бенуара только ради того, чтобы г-жа де Кадиньян могла приезжать в театр незамеченной и уезжать неузнанной. Лишь очень немногие женщины согласились бы на такой великодушный поступок, лишавший их удовольствия показывать в обществе свою соперницу, потерпевшую крушение, и называть себя ее благодетельницей. Все это избавляло княгиню от необходимости тратиться на разорительные туалеты, и она могла негласно пользоваться каретой маркизы, от которой ей пришлось бы отказаться, если бы это делалось явно. Никто никогда не узнал, что за причины побудили г-жу д'Эспар так вести себя с княгиней де Кадиньян, но поведение ее отличалось высочайшим благородством и проявлялось постоянно в тысяче мелочей, которые, каждая в отдельности, показались бы, может быть, пустяком, но в совокупности своей являли зрелище почти величественное.

Трехлетие, истекшее к началу 1832 года, успело набросить снежный покров на приключения герцогини де Мофриньез и настолько ее обелило, что потребовались бы

значительные усилия памяти, если бы кто-нибудь захотел восстановить прискорбные обстоятельства ее прежней жизни. Из королевы, боготворимой столькими поклонниками, чье легкомыслие могло послужить темой для нескольких романов, она превратилась в женщину еще обворожительно прекрасную, достигшую уже тридцати шести лет, но имевшую полную возможность давать себе только тридцать, хотя она и была матерью герцога Жоржа де Мофриньез, юноши девятнадцати лет, красивого, как Антиной, и бедного, как Иов. Ему, несомненно, были уготованы самые блестящие успехи, и мать хотела прежде всего выгодно его женить. Быть может, именно в этом и заключался секрет близости, сохранившейся в ее отношениях с маркизой, салон которой считался первым в Париже, так что со временем княгиня могла бы подыскать там среди богатых наследниц жену для Жоржа. Княгиня предполагала, что ей придется прождать женитьбы сына пять лет, пять бесплодных и одиноких лет, ибо выгодный брак требовал того, чтобы все ее поведение было проникнуто величайшим благоразумием.

Княгиня жила в маленьком особняке на улице Ми-
ромениль, снимая за скромную плату первый его этаж. Здесь ее окружали остатки минувшей роскоши. Изысканность знатной дамы все еще сказывалась в обстановке. Красивые вещи, окружавшие ее, говорили о благородстве вкуса. Камин украшала великолепная миниатюра, портрет Карла X работы госпожи де Мирбель с выгравированной внизу надписью: «Пожаловано королем», и рядом — портрет герцогини Беррийской, столь исключительно благосклонной к ней. На одном из столов красовался драгоценный альбом, какой не посмела бы выставить напоказ ни одна из тех мещанок, что ныне верховодят в нашем обществе, стяжательном и суетном. Подобная смелость прекрасно обрисовывает характер хозяйки. В альбоме находились портреты близких друзей, а из них около тридцати свет называл ее любовниками. Эта цифра была клеветой, но в отношении десятка, как говорила маркиза д'Эспар, это было лишь справедливым и законным злословием. Портреты Максима де Трай, де Марсе, де Растиньяка, маркиза д'Эгриньон, генерала Монриво, маркизов де Ронкероль и д'Ажуда-Пинто, князя Галактиона, юных герцогов де Гранлье, де Реторе,

красавца де Рюбампре принадлежали кисти самых знаменитых художников, впрочем, сильно их приукрасивших. Так как княгиня принимала не более двух или трех лиц из этой коллекции, она весьма остроумно называла ее собранием своих ошибок. Несчастья сделали эту женщину хорошей матерью. В течение пятнадцати лет Реставрации она так много веселилась, что не могла думать о своем сыне; но, удалившись от света, эта эгоистка, стяжавшая славу, решила, что материнское чувство, доведенное до предела, послужит искуплением ее прошлой жизни в глазах людей чувствительных, готовых все простить безупречной матери. Она тем сильнее любила своего сына, что ей не оставалось любить никого другого. Впрочем, Жорж де Мофриньез был одним из тех сыновей, которые льстят материнскому тщеславию, и княгиня шла для него на всевозможные жертвы: она позаботилась о выезде и каретном сарае для Жоржа; в антресолях над этим сараем было устроено для него помещение с окнами на улицу, состоявшее из трех прелестно обставленных комнат, а себя она обрекла на некоторые лишения, лишь бы сохранить ему верховую лошадь, выезд и маленького лакея. Княгиня держала лишь горничную, а одна из ее прежних судомоек служила ей кухаркой. Лакею на службе герцога приходилось в то время круто. Тоби, бывший грум покойного Боденора (свет именно так подшутил над этим разорившимся щеголем), этот юный грум, который и в двадцать пять лет все еще считался четырнадцатилетним, должен был ухаживать за лошадьми, чистить кабриолет или тильбюри, выезжать с хозяином, убирать комнаты и находиться в передней княгини, докладывая о посетителях, когда ей случалось кого-нибудь принимать. Если вспомнить, чем являлась во времена Реставрации красавица герцогиня де Мофриньез, одна из королев Парижа, королева ослепительная, чье блестящее существование могло бы оказаться поучительным даже для самых богатых модниц Лондона, было нечто непостижимо трогательное в зрелище ее убогого убежища на улице Миромениль, всего в нескольких шагах от принадлежавшего ей прежде огромного особняка, слишком великолепного даже для владельца самого большого состояния и потому проданного на слом дельцами, которые на месте его проложили улицу. Женщина, которой когда-то едва было до-

статочно тридцати слуг, которая устраивала приемы в самых роскошных парадных залах, какие только были в Париже, и жила в очаровательнейших апартаментах, давала блестящие балы, ютилась теперь в квартире из пяти комнат: передней, столовой, гостиной, спальни и туалетной комнаты, обслуживаемая двумя женщинами.

— О! Она безупречна в отношении своего сына,— восклицала маркиза д'Эспар, эта тонкая сплетница,— и безупречна без всякой утрировки, она счастлива. Никто бы не поверил, что такая легкомысленная женщина может с такой настойчивостью следовать принятому решению; ее поведение одобрил и достойный наш архиепископ; он очень хорош с ней и только что убедил старую графиню де Сен-Синь сделать ей визит.

Впрочем, признаемся: нужно быть королевой, чтобы уметь отречься и благородно отрешиться от былого величия, которое окончательно никогда не утрачивается. Лишь те, кто сознает свое ничтожество, падая, выказывают сожаление или же ропщут и возвращаются мыслью к невозвратно потерянному, ибо понимают, что дважды преуспеть нельзя. Вынужденная обходиться без редкостных цветов, среди которых она привыкла жить,— а они так выгодно оттеняли ее красоту, что нельзя было не сравнить ее с цветком,— княгиня удачно выбрала свою квартиру: здесь к ее услугам был прелестный садик, деревца которого и лужайка оживляли своей зеленью это мирное убежище. Она располагала рентой приблизительно в двенадцать тысяч ливров, но и этот скромный доход складывался из ежегодного пособия, выдаваемого старой герцогиней де Наваррен, теткой молодого герцога по отцу, что должно было продолжаться впредь до его брака, и второго пособия, присылаемого герцогиней д'Юкзель из глуши ее поместий, где она копила так, как умеют копить только старые герцогини, по сравнению с которыми и сам Гарпагон — дитя. Князь жил за границей, безвыездно оставаясь в распоряжении своих изгнанных повелителей, разделяя их злосчастную судьбу, служа им с бескорыстной преданностью, и был, пожалуй, наиболее разумным среди окружавших их лиц. Положение князя де Кадиньяна даже защищало княгиню в Париже. В дни попыток, предпринятых герцогиней Беррий-

ской в Вандее, маршал, которому мы обязаны завоеванием Африки, именно у княгини собирал совещания главных вождей легитимистского лагеря, настолько безвестным стало к этому времени ее имя, от подозрений же правительства ее оберегала бедность. Видя, как приближается страшный день, когда рушатся надежды на любовь,— а это неизбежно с наступлением сорокалетнего возраста, с которым все почти для женщины кончается,— княгиня погрузилась в дебри философии. Она стала читать — она, на протяжении шестнадцати лет проявлявшая величайшее отвращение к предметам серьезным. Литература и политика ныне для женщин то же, чем была для них прежде набожность,—последнее прибежище их притязаний. В высшем свете говорили, что Диана намеревается написать книгу. С тех пор как из очаровательной красавицы княгиня стала превращаться в женщину просто остроумную, она, не дожидаясь того, когда вполне завершится это превращение, сделала прием у себя необычайным отличием, чрезвычайно льстившим избраннику. Маскируясь этим образом жизни, она смогла обмануть одного из первых своих любовников, де Марсе, наиболее влиятельного представителя буржуазной политики, проводимой после июля 1830 года: она принимала его несколько раз вечером, в то время как маршал и несколько легитимистов втихомолку переговаривались в ее спальне о завоевании королевства, забывая, что оно несбыточно без помощи идеологии, этого непременного условия успеха. Подобная проделка была недурной местью со стороны хорошенькой женщины, она сумела посмеяться над премьер-министром, заставляя его играть роль ширмы в заговоре против его же правительства. Это приключение, достойное лучших дней Фронды, составило содержание остроумнейшего письма, в котором княгиня дала герцогине Беррийской отчет о переговорах. Молодому герцогу де Мофриньез удалось пробраться в Вандею и тайно оттуда вернуться, не выдав себя, но разделив при этом с герцогиней Беррийской угрожавшие ей опасности; она, к несчастью, его отослала, когда показалось, что все дело проиграно. Возможно, что бдительность этого юноши и помешала бы совершиться предательству. Как бы велики ни были в глазах буржуазного общества ошибки герцогини де Мофриньез, поведение ее

сына их безусловно искупило в глазах общества аристократического. Нельзя было не признать благородства и величия в поступке этой матери, подвергавшей опасности единственного сына и наследника исторического рода. Существуют личности — их обычно считают ловкими,— умеющие своими общественными заслугами искупать ошибки, совершаемые в своей частной жизни, и наоборот; однако княгиня де Кадиньян чужда была какого-либо расчета. Может быть, его и вообще нет у тех, кто поступает подобным образом. Такая непоследовательность наполовину обусловливается обстоятельствами.

В один из первых ясных дней мая 1833 года около двух часов пополудни маркиза д'Эспар и княгиня расхаживали,— нельзя сказать гуляли,— по дорожке, окаймлявшей единственный в этом садике газон. Солнце уже миновало зенит, и лучи его, отраженные стенами, нагревали воздух в этом маленьком пространстве, где все благоухало цветами, которые подарены были маркизой.

— Мы скоро лишимся де Марсе,— говорила г-жа д'Эспар княгине,— а с ним исчезнет и ваша последняя надежда на карьеру для герцога де Мофриньез; ведь с тех пор как вы его так остроумно провели, этот великий политик снова почувствовал к вам влечение.

— Мой сын никогда не примирится с младшей ветвью,— сказала княгиня,— хотя бы ему пришлось умереть с голода или даже мне самой работать для него. Однако он не безразличен Берте де Сен-Синь.

— Дети,— сказала г-жа д'Эспар,— не давали тех обязательств, что их отцы...

— Не станем говорить об этом,— сказала княгиня.— Если мне не удастся приручить маркизу де Сен-Синь, я помирюсь на том, чтобы женить моего сына на дочери какого-нибудь кузнеца, как сделал это жалкий д'Эгриньон.

— Любили вы его? — спросила маркиза.

— Нет,— ответила серьезно княгиня.— Правда, что наивность д'Эгриньона, носившую провинциальный отпечаток, я заметила несколько поздно или, если хотите, слишком рано.

— А де Марсе?

— Де Марсе играл мной, как куклой. Я была так молода! Мы никогда не любим мужчин, если они становятся нашими наставниками,— это слишком затрагивает наше мелкое тщеславие.

— А этот несчастный юноша, который повесился?

— Люсьен? Это был Антиной и великий поэт. Я боготворила его и могла бы стать с ним счастливой, но он любил девку, и я уступила его госпоже де Серизи. Если бы он полюбил меня, разве я его отдала бы?

— Как! Вы — соперница какой-то Эстер?

— Она была красивее меня,— сказала княгиня.— Вот уже скоро три года, как я живу в полном одиночестве; и что же? В этом покое нет ничего тягостного. Вам одной я посмею сказать, что здесь я почувствовала себя счастливой. Я была пресыщена восхищением, утомлена, не знала радости, и чувства мои были задеты лишь слегка, так что волнение не касалось моего сердца. Все мужчины, которых я знала, оказались ничтожными, мелочными, поверхностными; ни один из них не вызвал во мне даже самого легкого удивления. Ни у кого из них не было цельности чувства, величия, чуткости. Я хотела бы встретить кого-нибудь, кто мне внушил бы уважение.

— Уж не произошло ли с вами то же, что и со мной, моя дорогая,— спросила маркиза,— вы, может быть, никогда не встретили любви, хотя и искали ее?

— Никогда,— ответила княгиня, прерывая маркизу и коснувшись пальцами ее руки.

Они обе направились к простой деревянной скамье и уселись под кустом распускающегося жасмина.

— Как и вас,— продолжала княгиня,— меня, быть может, любили больше, чем любят других женщин; теперь я сознаю, что среди стольких увлечений я не узнала счастья. Я натворила массу безумств, но у них была цель, однако цель эта удалялась по мере того, как я за ней шла. В моем сердце, уже немолодом, живет — я это чувствую — еще не тронутая невинность. Вот именно: под столь большим опытом таится возможность первой любви, способной обманываться; несмотря на столько тревог и унижений, я знаю, что все еще молода и красива. Нам приходится любить, не зная счастья, и быть счастливыми, не любя; но любить и обладать счастьем — соеди-

нить эти два огромных человеческих наслаждения — это чудо. Для меня оно не свершилось.

— Для меня также,— сказала г-жа д'Эспар.

— В моем убежище меня преследует ужасное сожаление: я развлекалась, но не любила.

— Какое невероятное признание! — воскликнула маркиза.

— Ах, моя дорогая,— ответила княгиня,— эти признания мы можем делать лишь друг другу; никто в Париже нам не поверит.

— А если бы,— продолжала маркиза,— нам обеим не было больше тридцати шести лет, мы, вероятно, не стали бы и друг другу поверять таких тайн.

— Да, когда мы молоды, в нас слишком много самого глупого самодовольства,— сказала княгиня.— Мы подчас напоминаем тех бедных молодых людей, которые усердно действуют зубочисткой, чтобы заставить поверить, будто они отлично пообедали.

— Наконец мы объяснились,— кокетливо сказала г-жа д'Эспар, сопровождая свои слова очаровательным жестом, в котором было и простодушие и многозначительность,— мне кажется, что мы еще достаточно молоды, чтобы вознаградить себя

— Когда вы мне на днях рассказали, что Беатриса уехала с Конти, я думала об этом всю ночь,— сказала княгиня после некоторого молчания.— Нужно быть очень счастливой, чтобы, как она, пожертвовать своим положением, своим будущим и навсегда отказаться от света.

— Она глупышка,— важно сказала г-жа д'Эспар,— мадемуазель де Туш была счастлива избавиться от Конти, Беатриса не поняла, насколько этот отказ со стороны женщины незаурядной, ни одной минуты не защищавшей своего мнимого счастья, обличает ничтожество Конти.

— Так что ж, она будет несчастной?

— Она уже несчастна,— продолжала г-жа д'Эспар.

— Зачем покидать мужей? Не признает ли этим женщина свое бессилие?

— Вы, следовательно, не думаете, что госпожой де Рошфид руководило желание наслаждаться в тиши подлинной любовью, любовью, дающей те радости, что для нас с вами остались еще призрачными?

— Нет, она лишь собезьянничала с госпожи де Босеан и госпожи де Ланже; в век, менее пошлый, чем наш, эти особы, будь сказано между нами, сделались бы, как и вы, впрочем, личностями столь же замечательными, как ла Вальер, Монтеспан, Диана де Пуатье, герцогини д'Этамп и де Шатору.

— Ну уж! Пожалуйста, без королей, моя дорогая. Ах! Я хотела бы вызвать духов этих женщин и спросить у них...

— Но,— сказала маркиза, перебивая свою собеседницу,— нет необходимости принуждать разговаривать мертвых. Мы знаем живых женщин, обладающих счастьем. Я более двадцати раз заводила интимный разговор о вещах подобного рода с графиней де Монкорне: она вот уже в течение пятнадцати лет совершенно счастлива с этим ничтожным Эмилем Блонде; ни одной неверности, ни одного скрытого помысла; у них и сегодня такие же отношения, как в первый день; но нас каждый раз беспокоили и прерывали в самый интересный момент. В этих длительных привязанностях, как между Растиньяком и госпожой Нусинген, вашей кузиной де Камп и ее Октавом, скрывается тайна, но мы с вами, моя дорогая, этой тайны не знаем. Свет оказывает нам чрезвычайную честь, почитая нас за распутниц, достойных двора Регента, а мы невинны, как две маленькие пансионерки.

— Я еще могла бы утешиться на этом! — насмешливо воскликнула княгиня.— Но наша невинность куда хуже, и недаром чувствуешь себя униженной. Что поделаешь? Придется богу удовольствоваться этим разочарованием в искупление наших бесплодных поисков; ведь мало вероятно, чтобы для нас расцвел поздней осенью цветок, которого мы не нашли ни весной, ни летом.

— Дело не в этом,— продолжала после короткого молчания маркиза, на миг погрузившись в воспоминания.— Мы еще достаточно красивы, чтобы внушить страсть, но мы никогда никого не убедим в нашей невинности и добродетели.

— Если бы это было ложью, ее бы вскоре, приукрашенную комментариями, поданную с милыми добавлениями, сообщающими ей правдоподобие, проглотили бы как сладостный плод; но заставить поверить в

истину! О! Величайшие люди потерпели на этом поражение,— прибавила княгиня с одной из тех лукавых улыбок, которые умела передать только кисть Леонардо да Винчи.

— Иногда и глупцы умеют любить,— продолжала маркиза.

— Но на это,— заметила княгиня,— даже у глупцов не хватит доверчивости.

— Вы правы,— сказала, смеясь, маркиза.— Однако нам следовало бы искать не глупца и даже не одаренного человека. Чтобы решить такую задачу, нам необходим человек гениальный. Одни гении способны на младенческую веру, свято чтут любовь и охотно дают завязать себе глаза. Посмотрите на Каналиса и герцогиню де Шолье. Если мы с вами и встречали людей талантливых, то они были, вероятно, слишком далеки от нас и слишком заняты, а мы в то время чересчур легкомысленны, увлечены, захвачены.

— Ах! Я все же не хотела бы покинуть этот свет, не испытав радостей подлинной любви! — воскликнула княгиня.

— Недостаточно ее внушить,— сказала г-жа д'Эспар,— надо ее испытать. Я знаю немало женщин, которые служат лишь предлогом страсти, вместо того чтобы быть и причиной ее и следствием.

— Последняя страсть, которую я внушила, была чем-то святым, возвышенным,— сказала княгиня,— перед ней открывалось будущее. На этот раз случай послал мне гениального человека, одного из тех, что принадлежат нам по праву, но которыми так трудно завладеть, ведь на свете больше красивых женщин, чем талантов. Но дьявол вмешался в эту историю.

— Расскажите мне, дорогая. Для меня это совершенно ново.

— Я только в середине зимы 1829 года обратила внимание на эту возвышенную любовь. Каждую пятницу я встречала в Опере, в партере, всегда на одном и том же месте молодого человека лет тридцати, который приходил туда ради меня; он глядел на меня огненными глазами, но их часто омрачала печаль — ведь нас разделяло такое расстояние,— и он понимал всю безнадежность своей любви.

— Бедный молодой человек! Влюбившись, глупеешь,— сказала маркиза.

— Почти в каждом антракте он пробирался в коридор,— продолжала княгиня, улыбнувшись дружеской шутке, которой маркиза ее перебила,— раз или два, чтобы меня увидеть или показаться мне, он приникал к самому стеклу ложи, находящейся против моей. Если ко мне заходил посетитель, я замечала, как он прячется за дверью, откуда он мог украдкой бросить на меня взгляд; под конец он уже знал всех тех, кто принадлежал к моему обществу, и если они направлялись к моей ложе, шел за ними, чтобы воспользоваться мигом, когда отворялась моя дверь. Бедному молодому человеку, вероятно, вскоре стало известно, кто я такая, потому что он знал в лицо господина де Мофриньеза и моего свекра. Я стала также встречать моего таинственного незнакомца и в Итальянской опере, где у него было кресло, с которого он любовался мною, не сводя с меня глаз в наивном экстазе: недурное зрелище. У выхода из оперы или театра Буфф я видела его, неподвижного среди толпы, как будто приросшего к тротуару; его толкали, но не могли сдвинуть с места. Глаза его несколько тускнели, когда он видел, что я опираюсь на руку кого-либо из моих избранников. Впрочем, ни единого слова, ни одного письма, ни одной попытки. Признайтесь, что это доказывает порядочное воспитание. Иногда, возвращаясь утром домой, я заставала этого человека на одной из тумб у ворот моего особняка. У этого влюбленного были красивые глаза, густая длинная борода веером и усы; выделялись только белизна скул и красивый лоб; одним словом, настоящая античная голова. Как вам известно, в июльские дни князь защищал Тюильрийский дворец со стороны набережных. Он вернулся вечером в Сен-Клу, когда все было проиграно. «Моя дорогая,— сказал он мне около четырех часов,— я едва не был убит: один из инсургентов в меня целился, как вдруг молодой человек с длинной бородой, предводительствовавший нападавшими,— я, кажется, видел его у Итальянцев,— отвел ствол ружья». Выстрел поразил уж не знаю кого, кажется, сержанта полка, стоявшего в двух шагах от моего мужа. Этот молодой человек был, по-видимому, республиканцем. В 1831 году, когда я вернулась, чтобы поселиться здесь,

я встретила его,— он стоял возле этого дома; несчастья мои его словно радовали, так как ему казалось, что они нас сближают, но со времени событий в Сен-Мерри я его больше не видела; он там погиб. Накануне похорон генерала Ламарка я с сыном вышла пройтись, и мой республиканец то следовал за нами, то опережал нас от церкви святой Мадлены до самого пассажа Панорамы, куда я направлялась.

— И это все? — спросила маркиза.

— Все,— ответила княгиня.— Ах да! В утро взятия Сен-Мерри явился какой-то мальчишка, попросил меня выйти к нему и передал мне письмо, написанное на простой бумаге и подписанное именем незнакомца.

— Покажите мне его,— сказала маркиза.

— О нет, моя дорогая. Любовь была слишком сильной и возвышенной в этом сердце, чтобы я могла выдать его тайну. Это письмо, короткое и страшное, тревожит мое сердце и сейчас, когда я о нем думаю. Этот мертвый вызывает во мне больше волнений, чем все живые, к которым я благоволила, и постоянно воскресает в моей памяти.

— Скажите его имя,— попросила маркиза.

— О, имя самое обыкновенное — Мишель Кретьен.

— Вы хорошо сделали, что сообщили его мне,— живо ответила маркиза д'Эспар,— я много о нем слышала. Этот Мишель Кретьен был другом знаменитого человека, которого вы хотели видеть,— Даниеля д'Артеза; он каждый год бывает у меня раза два. У Кретьена, действительно погибшего в Сен-Мерри, было немало друзей. Мне говорили, что он был одним из тех крупных политических деятелей, кому, как и де Марсе, не хватает лишь случая, который бы подхватил их, как воздушный шар, и сделал тем, чем они достойны быть.

— В таком случае лучше, что он умер,— сказала княгиня с грустным видом, скрывшим ее мысли.

— Хотите как-нибудь встретиться у меня вечером с д'Артезом? — спросила маркиза.— Вы поговорите с ним о вашем призраке.

— С удовольствием, дорогая.

Спустя несколько дней после этого разговора Блонде и Растиньяк, знавшие д'Артеза, обещали г-же

д'Эспар уговорить его прийти к ней обедать. Это обещание было бы, конечно, неосторожным, если бы не было упомянуто имя княгини. Встреча с ней не могла быть безразличной знаменитому писателю.

Даниель д'Артез, один из редких людей, соединяющих в наши дни прекрасные личные качества с недюжинным талантом, уже пользовался если не всей славой, заслуженной его произведениями, то, во всяком случае, тем почетом и уважением, которыми вполне довольствуются избранники. Со временем его значение, несомненно, возрастет еще более, но в глазах знатоков оно уже достигло своих пределов: существуют такие писатели, место которых определяется сразу и в дальнейшем уже более не меняется. По происхождению бедный дворянин, д'Артез знал, что может рассчитывать только на свои личные достоинства. Он долго пробивал себе дорогу, завоевывая положение на литературной арене Парижа и нарушая этим волю богатого дяди,— тот оставлял его в тисках жесточайшей нужды и, лишь когда он стал знаменитостью, завещал ему состояние, в котором безжалостно отказывал, пока д'Артез был безвестным писателем,— пусть тщеславие возьмет на себя оправдание этой непоследовательности! Несмотря на неожиданную перемену, Даниель д'Артез не изменил своего образа жизни: над своими книгами он продолжал работать с той скромностью, которая достойна античных нравов, и обременил себя новыми трудами, согласившись принять звание депутата палаты, где он занял место на правой. С тех пор как его осенила слава, он несколько раз бывал в свете. Один из его старых друзей, знаменитый врач Орас Бьяншон, познакомил его с бароном де Растиньяком, товарищем одного из министров и другом де Марсе. Эти политические деятели благородно взялись помочь Даниелю, Орасу и некоторым близким друзьям Мишеля Кретьена перенести тело убитого республиканца из церкви Сен-Мерри, чтобы похоронить его с честью. Признательность за услугу, столь противоречившую административной строгости, которая царила в ту эпоху, когда политические страсти вспыхнули с такой силой, привязала до известной степени д'Артеза к Растиньяку. Товарищ министра и выдающийся премьер были слишком ловкими людьми, чтобы не воспользоваться этим обстоятельством,

они привлекли на свою сторону нескольких друзей Мишеля Кретьена, правда, не разделявших его взглядов и примкнувших после того к новому правительству. Один из них, Леон Жиро, назначенный сначала докладчиком прошений в Совете, сделался затем государственным советником. Жизнь Даниеля д'Артеза была целиком посвящена работе, в обществе он бывал лишь изредка, и оно ему являлось как бы во сне. Дом его — монастырь, и он ведет в нем жизнь бенедиктинца: та же умеренность в обиходе, та же регулярность в занятиях. Его друзья знают, что женщина для него пока что лишь случайность, внушающая страх,— ему пришлось слишком много ее наблюдать, чтобы не опасаться, и все же это глубокое изучение женщины привело к тому, что он перестал понимать ее, как бывает с теми мудрыми стратегами, которые всегда терпят поражение в местности, где непредвиденные условия изменяют и нарушают их научные аксиомы. Он остался самым чистосердечным ребенком, выказав себя в то же время и самым осведомленным наблюдателем. Это противоречие, на вид невозможное, вполне объяснимо для тех, кто мог измерить глубину пропасти, отделяющую способности от чувств: одни исходят от головы, другие — от сердца. Можно быть великим человеком и злодеем, так же как можно быть глупцом и в то же время вдохновенным любовником. Д'Артез был одним из тех избранных существ, у которых тонкость ума и обширность знаний не исключают ни силы, ни величия чувств. Его можно назвать человеком и действия и мысли, а это — сочетание, представляющее крайне редкое преимущество. Его личная жизнь отличается благородством и чистотой. До сих пор он тщательно избегал любви, но, хорошо зная себя, он заранее предвидел, как могущественно будут владеть им страсти. Долгое время превосходной защитой от них служила ему изнурительная работа, подготовившая прочную основу для его славных трудов, и холод бедности. Когда же пришел достаток, у него завелась самая пошлая и самая необъяснимая связь с женщиной, довольно, правда, красивой, но принадлежавшей к низшему сословию и без всякого образования, без манер, и потому эта связь тщательно скрывалась от посторонних взглядов. Мишель Кретьен приписывал людям гениальным способность превращать

самые грубые существа в сильфид, простушек — в умных женщин, крестьянок — в маркиз: чем большими совершенствами обладала женщина, тем более она должна была проигрывать в их глазах, ибо не оставляла простора для воображения. Он считал, что любовь, представляющая простую потребность чувств для существ низших, для людей одаренных есть род морального творчества, самый обширный и самый привлекательный. Чтобы оправдать д'Артеза, он ссылался на пример Рафаэля и Форнарины. Он мог бы указать и на себя самого: ведь и он видел ангела в герцогине де Мофриньез. Странная фантазия д'Артеза могла быть, впрочем, оправдана с помощью разных соображений: может быть, он сразу же отчаялся в возможности встретить в этом мире женщину, которая отвечала бы восхитительной грезе, лелеемой всяким умным человеком? Может быть, сердце его было слишком чутким, слишком чувствительным, чтобы вручить его светской женщине? Может быть, он предпочитал отдавать должное природе и сохранять иллюзии, придерживаясь своего идеала? Может быть, он отстранил любовь, как несовместимую с его трудами и размеренностью монастырской жизни, где страсть все бы нарушила? В течение последних месяцев над д'Артезом посмеивались Блонде и Растиньяк, упрекавшие его в незнании света и женщин. По их мнению, его труды были уже достаточно многочисленны и успешны, чтобы он мог позволить себе развлечения, а он, располагая прекрасным состоянием, жил как студент, ничем не пользовался — ни своим золотом, ни своей славой; ему были неизвестны изысканные наслаждения той благородной и тонкой страсти, какую внушают иные женщины знатного рода и безукоризненного воспитания; достойно ли его было то, что он знал только грубую сторону любви? Любовь, сведенная к тому, чем сделала ее природа, была в их глазах глупейшей вещью в мире. Одна из заслуг общества состояла в том, что оно создало *женщину* там, где природа сотворила самку, что оно вызвало беспрерывность желания там, где природа думала лишь о беспрерывности рода; что оно, наконец, изобрело любовь, прекраснейшую религию человека. Д'Артезу были неведомы очаровательные тонкости разговора, те знаки привязанности, которые дают душа и мысль, жела-

ния, облагороженные светскими манерами, неведомы и те божественные формы, которые светская женщина придает самым грубым вещам. Он, может быть, и знал женщину, но не ведал божества. А женщине, чтобы внушить настоящую любовь, необходима бездна искусства, множество прекрасных одеяний, которые облекли бы ее душу и тело. Словом, расхваливая восхитительную развращенность мысли, что составляет чисто парижское кокетство, эти два соблазнителя жалели д'Артеза, обходившегося простым блюдом, без всякой приправы, и не отведавшего наслаждений высшей парижской кухни, и тем самым живо возбуждали его любопытство. Доктор Бьяншон, с которым д'Артез был откровенен, знал, что это любопытство, наконец, проснулось. Длительная связь великого писателя с заурядной женщиной не только не стала ему мила в силу привычки, но сделалась для него невыносимой, и лишь чрезмерная застенчивость, владеющая одинокими людьми, удерживала его от разрыва.

— Как можно,— говорил Растиньяк,— имея *красный с золотом щит, перерезанный с правого угла на левый, с бляхой и золотой монетой в каждом поле*, не дать этому старому пикардийскому гербу покрасоваться на дверцах своей кареты? У вас тридцать тысяч ливров ренты и доходы, которые приносит ваше перо; вы оправдали ваш девиз, который составляет игру слов, столь ценимую нашими предками: Ars, thesaurusque virtus [1], и вы не хотите показывать его на прогулке в Булонском лесу! Ведь мы живем в век, когда добродетель должна показываться.

— Если бы вы хоть читали свои произведения этой толстой Лафоре, вашей отраде, я бы еще простил вам то, что вы с ней не порываете,— сказал Блонде.— Но, дорогой мой, если с точки зрения материальной вы едите черствый хлеб, то с точки зрения интеллектуальной у вас нет даже хлеба...

Эта маленькая дружеская война между Даниелем и его приятелями длилась уже несколько месяцев, когда г-жа д'Эспар попросила Растиньяка и Блонде уговорить д'Артеза приехать к ней на обед, сказав им, что княгине

---

[1] Искусство в сочетании с богатством — добродетель (*лат.*).

де Кадиньян чрезвычайно хочется видеть этого знаменитого человека. Подобные достопримечательности для некоторых женщин то же, что волшебный фонарь для детей,— удовольствие для глаз, довольно, впрочем, скромное и таящее в себе разочарование. Чем сильнее выдающийся человек волнует наши чувства на расстоянии, тем меньше пленяет он их вблизи; чем более блистательным себе его мы представляем, тем более тусклым кажется его образ в действительности. В этом смысле разочарованная любознательность часто доходит до несправедливости. Ни Блонде, ни Растиньяк не могли обманывать д'Артеза, но они, смеясь, сказали, что ему представляется самый соблазнительный случай просветить свое сердце и познать высшие наслаждения, даваемые любовью знатной парижской дамы. Княгиня была положительно в него влюблена, уверяли они, и ему нечего было опасаться, он мог только выиграть от этой встречи; ничто не могло низвести его с пьедестала, на который его возвела госпожа де Кадиньян. Блонде и Растиньяк не видели ничего предосудительного в том, чтобы приписать княгине эту любовь,— такую клевету она могла снести, она, чье прошлое давало пищу стольким анекдотам! И тот и другой стали рассказывать д'Артезу о приключениях герцогини де Мофриньез, о ее первом легкомысленном поступке с де Марсе, ее втором опрометчивом шаге с д'Ажуда, которого она разлучила с женой, мстя таким образом за госпожу де Босеан, о ее третьей связи с молодым д'Эгриньоном, который сопровождал ее в Италию и страшно повредил себе этим; затем о том, как она была несчастна со знаменитым послом и счастлива с русским генералом; как ей пришлось быть Эгерией двух министров иностранных дел и т. д. и т. п. Д'Артез ответил им, что знает о ней больше, чем они могли рассказать ему, так как о ней ему говорил его покойный друг Мишель Кретьен, который обожал ее тайно в течение четырех лет и чуть не лишился из-за нее рассудка.

— Я часто,— сказал Даниель,— сопровождал моего друга в Оперу, к Итальянцам. Несчастный бегом бежал по улицам вместе со мной вслед за ее выездом и любовался княгиней сквозь стекла кареты. Этой любви князь де Кадиньян обязан жизнью, Мишель помешал одному юноше его убить.

— Ну что же! У вас будет совершенно готовая тема,— сказал, улыбаясь, Блонде.— Такая женщина вам и нужна, она лишь из деликатности будет жестокой и очень мило посвятит вас в самые обольстительные тайны. Но берегитесь, она поглотила немало состояний! Красавица Диана принадлежит к числу расточительниц, которые не стоят ни одного сантима, но для которых затрачивают миллионы. Отдайтесь телом и душой, но не выпускайте из рук ваших денег, как старик в «Потопе» Жироде.

После этого разговора княгиня предстала, наделенная прелестью королевы, испорченностью дипломатов, овеянная некоей тайной, опасная, как сирена, исполненная бездонной глубины. Эти два умных человека, неспособные предвидеть развязку своей шутки, сумели сделать из Дианы д'Юкзель самую чудовищную парижанку, самую ловкую кокетку и самую обольстительную светскую куртизанку. Хотя они и были правы, женщина, о которой они отзывались так легкомысленно, была для д'Артеза чем-то святым, чем-то священным, и любопытство его не нуждалось в том, чтобы его подстегивали; он сразу же дал согласие прийти, а обоим друзьям это только и было нужно.

Госпожа д'Эспар поехала к княгине, как только получила ответ.

— Чувствуете ли вы себя красивой, моя дорогая, расположены ли пококетничать? — сказала она ей.— Тогда приходите через несколько дней ко мне обедать; я вам подам д'Артеза. Наша знаменитость самого дикого нрава, он боится женщин и никогда не любил. Поговорите на эту тему. Он умен, и простота его вводит в заблуждение, так как устраняет всякое недоверие. Его проницательность ретроспективного свойства, она действует задним числом, и это расстраивает все расчеты. Сегодня вам удалось его захватить врасплох, но завтра вы его уже ни за что не проведете.

— Ах,— сказала княгиня,— если бы мне было только тридцать лет, как бы я позабавилась! Чего мне до сих пор не хватало, так это умного человека, которого я могла бы провести. У меня были только партнеры, и никогда не было противников. Любовь была игрой, вместо того чтобы стать битвой.

— Дорогая княгиня, сознайтесь, что я достаточно великодушна: ведь в конце концов... своя рубашка...

Обе женщины, смеясь, взглянули друг на друга и в знак приязни пожали друг другу руки. Конечно, они знали друг о друге слишком важные тайны и не стали бы ссориться из-за какого-то одного мужчины или оказанной услуги; чтобы дружба между женщинами могла быть искренней и длительной, она должна быть скреплена маленькими преступлениями. Когда две приятельницы способны убить друг друга, но видят каждая в руке у соперницы отравленный кинжал, они являют трогательное зрелище гармонии, нарушаемой лишь в тот миг, когда одна из них нечаянно это оружие обронит.

Итак, через неделю у маркизы состоялся один из тех вечеров, или, как их называют, маленьких приемов, которые устраивают только для самых близких людей, так что никто не является без устного приглашения и ни один незваный не допускается в дом. Этот вечер был устроен для пятерых: Эмиля Блонде и госпожи Монкорне, Даниеля д'Артеза, Растиньяка и княгини де Кадиньян. Мужчин было столько же, сколько и женщин, считая хозяйку дома.

Может быть, никогда еще самая тщательная подготовка к встрече так искусно не маскировалась видимостью случайности, как это произошло при знакомстве Дианы с д'Артезом. Княгиня и поныне считается великим знатоком туалета, составляющего для женщины первое из искусств. Она надела платье из синего бархата с широкими, свободно свисающими белыми рукавами и корсажем, вырез которого был затянут прозрачной тюлевой шемизеткой, собранной в легкие складки и отороченной каймой, выпущенной на четыре пальца от шеи, плечи ее были закрыты, как можно это видеть на некоторых портретах кисти Рафаэля. Горничная украсила ее прическу белым вереском, искусно расположив его в волнах ее светлых волос, которым княгиня тоже была обязана своей славой красавицы. Диане, безусловно, нельзя было дать больше двадцати пяти лет. Четыре года одиночества и отдыха вернули ей свежий цвет лица. Да и нет ли, впрочем, таких мгновений, когда желание нравиться увеличивает красоту женщин? Изменения в лице

не бывают независимы от воли. Если сильные волнения имеют свойство превращать белые тона у людей меланхолического и сангвинического склада в желтые и окрашивать в зеленоватый цвет лица лимфатиков, нельзя разве признать за желанием, радостью, надеждой способность сделать цвет лица более светлым, позолотить живым блеском взгляд, оживить красоту светом, пронизывающим ясное утро? Белизна кожи, которой так славилась княгиня, приобрела оттенок зрелости, и это делало весь ее облик еще более величавым. В этот час ее жизни, отмеченной уже строгими раздумьями и долгими размышлениями о своей судьбе, ее задумчивый и прекрасный лоб чудесно гармонировал с ее взглядом, глубоким, неторопливым и величественным. Вряд ли самый искусный физиономист мог бы угадать расчеты и намерения под этой изумительной нежностью черт. Опыт и наблюдательность бывают введены в заблуждение и сбиты с толку спокойствием и тонкостью некоторых женских лиц; их следовало бы рассматривать в ту минуту, когда заговорят страсти,— а это не так легко уловить,— или тогда, когда они уже сказали свое слово, что становится бесполезным, ибо женщина тогда уже состарилась и больше не притворяется. Княгиня как раз и принадлежит к числу таких непроницаемых женщин, она может принять любое обличье: быть игривой, ребячливой, приводя в отчаяние своим простодушием; или проницательной, серьезной и способной даже вызвать беспокойство своим глубокомыслием. Она приехала к маркизе с намерением казаться простой и нежной женщиной, познавшей жизнь только по доставленным ею разочарованиям, женщиной с возвышенной душой, оклеветанной, но покорной судьбе, словом, обиженным ангелом. Она поторопилась приехать пораньше, с тем, чтобы расположиться на козетке у камина, возле г-жи д'Эспар, так, как ей хотелось, в одной из тех поз, когда преднамеренность спрятана под безукоризненной естественностью, в одном из тех нарочито изученных положений, благодаря которым подчеркивается чудесная волнистая линия, начинающаяся у ноги, легко поднимающаяся к бедрам и затем продолжающаяся восхитительными округлостями до плеч, представляя взгляду все очертания тела. Обнаженная женщина являет, вероятно, меньшую опасность,

нежели женщина, облаченная в одежду, если последняя расположена так искусно, что, все скрывая, вместе с тем все выставляет напоказ. Из утонченности, многим женщинам недоступной, Диана, к великому удивлению маркизы, прибыла в сопровождении герцога де Мофриньез. Сразу же взвесив все, г-жа д'Эспар пожала княгине руку в знак понимания.

— Я вас разгадала! Заставляя д'Артеза принять все трудности сразу, вам не придется думать о них впоследствии.

Графиня де Монкорне приехала с Блонде. Растиньяк привез д'Артеза. Княгиня не сделала знаменитому человеку ни одного из тех комплиментов, какими докучали ему обычно, но ее предупредительность, полная изящества и уважения к нему, была для нее, вероятно, пределом внимательности. Так, несомненно, держалась она с королем Франции, с принцами. Казалось, она счастлива, что видит этого великого человека, и довольна тем, что искала знакомства с ним. Люди со вкусом, как княгиня, отличаются главным образом своим умением слушать, приветливостью, чуждой насмешки и представляющей в отношении вежливости то же, что добрые дела в отношении добродетели. Внимательность, с какой она слушала знаменитого писателя, льстила в тысячу раз больше, чем самые искусные похвалы. Маркиза просто, ничего не подчеркивая, представила их друг другу. За столом д'Артез сидел рядом с княгиней. Нисколько не подражая жеманницам, разыгрывающим преувеличенную воздержанность, она ела с прекрасным аппетитом и почла делом чести показать себя женщиной естественной, без всяких причуд. Она воспользовалась промежутком между двумя переменами, когда завязалась общая беседа, чтобы поговорить наедине с д'Артезом.

— Секрет удовольствия, которое я доставила себе знакомством с вами,— сказала княгиня,— заключается в желании узнать что-нибудь о вашем несчастном друге, погибшем за дело, чуждое нам; я ему многим обязана, но была лишена возможности высказать это и поблагодарить его. Князь де Кадиньян разделяет мои сожаления. Мне стало известно, что вы были одним из лучших друзей этого злополучного молодого человека. Ваша дружба с ним, такая искренняя и неизменная, послужила для

меня рекомендацией. И вы не найдете странным, что я захотела узнать все, что вы могли бы рассказать мне про этого дорогого для вас человека. Если я привержена изгнанной династии и придерживаюсь монархических взглядов, то все же не принадлежу к числу тех, кто считает невозможным, чтобы республиканец обладал благородным сердцем. Монархия и Республика — две единственные формы правления, не подавляющие высоких чувств.

— Мишель Кретьен был ангел, сударыня,— с волнением ответил Даниель.— Я не знаю среди героев древности человека выше его. Было бы заблуждением принимать его за одного из тех республиканцев с ограниченным кругозором, которые хотели бы восстановить конвент и все прелести Комитета общественного спасения; о нет, Мишель мечтал о швейцарской федерации для всей Европы. Признаем между нами, что после блистательного единоличного правления, особенно пригодного, как мне кажется, для нашей страны, лишь система Мишеля могла бы послужить к устранению войн в Старом Свете и переустройству общества на основах, совершенно отличных от той системы захватов, какая присуща феодальному миру. Поэтому республиканцы ближе всего подходили к его идеалам. Вот почему он стал на их сторону в июле и у Сен-Мерри. Мы сохранили с ним тесную дружбу, хотя наши взгляды нас совершенно разделяли.

— Вот наивысшая похвала вашим характерам,— застенчиво произнесла г-жа де Кадиньян.

— За последние четыре года своей жизни,— продолжал Даниель,— он мне одному говорил о своей любви к вам, и это признание еще более скрепило узы нашей дружбы, прочные и без того. Он один, сударыня, любил вас так, как вы того заслуживаете. Сколько раз мочил меня дождь, когда я вместе с ним сопровождал вашу карету до самого дома, состязаясь в скорости с лошадьми, уносившими вас, лишь бы не потерять вас из виду, смотреть на вас... любоваться вами!

— Но, сударь,— сказала княгиня,— я чувствую, что должна буду вознаградить вас.

— Отчего здесь нет Мишеля? — с глубокой грустью ответил Даниель.

— Он, вероятно, любил бы меня недолго,— сказала княгиня, печально наклонив голову.— Республиканцы в своих идеях еще менее признают уступки, чем мы, роялисты, склонные к снисходительности. Он, несомненно, наделял меня всеми совершенствами и был бы жестоко разочарован. Нас, женщин, преследует клевета, точно так же, как приходится сносить ее вам в литературной жизни, но мы не можем защитить себя ни славой, ни своими сочинениями. Нас принимают не такими, какие мы есть, а какими нас сделала молва. Ту, никем не разгаданную женщину, которая скрыта во мне, от него весьма скоро сумели бы заслонить лживым портретом женщины вымышленной, которая в свете сходит за настоящую. Он счел бы меня недостойной тех благородных чувств, какие он питал ко мне, и неспособной его понять.

Тут княгиня покачала головой, встряхнув своими чудными светлыми локонами, увитыми вереском, и в этом движении была божественная красота. Невозможно передать, сколько здесь выразилось скорбных сомнений и скрытых невзгод. Даниель понял все и с глубоким волнением смотрел на княгиню.

— Все же,— продолжала она,— в день, когда я его вновь увидела, спустя много времени после июльского мятежа, я чуть было не поддалась своему желанию взять его за руку, пожать ее перед всеми, под перистилем Итальянского театра и подарить ему свой букет. Но я подумала, что этот знак благодарности будет истолкован неверно, как и другие благородные поступки, называемые ныне безумствами госпожи де Мофриньез; я же никогда не смогу их объяснить, ведь по-настоящему знают меня лишь мой сын и бог.

Эти слова, сказанные на ухо собеседника так, чтобы они не дошли до слуха остальных гостей, с выражением, достойным самой ловкой актрисы, должны были проникнуть до сердца; они и достигли сердца д'Артеза. Все предназначалось не ему, знаменитому писателю,— она стремилась оправдать себя перед умершим. Ведь княгиню могли оклеветать, и потому она хотела знать, не омрачило ли что-либо ее образ в глазах того, кто ее любил. Сохранил ли он все свои иллюзии, умирая?

— Мишель,— ответил д'Артез,— был одним из тех мужчин, которые любят безраздельно и, если выбор их

плох, страдают от этого, но никогда не откажутся от своей избранницы.

— И он так любил меня? — воскликнула она, всем видом своим выказывая блаженство и восторг.

— Да, сударыня.

— И я составила его счастье?

— В течение четырех лет.

— Когда женщина слышит такие вещи, она не может не испытывать чувства удовлетворенной гордости,— сказала княгиня, повернув к д'Артезу свое нежное и благородное лицо, хранившее стыдливо-смущенное выражение.

Один из самых ловких приемов таких комедианток состоит в том, чтобы принимать сдержанный вид, когда слова слишком выразительны, и заставлять говорить глаза, когда речь недостаточна. Эти искусные диссонансы, проскальзывающие в музыке их ложной или подлинной любви, неотразимо обольстительны.

— Скажите,— продолжала она, еще более понизив голос и убедившись в силе впечатления, произведенного ею,— не значит ли это — исполнить свое назначение? Составить счастье великого человека, не став преступницей?

— Не писал ли он вам об этом?

— Да, но мне хотелось в этом убедиться, потому что — поверьте мне, сударь,— он не ошибался, когда ставил меня так высоко.

Женщины умеют придавать своим словам особую значительность, они вкладывают в них какой-то невыразимый трепет, который расширяет их смысл и сообщает им глубину; если впоследствии очарованный собеседник не может дать себе отчета в том, что он слушал, цель вполне достигнута, ибо в этом и заключено свойство красноречия. Будь княгиня в этот миг увенчана короной Франции, ее чело не было бы более величественным, чем сейчас под чудесной диадемой волос, поднятых в косах наподобие башни и украшенных вереском. Эта женщина, казалось, шествует по волнам клеветы, как шествовал Спаситель по водам Тивериады, облаченная в саван любви, точно ангел, озаренный своим сиянием. Ничто решительно не говорило об усилии над собой или о желании представиться женщиной возвышенной и любящей: все

было просто и естественно. Живой человек никогда не мог бы оказать княгине тех услуг, какие она извлекала из мертвого. Д'Артез, этот трудолюбивый отшельник, незнакомый со светом и отгороженный от него своими учеными трудами, поддался влиянию этого тона и этих слов. Он был под обаянием этих изысканных манер, он любовался совершенной красотой княгини, созревшей в несчастьях и умиротворенной уединением, он поклонялся столь редкостному сочетанию тонкого ума и возвышенной души. Ему захотелось овладеть наследством Мишеля Кретьена. И началом этой страсти послужила, как у большинства подлинных мыслителей,— идея. Наблюдая за княгиней, изучая ее профиль, ее нежные черты, стан, ногу, тонкий рисунок рук вблизи, а не на расстоянии, как это бывало прежде, когда он, сопутствуя своему другу, гонялся вместе с ним за ее каретой, он ощутил в себе дар двойного зрения — удивительное чувство, свойственное людям, которых воодушевляет любовь. С какой поразительной прозорливостью разгадал Мишель Кретьен сердце и душу княгини, осветив их пламенем любви! Значит, и приверженец идеи федерации был разгадан точно так же! И он был бы, несомненно, счастлив. Так княгиня приобрела в глазах д'Артеза великое очарование, ее окружил поэтический ореол. За обедом писатель вспоминал полные отчаяния признания республиканца и его надежды, когда он почел себя любимым; только перед ним изливал он славословия этой женщине, целые поэмы любви, внушенные истинным чувством. Даниель, сам того не зная, мог воспользоваться тем, что было подготовлено случаем. От роли наперсника к роли соперника человек редко переходит без угрызений совести, но д'Артез мог решиться на этот переход, не совершая преступления. В одно мгновение ему стала ясна огромная разница между женщинами высшего круга, этими цветами аристократического общества, и женщинами простыми, известными ему, впрочем, лишь по одному образцу. И он оказался захвачен врасплох в самых незащищенных, самых нежных тайниках своей души, своего таланта.

Требования света и преграда, которая воздвигнута была между д'Артезом и княгиней Кадиньян всем поведением Дианы и (не побоимся произнести это слово) ее

величием, мешали ему в его неистовом и простодушном желании овладеть этой женщиной. Для человека, не привыкшего уважать ту, кого он любил, было что-то притягательное в этом препятствии — приманка тем более могущественная, что, попавшись на нее, он уже не мог выдавать своих чувств. Разговор, вращавшийся до десерта вокруг Мишеля Кретьена, оказался превосходным предлогом как для Даниеля, так и для княгини, чтобы вести беседу вполголоса: темой этой беседы были любовь, взаимное влечение, прозрение души; она стремилась предстать перед ним в виде женщины непризнанной и оклеветанной, а он — поскорее занять место мертвого республиканца. Может быть, этот искренний человек почувствовал, что уже менее сожалеет о друге? К тому времени, когда на столе появились, сверкая при свете канделябров, чудеса десерта, прикрытые букетами из живых цветов, которые разделяли гостей блестящей изгородью, богато расцвеченной фруктами и сладостями, княгиня решила заключить этот ряд признаний пленительной фразой, сопровождаемой одним из тех взглядов, от которых глаза белокурой женщины кажутся темными, и выражавшей ту мысль, что души Даниеля и Мишеля были души-близнецы. После этого д'Артез примкнул к остальному обществу, выказав почти ребяческое оживление и приняв фатоватый вид, достойный школьника. Переходя из столовой в маленькую гостиную маркизы, княгиня непринужденно оперлась на руку д'Артеза. В большой гостиной она замедлила шаг и, когда от маркизы, шедшей с Блонде, ее отделило достаточное расстояние, остановила д'Артеза.

— Я не желаю быть недоступной для друга нашего бедного республиканца,— сказала она ему.— И хотя я взяла себе за правило никого не принимать, вам одному на свете я позволю ко мне заходить. Не думайте, что это одолжение. Одолжения существуют лишь между чужими, а мне кажется, что мы с вами старые друзья; я хочу видеть в вас брата Мишеля.

Д'Артез мог только пожать руку княгини, не находя иного ответа. Когда подали кофе, Диана де Кадиньян кокетливым движением завернулась в большую шаль и поднялась. Блонде и Растиньяк были достаточно тонкими людьми и слишком хорошо знали свет, чтобы позво-

лить себе выразить малейшее удивление или просить княгиню задержаться; но госпожа д'Эспар вновь усадила свою подругу, взяв ее за руку и сказав на ухо: «Подождите, пока пообедают слуги, карета еще не готова». И она сделала знак камердинеру, уносившему поднос с кофе. Г-жа де Монкорне поняла, что княгине и г-же д'Эспар нужно о чем-то переговорить наедине и, подозвав к себе д'Артеза, Блонде и Растиньяка, она заняла их одним из тех сумасбродных словесных турниров, в которых так искусны парижанки.

— Ну,— сказала маркиза Диане,— как вы его находите?

— Это очаровательное дитя, он только что вышел из младенчества. Право, и на этот раз предстоит, как всегда, победа без борьбы.

— Можно прийти в отчаяние,— сказала г-жа д'Эспар,— но есть средство.

— Какое?

— Позвольте мне стать вашей соперницей.

— Как вам угодно,— ответила княгиня,— я приняла решение. Талант есть свойство мозга, и я не знаю, каково тут участие сердца, об этом мы поговорим после.

Выслушав эту загадочную фразу, оставшуюся неразгаданной, г-жа д'Эспар вернулась к обществу, не подав и виду, что могла обидеться на это «как вам угодно», и не полюбопытствовала узнать, к чему приведет сегодняшняя встреча. Княгиня оставалась еще около часа, она сидела на козетке у огня в позе, преисполненной томности и непринужденности, какую Дидоне придал на своей картине Герен, слушала разговор гостей как человек, погруженный в размышления, взглядывала по временам на Даниеля, не скрывая восхищения, которое, впрочем, не выходило за пределы приличия. Как только подали карету, она исчезла, обменявшись рукопожатием с маркизой и кивнув головой госпоже де Монкорне.

В течение всего вечера не было речи о княгине. Гости наслаждались тем своеобразным возбуждением, в котором находился д'Артез, развернувший перед ними сокровища своего ума. Несомненно, в лице Растиньяка и Блонде он встретил достойных собеседников, не уступавших ему в широте взглядов. Что до обеих женщин,

они давно слыли самыми остроумными в высшем свете. Вечер оказался поэтому как бы отдыхом в оазисе, редкой удачей, которую вполне оценили эти люди, обычно стесненные приличиями света, требованиями салонов и политики. Существуют избранники, играющие среди людей роль благодатных светил, чей блеск освещает умы и чьи лучи согревают сердце. Д'Артез принадлежал к их числу. Писатель, достигший высот и там пребывающий, привыкает размышлять обо всем и порой забывает, что в свете нельзя всего говорить; ему невозможно обладать сдержанностью людей, постоянно бывающих в свете, но так как вольности, которые он позволяет себе, почти всегда отмечены печатью самобытности, никто на них не сетует. Эта свежесть, столь редкая в талантах, эта живость, исполненная простоты, сообщавшая облику д'Артеза столь благородную оригинальность, придали вечеру необыкновенное очарование. Д'Артез вышел вместе с бароном де Растиньяк, и тот проводил его домой. Разговор совершенно естественно зашел о княгине. Барон спросил д'Артеза, как понравилась ему княгиня.

— Мишель не случайно любил ее,— ответил д'Артез,— это необыкновенная женщина.

— Весьма необыкновенная,— насмешливо возразил Растиньяк.— По вашему голосу я слышу, что вы ее уже любите; не пройдет и трех дней, как вы будете у нее, и я достаточно знаю парижан, чтобы предвидеть, что между вами произойдет. Ну что ж! Я только умоляю вас, дорогой мой Даниель, не вмешивайте в ваши отношения своих денежных интересов. Любите княгиню, если чувствуете любовь к ней в вашем сердце, но помните о вашем состоянии. Она никогда ни у кого не взяла и не попросила ни одного лиара, для этого она слишком графиня д'Юкзель и слишком княгиня Кадиньян; но, насколько мне известно, помимо собственного состояния, весьма значительного, она растратила еще несколько миллионов. Как? Почему? Каким способом? Никто, да и она сама этого не знает. Я был, тринадцать лет назад, свидетелем того, как она за полтора года поглотила состояние одного премилого молодого человека и одного старого нотариуса.

— Тринадцать лет назад! — сказал д'Артез.— Сколько же ей лет?

— Вы разве не видели за столом ее сына, герцога де Мофриньез? — ответил, смеясь, Растиньяк.— Молодому человеку девятнадцать лет. А девятнадцать и семнадцать составляют...

— Тридцать шесть! — воскликнул пораженный писатель.— Я бы дал ей двадцать.

— Она возражать не будет,— сказал Растиньяк,— но не беспокойтесь на этот счет; в ваших глазах ей всегда будет двадцать лет. Вы войдете теперь в мир самый фантастический. Вот и ваш дом. Покойной ночи,— сказал барон, заметив, что карета въехала на улицу Бельфон, где находился красивый особняк д'Артеза,— мы увидимся на этой неделе у мадемуазель де Туш.

Д'Артез позволил любви проникнуть в свое сердце, следуя примеру нашего дяди Тоби, то есть не оказывая ей ни малейшего сопротивления; его обожание исключало критику, восхищение было беспредельным. Княгиня, это прекрасное создание, одно из самых замечательных творений чудовищного Парижа, где все возможно как в отношении добра, так и в отношении зла, сделалась для него,— как бы ни опошлили несчастья нашего времени это слово,— ангелом во плоти. Чтобы понять внезапное превращение, которое пережил этот знаменитый писатель, нужно знать, в каком состоянии невинности одиночество и постоянный труд оставляют сердце и насколько любовь, сведенная к простой потребности и ставшая в тягость от общения с низкой женщиной, развивает желания и мечты, возбуждает сожаления и порождает необычайные чувства в самых высоких сферах души. Д'Артез был в сущности мальчишка, школьник,— и это угадала проницательность княгини. Но почти такое же озарение совершилось в душе красавицы Дианы. Наконец-то она встретила человека незаурядного, о котором мечтают все женщины, пусть бы они и собирались сделать из него свою игрушку; авторитет, которому они согласны повиноваться, хотя бы ради удовольствия подчинить его себе; она нашла, наконец, исключительный ум, соединенный с непосредственностью сердца, которое еще не знало страсти; и, наконец, ей выпало необыкновенное счастье увидеть все эти богатства, заключенные в привлекательную форму. Д'Артез казался ей красивым, может быть даже он и был таким. Несмотря на то, что

он приближался к критическому для мужчины возрасту — ему было тридцать восемь лет,— д'Артез сохранил еще свежесть молодости благодаря умеренной и целомудренной жизни, которую он вел, и, как все кабинетные люди и государственные мужи, отличался лишь умеренной полнотой. В юные годы в нем находили некоторое сходство с молодым Бонапартом. Это сходство еще сохранялось, насколько человек с черными глазами и волосами густыми и темными может походить на этого голубоглазого и русоволосого монарха; пламенное и благородное честолюбие, ранее горевшее в глазах д'Артеза, теперь как бы смягчилось под влиянием успеха. Думы, отягчавшие раньше его чело, теперь расцвели, лицо, прежде худощавое, пополнело. Те желтые оттенки, которые в молодые годы нужда накладывала на его лицо, как отпечаток страстей, постоянно напрягающих свои силы в непрерывной и изнурительной борьбе, теперь сменились золотистыми тонами благополучия. Если вы внимательно вглядитесь в прекрасные лица античных философов, вы всегда подметите в них отклонения от совершенного типа человеческого лица, сглаженные, однако, привычкой к размышлению и постоянным спокойствием, столь необходимым для умственных занятий, и это определяет их своеобразие. Лица, наиболее полные тревоги, как лицо Сократа, приобретают в конце концов безмятежность почти божественную. Черты лица д'Артеза отличались величавой простотой и сочетались с выражением добродушия, детской непринужденности, трогательной благожелательности. Ему чужда была та, всегда лживая вежливость, которой люди самые воспитанные и самые любезные пользуются в свете, чтобы придать себе качества, зачастую у них отсутствующие, и которая оскорбляет тех, кого они ввели в заблуждение. Ему, жившему отшельником, случалось иногда нарушать правила света; но странности его никогда никого не оскорбляли, делая еще привлекательнее его приветливость,— свойство людей, богато одаренных, которые умеют скрыть свое превосходство, не противопоставляя себя окружающим, как Генрих IV, подставлявший свою спину детям, своим умом делившийся с глупцами.

Вернувшись к себе, княгиня точно так же не спорила с собой, как и д'Артез не защищался против ее чар.

Все для нее свершилось: она, при всем своем опыте и всем своем неведении, полюбила. Если она и задавала себе вопрос, то лишь для того, чтобы спросить, заслуживала ли она подобное счастье и чем угодила она небу, которое послало ей такого ангела. Она захотела быть достойной этой любви, ее увековечить, сделать ее навсегда своим достоянием и тихо окончить свою жизнь красивой женщины в смутно предвосхищаемом раю. Что до попыток сопротивляться, мелочных уступок, кокетства, она об этом даже не подумала. Занимало ее совершенно иное! Она поняла величие людей талантливых, угадала, что они не подчиняют избранных женщин обычным законам. Вот почему, в силу одного из тех мгновенных прозрений, какие свойственны женщинам с незаурядным умом, она решила уступить сразу, как только в нем заговорит желание. Насколько она по этой единственной встрече могла узнать характер д'Артеза, она подозревала, что желание это скажется не так быстро и даст ей время предстать той, кем она хотела, кем она должна была предстать в глазах такого божественного любовника.

Здесь начинается одна из тех неведомых комедий, что раздвигают наши представления о границах испорченности и разыгрываются в глубинах совести с участием двух существ, одно из которых становится жертвой обмана другого, одна из тех мрачных и комических драм, рядом с которой даже «Тартюф» — сущая безделица, однако же они не относятся к области сцены и оказываются вполне естественными, легко объяснимыми, как следствие необходимости, хотя все в них необыкновенно; это страшные драмы, которые следовало бы назвать изнанкой порока. Княгиня начала с того, что послала купить сочинения д'Артеза, так как не читала из них ни строки; и тем не менее она целых двадцать минут рассуждала с ним о них — и без единого промаха! Теперь она прочла все. Затем она захотела сравнить прочитанное с тем, что было лучшего в современной литературе. В день, когда д'Артез пришел навестить княгиню, голова ее была переутомлена усердным чтением. Готовясь каждый день к этому визиту, она облекалась в многозначительный наряд, наряд, выражающий мысль, с которой невольно соглашаются глаза, хотя бы оставались непонятыми

смысл его и цель. Взору представлялось гармоническое сочетание серых тонов, нечто вроде полутраура,— прелесть, полная непринужденности, одежда женщины, которую к миру, где она томится, привязывают лишь естественные узы, может быть, чувства матери. Все в ней говорило о каком-то отвращении к жизни, которое, впрочем, не доводило ее до самоубийства,— она как бы лишь заканчивала положенный ей срок земной каторги. Княгиня встретила д'Артеза, как женщина, ожидавшая его, и так, как будто он уже сто раз у нее бывал; она, оказывая ему честь, обращалась с ним, как со старым знакомым, и одним жестом ободрила его, указав на диванчик, где он мог сесть, пока она не закончит начатое письмо. Разговор завязался самым обыденным образом: говорили о погоде, о нынешнем кабинете, о болезни де Марсе, о надеждах легитимистского лагеря. Д'Артез был роялистом, княгиня не могла не знать образа мыслей человека, который заседал в палате в числе пятнадцати или двадцати депутатов, представлявших легитимистскую партию; она нашла повод рассказать, как она одурачила де Марсе; затем, коснувшись преданности господина де Кадиньяна королевской семье и сестре короля, она перешла к этой теме и привлекла внимание д'Артеза к князю.

— В его пользу говорят по крайней мере его любовь к своим покровителям и его преданность. Роль, которую он играет в обществе, утешает меня после сех страданий, что он причинил мне в нашей семейной жизни. Впрочем,— продолжала она, искусно оставляя разговор о князе,— разве вы, который знаете все, разве вы не замечали, что у мужчин бывает два обличия: одно — в домашнем быту, в обществе жены, в личной жизни, и это лицо — настоящее; тут нет ни маски, ни притворства, тут незачем прикидываться, они предстают такими, каковы они есть, и часто оказываются отвратительны; между тем люди посторонние, свет, салоны, двор, монарх, политические круги видят их великими, благородными, великодушными, в ризах добродетели, в убранстве красноречия, полными превосходнейших качеств. Какая злая шутка! И после этого иногда удивляются улыбке некоторых женщин, их пренебрежительному обращению с мужьями, их равнодушию...

Тут ее рука соскользнула с ручки кресла, и этот жест прекрасно дополнил ее недоконченную речь. Увидев, что д'Артез занят созерцанием ее гибкого стана, так красиво изогнувшегося в глубоком мягком кресле, любуется ее платьем и изящной маленькой складкой, игриво оттеняющей лиф,— одной из тех вольностей туалета, которые так идут к тонким фигурам, никогда не проигрывающим от нее, княгиня снова подхватила нить своих мыслей, точно она вела разговор сама с собой.

— Я не стану продолжать. Вы, писатели, добились того, что превратили в посмешище женщин, считающих себя непонятыми, неудачно вышедших замуж, разыгрывающих драмы и кокетничающих своими чувствами, что кажется и мне последней степенью мещанства. Надо либо склониться и покориться, тогда все этим сказано, либо противиться и забавляться. В обоих случаях следует молчать. Правда, я не сумела ни полностью покориться, ни до конца устоять; но, может быть, в этом заключалась еще более серьезная причина для молчания. Как бессмысленны жалобы женщин! Если женщины не оказались более сильными, значит, у них не хватило ума, такта, тонкости, и они заслуживают своей участи. Разве они не королевы Франции? Они потешаются над вами, как хотят, когда хотят и сколько хотят.

Она поиграла флакончиком с духами, и это движение было очаровательно, столько в нем таилось женской дерзости и насмешливой веселости.

— Я нередко слышала, как какие-то ничтожные создания досадовали на то, что они женщины, и желали быть мужчинами, а я всегда с сожалением смотрела на них,— продолжала она.— Если бы я могла выбирать, я все-таки предпочла бы остаться женщиной. Невелико удовлетворение от преимуществ, доставшихся благодаря силе и тому могуществу, которым вас наделяют вами же созданные законы. Но когда мы видим вас у наших ног, слышим вздор, который вы говорите, видим ваши безрассудные поступки, нет ли опьяняющего счастья в ощущении своей торжествующей слабости? Когда мы побеждаем, мы должны хранить молчание, под страхом утратить свою власть. Побежденные женщины также должны молчать из гордости: молчание раба приводит в ужас господина.

Весь этот милый вздор она говорила таким кротко насмешливым, таким нежным голосом, сопровождая его такими кокетливыми движениями головы, что д'Артез, совершенно незнакомый с подобными женщинами, сидел точно куропатка, завороженная взглядом охотничьей собаки.

— Прошу вас, сударыня,— сказал он наконец,— расскажите мне, как мужчина мог заставить вас страдать, и, право же, не сомневайтесь,— там, где всякая женщина была бы пошлой, вы останетесь непревзойденной, пусть вы даже и не обладаете таким даром речи, чтобы придать занимательность поваренной книге.

— Вы, кажется, проявляете торопливость на путях дружбы,— сказала княгиня со значительной интонацией, встревожившей д'Артеза и сделавшей его серьезным.

Разговор принял другое направление, становилось поздно. Бедный гений ушел, огорченный тем, что, проявив любопытство, задел это сердце, и веря в то, что эта женщина необычайно много вынесла.

Княгиня же всю свою жизнь провела в развлечениях и была настоящим Дон-Жуаном в юбке, с той единственной разницей, что не к ужину пригласила бы она статую командора и уж, конечно, с ней бы справилась.

Невозможно продолжать это повествование, ничего не сказав о князе де Кадиньяне, более известном под именем герцога де Мофриньез,— иначе пропадет вся соль чудесных выдумок княгини, и люди, чуждые этому миру, ничего не поймут в страшной парижской комедии, которую она собиралась разыграть ради мужчины.

Господин герцог де Мофриньез, настоящий сын своего отца, князя де Кадиньяна, был худ и высок, обладал самой элегантной внешностью, отличался обходительностью и умением говорить прелестные остроты; он сделался полковником по милости божьей, хорошим солдатом — по милости случая, проявляя, впрочем, свою храбрость, как поляк, по всякому поводу безрассудно и скрывая пустоту своего ума под прикрытием жаргона высшего общества. С тридцатишестилетнего возраста ему пришлось стать, как и господину его Карлу X, совершенно равнодушным к прекрасному полу; это было его наказанием

за то, что он, так же как и король, слишком умел нравиться в молодости. Кумир Сен-Жерменского предместья в продолжение восемнадцати лет, он, как и все наследники знатных родов, вел рассеянную жизнь, заполненную исключительно удовольствиями. Его отец, разоренный революцией, был восстановлен в должности по возвращении Бурбонов, получил управление одним из королевских дворцов, пенсии и оклады; однако, оставшись тем же знатным вельможей, как и до революции, старый князь очень быстро растратил это неверное состояние; суммы, полученные им после издания закона о возмещениях, поглотила роскошь, заведенная им в его огромном особняке, который он только и вернул из всего своего имущества и большую часть которого занимала его сноха. Князь де Кадиньян умер незадолго до Июльской революции в возрасте восьмидесяти семи лет. Он разорил свою жену и находился долгое время в натянутых отношениях с герцогом де Наварреном, который женился первым браком на его дочери и с которым он с большим трудом рассчитался. Герцог де Мофриньез находился в связи с герцогиней д'Юкзель. Около 1814 года, когда господину де Мофриньезу исполнилось тридцать шесть лет, герцогиня, зная, что он на отличном счету при дворе, выдала за него, несмотря на его бедность, свою дочь, владевшую рентой в пятьдесят или шестьдесят тысяч ливров, не считая того, что ей должно было достаться после герцогини. Таким образом, мадемуазель д'Юкзель стала герцогиней, и мать ее знала, что она в своей супружеской жизни будет, по всей вероятности, пользоваться значительной свободой. Герцог вскоре после неожиданного счастья, позволившего ему обзавестись наследником, предоставил жене полную свободу действий и стал развлекаться по разным гарнизонам, проводя зимы в Париже, делая долги, всегда оплачиваемые его отцом, придерживаясь, однако, полнейшей снисходительности в делах семейных, предупреждая герцогиню за неделю о своем возвращении в Париж, обожаемый в полку, любимый дофином, ловкий царедворец, немножко игрок, всегда, впрочем, непринужденный и простой; герцогиня так и не могла убедить его взять в любовницы певицу из оперы для соблюдения приличий и из уважения к ней, как шутливо говорила она. Герцог,

имевший право занять после отца его должность, сумел понравиться обоим королям — Людовику XVIII и Карлу X, доказав этим, что он умел извлекать пользу из самого своего ничтожества; однако и все его поведение, вся его жизнь были покрыты самым блестящим лаком; его обращение, благородство манер, осанка были безукоризненны, даже либералы его любили. Ему не удалось продолжить традицию Кадиньянов, знаменитых, по словам старого князя, тем, что они разоряли своих жен: ведь герцогиня сама поглотила свое состояние. Все эти обстоятельства были настолько хорошо известны в придворных кругах и в Сен-Жерменском предместье, что в последние пять лет Реставрации всякого, кто о них заговорил, подняли бы на смех, как если бы тот стал сообщать о смерти Тюренна или Генриха IV. Поэтому ни одна женщина не отзывалась об очаровательном герцоге иначе, как с похвалой: разве не был он безупречным в отношении жены, да и можно ли было мужчине относиться к своей супруге лучше, чем это делал Мофриньез, не предоставил ли он ей свободно распоряжаться ее состоянием и не защищал и не поддерживал ли он ее во всех обстоятельствах жизни? Из гордости, по доброте или из рыцарских чувств, но, как бы то ни было, господин де Мофриньез не раз спасал герцогиню в таких случаях, когда погибла бы всякая другая женщина, несмотря на все ее связи, на влияние старой герцогини д'Юкзель, герцога де Наваррена, ее свекра и тетки ее мужа. Ныне князь де Кадиньян считается одним из достойнейших представителей аристократии. Возможно, что верность в трудных обстоятельствах представляет одну из наиболее славных побед, какую царедворец может одержать над собой.

Герцогине д'Юкзель было сорок пять лет, когда она выдала свою дочь за герцога де Мофриньеза, поэтому она давно уже без ревности и даже с интересом следила за успехами своего прежнего друга. Отдавая свою дочь за него замуж, герцогиня вела себя с исключительным благородством, что смягчило безнравственность этой сделки. Все же недружелюбие придворных лиц и в этом нашло пищу для насмешки: утверждали, что замечательное поведение герцогини не дорого стоит, хотя прошло уже почти пять лет, как она сделалась набожной и

предавалась раскаянию наподобие тех женщин, которым нужно замолить много грехов.

С каждым днем княгиня проявляла все более и более замечательные познания в литературе. Благодаря чтению, которому она и днем и ночью предавалась с отвагой, достойной величайших похвал, она не боялась приступить к обсуждению и самых трудных вопросов. Д'Артез, пораженный этим, не был способен заподозрить Диану д'Юкзель в том, что она повторяет вечером прочитанное ею утром, как это делают многие писатели, и принимал ее за женщину высокого ума. Эти беседы удаляли Диану от ее цели, и она попыталась вернуться на почву признаний, столь осмотрительно покинутую ее возлюбленным; но, после того как она один раз отпугнула его, ей было нелегко заставить человека подобного склада вновь вернуться к ним. Все же после месяца этих литературных диспутов и красивых платонических диалогов д'Артез осмелел и стал приходить ежедневно в три часа. Он удалялся в шесть, чтобы вновь появиться вечером в девять, и с постоянством нетерпеливого любовника оставался до двенадцати или часа ночи. К тому времени, когда приходил д'Артез, княгиня бывала одета с большей или меньшей изысканностью. Взаимная верность, заботливость друг о друге — все в них обличало чувства, в которых они не смели признаться, ибо княгиня отлично угадывала, что этот взрослый младенец боялся объяснения столько же, сколько она его желала. Все же почтительность, облекавшая постоянные немые признания д'Артеза, невыразимо нравилась княгине. Они оба не могли не чувствовать, что сближение их с каждым днем усиливается, они ни о чем не условливались заранее и не предрешали ничего, что могло бы препятствовать развитию их отношений, как это случается между влюбленными, когда одна сторона выставляет строгие требования, а другая — оказывает сопротивление искреннее или только разыгранное из кокетства. Как и все неопытные люди в подобном положении, д'Артез был во власти волнующей нерешительности, вызванной силой желаний и страхом навлечь на себя неудовольствие. Когда молодая женщина разделяет эти чувства, она не в состоянии в них разобраться, но княгине и самой приходилось слишком часто вызывать их, что-

бы теперь она не наслаждалась прелестью возникшего положения. Диане бесконечно нравилось это восхитительное ребячество, имевшее в глазах ее тем большее очарование, что она прекрасно знала, как положить ему предел. Она походила на великого художника, нарочно задерживающегося над едва набросанным этюдом, в уверенности, что в минуту вдохновения он закончит картину, пока еще неясно вырисовывающуюся в его воображении. Не нравилось ли ей, заметив порыв д'Артеза, останавливать его, приняв величественную осанку? Она сдерживала тайные бури его юного сердца, вызывала и успокаивала их одним взглядом, протянув руку для поцелуя, или несколькими незначительными словами, произнесенными с волнением или нежностью в голосе. Благодаря этой искусной уловке, хладнокровно подготовленной и божественно разыгранной, она все глубже запечатлевала свой образ в душе этого незаурядного человека, которого ей нравилось превращать в младенца, доверчивого, простодушного, почти что глуповатого; стоило ей по-настоящему задуматься над этим, и она не могла не восхищаться его благородством, сочетаемым с такой невинностью. Эта игра, достойная опытной кокетки, незаметно привязывала ее самою к рабу. Наконец влюбленный Эпиктет вывел ее из терпения, и, уверившись, что она расположила его к величайшей доверчивости, она решила закрыть ему глаза повязкой самой непроницаемой.

Как-то вечером, когда пришел Даниель, княгиня сидела, облокотившись на маленький столик, и свет лампы как бы омывал ее красивую белокурую голову; она играла письмом, вертела его на скатерти. Дав д'Артезу как следует разглядеть этот листок, она его, наконец, сложила и спрятала за лиф.

— Что с вами? — сказал д'Артез.— Вы как будто чем-то встревожены?

— Я получила письмо от господина де Кадиньяна,— ответила она.— Как бы он ни был виноват передо мной, я, прочтя это письмо, все-таки подумала, что он в разлуке с семьей и с сыном, которого любит.

Эти слова, сказанные тоном самым задушевным, обличали ангельскую чувствительность. Д'Артез был растроган до последней степени. Любопытство любовника

едва ли не превратилось в любознательность психолога или литератора. Ему захотелось узнать, на какое величие души способна эта женщина, до каких пределов простирается ее дар всепрощения, и убедиться в том, что эти светские создания, обвиняемые в легкомыслии, в черствости сердца, себялюбии, могут быть ангелами. Голос его слегка дрожал, когда, вспомнив, что раз уж он пытался познать это небесное сердце и был отвергнут, он взял руку прекрасной Дианы, нежную, прозрачную руку с тонкими, точеными пальцами, и спросил:

— Не достаточно ли теперь окрепла наша дружба, чтобы вы могли рассказать мне о ваших испытаниях? Не потому ли вы задумались, что вспоминаются старые скорби?

— Да,— ответила она, и слово это прозвучало, как самая нежная нота, когда-либо извлеченная из флейты Тюлу.

Она снова погрузилась в задумчивость, и глаза ее заволоклись дымкой. Даниель, проникнутый торжественностью минуты, находился в тревожном ожидании. Фантазия поэта заставляла его видеть как бы облака, которые медленно рассеивались перед ним, раскрывая святилище, где ему предстояло лицезреть закланного агнца у ног господних.

— Так что же? — сказал он мягким и тихим голосом.

Диана взглянула на этого покорного просителя, затем потупила взор и опустила веки с видом самым целомудренным. Надо было быть чудовищем, чтобы заподозрить хоть тень лицемерия в том пленительном движении, каким лукавая княгиня вновь подняла свою очаровательную головку, еще раз пристально посмотрев в молящие глаза этого великого человека.

— Можно ли мне? И должна ли я? — промолвила княгиня, не удержавшись от жеста, в котором была нерешительность, и глядя на д'Артеза с такой божественной и мечтательной нежностью.— Мужчины так мало верят подобным вещам. И считают, что они не обязаны соблюдать тайну!

— Зачем же я здесь, если вы мне не доверяете? — воскликнул д'Артез.

— Ах, друг мой! — ответила она, вкладывая в этот возглас чудесный оттенок невольного признания.— Когда женщина привязывается на всю жизнь, разве она способна рассчитывать? Речь не о том, что я могла бы вам отказать (а в чем бы я могла отказать вам?), но о том, что бы вы стали думать обо мне, после того как я все открою. Пусть я вам расскажу, в каком страшном положении очутилась я в мои годы,— но что подумаете вы о женщине, которая обнажила перед вами скрытые язвы брака, продала вам чужие тайны? Тюренн сдержал слово, которое дал ворам,— так не вправе ли мои палачи ожидать и от меня такой же безукоризненной честности?

— Давали ли вы кому-нибудь слово?

— Господин де Кадиньян не счел нужным потребовать от меня соблюдения тайны. Так вы хотите больше, чем мою душу? О тиран! Вы желаете, чтобы я из-за вас поступилась своей честью,— сказала она, бросив д'Артезу такой взгляд, как будто это ложное признание было ей дороже жизни.

— Вы, стало быть, считаете меня за человека совершенно заурядного, если опасаетесь чего-либо дурного с моей стороны,— сказал д'Артез с плохо скрытой горечью.

— Простите меня, друг мой,— сказала она, взяв его руку в свои, разглядывая ее, с необычайной нежностью проводя по ней пальцами.— Я знаю, чего вы стоите. Вы рассказали мне всю вашу жизнь, она благородна, она прекрасна, она возвышенна, она достойна вашего имени; может быть, в ответ и я обязана поведать свою жизнь? Однако я боюсь упасть в ваших глазах, раскрыв тайны, которые относятся не только ко мне. К тому же вы, человек уединения и поэзии, вы, может быть, не поверите, что свет бывает так гнусен. Ах! Сочиняя ваши драмы, вы и не знаете, как далеко их превосходит то, что случается в семьях, по видимости самых дружных. Вы не представляете себе глубины иных несчастий, скрытых под блестящей видимостью!

— Я знаю все! — воскликнул он.

— Нет,— продолжала она,— вы ничего не знаете. Скажите, вправе дочь предать свою мать?

Услышав эти слова, д'Артез почувствовал себя так,

как человек, заблудившийся темной ночью в Альпах и заметивший при первом проблеске утра бездонную пропасть, над которой он занес ногу. Он с растерянным видом посмотрел на княгиню, ему стало холодно. Диана подумала, что и этот гений во власти предрассудка, но блеск его глаз ее успокоил.

— В конце концов вы почти что стали моим судьей,— сказала она, всем своим видом выражая отчаяние.— Я могу говорить, потому что каждый, кто оклеветан, имеет право доказывать свою невиновность. Меня обвиняли да и сейчас еще (если в свете вообще вспоминают бедную затворницу, покинувшую общество по его же настоянию!) обвиняют в таком легкомыслии, в стольких дурных вещах, что перед сердцем, которое готово мне дать приют, пусть будет мне позволено предстать в таком виде, в каком оно меня не отвергнет. Я всегда полагала, что попытки оправдываться только вредят, и поэтому считала недостойным объяснять свои поступки. Да и к кому я, впрочем, могла обратить свои слова? Такие тяжелые муки должно поверять лишь богу или кому-нибудь, кто близок к нему,— священнику либо своему второму я. Ну что ж, если мои тайны не будут лежать в вашей груди,— сказала она, положив руку на сердце д'Артеза,— как они находились здесь (тут она чуть прижала пальцами верх своего лифа), вы, стало быть, не великий д'Артез, и я ошиблась!

Слезу, увлажнившую глаза д'Артеза, Диана заметила сразу, но скользнула по ней взглядом так, что нельзя было и уловить движения ее зрачков. Так же проворны и четки движения кошки, хватающей мышь. Д'Артез, целых два месяца подчинявшийся строгому этикету, впервые посмел взять теплую и надушенную руку княгини, поднести ее к губам и покрыть ее всю, от кисти до ногтей, долгими поцелуями с таким утонченным сладострастием, что она, склонив голову, подумала, что по такому началу можно составить себе недурное мнение о литературе. Она решила, что любовь людей одаренных гораздо совершеннее, чем любовь фатов, светских людей, дипломатов и даже военных, не имеющих как будто другого занятия. Она была знатоком в таких вещах и успела убедиться в том, что характер любовника в известной мере проявляется в мелочах. Опытная женщи-

на может прочесть свое будущее по мельчайшей черточке, как Кювье умел сказать, разглядывая отпечаток лапы на камне: эта лапа принадлежала животному такого-то размера, рогатому или безрогому, плотоядному, травоядному, земноводному и т. д., насчитывающему столько-то тысяч лет. Не сомневаясь, что она встретит у д'Артеза столько же изобретательности в любви, сколько он проявлял ее в своей манере письма, она сочла необходимым поднять его на высшую ступень страсти и упования. Она быстро, великолепным жестом, говорившим о глубоком волнении, отдернула руку. Скажи она: «Довольно! Вы хотите, чтобы я умерла!» — это прозвучало бы менее энергически. Одно мгновение она еще глядела в упор в глаза д'Артеза, и в этом взгляде заключались и счастье, и стыдливость, и робость, и доверие, и томление, и смутное желание, и целомудрие девственницы. О! В эту минуту ей было всего лишь двадцать лет! Но не забывайте: чтобы подготовить эту забавную сцену обольщения, она прибегала к помощи всего своего поразительного искусства одеваться и теперь сидела в кресле, подобная цветку, готовому распуститься под первой лаской солнца. Лживая ли, искренняя ли, но она пьянила Даниеля.

Если позволительно выразить личное мнение, признаемся, что было бы восхитительно как можно дольше поддаваться такому обману. Конечно, Тальма на сцене нередко превосходил природу. Но не была ли и княгиня де Кадиньян самой великой актрисой своего времени? Этой женщине не хватало лишь внимательного зрительного зала. К несчастью, во времена, волнуемые политическими бурями, женщины скрываются,— им, как водяным лилиям, необходимы безоблачное небо и нежнейшие зефиры, чтобы расцвести перед нашим восхищенным взором!

Час настал, и Диана должна была опутать этого великого человека сетью заранее подготовленного, хитро сплетенного романа, а ему предстояло выслушать ее, как новообращенный первых веков христианства внимал наставлению апостола.

— Друг мой, моя мать, еще поныне живущая в Юкзеле, выдала меня замуж в семнадцать лет, в 1814 году (вы видите, какая я старая!), за господина де Мофриньё-

еза, не из любви ко мне, а из любви к нему. Это была ее благодарность человеку — единственному, кого она любила,— за все счастье, которое он ей дал. О! Не удивляйтесь такой чудовищной сделке, подобные ей встречаются часто. У многих женщин чувства любовницы сильнее материнских чувств, как большинство женщин бывает лучшими матерями, нежели женами. Эти два чувства, любовь и материнство, такие, какими их сделали наши нравы, очень часто борются между собой в сердце женщины, и если они не одинаково сильны, одно из них по необходимости умирает, благодаря чему некоторые исключительные женщины составляют славу нашего пола. Человек с вашим талантом должен это понимать, и если такое положение вещей поражает глупцов, оно не становится оттого менее истинным и — я разовью эту мысль дальше — объясняется различием характеров, темпераментов, привязанностей, положений. Например, я в эту минуту, после двадцати лет несчастий, разочарований, клеветы, тяжких невзгод, пустых развлечений, не бросилась бы я разве к ногам человека, который полюбил бы меня искренне и навсегда? И что же? Разве свет не осудит меня? А все-таки неужели двадцать лет страданий не оправдают тот десяток лет, который я еще проживу, оставаясь красивой, если я отдам их святой и чистой любви? Конечно, этого не будет, и я не настолько наивна, чтобы преуменьшать свои заслуги перед богом. Бремя палящей жары я несла в летний день до заката, я завершу свой подвиг и награду свою заслужу...

«Ангел!» — подумал д'Артез.

— Все же я никогда не питала неприязни к герцогине д'Юкзель за то, что она любила господина Мофриньеза больше, чем бедную Диану, которую вы перед собой видите. Мать моя видела меня очень мало, она меня забыла; но она дурно поступила со мною, как женщина с женщиной, а то, что дурно между женщинами, становится чудовищным в отношениях матери и дочери. Матери, подобные герцогине д'Юкзель, ведут такой образ жизни, что дочерей они вынуждены держать вдали от себя. Меня вывезли в свет лишь за две недели до моей свадьбы; можете судить о моей невинности! Я ничего не знала, я была неспособна разгадать тайные причины этого

союза. У меня было хорошее состояние: шестьдесят тысяч ливров годового дохода от лесных угодий в Ниверне, возле моего прекрасного замка д'Анзи,— революционеры забыли или не смогли его продать; господин де Мофриньез был обременен долгами. Если позднее я и узнала, что значит иметь долги, то в то время я, при моем незнании жизни, и не догадывалась об этом. Мое состояние помогло уладить дела моего мужа. Господину де Мофриньезу было тридцать восемь лет, когда я вышла за него замуж, но ему следовало бы считать прожитые годы один за два, как военные люди считают годы, проведенные в походах. О! Ему было семьдесят шесть лет! Мать моя и в сорок сохраняла еще свои притязания, и я подверглась двойной ревности. Как я жила десять лет?.. Ах! Если бы вы знали, что выстрадала эта бедная хрупкая женщина, возбудившая столько подозрений! Быть под охраной матери, ревнующей к своей дочери! Боже!.. Вам, пишущим драмы, никогда не придумать драмы такой мрачной, такой жестокой! Насколько я знаю литературу, драма представляет обычно последовательный ряд действий, речей, движений, устремляющихся к катастрофе; но то, о чем я вам рассказываю, самая страшная катастрофа, к тому же непрерывно длящаяся! Это какая-то лавина, упавшая на вас утром, обрушивающаяся на вас вечером и снова повторяющаяся на следующий день. Я холодею, рассказывая сейчас об этом, вспоминая о подземелье без выхода, холодном и темном, в котором я жила. Если уж все вам рассказать, то и рождение моего бедного сына, впрочем похожего на меня, как две капли воды... вас должно было поразить это сходство со мной? У него мои волосы, мои глаза, мой подбородок, мои зубы... И что же! Его рождение — случайность или следствие сговора моей матери и моего мужа. Я долго после свадьбы сохраняла невинность, мой муж покинул меня на следующий же день, и я сделалась матерью, не будучи женой. Герцогине нравилось держать меня как можно дольше в состоянии неведения, а у матери перед дочерью огромные преимущества, чтобы достигнуть такой цели. Я, бедное создание, выросшее в монастыре, подобное мистической розе, не имела представления о супружеской жизни, а позднее развитие позволило мне считать себя вполне счастливой; я радовалась

добрым отношениям и согласию в нашей семье. Наконец первые радости материнства совершенно отвлекли меня от мыслей о моем муже, который мне совсем не нравился и ничего не делал, чтобы стать мне приятным; радости эти были тем более сильными, что я не подозревала о других. Мне столько твердили об уважении, которое мать должна питать к себе самой! Впрочем, молодые девушки всегда любят *играть в маму*. Ребенок заменяет тогда куклу. Обладать в том возрасте таким дивным цветком, а ведь Жорж был чудо как хорош! Как тут можно думать о свете, когда наслаждаешься счастьем кормить маленького ангела и ходить за ним! Я обожаю детей, когда они совсем маленькие, беленькие и розовые. О! Я видела только своего сына, я жила только им, я не давала прислуге его одевать, раздевать, перепеленывать. Эти заботы, такие утомительные, когда у матери куча детей, были для меня лишь удовольствием. Но я не такая уж простушка, и как бы ни старались завязать мне глаза, через три или четыре года я стала понемногу прозревать. Можете себе представить, каково было мое пробуждение в 1819 году, через четыре года после свадьбы? «Братья-враги» — идиллия по сравнению с борьбой матери и дочери, если они поставлены в то положение, в каком оказались мы с герцогиней; тут я им обоим, ей и моему мужу, бросила вызов открытым кокетством, о котором заговорил весь свет... Бог весть как это случилось! Вы поймете, мой друг, что мужчины, из-за которых я была заподозрена в легкомыслии, имели для меня ценность кинжала, которым пользуются, чтобы ударить врага. Поглощенная мыслью о мщении, я и не замечала, что сама себя раню. Моя детская невинность мешала мне догадаться, что меня считают испорченным созданием, самой гадкой светской женщиной. Свет чрезвычайно глуп, чрезвычайно слеп, чрезвычайно невежествен; он проникает лишь в тайны, его развлекающие или удовлетворяющие его злорадству; но он закрывает глаза, чтобы не видеть вещи величественные и благородные. Все же мне кажется, что в то время и выражение моего лица и взгляды, которые я бросала, говорили о возмущенной невинности, у меня вырывались жесты, которые составили бы находку для большого художника. Наверно, балы озарялись бурями моего гнева, потоками моего пре-

зрения. Ненужная поэзия! Все эти возвышенные поэмы создаются лишь в миг возмущения, что охватывает нас в двадцать лет! Позднее, под гнетом усталости, уже не возмущаешься, порок более не поражает, становишься малодушным, всего пугаешься. А я? Что ж! Я неслась, неслась без оглядки! Мною была разыграна самая глупая роль на свете: я несла бремя преступлений, не получая выгоды от них. Мне доставляло такое удовольствие ронять себя в мнении общества! О! Я прибегала к детским хитростям. Я поехала в Италию с молодым безумцем и бросила его, как только он заговорил о любви; но когда я узнала, что он себя погубил ради меня (он совершил подлог, чтобы достать денег), я полетела его спасать. Моя мать и мой муж, знавшие про эти обстоятельства, держали меня в узде, словно расточительницу. На этот раз я обратилась к королю. Людовик XVIII, этот бессердечный человек, был тронут: он дал мне сто тысяч франков из своих личных средств. Так был спасен из пропасти, куда он бросился ради меня, маркиз д'Эгриньон, молодой человек, которого вы, может быть, встречали в обществе,— он в конце концов нашел весьма богатую невесту. Эта история, причина которой мое легкомыслие, заставила меня задуматься. Я увидела, что первая становлюсь жертвой своего мщения. Свет был на стороне моей матери, моего мужа, моего свекра, и они, казалось, потакали моим безумствам. Моя мать, знавшая, что я слишком горда, слишком благородна, слишком д'Юкзель, чтобы вести себя недостойно, пришла, наконец, в ужас от того зла, которое мне причинила. Ей было тогда пятьдесят два года, она покинула Париж и поселилась в Юкзеле. Теперь она раскаивается в своих ошибках и искупает их преувеличенной набожностью и безграничной привязанностью ко мне. Но в 1823 году она оставила меня одну с господином де Мофриньезом. О мой друг, вы, мужчины, не можете знать, что такое одряхлевший человек, пользовавшийся когда-то успехом. Каково жить с человеком, который привык к обожанию и, не находя у себя дома ни фимиама, ни кадильниц, умер для всего и от этого становится ревнив! Когда господин де Мофриньез стал принадлежать лишь мне, я захотела быть хорошей женой; но я натолкнулась на величайшие трудности: желчный характер, все при-

чуды бессилия, придирчивость ограниченности, тщеславие самодовольства, короче говоря, близость с этим человеком представляла самое томительное наказание в мире. Он обращался со мной, как с маленькой девочкой. Ему нравилось унижать по всякому поводу мое самолюбие, подавлять меня всей тяжестью своей житейской опытности, доказывать мне мое круглое невежество. Он оскорблял меня беспрерывно. Он сделал все, чтобы я его возненавидела, и дал мне право ему изменять; но все-таки три или четыре года меня обманывали мое сердце и желание поступать хорошо. А известно ли вам то гнусное слово, которое заставило меня совершить и другие безумства? Можете ли вы себе представить всю чудовищность светской клеветы? «Герцогиня де Мофриньез вернулась к своему мужу»,— говорили в свете. «Полноте! Она это сделала от развращенности, воскресить мертвого — это тоже торжество, только этого ей еще недоставало»,— так ответила моя лучшая подруга, та самая родственница, у которой я имела счастье встретить вас.

— Госпожа д'Эспар! — воскликнул Даниель, сделав брезгливый жест.

— О! Я ее простила, мой друг; к тому же это очень остроумно сказано, и я, может быть, сама повинна в эпиграммах, еще более жестоких по адресу женщин, столь же чистых, как и я сама.

Д'Артез вновь поцеловал руку этой святой женщины, которая, так ужасно обрисовав свою мать, сделав из князя де Кадиньяна, вам знакомого, архиопасного Отелло, стала затем наговаривать на себя, себя же во всем обвиняя, и все только для того, чтобы придать себе в глазах доверчивого писателя ту девственность, которой и самая ограниченная женщина пытается во что бы то ни стало прельстить своего любовника.

— Вы понимаете, друг мой, что мое возвращение в свет наделало шума, и я захотела, чтобы он более не затихал вокруг меня. Я выдержала новые схватки, нужно было завоевать свою независимость и обезопасить себя со стороны господина де Мофриньеза. Теперь я уже из иных побуждений вела рассеянный образ жизни. Чтобы рассеяться, чтобы не видеть подлинной жизни за жизнью фантастической, я блистала, я устраивала праздне-

ства, я разыгрывала принцессу и наделала долгов. Дома я забывалась сном усталости, потом снова возрождалась для света красивая, веселая, безрассудная; но в этой грустной борьбе фантазии с действительностью я разорилась. Мятеж 1830 года случился как раз тогда, когда я после этой жизни, подобной сказке из «Тысячи и одной ночи», встретила святую и чистую любовь, которую (я откровенна!) всегда мечтала познать. Согласитесь — не было ли это законным желанием для женщины, чье сердце, подавленное в силу стольких причин и событий, просыпается в такую пору, когда она чувствует себя обманутой, а видит вокруг себя столько женщин, счастливых в любви? О! Почему Мишель Кретьен держался так почтительно? И тут судьба посмеялась надо мной. Что можно сказать? В моем крушении я потеряла все, у меня не осталось никаких иллюзий; я отведала всех яств, кроме одного, но тут у меня уже нет более ни охоты, ни сил. Наконец, когда я оказалась вынужденной покинуть свет, он утратил для меня всякое очарование. В этом сказывается рука провидения, так же как и в той бесчувственности, что подготавливает нас к смерти (она сделала жест, выражавший благочестивое смирение). Все тогда послужило мне на пользу,— продолжала она,— бедствия, постигнувшие монархию, помогли мне похоронить себя под ее обломками. Мой сын служит мне во многом утешением. Материнская любовь заменяет нам все другие чувства, в которых мы обмануты! И свет еще удивляется моему затворничеству — а я в нем нашла блаженство. О! Если бы вы знали, как счастливо это бедное создание, которое вы видите перед собой! Жертвуя всем для моего сына, я забываю о радостях, неведомых мне и навсегда мне недоступных. Кто мог бы подумать, что жизненный опыт княгини де Каминьян сводится к одной неприятной брачной ночи, а все приключения, приписываемые ей,— к вызову, который она, девочка, бросила двум сердцам, объятым безобразной страстью? Да никто. Теперь же я всего боюсь. Я, без сомнения, оттолкну и настоящее чувство, чью-нибудь подлинную и чистую любовь, помня о стольких обманах, о стольких несчастьях, как богатые люди, обманутые плутами, которые притворились несчастными, отвергают добродетельную нужду из отвращения к благотвори-

тельности. Все это ужасно, не правда ли? Но поверьте мне, то, что я вам рассказываю,— судьба многих женщин.

Последние слова сказаны были тоном легким и шутливым, напоминавшим о том, что перед вами — женщина светская и насмешливая. Д'Артез был ошеломлен. В его глазах люди, посылаемые судьями на каторгу — иной за убийство, иной за кражу с отягчающими обстоятельствами, иной за подлог,— казались теперь почти святыми по сравнению со светскими людьми. Эта страшная элегия, выкованная в арсенале лжи и закаленная в водах парижского Стикса, была исполнена с неподражаемой правдивостью. Писатель несколько мгновений созерцал ее, эту очаровательную женщину, опустившуюся в кресло, с подлокотников которого свисали ее руки — точно две капли росы, готовые скатиться с лепестка розы; она, казалось, была подавлена сделанным признанием, удручена своим собственным рассказом о пережитых горестях — словом, являла вид скорбного ангела.

— Судите же,— молвила она, внезапно выпрямившись и подняв руку; глаза ее метали молнии, пылая негодованием в память о двадцати годах, исполненных мнимой добродетели,— судите, как должна была подействовать на меня любовь вашего друга! Но по ужасной насмешке судьбы... а быть может, бога... ведь тогда мужчина, но мужчина, достойный меня, сознаюсь вам, не встретил бы у меня сопротивления, настолько я жаждала счастья! И что же, он умер, умер, спасая жизнь — кому?.. господину де Кадиньяну! Не удивляйтесь же, если видите меня задумчивой...

То было последней каплей. Бедный д'Артез не выдержал: он встал на колени, он припал головой к рукам княгини, он плакал, проливая те тихие слезы, какие пролили бы ангелы, если бы они умели плакать. Так как голова его была опущена, г-жа де Кадиньян могла разрешить себе лукавую улыбку торжества, мелькнувшую на ее губах, улыбку, какую мы увидели бы у обезьяны, выполнившей сложный фокус, если бы обезьяны смеялись... «Ну, теперь он мой!» — подумала она.

И действительно, он принадлежал ей.

— Но ведь вы...— проговорил он, приподнимая свою красивую голову и глядя на нее влюбленными глазами.

— Дева и мученица,— подсказала она, улыбаясь пошлости этой старой шутки, но придавая ей чарующий смысл благодаря улыбке, полной жестокой веселости.— Если вы видите, как я смеюсь, то это потому, что я думаю о княгине, которую знают в обществе, о той герцогине де Мофриньез, которой приписывают и де Марсе, и этого гнусного Максима де Трай, политического разбойника, и ничтожного глупца д'Эгриньона, и Растиньяка, и Рюбампре, и послов, и министров, и русских генералов, и — как знать? — всю Европу! Этот альбом, составленный мной в убеждении, что люди, восхищавшиеся мной, мои друзья, вызвал так много толков. О! Это ужасно. Не могу понять, как это я допускаю, чтобы мужчина лежал у моих ног: презирать их всех я должна была бы, да, презирать!..

Она поднялась и величественной поступью направилась к нише окна.

Д'Артез вновь сел на скамеечку у камина, не смея последовать за Дианой; но, глядя на нее, он заметил, что она вынула платок, но не высморкалась. Да и станет ли сморкаться истинная княгиня? Диана пыталась сделать невозможное, чтобы заставить поверить в свою чувствительность. Д'Артез решил, что его ангел плачет, он бросился к ней, обнял ее, прижал к сердцу.

— Нет, оставьте меня,— сказала она шепотом, еле слышным,— меня слишком одолевают сомнения, для меня уже все кончено. Примирить меня с жизнью — это превыше человеческих сил.

— Диана! Я, я буду любить вас! Любить за всю вашу загубленную жизнь!

— Нет, не говорите со мной так,— ответила она.— Я дрожу, и мне сейчас так стыдно, как будто я виновата в самых тяжких грехах.

В эту минуту она казалась невинной девочкой, и все же была величественна, царственна, благородна, точно королева. Невозможно описать действие, которое эта игра, столь искусная, что она превращалась в чистую правду, производила на душу такого неискушенного и искреннего человека, как д'Артез. Великий писатель был нем от восхищения, он стоял в нише окна, не решаясь что-либо предпринять, ожидая хоть слова, меж тем как княгиня ожидала поцелуя; но он боялся оскорбить свое

божество. Когда ей стало холодно, она возвратилась на прежнее место и уселась в кресло; у нее мерзли ноги.

«Это протянется долго»,— думала она, глядя на Даниеля и всей своей позой, всей ясностью чела выражая недосягаемость добродетели.

«Да женщина ли она? — спрашивал себя этот вдумчивый наблюдатель человеческого сердца.— Как с ней быть?»

Они просидели до двух часов утра, разговаривая о всяких пустяках, которым женщины незаурядные, вроде княгини, умеют сообщить необыкновенное очарование. Диана настаивала на том, что она слишком опустошена, слишком стара, слишком принадлежит прошлому; д'Артез же доказывал ей, в чем она, впрочем, была совершенно убеждена и сама, что кожа у нее самая нежная, самая бархатистая, самая белоснежная, самая благоуханная, что она молода и ее красота в расцвете. Они болтали, переходя от одного пустяка к другому, от одной мелочи к другой, приблизительно так: «Вы это думаете?» — «Да вы с ума сошли».— «Вот что значит желание».— «Через две недели вы увидите меня такой, какая я есть».— «В конце концов я приближаюсь к сорокалетнему возрасту. Можно ли любить такую старую женщину?» Красноречие д'Артеза, пылкое и мальчишески неуклюжее, было уснащено самыми преувеличенными эпитетами. Слушая, как этот остроумный писатель изрекает армейские глупости, княгиня сидела с растроганным видом, словно боясь проронить слово, но в душе смеялась.

Когда д'Артез очутился на улице, он спросил себя, не следовало ли ему быть менее почтительным. Он перебрал в своей памяти все эти странные признания, нами сильно сокращенные по необходимости, так как понадобилась бы целая книга, чтобы изложить их полностью во всем их медоточивом изобилии и передать мимику, сопровождавшую их. Проницательность этого человека, столь безыскусственного и глубокого, была введена в заблуждение безыскусственностью романа, глубиною его и всем тоном княгини.

«Это верно,— говорил он сам с собою, будучи не в состоянии заснуть,— в свете происходят такие драмы; свет скрывает подобные ужасы под цветами своей изы-

сканности, под кружевом своего злословия, под остроумием своей болтовни. Но нам, кроме правды, ничего и не выдумать. Бедная Диана! Мишель предчувствовал ее загадку, он говорил, что под этим слоем льда скрыты вулканы! Бьяншон и Растиньяк правы: когда человек, полюбив женщину, чудесно воспитанную, умную, чуткую, может примирить вершины идеала и удовлетворенное желание, счастье его должно быть несказанно».— И д'Артез принимался измерять глубину своей любви и находил ее беспредельной.

На следующий день, около двух часов, г-жа д'Эспар, уже более месяца не видевшая княгини и не получившая от нее за это время ни строчки, приехала к ней, движимая чрезвычайным любопытством. Ничего не могло быть забавнее, чем первые полчаса беседы этих двух лукавых существ. Диана д'Юкзель не меньше боялась завести разговор о д'Артезе, чем надеть желтое платье. Маркиза кружила около этого вопроса, как бедуин около богатого каравана. Диана забавлялась, маркиза досадовала. Диана выжидала, она хотела заставить служить себе свою подругу, сделать из нее свою гончую собаку. Из этих двух женщин, столь знаменитых в современном обществе, одна была сильнее другой. Княгиня стояла на голову выше маркизы, и та внутренне признавала это превосходство. В этом, быть может, и заключался секрет их дружбы. Более слабая прикрывалась своей лицемерной привязанностью, чтобы подстеречь час, так долго ожидаемый всеми слабыми, когда можно схватить сильного за горло и оставить на его теле след укуса, нанесенного с веселым сердцем. Диана это понимала. Весь свет был введен в заблуждение нежностями этих двух подруг. В ту минуту, когда княгиня почуяла, что приятельница вот-вот задаст вопрос, она сказала ей:

— Итак, моя дорогая, вам обязана я счастьем огромным, совершенным, бесконечным, божественным.

— Что вы хотите сказать?

— Помните, о чем мы три месяца тому назад говорили в этом садике на скамейке под кустом жасмина, греясь на солнце? О! Любить умеют только истинные таланты. К моему великому Даниелю д'Артезу я рада применить слова, сказанные герцогом д'Альбой Екатери-

не Медичи: «Голова одного лосося дороже голов всех лягушек».

— Теперь меня более не удивляет, что вы совсем исчезли,— сказала г-жа д'Эспар.

— Обещайте мне, мой ангел, не говорить ему ни слова про меня, если вы его увидите,— сказала княгиня, взяв маркизу за руку.— Я счастлива! О, счастлива свыше всякой меры, а вы знаете, что могут сделать в свете одно-единственное слово, одна шутка! В слово умеют вложить столько яда, что оно убивает! Если бы вы знали, как всю последнюю неделю я желала подобной страсти и для вас! Как сладко для нас, женщин, особенно после столь долгих исканий, закончить свою жизнь таким великолепным торжеством, опочить в любви пылкой, чистой, преданной, полной, цельной.

— Почему вы просите, чтобы я хранила верность лучшей моей подруге? — сказала г-жа д'Эспар.— Так вы считаете меня способной на злую шутку?

— Когда женщина владеет таким сокровищем, естественная боязнь его утратить внушает мысли, полные страха. Я говорю нелепости, дорогая, простите меня.

Через несколько минут маркиза ушла, и, глядя ей вслед, княгиня сказала про себя: «Как же она меня отделает! Уж лучше бы она сказала про меня все. Но чтобы ее избавить от труда похищать Даниеля, я ей пришлю его».

Почти сразу же — было три часа — пришел д'Артез. В середине занимательной беседы княгиня остановила его на полуслове и положила свою прекрасную руку на его рукав.

— Простите, друг мой,— сказала княгиня, прерывая его,— я могу забыть, а это, хоть и может показаться пустяком, имеет первостепенное значение. Вы не были у госпожи д'Эспар с того дня, стократ благословенного, когда я вас встретила у нее; сходите к ней, не ради себя, не из вежливости, но для меня. Возможно, что она из-за вас сделалась моим врагом, ежели случайно узнала, что с тех пор, как мы у нее обедали, вы почти не покидали моего дома. К тому же, мой друг, я бы не желала, чтобы вы пренебрегали вашими светскими связями, занятиями и трудами. В том опять бы нашли повод оклеветать меня. Да и чего не скажут? Что я вас держу на привязи, я одна

занимаю ваши мысли, я боюсь сравнений, я хочу, чтобы еще раз все заговорили обо мне, я принимаю все меры, чтобы не упустить своей победы,— ведь я знаю, что она последняя. Кто может отгадать, что вы мой единственный друг? Если вы любите меня так, как говорите, вы заставите свет поверить в то, что мы только брат и сестра. Вернемся же к нашему разговору.

Необычайная мягкость жестов, с какой эта очаровательная женщина поправляла на себе наряд, чтобы и в падении сохранить все свое изящество, навсегда покорила д'Артеза. Было что-то невыразимо тонкое и чуткое во всем ее обращении, трогавшее его до слез. Княгиня нисколько не подходила под мерку тех расчетливых мещанок, которые слишком мелочны, чтобы уступить сразу, до конца она проявляла величие беспримерное; ей не было надобности этого говорить — союз их был решен без всяких сделок. Время ему осуществиться — не вчера, не завтра, не сегодня, а тогда, когда оба они этого захотят, и не будет здесь бесчисленных покровов, какими женщины заурядные любят окутать то, что они называют «*принесенной жертвой*»; они, конечно, знают, сколько они должны потерять, меж тем как для женщин, уверенных, что они проиграть не могут, это праздник, где они торжествуют. В ее словах все было смутно, как обещание, сладостно, как надежда, и вместе с тем внушало уверенность, как обретенное право. Сказать ли? Подобное величие — удел лишь самых выдающихся и изощренных обманщиц, которые сохраняют свою царственность там, где другие женщины становятся покорными. Тут д'Артезу представилась возможность измерить расстояние между теми и другими. Княгиню никогда не покидали ее величественность и красота. Тайна подобного благородства заключается, может быть, в искусстве, с каким знатные дамы умеют отбрасывать покровы, и тут они походят на античные статуи: сохрани они хотя бы один лоскут, они показались бы бесстыдными. Мещанки же всегда стараются закутаться.

Вдохновляемый нежностью, исполненный самых прекрасных и добродетельных намерений, д'Артез послушался ее и отправился к г-же д'Эспар, ради него пустившей в ход все обольстительные чары своего кокетства. Маркиза остерегалась хоть единым словом обмолвиться

д'Артезу о княгине и лишь пригласила его к обеду в один из ближайших дней.

В этот день д'Артез оказался в многолюдном обществе. Маркиза пригласила Растиньяка, Блонде, маркиза д'Ажуда-Пинто, Максима де Трай, маркиза д'Эгриньона, обоих Ванденесов, дю Тийе, одного из самых богатых банкиров Парижа, барона Нусингена, Натана, леди Дэдлей, двух самых коварных атташе посольств и кавалера д'Эспар, одного из самых глубокомысленных персонажей этого салона, главного пособника своей невестки в ее сложной политике.

Максим де Трай, смеясь, спросил д'Артеза:

— Вы часто видите княгиню де Кадиньян?

В ответ на этот вопрос д'Артез сухо кивнул головой. Максим де Трай был светским кондотьером, без стыда и чести, способным на все, он разорял женщин, привязавшихся к нему, заставлял их закладывать для него свои бриллианты, но свое поведение умел маскировать благодаря лоску, обаятельным манерам и сатанинскому уму. Он внушал всем равно и страх и презрение, но так как ни у кого не хватало смелости порицать его и всюду его встречала самая отменная учтивость, то он не мог ничего заметить либо делал вид, что ни о чем не догадывается. Графу де Марсе он был обязан тем предельно высоким положением, на какое он только мог притязать. Де Марсе, издавна знавший Максима, счел его способным для кое-каких секретных дипломатических поручений, которые он и давал ему: тот всегда исполнял их превосходно. Д'Артезу в последнее время достаточно приходилось иметь дело с политикой, и он не мог не знать насквозь эту личность, однако у него одного хватало мужества громко выражать то, что другие только думали про себя.

— *Это, ферно, из-за ней ви забиль палата,*— сказал барон Нусинген.

— Ах! княгиня — одна из самых опасных женщин, с какими только рискует познакомиться мужчина,— осторожно заметил маркиз д'Эгриньон,— я ей обязан позором моей женитьбы.

— Опасная? — сказала г-жа д'Эспар.— Не говорите так о моей лучшей подруге. О княгине я всегда слышала и знаю только такие вещи, которые говорят о чувствах самых возвышенных.

— Пусть выскажется маркиз,— воскликнул Растиньяк.— Когда красивая лошадь сбрасывает седока, тот обнаруживает у нее всякие недостатки и продает ее.

Задетый этой шуткой, маркиз д'Эгриньон посмотрел на Даниеля д'Артеза и сказал ему:

— Надеюсь, отношения господина д'Артеза с княгиней не зашли так далеко, чтобы разговор о ней оказался неуместным.

Д'Артез промолчал. Д'Эгриньон, не лишенный остроумия, в ответ Растиньяку набросал в самых хвалебных словах портрет княгини, развеселивший гостей. Так как значение насмешек ускользало от д'Артеза, он наклонился к своей соседке, г-же де Монкорне, и спросил ее о смысле этих шуток.

— Кажется, за исключением вас, если судить по вашему доброму мнению о княгине, все приглашенные, говорят, пользовались ее благосклонностью.

— Могу вас заверить, что в этом суждении нет ни капли истины,— ответил Даниель.

— Но вот вам господин д'Эгриньон, першеронский дворянин, который тому двенадцать лет совершенно разорился для нее и чуть не попал на эшафот.

— Я об этом знаю,— сказал д'Артез.— Госпожа де Кадиньян спасла д'Эгриньона от суда присяжных, и вот как он сегодня благодарит ее.

Госпожа де Монкорне посмотрела на д'Артеза, почти растерявшись от любопытства и удивления, затем перевела взгляд на г-жу д'Эспар и сделала ей знак, словно говоря: «Да его околдовали!»

Во время этого короткого разговора г-жа д'Эспар защищала г-жу де Кадиньян, но защиту ее можно было уподобить громоотводам, притягивающим молнию. Когда д'Артез вновь прислушался к общему разговору, он услышал, как Максим де Трай произнес следующее изречение:

— У Дианы развращенность не следствие, а причина; может быть, ей она и обязана своими очаровательными качествами; она не ищет, ничего не выдумывает; самые утонченные выдумки она умеет выдать за вдохновение простодушной любви, и вы не в силах не поверить ей.

Эта резкая фраза, точно предназначенная для человека силы д'Артеза, прозвучала как приговор. Все от-

вернулись от княгини, казалось, она уже уничтожена. Д'Артез насмешливо посмотрел на г-на де Трай и г-на д'Эгриньона.

— Самая большая вина этой женщины,— сказал он,— заключается в том, что она идет по стопам мужчин. Подобно им, она расточает состояния, принадлежащие женам, заставляет своих любовников обращаться к ростовщикам, присваивает приданые, разоряет сирот, продает с молотка старые замки, внушает и, может быть, совершает преступления, но...

Никогда еще ни одному из двух лиц, которым отвечал д'Артез, не приходилось слышать такой отповеди. Последнее «но» поразило всех обедавших, вилки замерли в воздухе, глаза попеременно устремлялись то на мужественного писателя, то на обвинителей княгини; все в зловещем молчании ждали развязки.

— Но,— сказал д'Артез с насмешливой легкостью,— у княгини де Кадиньян есть перед мужчинами одно преимущество: если кто-либо для нее подвергся опасности, она его спасает и ни о ком не говорит дурно. Почему бы среди всех женщин не найтись одной, которая позабавилась бы за счет мужчин, как мужчины забавляются за счет женщин? Почему бы прекрасному полу время от времени не платить им той же монетой?

— Гений сильнее остроумия,— сказал Блонде Натану.

Этот поток эпиграмм был в самом деле, как огонь батареи, отвечающий пальбе из ружей. Тему разговора поспешно переменили. Ни граф де Трай, ни маркиз д'Эгриньон не были как будто расположены искать ссоры с д'Артезом. Когда подали кофе, Блонде и Натан подошли к писателю с поспешностью, которой никто не посмел последовать: настолько было трудно совместить восторг, вызванный его поведением, со страхом нажить себе двух могущественных врагов.

— Сегодня мы не впервые убеждаемся в том, что ваш характер в благородстве не уступает вашему таланту,— сказал Блонде.— Вы здесь вели себя не как человек, а как бог: не дать себя увлечь ни своему сердцу, ни своему воображению; не встать на защиту любимой женщины, когда от вас ждали этой ошибки, а она дала бы возможность торжествовать всем этим людям, снедаемым зави-

стью к литературной славе... О! — позвольте мне сказать — это верх житейской дипломатии.

— Вы поистине государственный человек,— сказал Натан.— Отомстить за женщину, в то же время и не защищая ее,— это не только трудно, но требует величайшего искусства.

— Княгиня — одно из главных лиц в легитимистской партии, так не является ли ее защита при любых обстоятельствах долгом каждого порядочного человека? — холодно ответил д'Артез.— То, что ею сделано для своих государей, могло бы извинить жизнь самую рассеянную.

— Он не открывает своей игры,— сказал Натан Эмилю Блонде.

— Словно княгиня этого стоит,— ответил присоединившийся к ним Растиньяк.

Д'Артез отправился к княгине, ожидавшей его с живейшей тревогой. Исход этого испытания, которому Диана сама способствовала, мог оказаться для нее роковым. Первый раз в жизни сердце этой женщины страдало, и она была как в лихорадке. Она не знала, на что решиться, если д'Артез поверит свету, который говорил правду, а не ей, которая лгала; ведь никогда еще не приходилось ей встречать характер столь прекрасный, человека такого цельного, душу столь открытую, совесть столь незапятнанную и держать все это в своих руках. Только желание познать истинную любовь заставило ее сплести всю эту чудовищную ложь. Княгиня чувствовала, как эта любовь восходит в ее сердце, она уже любила д'Артеза; но она была обречена его обманывать, ибо хотела быть для него всегда бесподобной актрисой, разыгравшей перед ним весь спектакль. Услышав шаги Даниеля в столовой, она вздрогнула, и ее волнение достигло высшего предела. За всю свою жизнь, полную приключений, опасных для женщины ее круга, она еще не испытывала такого смятения и поняла теперь, что ставила на карту свое счастье. Глаза ее, обращенные в пространство, сразу оглядели д'Артеза; она видела его насквозь, она читала в его сердце; подозрение, подобное летучей мыши, даже не задело его своим крылом. И тогда у нее отлегло от сердца, радость едва не задушила Диану, счастье охватило ее; ведь нет такого существа, у которого не оказа-

лось бы больше сил перенести горе, чем устоять в великой радости.

— Даниель, меня оклеветали, и ты за меня отомстил! — воскликнула она, поднявшись ему навстречу и открывая свои объятия.

Д'Артез стоял, глубоко пораженный этими словами, корни которых оставались для него скрытыми, пока княгиня не протянула к нему свои прелестные руки, не взяла его за голову и целомудренно поцеловала в лоб.

— Как могли вы узнать?..

— О мой простодушный гений! Да разве ты не видишь, что я тебя люблю безумно?

С этого дня разговоры о княгине де Кадиньян и о д'Артезе прекратились. Княгиня получила в наследство от своей матери некоторое состояние, каждое лето она проводит на вилле в Женеве вместе с великим писателем и возвращается зимой на несколько месяцев в Париж. Д'Артез показывается только в палате, и его произведения появляются чрезвычайно редко. Развязка ли это? Да, с точки зрения людей умных; нет, для тех, кто хочет все знать.

Жарди, июнь 1839.

ФАЧИНО КАНЕ

Я жил тогда на маленькой улице, вряд ли известной вам,— улице Ледигьер; она начинается от улицы Сент-Антуан, против фонтана, что неподалеку от площади Бастилии, и примыкает к улице Серизе. Любовь к науке загнала меня в мансарду, где я занимался по ночам,— дни я проводил в соседней Королевской библиотеке. Я соблюдал строгую воздержанность; добровольно подчинясь уставу монашеской жизни, столь необходимой для труженика, я лишь изредка в погожие дни позволял себе недолгую прогулку по бульвару Бурдон. Одна-единственная страсть порою отвлекала меня от усидчивых занятий, но, впрочем, и она была вызвана жаждой познания. Я любил наблюдать жителей предместья, их нравы и характеры. Одетый так же плохо, как и рабочие, равнодушный к внешнему лоску, я не вызывал в них отчужденности; я мог, затесавшись в какую-нибудь кучку людей, следить за тем, как они нанимаются на работу, как они спорят между собой, когда трудовой день кончен. Моя наблюдательность приобрела остроту инстинкта: не пренебрегая телесным обликом, она разгадывала душу — вернее сказать, она так метко схватывала внешность человека, что тотчас проникала и в его внутренний мир; она позволяла мне жить жизнью того, на кого была обращена, ибо наделяла меня способностью отождествлять с ним себя самого, так же как дервиш из «Тысячи и одной ночи» принимал образ и подобие тех, над кем произносил заклинания.

Когда, бывало, в двенадцатом часу ночи мне встре-

чался рабочий, возвращавшийся с женой из «Амбигю-комик», я с увлечением провожал их от бульвара Понт-о-Шу до бульвара Бомарше. Сначала эти простые люди говорили о пьесе, которую только что видели, а затем, постепенно, переходили к своим житейским делам; иногда мать тащила за руку ребенка, не слушая ни его жалоб, ни его просьб; супруги подсчитывали, сколько денег им следует получить на другой день, и заранее — то так, то этак — распределяли их на свои нужды. Все это сопровождалось подробностями домашнего быта, жалобами на непомерную дороговизну картофеля, на то, что зима нынче такая долгая, что торф все дорожает, резкими напоминаниями о том, что столько-то задолжали булочнику; в конце концов разгорался спор — и не на шутку; каждый из супругов проявлял свой характер в красочных выражениях. Слушая этих людей, я приобщался к их жизни; я ощущал их лохмотья на своей спине; я сам шагал в их рваных башмаках; их желания, их потребности — все передавалось моей душе, или, вернее, я проникал душою в их душу. То был сон наяву. Вместе с ними я негодовал против хозяев, которые их угнетали, против бессовестных заказчиков, которые не платили за работу и заставляли понапрасну обивать пороги. Отрешаться от своих привычек, в каком-то душевном опьянении преображаться в других людей, играть в эту игру по своей прихоти было моим единственным развлечением. Откуда у меня такой дар? Что это — ясновидение? Одно из тех свойств, злоупотребление которыми может привести к безумию? Я никогда не пытался определить источник этой способности; я обладаю ею и применяю ее — вот и все. Вам достаточно знать, что уже в ту пору я расчленил многоликую массу, именуемую народом, на составные части и исследовал ее так тщательно, что мог оценить все ее хорошие и дурные свойства. Я уже знал, какие богатые возможности таит в себе это предместье, этот рассадник революций, выращивающий героев, изобретателей-самоучек, мошенников, злодеев, людей добродетельных и людей порочных — и все они принижены бедностью, подавлены нуждой, одурманены пьянством, отравлены крепкими напитками. Вы не можете представить себе, сколько неведомых приключений, сколько забытых драм в этом городе скорби! Сколько страшных и прекрасных

событий! Воображение не способно угнаться за той жизненной правдой, которая здесь сокрыта, доискаться ее никому не под силу; ведь нужно спуститься слишком низко, чтобы напасть на эти изумительные сцены, трагические или комические, на эти чудеснейшие творения случая. Право, не знаю, почему я так долго таил про себя историю, которую сейчас изложу вам,— она входит в число диковинных рассказов, хранящихся в том мешке, откуда причуды памяти извлекают их, словно лотерейные номера; у меня еще много таких рассказов, столь же необычайных, как этот, столь же тщательно запрятанных; но, верьте мне, их черед тоже настанет.

Однажды женщина, приходившая ко мне для домашних услуг, жена рабочего, попросила меня почтить своим присутствием свадьбу ее сестры. Чтобы вы поняли, какова могла быть эта свадьба, нужно вам сказать, что я платил два франка в месяц этой бедняжке, которая приходила каждое утро оправлять мою постель, чистить платье и башмаки, убирать комнату и готовить завтрак; остальную часть дня она вертела рукоять какой-то машины и за эту тяжелую работу получала полфранка в день. Ее муж, столяр-краснодеревщик, зарабатывал в день четыре франка. Но они едва перебивались своим честным трудом, так как у них было трое детей. Я никогда не встречал людей более порядочных, чем эти супруги. Когда я переехал в другую часть города, тетушка Вайян в продолжение пяти лет приходила поздравлять меня с именинами и всякий раз дарила мне букет цветов и апельсины,— а ведь у нее никогда не водилось лишних десяти су! Нужда сблизила нас. Я мог отдарить ее только десятью франками, которые мне иной раз приходилось занимать ради этого случая. Отсюда понятно, почему я обещал прийти на свадьбу,— мне хотелось приобщиться к радости этих бедных людей.

Празднество, ужин — все происходило у трактирщика на улице Шарантон, в просторной комнате второго этажа, освещенной лампами с жестяными рефлекторами, понизу оклеенной до половины человеческого роста засаленными обоями; вдоль стен были расставлены деревянные скамьи. В этой комнате человек восемьдесят, принаряженные по-воскресному, украшенные букетами и лентами, с раскрасневшимися лицами, плясали, одер-

жимые духом народных гуляний,— плясали так, словно наступало светопреставление. Новобрачные, ко всеобщему удовольствию, то и дело целовались под возгласы: «Так, так! Славно, славно!» — возгласы игривые, но, бесспорно, менее непристойные, чем бывает брошенный украдкой взгляд иной благовоспитанной девицы. Весь этот люд выражал грубую радость, обладавшую свойством передаваться другим.

Но ни расположение духа собравшихся, ни само празднество — ничто из всего этого не имеет прямого отношения к моему рассказу. Запомните только причудливую рамку: представьте себе как можно отчетливее плохонькое, выкрашенное в красный цвет помещение, ощутите запах вина, прислушайтесь к этим радостным крикам, сроднитесь с этим предместьем, с этими рабочими, стариками, жалкими женщинами, которые на одну ночь всецело отдались веселью!

Оркестр составляли три слепца из «Приюта трехсот». Первый был скрипач, второй — кларнетист, третий играл на флажолете. За ночь им платили семь франков. За эту цену они, разумеется, не исполняли ни Россини, ни Бетховена. Они играли что хотели и как умели, и никто не попрекал их — трогательная чуткость! Их музыка так резала слух, что я, окинув взглядом собравшихся, внимательнее присмотрелся к музыкантам и, узнав их форменную одежду, сразу стал снисходителен.

Все трое сидели в оконной нише, и, чтобы различить их лица, нужно было подойти вплотную; я сделал это не сразу, но как только я приблизился, все изменилось: свадебный пир и музыка исчезли. Я ощутил сильнейшее любопытство, ибо моя душа вселилась в тело кларнетиста. У скрипача и у флажолетиста были самые обыкновенные лица — хорошо знакомые всем лица слепых, настороженные, сосредоточенные, серьезные; но лицо кларнетиста принадлежало к числу тех, которые сразу привлекают внимание художника и философа.

Представьте себе под копной серебристо-белых волос гипсовую маску Данте, озаренную красноватым отблеском масляной лампы. Горькое, скорбное выражение этой могучей головы еще усугублялось слепотой, ибо мертвые глаза оживляла мысль; они как бы струили огненный

свет, порожденный желанием — единым, всепоглощающим, резко запечатленным на выпуклом лбу, который бороздили морщины, подобные расселинам древней стены. Старик дул в кларнет наудачу, нимало не считаясь ни с мелодией, ни с ритмом; его пальцы безотчетно скользили вверх и вниз, привычным движением нажимая ветхие клапаны; он, ничуть не стесняясь, то и дело «давал гуся», как говорят музыканты в оркестрах; танцующие так же не замечали этого, как и оба товарища моего итальянца (мне хотелось, чтобы старик был итальянцем, и он был им!). Что-то величественное и деспотически-властное чувствовалось в этом престарелом Гомере, таившем в себе некую «Одиссею», обреченную на забвение. Величие его было столь ощутимо, что заставляло забывать его унижение, властность — столь живуча, что торжествовала над его нищетой. Все бурные страсти, которые приводят человека к злу или к добру, делают из него каторжника или героя, выражались на этом лице, столь благородном по очертаниям, смугловато-бледном, как обычно у итальянцев,— лице, затененном седеющими бровями, которые нависали над глубоко запавшими глазницами, где так же страшно было встретить огонь мысли, как страшно, заглянув в пещеру, обнаружить там разбойников с факелами и кинжалами. В этой клетке из человеческой плоти томился лев, бесполезно растративший свою ярость в борьбе с железной решеткой. Пламя отчаяния угасло под пеплом, лава окаменела; но борозды — застывшие потоки, еще слегка дымящиеся — свидетельствовали о силе извержения и вызванных им бедствиях. Все эти образы, пробужденные во мне наблюдением, были столь же ярки в моей душе, сколь смутно они сквозили в его чертах.

В перерывах между танцами скрипач и флажолетист, весьма заинтересованные угощением, вешали инструменты на пуговицы своих порыжелых сюртуков, протягивали руку к столику с напитками, стоявшему тут же, в нише, и подносили итальянцу полный стакан, который он сам не мог взять,— столик был позади его стула. Каждый раз кларнетист благодарил дружеским кивком. Их движения отличались той точностью, которая всегда поражает в слепых из «Приюта трехсот» и внушает обманчивую мысль, что эти люди — зрячие. Я направился к ним,

чтобы подслушать их разговор, но, когда я подошел вплотную, они насторожились, вероятно угадав, что я не рабочий, и умолкли.

— Откуда вы родом, кларнетист?

— Из Венеции,— ответил слепой с легким итальянским акцентом.

— Вы слепы от рождения или ослепли по...

— По несчастной случайности,— живо продолжил он,— треклятая темная вода...

— Венеция — прекрасный город, я всегда мечтал побывать там...

Лицо старика одушевилось, по морщинам пробежал трепет, он заволновался.

— Если я поеду с вами, вы не потеряете времени понапрасну,— молвил он.

— Не говорите ему о Венеции,— вмешался скрипач,— иначе наш дож опять начнет чудить; а он, заметьте, уже вылакал две бутылки, этот князь.

— Ну, живее! Пора начинать, папаша *Фальшино!*— воскликнул флажолетист.

Все трое взялись за свои инструменты; пока они играли четыре части контрданса, венецианец старался разгадать меня; он почувствовал, что внушает мне живейший интерес. Его лицо утратило выражение застывшей печали, какая-то надежда прояснила его черты, разлилась легким пламенем по его морщинам; он улыбнулся, отер дерзновенный и грозный лоб,— словом, он развеселился, как человек, почуявший возможность оседлать своего конька.

— Сколько вам лет? — спросил я.

— Восемьдесят два года.

— Давно вы ослепли?

— Вот уже скоро пятьдесят лет,— ответил старик; по его голосу чувствовалось, что он скорбит не только о потере зрения, но и о каком-то ином великом даре, которого лишился.

— Почему вас называют дожем? — спросил я.

— О, глупая шутка! — ответил он.— Я венецианский патриций и, как любой из них, мог стать дожем.

— Какое же ваше настоящее имя?

— Здесь меня зовут папаша Канè. Мое имя никак не могли иначе занести в акты гражданского состояния;

а по-итальянски я называюсь Марко Фачино Ка́не, князь Варезский.

— Как! Вы потомок знаменитого кондотьера Фачино Кане, обширные владения которого перешли к герцогам миланским?

— E vero [1],— подтвердил слепой.— В те времена сын кондотьера, опасаясь, что Висконти лишат его жизни, бежал в Венецию и был там вписан в Золотую книгу. Но теперь уже нет ни славного рода Кане, ни родословной книги.

Тут слепой сделал движение, ужаснувшее меня,— так резко оно выражало угасший патриотизм и отвращение к людским делам.

— Но если вы были венецианским сенатором, у вас, наверно, было состояние? Как же случилось, что вы его потеряли?

На этот вопрос он повернул ко мне голову поистине трагическим движением, словно намереваясь пристально взглянуть на меня, и ответил:

— В несчастьях!

Ему уже было не до вина; он отвел полный стакан, который ему подал старый флажолетист, затем он поник головой. Все эти мелочи были не такого свойства, чтобы успокоить мое любопытство. Пока эти три автомата исполняли контрданс, я с теми чувствами, что обуревают двадцатилетнего юношу, неотрывно смотрел на престарелого венецианского аристократа. Я видел Адриатику, Венецию — видел в этих дряхлых чертах ее развалины. Я разгуливал по этому городу, столь милому своим обитателям, я шел от Риальто к Большому каналу, от Словенской набережной к Лидо; я возвращался к собору, столь своеобразно величественному; я любовался окнами Casa d'Oro [2], каждое из которых изукрашено по-своему; я созерцал древние дворцы, сверкающие мрамором,— словом, все чудесные творения, которые ученому особенно дороги тем, что он волен расцвечивать их, как ему вздумается, и что его грезы не опошляются зрелищем обыденной действительности. Я мысленно прослеживал жизненный путь этого потомка величайшего из кондотьеров, си-

---

[1] Это правда *(итал.)*.

[2] Золотого дворца *(итал.)*.

лясь распознать следы его несчастий и причины того глубокого физического и морального падения, которые придавали еще бóльшую яркость искоркам величия и благородства, вспыхнувшим в нем теперь. Вероятно, наши мысли совпали: ведь слепота, думается мне, не давая вниманию растрачиваться на предметы внешнего мира, тем самым значительно ускоряет духовное общение.

Я немедля получил доказательство взаимности нашей симпатии. Фачино Кане перестал играть, встал, подошел ко мне и так вымолвил: «Пойдемте!», что голос его подействовал на меня подобно электрическому току. Я подал ему руку, и мы вышли.

Когда мы очутились на улице, он сказал:

— Вы согласны отвезти меня в Венецию, сопровождать меня туда? Согласны поверить мне? Вы будете богаче десяти самых богатых семейств Амстердама или Лондона, богаче Ротшильда — словом, вы будете одним из тех богачей, о которых говорится в «Тысяче и одной ночи».

Я подумал было, что он безумен, но он говорил так властно, что я невольно подпал под его влияние. Я покорно последовал за ним, и он с уверенностью зрячего повел меня ко рвам Бастилии. Он уселся на камень в пустынном уголке, где впоследствии был построен мост, соединяющий набережные Сен-Мартенского канала и Сены. Я сел на другой камень, против старика, седые волосы которого при лунном свете сверкали, словно серебряные нити. Тишина, едва нарушаемая гулом бульваров, смутно доносившимся до нас, ясность ночи — все придавало этой сцене подлинно фантастический характер.

— Вы говорите молодому человеку о миллионах и сомневаетесь в том, согласится ли он претерпеть тысячу мытарств, чтобы получить их! Уж не смеетесь ли вы надо мной!

— Умереть мне без покаяния, если то, что я вам расскажу, неправда,— горячо сказал он.— Мне было двадцать лет, как вам теперь, я был богат, я был знатен, я был красив; я начал с величайшего из безумств — с любви. Я любил, как уже не любят ныне, я доходил до того, что, с опасностью быть обнаруженным и убитым, прятался в сундук, одушевляясь одной лишь надеждой — получить обещанный поцелуй. Умереть ради *нее* каза-

лось мне заманчивее долгой жизни. В 1760 году я увлекся восемнадцатилетней красавицей из рода Вендрамини, супругой Сагредо — одного из самых богатых сенаторов, человека лет тридцати, который без памяти любил свою жену. И я и моя возлюбленная были невинны, как херувимы. Sposo [1] застал нас за беседою о любви; я был безоружен, он оскорбил меня; я бросился на него, я задушил его голыми руками, свернул ему шею, как цыпленку. Я хотел уехать с Бьянкой, она не пожелала последовать за мной. Таковы женщины! Я бежал один, был осужден заочно, мое имущество подверглось секвестру в пользу моих наследников; но я увез свои бриллианты, пять полотен Тициана, свернутых трубкой, и все свое золото. Я отправился в Милан, где меня не тревожили: власти моим делом не интересовались.

— Прежде чем продолжать рассказ,— сказал он после недолгой паузы,— я замечу следующее: влияют ли, нет ли причуды женщины во время беременности или зачатия на ее ребенка, но, во всяком случае, известно, что моя мать, когда носила меня под сердцем, была одержима страстью к золоту. Я питаю к золоту влечение, род мании, и оно так сильно во мне, что в каком бы я ни был положении, я всегда имею при себе золото; я постоянно перебираю золото, в молодости я всегда носил драгоценности и держал при себе двести — триста дукатов.

С этими словами он вынул из кармана два дуката и показал мне их.

— Я словно по запаху узнаю золото. Хоть я и слеп, но останавливаюсь у лавок ювелиров. Эта страсть погубила меня; я стал картежником, чтобы играть на золото. Я не плутовал в игре, меня же плутовски обыгрывали, и я разорился. Когда я остался без средств, меня обуяло бешеное желание вновь увидеть Бьянку; я тайно вернулся в Венецию и явился к ней; в течение шести месяцев я был счастлив; я скрывался у нее, она кормила меня. Я мечтал, что это блаженство продлится до конца моих дней. Любви Бьянки домогался проведитор. Он понял, что у него есть соперник,— в Италии соперников чуют; он выследил нас, накрыл в постели, подлец! Судите сами, какая произошла жестокая схватка; я не убил его,

---

[1] Супруг *(итал.)*.

а только тяжело ранил. Это злоключение разбило мое счастье. Никогда в жизни я уже не встречал существа, подобного Бьянке: я изведал величайшие наслаждения, я жил при дворе Людовика Пятнадцатого, среди наизнаменитейших женщин — ни в одной из них я не нашел достоинств, прелести, страстности милой моей венецианки. Стражи проведитора были поблизости; он кликнул их, они окружили дворец, ворвались в покои; я защищался, чтобы умереть на глазах у Бьянки, она помогала мне, пытаясь убить проведитора. В свое время эта женщина не пожелала сопровождать меня в изгнание, а теперь, после шести месяцев счастья, она хотела умереть одной смертью со мной и получила несколько ран.

Во время борьбы на меня набросили большой плащ, обернули меня им, отнесли в гондолу и ввергли в один из «колодцев». Мне было двадцать два года, я так крепко сжимал обломок шпаги, что завладеть им могли бы, лишь отрубив мне руку. По странной случайности или, вернее, движимый смутной мыслью о бегстве, я спрятал этот кусок стали в углу темницы, словно он мог мне пригодиться. Меня лечили. Ни одна из моих ран не была смертельной. В двадцать два года исцеляешься от чего угодно. Меня должны были обезглавить,— я притворился больным, чтобы выиграть время. Я полагал, что моя темница находится поблизости от канала; у меня возникла мысль бежать, продолбив стену, и попытаться переплыть канал, хотя бы с опасностью утонуть.

Мои надежды основывались на следующих соображениях: всякий раз, когда тюремщик приносил мне еду, мне бросались в глаза надписи на стенах, с указаниями: *сторона дворца, сторона канала, сторона подземелья.* В конце концов я отчетливо представил себе этот план, назначение которого меня мало интересовало, но который соответствовал тогдашнему состоянию постройки Дворца дожей, еще не завершенной. Благодаря обострению мысли, порожденному желанием обрести свободу, я, ощупывая кончиками пальцев поверхность одного из камней, постепенно разобрал арабскую надпись, в которой некто, проделавший огромную работу, извещал своих преемников, что он вынул два камня из последнего ряда кладки и проложил подземный ход длиной в одиннадцать футов. Чтобы продолжить его дело, пришлось бы усеять зем-

лянои пол «колодца» цементом и осколками камня, которые выбрасывались бы при рытье. Но даже если бы массивность здания, требовавшего только наружной охраны, и не внушала инквизиторам и страже уверенности в том, что побег невозможен, то само расположение «колодцев», куда спускаются по нескольким ступеням, позволяло понемногу повышать уровень почвы незаметно для тюремщиков.

Чудовищная работа — рытье подземного хода — оказалась тщетной, по крайней мере для того, кто ее начал. Ведь то, что она осталась незаконченной, свидетельствовало о смерти неизвестного узника. Чтобы его усердие не пропало даром, должен был найтись заключенный, знающий арабский язык, а я изучил восточные языки в армянском монастыре. Несколько слов, высеченных на другой стороне камня, осведомляли о судьбе этого несчастного, ставшего жертвой своих огромных богатств: они возбудили алчность Венеции, и она завладела ими. Мне потребовался месяц, чтобы достигнуть цели. Во время работы и в те краткие промежутки времени, когда меня подкашивала усталость, я слышал звон золота, я видел перед собой золото, меня слепили бриллианты... О, слушайте дальше! Однажды ночью затупившаяся сталь наткнулась на бревно. Я вновь отточил свой обломок шпаги и начал сверлить отверстие в дереве. Чтобы иметь возможность работать, я, лежа на животе, извивался наподобие змеи, я раздевался донага и рыл словно крот, вытягивая руки и пользуясь самой кладкой, как точкой опоры. За двое суток до того, как я должен был предстать перед судом, поздней ночью, я решил сделать последнее усилие, я просверлил бревно насквозь — и сталь вонзилась в пустоту.

Вообразите мое изумление, когда я приник глазом к отверстию. Я притаился за деревянной обшивкой подземелья, где мерцал слабый свет, позволявший мне различить груды золота. В подземелье находились дож и один из членов Совета Десяти; я слышал их голоса; из их разговора я узнал, что передо мной потайные сокровища Республики, дары дожей и неприкосновенный запас, именуемый «Десятиной Венеции», куда вносилась часть добычи от военных экспедиций. Я был спасен! Когда пришел тюремщик, я предложил ему помочь мне бежать и скрыть-

ся со мной вместе, захватив все, что нам удастся взять. Колебания были немыслимы, он тотчас согласился. Нашлось судно, готовое к отплытию в Левант. Были приняты все меры предосторожности. Бьянка участвовала в приготовлениях, которые я поручил моему сообщнику. Чтобы не возбудить подозрений, решено было, что она присоединится к нам в Смирне. За одну ночь отверстие было расширено, и мы спустились в потайную сокровищницу Венеции. Какая ночь! Я видел своими глазами четыре бочонка, доверху наполненные золотом. В первом помещении хранилось серебро, наваленное двумя грудами, между которыми был оставлен узкий проход, а вдоль стен откосом вышиной в пять футов громоздились монеты. Мне казалось, что мой тюремщик сойдет с ума; он пел, скакал, хохотал, он плясал по золоту. Я пригрозил, что задушу его, если он будет шуметь или терять время попусту. От радости он не сразу заметил стол, на котором лежали бриллианты. Ловко заслонив их от него, я набил ими свою матросскую куртку и карманы штанов. Великий боже! Это не составило и третьей доли сокровища! Под столом лежали слитки золота. Я убедил своего спутника наполнить золотом столько мешков, сколько мы в силах унести,— так как золото, объяснил я ему,— это единственное богатство, которое за границей не навлечет на нас подозрений.

— Жемчуг, драгоценные украшения, бриллианты выдадут нас с головой,— сказал я.

При всей нашей алчности мы не могли захватить больше двух тысяч фунтов золота. Да и то нам пришлось шесть раз проделать путь из тюрьмы к гондоле. Часового у дверцы, выходившей на канал, мы подкупили, дав ему мешок с десятью фунтами золота. Что до гондольеров —их было двое — они воображали, будто исполняют предписания Республики. Мы отчалили на рассвете. Когда мы очутились в открытом море и я припомнил все, что произошло ночью, когда я воскресил в своей памяти все пережитое мною, когда я мысленно вновь увидел эту изумительную сокровищницу, где, по моим подсчетам, я оставил тридцать миллионов серебром, двадцать миллионов золотом и на несколько миллионов бриллиантов, жемчуга и рубинов, я словно обезумел. Меня обуяла золотая лихорадка. Мы высадились в Смирне, а оттуда не-

медленно отплыли во Францию. Когда мы взбирались на борт французского судна, господь бог, казалось, явил мне милость: он избавил меня от моего сообщника. В ту минуту я не мог предусмотреть последствий этого несчастного случая и очень обрадовался. Оба мы тогда чувствовали себя настолько измученными, что пребывали в каком-то оцепенении; ни слова не говоря друг другу, мы дожидались, пока достигнем надежного убежища и заживем в свое удовольствие. Не удивительно, что у этого проходимца закружилась голова! Что до меня, вы услышите, как меня покарал господь.

Я счел себя в безопасности только после того, как продал в Лондоне и Амстердаме две трети моих бриллиантов, а золотой песок обратил в ценные бумаги. В продолжение пяти лет я скрывался в Мадриде, а затем, в тысяча семьсот семидесятом году, под вымышленным испанским именем переселился в Париж, где жил на самую широкую ногу. Бьянка к тому времени умерла. И среди всех наслаждений жизни меня, обладателя шести миллионов, поразила слепота! Я не сомневаюсь, что это несчастье явилось следствием пребывания в темнице и работы над каменной кладкой, если только сама моя способность мгновенно различать золото не была связана с таким напряжением глаз, которое неминуемо должно было повлечь за собой утрату зрения. В ту пору я любил женщину, с которой намеревался соединить свою судьбу; я открыл ей тайну своего имени; она принадлежала к могущественной семье, я ждал всего от благоволения, которое мне выказывал Людовик Пятнадцатый; я всецело доверился этой женщине, подруге госпожи Дюбарри; моя возлюбленная посоветовала мне обратиться к знаменитому глазному врачу в Лондоне, но после того, как мы прожили там несколько месяцев, она бросила меня в Гайд-парке, разорив дотла и оставив в беспомощном состоянии: ведь я был вынужден скрывать свое настоящее имя, которое предало бы меня мщению Венеции, и я никого не мог просить о заступничестве, ибо страшился Венеции. Моей немощью воспользовались сыщики, подосланные ко мне этой женщиной. Я избавлю вас от рассказа о приключениях, достойных Жиль Бласа. Произошла ваша революция. Я попал в «Приют трехсот». Меня поместила туда эта презренная тварь после того, как по ее

происках меня два года продержали в Бисетре, объявив умалишенным. Сам я не мог ее убить; я ничего не видел, а для того, чтобы прибегнуть к наемному убийце, я был слишком беден. Если бы, прежде чем погиб Бенедетто Карпи, мой тюремщик, я расспросил его о местоположении темницы, я мог бы вновь разыскать сокровищницу, вернувшись в Венецию, когда Наполеон упразднил там Республику... И все же, несмотря на мою слепоту, едемте в Венецию! Я найду ту дверцу, я увижу золото сквозь стену, я почую его под водой, где оно хранится; ведь события, сокрушившие мощь Венеции, таковы, что тайна сокровищницы должна была умереть вместе с Вендрамини, братом Бьянки, дожем, на которого я надеялся, думая о примирении с Советом Десяти. Я посылал докладные записки первому консулу, я предлагал договор австрийскому императору, но всюду и везде мне отвечали отказом, считая меня безумным. Едемте в Венецию — едемте нищими, ведь мы вернемся миллионерами; мы выкупим мои поместья, и вы будете моим наследником, будете князем Варезским.

Ошеломленный этой исповедью, превратившейся в моем воображении в целую поэму, находясь к тому же над черными водами рвов Бастилии, дремотными, как воды венецианских каналов, я глядел на эту убеленную сединой голову и не отвечал. Фачино Кане, вероятно, подумал, что я сужу о нем так же, как все остальные,— с презрительной жалостью; он сделал жест, проникнутый философией отчаяния.

Быть может, этот рассказ вернул его к счастливым дням жизни в Венеции. Он схватил свой кларнет и заиграл печальную венецианскую песенку — баркаролу, для которой вновь обрел талант своей молодости, талант влюбленного патриция. Мне пришло на память «На реках вавилонских», мои глаза наполнились слезами. Если в это время по бульвару Бурдон шли запоздалые прохожие, они, должно быть, остановились, чтобы послушать последнюю молитву изгнанника, последнее сожаление об утраченном имени, с которым переплеталось воспоминание о Бьянке. Но вскоре золото снова взяло верх, и роковая страсть угасила отсвет давней юности.

— Эти сокровища,— молвил он,— непрестанно мерещатся мне во сне и наяву; я хожу среди них, бриллиан-

ты сверкают; я не так слеп, как вы думаете. Золото и бриллианты освещают мою ночь — ночь последнего Фачино Кане, ибо мой титул должен перейти к роду Мемми. О боже! Возмездие за убийство наступило так рано. Ave Maria!..

Он вполголоса прочитал несколько молитв, которых я не расслышал.

— Мы поедем в Венецию! — воскликнул я, когда он встал.

— Наконец-то я встретил настоящего человека! — вскричал он, весь вспыхнув.

Я взял его под руку и довел до приюта; когда он прощался со мной у подъезда, мимо нас прошли несколько человек; распевая во все горло, они возвращались со свадьбы на улице Шарантон.

— Мы едем завтра? — спросил старик.

— Нет, ведь надо достать хоть немного денег.

— Мы можем идти пешком! Я буду просить милостыню, я вынослив; а когда впереди виднеется золото, чувствуешь себя молодым.

Фачино Кане умер зимой, проболев два месяца. У бедняги была чахотка.

Париж, март 1832 г.

ПЬЕР ГРАССУ

Подполковнику артиллерии Периола — в знак искреннего уважения автора.

Бальзак.

Всякий раз, когда вы посещаете выставку живописи и ваяния, устроенную по-новому,— как это вошло в обычай после революции 1830 года,— не охватывает ли вас чувство растерянности, уныния и скуки при виде длинных, загроможденных галерей? С 1830 года Салона больше не существует. Лувр был вторично взят приступом художниками; и они там утвердились. В прежнее время, выставляя действительно избранные произведения искусства, Салон пользовался высоким уважением. Среди двухсот отобранных картин публика еще раз производила выбор, и неведомые руки венчали лаврами лучшее произведение. Вокруг картин разгорались страстные споры. Оскорбления, которыми осыпали Делакруа и Энгра, способствовали их известности не менее, чем славословия фанатичных приверженцев. Ныне вокруг произведений, выставленных на этом художественном базаре, не разгораются страсти ни посетителей, ни критики. Зрителям самим приходится заниматься отбором, который прежде был возложен на жюри, и этот труд утомляет их; когда же выбор сделан, выставка закрывается. До 1817 года принятые картины развешивались не далее двух первых колонн длинной галереи старых мастеров, а в нынешнем году они, к немалому изумлению публики, заполонили всю галерею.

Исторические полотна, жанровые картины, станковая живопись, пейзаж, натюрморт, анималистическая живо-

пись и акварельная — по всем этим семи видам живописи вряд ли следует выставлять более чем по двадцати картин, достойных обозрения публики, которой трудно сосредоточить внимание на большем количестве произведений. По мере увеличения числа художников жюри становилось более взыскательным. Но все было потеряно, как только Салон захватил всю галерею. Салону следовало бы занимать одну и ту же раз и навсегда установленную площадь, где все виды живописи были бы представлены лучшими произведениями. Десятилетний опыт доказал преимущество прежнего принципа отбора. Теперь вместо поединка перед вами свалка: вместо торжественной выставки — беспорядочный базар, вместо отобранного — случайное. И что же? Истинный художник здесь только проигрывает. «Турецкая кофейня», «Дети у фонтана», «Казнь на крючьях», «Иосиф» Декана, выставленные в большом Салоне вместе с сотней лучших картин этого года, больше принесли бы ему славы, нежели двадцать его полотен, затерявшихся среди трех тысяч картин, занявших шесть галерей. И как ни странно, с тех пор как двери открылись для всех, повсюду заговорили о непризнанных гениях. Двенадцать лет назад, когда «Куртизанка» Энгра и «Куртизанка» Сигалона, «Плот Медузы» Жерико, «Резня на острове Хиос» Делакруа, «Рождение Генриха IV» Эжена Деверия получили признание строгих ревнителей искусства и возвестили миру, вопреки неодобрительным отзывам критики, о существовании молодых дарований, не раздалось ни одной жалобы. Теперь же, когда любой мазилка может свободно выставить свою работу, только и разговоров, что о неоцененных талантах. Там, где нет отбора, нет и избранного. Как бы там ни было, художники вернутся к старому порядку испытания, когда их творчество рекомендуют восторженному вниманию публики, для которой они работают. Без отбора Академии не будет Салона, а без Салона искусство может погибнуть.

С тех пор как каталог выставки стал объемистой книгой, в нем появилось множество имен никому не ведомых, хотя за ними и следует перечень десяти — двенадцати картин. Пожалуй, самое малоизвестное среди них — имя Пьера Грассу, живописца, приехавшего из Фужера, которого в кругу художников запросто зовут Фужером; те-

перь он уже прочно занял место под солнцем, и это наводит на горькие размышления, которыми и начинается рассказ о его жизни, похожей на жизнь многих из племени художников.

В 1832 году Фужер жил на улице Наваррен, на пятом этаже одного из тех высоких и узких домов, похожих на Луксорский обелиск, в которых тесный вход почти тотчас переходит в крутую темную лестницу; на каждом этаже у них не более трех окон, сзади расположен двор, говоря точнее — квадратный колодец. Над квартирой в три или четыре комнаты, занимаемой Грассу из Фужера, была расположена его мастерская с видом на Монмартр. Стены мастерской красно-бурого цвета, тщательно окрашенный натертый пол, простая, но опрятная кушетка, как в спальне лавочницы, на стульях — коврики с каймой: все говорило о бережливости и расчетливой жизни человека ограниченного и небогатого. Здесь стоял комод для хранения принадлежностей живописной мастерской, обеденный стол, буфет, секретер и лежали инструменты, необходимые художнику; все содержалось в чистоте и порядке. Изразцовая печь дополняла картину голландского уюта, еще более заметного при ровном свете зимнего солнца, заливавшего просторную комнату ясными холодными лучами. Фужеру, художнику-жанристу, не нужны были огромные сооружения, разоряющие живописцев исторического жанра; он не чувствовал в себе достаточных способностей для больших полотен и довольствовался станковой живописью. Однажды (это было в начале декабря, в пору, когда французские буржуа периодически страдают манией увековечивать свои и без того всем наскучившие физиономии) Пьер Грассу встал рано, растер краски, затопил печь и принялся есть хлебец, макая его в молоко; он не брался за работу, ожидая, пока оттают окна и свет проникнет в комнату. Была прекрасная сухая погода. Жуя хлеб с тем покорным и смиренным видом, который говорит о многом, художник услышал на лестнице шаги человека, игравшего в его жизни ту роль, какую обычно играют люди подобного рода в жизни всякого художника. То был Элиа Магюс, торговец картинами, ростовщик от живописи. Элиа Магюс застал художника в ту минуту, когда тот готовился приступить к работе в своей чистенькой мастерской.

— Как поживаете, старый плут? — обратился к нему Грассу, стараясь подделаться под фамильярный тон художников.

Фужер был награжден орденом, Элиа платил ему за картины по двести — триста франков.

— Торговля идет плохо,— ответил Элиа.— Все вы очень уж много о себе мните. На картине красок на шесть су, а вам подавай за нее двести франков... Но вы — добрый малый, вы — человек порядочный, и я пришел предложить вам славное дельце.

— Timeo Danaos et dona ferentes [1],— ответил Фужер.— Вы знаете латынь?

— Нет.

— Так вот, это означает, что греки никогда не предлагали хороших дел троянцам без выгоды для себя... Некогда они говорили: «Возьмите моего коня!» Ныне мы говорим: «Возьмите моего медведя!» Что же вы хотите, Улисс-Лаженголь-Элиа Магюс?

Эти слова дают представление о беззлобном остроумии Фужера и о шутках, имевших хождение в мастерских художников.

— Не скрою, вам придется сделать для меня даром две картины.

— Ого!

— Ну как хотите... я не требую... Вы честный художник.

— Но в чем дело?

— Я приведу к вам отца, мать и единственную дочь...

— Все единственные в своем роде?

— Вот именно. И надо написать их портреты. Эти почтенные буржуа без ума от искусства, но никогда еще они не отваживались войти в мастерскую. За дочкой сто тысяч франков приданого. Возьмитесь-ка да и напишите их портреты... Быть может, они станут вашими фамильными портретами.

Здесь этот старый чурбан, голландец по имени Элиа Магюс, почему-то слывущий человеком, оборвал свою речь и разразился дребезжащим смехом, который неприятно поразил художника: ему показалось, что он слышит Мефистофеля, рассуждающего о браке.

---

[1] Боюсь данайцев и дары приносящих *(лат.)*.

— За каждый портрет вам заплатят по пятьсот франков,— вам следовало бы сделать для меня три картины.

— Ну еще бы! — весело проговорил художник.

— А женитесь на дочери — не забудьте меня...

— Женюсь? Я?..— вскричал Пьер Грассу.— Я привыкший спать один, вставать рано, вести правильный образ жизни...

— Сто тысяч франков,— возразил Магюс,— и вдобавок приятная девица вся в золотистых тонах: настоящий Тициан.

— А кто они, эти люди?

— В прошлом — торговцы, теперь же — любители искусства; у них загородный дом в Виль д'Авре и от десяти до двенадцати тысяч франков годового дохода.

— А чем они торговали?

— Бутылками...

— Не произносите этого слова... Я так и слышу, как режут ножом пробки... У меня зубы ноют во рту.

— Так что ж, приводить их?

— Три портрета! Я выставлю их в Салоне... Может быть, стану портретистом... Ну ладно, приводите...

Элиа отправился за семейством Вервель. Чтобы было понятно, почему его предложение могло заинтересовать художника и какое впечатление должна была произвести на него достопочтенная чета Вервель и единственная их дочь, необходимо бросить взгляд на прошлую жизнь Пьера Грассу из Фужера.

В годы ученичества Фужер изучал рисунок у Сервена, считавшегося в академических кругах замечательным рисовальщиком. Затем он перешел к Шиннеру, надеясь постичь тайну сочного, великолепного колорита, которым владел этот мастер. Но и учитель и его ученики отличались скрытностью,— Пьеру ничего не удалось выведать. Отсюда Фужер перекочевал в мастерскую Сомервье, чтобы приобрести навыки в искусстве композиции; однако и композиция не далась ему. Потом он попытался вырвать у Гране, у Дроллинга тайну очарования их интерьеров: у этих мастеров ему тоже не удалось ничего похитить. В конце концов Фужер завершил свое образование у художника Дюваль-Лекамю. Все годы обучения, переходя от одного живописца к другому, Фужер отличался столь невозмутимым и уравновешенным нравом, что

над ним насмехались во всех мастерских, где он побывал, но повсюду он обезоруживал своих сотоварищей скромностью, терпением и кротостью ягненка. Учителя не чувствовали расположения к этому славному малому: крупные художники любят людей блестящих, умы своеобразные, занимательные, пылкие, мрачные или же сосредоточенные, предвещающие будущее дарование. А в Грассу все говорило о посредственности. Само его прозвище — Фужер, которое носит художник в пьесе д'Эглантина, давало повод ко многим издевательствам, но бедняга в силу обстоятельств предпочел принять имя своего родного города: уж очень фамилия Грассу [1] соответствовала его внешности. Он был пухленький и приземистый, с бесцветным лицом, глаза у него были карие, волосы черные, нос утиный, большой рот и оттопыренные уши. Кроткое, добродушное и покорное выражение мало облагораживало его дышавшее здоровьем, но не энергичное лицо. Грассу наверняка не терзали ни бурные страсти, ни мятежные мысли, ни чувство иронии — свойства великих художников. Этот молодой человек был рожден для жизни добродетельного буржуа; в Париж он приехал, думая поступить приказчиком к торговцу красками, уроженцу Майенны и дальнему родственнику д'Оржемонов; но из упрямства, свойственного бретонцам, сделался художником. Одному богу известно, сколько он выстрадал, как приходилось ему жить в годы ученичества! Он страдал подобно тому, как страдают великие люди, когда их душит нищета и, словно диких зверей, травит свора людей посредственных и толпа завистливых честолюбцев.

Как только Фужер решил, что у него окрепли крылья, он снял мастерскую на улице Мартир и с жаром принялся за работу. Грассу дебютировал в 1819 году. Первая картина, которую он представил жюри выставки в Лувре, была жалкой копией картины Грёза, изображавшей деревенскую свадьбу. Полотно не приняли. Узнав о роковом решении, Фужер не впал в ярость от уязвленного самолюбия, подобно людям высокомерным, которые иной раз способны в порыве гнева вызвать на дуэль директора или секретаря музея, а то и пригрозить им расправой. Он спокойно забрал картину, завернул ее в тряпку, при-

---

[1] Грассу — от франц. слова gras — жирный.

нес в свою мастерскую и дал самому себе клятву стать великим художником. Грассу поставил картину на станок и отправился к своему бывшему учителю Шиннеру, художнику огромного дарования, имевшему бурный успех на последней выставке в Салоне, человеку мягкому и уравновешенному. Фужер попросил его указать недостатки отвергнутого произведения. Великий художник бросил все дела и пришел к нему в мастерскую. Но когда бедняга подвел его к картине, Шиннер, едва взглянув на нее, схватил Грассу за руку.

— Ты славный малый, у тебя золотое сердце, обманывать тебя нельзя. Так вот, слушай: все, что ты обещал в мастерской,— ты выполнил. Но когда из-под кисти художника выходят такие... штуки, лучше не брать красок у Брюллона и не отнимать холста у других. Вернись нынче домой пораньше, надень ночной колпак, ляг спать в девять часов вечера, а поутру отправляйся к десяти часам в какую-нибудь канцелярию искать себе место; а искусство оставь.

— Друг мой,— ответил Фужер,— картина моя уже осуждена. Я хотел бы услышать не приговор, а его основания.

— Хорошо. Колорит у тебя тусклый, ты видишь натуру в темных тонах; рисунок у тебя тяжелый, расплывчатый; твоя композиция — подражание Грёзу, но он искупал свои слабые стороны такими достоинствами, каких у тебя нет.

Разбирая недостатки картины, Шиннер заметил на лице Фужера выражение глубокой печали; он повел его обедать и постарался утешить, как мог.

На следующий день с семи часов утра Фужер снова работал над отвергнутой картиной; он оживил краски, внес исправления, подсказанные Шиннером, подправил лица. Но затем он почувствовал отвращение к этой подмалевке и отнес картину к Элиа Магюсу. Элиа Магюс, весьма своеобразная помесь голландца, бельгийца и фламандца, имел тройное основание стать тем, кем он и стал,— богатым скрягой. В то время он приехал в Париж из Бордо и занялся торговлей картинами на бульваре Бон-Нувель. Фужер, который зарабатывал себе на жизнь своей кистью, стойко питался хлебом и орехами, хлебом и молоком, хлебом и вишнями или хлебом и сы-

ром — смотря по сезону. Когда Грассу принес Элиа Магюсу свою первую картину, тот долго приглядывался к ней и предложил художнику пятнадцать франков.

— При заработке пятнадцать франков в год и расходах в тысячу франков,— сказал Фужер улыбаясь,— далеко пойдешь...

Элиа Магюс досадливо поморщился. Он мысленно выругал себя, сообразив, что мог бы получить картину за пять франков. Несколько дней подряд Фужер каждое утро спускался по улице Мартир, останавливался против лавки Магюса на противоположной стороне бульвара и, прячась в толпе, пристально смотрел на свою картину, не привлекавшую ничьих взглядов. В конце недели картина исчезла. Фужер перешел бульвар и, как бы прогуливаясь, направился к лавке Магюса. Элиа стоял на пороге.

— Я вижу, моя картина продана?

— Вот она,— ответил Магюс,— я хочу вставить ее в раму, тогда можно будет предложить ее кому-нибудь, кто мнит себя знатоком живописи.

Фужер не решался больше появляться на бульваре. Он начал писать новую картину и два месяца работал над ней, питаясь, как мышь, и работая, как каторжник.

Однажды вечером он все же пришел на бульвар, и ноги сами привели его к лавке Магюса; картины нигде не было.

— Я продал вашу картину,— сказал торговец художнику.

— За сколько?

— Вернул свое с небольшой прибылью. Сделайте для меня фламандские интерьеры, урок анатомии, пейзаж. В цене сойдемся,— добавил Элиа.

Фужер едва не схватил его в объятия. Он готов был полюбить Магюса как отца родного. С радостью в сердце Грассу вернулся домой. Значит, великий художник Шиннер ошибся: в огромном Париже нашлись родственные Грассу души, его дарование поняли и оценили. Бедный малый был в двадцать семь лет простодушен, как шестнадцатилетний юнец. Окажись на его месте другой — недоверчивый и проницательный художник, от него не ускользнуло бы сатанинское выражение, промелькнувшее в глазах Элиа Магюса, он заметил бы, как вздрагивала его бородка, иронически топорщились усы и подергивались

плечи,— ни дать ни взять иудей в романе Вальтера Скотта, надувающий христианина.

Фужер прошелся по бульвару, радость придавала его лицу горделивое выражение. Он был похож на лицеиста, который завел любовницу. Он встретил своего сотоварища Жозефа Бридо, одного из тех своеобразных талантов, которым суждено изведать и славу и несчастье. Бридо заявил, что у него завелись деньги в кармане, и повел Фужера в Оперу. Но тот не видел балета, не слышал музыки,— он обдумывал картины, он творил. В середине представления Грассу покинул Жозефа Бридо и побежал домой писать эскизы при свете лампы; он придумал тридцать подражательных картин, он поверил в свою гениальность. На следующий день он накупил красок, холстов различного размера, положил на стол хлеб, сыр, наполнил кувшин водой, запасся дровами для печки; затем принялся, по выражению художников, корпеть над картинами; у него были кое-какие модели, а Магюс одолжил ему ткани. После двухмесячного затворничества бретонец закончил четыре картины. Он вновь обратился за советом к Шиннеру, призвал на помощь и Бридо.

Оба художника нашли, что три его картины — рабское повторение голландских пейзажей, интерьеров Метсу, а четвертая — копия «Урока анатомии» Рембрандта.

— Все это только подражание,— заметил Шиннер.— Фужер, нелегко тебе найти собственное лицо...

— Брось живопись, займись другим делом,— посоветовал Бридо.

— Но чем же?

— Попробуй силы в литературе...

Фужер повесил голову, как овца под дождем. Но затем, порасспросив друзей и получив несколько полезных указаний, он подправил кое-где картины и отнес их Элиа Магюсу. Тот заплатил ему по двадцать пять франков за каждую. Фужер ничего не заработал, но благодаря крайне скромному образу жизни не остался и в убытке.

Время от времени он ходил смотреть, что сталось с его картинами, и однажды оказался во власти какой-то странной галлюцинации. Его картины, аккуратно выписанные, гладкие, жесткие на взгляд, как листовое железо, и блестевшие, как живопись по фарфору, словно подернулись туманом и стали похожи на полотна старых

мастеров. Элиа куда-то отлучился, и Фужеру не удалось добиться разгадки этого странного явления. Он решил, что ему все почудилось, и вернулся к себе в мастерскую писать новые подражания старым картинам. После семилетнего упорного труда Фужер сносно овладел композицией и писал не хуже других второстепенных художников. Элиа покупал и перепродавал все картины бедняги бретонца. Пьер Грассу с трудом зарабатывал сотню луидоров в год и расходовал не больше тысячи двухсот франков.

При организации выставки в 1829 году Леон де Лора, Шиннер и Бридо — все трое пользовались в ту пору большим влиянием в мире искусства и возглавляли новую школу живописи — настояли из жалости к своему старому приятелю, так упорно работавшему и прозябавшему в бедности, чтобы картина его была принята на выставку; произведение повесили в Салоне. Эта картина, бившая на дешевый эффект и сентиментальная, подобно картинам Виньерона, была написана в ранней манере Дюбюфа. На ней изображен молодой человек, которому в тюрьме выбривают затылок. По одну сторону от него — священник, по другую — старуха и молодая женщина в слезах. Судейский писец читает какую-то гербовую бумагу. На грубом столе — нетронутая еда. Сквозь высоко прорезанное окно с железной решеткой падает луч света. Картина способна была вызвать трепет у буржуа, и буржуа содрогались. Между тем Фужер просто-напросто позаимствовал сюжет известной картины Герарда Доу «Женщина, больная водянкой», но он повернул группу в профиль, вместо того чтобы показать ее с лица, заменил умирающую осужденным, сохранив тот же взгляд, ту же бледность, тот же призыв к богу; вместо врача-фламандца он написал холодную, сухую фигуру судейского писца в черном. Возле молодой девушки из группы Герарда Доу он нарисовал еще и старуху; наконец, среди других лиц выделялась жестокая и вместе с тем благодушная физиономия палача. Никто не обнаружил ловко скрытого плагиата. В каталоге значилось:

510. Грассу из Фужера (Пьер), улица Наваррен, 2. Последние часы шуана, приговоренного к смерти в 1809 году.

Эта посредственная картина имела шумный успех, ибо напоминала о деле мортаньских «поджаривателей».

Каждый день перед этим модным произведением толпились посетители выставки; как-то раз перед ним остановился Карл X. Герцогиня Беррийская, узнав, как трудно живется бедному бретонцу, преисполнилась к нему сочувствием. Герцог Орлеанский осведомился о стоимости картины. Духовенство высказало супруге дофина свое мнение, заверив, что картина проникнута благочестивым настроением. И действительно, религиозное чувство окрашивало ее вполне достаточно. Его высочество дофин пришел в восхищение от слоя пыли на плитах пола — грубейшая ошибка, ибо Фужер разбросал зеленоватые тона, свидетельствовавшие о сырости у основания стен. Герцогиня Беррийская приобрела картину за тысячу франков, дофин заказал художнику другую. Карл X пожаловал орденом сына бретонского крестьянина, сражавшегося за дело короля в 1799 году. Великий художник Жозеф Бридо не был награжден. Министр внутренних дел заказал Фужеру две картины на религиозные темы.

Выставка 1829 года положила начало жизненному благополучию, славе, будущности Пьера Грассу. В любой области создавать — значит гореть, копировать — медленно тлеть. Напав, наконец, на золотую жилу, Грассу подтвердил своим успехом то жестокое правило, благодаря которому во всех слоях общества процветают жалкие посредственности, получившие право избирать по своему вкусу выдающихся людей; они, понятно, избирают себе подобных и ведут ожесточенную войну с подлинными талантами. Применять ко всему избирательный принцип неверно. Франция от этого откажется. Тем не менее скромность, простота, изумление доброго и кроткого Фужера заставили умолкнуть ропот зависти и обиды. Кроме того, за него были все Грассу, уже преуспевшие, сочувствующие Грассу выдвигающимся. Некоторых трогала энергия человека, которого ничто не могло обескуражить, и, вспоминая о Доменикино, они говорили: «В искусстве следует поощрять усердие! Грассу честно заслужил свой успех! Бедняга уже десять лет трудится в поте лица!» Слова «бедняга» и «в поте лица» были подоплекой доброй половины всех одобрений и поздравлений, которые получил художник. Жалость так же помогает посредственности подняться, как зависть ста-

рается принизить великих художников. Газеты не поскупились на критику, но новоиспеченный кавалер ордена Почетного легиона перенес ее с той же ангельской кротостью, с какой переносил советы друзей. Сколотив к тому времени упорным трудом пятнадцать тысяч франков, Грассу обставил свою квартиру и мастерскую на улице Наваррен, написал картину для его высочества дофина и две картины, заказанные министром, выполнив их к сроку с точностью, мало приятной для кассы министерства, привыкшей к проволочкам. Как не позавидовать счастью людей аккуратных! Опоздай Грассу, он ничего не получил бы: вскоре произошла Июльская революция! К тридцати семи годам Фужер написал для Элиа Магюса около двухсот никому не известных картин; в работе над ними он набил руку и приобрел сносную технику, заставляющую художника пожимать плечами, но столь любезную сердцу буржуа. Друзья ценили Фужера за прямоту взглядов, за постоянство чувств, безотказную услужливость и честность. Они не уважали его как художника, но любили как человека. «Как жаль,— говорили они,— что у Фужера пристрастие к живописи!» Тем не менее Грассу давал очень дельные советы, подобно тем фельетонистам, которые сами неспособны написать ни одной книги, но прекрасно знают, чем грешит чужая. Однако между Фужером и литературными критиками было одно существенное различие: он был в высокой степени чувствителен к красоте, умел ее видеть, в его советах всегда было чувство меры и справедливости, поэтому к его мнению прислушивались.

После Июльской революции Фужер посылал на каждую выставку с десяток картин, из которых жюри принимало четыре или пять. Он вел скромный образ жизни и держал только одну служанку. Он не знал иных развлечений, кроме посещения друзей и осмотра произведений искусства; иногда он разрешал себе небольшие поездки по Франции; собирался даже поехать в Швейцарию, чтобы найти там источники вдохновения. Этот жалкий художник был отменным гражданином: он нес караул в национальной гвардии, являлся на смотры, платил за квартиру и за все свои покупки с аккуратностью самого добропорядочного буржуа. Жизнь его протекала в трудах и заботах, и у него никогда не было досуга для

любви. Грассу был холост и небогат и не собирался усложнять женитьбой свое несложное существование. Он не был способен изобрести какой-либо способ приумножать свои капиталы и каждые три месяца относил нотариусу Кардо весь заработок и сбережения. Когда на текущем счету Грассу накапливалась тысяча экю, нотариус помещал их под первую закладную с ограничением прав жены, если закладчик был женат, или с ограничением прав продажи, если закладчику предстояло произвести какие-нибудь платежи. Нотариус сам взимал проценты и присоединял их к тем взносам, которые время от времени делал ему Грассу из Фужера. Художник с нетерпением ожидал того вожделенного дня, когда его вложения начнут приносить кругленькую сумму в две тысячи франков годового дохода и он сможет позволить себе otium cum dignitate [1] художника; тогда он будет писать картины; но какие картины! Картины настоящие! Картины законченные, из ряда вон выходящие, потрясающие, сногсшибательные! Хотите ли вы знать его мечты о счастье, о будущем, пределы его упований? Стать членом Академии, получить офицерский крест ордена Почетного легиона, сидеть рядом с Шиннером и Леоном де Лора, пройти в Академию раньше Бридо. Офицерская орденская ленточка в петлице! Какие мечты! Только посредственность умеет думать обо всем этом!..

Заслышав шаги на лестнице, Фужер взбил хохол, застегнул бархатную куртку зеленовато-бутылочного цвета и, к немалому удивлению, увидел просунувшуюся в дверь мастерской физиономию, которую художники в насмешку обычно называют арбузом. Сей плод возвышался над пузатой тыквой, облеченной в синий суконный сюртук, украшенный связкой позвякивающих брелоков. Арбуз тяжело отдувался, тыква выступала на ногах, напоминавших брюквы. Настоящий художник создал бы именно такой шарж на этого торговца бутылками и немедленно выставил бы его за дверь, заявив, что овощей он не рисует. Но Фужер не рассмеялся при виде заказчика: на манишке г-на Вервеля сверкал бриллиант ценой в тысячу экю.

---

[1] Заслуженный отдых *(лат.)*.

Взглянув на Магюса, Фужер пробормотал: «Жирный кусочек».

Услышав это выражение, принятое в среде художников, Вервель нахмурился. Сей торговец вел за собой другие сорта овощей в лице своей супруги и дочери. Физиономия супруги была «отделана под красное дерево», а вся она походила на кокосовый орех, перехваченный поясом и увенчанный головкой. Она катилась на круглых ножках, одетая в желтое платье с черными полосами, и горделиво выставляла напоказ экстравагантные митенки, обтягивавшие ее руки, вздутые словно перчатки на вывесках. На шляпе ее колыхались страусовые перья, обычно украшающие катафалк на торжественных похоронах; на пышных шарообразных плечах спереди и сзади лежали кружевные оборки; таким образом, сферические контуры кокосового ореха были выдержаны полностью. Ее ноги — художники называют такие ноги колодами — выпирали пухлыми складками из лакированных полусапожек. Как эти ноги влезли в башмаки — уму непостижимо!

Следом выступала молодая спаржа в зеленовато-желтом платье; у нее была маленькая головка с гладко уложенными волосами морковно-желтого цвета, столь излюбленного римлянами, веснушки на довольно белой коже, большие невинные глаза с белесыми ресницами и жиденькими бровями, добродетельные красные и жилистые руки и ноги, как у матери; ее шляпка из итальянской соломки, обшитая белой атласной ленточкой, была украшена двумя наивными шелковыми бантами. Пока все трое осматривали мастерскую, на их счастливых лицах было написано почтительное восхищение искусством.

— Так это вы, сударь, сделаете наши изображения?— спросил отец, приосанившись для храбрости.

— Да, сударь,— ответил Грассу.

— Вервель, *у него* крест,— шепнула супруга, когда художник повернулся спиной.

— Разве я стал бы заказывать портреты художнику, не удостоенному награды?..— произнес бывший торговец бутылками.

Элиа Магюс откланялся и вышел; Грассу проводил его до лестничной площадки.

— Только вы способны выудить таких головастиков!

— Сто тысяч франков приданого!

— Да, но что за семейка!

— Виды на наследство в триста тысяч франков, дом на улице Бушера и загородный дом в Виль д'Авре.

— Бушер, будущность, бутылки,— бубнил художник.

— Вы будете обеспечены до конца дней своих,— сказал Элиа.

Эта мысль сверкнула в голове Пьера Грассу подобно лучу света, озарявшего поутру его мансарду. Усаживая отца молодой особы, художник уже находил, что у него приятная внешность, и даже залюбовался буйными красками его лица. Мать и дочь порхали вокруг художника, восторгались его приготовлениями,— он им казался полубогом. Их нескрываемое восхищение льстило Фужеру: на эту семью падал волшебный отблеск золотого тельца.

— Вы, должно быть, зарабатываете бешеные деньги? Но и тратите их, верно, так же легко, как зарабатываете,— проговорила г-жа Вервель.

— Нет, сударыня,— ответил художник,— я не трачу их, у меня нет возможности развлекаться; нотариус пускает в оборот мои деньги и ведает моим счетом; отдав ему деньги, я о них уже больше не думаю.

— А мне... мне говорили, что у всех художников — дырявые карманы! — вскричал Вервель.

— Не будет нескромным спросить, кто ваш нотариус? — полюбопытствовала г-жа Вервель.

— Славный малый, воплощенная честность — Кардо.

— Да что вы! Вот потеха! Кардо ведь и наш нотариус! — воскликнул Вервель.

— Не двигайтесь,— сказал художник.

— Да сиди же спокойно, Антенор, ты мешаешь господину художнику, а если бы ты видел, как он работает, ты понял бы...

— Боже мой! Почему вы не обучали меня искусствам? — обратилась Виржини к своим родителям.

— Виржини! — вскричала г-жа Вервель.— Молодая девица не должна знать некоторых вещей. Вот выйдешь замуж... там видно будет! А до тех пор веди себя скромнее!

За время первого сеанса между семейством Вервель

и почтенным художником установилась некоторая близость. Следующий сеанс должен был состояться через два дня. Выйдя из мастерской, родители велели Виржини идти впереди, но она все же уловила отдельные слова, смысл которых не мог не возбудить ее любопытство.

Человек с орденом... тридцать семь лет... художник, имеет заказы, помещает деньги у нашего нотариуса... Посоветуемся с Кардо?.. Называться госпожой де Фужер. Гм? Он, видимо, неплохой человек... Ты скажешь— торговец... Но пока торговец не удалился от дел, нельзя знать, что станется с нашей дочерью! А бережливый художник... К тому же мы любим искусство... Ну, посмотрим!..

Пока Пьер Грассу занимал мысли семьи Вервель, семья Вервель занимала мысли Пьера Грассу. Ему не сиделось в тихой мастерской, он отправился побродить по бульвару и внимательно приглядывался ко всем проходившим мимо рыжим женщинам. Он предавался странным размышлениям: золото — самый прекрасный металл, желтый цвет — цвет золота, римлянам нравились рыжеволосые женщины, он уподобится римлянам и т. д...

Какой мужчина после двухлетнего супружества обращает внимание на цвет волос своей жены... Красота проходит, но безобразие остается... Деньги — залог счастья. Вечером, ложась в постель, он уже находил Виржини Вервель очаровательной.

Когда Вервели явились на следующий сеанс, художник встретил их любезной улыбкой. Он подстриг бороду, причесался к лицу, надел тонкое крахмальное белье, лучшие панталоны и красные домашние туфли с острыми загнутыми носками. Супруги улыбнулись ему не менее любезно, а Виржини зарделась под цвет своих волос, опустила глаза и, отвернувшись, принялась разглядывать этюды. Это жеманство показалось Грассу очаровательным. Виржини была мила и, к счастью, не походила ни на мать, ни на отца. В кого же она пошла?

«А, вот оно что! — решил художник.— Мамаша, верно, заглядывалась на какого-нибудь приказчика».

Во время сеанса Грассу и семейство Вервель перебрасывались шутками, и Фужер отважился найти старика Вервель остроумным. После этого признания в его сердце стремительно ворвалась симпатия ко всему семейству,

и он преподнес Виржини один из своих набросков, а матери подарил эскиз.

— Даром? — спросили они.

Грассу не удержался от улыбки.

— Не следует так раздавать свои картины: это деньги,— заметил Вервель.

На третьем сеансе папаша Вервель заговорил о замечательном собрании картин в его загородном доме в Виль д'Авре: там есть полотна Рубенса, Герарда Доу, Миериса, Терборха, Рембрандта, Пауля Поттера и даже один Тициан.

— Господин Вервель совершал безумства,— напыщенно заявила г-жа Вервель,— у нас картин на сто тысяч экю.

— Я люблю искусство,— заявил бывший торговец бутылками.

Когда Фужер, почти закончив портрет супруга, начал писать портрет г-жи Вервель, восторг семейства не знал уже границ. Нотариус отозвался о художнике с большой похвалой. В его глазах Пьер Грассу был честнейшим малым, одним из наиболее добропорядочных художников, вдобавок он уже скопил тридцать шесть тысяч франков. Время лишений для него миновало, он зарабатывал до десяти тысяч франков в год, обращал проценты в капитал и, самое главное, уж, конечно, неспособен сделать женщину несчастной. Последняя фраза окончательно перетянула чашу весов. Теперь друзья семейства Вервель только и слышали разговоры о знаменитом Фужере. В день, когда Грассу принялся писать портрет Виржини, он уже был in petto[1] зятем семьи Вервель. Вервели буквально расцветали в его мастерской, они чувствовали себя здесь, как дома. Их неизъяснимо влекла к себе эта чистенькая, прибранная, уютная мастерская художника. Abyssus abyssum[2], буржуа тянется к буржуа. Однажды к концу сеанса на лестнице что-то загромыхало, дверь с шумом распахнулась, и на пороге появился Жозеф Бридо. У него был крайне возбужденный и измученный вид; волосы были растрепаны, глаза метали молнии. Он обежал вокруг мастерской и внезапно подскочил к Грас-

---

[1] Втайне, негласно *(итал.)*.

[2] Бездна бездну (призывает) *(лат.)*.

су, тщетно пытаясь застегнуть сюртук: пуговица выпала из суконной обтяжки.

— Дела плохи! — бросил он Грассу.

— Что с тобой?

— За мной по пятам кредиторы... Слушай, ты рисуешь эти... штуки?

— Да тише, ты!

— А-а, так-так!

Семейство Вервель, безмерно возмущенное этим странным вторжением, сменило свой обычно красный цвет на ярко-багровые тона пламени.

— Деньги загребаешь? — закричал Бридо.— Завелись кругленькие в кошельке?

— Сколько тебе нужно?

— Пятьсот... За мной гонится заимодавец из породы догов,— такой, если вцепится зубами, уж не отпустит, не оторвав куска... Такая порода!

— Я дам тебе записку к моему нотариусу.

— У тебя есть нотариус?

— Да.

— Тогда понятно, что ты все еще пишешь щеки этими розовыми тонами... До чего хороши!.. Хоть на вывеску парфюмерной лавки.

Грассу не мог скрыть смущения: ему позировала Виржини.

— Бери натуру такой, какова она есть,— продолжал великий художник.— Мадемуазель — рыжая. Ну что ж, разве это смертный грех? В живописи все великолепно. Положи-ка на палитру киноварь, оживи эти щеки, разбросай по ним коричневые крапинки, а здесь подмажь маслом! Неужели ты думаешь, что у тебя больше разума, чем у природы?

— Вот что,— предложил Фужер,— займи мое место, покамест я напишу нотариусу.

Вервель подкатился к Грассу и наклонился к его уху.

— Этот грубиян все как есть испортит,— зашептал торговец.

— Согласись только он написать вашу Виржини, портрет вышел бы в тысячу раз лучше,— с негодованием ответил Фужер.

Услышав эти слова, г-н Вервель смиренно попятился к своей супруге, ошеломленной вторжением дикого зве-

ря и весьма мало довольной тем, что тот приложит руку к портрету ее дочери.

— Следуй намеченному,— сказал Бридо, отдавая Грассу палитру и беря у него записку.— Ну, я тебя не благодарю! Теперь я могу вернуться в особняк д'Артеза,— я там расписываю столовую, а Леон де Лора занимается украшением входа. Здорово выходит! Приходи посмотреть...

И он ушел, не попрощавшись, так скучно было ему глядеть на Виржини.

— Кто этот человек? — спросила г-жа Вервель.

— Великий художник,— ответил Грассу.

Минуту длилось молчание.

— Вы уверены, что он не испортил моего портрета?— спросила Виржини.— Он меня напугал.

— Он его только улучшил! — ответил Грассу.

— Пусть он и знаменитый художник, но мне больше по сердцу знаменитости, похожие на вас,— промолвила г-жа Вервель.

— Ах, мама, господин Фужер еще более знаменитый художник! Он нарисует меня во весь рост,— заявила Виржини.

Выходки гения ошеломили этих добропорядочных буржуа...

Наступили дни ранней осени, так своеобразно называемой летом святого Мартина. Робко, как новопосвященный в присутствии гения, г-н Вервель решился пригласить Грассу провести воскресный день в их загородном доме, извиняясь, что художник найдет там лишь общество простых смертных, мало привлекательное для него.

— Вам, артистам,— проговорил он,— нужны сильные переживания, грандиозные зрелища, умные собеседники! Но мы угостим вас хорошим винцом; а моя картинная галерея, надеюсь, вознаградит вас за скуку, которую такому художнику, как вы, придется испытать среди торговых людей.

Это преклонение, столь ласкавшее самолюбие, очаровало Пьера Грассу, не привыкшего к подобным восхвалениям. Этот славный малый, золотое сердце, человек скромной жизни, этот посредственный художник, бесталанный рисовальщик, награжденный по королевскому указу орденом Почетного легиона, в полном параде от-

правился насладиться последними погожими деньками в Виль д'Авре. Он скромно приехал в дилижансе и залюбовался красивым загородным домом торговца бутылками, живописно расположенным посреди парка в пять арпанов на возвышенности Виль д'Авре. Жениться на Виржини значило стать в один прекрасный день владельцем этого дома! Вервели встретили его так восторженно, с такой радостью, сияя таким добродушием, проникнутым откровенной мещанской глупостью, что он даже смутился. То был торжественный день. Жениха водили по аллеям, старательно расчищенным по случаю приезда знаменитого человека. Деревья, казалось, были причесаны, газоны подстрижены. В чистом деревенском воздухе разливались живительные кухонные запахи. Все в этом доме говорило: «Нас посетил знаменитый художник». Низенький папаша Вервель катился, как яблочко, по аллеям парка, дочка извивалась, как угорь, а мамаша выступала чинно и благородно. Эти три существа семь часов кряду ни на минуту не отходили от Пьера Грассу. После обеда, продолжительность которого равнялась его пышности, г-н и г-жа Вервель преподнесли главное угощение— осмотр галереи, освещенной выигрышно развешанными лампами. Трое соседей, бывшие торговцы, богатый дядюшка, приглашенные чествовать знаменитого художника, старая дева, родственница семьи, и другие гости последовали за Грассу, любопытствуя узнать его мнение о знаменитой картинной галерее Вервеля, который надоедал им постоянными разговорами о баснословной стоимости своих картин. Бывший торговец бутылками, казалось, вознамерился соперничать с королем Луи-Филиппом и галереями Версаля. Картины у него висели в великолепных рамах; на маленьких дощечках черными буквами по золотому фону было выведено:

РУБЕНС

Танец фавнов и нимф

РЕМБРАНДТ

Зал анатомии.

Доктор Тромб читает лекцию ученикам

Всего насчитывалось сто пятьдесят картин, покрытых лаком, без единой пылинки; кое-какие полотна были задернуты зелеными занавесками, которые не раздвигались в присутствии молодых девиц.

Художник замер на месте, бессильно уронив руки, разинув рот, не в силах выговорить ни слова: половину галереи занимали его собственные картины. Он был и Рубенс, и Пауль Поттер, и Миерис, и Метсу, и Герард Доу! Он совмещал в своем лице двадцать великих мастеров!

— Что с вами? Вы побледнели! Дочка, принеси воды! — вскричала г-жа Вервель.

Художник схватил папашу Вервеля за пуговицу фрака и отвел в уголок под предлогом осмотра картины Мурильо; в то время испанские художники были в моде.

— Вы купили картины у Элиа Магюса?

— Да, и все — подлинники!

— Скажите мне по секрету, за сколько он продал вам те, которые я укажу?

Вдвоем они обошли галерею. Гости умилялись, глядя, как внимательно художник в сопровождении г-на Вервеля рассматривал шедевры искусства.

— Три тысячи франков,— шепнул Вервель, подходя к последней картине.— Но я говорю всем, что заплатил сорок тысяч.

— Сорок тысяч франков за Тициана! — воскликнул художник.— Да ведь это даром!

— Я же говорил вам, что у меня картин на сто тысяч экю!

— Послушайте, да ведь это я написал все эти картины,— шепнул ему на ухо Пьер Грассу.— И получил за все не более десяти тысяч франков.

— Докажите это,— ответил торговец бутылками,— и я увеличу вдвое приданое дочери: значит, вы — Рубенс, Рембрандт, Терборх, Тициан!

— А Магюс — несравненный продавец картин! — воскликнул художник; ему наконец стало понятно, почему его картины приобретали старинный вид и зачем торговец заказывал такие сюжеты.

Отнюдь не потеряв уважения своего почитателя, г-н де Фужер,— так семья Вервель упорно величала Пьера Грассу,— проявил такую щедрость, что написал бесплатно портреты всего семейства и преподнес их своему тестю, теще и жене.

Ныне Пьер Грассу не пропускает ни одной выставки и слывет в буржуазных кругах хорошим портретистом.

Он портит холста на пятьсот франков и зарабатывает тысяч двенадцать в год. Жена его получила в приданое капитал, который приносит шесть тысяч франков ренты; зять живет вместе с тестем и тещей. Вервели и Грассу прекрасно ладят друг с другом, они имеют собственный выезд и принадлежат к числу самых счастливых людей на свете. Пьер Грассу вращается в замкнутом буржуазном кругу, где его считают одним из крупнейших художников нашего времени. И если кому-либо из живущих между заставой дю Трон и улицей Тампль приходит желание обзавестись фамильным портретом, его заказывают не иначе как Пьеру Грассу и платят не меньше пятисот франков. У буржуа есть веский довод, побуждающий их обращаться именно к этому художнику: «Что ни говори, а он ежегодно вносит двадцать тысяч франков своему нотариусу!» Так как Грассу проявил себя с лучшей стороны во время восстания 12 мая, он был награжден офицерским крестом ордена Почетного легиона и теперь командует батальоном национальной гвардии. Версальскому музею было неудобно не поручить заказа на картину столь благонамеренному гражданину; и Грассу нарочно разгуливал по всему Парижу, чтобы при встречах со старыми друзьями бросить им с небрежным видом: «Король поручил мне написать сражение!»

Госпожа Фужер обожает своего мужа, она подарила ему двоих детей. Но этот живописец, хороший супруг и отец, не может отогнать от себя роковой мысли: художники насмехаются над ним, его имя стало в мастерских презрительной кличкой, критика не занимается его произведениями. Однако он упорно работает, мечтает об Академии и несомненно попадет туда. Кроме того, Грассу облегчает душу мщением особого рода: он скупает картины знаменитых художников, оказавшихся в стесненных обстоятельствах, и заменяет свою мазню в галерее Виль д'Авре чужими, но подлинными шедеврами.

Мы знаем бездарных людей куда более заносчивых и злобных, чем Пьер Грассу, который занимается благотворительностью, не выставляя этого напоказ, и отличается безукоризненной любезностью.

Париж, декабрь 1839 г.

ПРИНЦ БОГЕМЫ

Генриху Гейне.

Дорогой Гейне! Вам посвящаю я этот очерк, Вам, который в Париже представляет мысль и поэзию Германии, а в Германии — живую и остроумную французскую критику; Вам, который лучше чем кто-либо другой поймет, что здесь от критики, от шутки, от любви и от истины.

Де Бальзак.

— Дорогой друг,— сказала г-жа де ла Бодрэ, доставая из-под подушки козетки рукопись,— простите ли вы мне, что вследствие печального положения, в котором мы находимся, я сделала рассказ из того, что слышала от вас несколько дней назад?

— В наше время все идет в дело,— ответил Натан.— Разве вы не встречали сочинителей, которые, за недостатком фантазии, преподносят публике историю собственного сердца, а нередко — также и историю сердца своей любовницы? Дойдет до того, моя дорогая, что станут искать приключений не столько ради удовольствия играть в них роль героев, сколько ради возможности их пересказать.

— Во всяком случае вы и маркиза де Рошфид оплатили нашу квартиру, а если принять во внимание все происходящее, я не думаю, что мне когда-нибудь удастся сделать для вас то же самое.

— Кто знает, быть может, и вам улыбнется счастье, как госпоже де Рошфид.

— Вы полагаете, что вернуться к мужу — значит обрести большое счастье?

— Нет, только большое состояние. Начинайте же, я слушаю.

Госпожа де ла Бодрэ приступила к чтению.

Место действия — роскошный салон на улице Шартр дю Руль. Один из самых прославленных писателей нашего времени сидит на козетке рядом с известной маркизой, с которой он близок, как должен быть близок человек, отмеченный вниманием женщины, которая держит его возле себя не столько за неимением лучшего, сколько как снисходительного patito [1].

— Ну как,— спросила она,— отыскали вы письма, о которых говорили мне вчера и без которых не могли рассказать обо всем, что *его* касается?

— Письма со мной.

— Тогда говорите. Я буду слушать внимательно, как ребенок, которому мать рассказывает сказку о «Большом крылатом змие».

— Молодой человек, о котором пойдет речь, принадлежит к числу хороших моих знакомых, каких обычно называют приятелями. Он дворянин, юноша необыкновенно остроумный и столь же несчастный, полный самых благих намерений, очаровательный собеседник, несмотря на свою молодость, уже немало повидавший; в ожидании лучшего он ведет жизнь *богемы*. Богема, взгляды которой следовало бы назвать философией Итальянского бульвара, состоит из молодых людей в возрасте от двадцати до тридцати лет; все они в своем роде гениальны, хотя пока еще мало известны; но они еще проявят себя и станут людьми заметными. На них уже и теперь обращают внимание в дни карнавала, когда их остроумие, не находящее применения в другое время года, ищет себе выхода в забавных выдумках и причудах. В какое время мы живем! До чего нелепа власть, которая заставляет прозябать такие огромные силы! Среди богемы нашлись бы дипломаты, способные опрокинуть расчеты России, если бы они почувствовали поддержку французского государства. Там можно встретить писателей, администраторов, военных, художников, журнали-

---

[1] Поклонник *(итал.)*.

стов. Словом, это микрокосм, и в нем представлены все виды ума и дарований. Если бы русский император, потратив миллионов двадцать, купил нашу богему (допустим, что она согласилась бы расстаться с парижскими бульварами) и переселил ее в Одессу, то через год Одесса стала бы Парижем. Так бесплодно сохнет цвет великолепной французской молодежи; и Наполеон и Людовик Четырнадцатый приближали к себе молодежь, но вот уже тридцать лет ею пренебрегает наша жеронтократия[1]: при этой власти все во Франции чахнет. Это та прекрасная молодежь, о которой профессор Тиссо, человек, вполне заслуживающий доверия, еще вчера говорил: «Услугами этой поистине достойной его молодежи император пользовался повсюду — в советах, в важнейших государственных органах, в исполненных трудностей и опасностей переговорах, поручениях, делах, в управлении завоеванными странами, и всюду она оправдывала его ожидания. Молодежь была для него тем же, чем missi dominici[2] были для Карла Великого». Само слово «богема» говорит вам все: богема живет тем, что у нее есть, а у нее нет ничего. Ее религия — надежда. Ее кодекс — вера в себя. Основа ее бюджета — пресловутая любовь к ближнему. Эти молодые люди выше своих несчастий. Не имея средств, они находят средства бороться с судьбой, живя «на авось», они остроумны, как фельетонисты, и веселы, как люди, которые кругом в долгах, ну, а в долг они берут столь же часто, как и пьют! И, наконец, к чему я и веду,— все они влюблены. Но как влюблены! Представьте себе Ловласа, Генриха Четвертого, Регента, Вертера, Сен-Пре, Ренэ, маршала Ришелье в одном лице, и тогда вы получите представление об их любви! Что это за влюбленные! В страстных чувствах они, неисправимые эклектики, могут угодить любой женщине. Их сердце напоминает ресторанное меню. Сами того не ведая, они применяют на практике книгу Стендаля «О любви», даже не прочитав ее, быть может. У них на выбор самые различные виды любви: любовь-влечение, любовь-страсть, любовь-каприз, любовь возвышенная и прежде всего любовь мимолетная. Для них все хорошо; это они пустили в ход шутовское изречение: «Все жен-

[1] Власть стариков.

[2] Государевы посланцы *(лат.)*.

щины равны перед мужчиной». Буквально это изречение звучит еще сильнее, но так как, по-моему, самая мысль его несостоятельна, я не придаю значения букве.

Сударыня, моего приятеля зовут Габриэль-Жан-Анн-Виктор-Бенжамен-Жорж-Фердинанд - Шарль - Эдуард Рустиколи, граф де ла Пальферин. Рустиколи приехали во Францию с Екатериной Медичи после того, как лишились небольших владений в Тоскане. Будучи в дальнем родстве с д'Эстэ, они примкнули к Гизам. В Варфоломеевскую ночь Рустиколи перебили немало протестантов, и Карл Девятый даровал им наследственное графство де ла Пальферин, конфискованное у герцога Савойского; графство это позднее выкупил у них Генрих Четвертый, оставив Рустиколи титул: великий король имел глупость вернуть герцогу Савойскому его владения. Взамен графы де ла Пальферин, имевшие раньше Медичи собственный герб (*серебряный, увитый лилиями, крест на лазурном поле,*— лилии были пожалованы грамотой Карла Девятого,— *увенчанный графской короной, поддерживаемой двумя крестьянами, с девизом «сим победиши»*), получили две коронных должности и управление провинцией. Они играли видную роль при Валуа и позднее, вплоть до безраздельного владычества Ришелье; затем, при Людовике Четырнадцатом, влияние их сильно уменьшилось, а при Людовике Пятнадцатом они разорились. Дед моего приятеля промотал остатки состояния этого блестящего рода с мадемуазель Лагер, которую он первый, еще до Буре, ввел в моду. В 1789 году отцу Шарля-Эдуарда, офицеру без всяких средств, пришла в голову благоразумная мысль воспользоваться революционным духом времени и именоваться просто Рустиколи. Во время итальянских войн он женился на некоей Каппони, крестнице графини Альбани (отсюда последнее имя де ла Пальферина); отец нашего приятеля был одним из лучших полковников наполеоновской армии, император произвел его в командоры ордена Почетного легиона и сделал графом. У полковника было легкое искривление позвоночника, и сын его, смеясь, говорил по этому поводу: «Это был *подправленный* граф». Генерал граф Рустиколи — ибо он стал бригадным генералом еще в Ратисбонне — умер в Вене после битвы при Ваграме, получив на поле сражения чин дивизионного

генерала. Его имя, добытая им в Италии слава и его заслуги рано или поздно принесли бы графу маршальский жезл. Во время Реставрации он восстановил бы знатный и блестящий род де ла Пальферин, столь известный уже к 1100 году под именем Рустиколи, ибо к тому времени из числа Рустиколи вышел уже один папа, и они дважды совершили государственный переворот в Неаполитанском королевстве; представители этого рода, блиставшего при Валуа, оказались достаточно ловкими, чтобы, оставаясь неисправимыми фрондерами, сохранить свое существование при Людовике Четырнадцатом; Мазарини питал к ним слабость, распознав в них остатки духа Тосканы. Теперь же, когда называют имя Шарля-Эдуарда де ла Пальферина, едва ли двое-трое из ста человек знают, что такое род де ла Пальферин; но ведь допустили же Бурбоны, чтобы один из Фуа-Грайи жил своей кистью. Ах, если бы вы знали, как остроумно Эдуард де ла Пальферин шутит над своим более чем скромным положением; как он издевается над буржуа 1830 года! Какая тонкая ирония, какой блеск ума! Если бы богема согласилась избрать себе короля, он стал бы королем богемы. Его остроумие неистощимо. Ему мы обязаны картой богемы и названиями семи ее замков, которых не мог отыскать Нодье.

— Вот единственная деталь, в которой еще нуждалась одна из самых остроумных шуток нашего времени,— заметила маркиза.

— Некоторые выходки моего приятеля ла Пальферина помогут вам вернее судить о нем,— продолжал Натан.— Как-то ла Пальферин встретил на бульваре одного из своих друзей, тоже принадлежащего к богеме: тот спорил с каким-то буржуа, считавшим себя оскорбленным. С нынешней властью богема держит себя очень дерзко. Речь зашла о дуэли.

— Одну минуту,— вмешался ла Пальферин с горделивым видом настоящего Лозена,— одну минуту: вы, сударь, родом?..

— Что такое, сударь? — спросил буржуа.

— Да кто вы родом? Как вас зовут?

— Годэн.

— Ах так, Годэн! — произнес друг ла Пальферина.

— Одну минуту, дорогой мой,— остановил приятеля

ла Пальферин.— Есть Тригодэны. Вы не из их рода? (Изумление буржуа.)

— Нет? В таком случае вы из новоявленных герцогов де Гаэт, императорской выделки? Нет. Так как же вы хотите, чтобы мой друг, который станет секретарем посольства и послом и перед которым вам придется снимать шляпу, дрался с вами на дуэли?.. Годэн! Такого не существует, вы — ничто, Годэн! Мой друг не может сражаться с пустотой. Чтобы драться с *кем-то*, надо самому быть *чем-то!* Прощайте, любезнейший. Пойдем, дружище. Поклон супруге,— добавил приятель графа.

В другой раз ла Пальферин прогуливался с приятелем. Тот швырнул окурок сигары в лицо какому-то прохожему; прохожий имел бестактность рассердиться.

— Вы выдержали огонь противника,— бросил молодой граф,— свидетели находят, что ваша честь удовлетворена.

Он задолжал тысячу франков портному. Вместо того чтобы прийти за деньгами самому, портной однажды утром прислал к ла Пальферину старшего приказчика. Посланный отыскал несчастного должника на седьмом этаже, в глубине двора, в верхнем конце предместья дю Руль. Мебели в комнате не было. Была, правда, кровать, но что за кровать! И стол, но что за стол! Ла Пальферин выслушал нелепое и, по его словам, возмутительное требование, да еще сделанное в семь часов утра.

— Пойдите и расскажите хозяину,— ответил он, принимая позу Мирабо,— в какой обстановке вы меня застали.

Приказчик удалился, бормоча извинения. Увидев, что он уже на лестничной площадке, ла Пальферин встал и с величавостью, воспетой стихами «Британника», проговорил ему вслед:

— Обратите внимание на лестницу! Рассмотрите хорошенько лестницу и не забудьте рассказать ему о лестнице!

В какое бы положение ни ставил его капризный случай, ла Пальферин всегда оказывался на высоте, сохранял присутствие духа и прекрасные манеры. Всегда и во всем он проявлял гений Ривароля и изящество французского вельможи. Это он сочинил очаровательную историю о том, как некий приятель банкира Лаффита явился в бю-

ро национальной подписки, объявленной для того, чтобы сохранить за этим банкиром его особняк, где подготовлялась революция 1830 года; буржуа будто бы заявил: «Вот пять франков. Дайте сто су сдачи» [1]. По этому поводу была пущена карикатура. Граф имел несчастье, говоря языком обвинительного акта, сделать одну девушку матерью. Девица, не слишком наивная, во всем признается матери, добропорядочной мещанке; та прибегает к ла Пальферину и спрашивает его, что он думает делать. «Но, сударыня, я не хирург и не повивальная бабка»,— отвечает он. Женщина была ошеломлена. Но через три или четыре года она вновь явилась к ла Пальферину и принялась настойчиво допытываться, что он все же намерен предпринять. «О, сударыня,— ответил граф,— когда ребенку исполнится семь лет — возраст, когда дети из женских рук переходят в мужские... (одобрительное движение матери), если ребенок действительно мой (жест матери), если он, как две капли воды, похож на меня, если он обещает стать дворянином, если я обнаружу в нем мой склад ума, и особенно осанку Рустиколи,— о! тогда (новое движение), слово дворянина, я подарю ему... палочку ячменного сахара!» Если вы разрешите мне воспользоваться стилем, какой употребляет господин Сент-Бев в своих «Биографиях неизвестных»,— все это игриво, забавно, но уже говорит об испорченности человека крепкой породы. Это больше отдает Оленьим парком, чем отелем Рамбулье. Тут нет ни малейшей нежности, и я вижу в этом своего рода распутство, и даже в большей мере, чем мне хотелось бы допустить его в натурах блестящих и великодушных. Галантные проказы во вкусе герцога Ришелье для нас, пожалуй, слишком уж шаловливы. Это напоминает крайности восемнадцатого века, которые возвращают нас ко временам мушкетеров и набрасывают тень на Шампсене; но эта ветреность таит в себе нечто от утех и развлечений старого двора Валуа. В эпоху столь высоконравственную, как наша, необходимо строго наказывать за такие дерзкие выходки; однако эта палочка ячменного сахара может вместе с тем указать молодым девицам на опасность частых встреч, сначала полных розовых грез, нежных и чарующих, но

---

[1] Франк содержит двадцать су.

которые незаметно ведут к волнению чувств, ко все возрастающей податливости, к двусмысленным положениям и к последствиям, слишком ощутимым. Анекдотический случай этот рисует живой и острый ум ла Пальферина, обладающего той гибкостью, которой требовал Паскаль. Он и нежен и неумолим; подобно Эпаминонду, он одинаково велик в своих крайностях. Насмешливый ответ графа к тому же верно передает эпоху: в те годы еще не было акушеров. Таким образом, эта острота, которая надолго сохранится, свидетельствует вместе с тем об успехах нашей цивилизации.

— Дорогой Натан, что за чепуху вы говорите! — спросила изумленная маркиза.

— Маркиза,— отвечал Натан,— неужели вы не цените эту изысканную фразеологию? Я ведь говорю сейчас на новом французском языке, созданном Сент-Бевом. Итак, продолжаю. Однажды, прогуливаясь по бульвару под руку с друзьями, ла Пальферин видит, что к нему приближается один из самых свирепых его кредиторов.

— Думаете ли вы обо мне, сударь? — спрашивает кредитор.

— Меньше всего на свете,— отвечает граф.

Обратите внимание, в каком он был трудном положении; когда-то Талейран при подобных же обстоятельствах сказал: «Вы слишком любопытны, милейший!» И трудность заключалась в том, чтобы не впасть в подражание этому неподражаемому человеку. Молодой граф, щедрый, как Букингэм, не мог выносить, когда его застигали врасплох, и однажды, не имея при себе ни гроша, чтобы подать милостыню маленькому трубочисту, он запускает руку в бочонок с виноградом, стоящий у входа в бакалейную лавку, и набивает гроздьями шапку юного савояра. Мальчишка принимается уплетать виноград. Бакалейщик расхохотался и протянул ла Пальферину руку.

— О нет, сударь! — воскликнул граф.— Ваша левая рука не должна знать, что сделала моя правая.

Безрассудно храбрый, Шарль-Эдуард не ищет, но и не избегает приключений. Он столь же храбр, как и остроумен. Встретив в проезде Оперы человека, который недостаточно учтиво отозвался о нем, граф мимоходом толкнул его локтем, затем возвратился и вновь толкнул.

— Вы не отличаетесь ловкостью,— слышит он.

— Напротив: я сделал это умышленно.

Молодой человек подает ему свою визитную карточку.

— Она слишком грязна и затрепана,— говорит ла Пальферин.— Будьте любезны, дайте другую,— добавляет он, отшвырнув карточку.

На дуэли он получает удар шпагой. Его противник, увидя кровь, хочет окончить поединок и восклицает:

— Вы ранены, сударь!

— Разве это удар? — отвечает граф с таким спокойствием, словно находится в фехтовальном зале, и, сделав ответный, но куда более ловкий выпад, прибавляет: — Вот это настоящий удар, сударь.

Его противник полгода пролежал в постели. Все это, если держаться в фарватере господина Сент-Бева, напоминает повадки блестящих вельмож прошлого и тонкие шутки лучших дней монархии. Здесь видна жизнь непринужденная, даже распущенная, живое воображение, которое дается нам лишь на заре юности. Но это уже не бархатистость цветка, а сухое, зрелое и плодоносное зерно, которое обеспечивает зимнюю пору. Не находите ли вы, что все это говорит о чем-то тревожном, неутолимом, не поддающемся ни анализу, ни описанию, но тем не менее понятном, о чем-то таком, что вспыхнет сильным и ярким пламенем, если к тому представится случай? Это тоска, томящая в монастырях, нечто ожесточенное, брожение подавленных бездеятельностью юношеских сил, грусть неясная и туманная.

— Довольно! — воскликнула маркиза.— Вы меня словно холодной водой окатили.

— Это предвечерняя скука. Не знаешь, чем занять себя, и готов делать что угодно, даже что-нибудь дурное, лишь бы что-нибудь делать. И так всегда будет во Франции. Нашу молодежь характеризуют сейчас две черты: с одной стороны, прилежание еще непризнанных, а с другой — пылкие страсти неистовых.

— Довольно! — остановила его властным жестом г-жа де Рошфид.— Вы не щадите моих нервов.

— Я спешу закончить портрет ла Пальферина и перейти в область его галантных похождений, для того чтобы вы могли понять своеобразный облик этого даровитого молодого человека, являющего собою яркий образец нашей язвительной молодежи, когда она достаточно

сильна, чтобы смеяться над положением, в которое ее ставят бездарные правители, достаточно расчетлива, чтобы, видя бесцельность труда, ничего не делать, и пока еще достаточно жизнерадостна, чтобы предаваться удовольствиям — единственное, чего у нее не могли отнять. Но нынешняя политика, одновременно буржуазная, торгашеская и ханжеская, закрывает все пути для деятельности множества талантов и дарований. Нет ничего для этих поэтов, нет ничего для этих молодых ученых! Чтобы дать вам представление о глупости нового двора, я расскажу вам случай, происшедший с ла Пальферином. Цивильным листом предусмотрена должность чиновника по делам вспомоществования нуждающимся. Этот чиновник как-то узнал, что ла Пальферин находится в крайне бедственном положении, без сомнения, доложил об этом начальству и привез наследнику Рустиколи пятьдесят франков. Ла Пальферин принял этого господина с отменной любезностью и завел с ним речь о членах королевской фамилии.

— Правда ли,— спросил граф,— что принцесса Орлеанская расходует такую сумму на это замечательное благотворительное ведомство, учрежденное ею для своего племянника? Это — прекрасное дело.

Ла Пальферин шепнул что-то маленькому десятилетнему савояру, прозванному им «отец Анхиз»; тот служит ему безвозмездно, и граф говорит о нем: «Я никогда не встречал такой глупости в соединении с такой сообразительностью. Он пойдет за меня в огонь и в воду. Все он понимает, кроме одного,— что я не в силах ничего для него сделать».

Анхиз вскоре возвратился в великолепной взятой напрокат двухместной карете; на запятках ее стоял лакей. Услышав стук кареты, ла Пальферин ловко перевел разговор на обязанности чиновника, которого он с тех пор именует «человеком по делам безнадежно нуждающихся», и осведомился о характере его работы и получаемом жаловании.

— Предоставляют ли вам карету для разъездов по городу?

— О нет! — ответил чиновник.

При этих словах ла Пальферин и находившийся у него приятель встали, чтобы проводить беднягу, спустились

вниз и заставили его сесть в карету, так как шел проливной дождь. Ла Пальферин все предусмотрел. Он приказал отвезти чиновника туда, куда тому было нужно попасть. Когда раздатчик милостыни окончил свой новый визит, он увидел, что экипаж ожидает его у ворот. Лакей вручил ему написанную карандашом записку: «Карета оплачена за три дня вперед графом Рустиколи де ла Пальферин, который бесконечно счастлив, что может таким образом присоединиться к благотворительности двора, предоставляя крылья для его благодеяний». С тех пор ла Пальферин называет цивильный лист «листом неучтивости».

Граф был страстно любим некоей Антонией, женщиной довольно легкого поведения; она жила на Гельдерской улице и понемногу приобретала известность. Но когда Антония познакомилась с графом, она еще не особенно «твердо стояла на ногах». Ей не чужда была дерзость прежних времен, которую нынешние куртизанки довели до наглости. После двух недель безоблачного счастья Антония была вынуждена, в интересах своего цивильного листа, вернуться к менее захватывающей страсти. Заметив, что с ним стали недостаточно искренни, ла Пальферин написал Антонии письмо, которое сделало ее знаменитой:

«Сударыня! Ваше поведение меня столь же изумляет, сколь и удручает. Мало того, что своим пренебрежением вы разрываете мне сердце, вы еще имеете жестокость удерживать мою зубную щетку, которую средства мои не позволяют мне заменить другой, ибо мои владения обременены долгами, превышающими их стоимость. Прощайте, прекрасная и неблагодарная подруга! Надеюсь встретиться с вами в лучшем мире!

Шарль-Эдуард».

Несомненно, это письмо (говоря все в том же макароническом стиле Сент-Бева) намного превосходит насмешки Стерна в его «Сентиментальном путешествии». Это Скаррон без его грубости. Не знаю даже, не сказал ли бы об этом Мольер, как сказал он о лучшем, что нашлось у Сирано: «Это мое». Ришелье был не более великолепен, когда писал принцессе, ожидавшей его во дво-

ре, возле кухонь Пале-Руаяля: «Оставайтесь там, моя королева, и чаруйте поварят». Впрочем, шутка Шарля-Эдуарда менее язвительна. Не знаю, был ли известен подобный род остроумия римлянам или грекам. Быть может, Платон, если внимательно вглядеться, и приближался к нему, но лишь в отношении четкости и музыкальности...

— Оставьте этот жаргон,— сказала маркиза,— такие вещи можно печатать, но терзать этим мой слух — наказание, мной не заслуженное.

— Вот как произошла встреча графа с Клодиной,— продолжал Натан.— Однажды, в один из тех пустых дней, когда молодежь не знает, куда деваться от тоски, и, подобно Блонде во время Реставрации, находит выход для своей энергии и избавление от апатии, на которую ее обрекают заносчивые старики, в дурных поступках и шутовских выходках, извинительных лишь в силу дерзости замысла,— в один из таких дней ла Пальферин, постукивая тростью по тротуару, лениво прогуливался между улицей Граммон и улицей Ришелье. Издали он замечает женщину, чересчур элегантно одетую и, как он выразился, увешанную слишком дорогими вещами, которые она носила с такой небрежностью, что ее можно было принять либо за принцессу из дворца, либо за принцессу из Оперы. Но после июля 1830 года ошибка, по его словам, была уже невозможна: несомненно, то была принцесса из Оперы. Молодой граф подходит к даме с таким видом, словно назначил ей свидание. Он следует за ней с вежливым упрямством, с настойчивостью хорошего тона, бросая на нее время от времени покоряющие взгляды, но держится так учтиво, что женщина позволяет ему идти рядом. Другой оледенел бы от ее приема, пришел бы в замешательство от первого же отпора, от ее уничтожающе холодного вида и суровых нотаций; но ла Пальферин отвечал ей с такой забавной шутливостью, перед которой отступают всякая серьезность и решительность. Чтобы избавиться от него, незнакомка заходит к модистке. Шарль-Эдуард входит за нею следом, садится, делает замечания и дает советы, как человек, готовый взять на себя расходы. Его хладнокровие тревожит незнакомку. Она выходит и на лестнице обращается к своему преследователю:

— Сударь, я иду к родственнице своего мужа, пожилой даме, госпоже де Бонфало...

— О! Госпожа де Бонфало? — восклицает граф.— Я в восторге, я иду с вами.

И они идут вместе. Шарль-Эдуард входит с дамой; его принимают за ее знакомого, он вступает в разговор, выказывает в нем тонкость и изящество ума. Визит затягивается. Это не входит в его расчеты.

— Сударыня,— обращается он к незнакомке,— не забывайте, что ваш муж ожидает нас. В нашем распоряжении всего четверть часа.— Смущенная такой дерзостью, которая, сами знаете, нравится женщинам, увлеченная покоряющим взглядом, серьезным и в то же время простодушным видом, какой умеет принимать Шарль-Эдуард, она встает, принимает руку своего неотвязного кавалера, спускается вниз и на пороге говорит ему:

— Сударь, я люблю шутку...

— О, я также! — отвечает граф. Клодина рассмеялась.— Но,— продолжал он,— от вас одной зависит, чтобы это перестало быть шуткой. Я граф де ла Пальферин и был бы счастлив сложить к вашим ногам свое сердце и свое состояние.

Ла Пальферину было тогда двадцать два года. Все это происходило в 1834 году. К счастью, граф был одет в тот день элегантно. Я опишу в двух словах его внешность. Это живой портрет Людовика Тринадцатого: у него бледный лоб с изящными висками, смуглый, итальянский цвет лица, который при свечах кажется белым, длинные темные волосы и черная бородка. У него тот же серьезный и меланхолический вид, ибо его внешность и характер представляют разительный контраст. Услышав звучное имя, Клодина пристально смотрит на его обладателя и испытывает легкий трепет. Это не ускользает от ла Пальферина, и он устремляет на нее глубокий взгляд своих черных миндалевидных глаз с темными, помятыми веками, которые свидетельствовали о пережитых наслаждениях, изнуряющих не меньше, чем невзгоды и волнения. Покоряясь этому взгляду, она спрашивает:

— Ваш адрес?

— Вопрос не по адресу,— бросает он.

— А, вот оно что,— улыбаясь, говорит она.— Птичка на ветке?

— Прощайте, сударыня! Вы как раз такая женщина, которая мне нужна, но средства мои не соответствуют моим желаниям.

Он раскланивается и, не оборачиваясь, уходит. Два дня спустя, по той роковой случайности, какие возможны только в Париже, граф отправляется к торговцу платьем, дающему ссуды под залог, чтобы сбыть ему излишки своего гардероба. С беспокойным видом он соглашается на установленную после долгих споров цену, как вдруг видит проходящую мимо незнакомку, которая, несомненно, узнала его. «Нет, я решительно отказываюсь взять этот рог!» — бросает он ошеломленному торговцу, указывая на висевший снаружи огромный помятый охотничий рог, который выделялся на фоне ливрейных фраков посольских лакеев и ветхих генеральских мундиров. Затем он гордо выходит и стремительно бросается за молодой женщиной. Начиная с этого знаменательного дня, отмеченного историей с охотничьим рогом, они прекрасно поняли друг друга. У Шарля-Эдуарда были правильные взгляды на любовь. В жизни человека, по его словам, любовь не повторяется дважды: она приходит только один раз, глубокая и безбрежная, как море. Такая любовь может снизойти на каждого, как благодать снизошла на святого Павла, но человек может дожить и до шестидесяти лет, не испытав ее. Такая любовь, по великолепному выражению Гейне, есть, быть может, тайная болезнь сердца, сочетание чувства бесконечного, заключенного в нашей душе, и прекрасного идеала, который открывается нам в зримой форме. Словом, такая любовь объемлет собою и отдельное существо и все творение. И пока речь не заходит об этой великой поэме, к любви мимолетной можно относиться лишь как к шутке, подобно тому, как относятся в литературе к легкой поэзии, сравнивая ее с поэзией эпической.

Для графа эта связь не была той ослепительной молнией, которая является предвестником истинной любви, не была она и постепенным раскрытием женского обаяния и признанием скрытых качеств, которые связывают два существа со все возрастающей силой. Настоящая любовь всегда приходит одним из этих двух путей: или лю-

бовь с первого взгляда, являющаяся, несомненно, следствием ясновидения — внутреннего зрения, как выражаются шотландцы, или постепенное слияние двух существ, образующих подобие платоновского андрогина. Но Шарль-Эдуард был любим безумно. Его возлюбленная испытывала к нему любовь совершенную — и духовную и физическую. Словом, ла Пальферин был настоящей страстью Клодины, тогда как Клодина была для него всего лишь очаровательной любовницей. Ад и князь его сатана, который, без сомнения, великий чародей, ничего не могли бы изменить в отношениях этих двух столь несхожих темпераментов. Я смею утверждать, что Клодина нередко наводила на Шарля-Эдуарда скуку. «Нелюбимая женщина и недоеденная рыба через три дня годны только на то, чтобы их выбросили за окно»,— говорил он нам. В богеме не делают особой тайны из легкой любви. Ла Пальферин часто говорил нам о Клодине, однако никто из нас не видел ее и не знал ее настоящего имени. Клодина оставалась для нас существом полумифическим. Все мы поступали так же, примиряя этим способом требования приятельских отношений с правилами хорошего тона. Клодина, Гортензия, баронесса, мещанка, императрица, львица, испанка — вот обозначения, которые позволяли каждому изливать свои чувства, говорить о своих заботах, горестях, надеждах и делиться своими открытиями. Дальше этого не шли. Как-то богеме случайно стало известно имя женщины, о которой шла речь,— и тотчас же, по единодушному молчаливому соглашению, о ней перестали говорить. Факт этот показывает, каким чувством истинной деликатности обладает молодежь. Как изумительно чувствуют эти люди границы, где должна смолкнуть насмешка и отступить свойственная французам склонность к тому, что солдаты называют «бахвальством»; слово это, надо надеяться, будет выброшено из нашего языка, хотя только оно одно и способно передать истинный дух богемы. Мы частенько прохаживались насчет графа и Клодины. «Чего же ты хочешь от своей Клодины?», «Как твоя Клодина?», «Все еще Клодина?» Все это распевалось на мотив арии «Все еще Гесслер» из оперы Россини.

— Желаю вам такую же любовницу,— сказал нам как-то разозленный Пальферин.— Ни один пудель, ни

одна такса или борзая не могут сравниться с нею в мягкости, бесконечной нежной привязанности. Иногда я упрекаю себя, я обвиняю себя в жестокости. Клодина покорна и кротка, как святая. Она приходит, я отсылаю ее домой, она молча уйдет и заплачет только во дворе. Я отказываюсь ее видеть целую неделю, назначаю свидание на следующий вторник, на любой час, будь то полночь или шесть часов утра, десять утра или пять часов вечера — время самое неудобное: час завтрака или обеда, время, когда встают или ложатся спать... Все равно. Она придет, красивая, нарядная, очаровательная,— и точно в назначенный час! А ведь она замужем. У нее масса домашних дел и обязанностей. Мы бы с вами запутались в тех хитростях и доводах, которые ей приходится измышлять и придумывать, чтобы приспособиться к моим капризам!.. Но она не знает усталости и прекрасно держится! Я говорил ей, что это не столько любовь, сколько упрямство. Она пишет мне каждый день, я не читаю ее писем. Она об этом знает и все же продолжает писать! Вот взгляните — в этой шкатулке сотни две ее писем. Она просит меня каждое утро брать по письму и вытирать им бритву, я так и делаю! Она думает, и не без основания, что, увидя ее почерк, я буду вспоминать о ней.— Ла Пальферин, рассказывая, занимался своим туалетом. Я взял письмо, которым он хотел, по обыкновению своему, вытереть бритву, и, так как он не потребовал письмо назад, я прочел его и оставил у себя. Вот оно: я, как и обещал, нашел его.

«Понедельник. Полночь.

Ну что, друг мой, довольны ли вы мною? Я не попросила вас дать мне руку, хотя вам было так легко протянуть ее, а мне так хотелось прижать ее к своему сердцу, к своим губам. Нет, я не попросила об этом из опасения вас рассердить. Я должна сказать вам одну вещь: к несчастью своему, я знаю, что мои поступки для вас безразличны, и все же я всегда, всегда робею перед вами. Женщина, которая вам принадлежит, независимо от того, известно ли кому-нибудь об этом или это остается тайной для всех, не должна навлекать на себя никаких нареканий. Небесные ангелы, для которых нет тайн, знают, что я люблю вас самой чистой любовью, но где бы я

ни была, мне кажется, что я всегда нахожусь в вашем присутствии, и я хочу быть достойной вас.

Меня глубоко поразило то, что вы сказали о моей манере одеваться. Это заставило меня понять, насколько люди благородного происхождения выше остальных! В покрое моих платьев, в моей прическе еще оставалось нечто от привычек оперной танцовщицы. Мне сразу стало ясно, как мало еще у меня настоящего вкуса. В первую же встречу вы не узнаете меня, вы примете меня за герцогиню. О, как ты был добр к своей Клодине! Как я тебе благодарна за то, что ты указал мне мои недостатки. Сколько внимания в нескольких твоих словах! Стало быть, ты все же думаешь о принадлежащей тебе безделушке, которая носит имя Клодины? А разве *он*, этот глупец, мог бы просветить меня в этих вопросах? Ему нравится все, что я делаю, к тому же он слишком занят будничными делами, слишком прозаичен и совсем не обладает чувством прекрасного. Вторник... С каким нетерпением я жду вторника. День, когда я проведу несколько часов возле вас! Ах, во вторник я постараюсь думать, что часы превратились в месяцы и что им не будет конца. Я живу ожиданием этого утра, а когда оно пройдет, буду жить воспоминаниями о нем. Надежда — это мысль о будущем наслаждении, воспоминание — память о наслаждении пережитом. О мысль! Какой прекрасной делаешь ты нашу жизнь! Я мечтаю придумать такие ласки, которые будут только моими и тайну которых не разгадать ни одной женщине. Меня бросает в холод при одной мысли, что нам что-нибудь может помешать. О, я немедленно порвала бы с *ним*, если бы это было нужно. Но не с этой стороны может возникнуть препятствие, а с твоей: у тебя может явиться желание пойти куда-нибудь, даже к другой женщине, быть может. О, пощади этот вторник! Если ты, Шарль, отнимешь его у меня, ты не представляешь, во что это *ему* обойдется: я сведу *его* с ума. Даже если ты и не хочешь быть со мной, если ты собираешься куда-нибудь пойти, позволь мне все же прийти к тебе, посмотреть, как ты будешь одеваться, хотя бы только взглянуть на тебя! Бóльшего я не требую: позволь мне доказать этим, как чиста моя любовь к тебе! С тех пор как ты позволил мне любить тебя,— ведь ты это позволил, иначе бы я не была твоей,— с этого дня я

люблю тебя всеми силами своей души и буду любить вечно. Ведь после тебя нельзя, невозможно любить другого. И, знаешь, когда ты посмотришь в мои глаза, глаза твоей Клодины, которой хочется лишь взглянуть на тебя, ты ощутишь во мне нечто возвышенное, которое ты же и пробудил. Увы! С тобой я — не кокетка! Я отношусь к тебе, как мать к ребенку: я все готова снести от тебя. Властная и гордая с другими, я, которая заставляла бегать за собой принцев, герцогов и флигель-адъютантов Карла X, стоивших побольше современных придворных, я обращаюсь с тобой, как с избалованным ребенком. Да и к чему здесь кокетство? Оно было бы неуместно. Но вот именно из-за того, что нет во мне кокетства, вы никогда не будете любить меня. Я это знаю. Я это чувствую. И все же я во власти какой-то неодолимой силы и не могу поступать иначе. У меня только одна надежда: быть может, полное мое самоотречение пробудит в вас то чувство, которое, по *его* словам, свойственно каждому мужчине по отношению к тому, что он считает своей собственностью».

«Среда.

О, какой безысходной тоской переполнилось сердце, когда я узнала вчера, что придется отказаться от счастья видеть тебя. Одна только мысль помешала мне броситься в объятия смерти: ты так хотел. Не прийти — означало исполнить твою волю, подчиниться твоему приказанию. Ах, Шарль, я была так красива! Ты нашел бы, что я гораздо привлекательнее той блестящей немецкой княгини, которую ты мне ставил в пример и которую я внимательно изучала в Опере. Но, возможно, ты бы нашел, что я не похожа на себя. Видишь, ты лишил меня всякой уверенности в себе, быть может, я безобразна! О, я вся дрожу, я глупею при одной мысли о моем лучезарном Шарле-Эдуарде. Я, наверно, сойду с ума. Не смейся и не говори мне о женском непостоянстве. Если мы изменчивы, то вы, мужчины,— очень странные существа. Лишить бедную женщину нескольких часов радости, в ожидании которых она была счастлива целых десять дней, была добра и очаровательна со всеми, с кем ей пришлось встречаться! Наконец, ты был причиной ласкового моего внимания к *нему*. Ты даже не подозреваешь, сколько зла

ты *ему* приносишь. Я спрашивала себя, что я должна придумать, чтобы удержать тебя или хотя бы иметь право иногда принадлежать тебе... Подумать только, ты ни разу не захотел прийти ко мне! С каким восторгом я бы ухаживала за тобой. Есть женщины счастливее меня. Некоторым ты даже говоришь: «Я люблю вас!» А мне ты в лучшем случае говоришь: «Ты славная девочка!» Ты и не подозреваешь, как иные твои слова терзают мне сердце. Иногда умные люди спрашивают меня, о чем я думаю. Я думаю о своей униженности, об униженности несчастнейшей из грешниц пред лицом спасителя».

— Как видите, здесь еще целых три страницы. Ла Пальферин позволил мне взять это письмо, и я увидел на нем следы слез, которые, казалось, были еще теплыми! Письмо это убедило меня, что ла Пальферин говорит нам правду. Маркас, довольно робкий с женщинами, пришел в восторг от другого ее письма, которое он прочел в своем углу, прежде чем зажечь им сигару.

— Но ведь так пишут все влюбленные женщины! — воскликнул ла Пальферин.— Любовь пробуждает в них ум и обучает стилю: это доказывает, что во Франции стиль рождается мыслью, а не словом. Смотрите, как это глубоко продумано, как логично самое чувство! — И он прочел нам еще одно письмо, написанное во много раз лучше тех искусственных, надуманных писем, которые сочиняем мы, авторы романов.

Однажды несчастная Клодина, узнав, что ла Пальферину угрожает серьезная неприятность в связи с просрочкой векселя, возымела роковую мысль преподнести ему в изящно расшитом кошельке довольно значительную сумму золотом. Какая дерзость!

— Кто тебе позволил вмешиваться в мои личные дела?! — разгневался ла Пальферин.— Штопай мне носки, вышивай мне туфли, если тебе это нравится. Но... А! Так ты вздумала разыгрывать из себя герцогиню, миф о Данае ты обращаешь против аристократии!

С этими словами он высыпал на ладонь содержимое кошелька и сделал вид, будто собирается бросить деньги в лицо Клодине. Не поняв шутки, Клодина испуганно отпрянула назад, наткнулась на стул и упала навзничь, ударившись головой об острый угол камина. Ей показалось, что она умирает. Когда бедняжку положили на кро-

вать и к ней вернулся дар речи, первые ее слова были: «Я заслужила это, Шарль!» На минуту ла Пальферин пришел в отчаяние. Его отчаяние вернуло Клодину к жизни; она порадовалась своему несчастью и воспользовалась им, чтобы заставить графа принять деньги, и тем самым выручила его из беды. Все это в перевернутом виде напоминает басню Лафонтена, в которой муж благодарит воров за то, что из-за них испытал минутную нежность со стороны жены. В этой связи одна фраза ла Пальферина поможет вам лучше понять его характер.

Вернувшись домой, Клодина, как сумела, сочинила целую историю, чтобы объяснить происхождение своей раны. Бедняжка опасно заболела: на голове у нее образовался нарыв. Врач, кажется, Бьяншон (да, это был он), велел остричь Клодине волосы, а волосы у нее прекрасные, не хуже, чем у герцогини Беррийской. Клодина не позволила остричь ее и по секрету призналась Бьяншону, что не может решиться на это без согласия графа ла Пальферина. Бьяншон отправился к Шарлю-Эдуарду. Тот важно выслушал его подробные объяснения о состоянии больной, но когда Бьяншон заявил, что для успешного исхода операции ей необходимо снять волосы, ла Пальферин решительно воскликнул: «Остричь Клодине волосы?! Нет, я предпочитаю потерять ее!» Бьяншон и теперь, по прошествии четырех лет, все еще вспоминает об ответе ла Пальферина, заставившем нас смеяться в течение получаса. Узнав о запрещении ла Пальферина, Клодина усмотрела в этом доказательство привязанности графа и решила, что она любима. Невзирая на слезы родных и мольбы мужа, она осталась непоколебима и сохранила волосы. Благодаря внутренней силе, которую Клодине придала вера в то, что ее любят, операция прошла блестяще. Бывают движения души, которые опрокидывают все расчеты хирургии, все законы медицины. Не соблюдая никаких правил орфографии и пунктуации, Клодина написала ла Пальферину очаровательное письмо, в котором сообщала о счастливом исходе операции и уверяла, что любовь сильнее всех наук.

— А теперь,— сказал нам однажды ла Пальферин,— что придумать, чтобы избавиться от Клодины?

— Но она же тебя нисколько не стесняет, ты делаешь все, что тебе заблагорассудится.

— Это правда,— отвечал ла Пальферин.— Но я не желаю, чтобы без моего согласия в мою жизнь вторгалось что-то постороннее.

С этого дня ла Пальферин начал мучить Клодину. Он питал глубочайшее отвращение к женщинам буржуазного круга, без имени, без титула; ему во что бы то ни стало нужна была аристократка. Правда, Клодина сделала большие успехи: она одевалась теперь не хуже самых элегантных обитательниц Сен-Жерменского предместья, она сумела облагородить свою походку, и все ее движения были полны неподражаемой целомудренной грации, но и этого было недостаточно! Чтобы заслужить похвалу, Клодина была готова на все. «Вот что,— сказал ей однажды ла Пальферин,— если ты хочешь остаться любовницей одного из отпрысков рода ла Пальферин, бедняка без гроша в кармане и без надежд на будущее, ты должна по крайней мере достойно представлять его. У тебя должен быть свой выезд, ливрейные лакеи, титул. Доставь мне все то, что могло бы потешить мое тщеславие и чего я не в силах добиться сам. Женщина, которую я почтил своей благосклонностью, не должна ходить пешком: если ее чулки забрызганы грязью,— я страдаю! Да, уж таким я создан! Весь Париж должен восхищаться моей возлюбленной. Я хочу, чтобы Париж завидовал моему счастью. Хочу, чтобы каждый юноша при виде блистательной графини, проносящейся мимо него в роскошном экипаже, в задумчивости спрашивал себя: «Кому принадлежит это божество?» Это вдвое увеличит мое удовольствие».

Ла Пальферин признался нам, что вбивал все это в голову Клодине, для того чтобы избавиться от нее, но был озадачен в первый и, несомненно, в последний раз в своей жизни. «Хорошо, друг мой,— сказала Клодина голосом, выдававшим глубокое внутреннее волнение,— все это будет сделано, или я умру...— И она восторженно поцеловала его руку, уронив на нее несколько слезинок.— Я бесконечно рада,—прибавила она,—что ты объяснил мне, какой я должна быть, чтобы остаться твоей возлюбленной».—«И сделавши на прощание кокетливый жест счастливой женщины,— рассказывал ла Пальферин,— она вышла из моей мансарды, высокая, гордая и величественная, словно древняя прорицательница».

— Все это достаточно ярко характеризует нравы богемы, одним из наиболее блестящих представителей которой является сей юный кондотьер,— продолжал Натан после небольшой паузы.— Теперь послушайте, как мне удалось узнать, кто была Клодина и каким образом мне стал понятен трагический смысл одной фразы в ее письме; я был поражен правдивостью этой фразы, но вы, быть может, не обратили на нее внимания.

— Продолжайте,— проронила маркиза без малейшей улыбки, настолько она была поглощена своими мыслями; это показало Натану, что она была поражена всеми этими странностями и в особенности живо заинтересовалась самим ла Пальферином.

— В 1829 году одним из наиболее известных, хорошо устроенных и благополучных парижских драматургов был дю Брюэль. Его настоящее имя осталось публике незнакомым, ибо на афишах он значился под псевдонимом де Кюрси. Во время Реставрации он занимал должность начальника канцелярии в одном из министерств. Будучи горячим приверженцем старшей ветви Бурбонов, он мужественно подал в отставку и с тех пор начал писать для театра вдвое больше, стараясь возместить ущерб, причиненный его бюджету сим благородным поступком. Дю Брюэлю было в то время сорок лет; жизнь его вам известна. По примеру многих писателей он был сильно привязан к некой актрисе: такого рода необъяснимые привязанности часто наблюдаются в литературном мире. Его любовницу вы знаете — это Туллия; некогда она была одной из первых учениц Королевской музыкальной академии. Туллия — ее псевдоним, подобно тому, как де Кюрси — псевдоним дю Брюэля. В течение десяти лет — с 1817 по 1827 год — эта девица блистала на знаменитых подмостках Оперы. Посредственная балерина, куда более красивая, чем одаренная, она оказалась практичнее многих танцовщиц — не поддалась новому, добродетельному направлению, погубившему кордебалет, и осталась верна традициям мадемуазель Гимар. Своим успехом она была обязана покровительству нескольких сановных поклонников, в частности герцога де Реторе, сына герцога де Шолье, влиянию известного директора ведомства изящных искусств, а также дипломатам и богатым иностранцам. В расцвете своей карьеры она занимала не-

большой особняк на улице Шоша и вела почти такую же жизнь, как прежние нимфы Оперы. Дю Брюэль влюбился в нее в начале 1823 года, когда страсть герцога де Реторе начала остывать.

Простой чиновник ведомства изящных искусств, дю Брюэль смирился с покровительством директора, полагая, что является счастливым его соперником. По прошествии шести лет связь дю Брюэля и Туллии превратилась в своего рода брак. Туллия тщательно скрывает свое происхождение, известно только, что она родом из Нантера. Говорят, что ее дядя, в прошлом простой плотник или каменщик, благодаря ее рекомендации и денежной поддержке разбогател и сделался крупным подрядчиком по постройке домов. Об этом проговорился сам дю Брюэль, сказавший, что рано или поздно Туллия получит значительное наследство. Подрядчик не женат и питает слабость к племяннице, которой многим обязан. «Этот человек недостаточно умен, чтобы быть неблагодарным»,— говорила она. В 1829 году Туллия решила уйти со сцены. К тридцати годам она заметила, что начинает полнеть. Она попыталась выступать в пантомиме, но неудачно; единственное, что она умела,— это в пируэтах, на манер Нобле, высоко поднимать юбку и показываться партеру полунагой. Старик Вестрис с самого начала объяснил ей, что при удачном исполнении и красоте обнаженных форм танцовщицы прием этот стоит не меньше всех мыслимых талантов. В этом и состояла, по его словам, вся соль номера. А что касается всех этих знаменитых танцовщиц — Камарго, Гимар, Тальони,— тощих, черных и некрасивых, то они достигли известности лишь благодаря своей гениальности. С появлением более молодых и одаренных соперниц Туллия уступила им место, удалившись во всем своем блеске, и поступила умно. Танцовщица аристократическая, не скомпрометированная своими связями, она не пожелала ронять себя в дни июльской неразберихи. У красивой и дерзкой Клодины осталось много приятных воспоминаний, но мало денег, зато у нее были великолепные бриллианты и роскошная обстановка, каких немного в Париже.

Покинув Оперу, эта некогда известная, а теперь уже почти совсем забытая танцовщица мечтала только об одном: женить на себе дю Брюэля. И, как вы догадывае-

тесь, в настоящее время она — госпожа дю Брюэль, хотя об этом браке официально объявлено не было. Каким образом подобного рода женщинам удается заставить жениться на себе по прошествии семи-восьми лет близости? К каким средствам они прибегают? Какие пружины пускают в ход? Но как бы ни была забавна такая интимная драма, не она является темой нашего разговора. Итак, дю Брюэль был тайно женат, факт совершился. До этого Кюрси слыл веселым товарищем, он не всегда ночевал дома, его жизнь несколько напоминала жизнь богемы. Он охотно участвовал в увеселительных прогулках, в ужинах и нередко, выйдя из дому на репетицию в театр Комической оперы, оказывался, сам не зная как, где-нибудь в Дьеппе, Бадене, Сен-Жермене; он давал обеды и вел широкую, расточительную жизнь писателей, журналистов и художников. За кулисами всех парижских театров он умело пользовался своими правами драматурга. Дю Брюэль был вхож в наше общество: Фино, Лусто, дю Тийе, Дерош, Бисиу, Блонде, Кутюр, де Люпо терпели его, несмотря на присущий ему педантизм и тяжеловесные манеры чиновника. Женившись, он превратился в раба Туллии. Что поделаешь,— бедный малый любил ее. Она уверяла, что бросила сцену для того, чтобы всецело посвятить себя ему, чтобы стать хорошей женой и очаровательной хозяйкой. Туллия сумела войти в доверие к самым строгим янсенисткам в семье дю Брюэля. Не позволяя догадываться о своих истинных намерениях, она отправлялась скучать к г-же де Бонфало; она делала дорогие подарки старой и скупой г-же де Шиссе, своей двоюродной тетке. Однажды она целое лето провела у этой дамы и не пропустила ни одной обедни. Танцовщица исповедалась, получила отпущение грехов, причастилась, и все это в провинции, на глазах у тетки. Зимой она нам говорила: «Подумайте только! У меня будут настоящие тетки!» Она так жаждала превратиться в добропорядочную даму, так была рада отречься от своей независимости, что сумела найти способ для достижения этой цели. Она льстила всем старухам родственницам, она каждый день прибегала к матери дю Брюэля, когда та была больна, и проводила у нее часа два. Дю Брюэль был поражен этой ловкой стратегией в духе г-жи Ментенон и восхищался своей же-

ной, нисколько не задумываясь над собственным положением: он был так хорошо опутан, что уже не чувствовал своих пут. Клодина убедила дю Брюэля, что гибкая система буржуазного правления, буржуазной монархии, буржуазного двора была единственной, которая могла позволить какой-то Туллии, ставшей г-жой дю Брюэль, попасть в то общество, куда она, имея достаточно здравого смысла, раньше и не пыталась проникнуть. Пока она довольствовалась тем, что была принята у г-жи де Бонфало, г-жи де Шиссе и г-жи дю Брюэль, где держала себя как женщина умная, простая и добродетельная. Тремя годами позже она была принята и у их приятельниц. «Я никак не могу представить себе, что госпожа дю Брюэль-младшая показывала свои ноги и прочее всему Парижу при свете сотни газовых рожков!» — наивно удивлялась супруга Ансельма Попино. В этом отношении Франция после июля 1830 года походила на империю Наполеона, который в лице г-жи Гара, жены верховного судьи, допустил ко двору бывшую горничную. Бывшая танцовщица, как вы догадываетесь, окончательно порвала со всеми своими прежними приятельницами: она не узнавала тех своих старых знакомых, которые могли бы ее скомпрометировать.

Выйдя замуж, она сняла на улице Виктуар прелестный особнячок с двором и садом; на отделку дома были истрачены безумные деньги, туда были перевезены самые ценные вещи из обстановки Клодины и дю Брюэля. Все, что казалось обычным и заурядным, было продано. Чтобы составить себе верное понятие о царившей там роскоши, следует вспомнить лучшие дни Гимар, Софи Арну, Дютэ и им подобных, поглотивших немало громадных состояний. Как действовал этот роскошный образ жизни на дю Брюэля? Вопрос этот нелегко поставить и еще труднее на него ответить. Чтобы дать вам представление о причудах Туллии, достаточно привести одну подробность. У нее на кровати было покрывало из английских кружев, стоившее десять тысяч франков. Одна известная актриса приобрела такое же; Клодина об этом узнала, и немедленно на ее кровати появилась великолепная ангорская кошка, возлежавшая на кружевном покрывале. Этот анекдотический случай ярко рисует Тул-

лию. Дю Брюэль не посмел сказать ни слова. Он получил приказание широко разгласить об этом вызове на соперничество в роскоши, брошенном той, «другой». Туллия дорожила своим кружевным покрывалом — подарком герцога де Реторе; но однажды, лет через пять после свадьбы, она так увлеклась игрой с кошкой, что разорвала его; покрывало было превращено в вуали, воланы, гарнитуры и заменено другим, которое на сей раз было просто покрывалом, а не свидетельством безумной расточительности. Как выразился один журналист, своей бессмысленной роскошью эти женщины мстят за то, что в детстве они питались одной картошкой. День, когда покрывало было превращено в лоскутья, явился началом новой эры в жизни супругов. Кюрси развил бешеную деятельность. Никто не подозревает, кому обязан Париж водевилями в стиле восемнадцатого века, с пудреными париками и мушками, которые обрушились на театры. Виновницей тысячи и одного водевиля, на которые так жаловались фельетонисты, была непреклонная воля госпожи дю Брюэль: она настояла, чтобы муж купил особняк, отделка которого потребовала огромных расходов, и новую обстановку, стоившую полмиллиона франков. За-

чем? Туллия никогда не дает объяснений, она великолепно знает силу властного женского «потому что»!

— Над Кюрси много смеялись,— заявила она,— но в конечном счете он обрел этот дом в коробке румян, в пуховке для пудры и в расшитых блестками камзолах восемнадцатого века. Не будь меня, он никогда бы до этого не додумался,— заключила она, уютно устраиваясь у камина в глубоком кресле с подушками. Все это она сказала нам, возвратившись с первого представления одной из пьес дю Брюэля, которая имела успех, но должна была вызвать лавину фельетонов.

Туллия принимала. По понедельникам к ней собирались на чашку чая. Общество она подбирала со всей возможной для нее тщательностью и делала все, чтобы ее дом был приятным. В одной гостиной играли в бульот, в другой — беседовали, в третьей, самой большой, она иногда устраивала концерты — непродолжительные, но с участием самых выдающихся артистов. Необычайный здравый смысл Туллии помог ей выработать в себе очень верный такт — качество, которому она была, не-

сомненно, обязана своим влиянием на дю Брюэля; к тому же водевилист любил ее той любовью, которую привычка превращает в жизненную необходимость. Каждый день вплетает лишнюю нить в тонкую, крепкую, всеохватывающую сеть, которая препятствует человеку проявить самое невинное свое желание, самую мимолетную прихоть; нити эти сплетаются, и человек оказывается связанным по рукам и ногам в своих чувствах и мыслях. Туллия хорошо изучила Кюрси: она знала, чем ранить его и как исцелить. Для всякого наблюдателя, даже такого, который, как я, обладает опытом,— подобного рода страсти кажутся бездной; глубины ее тонут во мраке, и даже места наиболее освещенные окутаны туманом. Кюрси, старый, истрепанный закулисной жизнью писака, чрезвычайно ценил удобства своей новой жизни — жизни роскошной, расточительной и беспечной; он был счастлив, чувствуя себя властелином в доме, принимая знакомых литераторов в блиставшем королевской роскошью особняке, где взор радовали лучшие произведения современного искусства. Туллия позволяла ему царить в этом кружке, куда входили и журналисты, которых нетрудно было привлечь к себе дарами. Благодаря званым вечерам и деньгам, предусмотрительно дававшимся взаймы, Кюрси не подвергался особым нападкам, пьесы его имели успех. Поэтому он ни за какие сокровища не расстался бы с Туллией. Он, пожалуй, примирился бы даже с неверностью с ее стороны, лишь бы не нарушать привычного течения своей беззаботной жизни. Но, странное дело: в этом отношении Туллия не внушала ему никаких опасений. За бывшей прима-балериной не замечалось никаких увлечений, а если бы они и были, то она умела бы сохранять приличия.

— Дорогой мой,— наставительным тоном говорил дю Брюэль, прогуливаясь со мною по бульвару,— нет ничего лучше, как жить с женщиной, которая, пресытившись, отказалась от страстей. Такие женщины, как Клодина, в свое время жили по-холостяцки и сыты по горло всякими удовольствиями; они все изведали и вполне сформировались, они лишены жеманства, все понимают и прощают — это самые восхитительные жены, каких только можно пожелать. Я бы каждому посоветовал жениться на таких вот былых призовых лошадках. Я самый

счастливый человек на земле.— Все это дю Брюэль говорил мне в присутствии Бисиу.

— Друг мой,— тихо сказал мне рисовальщик,— быть может, он хорошо делает, что заблуждается.

Неделю спустя дю Брюэль пригласил нас к себе во вторник на обед. Во вторник утром мне пришлось зайти к нему по делу, связанному с театром: речь шла об арбитраже, который был поручен нам комиссией драматургов.

Нам уже пора было идти, но он сначала заглянул в комнату Клодины, к которой никогда не заходит без стука, и попросил разрешения войти.

— Мы живем, как знатные особы,— сказал он мне улыбаясь.— Каждый у себя: мы не стесняем друг друга.

Нас впустили.

— Я пригласил сегодня нескольких друзей к обеду,— сказал дю Брюэль Клодине.

— Вот как! — воскликнула она.— Вы приглашаете гостей, не предупредив меня. Я здесь ничто! Послушайте,— продолжала она, взглядом предлагая мне быть судьей,— я обращаюсь к вам. Если имеют глупость жить с женщиной такого сорта, как я,— ведь я, как-никак, бывшая танцовщица Оперы, да, да,— то надо постараться, чтоб люди об этом забыли; только я сама никогда не должна этого забывать. Так вот, всякий умный человек, чтобы поднять свою жену в глазах общества, постарался бы допустить в ней черты превосходства и оправдать свой выбор признанием в ней исключительных качеств! Самый лучший способ заставить других уважать ее — это самому ее уважать и относиться к ней как к истинной хозяйке дома. Ну а дю Брюэль из самолюбия боится показать, что считается со мной. Нужно, чтобы я десять раз была права, прежде чем он пойдет на уступки.— Каждая из этих фраз сопровождалась жестом негодующего отрицания со стороны дю Брюэля.— О нет, нет,— продолжала она с живостью в ответ на жестикуляцию своего супруга,— мой дорогой дю Брюэль, до замужества я всю жизнь была королевой у себя в доме и прекрасно разбираюсь в этих вещах. Мои желания угадывались, исполнялись, и как исполнялись!.. Зато теперь... Мне тридцать пять лет, а женщину в тридцать пять лет любить нельзя. О, если бы мне было шестна-

дцать лет и у меня было бы то, что так дорого ценится в Опере, каким бы вниманием вы меня окружили, господин дю Брюэль! Я глубоко презираю мужчин, которые хвастаются, будто любят женщину, а сами не заботятся о ней в мелочах. Видите ли, дю Брюэль, вы человек слабый и ничтожный, вам нравится мучить женщину, — кроме нее, вам не на ком показать свою силу. Наполеон спокойно подчинился бы своей возлюбленной: ему нечего было бояться, а вы и вам подобные сочли бы себя в этом случае погибшими,— вы ведь так боитесь, чтобы вами командовали! Тридцать пять лет, дорогой мой,— продолжала она, обращаясь ко мне,— вот в чем разгадка... Смотрите, он все еще отрицает. А вам ведь хорошо известно, что мне тридцать семь. Мне очень досадно, но вам придется сказать своим друзьям, что вы поведете их обедать в «Роше де Канкаль». Я бы могла устроить обед, но я этого не хочу, и они не придут! Мой жалкий маленький монолог должен запечатлеть в вашей памяти спасительный девиз: «каждый у себя» — наше основное правило,— прибавила она со смехом, возвращаясь к своей обычной манере взбалмошной и капризной танцовщицы.

— Хорошо, хорошо, дорогая кошечка,— сказал дю Брюэль,— ну-ну, не сердись. Мы знаем, как надо жить.

Он поцеловал у нее руку, и мы вышли. Дю Брюэль был в бешенстве. Вот что он говорил мне, пока мы шли от улицы Виктуар до бульваров, если только самая грубая брань, которую может выдержать печатный станок, в силах передать его ядовитые мысли и те жестокие слова, которые яростно срывались с его языка подобно тому, как низвергается с высоты бурный водопад:

— Друг мой, я порву с этой отвратительной бесстыжей плясуньей, с этим старым заводным волчком, она извертелась на оперных подмостках, подстегиваемая модными мотивчиками, пусть она убирается от меня,— распутница, грязная мартышка. Ты ведь тоже имел несчастье связаться с актрисой, смотри не вздумай жениться на своей любовнице! Это — пытка, настоящая пытка, жаль, что Данте забыл упомянуть о ней в своем «Аде». Знаешь, я бы сейчас избил, исколотил ее, я бы ей сказал, кто она такая; она отравляет мне жизнь, она превращает меня в лакея!

Мы шли по бульвару, ярость дю Брюэля не знала границ: он заикался от волнения.

— Я растопчу ее,— хрипел он.

— За что же? — спросил я.

— Дорогой мой, ты и представить себе не можешь неисчислимых фантазий этой твари! Когда мне хочется посидеть дома, она собирается выходить, когда я хочу пойти куда-нибудь, она требует, чтобы я остался. Ах, что это за создания! Они вас засыпают всевозможными аргументами, силлогизмами, обвинениями, измышлениями, выражениями, способными свести с ума! Все добро от них, все зло от нас. А попробуйте-ка сразить их каким-нибудь неопровержимым доводом, они замолчат и будут смотреть на вас, как на дохлого пса. Мое счастье?.. Оно достается мне ценой рабского подчинения, ценой покорности дворовой собаки. Она слишком дорого продает то немногое, что дает мне. К черту! Все оставлю ей и сбегу в мансарду. О, мансарда и свобода! Вот уже пять лет, как я сам себе не хозяин.

Вместо того чтобы пойти предупредить своих друзей, дю Брюэль расхаживал взад и вперед по бульвару между улицей Ришелье и улицей Монблан, изрыгая самые ужасные проклятья и впадая в самые смехотворные преувеличения. Охвативший его пароксизм ярости составлял резкий контраст с невозмутимым спокойствием, которое он проявлял дома. Прогулка постепенно успокоила его нервы и усмирила бушевавшую в его душе бурю. Часа в два, поддавшись очередному приступу гнева, он воскликнул:

— Эти проклятые бабы сами не знают, чего хотят. Голову даю на отсечение,— если я вернусь и скажу, что друзья мои предупреждены и мы, по ее требованию, обедаем в «Роше де Канкаль», ей это не понравится. Впрочем,— добавил он,— она, вероятно, уже удрала. Быть может, у нее свиданье с какой-нибудь козлиной бородой?! Нет, в глубине души она меня все-таки любит.

— Ах, сударыня,— сказал Натан, бросая лукавый взгляд на маркизу, которая не могла удержаться от улыбки,— только женщины и пророки умеют извлекать пользу из веры. Дю Брюэль,— продолжал он,— опять повел меня к себе. Мы медленно подошли к дому. Было три часа. Перед тем как подняться наверх, дю Брюэль

заметил какое-то движение в кухне. Войдя, он увидел приготовления к обеду и, бросив на меня многозначительный взгляд, спросил кухарку, что она делает.

— Мадам заказала обед,— ответила та.— Мадам оделась, велела послать за экипажем, потом передумала и отослала экипаж, приказав подать его к началу спектакля.

— Ну? — воскликнул дю Брюэль.— Что я тебе говорил?

Мы осторожно вошли в квартиру. Никого. Миновав гостиные, мы очутились в будуаре, где застали Туллию в слезах. Без всякой рисовки она вытерла глаза и сказала дю Брюэлю: «Пошлите в «Роше де Канкаль» записку с просьбой предупредить приглашенных, что обед будет у нас дома». На Туллии был туалет, какого не увидишь на актрисе: он поражал своим изяществом, гармонией покроя и тонов, благородной простотой, со вкусом выбранной материей — ни слишком дорогой, ни слишком простенькой; ничего кричащего, ничего экстравагантного или, как глупцы говорят, «артистического». Словом, туалет безукоризненный. В тридцать семь лет красота Туллии, как это свойственно многим француженкам, достигла своего расцвета. Ее лицо с прославленным овалом в эту минуту было божественно бледно. Она сняла шляпку, и мне был хорошо виден легкий пушок, подобный тому, что покрывает персики, он еще более смягчал необыкновенно изящные контуры ее щек. Лицо ее, обрамленное белокурыми локонами, выражало и грусть и нежность. Серые лучистые глаза были затуманены слезами. Тонкий нос с трепещущими ноздрями, достойный украсить собой самую прекрасную римскую камею, маленький, почти детский рот, стройная царственная шея с чуть набухшими венами, подбородок, покрасневший от какой-то тайной тревоги, порозовевшие по краям уши, дрожавшие, затянутые в перчатки руки — все выдавало сильное душевное волнение. Нервное движение бровей изобличало скрытую душевную боль. В эту минуту она была прекрасна. Дю Брюэль был подавлен ее словами. Туллия бросила на нас проницательный и непроницаемый кошачий взгляд, свойственный лишь светским женщинам и актрисам; затем она протянула руку дю Брюэлю.

— Мой бедный друг, едва ты ушел, я осыпала себя тысячью упреков. Я обвиняла себя в самой черной неблагодарности, в том, что дурно себя вела! Я ведь очень дурно вела себя, правда! — обратилась она ко мне.— В самом деле, почему нам не принять твоих друзей? Разве ты не хозяин у себя дома? Хочешь знать разгадку всего этого? Так вот: я боюсь, что ты не любишь меня. Я колебалась между раскаянием и ложным стыдом, мешавшим мне признать мою неправоту. В газетах я прочла, что в театре Варьетэ сегодня премьера. Я решила, что ты, должно быть, захотел переговорить с кем-либо из сотрудников. Одна, я была слаба. Я оделась, чтобы бежать за тобой, мой бедный котик.

Дю Брюэль посмотрел на меня с победоносным видом. Он уже не помнил ни одного слова из всех своих утренних обличительных речей *«противу* Туллии».

— Нет, мой ангел,— сказал он,— я ни у кого не был.

— Как мы понимаем друг друга! — воскликнула она.

В тот момент, когда она произносила эти восхитительные слова, я заметил выглядывавшую у нее из-за пояса записку. Но мне и без того было ясно, что фантазии Туллии зависят от каких-то таинственных причин. Женщина, на мой взгляд, самое целеустремленное существо и уступает в этом отношении только ребенку. И женщина и ребенок — великолепный образец постоянного торжества сосредоточенной мысли. Хотя мысль ребенка меняется каждое мгновение, он с таким жаром стремится осуществить ее, что всякий невольно уступает ему, побежденный этой непосредственностью и силой желания. Мысль женщины меняется не так часто, и назвать ее взбалмошной способен только невежда. Всеми ее поступками руководит страсть. Наблюдаешь и поражаешься тому, как стремится она превратить эту страсть в центр вселенной. Туллия ластилась к дю Брюэлю, как кошка; семейный небосклон прояснился, и вечер прошел великолепно. Остроумный водевилист не замечал печали, таившейся в сердце его жены.

— Дорогой мой,— сказал он мне,— вот это — жизнь! Столкновения, контрасты!

— В особенности, когда это не разыграно,— заметил я.

— Я все понимаю,— ответил он.— Но без таких сильных ощущений можно было бы умереть со скуки. Ах, эта женщина обладает даром волновать меня!

После обеда мы отправились в Варьетэ; перед уходом я проскользнул в кабинет дю Брюэля и взял там со стола, среди груды различных ненужных бумаг, номер «Листка объявлений», где было помещено извещение о произведенной дю Брюэлем покупке особняка,— обязательная формальность. В глаза мне бросились слова «По ходатайству Жана-Франсуа дю Брюэля и Клодины Шафару, его супруги...»; и это объяснило мне все. Спускаясь по лестнице, я взял Клодину под руку и постарался пропустить остальных вперед. Когда мы оказались одни, я сказал: «На месте ла Пальферина я никогда бы не отказался от свиданья». Клодина со значительным видом приложила палец к губам и спустилась вниз, пожав мне руку; она смотрела на меня с видимым удовольствием, зная, что я знаком с ла Пальферином. Знаете, какая мысль ей пришла в голову? Она захотела сделать из меня своего соглядатая, но встретила лишь обычную для богемы шутливость.

Месяц спустя мы все вместе выходили из театра после первого представления новой пьесы дю Брюэля. Шел дождь. Я отправился на поиски фиакра: мы задержались на несколько минут в театре, и когда вышли, то у входа уже не оказалось ни одного экипажа. Клодина принялась бранить дю Брюэля и даже по дороге (они должны были завезти меня к Флорине) все еще продолжала ссору, говоря ему самые оскорбительные вещи.

— Что случилось? — спросил я.

— Дорогой мой, она бранит меня за то, что я разрешил вам сбегать за фиакром, и требует, чтобы у нее был собственный выезд.

— Когда я была прима-балериной, я утруждала свои ноги только на подмостках. Если вы человек благородный, вы сумеете сочинять по четыре лишних пьесы в год, зная, для какой цели они предназначаются, и ваша жена не будет больше шлепать по грязи. Какой стыд, что я должна просить об этом! Вы и сами могли бы догадаться о моих постоянных страданиях в продолжение пяти лет нашего супружества.

— Хорошо, я заведу выезд, но мы разоримся,— ответил дю Брюэль.

— Если придется наделать долгов, мы покроем их из наследства дядюшки,— сказала Клодина.

— Но ведь вы можете взять наследство себе, а мне оставить долги.

— Ах, вот вы как думаете? — возмутилась она.— В таком случае я умолкаю. Больше мне говорить с вами не о чем.

Дю Брюэль рассыпался в извинениях, в уверениях в любви, она не отвечала. Он взял ее руки, она их не отняла, но руки были холодны и безжизненны, как у покойницы.

Туллии прекрасно удавалась эта роль существа безжизненного, которую, как вы знаете, так любят разыгрывать женщины, когда хотят доказать вам, что они отрекаются от собственных желаний, жертвуют своей душой, своим разумом, своей жизнью и смотрят на себя как на вьючное животное. Ничто не действует так на мягкосердечного человека, как этот прием. Но женщины могут применять его только с теми, кто их обожает.

— Разве можно себе представить,— спросила она меня с невыразимо презрительным видом,— чтобы какой-нибудь граф высказал столь оскорбительное предположение, если бы даже он так думал. К несчастью, я была близка с герцогами, посланниками, вельможами, и мне известно их обращение. Как невыносима мещанская жизнь! Но, конечно, водевилист — это не Растиньяк и не Реторе...

Дю Брюэль был бледен, как мертвец. Дня через два я встретил его в фойе Оперы; мы прогуливались вместе с ним; разговор коснулся Туллии.

— Не принимайте всерьез мои безумные слова, сказанные на бульваре,— обратился он ко мне.— Я очень вспыльчив.

Последние два года я довольно часто бывал у дю Брюэля и имел возможность внимательно наблюдать за ловкими маневрами Клодины. Вскоре у нее уже был блестящий выезд; дю Брюэль ударился в политику: Клодина сумела заставить его отречься от роялистских взглядов, он присоединился к сторонникам новой монар-

хии и опять был водворен в ведомство, где когда-то служил. Клодина заставила его добиваться избрания в состав национальной гвардии, и он был избран командиром батальона. Во время подавления одного мятежа он сумел отличиться и был награжден офицерским крестом ордена Почетного легиона и назначен докладчиком государственного совета и начальником отделения. Дядюшка Шафару умер, оставив племяннице сорок тысяч франков ренты — около трех четвертей своего состояния. Дю Брюэль был избран депутатом, но прежде, чтобы не зависеть от переизбрания, он добился своего назначения на должность государственного советника и директора. Он переиздал свои археологические заметки, статистические работы и две политические брошюры, которые послужили поводом для его принятия в члены одной из снисходительных французских академий. В настоящее время он — командор ордена Почетного легиона и благодаря активному участию в интригах палаты только что получил звание пэра Франции и графский титул. Пока он еще не решается носить этот титул, но супруга его заказала себе визитные карточки, на которых напечатано: «Графиня дю Брюэль». Бывший водевилист имеет орден Леопольда, орден Изабеллы, крест Святого Владимира второй степени, баварский орден Гражданских заслуг, папский орден Золотой Шпоры — словом, у него немало мелких крестов помимо большого.

Месяца три назад Клодина подкатила к дому ла Пальферина в блестящем, украшенном гербом, собственном экипаже. Дю Брюэль — внук откупщика, получившего дворянство в конце царствования Людовика Четырнадцатого; герб его был составлен Шереном, и графская корона вполне приличествует этому гербу, в котором нет ничего от нелепых гербов Империи. Итак, в три года Клодина выполнила все условия программы, которую предложил ей очаровательный шутник ла Пальферин. И вот однажды, с месяц тому назад, она поднимается по лестнице невзрачного дома, где живет ее возлюбленный, и во всем своем блеске, одетая, словно настоящая графиня из Сен-Жерменского предместья, взбирается в мансарду своего друга. При виде Клодины ла Пальферин заявляет:

— Я знаю, ты добилась для своего мужа звания пэ-

ра. Но слишком поздно, Клодина; все толкуют мне о Южном кресте, я хотел бы полюбоваться на него.

— Я добуду его для тебя,— ответила она.

Ла Пальферин разразился гомерическим хохотом.

— Нет,— сказал он,— я решительно не желаю иметь любовницей женщину невежественную, как индюшка, хотя ты, словно сорока, делаешь прыжки от кулис Оперы до двора, ибо я хочу видеть тебя при дворе короля-гражданина.

— Что это за Южный крест? — печально и смиренно спросила она меня.

Охваченный восторгом перед этим бесстрашием истинной любви, которая в реальной жизни, как в волшебных сказках, без колебаний бросается в бездну, чтобы добыть поющий цветок или перо Жар-птицы, я объяснил ей, что Южный крест — это скопление звезд в форме креста, более яркое, чем Млечный Путь, и видимое лишь в южных морях.

— Ну что ж, Шарль,— сказала она,— поедем туда.

Несмотря на свойственную ла Пальферину жестокость, на глазах его выступили слезы. Но какой взгляд и какой голос был у Клодины! Ни у одного из величайших актеров я не встречал ничего, что можно было бы сравнить по силе драматизма с движением Клодины, которая при виде слез, затуманиьших этот всегда суровый для нее взгляд, упала на колени и приникла поцелуем к руке безжалостного ла Пальферина. Он поднял ее и, приняв величественный вид, который он называет осанкой Рустиколи, сказал:

— Полно, дитя мое, я что-нибудь сделаю для тебя. Я... упомяну тебя в своем завещании.

— Так вот,— сказал в заключение Натан г-же де Рошфид,— спрашивается, остался ли в дураках дю Брюэль? Конечно, нет ничего более смешного и странного, чем видеть, как молодой повеса шутки ради распоряжается судьбами супружеской четы, устанавливая свои законы и требуя исполнения малейших своих капризов, в угоду которым отменяются самые важные решения. Случай с обедом, как вы догадываетесь, повторялся еще не раз в самых разнообразных вариантах и в отношении самых серьезных вопросов! Но не будь всех этих причуд его жены, дю Брюэль до сих пор оставался бы просто во-

девилистом Кюрси, подобным сотням других писак, между тем он заседает теперь в палате пэров...»

— Надеюсь, вы измените имена,— сказал Натан г-же де ла Бодрэ.

— Конечно,— ответила она,— ради вас я скрою настоящие имена. Дорогой Натан,— прибавила она на ухо поэту,— я знаю другую семью, где роль дю Брюэля принадлежит жене.

— А развязка? — спросил Лусто, вошедший в ту минуту, когда г-жа де ла Бодрэ заканчивала чтение своего рассказа.

— Я не верю развязкам,— ответила г-жа де ла Бодрэ.— Их надо придумать несколько, да получше, чтобы показать, что искусство не уступает в силе случаю. Ведь литературное произведение, мой дорогой, перечитывают только ради подробностей.

— Развязка, однако, есть,— сказал Натан.

— Какая же? — спросила г-жа де ла Бодрэ.

— Маркиза де Рошфид без ума от Шарля-Эдуарда. Мой рассказ подстрекнул ее любопытство.

— Несчастная! — воскликнула г-жа де ла Бодрэ.

— Не столь уж несчастная!—ответил Натан.— Максим де Трай и ла Пальферин поссорили маркиза де Рошфид с госпожой Шонтц и собираются помирить Артура с Беатрисой. (См. «Беатриса» — «Сцены частной жизни».)

1839—1845 г.

ДЕЛОВОЙ ЧЕЛОВЕК

Господину барону Джемсу Ротшильду, генеральному австрийскому консулу в Париже, банкиру.

Слово «лоретка» было придумано для того, чтобы дать пристойное название некоему разряду девиц, или же девицам того трудноопределимого разряда, который Французская академия, по причине своего целомудрия, а также ввиду возраста своих сорока членов, не сочла за благо обозначить точнее. Когда новое слово вполне выражает общественное явление, говорить о котором без околичностей невозможно, жизненность такого слова обеспечена. Так, слово «лоретка» проникло во все слои общества, даже в те, куда сама лоретка никогда не проникнет. Слово это родилось только в 1840 году, по всей вероятности, вследствие скопления гнезд этих ласточек по соседству с церковью Лоретской божьей матери. Наше объяснение предназначено только для грамматиков. Сии господа не оказались бы в таком затруднении, если бы писатели средневековья так же тщательно изображали нравы, как делаем мы, в наш век анализа и описаний.

Мадемуазель Тюркэ, или Малага,—ибо под этим боевым именем она гораздо более известна (см. «Мнимая любовница»),— одна из первых прихожанок этой очаровательной церкви. Девица веселая, остроумная и не имевшая иного богатства, кроме красоты, Малага в то время, к которому относится наша история, составляла счастье одного нотариуса; супруга его была женщиной, пожалуй, чересчур набожной, чересчур чопорной, черес-

чур сухой для того, чтобы он мог вкушать блаженство у домашнего очага. Итак, однажды вечером, на масленой, достопочтенный Кардо угощал у мадемуазель Тюркэ стряпчего Дероша, карикатуриста Бисиу, журналиста Лусто и Натана,— их имена, столь хорошо известные по «Человеческой комедии», делают излишней какую бы то ни было характеристику. Юный ла Пальферин, чей старинный графский титул можно было сравнить с древней скалой, увы, лишенной малейшей прожилки благородного металла, почтил своим присутствием незаконный приют нотариуса. За обедом у лоретки не угощают патриархальной говядиной, тощим супружеским цыпленком или семейным салатом, не услышишь здесь и лицемерных речей, какие произносят в салоне, украшенном добродетельными женами буржуа. Ах! Когда же наконец добрые нравы станут привлекательными? Когда наконец светские дамы будут меньше показывать плечи, но выкажут больше ума и простодушия? Маргарита Тюркэ, эта Аспазия из цирка Олимпик, принадлежала к числу непосредственных и живых натур, которым прощают все за наивность в грехе и за лукавство в раскаянии, которым говорят: «Обманывай меня ловчее!» — как ей и говорил Кардо, человек довольно остроумный, хотя и нотариус. Не вообразите, однако, чего-нибудь уж слишком дурного. Просто Дерош и Кардо, как люди весьма покладистые и ловкие дельцы, почитали за благо держаться на дружеской ноге с Бисиу, Лусто, Натаном и молодым графом. А эти господа, нередко прибегавшие к услугам обоих должностных лиц, слишком хорошо их знали, чтобы, выражаясь языком лореток, их *обставлять*.

Беседа, благоухавшая ароматом семи сигар, сначала игривая, словно выпущенная на свободу козочка, остановилась на стратегии, выработавшейся в Париже в результате непрекращающейся войны между должником и заимодавцем. И если вы соизволите припомнить обстоятельства жизни гостей, собравшихся у Малаги, то, конечно, согласитесь, что в Париже с трудом найдешь людей более осведомленных в этой области: одни — завзятые крючкотворы, другие — свободные художники, они походили на пересмеивающихся между собой судей и ответчиков. Серия рисунков, которые Бисиу посвятил долговой тюрьме Клиши, послужила поводом для нового

оборота разговора. Была полночь. Собеседники, непринужденно рассевшиеся в гостиной вокруг стола и перед камином, обменивались остротами, которые, мало того, что понятны и возможны только в Париже, но даже и в самом Париже возникают и могут быть поняты лишь в одной определенной части города, очерченной улицами Фобур-Монмартр и Шоссе д'Антен, возвышенной частью улицы Наваррен и полосой бульваров.

Глубокие мысли, серьезные и пустяковые поучения, все прибаутки на эту тему, исчерпанную, впрочем, Рабле уже в 1500 году, были вновь исчерпаны за десять минут. Отказаться от такого фейерверка — заслуга не шуточная; завершила его Малага, пустив последнюю ракету.

— Все это оборачивается на пользу поставщикам,— сказала она.— Я отказала модистке, которая испортила мне две шляпки. Разъярившись, она двадцать семь раз прибегала ко мне за двадцатью франками. Ей и в голову не приходило, что у нас никогда не бывает двадцати франков. Можно иметь тысячу франков, можно послать за пятьюстами к своему нотариусу; но двадцать франков — таких денег у меня вовек не было! Моя кухарка и горничная, быть может, и наберут вместе двадцать франков. У меня же нет ничего, кроме кредита, и я его потеряю, едва лишь возьму в долг двадцать франков. Если я попрошу двадцать франков, то уж ничем не буду отличаться, от своих *товарок*, прогуливающихся по бульварам.

— Модистке уплачено? — осведомился ла Пальферин.

— Да в уме ли ты, дружок? — воскликнула она, прищурившись.— Сегодня утром она явилась в двадцать седьмой раз,— вот почему я вам об этом рассказываю.

— Как же вы поступили? — поинтересовался Дерош.

— Мне стало жаль ее, и... я заказала крохотную шляпку, которую сама в конце концов придумала, чтобы получилось что-то необыкновенное. Если мадемуазель Аманда справится, то уж ничего больше у меня не потребует: судьба ее обеспечена.

— Мне довелось наблюдать поразительные случаи такого рода борьбы,— заявил Дерош,— и, по-моему, они

гораздо лучше объясняют деловым людям Париж, чем художественные произведения, где всегда изображается Париж фантастический. Вот вы,— продолжал он, окинув взглядом Натана, Лусто, Бисиу и ла Пальферина,— вы воображаете себя ловкачами, а всех вас затмил на этом поприще некий граф, занятый сейчас завершением своей карьеры; в свое время он считался самым ловким, самым искусным, самым хитрым, самым умелым, самым дерзким, самым изворотливым, самым непреклонным, самым предусмотрительным из всех пиратов в желтых перчатках, с кабриолетом и отменными манерами, из всех пиратов, которые когда-либо бороздили, бороздят и будут бороздить бурное море Парижа. Лишенный совести и чести, он в своих делах следовал всегда принципам, каким следует английский кабинет министров. До женитьбы жизнь его была непрестанной борьбой, как у... Лусто,— прибавил Дерош.— Я был и до сих пор состою его поверенным.

— А какая первая буква его имени?.. Погодите, это— Максим де Трай! — воскликнул ла Пальферин.

— Тем не менее и он все заплатил, никого не введя в убыток,— продолжал Дерош.— Но, как только что заметил наш друг Бисиу, требование уплаты в марте, когда хочется заплатить в октябре,— это посягательство на свободу личности. Поэтому, согласно некоей статье своего собственного кодекса законов, Максим считал мошенничеством хитрость, на которую отважился один из его кредиторов, чтобы добиться немедленной уплаты. Вексель со всеми его последствиями, прямыми и косвенными, был давным-давно изучен Максимом. Однажды некий молодой человек, в гостях у меня, назвал в его присутствии вексель «мостом ослов». «Нет,— заметил Максим,— это «мост вздохов»: оттуда не возвращаются». Надо добавить, что коммерческую юриспруденцию он знал досконально, ни один стряпчий не мог бы ничему научить Максима. Как вам известно, имущества у него тогда никакого не было, ездил он в наемной карете и на наемных лошадях, жил у своего лакея, в чьих глазах, говорят, навсегда останется великим человеком — даже после брака, в который собирается вступить! Он состоял членом трех клубов и обедал в одном из них в тех случаях, когда не бывал приглашен в какой-либо зна-

комый дом. Вообще он редко пользовался своим жилищем...

— Да, он мне сказал однажды,— воскликнул ла Пальферин, перебивая Дероша: — «Единственная моя слабость — это делать вид, будто я живу на улице Пигаль!»

— Таков один из двух противников,— продолжал Дерош,— а вот и другой. Вы, верно, что-нибудь слышали о некоем Клапароне...

— Волосы у него торчали вот этак! — воскликнул Бисиу, взъерошив свою шевелюру.

И, одаренный тем же талантом копировать людей, каким в высокой степени обладал пианист Шопен, он мигом, с поразительным сходством изобразил Клапарона.

— Разговаривая, он вот так вертит головой, он был коммивояжером, перепробовал все ремесла...

— Надо полагать, он родился путешественником, ибо в эту самую минуту находится на пути в Америку,— сказал Дерош.— У него только и осталось надежды, что на Америку: в ближайшую сессию он, верно, будет заочно осужден за злостное банкротство.

— Человек за бортом! — воскликнула Малага.

— Клапарон этот,— продолжал Дерош,— в течение шести или семи лет был ширмой, подставным лицом, козлом отпущения для двух наших друзей, дю Тийе и Нусингена; но в 1829 году его роль стала настолько известна...

— ...что наши друзья вероломно его бросили,— вставил Бисиу.

— Они попросту предоставили его собственной судьбе,— пояснил Дерош,— и он скатился в грязь. В 1833 году он сошелся, чтобы обделывать разные делишки, с неким Серизе...

— Как! С тем, который в пору увлечения командитными обществами задумал такую миленькую комбинацию, что шестое отделение судебной палаты упрятало его на два года в тюрьму? — спросила лоретка.

— С тем самым,— подтвердил Дерош.— Во время Реставрации, с 1823 по 1827 год, профессия этого Серизе состояла в том, чтобы бесстрашно подписывать газетные статьи, которые яростно преследовали министерство

внутренних дел, и садиться за это в тюрьму. Приобрести известность было тогда легко. Либеральная партия называла своего присяжного бойца «отважный Серизе». Его ревностная деятельность была расценена в 1828 году как «общественное благо». «Общественное благо» — было своего рода гражданским лавровым венком, присуждавшимся газетами. Серизе решил пустить в оборот «общественное благо»; он явился в Париж и открыл под покровительством банкиров «левой» частное агентство, занимавшееся, между прочим, и банковскими операциями над капиталом одного человека, слишком ловкого игрока, который сам себя отправил в изгнание: в июле 1830 года все его деньги ухнули вместе с государственным кораблем.

— А! Это тот, которого мы прозвали «искусством карточной игры»!..—воскликнул Бисиу.

— Не говорите о нем дурно! — вскричала Малага.— Бедняжка д'Этурни был славный малый.

— Вы понимаете, конечно, какую роль в 1830 году должен был играть разорившийся человек, которого в политических кругах называли «отважный Серизе». Его послали в один весьма приятный округ,— продолжал Дерош.— К несчастью для Серизе, власть не так наивна, как партии, склонные во время борьбы все превращать во взрывной снаряд. Продержавшись месяца три, Серизе был вынужден подать в отставку. Уж не вздумалось ли ему снискать популярность? К тому времени он еще ничего не натворил такого, чтобы лишиться своего благородного титула («отважный Серизе»!), и правительство, в порядке возмещения, предложило ему пост редактора одной оппозиционной, а in petto [1] правительственной газеты. Таким образом, само же правительство совратило этого достойного человека. Чувствуя себя в этой должности слишком уж похожим на птицу, сидящую на гнилой ветке, Серизе устремился в очаровательное командитное общество и *заработал*, несчастный, как вы только что изволили заметить, два года тюрьмы, в то время как более ловкие *обрабатывали* публику.

— Нам известны эти «более ловкие»,— сказал Бисиу,— не будем же злословить насчет бедного малого —

---

[1] Втайне *(итал.)*.

он попал в ловушку! Кто бы мог допустить, что Кутюр даст себя облапошить!

— Впрочем, Серизе—человек мерзкий, ожесточенный к тому же передрягами, в которые он попал, предаваясь грубому разврату,— продолжал Дерош.— Обратимся же к обещанному поединку. Итак, никогда еще двое более низкопробных дельцов, более безнравственных и низких пройдох не объединялись для более грязных дел. Своим оборотным капиталом они считали особый жаргон, усвоенный ими в гуще парижской жизни, дерзость, обретенную в невзгодах, изворотливость, приобретенную привычкой к делам, и заученные на память сведения о всех парижских состояниях, их происхождении, а также родственных связях, дружеских отношениях и подлинной ценности всех и каждого. Такое содружество двух «жучков» — простите мне словцо из биржевого жаргона, но только оно и поможет их определить — длилось недолго. Как два голодных пса, они грызлись из-за всякой падали. Первые спекуляции товарищества «Серизе и Клапарон» были довольно удачны. Два плута стакнулись с разными Барбе, Шабуассо, Саманонами и другими ростовщиками и скупили у них безнадежные векселя. Агентство Клапарона занимало тогда пять комнат на антресолях, в небольшом доме на улице Шабонне; плата за это помещение не превышала семисот франков. Каждый из компаньонов спал в отдельной комнатушке и запирал ее из предосторожности так крепко, что мой старший письмоводитель ни разу не мог туда проникнуть. Контора состояла из передней, приемной и кабинета, всю ее меблировку на аукционе не оценили бы и в триста франков. Вы достаточно знаете Париж, чтобы представить себе обстановку обеих официальных комнат: стулья, набитые волосом, покрытый зеленым сукном стол, грошовые часы на камине, по бокам их два подсвечника под стеклянными колпачками, уныло торчащие перед маленьким зеркалом в позолоченной рамке, а в камине головешки, которые, по выражению моего старшего письмоводителя, уже пережили две зимы! Что до кабинета, то вы легко его вообразите: гораздо больше папок, чем дел!.. У каждого компаньона простой стол с выдвижными ящиками; посреди комнаты секретер с задвигающейся крышкой, такой же пустой, как и касса; два рабочих кресла по

обе стороны камина, топившегося каменным углем; на полу — ковер, купленный, как и векселя, по случаю. Словом, вся та обычная обстановка красного дерева, которая вот уже лет пятьдесят продается в наших конторах бывшим владельцем его преемнику. Теперь вы знаете обоих противников. В первые месяцы своего содружества, закончившегося в конце седьмого месяца потасовкой, Серизе и Клапарон приобрели векселей на две тысячи франков, подписанных Максимом (тут-то и выступает на сцену Максим!) и набитых в две папки (приговор суда, вызов, заключение, опись, прошение); короче говоря — векселей на три тысячи двести франков с чем-то; все это им обошлось в пятьсот франков. Чтобы избежать издержек, они действовали от имени одного частного лица, давшего подпись и особую доверенность произвести взыскание... В то время у Максима — мужчины уже в летах — завелась причуда, свойственная обычно пятидесятилетним...

— Антония! — вскричал ла Пальферин.— Антония, чье счастье началось с письма, в котором я потребовал у нее обратно свою зубную щетку!

— Ее настоящее имя — Шокарделла,— сказала Малага, которую раздражало это изысканное имя.

— Да, это она,— подтвердил Дерош.

— Максим за всю жизнь сделал одну только эту ошибку; но что вы хотите?.. Даже порок не всегда — совершенство! — сказал Бисиу.

— Максим не представлял себе, какую жизнь приходится вести с девчонкой, которой вздумалось очертя голову ринуться из своей честной мансарды, чтобы угодить в роскошный экипаж,— продолжал Дерош,— а государственные деятели должны знать все. Как раз в ту пору де Марсе начал привлекать своего и нашего друга к участию в высокой комедии политической жизни. Человек блестящих побед, Максим знал лишь титулованных женщин: поэтому в пятьдесят лет он имел полное право вкусить от простенького, так сказать, дикого плода, подобно тому, как охотник делает привал под яблоней крестьянского сада. Граф нашел для мадемуазель Шокарделлы довольно элегантный кабинет для чтения, разумеется, как всегда, по случаю...

— Ну! Она не просидела там и полугода,— сказал Натан,— она слишком была хороша, чтобы держать кабинет для чтения.

— Ты не отец ли ее ребенка? — спросила лоретка Натана.

— Однажды утром,— продолжал Дерош,— Серизе, который со времени покупки векселей Максима понемногу приобрел осанку старшего письмоводителя судебного пристава, был, после семи неудачных попыток, допущен к графу. Сюзон, старый лакей, хотя и тертый калач, в конце концов поверил, что Серизе — проситель, явившийся предложить Максиму тысячу экю, если тот согласится выхлопотать для некоей молодой дамы контору по продаже гербовой бумаги. Сюзон уговорил графа принять этого мелкого плута, нимало не заподозрив в нем настоящего парижского выжигу, проученного наказаниями в исправительной полиции и набравшегося там осторожности. Представляете себе этого делового человека с мутным взором, редкими волосами, облысевшим лбом, в потрепанном черном фраке, в забрызганных грязью сапогах...

— Каков портрет заимодавца! — воскликнул Лусто.

— ...Граф вышел к нему (это уже портрет наглого должника),— продолжал Дерош,— в голубом фланелевом халате, в туфлях, вышитых какой-нибудь маркизой, в белых суконных панталонах, в ослепительной сорочке, с прелестной шапочкой на черных крашеных волосах, поигрывая кистями своего пояса...

— Это настоящая жанровая картинка,— сказал Натан,— для всякого, кто знает прелестную маленькую приемную, где Максим завтракает, увешанную драгоценными полотнами, обитую шелком, где ступаешь по смирнскому ковру, восхищаясь расставленными на этажерках диковинками и редкостями, которым позавидовал бы и саксонский король...

— Затем вот какая последовала сцена,— сказал Дерош.

При этих словах рассказчика наступила глубокая тишина.

— Граф,— сказал Серизе,— я послан господином Шарлем Клапароном, бывшим банкиром.

— А! Что ему от меня нужно, бедняге?..

— Но ведь он стал вашим кредитором на сумму в три тысячи двести франков семьдесят пять сантимов, считая основной долг, проценты и издержки...

— Вексель Кутелье,— заметил Максим, знавший свои дела, как лоцман — родные берега.

— Так точно, граф,— ответил Серизе, поклонившись.— Я пришел узнать, каковы ваши намерения.

— По этому векселю я заплачу, когда придет охота,— ответил Максим, позвонив Сюзону.— Клапарон, видно, очень осмелел, если покупает мой вексель, не посоветовавшись со мной! Досадно за него — ведь он так долго был образцовым *подставным лицом* моих друзей. Я говорил о нем: «Право, нужно быть глупцом, чтобы за столь малое вознаграждение так преданно служить людям, хапающим миллионы!» И что же! Сейчас он лишний раз доказал мне свою глупость... Да, люди заслуживают свою участь! Надеваешь ли корону, или волочишь за собой пушечное ядро, становишься миллионером или привратником — все справедливо! Что вы хотите, любезнейший? Ведь я — не король, и я придерживаюсь своих принципов. Я беспощаден к тем, кто вводит меня в расходы или не понимает, как должен себя вести кредитор. Сюзон, чаю! Видишь ты этого господина?..— сказал он лакею.— Тебя провели, старина. Сей господин — кредитор, ты бы должен был узнать его по сапогам. Ни мои друзья, ни нуждающиеся во мне посторонние, ни мои враги не приходят ко мне пешком. Понимаете, милейший господин Серизе? Вам больше не придется вытирать свои сапоги о мой ковер,— прибавил он, глядя на грязь, покрывавшую подошвы его противника.— Передайте мое глубокое соболезнование бедняге Бонифасу де Клапарону, ибо я положу это дело в долгий ящик.

(Все это было произнесено тем простодушным тоном, от которого у добродетельных буржуа делаются колики.)

— Вы ошибаетесь, граф,— ответил Серизе, мало-помалу приосаниваясь.— Мы все получим сполна, и притом таким способом, который может вас раздосадовать. Ведь я пришел к вам по-дружески, как и подобает людям благовоспитанным...

— А! Вы так полагаете?..— отозвался Максим, которого взбесило последнее притязание Серизе.

В этой наглости заключался почти что талейранов-

ский ум, если вы как следует уловили разницу двух одеяний и двух характеров. Максим нахмурил брови и в упор посмотрел на Серизе, который не только выдержал этот поток холодного бешенства, но даже ответил на него той ледяной злобой, что излучается из пристально устремленных на вас глаз кошки.

— Прекрасно, сударь! Извольте выйти вон...

— Прекрасно. Прощайте, граф. Не пройдет и полугода, как мы будем квиты.

— Если вам удастся *обокрасть* меня на сумму этих векселей, которые я признаю вполне законными, я вам буду весьма признателен, сударь,— ответил Максим,— вы меня научите кое-каким новым предосторожностям... Ваш покорный слуга...

— А я — ваш, граф,— ответил Серизе.

Все было четко, исполнено силы и предусмотрительности и с одной и с другой стороны. Два тигра, присматривающиеся друг к другу, прежде чем вступить в борьбу из-за лежащей между ними добычи, не проявили бы больше ловкости и хитрости, чем два этих человека, оба одинаково бесчестные, один — вызывающе элегантный, другой — покрытый броней из грязи.

— На кого вы ставите? — спросил Дерош, взглянув на своих слушателей, никак не ожидавших, что этот рассказ так сильно их заинтересует.

— Вот так история! — сказала Малага.— Прошу вас, дорогой мой, продолжайте; меня прямо за сердце хватает!

— Между двумя такими матерыми волками не должно произойти ничего заурядного,— заметил ла Пальферин.

— Эх! Куда ни шло! Ставлю счет моего столяра, который не дает мне покоя, что это ничтожество, эта жаба утопила Максима! — воскликнула Малага.

— А я держу за Максима,— заявил Кардо,— его врасплох не застанешь.

Дерош помолчал и, опрокинув стаканчик, который поднесла ему лоретка, продолжал:

— Кабинет для чтения мадемуазель Шокарделлы находился на улице Кокнар, в двух шагах от улицы Пигаль, где жил Максим. Названная мадемуазель Шокарделла занимала маленькую квартирку, выходившую

окнами в сад и отделенную от читальни большой темной комнатой, где находились книги. Распоряжалась в кабинете для чтения тетка Антонии...

— У нее уже завелась тетка? — вскричала Малага.— Черт побери! Максим все делал с умом!

— Увы! То была настоящая тетка,—сказал Дерош.— И звали ее... постойте!..

— Ида Бонами,— подсказал Бисиу.

— Итак, Антония, освобожденная этой теткой от множества забот, вставала поздно, ложилась поздно и появлялась за своей конторкой только между двумя и четырьмя часами дня,— продолжал Дерош.— Ее присутствия оказалось достаточно, чтобы с первых же дней привлечь посетителей в салон для чтения; приплелись проживавшие поблизости старички, и между ними бывший каретник, по имени Круазо. Увидав в окошко это чудо женской красоты, бывший каретник повадился ежедневно ходить в салон читать газеты; примеру его последовал и отставной начальник таможен, по имени Денизар, награжденный крестом, в котором Круазо вздумал заподозрить соперника и которому он впоследствии говаривал: «Сударь, вы мне немало причинили докуки!» Словечко это должно пролить для вас некоторый свет на данное лицо. Господин Круазо принадлежал к тому разряду старичков, которых, со времен Анри Монье, следовало бы называть «старичками в духе Кокреля» — так хорошо Монье сумел в образе своего Кокреля из «Нечаянного семейства» передать этот тоненький голосок, сладенькие ужимочки, жиденькую косичку, маленькие живые глазки, семенящую походочку, умильный наклон головы и сухонькую речь. Сей Круазо, жеманно протягивая Антонии свои два су, говорил: «Пожалуйста, прекрасная барышня». Госпожа Ида Бонами, тетушка мадемуазель Шокарделлы, скоро разузнала через кухарку, что бывший каретник, редкостный скряга, считался в своем околотке (он жил на улице Бюффо) обладателем капитала в сорок тысяч франков ренты. Через неделю после вздворения прекрасной обладательницы романов он разрешился таким каламбуром: «Вы меня ссужаете книжками, а я вас ссужу деньжишками...» Несколько дней спустя он с понимающим видом сказал: «Я знаю, что вы заняты, но мой час придет: я вдовец».

Круазо появлялся всегда в великолепном белье, василькового цвета фраке, в светлом шелковом жилете, в черных панталонах, в башмаках на толстой подошве, завязанных черными шелковыми лентами и поскрипывающих, как у аббата. В руках он неизменно держал свой четырнадцатифранковый шелковый цилиндр.

— Я стар и детей у меня нет,— сказал он молодой женщине через несколько дней после визита Серизе к Максиму.— Родичей своих я терпеть не могу. Все это мужичье, на то только и годное, чтобы землю пахать. Представьте себе: я пришел сюда из деревни с шестью франками, и вот — составил себе здесь состояние. Я не гордец... Красивая женщина мне ровня. Не лучше ли некоторое время побыть мадам Круазо, чем год — служанкой какого-нибудь графа?.. Рано или поздно он вас бросит. И тогда вы обо мне вспомните... Ваш слуга, прекрасная барышня!

Все это он подготовлял потихоньку. Малейшая любезность говорилась им тайком. Никто на свете не подозревал, что этот чистенький старичок влюбился в Антонию, ибо он вел себя в салоне для чтения так благоразумно и сдержанно, что ничем не выдал бы сопернику своих чувств. Два месяца Круазо остерегался отставного начальника таможен. Но в середине третьего месяца он имел случай убедиться, насколько необоснованны были его подозрения. Устроив однажды так, чтобы выйти вместе с Денизаром, он пошел с ним рядом и, расхрабрившись, сказал ему:

— Прекрасная погода, сударь!

На что бывший чиновник ответил:

— Погода, как при Аустерлице, сударь; я там был... и даже был ранен, этот крест я получил в награду за свое поведение в тот славный день...

Так, мало-помалу, слово за слово, полегоньку-потихоньку между этими двумя обломками Империи установились дружеские отношения. Маленький Круазо был связан с Империей благодаря своему знакомству с сестрами Наполеона: он был их каретником и частенько донимал их своими счетами. Поэтому он выдавал себя за человека, хорошо знакомого с императорской фамилией.

Максим, узнав от Антонии, что *приятный старичок* — так тетка прозвала рантье — позволяет себе делать ей

разные предложения, пожелал его увидеть. Война, которую Серизе объявил ему, заставила этого надменного щеголя обдумать свое положение на шахматной доске, учитывая всякую пешку. И рассудок подсказал ему, что появление приятного старичка — это удар колокола, предвещающий несчастье. Однажды вечером Максим спрятался во второй, темной комнате, у стен которой стояли библиотечные полки. Оглядев в щелку между двумя зелеными портьерами семерых или восьмерых завсегдатаев салона, он одним взглядом проник в душу маленького каретника, оценил его страсть и был очень рад убедиться в том, что, когда его собственная прихоть пройдет, довольно роскошное будущее, как по приказу, откроет перед Антонией свои лакированные дверцы.

— А этот? — спросил он, указывая на дородного, красивого старика, украшенного орденом Почетного легиона.— Кто это такой?

— Бывший начальник таможен.

— Какая подозрительная внешность! — пробормотал Максим, пораженный осанкой господина Денизара.

В самом деле, отставной воин держался прямо, как колокольня; голова его привлекала внимание напудренной и напомаженной шевелюрой, почти такой же, какие бывают на костюмированных балах у возниц почтовых карет. Под этим подобием белого войлока, плотно облегавшего удлиненный череп, вырисовывалась старческая физиономия, чиновничья и вместе с тем солдатская, своим высокомерным выражением довольно схожая с той, которою на карикатурах наделили газету «Конститюсьонель». Этот бывший таможенный чиновник, престарелый и дряхлый, выгиб спины которого ясно говорил, что без очков он уже читать не может, выставлял, однако, свое почтенное брюшко с надменностью старца, имеющего любовницу; он носил в ушах золотые серьги, напоминавшие серьги старого генерала Монкорне, завсегдатая Водевиля. Денизар питал слабость к синему цвету: его панталоны и старый сюртук, очень свободные, были из синего сукна.

— Давно ли ходит сюда этот старик? — спросил Максим, которому очки Денизара показались подозрительными.

— О! С самого начала,— ответила Антония,— вот уже скоро два месяца.

«Хорошо: ведь Серизе появился лишь месяц назад»,— подумал Максим.

— Заставь-ка его что-нибудь сказать! — шепнул он на ухо Антонии.— Мне хочется услышать его голос.

— Ну это не так-то легко,— ответила она,— он никогда не говорит со мной.

— Зачем же он тогда приходит?..— спросил Максим.

— Да так, сущая причуда,— ответила прекрасная Антония.— Прежде всего, несмотря на свои шестьдесят девять лет, он имеет «пассию»; но, ввиду тех же шестидесяти девяти лет, он точен, как часы. Старикашка отправляется обедать к своей «пассии» на улицу Виктуар ежедневно в пять часов... вот бедняжка! От нее он выходит в шесть, является сюда, за четыре часа прочитывает все газеты и возвращается к ней в десять. Папаша Круазо говорит, что ему известны основания такого поведения господина Денизара, он одобряет его и на его месте поступал бы точно так же; так что я знаю свое будущее! Если я когда-нибудь стану мадам Круазо, то от шести до десяти буду свободна!

Максим заглянул в «Альманах 25 000 адресов» и нашел в нем такие успокоительные строчки:

«Денизар, кавалер ордена Почетного легиона, отставной начальник таможен; улица Виктуар».

Это его окончательно успокоило.

Незаметно господин Денизар и господин Круазо успели обменяться кое-какими признаниями. Ничто так не сближает мужчин, как известная общность взглядов на женщин. Папаша Круазо отобедал у той, которую называл «красоткой господина Денизара». Тут я должен отметить одно довольно важное обстоятельство. Кабинет для чтения был оплачен графом наполовину наличными, наполовину векселями, подписанными упомянутой девицей Шокарделлой. Подоспел очередной платеж, а денег у графа не оказалось. И вот первый из трех тысячефранковых векселей был галантно оплачен *приятным* каретником, которому старый прохвост Денизар посоветовал закрепить ссуду, выговорив себе право распоряжаться кабинетом для чтения.

— Я с этими красотками немало красивых историй насмотрелся...— сказал Денизар.— И что бы там ни было — даже когда я голову теряю — с женщинами я всегда начеку. Прелестное созданье, от которого я сейчас без ума, своего добра не имеет,— все принадлежит мне. И контракт на квартиру на мое имя...

Вы знаете Максима: он счел каретника еще совсем молодым! Заплати Круазо все три тысячи — Максим и тогда бы близко его не подпустил: он больше, чем когда-либо, был влюблен в Антонию...

— Ну еще бы! — сказал ла Пальферин.— Ведь она просто средневековая красавица Империа.

— У этой женщины грубая кожа! — воскликнула лоретка,— такая грубая, что ваша красавица разоряется на ванны с отрубями.

— Круазо, как и подобает каретнику, с восхищением отзывался о роскошной обстановке, которую влюбленный Денизар подарил своей «пассии»; он с сатанинской вкрадчивостью описывал ее тщеславной Антонии,— продолжал Дерош.— Тут были шкатулки черного дерева, инкрустированные перламутром на золотой сетке; бельгийские ковры, кровать средних веков ценой в тысячу экю, стенные часы работы Буля; в столовой — четыре высоких канделябра по углам, шелковые занавеси из Китая, на которых терпеливые китайские мастера изобразили птиц, на дверях — портьеры, стоившие дороже самих дверей.

— Вот что вам требуется, милая барышня... и что я хотел бы вам предложить...— сказал он в заключение.— Я знаю, что немножко-то вы меня полюбите; но в моем возрасте все делают основательно. Судите сами, как я вас люблю, ежели дал вам взаймы тысячу франков. Говорю честно: в жизни никому столько не ссужал.

И он протянул ей два су за чтение с таким значительным видом, с каким ученый показывает опыт.

Вечером, в Варьете, Антония сказала графу:

— Кабинет для чтения — это все-таки очень скучно. Я не чувствую в себе расположения к подобному занятию и не вижу здесь ни малейшей возможности разбогатеть. Такая доля пристала вдовушке, которая согласна кое-как перебиваться, или отчаянной дурнушке, вообра-

жающей, что она подцепит мужа, если чуточку принарядится.

— Однако это то, что вы у меня просили,— заметил граф.

В эту минуту Нусинген, у которого король светских «львов» выиграл накануне тысячу экю (к тому времени «желтые перчатки» уже превратились во «львов»), вошел в ложу и вручил Максиму деньги; заметив удивление графа, он сказал:

— *Я полушил решение о сатершании фаших сумм, фынесенное по трепофанию этофо шорта Клапарона...*

— А, так вот их способ! — воскликнул Максим.— Не очень-то они изобретательны, эти людишки!..

— *Это фсе рафно,*— ответил банкир,— *саплатите им, потому што они мокли пы опратиться к труким и нателать фам упытку... Перу в сфитетели эту прелестную шеншину, што я фам уплатил утром, то опротестофания.*

— Королева цирка,— сказал ла Пальферин улыбаясь,— ты проиграешь...

— Однажды, это было давно,— продолжал Дерош,— в подобном же случае — только тогда слишком честный должник не захотел уплатить Максиму, испугавшись присяги в суде,— мы здорово проучили кредитора, опротестовавшего вексель, подстроив опротестование всех векселей сразу с тем, чтобы судебные издержки по взысканию поглотили всю сумму долга.

— Это еще что такое? — воскликнула Малага.— Что за слова? Для меня они — настоящая тарабарщина. Вам очень понравилась осетрина — заплатите же за соус уроком кляузы!

— Охотно,— сказал Дерош.— Вексель, который один из ваших кредиторов опротестовывает у одного из ваших должников, может сделаться предметом подобного же опротестования со стороны остальных ваших кредиторов. Как поступает суд, от которого все кредиторы требуют постановления об уплате?.. Он справедливо делит между всеми сумму, на которую наложен арест. Этот дележ, произведенный под наблюдением правосудия, называется взысканием. Если вы должны десять тысяч франков, а ваши кредиторы взыскивают по опротестованию тысячу, то каждый из них получает известный процент долга, согласно *раскладке по соразмерности,*

говоря судейским языком, то есть пропорционально сумме векселя; но получают они свою долю только по предъявлении законного документа, называемого *извлечением из прописи кредиторов*, который выдает им письмоводитель суда. Представляете ли вы себе работу, которую проделывает судья и подготовляют поверенные? На нее уходят вороха гербовой бумаги, исчерченной редкими, неясными линиями, где цифры тонут среди незаполненных граф. Начинают с вычета судебных издержек. А так как издержки при взыскании тысячи франков или миллиона одинаковы, то они легко могут поглотить у вас, например, тысячу экю, особенно если удается затеять тяжбу...

— Поверенному это всегда удается,— вставил Кардо.— Сколько раз ваши собратья спрашивали у меня: «А нельзя ли чем-нибудь поживиться?»

— Особенно легко это удается,— продолжал Дерош,— когда должник прямо толкает вас на то, чтобы долг его был поглощен издержками. Поэтому кредиторы графа ничего и не получили: у них все ушло на беготню по поверенным и на хлопоты. Чтобы заставить заплатить такого опытного должника, как граф, кредитор должен занять чрезвычайно трудно осуществимую законную позицию: он должен стать одновременно и его должником и его кредитором, ибо тогда он, в силу закона, имеет право произвести соединение...

— Соединение чего? — спросила лоретка, во все уши слушавшая эту речь.

— Двух качеств: кредитора и должника — и уплатить себе из собственных рук,— продолжал Дерош.— Наивность Клапарона, который ничего не сумел придумать, кроме опротестования, привела к тому, что граф совершенно успокоился. Провожая Антонию из Варьете, Максим утвердился в намерении продать кабинет для чтения и покрыть этим еще не уплаченные за него две тысячи, тем более что крайне опасался показаться смешным, субсидируя подобное предприятие. Поэтому он принял план Антонии, которой хотелось подняться на высшую ступень своего ремесла, иметь великолепную квартиру, горничную, коляску и потягаться, например, с нашей прелестной хозяйкой...

— Для этого она недостаточно хорошо сложена,—

воскликнула знаменитая красотка цирка.— Но все же она недурно обчистила юнца д'Эгриньона!

Дней через десять маленький Круазо, напыжившись от важности, обратился к прекрасной Антонии примерно с такой речью:

— Дитя мое, ваш кабинет для чтения — это дыра; вы тут пожелтеете, газ вам испортит глаза; вам надо бросить это занятие... Давайте же воспользуемся случаем! Я отыскал одну молодую женщину, которая не желает ничего лучшего, как купить ваш кабинет для чтения. Дамочка разорилась — ей впору в воду броситься; но у нее есть четыре тысячи франков наличными, и ей надо употребить их с наибольшей выгодой, чтобы прокормить и воспитать двоих детей...

— Ах, как вы милы, папаша Круазо! — сказала Антония.

— О, сейчас я стану еще милее,— подхватил старик каретник.— Представьте себе, этот бедняга Денизар в таком расстройстве, что у него сделалась желтуха... Да, у него все бросилось на печень, как это бывает у чувствительных стариков. Напрасно он так чувствителен. Я ему говорил: «Будьте страстны — куда ни шло! Но быть чувствительным... ну нет! Этак можно себя сгубить...» Я, право, не ожидал, чтобы мог так предаваться горю человек достаточно стойкий и сведущий, способный во время пищеварения не оставаться у своей...

— Но что произошло?..— спросила мадемуазель Шокарделла.

— Та негодница, у которой я обедал, неожиданно его бросила... да, она покинула его, предупредив письмом — решительно без всякой орфографии.

— Вот что значит наскучить женщине, папаша Круазо!..

— Да, это — урок, прекрасная барышня,— сказал слащавый Круазо.— Я еще никогда не видел человека в таком отчаянии,— продолжал он.— Наш друг Денизар больше не отличает правой руки от левой и не желает больше видеть то, что именует театром своего счастья... Он до такой степени утратил рассудок, что предложил мне купить за четыре тысячи франков всю обстановку Гортензии... Ее зовут Гортензия!

— Красивое имя,— сказала Антония.

— Да, так звали падчерицу Наполеона; я поставлял ей экипажи, как вам известно.

— Что ж, я подумаю,— сказала хитрая Антония,— а вы, для начала, пошлите мне вашу молодую даму...

Антония сбегала взглянуть на обстановку, вернулась совершенно очарованная и заразила своим антикварным восторгом Максима. В тот же вечер граф согласился на продажу кабинета для чтения. Предприятие это, как вы понимаете, было на имя мадемуазель Шокарделлы. Максим потешался над маленьким Круазо, который доставил ему покупателя. Товарищество Максим — Шокарделла теряло, правда, две тысячи франков, но что значила эта потеря по сравнению с четырьмя хрустящими тысячефранковыми билетами!.. Как мне однажды сказал граф: «Четыре тысячи франков наличными!.. Да ведь бывают минуты, когда ради них подпишешь векселей на восемь тысяч!»

На следующий день граф собственной персоной идет смотреть обстановку, имея при себе четыре тысячи франков: продажа кабинета наладилась благодаря расторопности маленького Круазо, спешившего закончить дело; вдову, по его словам, он *обставил*.

Нимало не заботясь об этом приятном старичке, которому предстояло потерять несколько тысяч франков, Максим пожелал немедленно перевезти всю обстановку в квартиру, снятую на имя госпожи Иды Бонами, в новом доме на улице Тронше. Он заранее нанял несколько больших фургонов для перевозки вещей. Максим был крайне восхищен красотой обстановки, которую любой торговец мебелью оценил бы в шесть тысяч франков. В уголке у камина он разглядел несчастного Денизара: пожелтевший от желтухи, с головой, обвязанной двумя шелковыми платками, поверх которых был надет бумажный колпак, закутанный, как хрустальная люстра, пришибленный, он даже не в силах был говорить и вообще был так развинчен, что графу пришлось объясняться с лакеем. Отдав лакею четыре тысячи франков, чтобы тот отнес их своему хозяину и получил от него расписку, Максим уже собирался было приказать подавать фургоны, как вдруг голос, прозвучавший в его ушах подобно трещотке, крикнул ему:

— Это ни к чему, граф, мы в расчете! Разрешите вру-

чить вам шестьсот тридцать франков пятнадцать сантимов сдачи!

И Максим с ужасом увидел Серизе, который, как бабочка из куколки, выбирался из своих свивальников и, протягивая ему чертовы долговые расписки, говорил:

— Несчастья научили меня играть комедию, и на ролях стариков я сто́ю Буффе...

— Я в логовище грабителей! — воскликнул Максим.

— Нет, граф, вы у мадемуазель Гортензии, подруги старого лорда Дэдлей, который прячет ее от всех взоров, но у нее дурной вкус: она любит вашего покорного слугу.

«Если когда-либо мне хотелось убить человека,— говорил мне позднее граф,— так именно в ту минуту. Но что поделаешь! Гортензия высунула свою хорошенькую головку, пришлось рассмеяться, и, чтобы сохранить свое превосходство, я швырнул ему шестьсот франков и сказал: «Это для девки!»

— Тут весь Максим! — заметил ла Пальферин.

— Тем более что деньги-то принадлежали маленькому Круазо,— добавил проницательный Кардо.

— Но,— продолжал Дерош,— Максим все-таки был вознагражден, ибо Гортензия воскликнула: «Ах! Если б я знала, что это ты!..»

— Ну и *катавасия!* — крикнула лоретка.— Ты проиграл, милорд,— сказала она нотариусу.

Вот как столяр, которому Малага была должна сто экю, получил свои деньги.

Париж, 1845 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ

ЭТЮДЫ О НРАВАХ

Сцены парижской жизни

ИСТОРИЯ ТРИНАДЦАТИ

Три повести — «Феррагус, предводитель деворантов», «Герцогиня де Ланже» и «Златоокая девушка»,— входящие в «Историю тринадцати», печатались сначала отдельно.

Повесть «Феррагус, предводитель деворантов» впервые была опубликована в марте — апреле 1833 года в журнале «Ревю де Пари» и делилась на главы: 1. «Госпожа Демаре». 2. «Обвиненная жена». 3. «Куда идти умирать». В 1834 году «Феррагус» вошел в «Этюды о нравах» (II том «Сцен парижской жизни»). В 1843 году «Феррагус» был включен Бальзаком в «Человеческую комедию», в I том «Сцен парижской жизни». Деление на главы было уничтожено.

Повесть «Герцогиня де Ланже» начала печататься в 1833 году в журнале «Эко де ла жен Франс» под названием «Не прикасайтесь к секире, второй эпизод Истории тринадцати», причем была опубликована только первая глава — «Сестра Тереза». Полностью эта повесть под тем же названием вошла в III том «Сцен парижской жизни» в 1834 году и делилась на главы: 1. «Сестра Тереза». 2. «Любовь в приходе св. Фомы Аквинского». 3. «Настоящая женщина». 4. «Развязки происходят на небесах».

Под названием «Герцогиня де Ланже» повесть появилась только в следующем издании «Сцен парижской жизни», в 1839 году, где деления на главы уже не было. В 1843 году Бальзак включил «Герцогиню де Ланже» в «Человеческую комедию», в I том «Сцен парижской жизни».

«Златоокая девушка» была опубликована в III и IV томах «Сцен парижской жизни» (1834—1835) и делилась на главы: 1. «Парижские физиономии». 2. «Странная удача». 3. «Сила крови». В 1843 году «Златоокая девушка» была включена Бальзаком в «Человеческую комедию» (I том «Сцен парижской жизни»).

Раннее творчество Бальзака было тесно связано с приемами и тематикой полуфантастического, полного тайн и ужасов, так называемого «готического» или «черного» романа, возникшего в Англии в конце XVIII века и оказавшего влияние на французский романтизм.

В конце 20-х годов Бальзак вышел на путь самостоятельного творчества. Свой разрыв с прошлым он декларировал в полемическом предисловии к «Истории тринадцати», где осудил неправдоподобие и мелодраматизм романтической подражательной литературы.

Однако, несмотря на эту декларацию, в «Истории тринадцати» сохранились некоторые черты «страшного» и «таинственного», сближающие это произведение не только с юношеским периодом творчества писателя, но и с тем «неистовым романтизмом», который процветал во Франции в начале 30-х годов. В «Истории тринадцати» совершаются неслыханные жестокости, раскрываются страшные пороки и преступления. Запутанная интрига, стремительно развиваясь с помощью случайностей и неожиданностей, строится на сочетании авантюрных и нередко детективных ситуаций. И тем не менее «История тринадцати» — во многом реалистическое произведение. За романтической фабулой писатель рисует на страницах своего произведения реальный облик буржуазного Парижа и его нравов в период Реставрации.

В «Феррагусе» — первой части «Истории тринадцати» — Бальзак проявляет большой интерес к жизни городской бедноты. Бытописатель парижской жизни, Бальзак то и дело прерывает прихотливое сюжетное развитие повести жанровыми зарисовками городской повседневной жизни, сделанными в реалистической очерковой манере.

Драма четы Демаре, являющаяся центром повествования, показана Бальзаком в обстановке реального буржуазного быта. Но сама героиня повести, г-жа Демаре, при всей внутренней психологической убедительности ее облика окружена таинственностью, романтической загадочностью.

В публицистических отступлениях «Герцогини де Ланже», второй части «Истории тринадцати», посвященных анализу исторических судеб обитателей Сен-Жерменского предместья (аристократического квартала Парижа), писатель излагает свои общественно-политические взгляды. Бальзак ошибочно полагал, что народ может быть счастлив только в условиях монархического строя, что первенствующая роль в государстве должна принадлежать аристократии, якобы призванной разумно управлять всеми классами общества и уничтожить общественные противоречия. Но, однако, Бальзак прекрасно видел, что современное ему дворянство, бездеятельное и ничтожное, выродившееся морально и умственно, ничего общего не имеет с его идеалом аристократии «ума и таланта». Поняв историческую закономерность падения аристократии после революции, Бальзак с глубокой горечью критикует ее за лицемерие, тщеславие, духовную пустоту, паразитизм.

Образ герцогини де Ланже, о которой Бальзак писал, что из его «женских созданий — это самое крупное...», воплотил в себе, по словам писателя, все особенности ее касты. Рассказывая с насмеш-

ливой и злой иронией о перипетиях бездушной любовной игры светской дамы, Бальзак обличает ее внутреннюю опустошенность, прячущуюся за внешним блеском.

Реалистический смысл картин, нарисованных писателем с огромной силой, говорит о губительном влиянии католической религии, разрушающей душу и тело человека.

В «Златоокой девушке», так же как и в «Феррагусе», большое место уделено Парижу. Рисуя картину города, «где непрестанно бушует буря корысти», Бальзак сравнивает Париж с адом, «который когда-нибудь, вероятно, обретет своего Данте». Вспоминая мрачные образы «Божественной комедии», Бальзак ведет читателя по кругам буржуазного ада, показывая пять общественных «кругов» Парижа и давая им социальные характеристики.

Буржуазная критика 30-х годов, враждебно настроенная к Бальзаку и объявившая его произведения безнравственными, не в состоянии была дать верной оценки произведениям великого писателя. Свое признание «История тринадцати» впервые получила в России. Сначала «История тринадцати» появилась в оригинале в петербургском журнале «Ревю этранжер де ла литтератюр», где романы Бальзака печатались одновременно с их публикацией во Франции. Затем «История тринадцати» вышла в русском переводе в журнале «Телескоп» (1833—1835). Молодой Белинский первый увидел в «Истории тринадцати» замечательное произведение писателя-реалиста. В статье «Литературные мечтания» (1834), восхищаясь искусством Бальзака создавать характеры со всеми оттенками их индивидуальности, Белинский писал: «Не преследовал ли вас этот грозный и холодный облик Феррагуса, не мерещился ли он вам и во сне и наяву, не бродил ли за вами неотступною тенью? О, вы узнали бы его между тысячами; и между тем в повести Бальзака он стоит в тени, обрисован слегка, мимоходом и застановлен лицами, на коих сосредоточивается главный интерес поэмы... Вот мы видим теперь на сцене и «другого из тринадцати»: Феррагус и Монриво, видимо, одного покроя: люди с душою глубокою, как морское дно, с силою воли непреодолимою, как воля судьбы; и однакоже спрашиваю вас: похожи ли они хотя сколько-нибудь друг на друга, есть ли между ними что-нибудь общее? Сколько женских портретов вышло из-под плодотворной кисти Бальзака, и между тем повторил ли он себя хотя в одном из них?» [1].

Стр. 6. *Манфред* — герой одноименной драматической поэмы Байрона, гордый, разочарованный в людях и в жизни человек.

Мельмот — человек, продавший душу дьяволу, герой романа «Мельмот-скиталец» английского писателя-романтика Матюрена (1782—1824).

Морган — один из главарей флибустьеров — морских пиратов XVII века, грабивших главным образом испанские корабли.

Макферсон, Джемс (1736—1796) — шотландский поэт, написавший «Песни Оссиана», которые он выдал за английский перевод песен древнего кельтского певца (барда) Оссиана, будто бы жившего в III веке н. э. Талантливая подделка Макферсона оказала большое влияние на литературу романтизма.

---

[1] В. Г. Белинский. Собр. соч., т. 1, Гослитиздат, М., 1948, стр. 70.

Стр. 7. *«Странствие из Парижа в Иерусалим»* — название дневника путешествий французского реакционного романтика Шатобриана (1768—1848), изданного в 1811 году.

Стр. 10. *«Современница»* или «Воспоминания современницы» — название двадцатитомного собрания мемуаров, написанных со слов французской авантюристки Иды Сент-Эльм (1778—1845).

Трелони — друг Байрона, сопровождавший его в Грецию в 1823 году; ловкий, смелый авантюрист.

«Спасенная Венеция» — трагедия английского драматурга Отвэя (1652—1685). *Пьер и Джафьер* — два преданных друга, действующие лица «Спасенной Венеции».

Стр. 20. *...была спасена 9 термидора...* — Девятого термидора (27 июля 1794 г.) во Франции произошел контрреволюционный переворот, свергнувший диктатуру якобинцев и положивший начало буржуазной политической реакции.

Стр. 21. *Мезон-Руж* — королевская гвардия, носившая красную форму, отсюда ее название Мезон-Руж (Красный дом).

Гент. — После возвращения Наполеона I с Эльбы (март 1815 г.) Людовик XVIII бежал во Фландрию, в город Гент, где находился до вторичного отречения Наполеона I (июнь 1815 г.).

Видам — старинный дворянский титул во Франции.

«Киллеринский настоятель» — нравоучительный роман французского писателя аббата Прево (1697—1763).

Стр. 22. *Доктринеры* — в эпоху Реставрации сторонники буржуазно-конституционной монархии. После Июльской революции 1830 года доктринеры примкнули к правому крылу орлеанистов, сторонников монархии Луи-Филиппа.

Стр. 30. *«Ночи» Юнга* — вернее, «Жалоба или Ночные думы»,— проникнутая меланхолическим настроением религиозно-дидактическая поэма английского поэта Юнга (1683—1765).

Стр. 46. *Али-Паша* (1741—1822) — албанский феодал, правивший Албанией, Эпиром и Мореей, лукавый и коварный политик. Али-Паша умело использовал борьбу крупных европейских государств за влияние на Балканах и поочередно вступал в тайные соглашения с Англией и Францией.

Стр. 49. *Пале-Руаяль* — дворец, выстроенный в XVII веке; во времена Бальзака в галереях, примыкавших к дворцу, были расположены игорные дома, кафе, магазины.

Стр. 52. *Видок* (1775—1858) — уголовный преступник, затем служивший в парижской полиции.

Стр. 59. *Трильби* — фантастическое существо, шаловливый домашний дух из сказки того же названия французского писателя-романтика Шарля Нодье (1780—1844). *Дугаль и Дженни* — персонажи из той же сказки.

Стр. 67. *...как поясняет слепец у Локка.* — Речь идет о произведении английского философа-сенсуалиста Джона Локка (1632—1704) «Опыт о человеческом разуме» (1690).

Стр. 72. *Бартоло* — действующее лицо комедии Бомарше «Севильский цирюльник», ревнивый старик, влюбленный в свою молоденькую воспитанницу, которую он держит под замком.

Стр. 74. *Протей* (миф.) — морское божество, обладающее способностью беспрестанно менять свою внешность.

Стр. 76. *Франкони* — парижский цирк и театр пантомим, названный по имени его основателя, итальянца Франкони.

Стр. 88. *Шуазель*, Этьен-Франсуа (1719—1785) — министр иностранных дел при Людовике XV, изгнавший иезуитов из Франции.

Стр. 122. «*Адретская гостиница*» — мелодрама Антье, Сент-Амана и Полианта (1823), главным героем которой является проходимец и мошенник Робер Макэр.

Стр. 127. *Терм* — древнеримский бог, блюститель границ земельных участков. Бог Терм изображался в виде бронзовой или каменной тумбы с человеческой головой.

Стр. 128. *Бурб* — бытовое название одного из родильных домов Парижа (от слова «la bourbe» — грязь, тина).

Стр. 134. *Во время похода французов в Испанию...* — В 1823 году, по инициативе реакционного Священного союза, французская армия вторглась в Испанию, подавила революцию и восстановила абсолютистскую власть короля Фердинанда VII, прозванного «тюремщиком Испании».

Стр. 155. *Фуггеры* — крупные немецкие банкиры XIV—XVII веков.

Стр. 158. *Герцог де Лаваль* — французский посол в Риме и Вене во время Реставрации. «*Старшая ветвь*» — Людовик XVIII и Карл X принадлежали к так называемой «старшей ветви» династии Бурбонов и вели свою родословную от Генриха IV; Луи-Филипп, вступивший на престол после Июльской революции 1830 года, принадлежал к герцогам Орлеанским — «младшей ветви» Бурбонов. *Ганноверский дом* — династия английских королей (1714—1901).

Ламартин, Альфонс (1790—1869) — французский поэт, реакционный романтик. *Ламеннэ*, Фелисите (1782—1854) — французский публицист. Проповедовал так называемый «христианский социализм» — реакционное учение, пытавшееся примирить социалистические идеи с религией. *Монталамбер*, Шарль (1810—1870) — французский публицист, вождь католической партии.

Стр. 159. *Брак Талейрана...* — По приказу Наполеона Талейран женился на своей любовнице, английской авантюристке м-ль Грандт; потом он развелся с ней по требованию Людовика XVIII.

Стр. 164. *...высокомерие Медеи...* — намек на героиню одноименной трагедии Корнеля, которая на вопрос, что ей осталось в ее бедствиях, гордо отвечает: «Я! Я,— говорю тебе.— И этого достаточно!» Эти слова вошли в поговорку.

...получить «табурет»... — то есть право сидеть в присутствии короля — привилегия, дававшаяся только высокопоставленным особам.

Стр. 166. *Фолар*, Жан-Шарль (1669—1752) — автор сочинений по военной тактике.

Стр. 169. *...погиб при Нови рядом с Жубером.* — Французская армия под командованием генерала Жубера была разбита у итальянского города Нови (1799) русско-австрийскими войсками под предводительством Суворова.

Стр. 171. *Луарская армия.*— Остатки наполеоновской армии, разбитой при Ватерлоо, были переведены на берега Луары и там расформированы.

Стр. 179. *«Фоблаз»* — вернее, «Любовные приключения кавалера де Фоблаза» — роман французского писателя Луве де Кувре (1760—1797).

Стр. 188. *Уловки Пенелопы* («Одиссея» Гомера).— Пенелопа, верная жена героя Троянской войны царя Итаки Одиссея, много лет ждала его возвращения с войны. Чтобы избавиться от женихов, добивавшихся ее руки, она объявила, что выйдет вторично замуж лишь после того, как соткет саван для отца Одиссея. Днем она ткала полотно, а ночью его распускала.

Стр. 201. *Нантский эдикт.*— По окончании религиозных войн французский король Генрих IV издал эдикт в Нанте (1598), по которому гугеноты получили свободу вероисповедания.

Хартия.— Людовик XVIII, вступивший на французский престол после падения Наполеона (1814), вынужден был дать «Конституционную хартию», провозгласившую установление конституционной монархии с двухпалатным парламентом.

Стр. 206. *Пиррон* — древнегреческий философ-скептик.

Стр. 209. *Поппея* — жена римского императора Нерона (I век н. э.).

Генрих VIII (1491—1547) — английский король, казнивший двух своих жен.

Стр. 212. *Лаиса* (IV век до н. э.) — греческая гетера. Имя ее стало нарицательным для обозначения куртизанки.

Стр. 237. *Севинье* (1626—1696)— маркиза. Прославилась письмами к дочери, которые считаются образцами французской классической прозы.

Стр. 240. *Каннинг*, Георг (1770—1827) — английский государственный деятель, консерватор, публицист и поэт.

Готский альманах — ежегодный генеалогический и дипломатический альманах, содержащий сведения о всех титулованных родах, издавался с 1763 года в Германии, в городе Готе.

Стр. 246. *Геральдические лилии.*— В гербе французских королей Бурбонов были белые лилии.

...узнаю в нем королевского братца былых времен.— Людовик XVIII, будучи наследным принцем, слыл в дворянских кругах «либералом».

Стр. 249. *Фидеикомисс* — наследство, подлежащее передаче третьему лицу.

Горн (1763—1823) — сын шведского генерала, покушавшийся на жизнь шведского короля Густава III.

Стр. 251. *Дюбарри ...стоила вдовы Скаррона.*— Дюбарри — фаворитка Людовика XV; маркиза де Ментенон, фаворитка, а потом вторая жена Людовика XIV, в молодости была замужем за французским писателем Скарроном.

Стр. 252. *Жокур* (1704—1779) — французский философ, сотрудник Энциклопедии. О «страстях» Жокура Бальзак говорит иронически, так как философ отличался крайней методичностью и размеренным образом жизни.

Стр. 258. *Лавальер* — фаворитка Людовика XIV, окончила свои дни, подобно герцогине де Ланже, в кармелитском монастыре.

Стр. 271. *...пояс бесстыднейшей из Венер...* — По античной мифологии, в поясе Венеры были скрыты обольстительные чары.

Стр. 272. *Вулкан* (миф.) — древнеримский бог огня и кузнечного ремесла, был хром и безобразен.

Стр. 280. *Биша*, Мари-Франсуа-Ксавье (1771—1802) — французский анатом, физиолог и врач.

Жак Кер (ок. 1395—1456) — богатый французский торговец; ссужал деньгами короля, за что получил дворянство.

Стр. 282. *Лютеция* — древнее название Парижа, происходит от латинского слова «lutum» — грязь.

Стр. 288. *Фраскати* — владелец игорного дома в Париже во времена Бальзака.

Стр. 292. *Питты и Кобурги.* — Питт Вильям-младший (1759—1806) — английский реакционный политический деятель, злейший враг французской революции. Кобург, князь Саксен-Кобургский, командовал австрийской армией, воевавшей с революционной Францией. Выражение «Питты и Кобурги» стало нарицательным во время французской буржуазной революции 1789 года для обозначения контрреволюционеров.

Стр. 295. *...прибегал... как капрал Трим к своей шапке.* — В романе английского писателя Стерна (1713—1768) «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» капрал Трим во всех спорных вопросах клялся и бился об заклад своей шапкой, которую получил на память от брата, томившегося в тюрьме португальской инквизиции.

Стр. 299. *Фронтен* — тип наглого, пронырливого слуги из старинной французской комедии.

Овернец — житель провинции Овернь; имя его стало нарицательным, обозначая понятие «деревенщина».

Стр. 306. *Девожье*, Марк-Антуан (1772—1827) — французский поэт-песенник. *Сегюр* (1756—1805) — французский поэт, автор романсов.

Стр. 332. *«Опасные связи»* — роман французского писателя Шодерло де Лакло (1741—1803), рисующий картину разложения нравов дворянского общества XVIII века.

Стр. 343. *Плавтовы двойники.* — Имеется в виду комедия римского драматурга Плавта (III—II век до н. э.) «Менехмы», где действуют братья-близнецы.

ТАЙНЫ КНЯГИНИ ДЕ КАДИНЬЯН

Повесть впервые появилась в 1839 году в августовских номерах газеты «Ла Пресс» под названием «Парижская княгиня»; в 1844 году Бальзак, изменив заглавие повести на «Тайны княгини де Кадиньян», помещает ее в XI томе первого издания «Человеческой комедии».

Скупыми, но четкими штрихами раскрывает Бальзак в повести сущность происшедших после Июльской революции 1830 го-

да социальных перемен. Реалистически правдиво, без всякой жалости к «своим излюбленным аристократам» изображает он развращенность и духовную опустошенность дворянства. Позорная история семьи де Кадиньян — яркое свидетельство моральной деградации аристократии.

Стр. 345. *Теофиль Готье* — французский писатель (1811—1872), друг Бальзака с 1835 года.

Стр. 350. *В дни попыток, предпринятых герцогиней Беррийской в Вандее...* — Герцогиня Беррийская в 1832 году сделала неудачную попытку поднять восстание в Вандее против Луи-Филиппа, чтобы доставить престол своему сыну.

Стр. 351. *...маршал, которому мы обязаны завоеванием Африки...* — Речь идет о Луи де Шен де Бурмоне, военном министре при реакционном правительстве Полиньяка.

Фронда — борьба французской феодальной знати против абсолютизма (1648—1653); в придворных интригах во время Фронды большую роль играли женщины.

Стр. 355. *Регент* — герцог Филипп Орлеанский. Придворные нравы времен Регентства (1715—1723) отличались крайней распущенностью.

Стр. 358. *...со времени событий в Сен-Мерри...* — 5—6 июня 1832 года в Париже произошло республиканское восстание, направленное против режима Июльской монархии. Сигнал к восстанию был дан с колокольни монастыря Сен-Мерри. Примыкавшие к монастырю баррикады стали центром героического сопротивления республиканцев.

...Накануне похорон генерала Ламарка... — Похороны генерала Ламарка, популярного своими либеральными выступлениями в печати, вылнлнсь в широкую республиканскую демонстрацию, ставшую началом восстания 5—6 июня 1832 года.

Стр. 361. *...пример Рафаэля и Форнарины* — то есть союз с человеком иного социального положения. Форнарина, возлюбленная Рафаэля, была дочерью булочника.

Стр. 362. *Лафоре* — имя служанки Мольера, которой он читал свои комедии, чтобы провернть производимое ими впечатление.

Стр. 363. *Эгерия* — в античной мифологии — нимфа-прорицательница; по преданию, ее советами руководствовался легендарный римский царь Нума Помпилий.

Стр. 375. *Дядя Тоби* — персонаж романа «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» (см. примеч. к стр. 295). Дядя Тоби незаметно для себя попадает под влияние вдовушки Вадман, стремящейся женить его на себе.

Стр. 376. *...как Генрих IV, подставлявший свою спину детям...* — Согласно устным рассказам о жизни Генриха IV, король очень любил детей и однажды даже принял испанского посла, продолжая играть со своим сыном в лошадки.

Стр. 381. *Закон о возмещениях.* — Речь идет о законе, принятом в 1825 году, о вознаграждении эмигрантов за конфискованные во время революции поместья. По этому закону дворянство получило один миллиард франков.

ФАЧИНО КАНЕ

Рассказ «Фачино Кане» впервые был опубликован в марте 1836 года в журнале «Кроник де Пари». В 1837 году он вошел в XII том четвертого издания «Философских этюдов». В 1843 году Бальзак напечатал рассказ под названием «Папаша Кане» в четырехтомном сборнике «Тайны провинции», коллективном труде ряда авторов. В 1844 году «Фачино Кане» вошел в «Человеческую комедию», в III том «Сцен парижской жизни».

В рассказе, посвященном романтической истории Фачино Кане, особый интерес представляют воспоминания Бальзака о годах собственной юности. Писатель вспоминает о своей жизни в 1819 году в мансарде на улице Ледигьер, где он создавал свои первые произведения.

Стр. 412. *Фачино Кане* (ок. 1360—1412) — историческое лицо, знаменитый итальянский кондотьер, предводитель наемных войск. Был на службе у миланского герцога Висконти, после смерти которого воевал с его сыновьями.

Стр. 414. *Проведитор* — должностное лицо в Венецианской республике.

Стр. 416. *Совет Десяти* — тайный политический орган Венецианской республики, учрежденный в XIV веке с целью контроля над государственной властью.

Стр. 419. *...когда Наполеон упразднил там Республику...*— В 1797 году Венецианская республика была оккупирована войсками Наполеона; затем, согласно условиям мирного договора между Францией и Австрией (Кампоформийский мирный договор 1797 года), почти вся территория Венеции была передана Австрии.

ПЬЕР ГРАССУ

Рассказ «Пьер Грассу» был впервые напечатан в 1840 году в сборнике произведений различных авторов «Babel». В том же году он был вторично издан вместе с повестью Бальзака «Пьеретта». В 1844 году рассказ был включен писателем в одиннадцатый том первого издания «Человеческой комедии» (в «Сцены парижской жизни»).

Рассказывая о преуспеянии бесталанного рисовальщика Пьера Грассу, Бальзак подчеркивает его бездарность, осмеивает буржуазное искусство с его пошлостью и ненавистью к подлинному таланту.

Именно такой художник — делец и ремесленник — близок и понятен буржуа. У буржуа, иронически замечает Бальзак, был веский довод, побуждавший их заказывать свои фамильные портреты именно Грассу: «Что ни говорн, но он ежегодно вносит двадцать тысяч франков своему нотариусу».

Стр. 424. *Некогда они говорили: «Возьмите моего коня!» Ныне мы говорим: «Возьмите моего медведя!» Что же вы хотите, Улисс-Лаженголь-Элиа Магюс?* — Приведенные несколько выше

слова Грассу: «Боюсь данайцев и дары приносящих» — принадлежат троянскому жрецу Лаокоону (из «Энеиды» Вергилия), призывавшему соотечественников остерегаться огромного деревянного коня, оставленного греками (данайцами) у стен Трои. Отсюда смысл выражения «Возьмите моего коня». Выражение «Возьмите моего медведя» взято из водевиля Скриба и Сентина «Медведь и Паша». Хитрость с конем, внутри которого были спрятаны воины, придумал Одиссей (Улисс); слова о медведе принадлежат Лаженголю, действующему лицу водевиля. Поэтому Грассу и называет Элиа Магюса «Улисс-Лаженголь».

Стр. 430. «*Поджариватели*».— Так называли во Франции разбойничьи шайки, связанные с роялистами, действовавшие в провинции в конце XVIII — начале XIX века. «Поджариватели» пытали захваченных людей на медленном огне, требуя указать, где те хранят деньги.

Стр. 442. ...*во время восстания 12 мая*...—Речь идет о восстании против правительства Луи-Филиппа, поднятом тайным республиканским «Обществом времен года» в Париже 12 мая 1839 года.

ПРИНЦ БОГЕМЫ

Рассказ «Принц богемы» впервые появился 25 августа 1840 года в журнале «Ревю паризьен» под названием «Фантазии Клодины». Он делился на две части: «Парижская богема» и «Семейный очаг Клодины». В этом варианте Натан рассказывал историю графа де ла Пальферина не маркизе де Рошфид, а баронессе де Растиньяк — дочери банкира Нусингена, выданной замуж за Эжена де Растиньяка, одного из главных действующих лиц «Человеческой комедии»; конец произведения был несколько иным.

В 1844 году рассказ под его нынешним названием был издан вместе с повестью Бальзака «Онорина». В качестве собеседницы Натана здесь уже выступала маркиза де Рошфид. Деление на части сохранилось, но их названия были изменены. «Семейный очаг, видимый издалека» и «Тот же семейный очаг вблизи».

В 1846 году Бальзак включил рассказ в двенадцатый том первого издания «Человеческой комедии» (в «Сцены парижской жизни»); в связи с изменениями, внесенными в текст, писатель сопроводил его двойной датой — «1839—1845».

Изображение парижской богемы, значительную часть которой составляли в то время представители деклассированного дворянства, фрондировавшие против буржуазной Июльской монархии, Бальзак использует для критики Июльской монархии.

Разделяя пренебрежительное отношение героя рассказа к буржуазной монархии Луи-Филиппа и зачастую восхищаясь умом и вкусом де ла Пальферина, Бальзак, верный своему реализму, показывает вместе с тем паразитизм, моральную опустошенность и цинизм «принца богемы».

Рассказ «Принц богемы» представляет значительный интерес и как свидетельство литературной борьбы того времени. Бальзак остроумно пародирует в нем стиль своего литературного противника, поэта и критика Сент-Бёва; он подчеркивает его выспренность и многословие, приверженность к цветистым сравнениям, ту-

манным и неясным оборотам и высмеивает манеру Сент-Бёва кстати и некстати приводить изречения великих людей прошлого.

Стр. 445. *Тиссо*, Пьер (1768—1854) — профессор литературы и либеральный публицист.

Стр. 447. *Лозен* — придворный Людовика XIV, приобрел скандальную известность своими любовными приключениями.

Стр. 449. *...больше отдает Оленьим парком, чем отелем Рамбулье.*— Олений парк — название особняка, принадлежавшего Людовику XV, где устраивались тайные оргии. Отель Рамбулье — аристократический кружок XVII века, был законодателем дворянской моды жеманного, претенциозного стиля в разговоре и в литературе. Завсегдатаи отеля Рамбулье, принадлежавшего г-же де Рамбулье, увлекались поэзией, воспевавшей изысканную платоническую любовь.

Стр. 459. *Сирано.*— Речь идет о французском писателе Сирано де Бержераке (1619—1655).

Стр. 461. *Миф о Данае.*— По греческой мифологии, Зевс сочетался браком с аргосской царевной Данаей, снизойдя на нее в виде золотого дождя.

Стр. 467. *Арну*, София (1744—1802) — французская оперная певица. *Дютэ*, Розали (1752—1820) — французская танцовщица и куртизанка.

ДЕЛОВОЙ ЧЕЛОВЕК

Рассказ «Деловой человек» был впервые опубликован в газете «Ле сьекль» 10 сентября 1845 года под заглавием «Хитрость кредитора»; вместе с ранее напечатанными в той же газете рассказами Бальзака «Парижская улица и ее обитатель» и «Лютер шляпочников» «Деловой человек» составлял тогда небольшой цикл «Очерки нравов».

Рассказ делился на две части: «У лоретки» и «Меж двух псов». В 1846 году Бальзак включил его в двенадцатый том первого издания «Человеческой комедии» («Сцены парижской жизни») под заглавием «Набросок портрета делового человека, сделанный с натуры». Деление на части уже отсутствовало. Позднее писатель дал произведению его нынешнее название.

Стр. 481. *...Аспазия из цирка Олимпик...*— Аспазия (V век до н. э.) — возлюбленная вождя афинской демократии Перикла, отличавшаяся умом и красотой.

Стр. 483. *«Мост вздохов»*.— Так называли в средние века в Венеции мост, с которого сбрасывали в канал осужденных преступников.

Стр. 491. *Анри Монье* (1805—1877) — французский карикатурист, писатель и актер, автор «Мемуаров Жозефа Прюдома». Жозеф Прюдом стал воплощением тупого, самодовольного буржуа периода Июльской монархии.

Стр. 495. *...красавица Империа* — итальянская куртизанка; Бальзак сделал ее героиней двух своих «Озорных рассказов» — «Красавица Империа» и «Замужество красавицы Империи».

СОДЕРЖАНИЕ

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ

ЭТЮДЫ О НРАВАХ

Сцены парижской жизни

История тринадцати
Предисловие. *Перевод М. И. Казас* 5
Феррагус, предводитель деворантов. *Перевод М. И. Казас* 13
Герцогиня де Ланже. *Перевод М. В. Вахтеровой* . . 131
Златоокая девушка. *Перевод М. И. Казас* 269
Тайны княгини де Кадиньян. *Перевод О. В. Волкова* . . 345
Фачино Кане. *Перевод А. С. Кулишер* 406
Пьер Грассу. *Перевод И. Е. Грушецкой* 421
Принц богемы. *Перевод З. А. Архангельской* 443
Деловой человек. *Перевод Л. Л. Слонимской* 480

Примечания 501

БАЛЬЗАК

Собрание сочинений
в 24 томах. Том XI.

Редактор
И. А. Лилеева.

Иллюстрации художника
Ю. Гершковича.

Оформление художника
А. А. Васина.

Технический редактор
А. Ефимова.

Подп. к печ. 21/V 1960 г. Тираж 350 000 экз. Изд. № 782.
Зак. 805. Форм. бум. 84×108 1/32. Бум. л. 8. Печ. л. 26,24+2 вкл. (0,2 п. л.). Уч.-изд. л. 27,98.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени И. В. Сталина.
Москва, улица «Правды», 24.